Антология

СЕМИОТИКА

SUMMA



СЕМИОТИКА

АНТОЛОГИЯ

составление и общая редакция
Ю. С. Степанова



«Академический Проект»
«Деловая книга»
2001

УДК 003
ББК 87.4
С79

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПОДДЕРЖКИ КНИГОИЗДАНИЯ РОССИИ

С79 **Семиотика**: Антология / Сост. Ю.С. Степанов. Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. — 702 с.
ISBN 5-8291-0104-1

ISBN 5-88687-096-2

Предлагаемый читателю сборник составили работы, в настоящее время относимые к семиотике языка и литературы. Суть их — в последовательном сближении и, наконец, в слиянии исследований языка и литературы под определенным углом зрения — семиотическим. В сборнике широко представлены различные направления семиотики, развивавшиеся на протяжении столетней истории дисциплины; представлены работы ведущих специалистов прошлых лет в области семиотики — Ж. Пиаже, Р. Якобсона, Р. Барта, К. Леви-Стросса, и др., как и наших современников и соотечественников.

Для лингвистов, студентов-филологов и всех, кто интересуется проблемами гуманитарного знания.

УДК 003
ББК 87.4

ISBN 5-8291-0104-1

ISBN 5-88687-096-2

© Степанов Ю.С., составление, комментарии 2001
© Академический Проект, оригинал-макет оформление, 2001
© Деловая книга, 2001



ВВОДНАЯ СТАТЬЯ

Юрий Степанов

Вводная статья
В мире семиотики

1

Семиотика находит свои объекты повсюду — в языке, математике, художественной литературе, в отдельном произведении литературы, в архитектуре, планировке квартиры, в организации семьи, в процессах подсознательного, в общении животных, в жизни растений. Но везде ее непосредственным предметом *является информационная система*, т. е. система, несущая информацию, и элементарное ядро такой системы — *знаковая система*. Каковы бы ни были такие системы — действуют ли они в обществе, в природе или человеке (его организме, мышлении и психике), — они предмет семиотики.

Естественно, что в силу этой особенности в семиотике кооперируются и сотрудничают ученые разных специальностей — лингвисты, историки литературы и искусства, культурологи, социологи, психиатры, математики. В 1974 г. в Милане состоялся первый Международный конгресс по семиотике; в нем участвовали и советские специалисты. Конгресс показал чрезвычайный разброс объектов и мнений. Одной из задач этого сборника в его первом издании 1983 г. было содействовать уменьшению разброса и синтезу. К этой цели мы стремимся и настоящим, 2-м изданием.

Что изменилось за истекшие 18 лет и, следовательно, что отличает настоящее издание от первого?

Наш ответ покажется, возможно, странным для представителей других наук: изменилась не наука (семиотика)— изменился *информационный мир* вокруг нее, семиотика лишь фиксирует это изменение, хотя отчасти она же и предсказала его, — на наших глазах создается *единый информационный мир*, подобный единому миру природы вокруг нас.

Но в его единстве сохраняются следы первоначальной двойственности — с одной стороны мира художественной литературы, с его собственным единством в виде литературно-художественной *интертекстуальности*, *интертекста*, и, с другой стороны, мира науки и техники, также с его собственным единством в *виде национальных и транснациональных систем научно-технической информации*, т. е. *инфосферы*. Итак, *интертекст* и *инфосфера* — вот два ключевых термина, характеризующих новое в семиотике, т. е. семиотику 2000 года, если мы идем к ней от семиотики языка и литературы, — как (в подзаголовке) и называлось наше издание 1983 г.

Вообще говоря, был бы возможен и другой путь к той же цели — от «информационного мира науки и техники», от «мира информатики», от «инфосферы». Но подготовительных работ на этом пути еще недостаточно[1]. Да и не наш это путь для настоящего сборника: ведь его второе издание предопределено первым, а оно было построено, как уже сказано «от языка (художественной) литературы».

Общая семиотическая теория единого информационного мира еще даже не начала создаваться. Идя к ней «от языка и литературы», мы можем представить лишь ее элементы — несколько статей российских авторов (в зарубежной литературе мы не нашли ничего равного им по качеству), это сделано в новом разделе V, которого не было в 1-м издании. У нас не было никаких причин менять (кроме нескольких незначительных передвижений статей) композицию книги: в своих разделах I—IV она естественно подводит к разделу V как к новшеству семиотики сегодняшнего дня. Мы сохраняем также порядок Вводной статьи, отражающий, в ее пунктах от 2 до 12, последовательную эволюцию базовых семиотических понятий — от *высказывания* до *интертекста* и *инфосферы*, а также до новой проблемы *этического постулата* и новой области применения — сферы культурных конценцептов, или *концептологии* (раздел VI).

---

[1] Мы можем указать лишь одну — две книги, прямо относящиеся к этой теме, — см. ниже в разделе 9.

2

Ввиду того, что семиотика — как уже сказано — находит свои объекты повсюду, предпринимались попытки как-то классифицировать все знаки. Но они не привели к успеху: каких-либо общих знаков для, скажем языка, архитектуры, коммуникации животных и т. д. не обнаруженно. Общность заключается *в принципах организациии знаков*, а базовая ячейка этих принципов в языке — *высказывание*.

Понятие высказывания. Если не гнаться сейчас за особой точностью, то высказывание можно определить как то, что в звучащей речи заключено между паузами достаточной длины, а в речи письменной — между точками. Чаще всего высказывание — это предложение.

Однако высказывание само по себе — только эмпирический материал; высказываний — в обыденном языке и в литературном тексте — бесконечное множество. Второй решающий шаг был сделан тогда, когда в высказывании были различены постоянные и переменные элементы и высказывание, таким образом, было сведено к более абстрактному и более общему понятию — пропозициональной функции.

Под пропозициональной функцией понимается языковое выражение, имеющее — по внешней форме — вид высказывания, например «*X* впадает в Каспийское море». Но в действительности оно высказыванием еще не является, так как в одном (или нескольких) из своих мест содержит обозначение переменной, *X*. Замена переменной на постоянную превращает пропозициональную функцию в настоящее высказывание, являющееся в одних случаях истинным, в других — ложным. «Волга впадает в Каспийское море» — истинно; «Днепр впадает в Каспийское море» — ложно. В общем случае высказывание содержит предикат, в данном примере «_____ впадает в Каспийское море», который и является неизменной, инвариантной, частью, и термы, в данном случае — терм-субъект. Наименование «пропозициональная функция» потому и применяется к этому явлению, что предикат, т. е. сам показатель функции, указывает, что следует сделать с термом (какой признак ему надо приписать или по какому признаку его надо выбрать), чтобы в результате получилось истинное утверждение. Терм-субъект в каждом данном высказывании является чем-то определенным, именем какого-либо индивида — *Волга, Днепр*, а в совокупности всех возможных высказываний образует некоторый класс, который в составе пропозициональной функции обозначается как переменная, *X*, а в обычном языке обозначается общим (нарицательным) именем, в данном примере — *река*. В данном случае выражение (пропозициональная функция) «*X* впадает в Каспийское море», или, что то же самое, «_____ впадает в Каспийское море», или, что опять-таки то же самое, «Не-

кая река впадает в Каспийское море» — это обобщение возможных высказываний (обобщение высказываний можно продолжать и дальше, например свести данный предикат к более общему: «_____ впадает в море», последний к еще более общему: «_____ впадает» и т. п.). Соответственно разным ступеням обобщения можно получать разные пропозициональные функции, например «Некая река впадает в Каспийское море», «Некая река впадает в некое море», «Нечто впадает в нечто».

Семиотический анализ литературного, фольклорного, сказочного, мифологического текста (вообще текста не обыденной, «не практической» речи) в настоящее время и сводится прежде всего к выявлению в нем — не всегда данных в явной форме — пропозициональных функций разной степени общности. Как ясно уже из приведенного примера, такой анализ ведется по двум линиям. По одной линии он заключается в отыскании и классификации предикатов, которыми данный текст или данный писатель наделяет своих индивидов — персонажи и вещи (иногда говорят, что это анализ «синтагматический»). По другой линии анализ приводит к группировке индивидов, термов в классы, каждый из которых может быть обобщен — в языке исследователя, но не обязательно в языке исследуемого текста — посредством какого-либо общего имени (иногда этот анализ называют «парадигматическим»). Если индивиды — люди и конкретные вещи — с точки зрения высказывания — это «постоянные», то общие имена — это «переменные». Отыскание «переменных» — более важная задача анализа, чем перечень «постоянных», потому что в классификациях постоянных, в подведении индивидов под общие разряды как раз и вскрывается в конечном счете картина глубинного устройства мира, как она предстает с точки зрения данного текста или данного писателя. Рассматриваемый таким образом текст — это уже *дискурс*.

Далее мы кратко пересмотрим историю семиотики под новым углом зрения, исходя из высказывания. Мы увидим при этом, что сквозь массу индивидуальных мнений, проектов и даже коллективных течений, хотя и развивающихся в какой-то мере параллельно, все же прокладывает себе путь некая последовательность и закономерность: сначала исследования вращаются главным образом вокруг *синтактики* (синтаксиса, композиции, «морфологии текста»), затем переносятся в область *семантики* (отношения элементов к внешнему миру, означивания мира, его категоризации, статичной «картины мира») и, наконец, в самые последние годы переключаются в сферу *прагматики* (говорящего и пишущего субъекта, его различных «Я», отношений между говорящим и слушающим, отправителем и адресатом, словесного воздействия, убеждения и т. п.). В этом будет заключаться краткий обзор научной семиотики.

3

Синтактика. В сущности, синтактика «в чистом виде», как формальный синтаксис, семиотику никогда не интересовала (это область математики). Семиотика занималась синтактикой в той или иной связи с семантикой. Первые работы в этой области были овеяны духом логического позитивизма.

В австрийском и американском логическом позитивизме 1930-х гг. возникло стремление к унификации разных (а в идеале — всех) наук на основе так называемого «унифицированного языка». Считалось, что этот язык выполнит свою роль наилучшим образом, если он будет близок к точному научному языку физики (отсюда название всего течения — «физикализм»). Наиболее разработанный опыт такого языка — и одновременно этот опыт может рассматриваться как работа в области семиотической синтактики — представил Р. Карнап. Свою задачу он сформулировал так: «Определение точных условий, которым должны удовлетворять термины и предложения теоретического языка, чтобы выполнять позитивную функцию для объяснения и предсказания наблюдаемых событий»[2].

Общая идея работ Карнапа заключалась в необходимости создания для науки языков двух типов — «вещного языка» и «теоретического языка». «Вещный язык» должен был состоять из «терминов наблюдения», обозначающих непосредственно наблюдаемые свойства вещей — «горячий», «холодный», «тяжелый» и т. п., и «диспозициональных предикатов», обозначающих предрасположенность предмета к определенной реакции в определенных условиях — «упругий», «растворимый», «ковкий» и т. п. На «вещном языке» следовало производить «протокольные высказывания», фиксирующие непосредственные данные опыта. Что касается «теоретического языка», то он должен был состоять только из таких термов, предикатов и высказываний, которые тем или иным путем можно свести, «редуцировать», к соответствующим единицам «вещного языка». Таким образом Карнап надеялся избежать «псевдоутверждений» о реальности, а вместе с ними и «псевдопроблем», которые, по его мнению, изобиловали в прежней философии. В целом эта концепция разделялась всеми логическими позитивистами (истоки ее можно найти и в работе Ч. Пирса, публикуемой в настоящем сборнике, а подробное обсуждение — в работе Ч. Морриса здесь же).

Карнап, вместе со всеми логическими позитивистами, после ряда напряженных исканий и модификаций основной идеи пришел к выводу о невыполнимости этого проекта в чистом виде.

---

[2] Carnap R. The old and the new logic // Logical Positivism», ed. by A. J. Ayer, Glencoe(Illin.), 1959, p. 45.

Но идея «редукции», т. е. сведения одних термов и предикатов к другим *через посредство высказываний*, оказалась очень плодотворной. В настоящее время она успешно используется практически во всех направлениях семантического анализа.

Однако сама проблема семиотической синтактики претерпела существенные изменения — она расслоилась на две проблемы:

1) описание формальных преобразований одного предложения в другое — трансформационный, или генеративный, синтаксис и

2) соотнесение исходных, первичных, термов и предикатов с внеязыковой действительностью — это уже проблема семиотической семантики. Именно здесь лежит самая интересная, самая «горячая» исследовательская точка семиотики наших дней — см. заключительный пункт настоящей Вводной статьи.

На определенном этапе своего развития, примерно в 50—60-е гг., семиотика, казалось, распалась на две дисциплины. Одни исследователи, например Ролан Барт и автор данных строк, стали определять семиотику как науку о любых объектах, несущих какой-либо *смысл*, значение, информацию (такими могут быть одежда, моды, меблировка помещений, планирование и архитектурное оформление внутреннего и внешнего пространства и т. д.), — вне зависимости от того, прощупывается ли в таких системах или нет (и чаще всего ответ был: нет) какая-либо внутренняя организация, подобная организации высказывания в языке. Другие, например Эрик Бюйсенс, Луис Прието, стали определять семиотику как науку о таких объектах, которые служат динамическим целям коммуникации, передачи информации и которые, следовательно, в конечном счете должны содержать в своей организации нечто подобное организации высказываний в языке (хотя в то время эта основная семиотическая ячейка и этим авторам была совершенно не видна)[3]. Нетрудно видеть, что в каждом из этих двух столь различных определений семиотики абсолютизировалась одна какая-либо сторона ее основной ячейки — высказывания: система классификации (категоризации, таксономии) терминов, в конечном счете «система ценностей» — в первом определении; динамический аспект высказывания как сообщения о чем-то — во втором.

«Динамический подход» представлен в очерке А. А. Реформатского. Автор дает следующее определение «мотива» (из которого,

---

[3] См. Prieto L. J. Sйmiologie de la communication et sйmiologie de la signification// Prieto L. J. Etudes de linguistique et de sйmiologie gйnйrales. Librairie Droz, Genиve, 1975, p. 125—141. Истоками этой двойственной традиции (возможно, неизвестными западным семиотикам) были два подхода русской филологии 1920-х годов — говоря условно, «динамический» и «ценностный», — которые в то время были еще движением к — а не движением от — общей цели.

между прочим, видно — теперь, но, наверное, не тогда, — что это нечто чрезвычайно близкое понятиям пропозициональной функции и «мотива в смысле Проппа», которым суждено было сыграть столь важную роль для семиотики в дальнейшем): «Мотив — простейшая динамическая единица, характеризуемая обычно наличием глагола или его эквивалента, в русском языке — краткая форма прилагательного, например, «Иван Иванович влюбленный» — не мотив, а тема; «Иван Иванович влюблен» и тем паче «Иван Иванович влюбляется» — «мотив» (см. в наст. сб.). От «мотива» при анализе восходят к «теме»; сюжетные темы — сложные единицы, составленные из «тем» и «мотивов».

Этюд А. А. Реформатского близок к школе «русского формализма», но одновременно несет в себе как бы несогласие с ней, ее скрытую критику. Близость заключается во взгляде на композицию художественного произведения как на некое динамическое целое, развертывающееся по законам языка. Русская формальная школа в лице ее наиболее блестящих представителей (Б. М. Эйхенбаум, В. Шкловский, Ю. Н. Тынянов и др.) достигла впоследствии в этом направлении замечательных результатов, далеко превосходящих, конечно, этюд А. А. Реформатского.

Но формальная школа ставила перед собой задачи совсем иного плана и масштаба — создание новой теории искусства. Тезис о форме и способах ее порождения был положен в основу теории искусства вообще. «Формальный метод... не отрицает идейного содержания искусства, но считает так называемое содержание одним из явлений формы. Мысль так же противопоставляется мысли, как слово слову, как образ образу»[4]. Именно теория искусства (а не учение о форме и способах ее анализа) формальной школы и стала, по существу, объектом марксистской критики уже в 1930-е гг.[5] Нужно также иметь в виду, что непосредственным импульсом к появлению формальной школы была художественная практика авангардизма, в особенности футуризма. Напротив, антиподом, точкой отталкивания для формальной школы был психологизм в искусстве и психологические теории искусства, в особенности теория А. А. Потебни и его учеников.

Этюд А. А. Реформатского несходен с формальной школой именно в силу своей близости к последним. Здесь нужно обратить внимание на понятие «мотива» и «мотива как глагола, предиката» у Реформатского. Это понятие близко, с одной стороны, к пониманию мотива у А. Н. Веселовского. Последний писал: «Под мотивом

---

[4] Шкловский В. Сентиментальное путешествие. Л., 1924, с. 129.

[5] См., напр., Медведев П. Н. Формализм и формалисты. Л., 1934; хотя теория как объект критики в книге Медведева проступает еще очень слабо, пыл автора направлен главным образом против предложенного формалистами анализа формы.

и те же поступки или, что одно и то же, что одинаковые действия могут определяться очень по-разному. ...Мы, следовательно, имеем величины стабильные и величины переменные, изменчивые. ...Эти стабильные элементы я назвал функциями действующих лиц. ...Оказалось, что функций мало, форм их много, последовательность функций всегда одинакова, т. е. получилась картина удивительной закономерности» (см. в наст. сб.).

Уже с конца 1920-х гг. начинается постепенный переход от «формализма» к «структурализму». Переход этот был общим, но совершался разными путями. Один из них отражен в работе Н. С. Трубецкого, представленной в сборнике. Мы же здесь подробнее остановимся на том, более общем пути, который оказался связанным с работой В. Я. Проппа.

В конце 1950-х гг. книга Проппа 1928 г. была переведена на английский и французский языки, стала широко известна в Европе и сразу была опознана структуралистами как один из источников их собственных идей. К. Леви-Стросс, антрополог и структуралист, указывал, что современный «антропологический структурализм» является развитием «формального метода» русской школы, в частности метода Проппа (см. в наст. сб.). Однако В. Я. Пропп этой концепции преемственности не принял и решительно возразил К. Леви-Строссу той самой статьей, которая была упомянута выше. Произошла дискуссия. Кульминацией расхождений между Проппом и антропологическими структуралистами стало различное понимание структуры и истории в их соотношении. Но, пожалуй, не менее важным было различие в самом духе научных поисков. В. Я. Проппа, в отличие от «формалистов» и «структуралистов», окружала гётевская атмосфера, гётевская «ноосфера», если воспользоваться термином В. И. Вернадского.

4

Об атмосфере семиотики. В английском переводе книги Проппа оказались снятыми все эпиграфы. Между тем эти эпиграфы, взятые из серии трудов Гёте, объединенных им под заголовком «Морфология», должны были выразить то, что в самой книге Проппа не сказано. В частности, то, что «область природы и область человеческого творчества не разъединены. Есть нечто, что объединяет их, есть какие-то общие для них законы, которые могут быть изучены сходными методами» (см. в наст. сб.). Именно это в конечном счете и старается открыть семиотика, взятая в целом.

В. Я. Пропп неоднократно подчеркивает, что он «эмпирик, притом эмпирик неподкупный».

Все это очень близко к размышлениям В. И. Вернадского в работе 1938—1944 гг. «Мысли и замечания о Гёте как натуралисте» (впервые она была опубликована в 1946 г. под названием «Гёте как натуралист»). Вернадский подчеркивает: «Для Гёте чувство и понимание природы в их художественном выражении и в их научном искании были одинаково делом всей жизни, были неразделимы»[8]. И далее, как и Пропп, он отмечал особый эмпиризм Гёте: «Никаким объяснением реальности он не занимался, он, как ученый, давал только точное описание: *как*. Для образованных людей XIX и XX вв., всецело проникнутых числовым выражением причинного объяснения природы, такое успокоение мысли Гёте казалось не только недостаточным, но и непонятным. Пытались видеть в нем глубокий, не выраженный словами философский смысл — чуть ли не возвращение к идеям Платона. Мне кажется, мы видим здесь проявление строго эмпирической мысли натуралиста. ...Для нас, людей первой половины XX столетия, через сто лет после смерти Гёте, этот характер научной работы и естественно-исторических обобщений научного эмпиризма Гёте представляет особый интерес и делает старомодно выраженную мысль Гёте, если мы переведем ее на наш язык, живой и близкой»[9].

Подобно Гёте, Пропп считал, что формальное, т. е. точное, систематическое, описание материала есть первый шаг исторического изучения. При этом историческому объяснению подлежат не отдельные сюжеты (в данном случае волшебной сказки), а композиционная схема, к которой они принадлежат. Композиционная схема, открытая Проппом, — «не архетип, не реконструкция какой-то единственной никогда не существовавшей сказки, как думает мой оппонент, а нечто совершенно другое: это единая композиционная схема, лежащая в основе волшебных сказок» (см. в наст. сб.).

Понятие схемы, или структуры, у Проппа очень близко к одному знаменитому понятию Гёте — понятию «прафеномена» (Urphänomen).

Гёте искал ту сущность, которая составляет основу разнообразнейшей морфологии различных высших (листостебельных) растений и из которой эту морфологию можно вывести. Это искомое начало, «прафеномен» растения, Гёте нашел не в виде абстрактной сущности, а в виде листа. Но лист есть нечто непосредственно наблюдаемое, его можно видеть, пощупать рукой. (Сравним с этим замечание Проппа, что описанную им структуру «можно пощупать рукой», и противоположную идею Леви-

[8] Вернадский В. И. Избранные труды по истории науки. М.: Наука, 1981, с. 243.
[9] Там же, с. 297—298.

Стросса: «если немного структурализма удаляет нас от конкретного, то структурализм в большом количестве приближает нас к нему».)

Гегель в письме к Гёте (24 февраля 1821 г.) писал: «Вы ставите во главу угла простое и абстрактное, что так удачно называете прафеноменом, затем раскрываете конкретные явления в возникновении их благодаря привхождению дальнейших сфер воздействия и новых обстоятельств и так управляете всем процессом, чтобы последовательный ряд шел от простых условий к более сложно составленным, располагаясь в определенном порядке, так что все запутанное является в полной ясности благодаря такой декомпозиции»[10].

Эти же идеи легли в основу известной гегелевской категории «восхождения от абстрактного к конкретному», ставшей впоследствии на материалистической основе одной из основных категорий диалектико-материалистического метода.

Те же моменты, что и у Проппа, Вернадского и Гегеля (наряду с некоторыми другими вопросами), подчеркиваются у Гёте и современными советскими историками философии[11]. Глубокий интерес к Гёте — традиция русской семиотики; обширное исследование о Гёте оставил А. Белый[12].

Вот к каким соображениям подводит нас в ноосфере семиотики гётевская ариаднина нить, конец и начало которой — вопрос о структуре и истории в их взаимоотношении. С этими понятиями связан и вопрос о существовании. Но в полном виде он возникает в семиотике в другой связи.

5

Семантика. По крайней мере в одном существенном пункте леви-строссовская критика Проппа была безусловно правильной. При всей конкретности своей структуры-композиции Пропп описывал ее только в синтагматическом, «динамическом», плане (см. о последнем выше) и не увидел другой связи своей схемы с действительностью — через персонажей. Иными словами, Пропп понимал свою структуру синтактически и при этом эмпирически полно и конкретно, но он не смог понять ее семантически, то есть как «ценностную». В таком качестве ее видел уже А. Белый. И это же по-новому и на новом уровне понял Леви-Стросс.

---

[10] Гегель. Работы разных лет в двух томах, т. 2. М., 1971, с. 389.

[11] См.: Волков Г. Гёте и современная наука // Коммунист, 1974, № 17.

[12] См.: Белый А. Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности. Ответ Эмилю Метнеру на его первый том «Размышлений о Гёте». М., 1917.

Как это ни парадоксально, стремясь к конкретности в синтактическом смысле, Пропп удалялся в крайнюю абстракцию в семантическом смысле и приблизился здесь к одному из самых абстрактных структурализмов — доктрине Копенгагенской школы. Л. Ельмслев и затем Х. Ульдалль[13] стали понимать элементы языка, связанные функциями, только как «точки прибытия» (термы) функций; элемент существует не в силу своего отношения к действительности, как обозначение чего-то во внешнем мире, а лишь в силу того, что он — точка прибытия (или отправления) той или иной функции в пределах языка. Совершенно подобное и у Проппа: персонаж — только точка в конце (или в начале) функции. Проппа заботило то, чтобы представить функции так, как «понимает их народ», но его мало заботили персонажи, хотя и они — отражение чего-то в том же народном мире. Он хотел оставить персонажи нетронутыми, как индивидуальные и вариативные элементы сказки, уберечь их от структуралистского разложения, а в результате упустил их связь с реальным миром.

Проблемой персонажей, «ценностей», или, что то же, семантикой структуры, и занялся К. Леви-Стросс. Для Проппа персонажи просто индивидуальные, варьирующиеся элементы сказки, не подчиняющиеся — в отличие от «функций» — каким-либо закономерностям, поэтому Пропп не мог понять здесь Леви-Стросса (см. в наст. сб.). Но достижение Леви-Стросса (в сравнении с линией Проппа) и заключалось как раз в том, что он открыл «персонажи как переменные», аналогичные «переменным» в логике.

Всякое общее имя типа «дерево», взятое не только в отношении к синтагме текста, как у Проппа, но и в отношении к внешнему миру, предстает как «переменная», покрывающая во внешнем мире в зависимости от языка разные области «индивидов». Контуры этой области очерчиваются — опять-таки в зависимости от того или иного языка — в противопоставлении стоящих над ней более общих категорий, обычно парных (бинарных). В общем дело обстоит так, как на частном примере противопоставления «луны» и «солнца» показал А. Белый (см. в наст. сб.).

Тезис Леви-Стросса надо брать не изолированно, а в дополнение к тезису Проппа, как учение о «переменных» в семантике в дополнение к учению о «предикатах» в тексте. В таком прочтении этот тезис полностью параллелен тезису логиков. «Куайн неоднократно указывал, — писал Р. Карнап, — на тот важный факт, что если мы хотим выяснить, какие объекты кто-либо признает, то мы должны обратить внимание больше на употребляемые им переменные, чем на постоянные и замкнутые выражения. "Онтология,

[13] Uldall H. J. On equivalent relations // Travaux du Cercle linguistique de Copenhague, v. V («Recherches structurales»). Copenhague, 1949.

к которой обязывает человека употребляемый им язык, охватывает именно те объекты, которые он рассматривает как входящие ... в область значений его переменных". По существу я согласен с его взглядом»[14].

Однако с семиотической точки зрения вопрос этим еще не исчерпывается. Ведь он возник — не будем забывать — не вообще как вопрос о «переменных» в тексте сказки или мифа, а как вопрос о таких переменных, которые являются персонажами, действующими лицами, вообще «актантами» текста. Очевидно, что при дальнейшем обобщении должна открыться определенная связь между типом «переменной» и типом связывающего эту переменную «предиката» (или «функции» в смысле Проппа). Иными словами, «типы персонажей» должны выступать носителями по крайней мере некоторых соответствующих им «типов предикатов (функций)» и, таким образом, в известном смысле «персонаж» и «функция» — одно и то же.

Что касается обыденного, «практического» языка, то это определенно так. Новый подход к предложению-высказыванию как к основной единице общения заставил рассматривать его как нечто семантически единое, цельное и видеть в его субъекте и предикате нечто семантически общее, *длинный семантический компонент.* Если взять для примера класс предложений, характеризующих животных по их типическим крикам: «X издает звук Y» — галка каркает; ягненок блеет; корова мычит; лошадь ржет; собака лает; кошка мяучит; утка крякает; кузнечик стрекочет; волк воет и т. п., — то ясно, что здесь каждый субъект, и только он, является носителем соответствующего предиката. А следовательно, вообще говоря, безразлично, как описать каждое из этих предложений — как, например: «X издает звук — каркает» или «Галка издает звук Y»; в одном случае берется за известное предикат, в другом — субъект, но в обоих случаях описывается одно и то же. Но так можно поступать именно только в абстрактном «общем случае». Между тем семантика какого бы то ни было языка — это не только типичные «пучки семантических признаков» (и при этом оба описания эквивалентны), но и прежде всего отношение каждого «типичного пучка семантических признаков» к чему-то, находящемуся во внеязыковом мире, к какому-то объекту (отражение которого в сознании и закрепляется языком в «пучке признаков»). Приведенные только что два пучка признаков в действительности относятся к разным объектам реального мира. Пучок признаков «X каркает» адресует к «каркающим объектам», в которые включаются прежде всего «галки» (а для обычного говорящего в практической речи и единствен-

[14] Карнап Р. Значение и необходимость: Исследование по семантике и модальной логике/ Пер. с англ. М., 1959, с. 84.

но только — «галки»). Пучок признаков «Галка издаст звук Y» адресует к «объектам, являющимся галками», которые пересекаются с «каркающими объектами», но которые могут характеризоваться и иными признаками (например, «Галка имеет цвет Y»). Если «галки» объективно существуют в виде множества индивидов (в данном случае — род галок), то «каркающие объекты» или тем более «объекты черного цвета» существуют не как единый класс индивидов, а лишь как совокупности, собранные абстрагирующей деятельностью человеческого разума. Поэтому более естественным с точки зрения естественного языка является описание через субъекты, носители предикатов, а не через предикаты, характеризующие субъекты, — даже для тех случаев, где, как в приведенных примерах, субъекты и предикаты связаны очень устойчиво, постоянно или «необходимо».

Точно так же обстоит дело в области сравнительного изучения литератур, или, говоря более точно, в области сравнительного сюжетосложения. Подводя некоторые итоги работам в этой сфере, Элизабет Френцель в своем «Словаре сюжетов всемирной литературы» (1970 г.)[15] поставила своей задачей каталогизировать, представить в словарной форме, именно сюжеты, но единицами словаря, названиями словарных статей, при этом оказались персонажи: Каин и Авель; Абеляр и Элоиза; Адам и Ева; Фальстаф; Фауст; Дон Жуан; Орфей и т. д. *Персонаж — естественный носитель сюжета.*

Общая семиотическая причина этого теперь должна быть нам ясна: мир типизируется прежде всего не в форме предикатов и даже не в форме событий «в чистом виде», а в форме индивидов; событие, если оно типизируется и приобретает обобщенную форму, приурочивается к какому-либо лицу, как «нечто, происшедшее с определенным лицом» или, если уж речь идет о типизации в этом смысле, как «нечто, что непременно должно было произойти с данным лицом в силу самой его природы».

«Фиксированные контуры отличают сюжет, с одной стороны, от проблемы или темы, более абстрактных и в известном смысле лишенных сюжета, — "верность", "любовь", "дружба", "смерть", а с другой стороны, от меньшей сюжетной единицы, мотива: "Мужчина между двух женщин", "Братья-враги", "Двойник" и т. п. ...Понятие мотива, чрезвычайно важное для анализа сюжета, означает элементарную составляющую данного сюжета, способную к приращению и комбинации: цепочка или комплекс мотивов образует сюжет» (с. VII).

---

[15] См.: Frenzel E. Stoffe der Weltliteratur. Ein Lexicon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. A. Kroner Verlag, Stuttgart, 1970; дальше цитирую и указываю стр. по испанскому изданию: Frenzel E. Diccionario de argumentos de la literatura universal. Gredos, Madrid, 1976.

Один и тот же мотив, слегка варьируясь и — сказали бы мы — выступая как предикат различных субъектов, дает начало различным сюжетам: мотив человека, вступающего в сделку с дьяволом, рождает сюжеты Фауста, Папессы Иоанны, Теофила; мотив братьев-врагов — сюжеты Прометея; Каина и Авеля; мотив отца — сына — сюжеты Эдипа, Гильдебрандта, Дон Карлоса; мотив покинутой женщины — сюжеты Дидоны, Ариадны, Медеи, Береники и т. д. и т. п.

Но «произрастание этих духовных организмов — сюжетов» остается еще никак не объясненным. «В силу чего одни исторические события превратились в литературные сюжеты, а другие— нет?— восклицает Френцель. — Этот феномен представляется совершенно независимым от "масштаба" события, и значительные лица совсем не обязательно значительные персонажи...» Но Френцель фиксирует по крайней мере одно наблюдение: способны к литературному развитию сюжеты, несущие в своей фабуле загадку или вопрос. Почему Филипп убил своего сына Дон Карлоса? Почему Саломея потребовала головы Иоанна Крестителя? Какая сила в конечном счете толкнула Эдипа на отцеубийство? Кто был Лжедимитрий и т. д. — вот сюжеты, к которым в литературе возвращаются вновь и вновь. (И не только в литературе — в газетах, в телепередачах [ср. циклы «Женские истории», «Женский взгляд» и т. п.], в науковедении[16], вообще в жизни; в Австрии, например, снова стала «горячей темой» тема «Моцарт и Сальери». Вся информационная среда пронизана общими параметрами.)

Но, кажется, и здесь можно попытаться дать более общий, семиотический ответ: более способны к развитию сюжеты, семантически не полностью определенные, причем эта неполнота должна быть особого типа. Если вернуться к предыдущему примеру, то (не будем смеяться) более способен к развитию сюжет «X каркает» (или «Некто каркает»), чем сюжет «Ворона издает звук Y» (или «Ворона обладает свойством Y»).

Но с точки зрения их внутреннего строения, как «пучки семантических признаков», эти описания равноценны: в каждом из них есть определенные и не до конца определенные признаки. Чем же один — как сюжет — лучше другого? Дело в их отношении к внешнему миру: первый, как мы видели выше, оставляет для говорящего и слушающего большую неопределенность, чем второй. При одинаковой интенсиональной семантике эти сюжеты (или пропозициональные функции) экстенсионально различны. Это направляет нас к новой проблеме семантики.

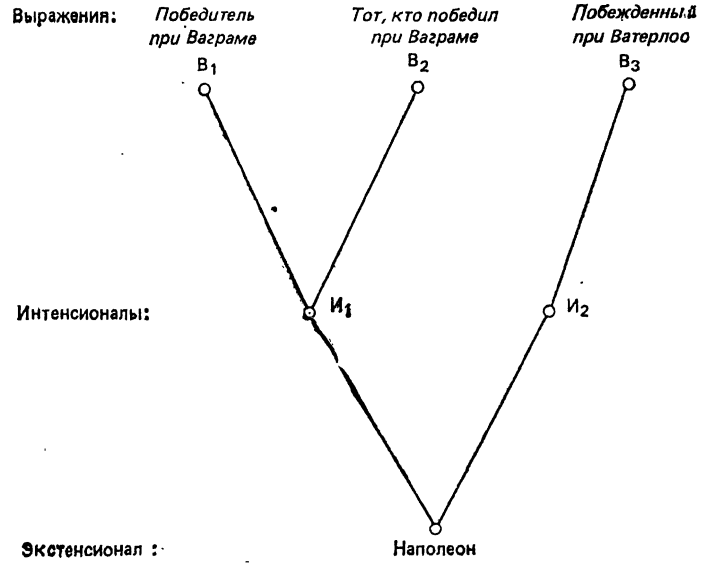
---

[16] См., например, Балацкий Е.В. Загадка личности Г.В. Лейбница (1646—1716). — Отклик на книгу Л.А. Петрушенко «Лейбниц. Его жизнь и судьба». М., 1999 // Журнал «Науковедение», 2000, том 2.

6

Семантика интенсиональная и семантика экстенсиональная. Под интенсионалом вообще понимается совокупность семантических признаков, а под экстенсионалом — совокупность предметов внешнего мира, которые — если говорить не об их существовании, а об их определении — определяются этой совокупностью признаков. (Иногда говорят, что интенсионал — это содержание, а экстенсионал — это объем понятия, но это определение более абстрактное, не такое наглядное.) Интенсионалы занимают срединное положение между выражениями языка и предметами внешнего мира.

Возьмем (вместо примера с вороной) три выражения, из которых каждое, взятое само по себе и однозначно, определяет какой-либо индивид. Совокупность семантических признаков каждого выражения будет интенсионалом, а индивид экстенсионалом, как показано на схеме.



В этом примере Наполеон понимается не как имя, а как тот реальный индивид, который стоит за этим именем. Выражения, напротив, являются здесь именно выражениями — сочетаниями слов русского языка, и все три выражения различны. Что касается интенсионалов, то они, хотя и не выписываются здесь полностью, а обозначаются для краткости только буквами И, являются совокупностями семантических признаков, соответствующими выражениям. Нетрудно видеть, что один интенсионал, $И_1$, соответствует сра-

зу двум выражениям — $В_1$ и $В_2$, следовательно, последние интенсионально тождественны; третье выражение, $В_3$, имеет особый интенсионал, $И_2$; оно интенсионально отлично. Поскольку экстенсионал у всех трех выражений один и тот же, то они экстенсионально тождественны.

Различение интенсионалов и экстенсионалов как разновидностей значения оказалось чрезвычайно плодотворной идеей современной семантики. (Формализацию этих понятий можно найти в статьях Дейвида Льюиза и Барбары Парти, включенных в наст. сб.)

Если теперь спросить, каково же значение, например, выражений $В_1$ и $В_3$, то ответ будет совершенно различен, смотря по тому, что понимается под значением — интенсионал или экстенсионал. У $В_1$ и $В_3$ одно и то же значение как экстенсионал, но совершенно разные значения как интенсионалы.

В практической речи, где обычно отсутствуют длинные тексты и контексты, значение по экстенсионалу играет определяющую роль, а иногда только оно и играет вообще роль. В какой-нибудь отдельной фразе, которой мы желаем в беседе намекнуть на Наполеона, нам все равно как сказать: победитель при Ваграме или побежденный при Ватерлоо. Но если речь идет о научном труде по истории, который мы, скажем, переводим с английского языка на русский, то мы никак не можем перевести выражение «победитель при Ваграме» выражением «побежденный при Ватерлоо». Контекст играет здесь важную роль. Параллельно этому возрастает и роль интенсионалов.

Наконец, там, где длинный контекст, дискурс, является сам по себе целью сообщения, — например, в художественной речи, в романе, — понятие интенсионала выходит на первый план, в то время как понятие экстенсионала может играть меньшую роль. Например, какой-нибудь роман, повествующий о первом периоде жизни Наполеона, может иметь весьма отдаленное отношение к реальному индивиду — Наполеону, но зато интенсионал «победитель при Ваграме» будет исключительным значением этого имени, а замена этого выражения на «побежденный при Ватерлоо» будет вообще лишенной смысла.

Таким образом, каждый интенсионал индивидного имени определяет некоторый индивид в некотором возможном, но не обязательно актуально существующем мире. Каждый интенсионал вообще определяет некоторую сущность, «вещь» возможного, хотя не обязательно актуального мира.

Сам же возможный мир в семиотике — это мир, состоящий из предметов, индивидов, сущностей, соответствующих интенсионалам какого-либо языка. Возможный мир создается средствами языка. Если, например, в естественном языке (который описывает актуальный мир) трем разным приведенным выше выражениям соответству-

ет один экстенсионал — Наполеон, то в одном из возможных миров, который будет создан с помощью естественного языка таким образом, что каждому интенсионалу будет приписан отдельный, соответствующий ему индивид, не будет «одного Наполеона», а будет некий индивид, соответствующий «победителю при Ваграме», и некий другой индивид, соответствующий «побежденному при Ватерлоо». При другом соглашении относительно языка этот воображаемый мир может быть разделен на два новых, также воображаемых мира, в одном из которых будет существовать только индивид, соответствующий первому интенсионалу, а в другом — второму. Возможный мир строится по законам логики, он внутренне целесообразен и логичен, но его интенсионалы не завершены экстенсионалами, для них в определенном (оговоренном выше) смысле нет необходимости находить существующие «вещи» в актуальном мире.

Здесь открывается возможность с помощью семиотики более точно определить понятие «художественная литература». Но прежде нужно сказать, что семиотика последних десятилетий шла к такому новому формальному определению «художественности» и «литературности» вообще, которым можно было бы дополнить существующие содержательные определения. Выражение этих исканий можно найти в двух статьях Цветана Тодорова, публикуемых в настоящем сборнике. Тодоров приходит к выводу, что определяющим признаком «литературности» является — поскольку литературное содержание рассматривается как «фикция», вымысел — особое отношение высказываний к понятиям «истинно», «ложно». Этот вывод можно теперь заключить более точным признаком.

Литературный дискурс семиотически может быть определен как дискурс, в котором предложения-высказывания и вообще выражения интенсионально истинны, но не обязательно экстенсионально истинны (экстенсионально неопределенны). Это дискурс, интенсионалы которого не обязательно имеют экстенсионалы в актуальном мире и который, следовательно, описывает один из возможных миров. Совокупность литературных дискурсов составляет литературу.

Под это формальное определение с точки зрения семиотики можно подвести основную, центральную часть литературы, во всяком случае реалистическую — в широком смысле — прозу. «Пограничные тексты» с обеих сторон требуют дополнительных определений.

«Пограничными» с одной стороны выступают тексты, в которых экстенсиональная определенность, «узнаваемость» индивидов в актуальном мире, играет важнейшую роль. Это мемуары, «свидетельства», может быть, очерки, то, что французы называют faits divers, «подлинный случай из прессы», — область литературы, привлекающая в последние годы все большее внимание читателя.

«Пограничными», с другой стороны, выступают тексты, в которых изменяются сами языковые законы и правила построения «выражений» (в реалистических и мемуарных текстах остающиеся незыблемыми). Их общей чертой является вторжение авторского «Я» со своими собственными законами языка, широкая субъективность. В той мере, в какой она поддается социализации и образует устойчивый «социальный факт», такая субъективность, как и соответствующая ей литература, рассматривается в работе Ролана Барта «Нулевая степень письма», включенной в настоящий сборник. Мы со своей стороны вернемся к этой проблеме ниже, в связи с прагматикой как областью семиотики.

Необходимо со всей ясностью подчеркнуть, что понятия интенсионала, экстенсионала и литературы как «интенсионального языка» — это формальные, а не содержательные определения. Они формально, то есть через определение особенностей языка литературы, отграничивают литературу от языковых явлений других типов. Но эти понятия не вскрывают внутреннего содержания отграниченных областей. Формальные, то есть языковые, определения-отграничения не могут заменить содержательных. Более того, при попытках применить их в несвойственной им функции, вместо содержательных, они могут исказить суть дела. Покажем это на простом примере с одним интенсионалом.

Положим, перед нами выражение французского языка, имеющее интенсионал (смысл) «победитель при Бородине». Если передать его по-русски без оговорок посредством интенсионала, то русский поймет его как относящееся к Кутузову — «победитель при Бородине — Кутузов», тогда как обычно француз имеет здесь в виду Наполеона, для француза «победитель при Бородине — Наполеон». (Чаще, впрочем, француз выразился бы иначе — «победитель на реке Москве», но это не меняет сути рассуждения.)

Когда-то знаменитый герой Булгакова Воланд сформулировал афоризм: «Мы говорим на разных языках, но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются». Теперь мы знаем, что к интенсиональным языкам и к художественной литературе этот афоризм не применим. Он не применим даже к обычному языку за пределами его обычного, повседневного употребления — как мы только что видели на примере с выражением «победитель при Бородине».

Тем более понятие интенсионала не может покрыть собой текучий, диалектический, художественный образ. У великих художников человек может быть и одним, и другим, противоположным первому в одном и том же отношении, — и «победителем», и «побежденным».

Итак, что же нового вносит понятие интенсионала и как оно вписывается в предшествующую традицию? Интенсионал вводится для формального определения художественной литературы.

«Формальное» понимается при этом как «языковое». Иными словами, формально художественная литература определяется через особенности ее языка. Но эти особенности понимаются теперь не «синтактически» — как в теории русского формализма (то есть помимо семантики и прагматики языка), и не «семантически» — как в теории А. А. Потебни и его учеников (то есть, как прежде всего «образный язык», помимо синтактики и прагматики). Формально художественная литература и теперь определяется через ее язык, но сам язык понимается при этом как язык в трех измерениях — семантическом, синтактическом и прагматическом. Само формальное определение наполняется новым содержанием.

Кроме того, понятие интенсионала вписывается в предшествующую классическую традицию эстетики и еще через одну свою черту — через «понятие существования». На этом мы остановимся подробнее.

7

Понятие существования. Задолго до современной семиотики оно уже было предметом теории искусства — «поэтики» и «эстетики» в старом смысле слова.

Вообще в том, что изучение искусства рано или поздно должно прийти в соприкосновение с изучением языка, нет ни чего-либо неожиданного, ни какого-либо исключительного требования со стороны новейших семиотических теорий. На всех существенных этапах истории эстетики «эстетическое» (включающее в себя «прекрасное», «возвышенное», «трагическое», «комическое», «низменное» и т. д.) понималось как своего рода синтез между «идеальным» и «реальным», «смысловым» и «чувственным». Выдвижение на первый план одной из этих двух противоположностей, если оно осуществляется недиалектически, в каких бы формах и терминах оно ни производилось («объективное» — «субъективное», «мышление» — «чувственность», «рациональное» — «иррациональное», «явление» — «сущность», «форма» — «содержание» и т. п.), должно рассматриваться как немагистральная, боковая и ущербная линия истории эстетики. Осознание же именно их диалектического единства сопутствовало в той или иной степени каждому шагу вперед в основной, прогрессивной линии эстетики в прошлом и является самой характерной чертой современной продуктивной теории искусства.

Прежде всего мы должны обратить внимание на то, как в классических эстетических теориях реализовался (хотя бы и не названный там) семиотический принцип, как понимался интимный механизм соединения «идеального» и «реального», составляющий самую суть эстетического.

Развернутую концепцию мы находим в творчестве Лермонтова. «По мысли Лермонтова, — отмечал В. Ф. Асмус, — образы искусства ведут особое существование: они не суть ни простая наличная действительность, ни создание чистой и отрешенной мечты. Им принадлежит как бы срединное бытие — между непосредственно осязаемой реальностью и между видением чистой идеальности... Будучи воспроизведением не случайных черт наличной действительности, но черт существенных, образы искусства в этом смысле не только представляют нечто срединное между наличным бытием и бытием, постигаемым мыслью, но даже обладают — как запечатление существенного — как бы высшей реальностью:

Взгляни на этот лик; искусством он
Небрежно на холсте изображен,
Как отголосок мысли неземной,
Не вовсе мертвый, не совсем живой;
. . . . . .

О боже, сколько я видал людей,
Ничтожных — пред картиною моей,
Душа которых менее жила,
Чем обещает вид сего чела».

(Портрет (1831), курсив В. Ф. Асмуса. — *Ю. С.)* [17].

Ближайшим образом эти идеи Лермонтова восходят, как полагают, к эстетике Шиллера. Эстетическая теория Шиллера представляет кантовский этап в истории эстетики, но, хотя и кантианская по своим основам, она оказалась более богатой и тонкой, чем эстетика самого Канта.

В «Письмах об эстетическом воспитании человека» Шиллер определяет искусство как игру, но этим определением подчеркивает не только и не столько момент материальной незаинтересованности человека, предающегося художественному творчеству, сколько момент его активности, активной и свободной познавательной деятельности. Шиллер сначала дихотомически разделяет материальный мир (по его терминологии, «жизнь») и мир идей («побуждение к форме», или «образ»), а затем синтезирует их в категории «жизненного образа» или «живого образа». «Предмет побуждения к игре, представленный в общей схеме, может быть назван живым образом, понятием, служащим для обозначения всех эстетических свойств явлений, одним словом, всего того, что в обширнейшем смысле слова называется красотой» («Письмо пятнад-

[17] Асмус В. Ф. Круг идей Лермонтова (1941)// Избр. философские труды, т. 1. М., 1969, с. 35.

цатое»)[18]. «Жизненный образ», или красота, как союз и равновесие реальности и формы, по Шиллеру («Письмо шестнадцатое»), относится одновременно и к объективному миру, и к сознанию. Он воплощается, как бы реализуется и персонифицируется, в самом человеке, когда последний выступает как предмет эстетического самовоспитания. Человек в этой концепции предстает как синтез идеи («формы») и материи («мира», «жизни»). Но этот же синтез характеризует и образ искусства, возникающий в «игре».

Кант в «Критике эстетической способности суждения» определил «красоту» (как предмет искусства) как «форму целесообразности предмета, но без представления цели»[19]. Н. И. Балашов отмечает, что положение Канта о «целесообразности без цели», взятое исторически, т. е. конкретно, в свете задач, вставших перед искусством в конце XVIII — начале XIX в., содержало в зародыше принцип критического реализма XIX в. Ведь «правдивое воспроизведение действительности передавало объективную логику действительности, оно выходило внутренне целесообразным»[20]. (Заметим попутно, что внутренняя, логическая целесообразность без наличия внешнего предмета, «цели», отвечающей ей, — это и есть не что иное, как соответствие «интенсионалу» в семиотике.)

К положению Канта присоединился и Пушкин: «Между тем, как эсфетика со времен Канта и Лессинга развита с такой ясностью и обширностию, мы все еще остаемся при понятиях тяжелого педанта Готшеда; мы все еще повторяем, что прекрасное есть подражание изящной природе и что главное достоинство искусства есть польза. ...Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах, — вот чего требует наш ум от драматического писателя»[21]. «Предполагаемые обстоятельства» Пушкина, в которых, однако, господствует «истина», пусть «истина страстей», соответствует «возможному миру» современной семиотики.

Кантовская и шиллеровская идея синтеза далее, опосредованным путем восходит к древнегреческой эстетике, главным образом к Аристотелю. Согласно Аристотелю, как и согласно Шиллеру, «форма», или идея, существующая в душе художника, сливаясь с материей, порождает произведение искусства. С точки зрения диалектики единичного — особенного — всеобщего центр тяжести здесь лежит на срединном звене — «особенном». Два места в «Ме-

---

[18] Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека // Собр. соч. в 8 томах, т. 6. М.—Л., 1950, с. 332.

[19] Кант И. Соч. в шести томах, т. 5. М., 1966, с. 240.

[20] Балашов Н. И. Эстетическое в философии Канта // Эстетическое: Сб. ст. М.: Искусство, 1964, с. 24.

[21] Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 11. М.: Изд. АН СССР., 1949, с. 177—178.

тафизике» особенно важны в интересующем нас отношении. (1) В одном месте Аристотель пишет о Платоне: «Помимо чувственных предметов и идей, он (Платон. — *Ю. С.)* в промежутке устанавливает математические вещи, которые от чувственных предметов отличаются тем, что они вечные и неподвижные, а от идей — тем, что этих вещей имеется некоторое количество сходных друг с другом, сама же идея каждый раз только одна» (Мет., 1,6)[22]. «В промежутке» — это категория τὸ μεταξύ, «срединное бытие», «метаксю», которое принимал не только Платон, но и сам Аристотель. (2) «Что математические предметы не являются сущностями в большей мере, нежели тела, и что они по бытию не предшествуют чувственным вещам, но только логически, а также что они не могут где-либо существовать отдельно, об этом теперь сказано достаточно; а так как они не могли существовать и в чувственных вещах, то ясно, что они либо вообще не существуют, либо существуют в особом смысле и вследствие этого — не непосредственно: ибо о бытии мы говорим в различных значениях» (Мет., 13, 2)[23].

По мысли Аристотеля, бытие, или реальность, имеет как бы различные уровни. Первый уровень, или, по его терминологии, «первичные сущности», — это индивиды, единичные материальные предметы; второй, более глубокий уровень, «вторичные сущности», — это виды и роды материальных предметов. «Вторичная сущность», или сущность в собственном смысле, составляет устойчивую основу бытия; «особенное» и «всеобщее» — необходимое, существующее через «первичные сущности», через «единичное». Отечественные историки философии расценивали как бесспорное достижение античной диалектики учение Аристотеля о том, что сущность раскрывается через другие категории, которые выражают отдельные ее стороны[24]. В «Метафизике» Аристотель замечает, что «опыт есть знание единичного, а искусство (τέχνη) — знание общего» (Мет., 1,1). Здесь речь идет не только об искусстве как художественном творчестве, а, в соответствии со значением слова, о «ремесле и искусстве», так как в античности искусство не всегда четко отделялось от ремесла. Но в «Поэтике» Аристотель уточняет это определение срединного звена уже в применении к поэтическому искусству, и мы видим, что Аристотель говорит о познании общего в пределах одного вида. Современные исследователи показали, что «понятие общего в предметах одного вида здесь ближе всего к тому, что мы теперь называем типическим»[25].

---

[22] Аристотель. Метафизика/ Пер. и примеч. А. В. Кубицкого. М.— Л., 1934, с. 29.
[23] Там же, с. 221.
[24] См. «История античной диалектики». М., 1972, с. 209.
[25] Петровский Ф. А. Сочинение Аристотеля о поэтическом искусстве// Аристотель. Поэтика. М., 1957, с. 16.

Аристотель имеет здесь в виду прежде всего характер человека как предмет искусства.

Тот же принцип сохраняется и в современных определениях. Сравним, например, следующее: «Типическое не имеет необходимости строгого закона, но и не представляет собой случайный, произвольный феномен, занимая как бы "среднее" место между необходимым (законом) и случайным»[26].

8

Прагматика. Границы прагматики, как одной из трех частей семиотики, были изначально определены ее соседством в рамках этой науки с семантикой, с одной стороны, и синтактикой — с другой. Поскольку синтактика понималась как сфера внутренних отношений между знаками, а семантика как сфера отношений между знаками и тем, что они обозначают, — внешним миром и внутренним миром человека, то на долю прагматики оставалась сфера отношений между знаками и теми, кто знаками пользуется, — говорящим, слушающим, пишущим, читающим. В таком очертании видны следы происхождения семиотики из средневекового «тривия» гуманитарных наук. Тривий (не единственный, но, может быть, важнейший предшественник современной семиотики) состоял из грамматики, логики (называвшейся тогда диалектикой) и риторики. Части тривия по задачам, которые в их рамках ставились (если не по их решениям), вполне соответствуют частям семиотики: грамматика — синтактике, логика — семантике, а риторика — прагматике.

По мере того как все более полно обрисовывался круг прагматических вопросов, становилось ясно, что средства для их практического осуществления и теоретического осмысления, сами языковые основы их лежат за пределами прагматики (в ее «первом» понимании) — в синтактике и семантике языка. Если, например, говорящий может успешно солгать, то языковое основание этого прагматического действия лежит именно в семантике и синтактике — в той, в частности, особенности языка, что пропозициональная функция, составляющая основу предложения-высказывания, сама по себе не является ни «истиной», ни «ложью», стоит над тем и над другим. Основания так понимаемой прагматики заключены в более общем свойстве языка, пронизывающем все его стороны, — в его «субъективности». Прагматика при этом включает широкий круг вопросов. В обыденной речи — отношение говорящего к тому, что

[26] См. статью «Типическое»// Философская энциклопедия, т. 5. М., 1970, с. 233.

и как он говорит: истинность, объективность, предположительность речи, ее искренность или неискренность, ее приспособленность к социальной среде и к социальному положению слушающего и т. д.; интерпретация речи слушателем — как истинной, объективной, искренней или, напротив, ложной, сомнительной, вводящей в заблуждение[26а]; в художественной речи — отношение писателя к действительности и к тому, что и как он изображает: его принятие и непринятие, восхищение, ирония, отвращение; отношение читателя к тексту и в конечном счете к художественному произведению в целом — его истолкование как объективного, искреннего или, напротив, как мистифицирующего, иронического, пародийного и т. д.

Очевидно, что столь широкий круг вопросов уже сам по себе, в силу своего разнообразного состава, требует некоторого связующего звена или центра. Связующим звеном явился центр субъективности языка — категория субъекта. *Категория субъекта — центральная категория современной прагматики.*

Само слово «субъект» имеет, как известно, два основных значения: во-первых, «познающий и действующий человек, противостоящий внешнему миру как объекту познания и преобразования»; во-вторых, «подлежащее, субъект предложения». В семиотике литературы и искусства мы имеем дело прежде всего с первым: сам писатель — субъект творчества именно в этом смысле слова; в семиотике языка — прежде всего со вторым: конкретный лингвистический анализ — это прежде всего анализ субъектно-предикатного строения высказывания. Пропасть между первым и вторым кажется огромной и трудно заполнимой. И однако, проблема субъекта в современной прагматике характеризуется как раз преодолением этого разрыва. Ниже мы в общих чертах попытаемся показать, как к точке соединения двух понятий субъекта семиологи шли двумя путями — от художественной литературы, с одной стороны, и от лингвистического анализа высказывания — с другой. Мы попытаемся также, хотя бы самыми общими штрихами, обрисовать обстановку этих поисков — духовную атмосферу эпохи.

Говоря, что движение началось от художественной литературы, а не от «анализа художественной литературы», мы не допустили оговорки. Напротив, мы хотели еще раз подчеркнуть наш постоянный тезис: в семиотике искусства новое течение начинается не с новой теории и даже не с нового анализа старых фактов, а с появления нового в самом искусстве. Новое искусство предшествует новой семиотике. *Новое искусство рождает своих семиологов.*

Современные лингвисты справедливо утверждают, что одна из основных линий прагматической интерпретации высказывания —

[26а] Из новых работ: Плотникова С. Н. Неискренний дискурс. Иркутск, 2000.

это «расслоение» «Я» говорящего: на «Я» как подлежащее предложения, «Я» как субъекта речи, наконец, на «Я» как внутреннее «Эго», которое контролирует самого субъекта, знает цели говорящего и его намерения лгать или говорить правду, и т. д. Но где истоки этой идеи? Они в искусстве.

Европейский роман Нового времени последовательно двигался к расслоению авторского «Я» — на героя, на рассказчика о герое, на автора — повествователя о рассказчике и иногда еще далее. Образ автора, его расслоение, его эволюция — одна из центральных проблем реалистической литературы XIX века. В. В. Виноградов и вслед за ним Д. С. Лихачев справедливо подчеркивали, что образ автора может изучаться одновременно и наукой о языке художественной литературы, и наукой о литературе, литературоведением. «Принадлежа двум наукам, проблема образа автора по существу неделима»[27]. Но образ автора претерпевает разделения.

На стадии знаменитого романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» это движение достигло, пожалуй, кульминации — роман Пруста стал повествованием только об одном, внутреннем «Я» автора, которое даже не всегда сливается с тем «Я», которое воплощено в его теле. «Разве моя мысль, — пишет Пруст, — не была еще одной капсулой, внутри которой я чувствовал, что я заключен, даже когда смотрю на происходящее вовне? Когда я видел какой-либо внешний предмет, то сознание, что я его вижу, как бы вставало между мной и им, окружало его тонкой духовной оболочкой, навсегда лишавшей меня возможности прямо прикоснуться к его материи; эта материя как бы тотчас испарялась, прежде чем я вступал с ней в контакт, подобно тому как раскаленное тело, которое приближают к влажной поверхности, никогда не может коснуться самой влаги, потому что между ними все время пролегает зона испарения»[28].

Вполне понятно, что расслоение «локаций», в частности во времени, протекает параллельно расслоению «Я», и не случайно роман Пруста «В поисках утраченного времени» — это и повествование о различных и вместе с тем сосуществующих пластах времени: настоящего, настоящего мгновением раньше, настоящего чуть более отдаленного, прошедшего близкого, прошедшего отдаленного, наконец, прошедшего утраченного навсегда. Но как только мы вступили в область «расслаивающегося времени», сразу можно найти параллели этой идеи времени у Томаса Манна («Волшебная гора», «Доктор Фаустус», «Иосиф и его братья»), во многих рассказах Ф. Кафки.

---

[27] Лихачев Д. С. О теме этой книги // Виноградов В. В. О теории художественной речи. М.: Высшая школа, 1971, с. 215.

[28] Proust M. A la recherche du temps perdu. T. 1, Du côté de chez Swann. A l'ombre des jeunes filles en fleurs. Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1954, p. 84.

Вернемся, однако, к «различным Я». Здесь Пруст в своем художественном анализе проделал то же, что одновременно в своей философской системе произвел Э. Гуссерль под названием процедуры «редукции», или «эпохэ́». В «Руководящих идеях к чистой феноменологии» (1913) и в «Картезианских размышлениях» (1931) Гуссерль утверждает, что даже в непосредственных аксиомах познания, таких, как «Я мыслю, следовательно, я существую» Декарта, в действительности имеется по крайней мере два субъекта, два «Я». Одно — то, которое мыслит или, как у Пруста, воспринимает мир, — «эмпирическое», «конкретное» «Я». Другое — то, которое как бы заставляет сказать «Я мыслю» или «Я воспринимаю мир». Первое, эмпирическое «Я» само принадлежит миру и, по Гуссерлю, должно быть устранено из теоретического рассуждения. Тогда и произойдет «феноменологическая редукция», совершится «эпохэ́», а оставшееся, «второе» «Я» послужит, по мнению Гуссерля, основой философского анализа. В последнее время Гуссерль нередко упоминается как один из основателей современной семиотики, но главным образом как автор идеи «прозрачности знака». Следовало бы вспомнить о нем прежде всего именно в связи с идеей «редукции» и проанализировать ее значение — отрицательное или положительное — для семиотики.

Движущий прагматику в этом же направлении, но более мощный и политически активный стимул исходил от театра Брехта. «В первые полтора десятилетия после первой мировой войны, — писал Брехт, — в некоторых немецких театрах была испытана относительно новая система актерской игры, которая получила название "эпической" вследствие того, что носила отчетливо реферирующий, повествовательный характер и к тому же использовала комментирующие хоры и экран. Посредством не совсем простой техники актер создавал дистанцию между собой и изображаемым им персонажем и каждый отдельный эпизод играл так, что он должен был стать объектом критики со стороны зрителей... Эпический театр дает возможность представить общественные процессы в их причинно-следственной связи»[29]. Не случайно именно в теоретических работах Брехта появляются вполне семиотические термины, аналогичные терминам «означаемое» — «означающее», применительно к актеру и его персонажу — «изображающий» — «изображаемый». Один из основных тезисов Брехта гласил: «Не должно возникать иллюзии, будто бы изображающие тождественны изображаемым»[30], «Наряду с данным поведением действующего лица нужно было показать и возможность другого поведения, делая, таким образом, возможным выбор и, следовательно, критику»[31].

---

[29] Брехт Б. Театр.// Собр. соч., т. 5(2). М., 1965, с. 318.
[30] Там же, с. 327.
[31] Брехт Б. О системе Станиславского// Там же, с. 318.

Очень скоро вслед за тем с соответствующей иллюзией о «тождественности» означаемого и означающего и о «естественности» их связи было покончено и в лингвистической семиологии. Впрочем, еще довольно долго удерживалась другая — теоретическая — иллюзия, будто с этими заблуждениями о тождестве и естественности было покончено еще в системе Соссюра. Действительно, Соссюр утверждал произвольный характер связи между означающим и означаемым в знаке и еще более определенно — между знаком и обозначаемым им предметом. Но забывали, что одновременно с этим Соссюр утверждал (очень жестко, т. е. ошибочно) безусловную обязательность языкового знака для каждого отдельного говорящего и слушающего, необходимость для них беспрекословного принятия данной, а не иной связи означаемого и означающего. Вот с этим и покончил Брехт, сначала применительно к отношению «изображаемого» и «изображающего» в театре, а вслед за тем то же проделали семиологи относительно языкового знака. Как всегда, само искусство опережало его теорию.

Представление о несвободе говорящего «перед лицом знака», сущности которого — означаемое, означающее, предмет — связаны как бы беспрекословным социальным законом, сменилось представлением об известной свободе говорящего, в силах которого — в известных пределах — изменять эти связи. Отсюда до изменения социальных ценностей оставался только один шаг. Нечто подобное уже имело место в истории: во времена «Великой французской» идеи революции были подготовлены революцией идей.

Брехт, отвергая «естественность» связи между изображаемым и изображающим, также преследовал глубокие социальные идеи. Этим разрывом на сцене одновременно отвергалась «естественность», «единственность» поведения изображаемого персонажа и изображаемой жизни, показывалась возможность его иного поведения и в конечном счете возможность переустройства самой жизни. Возможность, которую не преминули уловить позднейшие, в особенности французские, семиологи.

Театр Брехта оказал непосредственное влияние на формирование семиотики Ролана Барта. Сам Барт уже в 1956 г. писал: «Следует признать, что драматургия Брехта, его теория эпического театра, теория "очуждения"[32] и вся практика театра "Берлинер Ансамбль" в отношении декорации и костюмов ставят явно семиотическую проблему. Ибо постулат всей театральной деятельнос-

[32] Брехтовский термин — Verfremdung «очуждение» (отличный от термина политэкономии Entfremdung «отчуждение»); в известной мере он сопоставим с термином русской формальной школы «остранение»; в англоязычной литературе утвердился перевод alienation, alienation effect или A-effect.

ти Брехта, по крайней мере на сегодняшний день, гласит: драматическое искусство должно не столько выражать реальность, сколько означивать ее. Отсюда необходимо, чтобы была известная дистанция между означаемым и означающим: революционное искусство должно принять известную произвольность знаков... Брехтовская мысль... враждебна эстетике, основанной на "естественном" выражении реальности»[33].

Один из ранних семиологических очерков Барта, признаваемый современными семиологами образцовым по точности и афористичности (он занимает всего три страницы), был посвящен брехтовской инсценировке повести А. М. Горького «Мать»[34]. Известно, что одной из идей горьковского романа была идея пробуждения масс под влиянием революционной агитации. Эту идею в своеобразной форме и развил Брехт в своем спектакле. У Брехта — и в этом состояло новаторство его постановки — оказывалось, что если в традиционном смысле слова «мать» — это существо, которое породило «сына», то в революционном смысле мать пробуждена к сознательной жизни своим сыном-революционером: «Мать» — то существо, которое, материально произведя «сына», в духовном смысле произведено им самим. Само значение слова «мать» оказывалось при этом, очевидно, необычным, в известной мере обратным общепринятому.

Таким образом, в основу прагматики 1950-х годов был положен тезис об отсутствии «естественной» связи между «означаемым» и «означающим» как двумя сторонами знака — материальной и психической, а также об отсутствии такой связи между знаком в целом (состоящим из «означаемого» и «означающего») и предметом. Более того, этот тезис был дополнен положением об отсутствии сколько-нибудь «беспрекословной» социальной связи между тремя сущностями. Этим положениям суждено было сыграть значительную — в основном положительную, но кое в чем и отрицательную — роль в дальнейшем развитии прагматики, а также семиотики в целом.

В зависимости от того, какой, так сказать, «щели» придавалось решающее значение — «щели» между означающим и означаемым или «щели» между знаком и предметом, семиотические анализы в последующие годы направлялись по двум линиям. В первом случае акцент переносился на анализ психических ассоциаций между означаемым и означающим и на их перестройку в индивидуальном творчестве. Таким был, например, знаменитый этюд Барта «S/Z» (1970 г.) о новелле Бальзака «Сарразин».

---

[33] Barthes R. Essais critiques. Du Seuil. Paris, 1954, p. 87—88 («Les taches de la critique brechtienne»).

[34] Barthes R. Sur «La Mère» de Brecht // Ibid, p. 143.

Семиотические исследования по этой линии привели к соединению семиотики с психоанализом Ж. Лакана, причем точкой соединения явилась как раз проблема субъекта. Но здесь мы не будем дальше следовать за перипетиями собственной семиотики Ролана Барта. Упомянем лишь — деталь немаловажная для нашей темы, — что это привело Барта, как и многих семиологов, к необходимости разработки лингвистики текста, или дискурса. Важно, что результатом всего этого развития стал следующий тезис: каждый акт высказывания должен рассматриваться как практика, преобразующая и обновляющая значение (семантику); значение и субъект одновременно производятся в динамике текста, в дискурсе (Далее см. в наст. сб. в статье П. Серио).

Уже Брехт указал некоторые чисто языковые средства, которые способствуют эффекту «очуждения» в его театре. При методе игры с неполным перевоплощением способствовать «очуждению» высказываний и поступков представляемого персонажа могут такие вспомогательные средства, как 1) перевод в третье лицо; 2) перевод в прошедшее время; 3) чтение роли вместе с ремарками и комментариями; 4) фразы с «не — а». «Простейшие фразы, в которых употребляется "эффект очуждения", — это фразы с "не — а" (он сказал не "войдите", а "проходите дальше"; он не радовался, а сердился)», то есть существовало некое ожидание, подсказанное опытом, однако наступило разочарование. «Следовало думать, что... но, оказывается, этого не следовало думать» и т. д.[35]

По-видимому, не случайным обстоятельством оказалось то, что современные семантики установили особую роль предиката отрицания и его разновидности «не — а», о которой говорил Брехт: противопоставительный контекст способен оказывать разрушительное воздействие на многие закономерности, действующие в нейтральных условиях. Частица *не* в русском языке в контексте противопоставления ведет себя во многих отношениях иначе, чем в нейтральном контексте.

Приведенный пример типичен. Во многих случаях семантические свойства языковых единиц, помещенных в достаточно длинный и динамически развертывающийся контекст (дискурс), оказываются существенно иными, нежели семантические свойства тех же единиц, рассматриваемых в изолированном виде или в коротком контексте. Прежде всего речь идет, конечно, об основной единице — высказывании-предложении. Мы ограничимся лишь указанием некоторых таких свойств.

Так, предложения с субъектом «Я» являются основным «фокусом» дискурса и соответственно прагматики. Эти предложения суще-

[35] Брехт Б. Новые принципы актерского искусства // Брехт Б. Театр, т. 5, с. 105—114.

ственно отличаются от предложений с субъектом «не-Я»: «Я»-субъекты не устанавливают отношение (референцию) к внешнему миру — «Я» одновременно и предмет внешнего мира, и субъект мышления, т. е. субъект понятийной сферы; далее, «Я»-субъекты не требуют индивидности и индивидуализации: «Я» всегда индивид в высшей степени; и, наконец, они не требуют предположения, презумпции (пресуппозиции) существования, — существование говорящего утверждается самим актом его говорения.

Это положение соотносит проблемы прагматики и философии. Так, справедливо подчеркивая до сих пор не до конца решенные вопросы, связанные с логическим анализом декартовского афоризма «Я мыслю, следовательно, я существую», французский логик Ф. Реканати вводит понятие «прагматического парадокса». В отличие от известных «логических парадоксов» и «семантических парадоксов» под «прагматическими парадоксами» Реканати предлагает понимать противоречие, возникающее в самом акте говорения или мышления, если содержанием акта является отрицательное высказывание «Я не мыслю», «Я не говорю», но ведь одновременно это мыслится, говорится[36].

Таким образом, дискурс имеет по крайней мере одно твердое логическое основание, одну незыблемую главную презумпцию, или пресуппозицию: существование «Эго» говорящего субъекта предопределено самим актом говорения. Все другие субъекты, в том числе и все другие «Я» говорящего (например, сам он в прошлом), требуют иных пресуппозиций.

Отсюда, между прочим, проистекают такие прагматические парадоксы, как «Я ошибочно считал, что...» (в прошлом) — правильно; но «Я ошибочно считаю, что...» (в настоящем) — неправильно. Однако весьма затруднительно сказать, что здесь логически неправильного. Неправильность именно прагматическая.

Для Декарта «Cogito, ergo sum» («Я мыслю, следовательно, я существую») означало утверждение человека как мыслящего, через его мысль. И это послужило началом новой философии — весьма серьезной вещи. В отличие от этого новым принципом становится «Loquor, ergo sum» («Я говорю, следовательно, я существую»).

Принцип менее солидный и основание вряд ли достаточное для того, чтобы утвердить на нем познание человека. Подчеркнем еще раз, что современная семиотика так же не является теорией познания, как не является она и теорией искусства.

Но зато прагматику как часть семиотики благодаря новому основанию можно определить более точно — как семиотическую дисциплину, предметом которой является текст в его динамике, дискурс, соотнесенный с главным субъектом, с «Эго» творящего текст

[36] См. Récanati F. La transparence et l'énonciation, Pour introduire à la pragmatique. Du Seuil. Paris, 1959, p. 205.

человека. Прагматика рассматривает человека как автора событий, хотя эти события и заключаются в говорении. Впрочем, и это уже не так мало.

Из проделанного обзора между прочим видно, что термин «прагматика», неудачный с самого начала и влекущий ложные ассоциации (например, с прагматизмом), теперь решительно не отвечает своему содержанию. Предпринимаются уже поиски для его замены.

9

Интертекст и *Инфосфера.* (Инфосфера — укороченное обозначение сферы информации, информосферы.) Выше мы уже упомянули эти ключевые термины как «точку прибытия» семиотики после ряда ее предшествующих достижений, зафиксированных в других ключевых терминах (*семантика*, *прагматика*, *высказывание* и т. д.), т. е. схематически имело место такое развитие:

Высказывание ⇒ *текст* ⇒ *дискурс* ⇒ *интертекст и инфосфера.*

Если, опять-таки не гнаться сейчас за особой точностью (это ведет скорее к формализации, чем к объяснению, — а именно оно здесь наша цель), то *текст* можно определить путем расширения как *связную совокупность высказываний*, а *дискурс* как такое расширение, при котором выявляется и подчеркивается помимо линейного расширения («on line») его парадигматический аспект («off line») — то, какие классификации объектов мира и какие семантические связи между ними при данном расширении устанавливаются? Текст, например текст романа, является с этой точки зрения именно текстом, связной совокупностью высказываний, а *дискурсом* романа будет картина мира, создаваемая посредством этого текста, вплоть до «идеологии», авторских предпочтений, его симпатий и антипатий, «подтекста», отношения к другим романам и вообще к другим текстам, и т. д.

Термин «интертекст» и, как обозначение общего свойства, «интертекстуальность» (франц. intertextualité) были введены впервые начиная с 1967 г. в ряде работ теоретика постмодернизма французской исследовательницы (болгарского происхождения) Юлии Кристевой. Классическую формулировку этим понятиям придал Ролан Барт: «Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки куль-

турных кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом и т. д. — все они поглощены текстом и перемешаны в нем, поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык. Как необходимое предварительное условие для любого текста интертекстуальность не может быть сведена к проблеме источников и влияний; она представляет собой общее поле анонимных формул, происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных или автоматических цитат, даваемых без кавычек»[37].

Автор текста взаимодействует посредством творимого им текста с другими текстами, их авторами, вообще с другими людьми. «Мы назовем *интертекстуальностью*, — писала Ю. Кристева, — эту текстуальную интер-акцию, которая происходит внутри отдельного текста. Для познающего субъекта интертекстуальность — это понятие, которое будет признаком того способа, каким текст прочитывает историю и вписывается в нее»[38]. Эти определения продолжает И. П. Ильин: «Под влиянием теоретиков структурализма и постструктурализма (в области литературоведения в первую очередь Ж. Дерриды и др.), отстаивающих панъязыковой характер мышления, сознание человека было отождествлено с письменным текстом как якобы единственным более или менее достоверным способом его фиксации. В конечном же счете как текст стало рассматриваться все: литература, культура, общество, история, сам человек.

Положение, что история и общество являются тем, что может быть "прочитано" как текст, привело к восприятию человеческой культуры как единого "интертекста", который в свою очередь служит как бы предтекстом любого вновь появляющегося текста. Важным последствием уподобления сознания тексту было "интертекстуальное" растворение суверенной субъективности человека в текстах-сознаниях, составляющих "великий интертекст" культурной традиции»[39].

(Увлеченные литературоведческими открытиями, авторы забывают только сказать, что сам термин *интертекст* явился далеко не первым среди сотен французских неологизмов с начальной морфемой inter-; одно из первых употреблений этой словесной модели отмечено в 1957 г. в еженедельнике «L'Express» — *interarmées* «межармейский», вполне понятным в тогдашней атмосфере холодной

---

[37] Barthes R. Texte// Encyclopedia universalis. Vol. 15. P., 1973, p. 78.

[38] Kristeva Y. La rèvolution du langage poétique: l'avant-garde a la fin du XIX-e siècle. P., 1974, p. 443.

[39] Ильин И.П. Интертекстуальность// Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. М.: Интрада, 1996, с. 216. См. также другие сборники, например: Intertextualität. Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien. Herausgeg. von U. Broich, M. Pfister. Tübingen, 1985.

войны; вскоре явилось естественное для Франции употребление в иной сфере: *intersexe* «межсексуальный» — Désacraliser le rituel des relations intersexes «(Надо) лишить сакрального облика ритуал интерсексуальных отношений» (Пьер Данинос, в одном из своих романов, 1970 г.)[40].

В нашем сборнике эта линия развития семиотики, «линия интертекста», представлена работами Г. Г. Амелина и В. Я. Мордерер, с одной стороны, и М. В. Тростникова, с другой.

Но общая картина семиотики, ее «теоретическая карта» наших дней была бы неполна, если бы в ней не была указана другая линия развития, идущая от науки и техники, — информатика, информационный мир, или *инфосфера*. Одной из первых (и немногих) книг, близких к семиотике, стала следующая: И. Б. Новик, А. Ш. Абдуллаев. «Введение в информационный мир». М.: Наука, 1991. В ней излагается «концепция информации как объективной сущности, объединяющей в себе материальное (физическое) и идеальное, или структуру и функцию, в тесной взаимосвязи», а «физическая реальность определяется уже как информационная реальность, или как информационный мир» (с. 5). Эти исходные определения очень близки к тем, которые формулировались еще на заре отечественной семиотики в 1970-е годы[41]. В настоящее время эта линия исследований, одновременно информатики, семиотики и философии языка, включается также в новую сферу «синергетики»[42].

Другая, линия, более конкретно, информатики, под названием *инфосфера* представлена в нашей литературе книгой: Р. С. Гиляревский, И. С. Туров, А. И. Черный. «Инфосфера: Информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе». М.: ВИНИТИ, 1996. Авторы начинают свою книгу так: «*О заглавии.* Инфосфера — термин уже бытующий в научной литературе, хотя и не имеющий общепринятого понимания и определения. Мы употребляем его в значении, ясном из подзаголовка: информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе. Совершенно ясно, что *инфосфера* восходит к *ноосфере* — термину, который был введен в научное обращение в 20-х годах нынешнего века П. Тейяром де Шарденом и Э. Леруа (Франция) и независимо от них В. И. Вернадским» (с. 11). Упоминание имен Тейера и Вернадского здесь глубоко закономерно (ср. у нас выше, разделы 1 и 4).

---

[40] См.: Gilbert P. Dictionnaire des mots contemporains. P.: Robert, 1980, colonne 297.

[41] Степанов Ю. С. Семиотика. М.: Наука, 1971 с. 159—160; новейшее переиздание в свете философии языка: он же. Язык и Метод: К современной философии языка. М.: Языки рус. культуры, 1998, с. 165—170.

[42] Из последних обобщающих трудов см.: Синергетическая парадигма. М.: Прогресс-Традиция, 2000.

Но и с этим расширением картина семиотики все еще не полна. Из сказанного, в особенности из серии определений интертекстуальности, даваемых на основе литературоведения и литературоведческой критики «художественных» текстов (хотя сам термин «художественность», конечно, устарел), может создаться впечатление, что новые понятия возникают в творчестве «теоретиков», — впечатление ошибочное. Мы не устаем подчеркивать, что в семиотике новое создается сначала за пределами теории, не «теоретиками» в виде понятий, а в словесной практике, творцами, в виде самих явлений — новых текстов, в частности, интертекстов («художественных» или как бы их ни называть). Это хорошо видно из статьи Г. Г. Амелина и В. Я. Мордерер.

Но все же именно теоретики завершают процесс создания нового. Также и интертекст завершается теоретиками: *единый информационный мир создает свое единство соединением творчества* («художественного», научно-технического, — всякого) и *его теоретического осознания.*

Поэтому и начальные исторические этапы этого теоретического осознания не должны быть забыты. Мы видим их прежде всего в таких замечательных трудах, как «Комментарий к роману А.С. Пушкина "Евгений Онегин"» Владимира Набокова (создавалось с 1949 по 1964 гг.; издано в России в перев. с англ.: СПб.: Искусство-СПб, Набоковский фонд, 1999) и «Поэтика сюжетов» Александра Николаевича Веселовского (1897—1906). В виду ограниченного объема нашего сборника мы не имеем возможности включить отрывки из них. Но сама традиция представлена выдержками из работы А. Белого, относящейся, с современной точки зрения, скорее к понятию дискурса, его «парадигматике» и семиотике, и статьей А. А. Реформатского, характеризующей понятие «текст» в его структуре.

Мы уже говорили, что теория «нового расширения» семиотики в виде единого информационного пространства в настоящее время еще отсутствует, но, коль скоро мы упомянули линию «поэтики сюжетов», скажем, что видим путь к такой теории, ее возможное (с нашей личной точки зрения, и самое вероятное) теоретическое ядро *в структуре мотива и сюжета.*

10

Семиотика расширяется в сферу этики; один моральный постулат. Выше уже было сказано, что интертекстуальность имеет неожиданные последствия. И. П. Ильин прозорливо отметил, что автор всякого текста, художественного или любого иного, «превращается (по Ю. Кристевой) в пустое пространство проекции интертек-

стуальной игры», или иначе (по М. Бютору): «Не существует индивидуального произведения. Произведение индивида представляет собой своего рода узелок, который образуется внутри культурной ткани и в лоно которой он чувствует себя не просто погруженным, но именно появившимся в нем. Индивид по своему происхождению — всего лишь элемент этой культурной ткани»[43].

Но именно этот факт и порождает этические последствия. Мы, в нашей европейской христианской культуре, привыкли рассматривать текст как наивысшее сознательное воплощение авторской индивидуальности. Теперь, значит, она «ставится под угрозу»? (Французские авторы выразились бы, вероятно, более деликатно: «est mise en question» — «ставится под вопрос».) Этот «вопрос» и является проблемой, одновременно этической и семиотической. Как семиотическая, она достаточно охарактеризована выше. Что касается этической стороны как целой проблемы, то она самоочевидна в силу ее аналогии с проблемой, например, пересадки органов тела от одного человека другому, или, — другой пример — в силу проблемы самоидентификации человека: какое имя должен носить ребенок, взятый из приюта на усыновление? Или — третий пример — почему некоторые православные верующие в России отказываются *просить* присвоить им «ИНН»— индивидуальный компьютерный налоговый номер, учреждаемый государственной налоговой службой? И т. д. и т. п.

Разумеется, в рамках этой книги мы не думаем эту проблему разрешить но мы обязаны ее обозначить.

Что касается решения, то у нас есть, кажется, семиотический путь к нему: интертекст не затрагивает личность, и мы имеем в виду моральный постулат, сформулированный философом (и как раз христианином и соратником В. И. Вернадского) Пьером Тейяром де Шарденом: мы всё еще стремимся к обособлению, к индивидуальности, тогда как *мы должны стремиться не к индивидуальности, а к личности.* Но это уже другой вопрос[44].

11

Семиотика расширяется в новую сферу — исследование культурных концептов, или концептологию.

Под концептами понимаются понятия, но понятия наиболее общего порядка, являющиеся ценностями данной культуры и челове-

---

[43] Ильин И. П. Интертекстуальность. Цит. раб., с. 216 и 220.

[44] Мы рассматриваем его в другой книге: Константы. Словарь русской культуры. 1-е изд. М.: Языки русской культуры, 1997, с. 772; 2-е изд. в настоящем изд-ве, 2000.

ческой культуры вообще, — такие, как «Закон», «Справедливость», «Любовь», «Вера», «Семья», «Общество» и т. п., а также их более частные составляющие — «Цивилизованное общество», «Правда, истина», «Правосудие, суд» и т. п. и даже их антиподы — «Беззаконие», «Ненависть», «Хаос», «Террор» и т. п. В отличие от просто понятий, которые определяются в системах частных наук и в общем виде в логике, концепты не только определяются, но и *переживаются*, — они имеют *эмоциональную* и *художественную* компоненту. Концепты, под разными общими наименованиями, привлекали напряженное внимание мыслителей с древних времен. Прообразом понятия о концепте («концептом концепта») стало учение Платона об идеях[45]. Первой специальной работой об этом предмете на русском языке является, по-видимому, очерк С. А. Аскольдова (Алексеева) 1928 г.[46].

Поскольку мы рассматриваем учение о концептах в связи с семиотикой, то оно естественным образом должно следовать за семиотикой интертекста: оно расширяет последнюю в сферу лексикона («парадигматики»). (Подобно тому, как сорок лет назад работа К. Леви-Стросса расширила в том же направлении концепцию В. Я. Проппа.)

12

Заключительное замечание. Итак, мы кратко просмотрели всю семиотику последних десятилетий под определенным углом зрения — *от высказывания.* Поскольку сама семиотика есть наиболее структурированная часть информационной сферы, сферы информации, то естественным образом возникает вопрос: обнаруживаются ли какие-либо явления, аналогичные высказыванию в языке, за пределами языка и языкоподобных систем — в природе? И ответ на этот вопрос в настоящее время должен быть положительным: да, обнаруживаются.

Но лежит этот ответ уже в несколько иной сфере, чем семиотика в тесном смысле слова, — в сфере *синергетики*, исследующей особо сложные процессы в культуре, обществе и природе,

---

[45] Лучшим изложением этого учения на русском языке остается работа (1859 г.): Юркевич П. Д. Идея // Юркевич П. Д. Философские произведения. М.: Правда, 1990. Близкое к последнему у А. Ф. Лосева: Лосев А. Ф. Словарь античной философии. Избр. статьи. М.: Мир идей — Акрон, 1995, с. 66—70.

[46] Аскольдов С. А. Концепт и слово // Русская речь. Новая серия. Л., 1928. Вып. II.; имеется перепечатка, в кн.: Русская словесность: Антология / Под общ. ред. В. П. Нерознака. М.: Academia, 1997.

связанные с проявлениями самоорганизации, порядка и противопоставленного им хаоса. Бенуа Мандельброт, сделавший решающий шаг в синергетике благодаря открытию Фракталов, во вступлении к своей книге[47] говорит: «To name is to know» — «Называть — это знать», следуя, как можно полагать, древней латинской поговорке-поверью «Nomen est omen» — «Имя — это предзнаменование». Здесь на наших глазах снова сталкиваются две издревле существующие точки зрения — «конвенционализм» («Имя есть условность, узаконенная самими людьми») и «природность» («Имя есть проявление природной сущности вещи, ее идеи»). Комментируя афоризм Мандельброта, отечественный синергетик замечает: «Первую точку зрения можно обозначить известной фразой Заболоцкого: "У животных нет названья", т. е. наши именования природы больше свидетельствуют о нас, чем о природе — о наших "правилах игры", "конвенциях", "символах веры". [...] Вместе с тем (и это вторая точка зрения) "имена природы" могут содержаться в самой природе — читаться в "книге природы". Эту натурфилософскую точку зрения и отстаивает Мандельброт. Он декларирует "настоящую природность" своего геометрического языка, [...] именования наличествуют во внутренне присущей природе "истинной" геометрии»[48].

Итак, — продолжим мы, — если имена присутствуют в природе как «встреча» между именующим и именуемым, то в природе в некотором смысле должны присутствовать и сочетания имен, т. е. высказывания, хотя бы как сочетания предметов, о которых говорят сочетания имен. И если в первом, во «встречном» характере имен, были убеждены многие мыслители на протяжении тысячелетий (от Платона до знатоков теории фракталов), то не должен ли второй вопрос, о высказываниях в этом смысле, стать вопросом семиотики? Мы полагаем, что должен, что здесь — «точка роста» семиотики наших дней. Ее будущее.

---

[47] Mandelbrot B. The Fractal Geometry of Nature. N.Y., Freeman, 1983.

[48] Тарасенко В. В. Фрактальная геометрия природы: социокультурное измерение // Синергетическая парадигма. М.: Прогресс-Традиция, 2000, с. 198.

I

ИЗ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ СЕМИОТИКИ*

* Данное наименование этой области представляется более подходящим, чем, например, «Основания семиотики» или «Основания теории знаков», так как мы включаем ее в саму семиотику, тогда как «основания» какой-либо науки зачастую мыслятся вне самой этой науки; например, «основания математики» не рассматриваются в обычном составе математических дисциплин.

Чарльз Уильям Моррис

Основания теории знаков

Nemo autem vereri debet ne characterum contemplatio nos a rebus abducat, imo contra ad intima rerum ducet.

*Gottfried Leibniz**

I. ВВЕДЕНИЕ. СЕМИОТИКА И НАУКА

Люди — это высшие из живых существ, использующие знаки. Разумеется, не только люди, но и животные реагируют на некоторые вещи как на знаки чего-то другого, но такие знаки не достигают той сложности и совершенства, которые обнаруживаются в человеческой речи, письме, искусстве, контрольных приборах, медицинской диагностике, сигнальных устройствах. Наука и знаки неотделимы друг от друга, поскольку наука дает в распоряжение людей все более надежные знаки и представляет свои результаты в форме знаковых систем. Человеческая цивилизация невозможна без знаков и знаковых систем, человеческий разум неотделим от функционирования знаков — а возможно, и вообще интеллект следует отождествить именно с функционированием знаков.

Едва ли когда-либо прежде знаки изучались столь интенсивно, столь многими людьми и со столь многих точек зрения. Эта армия исследователей включает лингвистов, логиков, философов, психологов, биологов, антропологов, психиатров, эстетиков, социологов. Однако еще нет теоретического построения, ко-

* Никто не должен бояться, что наблюдение над знаками уведет нас от вещей: напротив, оно приводит нас к сущности вещей. — *Готфрид Лейбниц (лат.).*

торое было бы достаточно простым, но вместе с тем достаточно широким, чтобы охватить результаты, полученные с разных позиций, и объединить их в единое и последовательное целое. Цель настоящей работы как раз и заключается в том, чтобы предложить такую объединяющую точку зрения и наметить контуры науки о знаках. Осуществить это в рамках данного очерка можно лишь фрагментарно, отчасти из-за его ограниченного объема, отчасти из-за недостаточного развития самой науки. Но главным образом из-за того, что данный очерк был предназначен для *«Энциклопедии»**.

Отношение семиотики к наукам двоякое: с одной стороны, семиотика — это наука в ряду других наук, а с другой стороны, это — инструмент наук. Важное значение семиотики как науки кроется в том, что это — определенный шаг вперед в унификации науки, поскольку она закладывает основы любой другой частной науки о знаках — такой, как лингвистика, логика, математика, риторика и (по крайней мере до известной степени) эстетика. Понятие знака может оказаться важным для объединения социальных, психологических и гуманитарных наук, когда их отграничивают от наук физических и биологических. А поскольку, как будет показано ниже, знаки — это просто объекты, изучаемые биологическими и физическими науками и связанные между собой в сложных функциональных процессах, то объединение формальных наук, с одной стороны, и социальных, психологических и гуманитарных наук — с другой, создаст необходимую базу для объединения этих двух рядов наук с физикой и биологией. Семиотика, таким образом, может сыграть важную роль в деле объединения наук, хотя природу и степень участия семиотики в этом процессе еще предстоит выяснить.

Но если семиотика — это полноправная наука, изучающая вещи и свойства вещей в их функции служить знаками, то она в то же время и инструмент всех наук, поскольку любая наука использует знаки и выражает свои результаты с помощью знаков. Следовательно, метанаука (наука о науке) должна использовать семиотику как органон, или орудие. В статье «Научный эмпиризм» (т. 1, № 1) отмечалось, что изучение науки может быть целиком включено в изучение языка науки, поскольку изучение языка науки предполагает не просто изучение его формальной структуры, но и изучение его отношения к обозначаемым объектам, а также к людям, которые используют этот язык. В этой связи *«Энциклопедия»* как научное изучение науки есть изучение языка науки. Но так как ничто нельзя изучать без знаков, обозначающих объекты в изучаемой области, то и при изучении языка науки приходится использовать знаки,

* Это и другие названия и термины разъясняются в Комментарии.

указывающие на знаки. Задача семиотики как раз и заключается в том, чтобы разработать необходимые знаки и принципы такого исследования. Семиотика создает общий язык, применимый к любому конкретному языку или знаку, а значит, применимый и к языку науки, и к особым знакам, которые в науке используются.

Руководствуясь практическими соображениями, в представлении семиотики как науки и как орудия объединения наук нам придется ограничиться лишь тем, что окажется необходимым для того, чтобы пользоваться *«Энциклопедией»*, то есть разработать язык, на котором можно говорить о языке науки, и в процессе этого попытаться усовершенствовать сам язык науки. Понадобились бы многие другие исследования, чтобы конкретно показать результаты применения знакового анализа к отдельным наукам, а также общее значение этого анализа для объединения наук. Но даже и без подробной документации многим сейчас стало ясно, что человек — в том числе человек науки — должен освободить себя от сплетенной им самим паутины слов и что язык — в том числе язык науки — остро нуждается в очищении, упрощении и упорядочении. Теория знаков — полезный инструмент для ликвидации последствий этого своеобразного «вавилонского столпотворения».

II. СЕМИОЗИС И СЕМИОТИКА

1. Природа знака

Процесс, в котором нечто функционирует как знак, можно назвать *семиозисом*. Этот процесс в традиции, восходящей к грекам, обычно рассматривался как включающий три (или четыре) фактора: то, что выступает как знак; то, на что указывает (refers to) знак; воздействие, в силу которого соответствующая вещь оказывается для интерпретатора знаком. Эти три компонента семиозиса могут быть названы соответственно *знаковым средством* (или *знаконосителем)* (sign vehicle), *десигнатом* (designatum) и *интерпретантой* (interpretant), а в качестве четвертого фактора может быть введен *интерпретатор* (interpreter). Эти термины делают эксплицитными факторы, остающиеся необозначенными в распространенном утверждении, согласно которому знак указывает на что-то для кого-то.

Собака реагирует на определенный звук (знаковое средство [З]) типом поведения (интерпретанта [И]), как при охоте на бурундуков (десигнат [Д]); путешественник готовится вести себя соответствующим образом (И) в определенной географической области (Д) благодаря письму (З), полученному от друга. В этих примерах

З есть знаковое средство (и знак в силу своего функционирования), Д — десигнат и И — интерпретанта интерпретатора. Наиболее эффективно знак можно охарактеризовать следующим образом: З есть знак Д для И в той степени, в какой И учитывает Д благодаря наличию З. Таким образом, в семиозисе нечто учитывает нечто другое опосредованно, то есть через посредство чего-то третьего. Следовательно, семиозис — это «опосредованное учитывание». Посредниками выступают *знаковые средства,* [обобщенное] учитывание — это *интерпретанта,* действующие лица процесса — *интерпретаторы,* а то, что учитывается, — *десигнаты.* Данная формулировка нуждается в комментариях.

Необходимо подчеркнуть, что термины «знак», «десигнат», «интерпретанта» и «интерпретатор» подразумевают друг друга, поскольку это просто способы указания на аспекты процесса семиозиса. Совсем не обязательно, чтобы на объекты указывалось с помощью знаков, но, если нет такой референции, нет и десигната; нечто есть знак только потому, что оно интерпретируется как знак чего-либо некоторым интерпретатором; [обобщенное] учитывание чего-либо является интерпретантой лишь постольку, поскольку оно вызывается чем-то, функционирующим в качестве знака; некоторый объект является интерпретатором только потому, что он опосредованно учитывает нечто. Свойства знака, десигната, интерпретатора или интерпретанты — это свойства реляционные, приобретаемые объектами в функциональном процессе семиозиса. Семиотика, следовательно, изучает не какой-то особый род объектов, а обычные объекты в той (и только в той) мере, в какой они участвуют в семиозисе. Важность этого обстоятельства все больше будет раскрываться в дальнейшем изложении.

Знаки, указывающие на один и тот же объект, не обязательно имеют те же самые десигнаты, поскольку то, что учитывается в объекте, у разных интерпретаторов может быть различным. Знак объекта в одном предельном случае, который теоретически следует иметь в виду, может просто привлечь внимание интерпретатора к объекту, тогда как в другом предельном случае знак позволит интерпретатору учесть все существенные признаки объекта при отсутствии самого объекта. Существует, таким образом, потенциальный знаковый континуум, в котором по отношению к каждому объекту или ситуации могут быть выражены все степени семиозиса, и вопрос о том, что представляет собой десигнат знака в каждой конкретной ситуации, есть вопрос о том, какие признаки объекта или ситуации фактически учитываются в силу наличия самого только знакового средства.

Знак должен иметь десигнат; тем не менее очевидно, что не каждый знак действительно указывает на какой-либо реально существующий объект. Трудности, которые такие утверждения могут

вызвать, — только кажущиеся, и для их разрешения не требуется обращения к метафизическому царству «сущностей» («subsistence»). Поскольку «десигнат» — это семиотический термин, то вне семиозиса десигнатов быть не может, хотя объекты могут существовать и без семиозиса. Десигнат знака — это класс объектов, к которым применим знак, то есть объекты, обладающие определенными свойствами, которые интерпретатор учитывает благодаря наличию знакового средства. [Обобщенное] учитывание может иметь место и при фактическом отсутствии объектов или ситуации, свойства которых были учтены. Это справедливо даже в случае указывания жестом: иногда можно указывать, и не указывая конкретно на что-либо. Никакого противоречия не возникает, когда говорят, что у каждого знака есть десигнат, но не каждый знак соотносится с чем-либо реально существующим. В тех случаях, когда объект референции реально существует, этот объект является *денотатом*. Таким образом, становится ясно, что если десигнат есть у каждого знака, то не у каждого знака есть денотат. Десигнат — это не вещь, но род объекта или класс объектов, а класс может включать в себя или много членов, или только один член, или вообще не иметь членов. Денотаты же являются членами класса. Это различие делает понятным то, что можно полезть в холодильник за яблоком, которого там нет, или же готовиться к жизни на острове, которого, возможно, никогда не существовало или который давным-давно исчез под водой.

И наконец, последнее замечание, касающееся определения знака. Следует подчеркнуть, что общая теория знаков не должна себя связывать с какой-либо конкретной теорией о том, что происходит, когда нечто учитывается благодаря использованию знака. Видимо, стоит признать «опосредованное [обобщенное] учитывание» в качестве единственного исходного термина для развития семиотической аксиоматики. Тем не менее сказанное выше вполне может быть интерпретировано с точки зрения бихевиоризма, которая и будет принята здесь. Однако такое толкование определения знака отнюдь не является необходимым. Оно принимается здесь потому, что бихевиористская точка зрения в той или иной форме (хотя и не в форме бихевиоризма Уотсона) получила широкое распространение среди психологов, а также потому, что многие трудности в истории семиотики обусловлены, по-видимому, тем, что на протяжении почти всей своей истории семиотика связывала себя с интроспективной психологией и психологией способностей. С точки зрения бихевиоризма, учесть Д вследствие наличия З — значит реагировать на Д в силу реакции на З. Как будет показано ниже, не обязательно отрицать «индивидуальный опыт» процесса семиозиса или каких-либо других процессов, но с точки зрения бихевиоризма нельзя считать, что это имеет важнейшее значение или что

факт существования индивидуального опыта делает объективное изучение семиозиса (и, следовательно, знака, десигната и интерпретанты) невозможным или хотя бы неполным.

2. Измерения и уровни семиозиса

Отталкиваясь от трех соотносительных членов троичного отношения семиозиса (знаковое средство, десигнат, интерпретатор), можно абстрагировать и рассмотреть ряд бинарных отношений. Можно, например, изучать отношения знаков к их объектам. Это отношение мы назовем *семантическим измерением семиозиса* (обозначается символом $И_{сем}$); изучение этого измерения назовем *семантикой*. Предметом исследования, далее, может стать отношение знаков к интерпретаторам. Это отношение мы назовем *прагматическим измерением семиозиса* (обозначается символом $И_{прагм}$), а изучение этого измерения — *прагматикой*.

Здесь пока не было введено еще одно важное отношение: формальное отношение знаков друг к другу. Это отношение не было в предшествующем изложении эксплицитно включено в определение «знака», поскольку в современном употреблении, по-видимому, не исключается возможность применять термин «знак» к чему-то, что не является членом некоторой системы знаков, — такая возможность предполагается, исходя из знаковых аспектов восприятия и различных, очевидно, изолированных друг от друга средств запоминания и сигнализации. Однако такое толкование не представляется вполне убедительным и не устраняет сомнений в существовании такого явления, как изолированный знак. Безусловно, каждый знак, хотя бы потенциально, если не фактически, имеет связи с другими знаками, ибо только с помощью других знаков может быть сформулировано то, к учитыванию чего знак готовит интерпретатора. Разумеется, такое формулирование вовсе не обязательно, но в принципе оно возможно, и тогда данный знак вступает в отношения с другими знаками. Поскольку во многих случаях знаки, кажущиеся на первый взгляд изолированными, на самом деле таковыми не являются и поскольку все знаки, хотя бы потенциально, если не фактически, связаны с другими знаками, то целесообразно выделить третье измерение семиозиса, столь же правомерное, как и два других, названных выше. Это измерение мы назовем *синтактическим измерением семиозиса* (обозначается символом $И_{син}$), а изучение его — *синтактикой*.

Для обозначения определенных отношений знаков к знакам, к объектам, к интерпретаторам было бы удобно иметь специальные термины. Так, «имплицирует» будет ограничено $И_{син}$, «означает» и «денотирует» — $И_{сем}$, а «выражает» — $И_{прагм}$. Например, слово *стол* имплицирует (но не обозначает) «предмет мебели с горизонталь-

ной верхней поверхностью, на которой могут быть разложены вещи», означает же оно определенный род объекта (предмет мебели с горизонтальной верхней поверхностью, на которой могут быть разложены вещи); денотирует те объекты, к которым это слово применимо, и выражает своего интерпретатора. В каждом данном случае некоторые из измерений могут фактически или практически исчезать. Так, знак может не иметь синтактических связей с другими знаками, и тогда его импликативность фактически утрачивается; знак может иметь импликативность и при этом не денотировать никакого объекта; и наконец, знак может иметь импликативность при фактическом отсутствии интерпретатора и, следовательно, не иметь своего выражения — например, слова в мертвом языке. Но даже в таких крайних случаях названные термины удобны — с их помощью можно указать, что некоторые из возможных отношений остались нереализованными.

Очень важно видеть различие между отношениями, присущими данному знаку, и знаками, которые мы используем, когда говорим об этих отношениях, — полное осознание этого является, быть может, самым важным общим практическим приложением семиотики. Функционирование знаков — это, в общем, способ, при котором одни явления учитывают другие явления с помощью третьего, опосредующего класса явлений. Но если мы хотим избежать величайшей путаницы, нам следует тщательно разграничить уровни этого процесса. Семиотика как наука о семиозисе столь же отлична от семиозиса, как любая наука от своего объекта. Если x функционирует таким образом, что y учитывает z через посредство x, тогда мы можем сказать, что x — *знак* и что x означает z и т. п.; здесь «знак» и «означает» — это знаки более высокого уровня семиозиса, указывающие на процесс семиозиса более низкого уровня. Теперь уже означается определенное отношение между x и z, и не только одним z; означается x, означается z и означается отношение, и таким образом x становится знаком, а z — десигнатом. Если означение-десигнация может происходить на разных уровнях, то соответственно существуют и разные уровни десигнатов; «означение» оказывается знаком в пределах семиотики (и, в частности, в пределах семантики), поскольку это знак, который используется для указания (референции) на знаки.

Для констатации фактов о знаках семиотика как наука пользуется особыми знаками, это некий язык, на котором можно говорить о знаках. Семиотика включает в себя три подчиненные ей дисциплины — синтактику, семантику и прагматику, которые изучают соответственно синтактическое, семантическое и прагматическое измерения семиозиса. Каждая из этих дисциплин нуждается в собственных специальных терминах; термин «имплицирует», употребленный раньше, — это термин синтактики; «означает» и «деноти-

рует» — термины семантики, а «выражает» — прагматики. А поскольку разные измерения — это лишь аспекты одного и того же процесса, то между терминами этих дисциплин обнаруживаются определенные связи; и понадобятся особые знаки для характеристики этих связей и тем самым процесса семиозиса в целом. Термин «знак» — это термин семиотики в целом; его невозможно определить в пределах одной лишь синтактики, семантики или прагматики; лишь при очень широком использовании термина «семиотический» можно сказать, что все термины этих дисциплин являются семиотическими терминами.

Можно попытаться систематизировать совокупность терминов и утверждений, относящихся к знакам. В принципе, семиотику можно представить как дедуктивную систему с неопределяемыми терминами и исходными предложениями, которые позволяют вывести в качестве теорем другие предложения. Поскольку наука стремится именно к такой форме представления, семиотика, как наука, имеющая дело исключительно с отношениями, особенно пригодна для применения к ней новой логики отношений. Тем не менее вряд ли целесообразно или возможно применять этот тип изложения в данном очерке. Представителями формальной логики, эмпиризма, прагматизма, бесспорно, многое было достигнуто в общем изучении знаковых отношений, но полученные результаты составляют, по-видимому, лишь небольшую часть того, что можно было бы ожидать; предварительная систематизация в отдельных областях семиотики еще только начинается. По этой причине, а также потому, что настоящий очерк выполняет функцию введения, вряд ли целесообразна попытка формализации семиотики, поскольку это заставило бы нас выйти далеко за пределы существующего состояния предмета и могло бы затемнить ту роль, которую призвана сыграть семиотика в объединении наук.

Однако именно к этой цели нам следует стремиться. Когда она будет достигнута, возникнет так называемая *чистая семиотика* (pure semiotic), которая будет включать в себя в качестве составных частей чистую синтактику, чистую семантику и чистую прагматику. В систематической форме будет разработан метаязык, с помощью которого будут обсуждаться все знаковые ситуации. Применение этого языка для описания конкретных разновидностей знаков можно было бы назвать *дескриптивной семиотикой* (или соответственно дескриптивной синтактикой, семантикой или прагматикой). И в этом смысле настоящая *«Энциклопедия»*, поскольку она рассматривает язык науки, есть особенно важное проявление дескриптивной семиотики, в которой изучение структуры языка науки входит в компетенцию дескриптивной синтактики, изучение отношения этого языка к реально существующим ситуациям подпадает под дескриптивную семантику, а рассмотрение отношения

этого языка к его создателям и пользователям — компетенция дескриптивной прагматики. С этой точки зрения *«Энциклопедия»* в целом относится к области как чистой, так и дескриптивной семиотики.

3. Язык

Сказанное выше применимо ко всем знакам, как к простым, так и к сложным. Следовательно, оно применимо и к языкам как особому виду знаковой системы. Термин «язык», так же как большинство терминов, относящихся к знакам, неоднозначен, поскольку его признаки могут быть сформулированы в терминах различных измерений. Так, представитель формальной логики склонен рассматривать как язык любую аксиоматическую систему, независимо от того, обозначает ли эта система какие-нибудь объекты и использует ли ее реально какая-либо группа интерпретаторов; представитель эмпиризма, напротив, склонен подчеркивать необходимость связи знаков с объектами, которые они обозначают и свойства которых они верно констатируют; и наконец, представитель прагматизма склонен рассматривать язык как тип коммуникативной деятельности, социальной по происхождению и сущности, с помощью которой члены социальной группы более успешно удовлетворяют свои индивидуальные и общие нужды. Преимущество исследования, учитывающего три измерения, состоит в том, что оно признает обоснованными все эти точки зрения, поскольку они отражают три аспекта одного и того же явления; для удобства можно указывать тип рассмотрения (и, следовательно, абстракции) — $L_{син}$, $L_{сем}$, $L_{прагм}$. Выше уже отмечалось, что знак может не обозначать никаких реальных объектов (то есть не иметь денотата) или не иметь реального интерпретатора. Аналогичным образом могут существовать языки как разновидность знакового комплекса, которые в данный момент времени ни к чему не применяются и которые либо имеют единичного интерпретатора, либо вообще не имеют его, подобно тому как незаселенное здание все равно может быть названо домом. Однако нельзя считать языком совокупность знаков, у которой отсутствует синтактическое измерение, так как единичные знаки обычно языками не признаются. Но и этот случай для нас является важным, ибо, согласно принятой выше точке зрения (а именно: потенциально каждый знак синтактически связан с теми знаками, с помощью которых формулируется его десигнат, то есть род ситуации, к которой он применим), даже изолированный знак потенциально является знаком языка. Можно было бы также сказать, что изолированный знак имеет определенные отношения к самому себе, и тем самым синтактическое измерение, или что нулевое синтактическое измерение — это лишь особый случай синтактического измерения. Все эти случаи важны, потому что они по-

казывают степень независимости различных измерений и, следовательно, степень независимости $L_{син}$, $L_{сем}$ и $L_{прагм}$. Они свидетельствуют также о том, что нет абсолютной границы между знаками единичными, знаками в предложении и языками, — положение, которое особо подчеркивал Пирс.

Следовательно, язык как система взаимосвязанных знаков имеет такую синтактическую структуру, что некоторые из допустимых в ней сочетаний знаков могут функционировать как утверждения, и имеет такие знаковые средства, которые могут быть общими для многих интерпретаторов. Синтактические, семантические и прагматические аспекты такой характеристики языка станут яснее, когда будут рассмотрены соответствующие части семиотики. Из этого следует, что если полная характеристика отдельного знака возможна лишь тогда, когда указано его отношение к другим знакам, к объектам и к его пользователям, то и исчерпывающая характеристика языка возможна лишь при указании того, что ниже будет названо синтактическими, семантическими и прагматическими правилами, управляющими знаковыми средствами. Пока же необходимо отметить, что предлагаемая здесь характеристика языка является в строгом смысле семиотической, учитывающей все три измерения; мы избавимся от многих недоразумений, если осознаем, что́ слово «язык» в обычном использовании часто означает лишь один из аспектов того, что есть язык в полном смысле слова. Прояснить ситуацию помогает простая формула: $L = L_{син} + L_{сем} + L_{прагм}$.

Языки могут различаться по степени сложности своей структуры, по области означаемых объектов, по задачам, которые они могут адекватно выполнять. Такие естественные языки, как английский, французский, немецкий и др., принадлежат в этом смысле к наиболее богатым языкам и получили название *универсальных языков*, ибо с их помощью может быть выражено все. Однако в решении определенных задач такое богатство может оказаться помехой. В универсальных языках зачастую очень трудно понять, в пределах какого измерения тот или иной знак преимущественно функционирует, не указываются четко разные уровни референции символов. Такие языки, следовательно, неоднозначны, что приводит к явным противоречиям — обстоятельство, в некоторых отношениях (но не во всех) крайне неудобное. Приемы, способствующие научной ясности, могут ослабить потенциальные возможности эстетического использования знаков и наоборот. Исходя из этих соображений, неудивительно, что люди создали некоторые специальные и ограниченные языки для более успешного осуществления некоторых целей: математику и формально логику для выявления синтактической структуры, эмпирическую науку для более точного описания и предсказания природных процессов, изобразительное и прикладное искусство для показа и сохранения того, что доро-

го людям. Особенно слабо в обычном языке представлены средства, необходимые для того, чтобы говорить о языке, и задача семиотики как раз и состоит в том, чтобы создать язык, который удовлетворял бы этой потребности. Для осуществления своих собственных задач эти специальные языки могут выделять одни измерения функционирования знаков в большей степени, чем другие; тем не менее эти другие измерения, по-видимому, редко отсутствуют полностью, и такие языки можно рассматривать как особые случаи, подпадающие под полное семиотическое описание языка, которое было предложено.

В общем происхождение систем взаимосвязанных знаков объяснить нетрудно. Знаковым средствам, как всем природным сущностям, присуща связанность экстраорганических и интраорганических процессов. Слова, которые мы произносим или поем, являются в буквальном смысле составными частями реакции нашего организма, тогда как письмо, живопись, музыка и различные сигналы — это непосредственные продукты нашего поведения. Что касается знаков другого характера, нежели поведение или продукты поведения, — например, знаковых факторов восприятия, — то эти знаки взаимосвязаны, потому что взаимосвязаны их знаковые средства. Гром становится знаком молнии, а молния — знаком опасности именно потому, что гром, молния и опасность действительно связаны друг с другом специфическим образом. Если w ожидает x при наличии y, а z при наличии x, то взаимосвязанность этих двух вероятностей делает весьма естественным для w ожидать z при наличии y. Благодаря взаимосвязанности явлений, с одной стороны, и взаимосвязанности действий — с другой, знаки становятся взаимосвязанными, и возникает язык как система знаков. В целом синтактическая структура языка — это функция как объективных явлений, так и поведения, но не того или другого в отдельности, это положение можно назвать *двойным регулированием структуры языка*. Более подробно оно будет рассмотрено ниже, но уже сейчас очевидно, что в объяснении структуры языка оно позволяет избежать крайностей как конвенционализма, так и традиционного эмпиризма. По указанным причинам совокупность знаков имеет тенденцию превращаться в знаковую систему; это справедливо и для знаков, воспринимаемых органами чувств: жестов, музыкальных тонов и живописи; для речи и письма. В одних случаях системная организация относительно свободна и вариативна и может включать в себя подсистемы различной степени организованности и взаимосвязанности; в других случаях она относительно замкнута и стабильна, как, например, язык математики и других наук. Такие знаковые структуры можно подвергнуть анализу по трем измерениям: исследование самой структуры знаков, их отношения к тому, что они обозначают, и их отношения к интерпретаторам. Теперь

мы перейдем к обсуждению в общих чертах синтактики, семантики и прагматики языка, не упуская из виду связь каждого измерения, то есть каждой области семиотики, с двумя другими. Затем на основе абстракций, полученных при таком рассмотрении, мы особо остановимся на единстве семиотики.

III. СИНТАКТИКА

1. Формальная концепция языка

Синтактика как изучение синтактических отношений знаков независимо от их отношения к объектам или интерпретаторам разработана лучше других отраслей семиотики. С этой точки зрения огромная работа была проделана в лингвистике, проделана зачастую неосознанно, ценой многих заблуждений. Свойственный логикам издревле интерес к логическому выводу, хотя нередко в истории и перекрывался различными другими соображениями, все же подразумевает изучение отношений между определенными сочетаниями знаков в языке. Особое значение имело представление древними греками математики в форме дедуктивной или аксиоматической системы, благодаря которой человечество получило образец тесно связанной системы знаков, где с помощью действия над некоторыми исходными совокупностями знаков могли быть получены другие совокупности знаков. Такие формальные системы представляли собой материал, изучение которого делало развитие синтактики неизбежным. Именно лингвистические, логические и математические соображения привели математика Лейбница к концепции общего формального искусства (speciosa generalis), которое включало общее характеризующее искусство (ars characteristica), особенно теорию и искусство такого построения знаков, при котором все выводы о соответствующих «идеях» можно было сделать из рассмотрения самих знаков, и общее комбинаторное искусство (ars combinatoria), общее исчисление, дающее универсальный формальный метод извлечения выводов из знаков. После Лейбница унификация математического языка и метода в символической логике получила дальнейшее плодотворное развитие благодаря усилиям Буля, Фреге, Пеано, Пирса, Рассела, Уайтхеда и др. Теория синтактических отношений наиболее глубоко была разработана в наши дни в логическом синтаксисе Карнапа. Для целей настоящей работы достаточно упомянуть лишь самые общие положения этой теории.

Логический синтаксис сознательно отвлекается от всего, что в данной работе было названо семантическим и прагматическим из-

мерениями семиозиса, и сосредоточивает внимание на логико-грамматической структуре языка, то есть на синтактическом измерении семиозиса. При таком рассмотрении «язык» (т. е. $L_{син}$) выступает как совокупность объектов, связанных между собой в соответствии с двумя классами правил: *правил образования*, которые определяют допустимые самостоятельные сочетания членов данной совокупности (такие сочетания называются предложениями), и *правил преобразования*, определяющих предложения, которые могут быть получены из других предложений. И те и другие правила можно определить термином *«синтактическое правило»*. Синтактика, следовательно, — это изучение знаков и их сочетаний, организованных согласно синтактическим правилам. Ее не интересуют ни индивидуальные свойства знаковых средств, ни какие-либо их отношения, кроме синтактических, то есть определенных синтактическими правилами.

Будучи исследованными с этой точки зрения, языки неожиданно оказались сложными, а сам подход — удивительно плодотворным. Появилась возможность дать точное определение исходных, аналитических, контрадикторных (противоречащих) и синтетических предложений, а также доказательства и деривации. Благодаря формальной точке зрения оказалось возможным разграничить логические и дескриптивные знаки, определить синонимические знаки и эквиполентные предложения, охарактеризовать содержание предложения, разрешать логические парадоксы, классифицировать некоторые типы выражений, внести ясность в модальные выражения необходимости, возможности и невозможности. Эти и многие другие результаты были частично систематизированы в форме некоторого языка. Большинство терминов логического синтаксиса может быть определено исходя из понятия вывода (consequence). Таким образом, в настоящее время разработан более точный, чем когда-либо раньше, язык, с помощью которого можно говорить о формальном измерении языков. Полученные логическим синтаксисом результаты представляют значительный интерес.

Однако в данном очерке нас интересует лишь отношение логического синтаксиса к семиотике. Ясно, что это — сфера синтактики, в сущности, от него было произведено и само это название. Все достижения логического синтаксиса могут быть усвоены синтактикой. Не вызывает сомнения и тот факт, что он является наиболее развитой частью синтактики, а тем самым и семиотики. По духу и методу он может многим обогатить семантику и прагматику, и есть свидетельства того, что его влияние в этих областях уже начинает ощущаться.

Многие из частных результатов логического синтаксиса имеют аналоги в других отраслях семиотики. В качестве иллюстрации

будем использовать термин «предложение о вещах» , или «вещное предложение» (thing-sentence), для обозначения любого предложения, десигнат которого не включает знаки; такое предложение высказывается о вещах и может изучаться семиотикой. При этом словоупотреблении ни одно предложение семиотических языков не является объектным предложением. В настоящее время Карнап показал, что многие предложения, которые на первый взгляд кажутся объектными предложениями, а значит, предложениями об объектах, не являющихся знаками, на поверку оказываются псевдообъектными предложениями и должны быть интерпретированы как синтактические утверждения о языке. Но по аналогии с этими квазисинтактическими предложениями существуют также квазисемантические и квазипрагматические предложения, которые кажутся предложениями о вещах, но которые нужно интерпретировать исходя из отношения знаков к десигнатам или из отношения знаков к интерпретаторам.

Развивать синтактику в некоторых отношениях проще, чем другие отрасли семиотики, ибо значительно легче изучать отношения знаков друг к другу, особенно в случае письменных знаков, как отношения, определенные правилом, чем описывать объективно существующие ситуации, в которых употребляются те или иные знаки, или описывать то, что происходит в интерпретаторе, когда функционирует знак. По этой причине выделение некоторых различий с помощью синтактического исследования помогает в поисках аналогичных им явлений в семантических и прагматических исследованиях.

Однако при всей важности роли логического синтаксиса его нельзя отожествить с синтактикой в целом. Логический синтаксис (как показывает термин «предложение») ограничивает свой круг исследований синтаксической структуры лишь таким типом знаковых сочетаний, которые преобладают в науке, то есть сочетаниями, которые с семантической точки зрения называются утверждениями, включая также сочетания, которые используются при их преобразовании. Так, исходя из словоупотреблений Карнапа, приказания не есть предложения, не являются предложениями и многие стихотворные строки. Следовательно, «предложение» как термин, согласно Карнапу, применим не к каждому самостоятельному сочетанию знаков, допускаемому языковыми правилами, хотя совершенно ясно, что синтактика в широком смысле должна заниматься всеми подобными сочетаниями. Таким образом, остается ряд синтактических проблем в области знаков восприятия, эстетических знаков, в сфере повседневного использования знаков и общего языкознания, которые не рассматривались в рамках того, что в настоящее время понимается под логическим синтаксисом, но которые тем не менее образуют часть синтактики.

2. Языковая структура

Рассмотрим теперь более подробно структуру языка, прибегая к помощи семантики и прагматики в тех случаях, когда они могут пролить свет на синтактическое измерение семиозиса.

При наличии множества знаков, используемых одним и тем же интерпретатором, всегда существует возможность определенных синтактических отношений между знаками. Если существуют два знака, S_1 и S_2, используемые так, что S_1 (скажем, *животное*) применяется к любому объекту, к которому применяется S_2 (скажем, человек), но не наоборот, тогда в силу подобного употребления знаковый процесс (семиозис), связанный с функционированием S_1, включен в знаковый процесс S_2; интерпретатор будет реагировать на объект, обозначенный знаком *человек*, так же, как он реагировал бы на объект, обозначенный знаком *животное*, но будут иметь место и некоторые дополнительные реакции интерпретатора, которые не вызвало бы животное, к которому неприменимо слово *человек* и к которому применимы другие слова (такие, как *амёба*). Таким образом, слова приобретают друг с другом связи, соответствующие связям реакций, частью которых являются знаковые средства. Способы их употребления и составляют прагматический фон правил образования и преобразования. Синтактическая структура языка — это взаимосвязанность знаков, обусловленная взаимосвязанностью реакций, результатом или частью которых являются знаковые средства. Представитель формальной логики формулирует реакции в виде знаков; и хотя он начинает с произвольного набора правил, в качестве предварительного условия он признает взаимосвязанность реакций, которая должна быть у возможных интерпретаторов до того, как о них можно будет сказать, что они употребляют данный язык.

Если единичный знак (например, конкретное указание жестом) может обозначать только единичный объект, он имеет статус индекса; если он может обозначать множество вещей (как, например, слово *человек*), то он способен сочетаться различным образом со знаками, которые эксплицируют или ограничивают сферу его применения; если же он может обозначать всё (как, например, слово *нечто*), то тогда он имеет связи со всеми знаками и тем самым имеет универсальную импликативность, иначе говоря, имплицируется каждым знаком языка. Эти три вида знаков будут названы соответственно *индексальными*, *характеризующими* и *универсальными*.

Знаки, таким образом, могут различаться тем, в какой степени они обусловливают определенные ожидания. Если мы скажем: *«Указывается нечто»*, — это не даст повода для определенных ожиданий, не позволит понять то, на что указывается; употребление слова *животное* без дальнейшего уточнения вызывает определенную совокупность реакций, но они еще недостаточно кон-

кретизированы и не соотносятся поэтому с конкретным животным. Шагом вперед в данной ситуации было бы употребление слова *человек*, о чем свидетельствует различие реакций, когда мы знаем, что идет животное или идет человек; и наконец, употребление слова *этот* в реальной ситуации, подкрепленное жестом или позой, направляет внимание на конкретный объект, но дает минимум ожиданий относительно характера того, что обозначено. Универсальные знаки играют важную роль, позволяя говорить о десигнатах знаков обобщенно, без обязательной конкретизации знаков или десигнатов; ценность таких слов в определенных ситуациях видна из того, с какими трудностями сопряжены попытки избегать слов типа *объект, сущность, нечто*. Однако более важным является сочетание указывающих и характеризующих знаков (как в примере *Эта лошадь бежит*), поскольку в таком сочетании точность референции указывающего знака соединена с определенностью ожидания, связанной с характеризующим знаком. Сложные разновидности таких сочетаний изучаются формально в предложениях логических и математических систем, и именно к ним (при рассмотрении с точки зрения семантики) применимы предикаты истинности и ложности. Их важность отражена в том, что во всех формальных системах обнаруживается различие двух видов знаков, соответствующих указывающим и характеризующим знакам. Определенность ожидания может быть усилена за счет использования дополнительных знаков. В языковых структурах это проявляется в наличии особых средств, обеспечивающих разные степени детализации и уточнения подразумеваемых отношений знаков.

Используя термины, предложенные М. Дж. Андрейдом, можно сказать, что каждое предложение содержит *знак-доминанту* и некоторые *спецификаторы*, причем эти термины соотносительны друг с другом, поскольку то, что служит знаком-доминантой по отношению к определенным спецификаторам, само может быть спецификатором по отношению к более общему знаку-доминанте: так, слово *белый* делает более точным указание на лошадей, тогда как слово *лошадь* само может быть спецификатором по отношению к слову *животное*. Поскольку для адекватного понимания чего-либо необходимо указать местонахождение и существенные признаки и поскольку необходимая степень уточнения достигается сочетанием характеризующих знаков, постольку предложение, способное быть истинным или ложным, предполагает знаки-индексы, характеризующий знак-доминанту, а возможно, и характеризующие спецификаторы, а также некоторые знаки, показывающие отношение индексальных и характеризующих знаков друг к другу и к членам своих собственных классов. Отсюда общая формула такого предложения:

Характеризующий знак-доминанта [характеризующие спецификаторы (индексальные знаки)].

В таком предложении, как *Эта белая лошадь бежит медленно*, произнесенном в реальной ситуации и с индексальными жестами, *бежит* может считаться знаком-доминантой, *медленно* в качестве характеризующего спецификатора уточняет *бежит;* аналогичным образом, *лошадь* уточняет возможные случаи *бежит медленно, белая* ведет уточнение дальше, а *эта* в сочетании с индексальным жестом служит индексальным знаком для определения местонахождения объекта, к которому нужно применить знак-доминанту со всеми полученными им уточнениями-спецификациями. Условия, в которых произносится высказывание, могут продиктовать, что в качестве знака-доминанты следует взять *лошадь* или какой-либо другой знак; таким образом, выбор знака-доминанты определяется, по существу, прагматическими соображениями. Знак-доминанта может быть даже более общим, чем любой из упомянутых: это может быть знак, показывающий, что дальше следует утверждение или мнение, которого придерживаются с определенной степенью уверенности. Вместо использования индексирующего знака в той или иной реальной ситуации могут быть использованы характеризующие знаки, чтобы сообщить слушающему, как восполнить индексальный знак: *Найди лошадь, такую, что...*; указание делается на *эту лошадь* или *Возьми любую лошадь, и эта лошадь...* В том случае, когда референтом является совокупность объектов, указание может быть сделано на всю совокупность, на часть ее или на какой-нибудь конкретный объект или ряд объектов; такие слова, как *все, некоторые, три,* вместе с индексальными знаками и описаниями-дескрипциями указывают на то, какой именно из возможных денотатов характеризующего знака имеется в виду. Не обязательно, чтобы был только один указывающий знак; в таком предложении, как *А дал В для С,* выступают три соотносительных члена троичного отношения, которые должны быть уточнены индексальными знаками, употребленными либо в сочетании с другими способами, либо без них.

В связи со знаком *для* в предложении *А дал В для С* уместно подчеркнуть одно важное обстоятельство: для того чтобы получались вразумительные сочетания знаков, необходимо, чтобы в соответствующем языке были специальные знаки, *указывающие* на отношения других знаков, и чтобы эти знаки отличались от тех знаков в языке синтактики, которые *означают* эти отношения как свои десигнаты. В приведенных выше примерах *-ит* в *бежит, -о* в *медленно, -а* в *эта, -ая* в *белая* и т. п., положение *А* и *В* до и после знака-доминанты *дал,* положение *для* перед *С* — всё это указывает, какой знак уточняет (специфицирует) другой знак, какой ин-

дексальный знак обозначает (имеет своим денотатом) соотносительный член отношения и какие знаки являются индексальными, а какие характеризующими. Подобные функции в устном языке выполняют паузы, интонации и ударение, аналогичную помощь в письменном и печатном языках оказывают знаки препинания, ударения, скобки, курсив, величина букв и т. п. Такие знаки выполняют в языке в основном прагматическую функцию, но термин «скобки» и его импликаты принадлежат метаязыку. Метаязык не следует смешивать с языком, который является объектом его референции, но и в языке нужно провести различие между теми знаками, десигнаты которых находятся за пределами языка, и теми знаками, которые указывают на отношения между другими знаками в самом языке.

Изучавшиеся до сих пор синтактикой явления языка отражают различия, связь которых с функционированием языка в полном семиотическом смысле слова была признана. Синтактика признает классы знаков, такие, как индивидные постоянные и переменные, предикатные постоянные и переменные, которые являются формальными коррелятами различных видов индексальных и характеризующих знаков; операторы соответствуют спецификаторам классов; точки, круглые и квадратные скобки — это способы указания некоторых отношений между знаками внутри языка; слова типа «предложение», «вывод», «аналитический» — это термины синтактики, означающие (имеющие своими десигнатами) некоторые виды сочетаний знаков и отношений между знаками; «высказывательные», или «пропозициональные», функции соответствуют сочетаниям знаков, в которых отсутствуют некоторые индексальные спецификаторы, необходимые для полных предложений («пропозиций»); правила образования и преобразования соответствуют тому, как знаки сочетаются между собой и производятся друг от друга реальными или потенциальными пользователями языка. Таким образом, формализованные языки, изучаемые современной логикой и математикой, предстают как формальные структуры реально существующих или возможных языков; пункт за пунктом они отражают важные черты языка в повседневном реальном употреблении. Сознательное абстрагирование формальной логики от других свойств языка и от того, как язык изменяется, помогает выделить особый предмет исследования: языковую структуру. Представителя формальной логики в отличие от грамматиста больше интересуют типы предложений и правила преобразования, действующие в языке науки. Но если стремиться к адекватному исследованию всей области синтактики, тогда к тому, что интересует логика, нужно добавить и то, что интересует грамматиста, то есть проблемы сочетания знаков и их преобразования в сферах, иных, чем язык науки.

IV. СЕМАНТИКА

1. Семантическое измерение семиозиса

Семантика имеет дело с отношением знаков к их десигнатам и тем самым к объектам, которые они обозначают (денотируют) или могут обозначать (денотировать). Как и в других дисциплинах, связанных со знаками, в семантике можно провести различие между чистой и дескриптивной семантикой. Чистая семантика предлагает терминологию и теорию, необходимые, чтобы говорить о семантическом измерении семиозиса, а дескриптивная семантика изучает реальные проявления этого измерения. Последний тип исследования исторически предшествовал первому; в течение многих веков лингвисты занимались изучением условий употребления тех или иных слов; представители философской грамматики пытались найти в природе соответствия языковым структурам и дифференциации частей речи; представители философского эмпиризма изучали в более общем виде условия, при которых можно сказать, что у знака есть денотат (часто лишь ради того, чтобы продемонстрировать, что термины, используемые их оппонентами-метафизиками, этим условиям не удовлетворяют). В спорах о термине «истина» всегда возникал вопрос об отношении знаков к вещам, но несмотря на длинную историю этих споров, сравнительно мало было сделано в области управляемого эксперимента или разработки языка, пригодного для того, чтобы говорить о семантическом измерении семиозиса. Экспериментальный подход, возникший благодаря бихевиоризму, открывает большие перспективы в определении реальных условий, при которых употребляются некоторые знаки; развитию языка семантики способствовали недавние дискуссии об отношении формальных языковых структур к их «интерпретациям», попытки (например, Карнапа и Рейхенбаха) более строго сформулировать учение эмпиризма, а также усилия польских логиков (особенно Тарского) формально и систематическим образом определить некоторые термины, имеющие для семантики ключевое значение. Тем не менее семантика еще не достигла той четкости и упорядоченности, которые свойственны определенным разделам синтактики.

Если внимательно поразмыслить, в таком положении нет ничего удивительного, ибо успешное развитие семантики предполагает относительно высоко развитую синтактику. Для того чтобы можно было говорить об отношении знаков к объектам, которые они обозначают, нужно иметь возможность как-то указать и на знаки, и на объекты, то есть необходимо иметь язык синтактики и так называемый «вещный язык» (язык семантики). Эта зависимость семантики от синтактики особенно очевидна, когда речь идет о языках, по-

тому что в этой области невозможно обойтись без теории формальной структуры языка. Например, постоянно возникающий вопрос о том, отражает ли структура языка структуру естественного мира, не может быть решен до тех пор, пока не будут выяснены термины «структура» и «структура языка»; неудовлетворительность дискуссий по этому вопросу в прошлом, несомненно, частично объясняется отсутствием ясности, которая в наше время была достигнута с помощью синтактики.

Сочетание знаков, подобное «"Fido"* означает (имеет десигнатом) *A*», представляет собой пример предложения на языке семантики. Здесь «Fido» обозначает (денотирует) «Fido» (то есть знаконоситель, или знаковое средство, а не внеязыковой объект), тогда как *A* — это индексальный знак некоторого объекта (им могло бы быть слово «это», употребленное в сочетании с каким-либо указывающим жестом). Таким образом, Fido — это слово в метаязыке, обозначающее (денотирующее) знак «Фидо» в языке-объекте; *A* — это слово, обозначающее (денотирующее) вещь, в «вещном языке», на котором говорят о вещах. «Означает (имеет десигнатом)»— это семантический термин, поскольку это — характеризующий знак, означающий (имеющий десигнатом) отношение между знаком и объектом. Семантика предполагает синтактику, но абстрагируется от прагматики; какими бы знаками семантика ни занималась — простыми или сложными (как, например, целая математическая система), — она ограничивает себя семантическим измерением семиозиса.

Наиболее важным добавлением к предыдущему изложению, которое дает изучение семантического измерения, является понятие «семантическое правило». В отличие от правил образования и преобразования, которые имеют дело с определенным сочетанием знаков и их отношениями, термин «семантическое правило» в пределах семиотики означает (имеет своим десигнатом) правило, определяющее, при каких условиях знак применим к объекту или ситуации; такие правила устанавливают соответствие между знаками и ситуациями, которые данные знаки способны обозначать (иметь своим денотатом, денотировать). Знак может обозначать (иметь денотатом) все то, что отвечает условиям, сформулированным в семантическом правиле, тогда как само правило констатирует условия означения (десигнации) и тем самым определяет десигнат (класс или род денотатов). Важное значение таких правил подчеркивали Рейхенбах, который рассматривал их в качестве определений координации, и Айдукевич, трактовавший их как эмпирические правила смысла; последний настаивает, что такие правила необхо-

---

* Fido (Fog Investigation Dispersal Operation) — метод рассеивания тумана на аэродроме. — *Прим. перев.*

димы, чтобы однозначно охарактеризовать какой-либо язык, потому что, если имеют место различные семантические правила, два человека все равно не поймут друг друга, хотя и будут владеть одной и той же формальной языковой структурой. Таким образом, в добавление к синтактическим правилам, характеристика языка требует констатации семантических правил, управляющих как отдельными знаковыми средствами, так и их сочетаниями (позже будет показано, что полная семистическая характеристика языка предполагает еще констатацию того, что будет названо прагматическими правилами).

Обычно правила использования знаковых средств не формулируются теми, кто употребляет язык, или формулируются только частично: они существуют скорее как навыки поведения, так что фактически встречаются только некоторые сочетания знаков, лишь некоторые сочетания знаков производятся от других и только некоторые знаки применяются к определенным ситуациям. Эксплицитное формулирование правил для данного языка требует символизации более высокого порядка и является задачей дескриптивной семиотики; в высшей степени трудно сформулировать, например, правила английского словоупотребления —мы увидим это, если попытаемся сформулировать условия, при которых употребляются слова this «этот» и that «тот». Вот почему исследователи в основном ограничивались фрагментами естественных языков и языками, созданными искусственно.

Знак имеет семантическое измерение, коль скоро существуют семантические правила (независимо от того, сформулированы они или нет), которые определяют его применимость к некоторым ситуациям при некоторых условиях. Если словоупотребление сформулировано с помощью других знаков, получается следующая общая формула: знаковое средство x означает (имеет своим десигнатом) условия a, b, c..., при которых оно применимо. Констатация этих условий дает семантическое правило для x. Когда какой-либо объект или ситуация отвечают требуемым условиям, они могут быть обозначены (денотированы) x. Само знаковое средство — это просто некий объект, и его способность обозначать, то есть иметь в качестве своего денотата другие объекты, определяется исключительно тем, что существуют правила употребления, устанавливающие корреляцию между двумя рядами объектов.

Семантическое правило для индексального знака, такого, как указание жестом, формулируется просто: в каждый момент знак означает (имеет своим десигнатом) то, на что указывается. В общем, индексальный знак означает то, на что он направляет внимание. Индексирующий знак не характеризует свой денотат (за исключением того, что приблизительно указывает его пространственно-временные координаты) и не должен быть похо-

жим на то, что он обозначает. Знак же характеризующий характеризует то, что он может обозначать (денотировать). Это становится возможным благодаря тому, что знак обнаруживает в себе самом свойства, которыми должен обладать его объект как денотат, и в таком случае характеризующий знак является знаком *иконическим*; если это не так, характеризующий знак можно назвать *символом*. Фотография, карта звездного неба, модель — иконические знаки; тогда как слово *фотография*, названия звезд и химических элементов — символы. «Концепт» можно рассматривать как семантическое правило, определяющее употребление характеризующих знаков. Семантическое правило употребления иконических знаков состоит в том, что они обозначают (денотируют) те объекты, которые имеют те же свойства, что и сами знаки, или — чаще — некоторый ограниченный набор их признаков. Семантическое правило употребления символов формулируется с помощью других символов (правила употребления которых не подлежат выяснению) или посредством указания на конкретные объекты, служащие в качестве моделей (и следовательно, играющие роль иконических знаков); именно тогда соответствующий символ употребляется для обозначения объектов, сходных с моделями. Тот факт, что семантическое правило употребления символа может быть сформулировано с помощью других символов, позволяет (пользуясь термином Карнапа) сводить один научный термин к другим (или, говоря точнее, конструировать один термин на основе других), что делает возможной систематизацию языка науки. Именно потому, что без индексальных знаков нельзя обойтись (ведь символы в конечном счете подразумевают иконические знаки, а иконические знаки — знаки-индексы), в программе систематизации, предложенной физикалистами, процесс сведения вынужденно закончился принятием некоторых знаков в качестве исходных терминов, семантические правила употребления которых, определяющие их применимость к вещам, указанным индексами, должны приниматься как не требующие доказательства, но не могут быть сформулированы в рамках этой конкретной систематизации.

Семантическое правило употребления предложения предполагает отсылку и к семантическим правилам употребления составляющих его знаковых средств. Предложение — это сложный знак в том смысле, что десигнат индексального компонента является также десигнатом компонента, представляющего собой знак характеризующий. Десигнат предложения — это, следовательно, десигнат индексального знака, выступающий в качестве десигната характеризующего знака; когда ситуация удовлетворяет семантическому правилу предложения, она есть денотат данного предложения (и о предложении тогда можно сказать, что оно истинно для этой ситуации).

Различие между индексальными знаками, иконическими знаками и знаками-символами (предложения являются комплексами знаков) объясняется различием видов семантических правил. Десигнатами индексальных знаков можно считать вещи, десигнатами одноместных характеризующих знаков — свойства, десигнатами двух(или более)-местных характеризующих знаков — отношения, десигнатами предложений — факты или положение дел; сущности могут быть десигнатами любых знаков, какими бы они ни были.

Знак может иметь правило употребления, определяющее, что он может обозначать (иметь в качестве денотата). Это не значит, что фактически он всегда употребляется согласно правилу — именно поэтому могут существовать знаки, по существу ничего не обозначающие, то есть имеющие недействительную денотацию. Как было отмечено выше, само понятие знака предполагает понятие десигната, но отсюда не следует, что обозначаемые объекты должны существовать реально. Десигнат знака есть то, что́ знак *может* обозначать, то есть такие объекты или ситуации, которые в соответствии с семантическим правилом употребления могли бы быть соотнесены со знаковым средством с помощью семантического отношения денотации. Теперь в отличие от наших предшественников мы знаем, что *утверждение* о том, что́ составляет десигнат того или иного знака, само предполагает использование терминов, находящихся в синтактических отношениях, поскольку семантическое правило употребления определяет, что́ именно означает данный знак, если взять его в отношении к другим знакам. Бесспорно, «десигнат»—это термин семиотики, тогда как на вопрос о том, существуют ли объекты того или иного рода, можно ответить только путем рассуждений, выходящих за пределы семиотики. Неумение отделять семиотические утверждения от предложений о вещах привело к появлению, многочисленных псевдопредложений о вещах. Сказать, что существует «мир сущностей» наряду и наравне с «миром существующего» (поскольку «Когда мы думаем, мы должны думать о чем-то»), значит дать образец квазисемантического утверждения: кажется, что в нем говорится о мире так же, как в физике, но в действительности это утверждение является псевдоформой (an ambiguous form) семантического предложения, а именно: для каждого знака, способного обозначать (денотировать) нечто, может быть сформулировано семантическое правило, которое определяет условия применения данного знака. Из этого утверждения, в пределах семантики аналитически вполне корректного, ни в коей мере не вытекает, что существуют объекты, обозначенные такими знаками, — объекты, относящиеся к «миру сущностей», а не к «миру существующего».

2. Языковые и неязыковые структуры

Одна из самых старых и устойчивых теорий гласит, что языки отображают мир неязыковых объектов (либо соответствуют, являются изоморфными ему). В классической традиции часто утверждалось, что это отображение имеет три аспекта: мышление отражает свойства объектов; разговорный язык, состоящий из звуков, которые мозг наделил репрезентативной функцией, в свою очередь отражает виды и отношения мыслительных явлений, а тем самым и мир немыслительных объектов.

Разумеется, в том, что эта традиция долгое время сохраняла свою жизнеспособность, заключается нечто, заслуживающее внимания; знаменательно также и то, что традиция эта постепенно слабела и наконец была даже отвергнута некоторыми из ее наиболее яростных в прошлом поборников. Какой свет может пролить на эту ситуацию общая семиотика? Пытаясь ответить на этот вопрос, мы увидим, что суть дела заключается в том, что единственно релевантное отношение, которое существует между знаками и другими объектами, — это отношение, установленное семантическими правилами.

Представляется вероятным, что крайности и трудности, связанные с попытками найти полное семантическое соответствие между языковыми знаками и другими объектами, объясняются игнорированием или чрезмерным упрощением синтактического и прагматического измерений семиозиса. Было уже отмечено, что необходимым условием существования языка является наличие в нем ряда особых знаков, указывающих на синтактические отношения между другими знаками в этом языке. Примерами подобных знаков являются паузы, интонации, порядок знаков, предлоги, аффиксы, суффиксы и т. д. Такие знаки функционируют преимущественно в синтактическом и прагматическом измерениях; коль скоро они имеют и семантическое измерение, они обозначают знаковые средства, а не внеязыковые объекты. Вряд ли можно считать, что такие знаки помогают установить своего рода изоморфизм между остальными знаками и внеязыковыми объектами, потому что подобный изоморфизм может быть гораздо более сложным, чем отношение модели к тому, что она моделирует. Пространственные отношения между знаками могут не соответствовать пространственным отношениям между вещами, но здесь, возможно, есть некоторое отношение корреляции, а именно: каждому пространственному отношению между знаками соответствует некоторое отношение между объектами, обозначенными этими знаками. Все эти особенности не только можно, но и нужно проанализировать специально; если они не имеют силы для всех знаков, то, возможно, они имеют силу лишь для некоторых из них, а именно для тех, на которые распространяются семантические

правила, соотносящие их с внеязыковыми ситуациями. Однако поборникам изоморфизма пока еще не удалось доказать, что дело обстоит именно так или должно обстоять так для того, чтобы был возможен язык.

Неубедительность общей теории [изоморфизма] становится еще очевиднее, когда привлекаются и такие знаки, как all «все» , some «некоторые», the (определенный артикль), not «не», point of infinity «показатель бесконечности», —1. Первые три знака указывают, какое количество из класса, определенного тем или иным характеризующим знаком, надо учитывать. Слово not имеет преимущественно практическую ценность, поскольку оно позволяет указывать на нечто другое, чем то, на что было конкретно указано, не уточняя, что» именно представляет собой это другое. Когда слово not получает такое семантическое разъяснение, его практическая важность не вызывает сомнения, но с теоретической точки зрения оно в языке не является необходимым, и, уж конечно, нет нужды искать какие-либо реально существующие «отрицательные факты», которые бы ему соответствовали. Упомянутые математические термины обычно рассматриваются как знаки, добавленные к языку, с тем чтобы сделать возможными некоторые операции, иначе невозможные, и чтобы можно было сформулировать с наибольшей степенью обобщения некоторые выражения, в противном случае нуждавшиеся в ограничениях.

В общеупотребительном языке есть также много знаков, которые указывают на реакцию того, кто пользуется знаками, на описываемую ситуацию (например, *к счастью* в предложении *К счастью, он пришел*) или даже на знаки, которые он сам использует в описании (например, при выражении разной степени уверенности в том или ином утверждении). Такие слова в дискурсе имеют семантическое измерение только на более высоком уровне семиозиса, поскольку прагматическое измерение процесса семиозиса денотируется не в этом процессе, а лишь в процессе более высокого уровня. Как и в случае преимущественно синтактических явлений языка, явления главным образом прагматические не следует смешивать с элементами, соотнесенными при помощи семантических правил с внеязыковыми объектами, которые обозначаются как денотаты. Традиционной разновидности теории изоморфизма не удалось разграничить различные измерения семиозиса и различные уровни языков и десигнатов. В какой мере может быть принят какой-либо из ограниченных вариантов этого тезиса, можно определить только после того, как он будет сформулирован. Ясно, однако, что, когда рассматривается язык в целом, его синтактическая структура является функцией как прагматических, так и эмпирических факторов, а не простым отображением природы, отвлеченным от пользователей языка.

Главным моментом в нашем рассуждении является не отрицание того, что все знаки в языке иметь могут десигнаты и, следовательно, семантическое измерение, а наше стремление обратить внимание на тот факт, что десигнаты знаков в том или ином дискурсе (а следовательно, и обозначаемые как денотаты объекты, если таковые имеются) не находятся на одном и том же уровне: десигнаты некоторых знаков следует искать на уровне семиотики, а не на уровне самого языка-объекта, на котором говорят о вещах; в данном дискурсе такие знаки просто указывают (но не означают в качестве своих десигнатов) отношения других знаков друг к другу или к интерпретатору — в терминах схоластики, они привносят нечто от материальной и простой суппозиции в функционирование терминов в личной суппозиции. Пласты знаков столь же сложны и с таким же трудом поддаются обнаружению, как и геологические отложения; научный и психологический эффект от их обнаружения в любом случае может оказаться значительным.

Сказанного достаточно, чтобы в общих чертах указать область семантики. Строгий анализ семантических терминов, их формальная систематизация, рассмотрение проблемы применимости семантики к иным сферам, чем язык науки (например, к эстетическим знакам), — все это в работе, носящей вводный характер, осуществить явно невозможно. Если на страницах, посвященных семантике, часто упоминались прагматические факторы, то это объясняется необходимостью дополнить семантику прагматикой. Последнее пока еще не столь широко признано, как необходимость дополнить синтактику семантикой. Верно, что синтактика и семантика, как в отдельности, так и вместе, характеризуются сравнительно высокой степенью автономности. Однако синтактические и семантические правила — это не что иное, как созданные семиотикой словесные констатации того, каковы особенности употребления знаков реальными пользователями в каждом конкретном случае семиозиса. «Правила употребления знаков», так же как сам термин «знак», — это семиотический термин, и его нельзя определить только синтактически или семантически.

V. ПРАГМАТИКА

1. Прагматическое измерение семиозиса

Термин «прагматика» явно был создан с оглядкой на термин «прагматизм». Вполне вероятно, что непреходящее значение прагматизма кроется в том, что он обратил более серьезное, чем прежде, вни-

мание на отношение знаков к их пользователям и впервые глубоко и всесторонне обосновал важное значение этого отношения для понимания мыслительной деятельности. Термин «прагматика» помогает продемонстрировать значительность достижений Пирса, Джеймса, Дьюи и Мида в области семиотики. В то же время термин «прагматика», как специфически семиотический термин, должен получить свою собственную формулировку. «Прагматика» — дисциплина, изучающая отношения знаков к их интерпретаторам. «Прагматику», таким образом, следует отличать от «прагматизма», как и соответствующее английское прилагательное — pragmatical «относящийся к прагматике» — от pragmatic «относящийся к прагматизму». Поскольку интерпретаторами большинства (а может быть, и всех) знаков являются живые организмы, достаточной характеристикой прагматики было бы указание на то, то она имеет дело с биотическими аспектами семиозиса, иначе говоря, со всеми психологическими, биологическими и социологическими явлениями, которые наблюдаются при функционировании знаков. Прагматика также имеет чистый и дескриптивный аспекты; первый возникает в связи с попытками разработать язык, на котором можно было бы говорить о прагматическом измерении семиозиса; последний занимается применением этого языка к анализу конкретных случаев.

С исторической точки зрения, в качестве ранней ограниченной формы прагматики можно рассматривать риторику; к прагматическому аспекту науки постоянно обращались также авторы и интерпретаторы различных экспериментальных исследований. Указание на интерпретатора и интерпретацию обычно в классическом определении знаков. Аристотель в сочинении «Об истолковании» говорит о словах как условных знаках мыслей, которые общи для всех людей. В его рассуждении содержится основа теории, которая стала традиционной: интерпретатор знака — это разум; интерпретанта — мысль или понятие; эти мысли или понятия общи всем людям и возникают из постижения разумом объектов и их свойств; произнесенные слова разум наделяет функцией прямого представления этих понятий и опосредованного представления соответствующих вещей; звучания, выбранные для этой цели, являются произвольными и варьируются от одной социальной группы к другой; однако отношения между звучаниями не являются произвольными, а соответствуют отношениям понятий и тем самым вещей. Таким образом, на протяжении большей части своей истории теория знаков была связана с определенной теорией мышления и сознания, причем настолько тесно, что логику, которая всегда испытывала влияние бытующих в ту или иную эпоху теорий знаков, часто трактовали как изучающую понятия — этот взгляд получил точное выражение в доктрине схоластов о логических терминах как терминах вторичной интенции. Даже призыв Лейбница эмпирически изучать знако-

вые средства как определенные правилами был вызван не отказом от господствующей традиции, а просто стремлением получить таким путем новые и лучшие методы изучения понятий по сравнению с попытками наблюдать мысли непосредственно.

С течением времени большинство положений этой традиционной разновидности прагматики было поставлено под сомнение, и в настоящее время они были бы приняты только с серьезными оговорками. Изменение взглядов произошло очень быстро в результате воздействия на психологию биологической теории Дарвина; новые веяния получили раньше всего интерпретацию в прагматизме. Чарлз С. Пирс, труды которого в семиотике остаются непревзойденными, пришел к выводу, что в конечном итоге интерпретанта знака коренится в навыке, а не в непосредственной физиологической реакции, которую вызвало знаковое средство, или в сопутствующих образах и чувствах, — эта доктрина подготовила путь современному пониманию важности правил употребления. Уильям Джеймс утверждал,что понятие — это не элемент, а способ, посредством которого некоторые данные восприятия функционируют в процессе репрезентации, и что такое «мыслительное» функционирование — это отнюдь не простое созерцание мира, но в высшей степени избирательный процесс, в ходе которого организм получает указания о том, как ему действовать в отношении окружающего мира, чтобы удовлетворить свои нужды или интересы. Джордж Г. Мид особенно интересовался поведением, связанным с функционированием языковых знаков, и социальным контекстом, в котором такие знаки возникают и функционируют. Его труды содержат важнейшие исследования этих аспектов семиозиса с позиций прагматизма. Инструментализм Джона Дьюи — это обобщенный вариант прагматизма, в котором особо подчеркнуто операциональное и инструментальное функционирование знаков или «идей».

Если из прагматизма извлечь то, что представляет особый интерес для прагматики, то результат можно сформулировать примерно так: Интерпретатор знака — организм; Интерпретанта — это навык организма реагировать под влиянием знакового средства на отсутствующие объекты, существенные для непосредственной проблемной ситуации, как если бы они были налицо. Благодаря семиозису организм учитывает существенные свойства отсутствующих объектов или ненаблюдаемые свойства наличествующих объектов, и в этом заключается общее значение идей как инструмента. Если объектом, вызывающим реакцию, выступает знаковое средство, организм ожидает ситуацию того и иного рода и на основе этого ожидания может подготовить себя заранее к тому, что может произойти. Реакция на вещи через посредничество знаков является, таким образом, с биологической точки зрения, продолжением того

же процесса, в котором восприятие на расстоянии начинает в поведении высших животных преобладать над восприятием в условиях обязательного контакта; такие животные с помощью зрения, слуха и обоняния уже реагируют на отдаленные части окружения под влиянием определенных свойств объектов, функционирующих как знаки других свойств. Этот процесс учитывания все более и более отдаленного окружения прямо переходит в сложные процессы семиозиса, ставшие возможными благодаря языку, когда учитываемый объект уже не должен обязательно наличествовать в восприятии.

При такой ориентации некоторые из терминов, использовавшихся раньше, предстают в новом свете. Отношение знакового средства к его десигнату — есть реальное учитывание класса вещей, которое осуществляет интерпретатор в своем поведении, реагируя на знаковое средство, а то, что учитывается, есть десигнаты. Семантическое правило имеет своим коррелятом в прагматическом измерении навык интерпретатора использовать знаковое средство при определенных обстоятельствах и, наоборот, ожидать что-то, если используется данный знак. Правила образования и преобразования соответствуют реальным сочетаниям знаков и переходам, которые использует интерпретатор, или ограничениям на использование знаков, которые он устанавливает для себя, подобно тому, как он пытается сознательно управлять другими видами поведения по отношению к лицам и вещам. С точки зрения прагматики, структура языка — это система поведения: аналитическим предложениям соответствуют отношения между знаковыми реакциями и более обобщенными знаковыми реакциями, сегментами которых они являются; синтетическим предложениям соответствуют те отношения между знаковыми реакциями, которые не есть отношения части к целому. Индексальные знаки (или их заместители) в сочетании знаков направляют внимание интерпретатора на части окружения; характеризующий знак-доминанта определяет некоторую общую реакцию (ожидание) на эти части; характеризующие спецификаторы очерчивают границы общего ожидания, причем степень спецификации и выбор знака-доминанты определяются исходя из непосредственно стоящей задачи. Если осуществляются и индексальная, и характеризующая функции, интерпретатор выносит суждение; сочетание знаков представляет собой суждение (соответствующее предложению в синтактике и утверждению или пропозиции в семантике). Знак подтверждается в той степени, в какой ожидаемое оказывается таким, каким оно ожидалось; ожидания обычно подтверждаются только частично; могут, кроме того, быть различные степени опосредованного подтверждения того, что указанное с помощью индексального знака действительно имеет свойства, которые от него ожидались. В целом, с точки зрения поведения, зна-

ки «истинны», поскольку они правильно обусловливают ожидания тех, кто ими пользуется, и тем самым более полно вызывают то поведение, которое имплицитно возбуждено в ожидании или интерпретации.

Подобные утверждения несколько выходят за рамки собственно прагматики и выливаются в более широкий — семиотический — вопрос о взаимосвязи различных измерений; это новая тема, которую еще предстоит специально обсудить. Желательно было бы, чтобы прагматика сама попыталась разработать терминологию, пригодную для изучения отношения знаков к их пользователям, и систематизировать результаты, полученные при изучении этого измерения семиозиса. Такие термины, как «интерпретатор», «интерпретанта», «условность» (в применении к знакам), «учитывание» (как функция знаков), «подтверждение» и «понимает», — это термины прагматики, тогда как многие собственно семиотические термины, как, например, «знак», «язык», «истина», «знание», имеют важные прагматические компоненты. В систематическом изложении семиотики прагматика предполагает как синтактику, так и семантику, так же как семантика в свою очередь предполагает синтактику: чтобы адекватным образом обсуждать отношение знаков к их интерпретаторам, нужно знать отношения знаков друг к другу и к тем вещам, на которые они указывают своим интерпретаторам. Специфическими для прагматики окажутся термины, которые, не являясь строго семиотическими, не могут быть определены в синтактике или семантике; важное значение может иметь изучение прагматического аспекта различных семиотических терминов, а также констатация того, какие психологические, биологические и социологические явления сопряжены с использованием знаков. Обратимся теперь к некоторым аспектам последней проблемы.

2. Индивидуальные и социальные факторы в семиозисе

Мы можем подойти к этой проблеме и одновременно предупредим возможные возражения, если зададим себе вопрос, почему следует добавлять прагматику к семантике? Может показаться, что, поскольку семантика занимается отношением знаков к объектам и поскольку интерпретаторы и их реакции — это естественные объекты, изучаемые эмпирическими науками, отношение знаков к интерпретаторам входит в компетенцию семантики. Путаница здесь возникает из-за неспособности разграничить различные уровни символизации и отделить — в употреблении термина «объект» — семиотическое от несемиотического. Все, что может быть означено, является (в принципе) предметом изучения унифицированной науки, и в этом смысле все семиотические дисциплины являются частями унифицированной науки. Когда о каком-нибудь измерении

семиозиса делаются дескриптивные утверждения, эти утверждения относятся к семантическому измерению более высокого уровня семиозиса, и тем самым не обязательно к тому измерению, которое изучается. Утверждения в прагматике о прагматическом измерении конкретных знаков функционируют преимущественно в семантическом измерении. Тот факт, что прагматическое измерение становится десигнатом для процесса описания более высокого уровня, вовсе не означает, что интерпретанта знака на каком-либо уровне есть десигнат этого конкретного знака. Интерпретанта знака — это навык, в силу которого можно сказать, что то или иное знаковое средство означает некоторые виды объектов или ситуаций; выступая как метод определения совокупности объектов, которые означает данный знак, интерпретанта не является членом этой совокупности. Даже язык унифицированной науки, который содержал бы описание прагматического измерения, не мог бы в момент использования обозначать (денотировать) свое собственное прагматическое измерение, хотя на более высоком уровне употребления описание прагматического измерения могло бы оказаться приложимым к прагматическому измерению более низкого уровня. Поскольку прагматическое измерение предполагается самим существованием отношения десигнации, оно не может быть помещено внутри семантического измерения. Семантика занимается не всеми отношениями знаков к объектам, но, будучи семиотической дисциплиной, занимается отношением знаков к их десигнатам; прагматику, которая изучает другие отношения знаков, нельзя включить ни в семантику, ни даже в семантику в сочетании с синтактикой. Такой вывод совершенно не зависит от отношений физических или биологических сущностей; различие семантического и прагматического измерений есть различие семиотическое и не имеет ничего общего с отношением биологии и физики.

Вопрос, вероятно, можно поставить более остро, если ввести термин «*прагматическое правило*». Синтактические правила определяют знаковые отношения между знаковыми средствами; семантические правила соотносят знаковые средства с другими объектами; прагматические правила констатируют условия, при которых знаковое средство является для интерпретаторов знаком. Любое правило, когда оно реально применяется, выступает как тип поведения, и в этом смысле во всех правилах есть прагматический компонент. Но в некоторых языках существуют знаковые средства, управляемые правилами помимо и сверх синтактических или семантических правил; такие правила являются прагматическими. Междометия, подобные *Ой!*, приказания типа *Иди сюда!*, модальные слова — такие, как *к счастью*, выражения, подобные *Доброе утро!*, различные риторические и поэтические приемы встречаются только при некоторых определенных условиях у тех, кто

пользуется языком; можно сказать, что они выражают такие условия, но они их не означают на том уровне семиозиса, на котором они фактически употребляются в повседневном дискурсе. Поскольку условия, при которых употребляются подобные слова, невозможно сформулировать в терминах синтактических и семантических правил, мы устанавливаем для данных слов прагматические правила.

Теперь можно дать полное определение языка: *Язык в полном семиотическом смысле этого термина есть любая межсубъектная совокупность знаковых средств, употребление которых определено синтактическими, семантическими и прагматическими правилами.*

Интерпретация становится особенно сложной, а индивидуальные и социальные результаты особенно важными в случае знаков языковых. С точки зрения прагматики, языковой знак употребляется в сочетании с другими знаками — членами некоторой социальной группы; язык — это социальная система знаков, опосредующая реакции членов коллектива по отношению друг к другу и к их окружению. Понимать язык — значит употреблять только те сочетания и преобразования знаков, которые не запрещаются употреблением, приняты в данной социальной группе, обозначать объекты и ситуации так, как это делают члены этой группы, иметь, когда используются определенные знаковые средства, те же ожидания, что и у других членов, и выражать свои собственные состояния так, как это делают другие, — короче говоря, понимать язык или правильно его использовать — значит следовать правилам употребления (синтактическим, семантическим и прагматическим), принятым в данной социальной общности людей.

Часто в связи с языковым знаком вводят еще одно уточнение: он должен быть таким, чтобы его можно было намеренно употреблять в функции коммуникации. Такие термины, как «намеренно», «коммуникация», нуждаются в более серьезном анализе, чем тот, которому их возможно подвергнуть здесь. Сошлемся поэтому на Мида, который в своей книге «Сознание, личность, общество», обсуждая языковой знак (он называет его значащим символом), как кажется, учитывает и мысль, содержащуюся и в упомянутом уточнении. Согласно Миду, первоначальное явление, из которого возникает человеческий язык в полном смысле слова, — это жест, особенно голосовой жест. Знак-жест (такой, как рычание собаки) отличается от знаков-нежестов (таких, как гром) тем, что его знаковое средство представляет собой раннюю фазу социального акта, а десигнат — более позднюю фазу этого акта (в данном случае нападение собаки). Здесь один организм готовит себя к тому, что собирается сделать другой организм, — собака, — реагируя на некоторые действия этого организма как на знаки; в рассматриваемом

случае рычание — это знак; нападение — это десигнат, животное, подвергшееся нападению, — интерпретатор, а подготовительная реакция интерпретатора — это интерпретанта. Полезность знаков-жестов ограничена в силу того, что такой знак не является одинаковым для того, кто его производит, и для его получателя: рычащая собака не реагирует на свое рычание так, как это делает ее противник; такой знак не является общим, и следовательно, это не языковой знак.

С другой стороны, важная черта голосового жеста заключается именно в том, что издающий звуки сам слышит их точно так же, как другие. Когда такие звуки начинают связываться с социальными действиями (такими, как драка, игра, празднество), у различных участников этого действия, несмотря на неодинаковость их функций в нем, оказывается, благодаря общему знаку, и общий десигнат. Каждый участник общей деятельности стимулирует своими голосовыми жестами себя, так же как он стимулирует других. Если соединить сказанное с тем, что Мид назвал временным измерением нервной системы (имеется в виду то, что более ранняя по времени и более медленно возбуждаемая деятельность может вызвать более позднюю и более стремительно протекающую деятельность, которая в свою очередь способствует или препятствует полному возбуждению первоначальной деятельности), то можно получить возможное объяснение того, каким образом языковые знаки намеренно используются в коммуникации. Приведем один из излюбленных примеров Мида и рассмотрим ситуацию с человеком, который заметил дым в переполненном театре. Дым — это знак-нежест пожара, и его восприятие вызывает до известной степени реакции, свойственные ситуации пожара. Но затем обыкновенно произносится звучащее слово *пожар!* в качестве реакции, связанной с целой совокупностью реакций на пожар. Поскольку это уже языковой знак, то тот, кто его произносит, начинает реагировать на желание его произнести так, как реагировали бы другие члены данной социальной группы на его произнесение — бежать к выходу, отталкивать других людей, если они загораживают дорогу, и т. п. Однако разные индивиды в силу некоторых глубинных особенностей характера будут реагировать на эти стремления благоприятно или неблагоприятно, будут либо подавлять в себе желание произнести *Пожар!*, либо уступят ему.

В таком случае говорят, что человек «знал, что он делает», что он «намеренно использовал (или не использовал) определенный знак в общении с другими», что он «учел других». Из этих обычных словоупотреблений Мид делает обобщение: «иметь намерение» или «осознавать нечто» эквивалентно «употреблению языковых знаков». Именно благодаря таким знакам индивидуум способен действовать с учетом последствий для себя самого и для других, и, та-

ким образом, в известной степени контролировать свое поведение; возможность представить вероятные последствия действия посредством производства языковых знаков становится важным фактором для осуществления или неосуществления действия, которое приводит (или кажется, что приводит) к таким последствиям. В подобных процессах получает прояснение понятие выбора, а также вопрос о том, какое различие следует проводить между отправителями и получателями языковых знаков. Поскольку языковой знак социально обусловлен, Мид с позиций своего социального бихевиоризма рассматривал индивидуальный разум и самосознание личности в социальном процессе, в котором объективная коммуникация с помощью жестов интериоризируется в индивиде благодаря функционированию голосовых жестов. Таким образом, именно благодаря достижениям общества, которые стали доступными индивиду в силу его партнерства в общем языке, индивид может стать личностью, развить интеллект, использовать достижения общества для осуществления своих целей. В то же время и общество выигрывает, если его члены способны теперь управлять своим поведением с учетом того, какие последствия это поведение может иметь для других, способны сделать достоянием всего общества собственный опыт и знания. На этих сложных уровнях семиозиса знак предстает как основное средство развития свободы личности и социальной интеграции.

3. Прагматическое употребление и злоупотребление знаками

Когда знак, произведенный или употребленный интерпретатором, используется как средство получения информации об интерпретаторе, то принимается точка зрения более высокого уровня семиозиса, а именно: дескриптивной прагматики. Такой взгляд на знаки стал общим достоянием благодаря психоанализу в психологии, прагматизму в философии, а теперь и благодаря социологии знания в области социальных наук. Газетные утверждения, политические воззрения, философские теории все больше рассматриваются сквозь призму тех интересов, которые выражены и обслуживаются производством и использованием соответствующих знаков. Для психоаналитиков сны представляют интерес потому, что они проливают свет на того, кто эти сны видит; социологов в области знания интересуют социальные условия, при которых получают распространение те или иные доктрины или системы доктрин. Однако ни первые, ни вторые не интересуются тем, являются ли сны или доктрины истинными в семантическом смысле этого слова, то есть существуют ли ситуации, которые обозначались бы этими снами или доктринами. Подобные исследования, наряду со многими другими, подтвердили на

широком материале общий тезис прагматизма об инструментальном характере идей.

Любой знак может быть рассмотрен исходя из психологических, биологических и социологических условий его употребления. Знак выражает свою интерпретанту, но она не является его денотатом; только на более высоком уровне отношение знака к интерпретатору само становится предметом десигнации. Когда это осуществлено и найдено некоторое соотношение, знак приобретает индивидуальную и социальную диагностическую ценность и тем самым становится новым знаком на более высоком уровне семиозиса. Знаки, так же как и вещи, не являющиеся знаками, могут становиться диагностическими знаками: тот факт, что у больного жар, сообщает определенные сведения о его состоянии; аналогичным образом тот факт, что некто использовал определенный знак, выражает состояние этого человека, потому что интерпретанта знака есть часть поведения индивидуума. В таких случаях одно и то же знаковое средство может функционировать как два знака — один, интерпретированный больным как указывающий на свои денотаты, и другой, интерпретированный врачом, ставящим диагноз, как указывающий на интерпретанту, подразумеваемую знаком, исходящим от больного.

Все знаки могут изучаться с точки зрения прагматики, более того, целесообразно в некоторых случаях использовать знаки, чтобы произвести некоторые процессы интерпретации независимо от того, существуют ли объекты, обозначенные знаками, или даже от того, возможны ли формально данные сочетания знаков в свете правил образования и преобразования в том языке, в котором данные знаковые средства обычно используются. Некоторые логики страдают, по-видимому, как бы обобщенным страхом перед противоречиями, забывая, что, хотя противоречия препятствуют обычному применению дедукции, они могут быть вполне совместимы с другими задачами. Даже знаки языка имеют много других применений, помимо сообщения подтверждаемых пропозиций: они могут быть многообразно использованы для управления своим собственным поведением или поведением других людей, употребляющих знаки, путем производства некоторых интерпретант. К этому типу относятся приказания, вопросы, просьбы и призывы и в значительной степени знаки, используемые в литературе, живописи, скульптуре. Эффективное использование знаков для эстетических и практических целей может потребовать весьма существенных изменений по сравнению с наиболее эффективным использованием тех же самых знаковых средств для целей науки. Можно извинить ученых или логиков, если они судят о знаках исходя из своих собственных интересов, но специалиста-семиотика должны интересовать все измерения и все употребления знаков; синтактика, семантика и праг-

матика знаков, используемых в литературе, различных видах искусства, морали, религии и вообще в суждениях, — столь же его дело, как и исследование знаков, используемых в науке. Как в одном, так и в другом случае употребление знаковых средств варьируется в зависимости от цели, которой оно служит.

Семиотика должна не только отстаивать свое законное право изучать для определенных целей воздействие знака на тех, кто будет его интерпретировать, но она должна также поставить перед собой задачу разоблачать смешение различных целей, для которых используются знаки, будь то смешение ненамеренное или сознательное. Подобно тому, как собственно синтактические или семантические утверждения могут маскироваться в форме, которая заставляет принимать их за утверждения о внеязыковых объектах, точно так же могут маскироваться и прагматические утверждения; тогда они становятся — в качестве квазипрагматических утверждений — особой формой псевдопредложений о вещах. В случаях явной недобросовестности цель достигается тем, что употребленным знакам придаются характеристики утверждений, имеющих синтактическое и семантическое измерения, так что они кажутся логически доказанными и эмпирически подтверждёнными, хотя в действительности ни того, ни другого нет. Для подкрепления обоснованности очевидного утверждения может быть привлечена интеллектуальная интуиция, стоящая якобы выше научного метода. Маскироваться может не только одно измерение под другие, маскировка может наблюдаться и в пределах самого прагматического измерения; цель, несостоятельность которой обнаружилась бы при свете научного исследования, выражается в форме, подходящей для других целей; агрессивные действия индивидуумов и социальных групп зачастую прикрываются покровом морали, а декларируемая цель часто отличается от подлинной. Есть даже особый интеллектуалистский способ оправдывать недобросовестность в употреблении знаков: отрицание того, что у истины есть какие-либо другие компоненты, кроме прагматического, и провозглашение истинным любого знака, если он служит интересам того, кто им пользуется. В свете сказанного выше должно быть ясно, что слово *истина*, как оно обычно используется, — это семиотический термин, который нельзя употреблять с точки зрения какого-либо одного измерения, в противном случае это должно быть эксплицитно оговорено. Те, кому хотелось бы верить, что «истина» — термин сугубо прагматический, часто ищут поддержки у представителей прагматизма и, естественно, умудряются не заметить (или не признают открыто), что прагматизм как продолжение эмпиризма представляет собой обобщение научного метода для философских целей, что прагматизм не может утверждать, что повседневное употребление слова *истина*, к чему он привлек внимание, могло бы

употребление слова *истина*, к чему он привлек внимание, могло бы зачеркнуть ранее установленные факторы. Некоторые вырванные из контекста высказывания Джеймса, казалось, оправдывали такое извращение прагматизма, однако, всерьез изучая Джеймса, нельзя не видеть, что его учение об истине было в принципе семиотическим: он ясно осознавал необходимость привлечения формальных, эмпирических и прагматических факторов; основную трудность для него представляло объединение этих факторов, поскольку у него не было той основы, которую дает развитая теория знаков. Дьюи недвусмысленно отрицал попытки отождествления истины и полезности. Прагматисты утверждали, что у истины есть аспекты, изучаемые прагматизмом и прагматикой; замена этого положения утверждением, что у истины есть только такие аспекты, является интересным примером извращения результатов научного анализа с целью придать правдоподобность квазипрагматическим утверждениям.

Чаще всего «псевдопредложения о вещах» квазипрагматического типа не являются результатом намеренного обмана других людей посредством использования знаков, но случаями неосознанного самообмана. Так философ, если есть настоятельная необходимость, может на основе сравнительно немногочисленных фактов построить сложную знаковую систему, возможно, даже в математической форме, и тем не менее большинство ее терминов может не иметь семантических правил употребления; впечатление, что по истинности эта система, возможно, стоит выше науки, возникает из смешения аналитических и синтетических предложений и из иллюзии, будто вызванное знаками сочувственное отношение составляет семантические правила. Сходное явление можно наблюдать в мифологии, где нет явного влияния научных типов выражения.

Особенно интересные аберрации претерпевают семиотические процессы в некоторых явлениях, изучаемых психопатологией. Обычно знаки замещают означаемые объекты только до известной степени; но если по тем или иным причинам интерес в самих объектах не может быть удовлетворен, то место объектов все больше и больше начинают занимать знаки. Такое движение очевидно уже в эстетических знаках, но интерпретатор не смешивает по-настоящему знак с объектом, который знак означает: описанный или нарисованный человек может, разумеется, быть назван человеком, но при этом более или менее четко осознается статус знака — это только нарисованный или описанный человек. При использовании сигналов в магии различие проводится менее четко; действия со знаковым средством заменяют действия с трудно уловимым объектом. При некоторых же разновидностях безумия различие между десигнатом и денотатом исчезает вовсе; мучительно-беспокойный мир

реально существующего отодвигается в сторону, и неудовлетворенные интересы получают, насколько это возможно, удовлетворение в сфере знаков; при этом в различной степени игнорируются требования непротиворечивости и проверяемости, предъявляемые к синтактическим и семантическим измерениям. Область психопатологии дает широкие возможности для приложения семиотики и для ее обогащения. Ряд исследователей в этой области уже осознал, что понятие знака занимает здесь ключевое место. И если, вслед за прагматистами, отождествить мыслительные явления с реакциями на знаки, сознание — с референцией при помощи знаков, разумное (или «свободное») поведение — с управлением поступками путем предвидения последствий, которое становится возможным благодаря знакам, тогда психология и социальные науки смогут осознать, в чем состоит различие их задач, и найти свое место в пределах объединенной науки. И нет ничего фантастического в предположении, что понятие знака может оказаться столь же фундаментальным для наук о человеке, как понятие атома для физических наук и клетки для наук биологических.

VI. ЕДИНСТВО СЕМИОТИКИ

1. Значение

Мы изучали некоторые черты феномена функционирования знаков, прибегнув к абстракции, связанной с различением синтактики, семантики и прагматики, — совершенно так же, как биологи изучают анатомию, экологию и физиологию. И хотя мы эксплицитно признавали, что это абстракция, и постоянно соотносили между собой три составные части семиотики, все же теперь целесообразно еще более эксплицитно привлечь внимание к единству семиотики.

В широком смысле, любой термин синтактики, семантики или прагматики — это семиотический термин; в узком же смысле, семиотическими являются только такие термины, которые не могут быть определены исходя только из какой-либо одной составной части семиотики. В строгом смысле семиотические термины — это «знак», «язык», «семиотика», «семиозис», «синтактика», «истина», «знание» и т. п. Ну, а как обстоит дело с термином «значение»? В предыдущем изложении мы его сознательно избегали. И в целом при обсуждении знаков также хорошо было бы обойтись без термина «значение»; с точки зрения теории, в нем вообще нет нужды, и его не следует вводить в язык семиотики. Но поскольку этот термин имеет громкую историю, поскольку его анализ может прояс-

нить некоторые важные положения данной работы, настоящий раздел будет посвящен его обсуждению.

Путаница, связанная со «значением "значения"», отчасти кроется в неспособности различать с достаточной ясностью то измерение семиозиса, которое является в данный момент предметом рассмотрения, — эта ситуация наблюдается также при недоразумениях с терминами «истина» и «логика». В одних случаях «значение» указывает на десигнаты, в других — на денотаты, иногда — на интерпретанту; в ряде случаев — на то, что́ знак имплицирует, в других — на процесс семиозиса как таковой, а зачастую — на значимость или ценность. Аналогичная путаница обнаруживается в обычном употреблении слов «означает», «значит», «подразумевает», «выражает», а также тогда, когда лингвисты пытаются определить такие термины, как «предложение», «слово» и «часть речи». Самым легким объяснением причин подобной путаницы было бы предположение, что для тех важнейших целей, которым служат общеупотребительные языки, не было необходимости в точном обозначении различных факторов, участвующих в семиозисе, — на процесс просто указывали каким-либо образом с помощью слова «значение». Но если такое расплывчатое словоупотребление переходит в сферы, где важно понимание семиозиса, возникает путаница. И тогда приходится либо отказаться от термина «значение», либо придумать способы уточнять его употребление в каждом конкретном случае. Семиотика не покоится на теории «значения», напротив, термин «значение» нуждается в разъяснении с точки зрения семиотики.

Другой фактор, способствующий путанице, — психолингвистический: людям вообще трудно мыслить ясно о сложных функциональных и реляционных процессах, и эта ситуация нашла отражение в преобладании определенных языковых форм. Действие сосредоточивается вокруг оперирования вещами, обладающими признаками, но тот факт, что эти вещи и свойства выступают только в сложных связях, осознается гораздо позже и с большим трудом. Отсюда естественность того, что Уайтхед назвал иллюзорностью простой локации [места]. Когда речь идет о значении, попытки искать его напоминают поиски мраморных шариков для игры: значение рассматривается как некоторая вещь среди других вещей, как определенное «нечто», определенным образом расположенное в определенном месте. Таким местом может быть признан десигнат, который тем самым трансформируется в некоторых разновидностях «реализма» в особый род объекта — нечто вроде «платоновской идеи», обитающей в «царстве сущностей» и воспринимаемой, вероятно, с помощью особой способности интуитивно постигать «сущности». Или же таким местом может оказаться интерпретанта, которая в концептуализме трансформируется в понятие или идею, обитающую в осо-

бой сфере мыслительных единиц, отношение которых к «психическим состояниям» индивидуальных интерпретаторов сформулировать очень трудно. Наконец, в отчаянии от такой альтернативы можно обратиться к знаковому средству — хотя в истории такого взгляда придерживались лишь немногие «номиналисты», если вообще таковые были. В действительности же ни одна из этих точек зрения не оказалась состоятельной и необходимой. Как семиотические термины ни «знаковое средство», ни «десигнат», ни «интерпретанта» не могут быть определены без соотнесения друг с другом; следовательно, за ними стоят не изолированные сущности, но вещи или свойства вещей в определенных, точно устанавливаемых функциональных отношениях к другим вещам или свойствам. «Психическое состояние» или даже реакция как таковые не являются интерпретантами, но становятся ими, коль скоро представляют собой «учитывание чего-либо», вызванное знаковым средством. Точно так же ни один объект как таковой не является денотатом, но становится им, если он выступает как член класса объектов, означаемых с помощью некоторого знакового средства согласно семантическому правилу, которое для этого знакового средства существует. Ничто по своим внутренним свойствам не есть знак или знаковое средство, но может стать таковым, если, выступая посредником, позволяет чему-либо учесть что-либо. Значения не следует размещать как сущности в каком-либо месте процесса семиозиса, но следует определять исходя из этого процесса в целом. «Значение» — это семиотический термин, а не имя в языке, на котором говорят о вещах; сказать, что в природе существуют значения, вовсе не значит утверждать, что имеется класс сущностей наравне с деревьями, скалами, организмами, а значит только, что такие объекты и свойства функционируют в рамках процесса семиозиса.

При таком подходе можно также избежать и другого постоянного камня преткновения, а именно признания значения явлением в принципе личным, частным или субъективным. Исторически такой взгляд во многом складывался благодаря усвоению концептуалистического подхода ассоциативной психологией, которая сама некритически восприняла распространенную метафизическую идею субъективности опыта. Оккам или Локк вполне сознавали важность навыка в функционировании знаков, но по мере того как ассоциативная психология все больше и больше сводила мыслительные явления к сочетаниям «психических состояний» и представляла эти состояния как имеющие место в «мозгу» индивидуума и доступные только его субъективному сознанию, само значение стало рассматриваться в этом свете. Считалось, что значения недоступны наблюдению извне, но что индивидам так или иначе удается передавать свои личные мыслительные состояния, используя звуки, письмо и другие знаки.

Понятие субъективности опыта невозможно здесь обсудить с той тщательностью, которую заслуживает данная проблема. Можно, однако, предположить, что такой анализ показал бы, что сам термин «опыт» является термином отношения, маскирующимся под название вещи. *x* есть опыт (experience), если и только если имеется некоторый *y* (субъект опыта), находящийся с *x* в отношении опыта. Если сокращенно обозначить *отношение опыта как E*, тогда класс *y*-ов, такой, что *y* находится в отношении *E* к чему-либо, есть класс *субъектов опыта*, а *x*-ы, к которым нечто находится в отношении *E*, образуют класс *данных опыта*. Следовательно, опыт не есть особый класс объектов наравне с другими объектами, но объекты в определенном отношении. Отношение *E* не будет здесь рассматриваться подробно (это составляет основную задачу эмпиризма), но в качестве первого приближения можно сказать, что воспринимать нечто как данное в опыте — значит учитывать свойства этого «нечто» посредством соответствующего поведения; опыт является *непосредственным* в той степени, в какой он формируется путем непосредственной реакции на нечто, о чем идет речь, и *опосредованным* в той степени, в какой он формируется через знаки. Для того чтобы y_1 воспринял в опыте x_1, достаточно, чтобы имело силу $y_1\ Ex_1$; восприятие опыта будет *осознанным*, если y_1Ex_1 есть отношение опыта (то есть если имеет силу $y_1E\ [y_1Ex_1]$), в противном случае восприятие опыта *бессознательно*. Опыт x_1 является de facto *субъективным* по отношению к y_1, если y_1 является единственным, кто находится в отношении *E* к x_1; опыт x_1 является по своим внутренним свойствам субъективным по отношению к y_1 соответственно определенному состоянию знания, если известные законы природы позволяют сделать вывод, что никакой другой *y* не может находиться в этом отношении к x_1. Аналогично этому, опыт является de facto *интерсубъективным* (межсубъективным), если он не является de facto субъективным, и он *потенциально интерсубъективен*, если не является субъективным по своим внутренним свойствам. Следует отметить, что при таком употреблении терминов может оказаться, что человек не в состоянии непосредственно воспринимать как данные опыта такие аспекты самого себя, которые другие могут воспринимать непосредственно, и таким образом граница между субъективным и интерсубъективным опытом отнюдь не совпадает с различием между субъектами опыта и внешними объектами.

Какое же отношение имеет этот (пробный и предварительный) анализ к проблеме значения? Можно допустить, если это будет подтверждено фактами, что существуют некоторые данные опыта, которые являются de facto субъективными, когда дело касается непосредственного опыта, и что, возможно, это справедливо и в отношении непосредственного опыта процесса семиозиса; не было

бы ничего удивительного в заключении: если я — интерпретатор конкретного знака, значит, имеются некоторые аспекты процесса интерпретации, которые я могу непосредственно воспринимать в опыте, а другие не могут. Важно, что такой вывод не будет противоречить положению о *потенциальной интерсубъективности любого значения*. Тот факт, что y_1, и y_2 не находятся в отношении непосредственного опыта к опыту другого, не мешает обоим непосредственно воспринимать в опыте x_1, а также опосредованно означать (и, следовательно, опосредованно воспринимать), используя знаки, отношения опыта, в которых находится другой субъект — потому, что при определенных обстоятельствах объект, который не дан в непосредственном опыте, может тем не менее быть обозначен. Применим сказанное к случаю конкретного знака: непосредственное восприятие в опыте ситуации значения у y_1 и y_2 может быть различным, но тем не менее оба они могут иметь одно и то же общее значение и, как правило, в состоянии решить, что» хочет сказать другой посредством знака и в какой степени эти два значения одинаковы или различны. Для того чтобы определить, какое значение имеет S_1 (то есть — знаковое средство) для y_1 исследователю совершенно не нужно становиться y_1 или иметь такое же восприятие S_1 как y_1, — достаточно определить, как S_1 связано с другими знаками, употребляемыми y_1, в каких ситуациях y_1 использует S_1 для целей означения и каковы ожидания y_1, когда он реагирует на S_1. В той мере, в какой указанные отношения оказываются одинаковыми для y_2, как и для y_1 S_1 имеет для них одинаковое значение; в той мере, в какой эти отношения для y_1 и y_2 различны, различается значение S_1.

Итак, поскольку значение знака исчерпывающе характеризуется установлением для него правил употребления, значение любого знака может быть в принципе определено с помощью объективного исследования. А поскольку таким образом можно (если это целесообразно) стандартизировать такое употребление, то результатом является потенциальная интерсубъективность значения любого знака. Даже тогда, когда знаковое средство субъективно по своим внутренним свойствам, существование его с тем или иным значением может быть подтверждено опосредованно. Верно, что на практике определение значения сопряжено с трудностями и что различия в употреблении знаков даже членами одной социальной группы очень велики. Однако, с точки зрения теории, важно понять, что субъективный характер некоторых данных опыта и даже восприятий в опыте знакового процесса совместим с возможностью объективного и исчерпывающего определения любого значения.

Как было сказано выше, термин «значение» был введен здесь лишь условно, для того чтобы более четко представить концеп-

цию данной работы; далее этот термин употребляться не будет, ибо он ничего не добавляет к системе семиотических терминов. Как можно видеть из приведенного выше рассуждения, то, что будет названо *знаковым анализом*, соответствует требованиям научного исследования. Знаковый анализ — это изучение синтактического, семантического и прагматического измерений конкретных процессов семиозиса; это выяснение правил употребления данных знаковых средств. Логический анализ в самом широком понимании термина «логика» тождествен знаковому анализу; в более узком смысле логический анализ составляет некоторую часть знакового анализа, как, например, изучение синтактических отношений того или иного знакового средства. Знаковый анализ (то есть дескриптивная семиотика) может быть осуществлен в соответствии с общепризнанными принципами научного исследования.

2. Универсалии и универсальность

Некоторые аспекты «универсальности» (или всеобщности [generality]) знаков привлекали внимание уже давно, и их объяснение было источником многих философских споров. Если рассмотреть явления, на которые расплывчато указывают перегруженные термины «универсалии» и «универсальность», сквозь призму семиотического анализа, то можно увидеть разные стороны проблемы, а также связи между ними.

К проблеме можно подойти, исходя из введенного Пирсом разграничения *синсигнумов* и *легисигнумов* (sinsign, legisign): синсигнум — это нечто конкретное, функционирующее как знак, тогда как легисигнум есть «закон», который функционирует в качестве знака. Конкретная последовательность начертаний в определенном месте, как, например, англ. house «дом», — это синсигнум; однако эта частная последовательность значков не есть английское слово house, потому что это слово — «одно», в то время как случаи его появления или воспроизведения столь же многочисленны, как различные употребления этого слова. Слово — это закон или навык употребления, своего рода «универсалия» в противопоставлении конкретным случаям его появления. На Пирса указанная ситуация произвела столь сильное впечатление, что он положил различие синсигнумов и легисигнумов в основу своей классификации знаков; это различие было проявлением в области знаков феномена закона (навыка, «Третичности» — Thirdness, опосредования), на объективном характере которого Пирс так настаивал.

Все, что было здесь сказано, совместимо с таким общим подходом; предыдущий раздел должен был ясно показать, что семиозис, будучи процессом функциональным, столь же реален и объекти-

вен, как и те факторы, которые функционируют в этом процессе в качестве его составляющих. Следует также признать, что в тех случаях, когда в семиозисе в качестве знакового средства функционирует, скажем, слово house, данный синсигнум (или конкретный случай семиозиса) не тождествен легисигнуму *house*. Что же тогда представляет собой легисигнум и где в знаковом процессе нужно искать «универсалии» и «универсальность»? Ответ на данный вопрос должен гласить, что элемент универсальности или всеобщности есть во всех измерениях, но путаница возникает в тех случаях, когда эти измерения не разграничиваются и когда утверждения на метаязыке смешиваются с утверждениями на языке-объекте, на котором говорят о вещах.

Можно экспериментально доказать, что в одном процессе семиозиса вместо первоначального знакового средства могут быть подставлены другие, и при этом не произойдет никаких существенных изменений. Удары метронома, к которым привыкло животное, могут ускоряться или замедляться в определенных пределах, не вызывая никаких изменений в реакции животного; слово *house* может быть произнесено в разное время одним и тем же лицом или разными лицами, различным тоном, и, несмотря на это, оно вызовет одинаковую реакцию и будет использоваться для означения одних и тех же объектов. У написанного слова может существенно различаться величина букв, почерк, цвет чернил и т. п. Вопрос о границах такого варьирования, о том, что остается постоянным в этих границах, решить крайне трудно, даже вооружившись самой совершенной экспериментальной методикой, но сам факт вариативности сомнений не вызывает. Строго говоря, знаковое средство — это только та сторона материального знаконосителя, благодаря которой имеет место семиозис; остальное с точки зрения семиотики несущественно. Сказать, что то или иное знаковое средство «универсально», значит сказать, что это один из класса объектов, которые имеют свойство или свойства, необходимые для того, чтобы вызвать определенные ожидания, чтобы вступать в определенные отношения с другими знаковыми средствами, чтобы обозначать определенные объекты. Все объекты этого класса подчиняются одним и тем же правилам знакового употребления. Так, house и HOUSE могут быть одним и тем же знаковым средством, а house и Haus не могут: тот факт, что the house is red «дом красен» соответствует правилам английского языка, тогда как the Haus is red не соответствует, показывает, что эти знаковые средства — не одинаковы, поскольку правила их употребления (частично) различны. Ни одну из наук, изучающих знаки, не интересует полное физическое описание знакового средства, они занимаются им лишь в той степени, в какой оно как знаконоситель соответствует правилам употребления.

В каждом конкретном случае семиозиса знаковое средство представляет собой, разумеется, вполне определенное частное явление, синсигнум; о его «универсальности» (о том, что это легисигнум) говорит лишь один фактор, который можно сформулировать с помощью метаязыка: знаковое средство — это один член из класса объектов, способных выполнять одну и ту же знаковую функцию.

Другая сторона проблемы связана с семантическим измерением. Десигнат знака — это класс объектов, которые знак может обозначать в силу своего семантического правила. Правило может допускать, чтобы знак применялся только к одному объекту или ко многим объектам, но не ко всем объектам и не ко всему. Здесь «универсальность» знака есть просто его потенциальная способность обозначать более чем один объект или ситуацию. Поскольку такое утверждение является семантическим, его можно сформулировать как конверсию отношения денотации: объекты имеют свойство универсальности, если могут обозначаться одним и тем же знаком. Коль скоро множество объектов или ситуаций допускает применение определенного знака, они отвечают условиям, установленным семантическим правилом; следовательно, существует нечто, равно истинное для всех этих объектов и ситуаций, и в этом отношении и в этой степени они тождественны: различия, которые, возможно, и существуют, для данного конкретного случая семиозиса несущественны. «Универсальность (или всеобщность) объектов» — это семантический термин, и говорить так, как если бы «универсальность» была термином в «вещном языке», обозначающим сущности («универсалии») в реальном мире, значит произносить «вещные» псевдопредложения квазисемантического типа. В Средние века этот факт учитывался в учении, согласно которому «универсальность» — термин вторичной интенции, а не первичной; говоря современным языком, это термин семиотики, а не «вещного языка». В «вещном языке» просто существуют термины, правила употребления которых делают их применимыми ко множеству ситуаций; если же исходить из объектов, можно только сказать, что мир таков, что часто тем или иным знаком может быть обозначено множество объектов или ситуаций.

Аналогичное положение обнаруживается в синтактике, где отношения знаковых средств изучаются постольку, поскольку эти отношения определены правилами образования и преобразования. Сочетание знаковых средств есть некоторое частное [особенное] (a particular) явление, но его форма может быть такой же, как у других сочетаний знаковых средств, то есть множество сочетаний различных знаковых средств может быть результатом одного и того же правила образования или преобразования. В этом случае конк-

ретное сочетание знаков обладает формальной или синтактической универсальностью.

С точки зрения прагматики, для обсуждаемой проблемы существенны два соображения. Во-первых, здесь перед нами некоторый аналог уже описанной семантической ситуации. Тот факт, что некоторые знаковые средства могут обозначать много объектов, соответствует тому, что ожидания варьируются по степени определенности: следовательно, ожидание может быть удовлетворено целым рядом объектов. Человек ожидает, что завтра будет хороший день — и ряд погодных условий оправдывает его ожидание. Таким образом, хотя реакция в конкретной ситуации специфична, тем не менее в рамках прагматики истинно утверждение, что сходные реакции часто вызываются множеством знаковых средств и удовлетворяются множеством объектов. С этой точки зрения, интерпретанта (как и любой навык) имеет характер «универсальности», который в конкретной ситуации контрастирует с ее индивидным характером. В прагматике различается еще один аспект универсальности знаков, а именно социальная универсальность, которая заключается в том, что знак может быть общим для многих интерпретаторов.

В универсальности, присущей семиозису, необходимо, таким образом, различать пять типов. Поскольку термин «универсальность» имеет множество употреблений, в некоторых из этих пяти случаев он явно неуместен. В этой связи мы будем использовать термин «всеобщность» (generality). Существуют пять типов всеобщности знаков: *всеобщность знакового средства*, *всеобщность формы*, *всеобщность денотации*, *всеобщность интерпретанты и социальная всеобщность*. Суть вопроса состоит в том, что каждый из этих видов всеобщности может быть констатирован только в пределах семиотики как целого; следовательно, всеобщность — это реляционное понятие, поскольку все отрасли семиотики изучают только отношения. Назвать нечто «всеобщим» или «универсальным» — значит просто употребить «вещное» псевдопредложение вместо точного семиотического выражения; такие термины могут лишь означать, что нечто, о чем идет речь, находится к чему-то еще в одном из отношений, объединенных в указанных выше пяти типах всеобщности знаков. Таким образом, сохраняется то, что не потеряло значения в теориях номинализма, реализма и концептуализма; в то же время удается устранить последние попытки трактовать всеобщность как субстанцию или сущность, приняв тот уровень дискурса, на котором можно адекватно обсуждать всеобщность, и осознав реляционный характер терминов, употребляемых на этом уровне.

3. Взаимосвязь семиотических наук

Поскольку в настоящее время наблюдается тенденция к специализированным исследованиям по синтактике, семантике и прагматике, необходимо решительно подчеркнуть взаимосвязь этих наук в пределах семиотики. И действительно, семиотика, будучи более широкой наукой, чем эти дисциплины, изучает главным образом их взаимосвязи и тем самым семиозис в целом — чем каждая из этих дисциплин по отдельности не занимается.

Один из аспектов взаимосвязи дисциплин, составляющих семиотику, заключается в том, что, хотя каждая из них так или иначе имеет дело со знаками, ни одна не может определить термин «знак» и, следовательно, дать определение самой себе. Так, например, «синтактика» — термин не синтактический, но сугубо семиотический, и то же самое справедливо в отношении «семантики» и «прагматики». Синтактика занимается правилами образования и преобразования, но правила предполагают возможные способы поведения и, следовательно, понятие интерпретатора; таким образом, «правило» — это термин прагматики. Семантика эксплицитно указывает на знаки только как на десигнаты объектов или ситуаций, однако это отношение невозможно без семантических правил употребления; таким образом, вновь имплицитно вводится понятие интерпретатора. Прагматика непосредственно имеет дело с интерпретируемыми знаками, но «интерпретатор» и «интерпретанта» не могут быть определены без использования терминов «знаковое средство» и «десигнат» — поэтому все эти термины являются в строгом смысле слова семиотическими терминами. Эти соображения — сами по себе лишь немногие из возможных — показывают, что, хотя сами семиотические дисциплины не устанавливают отношения друг к другу, они могут быть разграничены и охарактеризованы только в пределах более широкой науки, составными частями которой они являются.

Верно также, что тот, кто изучает какое-либо измерение семиозиса, употребляет термины, имеющие все три измерения, и использует результаты, полученные при изучении других измерений. Правила, управляющие знаковыми средствами изучаемого языка, должны быть поняты, а «понимание» — это термин прагматики. Правила соединения и преобразования возможных знаковых средств не могут быть составлены просто применительно к каким-то возможным знаковым средствам, они должны реально функционировать как знаки. В дескриптивной синтактике должны быть знаки для обозначения изучаемых знаковых средств, и цель ее — построить истинные утверждения об этих знаковых средствах, однако термины «обозначать» и «истинный» не относятся к синтактике. Семантика изучает отношение сочетания знаков к тому,

что оно обозначает или может обозначать, но это подразумевает знание структуры сочетания знаков и семантических правил, благодаря которым существует отношение денотации. Прагматика не может уйти далеко без учета формальных структур, которым она должна найти прагматическое соответствие, и отношения знаков к объектам, которое она стремится объяснить с помощью понятия навыка употребления. Наконец, языки синтактики, семантики и прагматики имеют все три измерения: они означают определенный аспект семиозиса, они имеют формальную структуру и им присущ прагматический аспект, коль скоро их используют или понимают.

Тесная взаимозависимость семиотических дисциплин позволяет говорить о семиотике как о единой науке, но не следует забывать, что указанные дисциплины основаны на трех не сводимых друг к другу подходах, которые обладают относительной самостоятельностью и соответствуют трем объективно существующим измерениям семиозиса. При изучении любого знака может быть использован любой из этих трех подходов, хотя ни один из них в отдельности не охватывает всей сущности знакового процесса. Можно сказать, что в некотором смысле ни один из этих подходов не имеет предела, то есть такой черты, дойдя до которой исследователь должен был бы отказаться от одного подхода и перейти к другому. Это просто объяснить: ведь при каждом подходе исследуются разные аспекты семиозиса. Сосредоточивая внимание на каком-то одном измерении, мы сознательно отвлекаемся от тех аспектов процесса, которые можно изучить при других подходах. Синтактика, семантика и прагматика — составные части единой науки семиотики, но такие составные части, которые взаимно не сводимы друг к другу.

VII. ПРОБЛЕМЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Объединение семиотических наук

Нам остается коротко рассказать о стоящих перед семиотикой проблемах, а также обрисовать возможные области применения семиотики. Данный раздел в этой связи можно условно разделить. на три части: объединение семиотических наук, семиотика как органон [инструмент] наук и значение семиотики для гуманитарных наук. Цель нижеследующих замечаний — привлечь внимание к этим проблемам, подсказать направление поисков решений, а не сами решения.

Изложение предмета, данное выше, было приспособлено к задачам введения. Большие области семиотики были опущены, точ-

ность формулировок часто приносилась в жертву стремлению избежать длительного предварительного рассуждения, приводимые примеры рассматривались только с такой степенью детализации, какая была необходима для иллюстрации обсуждаемой проблемы. Хотя в целом очертания семиотики обозначились достаточно четко, она все еще не достигла состояния развитой науки. Дальнейшее развитие потребует сотрудничества многих исследователей. Нужны и собиратели фактов, и систематизаторы. Первые должны выяснить, при каких условиях протекает семиозис и что происходит в этом процессе; вторые на основе имеющихся фактов должны создать строгое упорядоченное теоретическое построение, которое в свою очередь в будущем могло бы пригодиться собирателям фактов. Одну из важных теоретических проблем составляет отношение разных типов правил. Предлагаемая здесь теория знаков обнаруживает многие точки соприкосновения с конкретными исследованиями биологов, психологов, психопатологов, лингвистов и других представителей социальных наук. При систематизации с большой пользой может быть применена символическая логика; ведь поскольку семиотика всегда имеет дело с отношениями, она особенно подходит для применения к ней логики отношений. Деятельность и собирателей фактов, и систематизаторов одинаково важна; и они должны работать рука об руку, предоставляя друг другу материалы своих исследований.

Ученым-семиотикам следует понять, что в истории семиотики можно найти много полезного, что может послужить и как стимул, и как область приложения. Такие убеленные сединами доктрины, как учение о категориях, о трансцендентных идеях, о предикабилиях, можно рассматривать как первые шаги семиотики, в которые должна быть внесена ясность в свете ее последних достижений. Споры древних греков о знаке напоминающем и указывающем, средневековые учения об интенции и суппозиции заслуживают того, чтобы к ним вернулись и дали им новую интерпретацию. Богатый дополнительный материал дает история лингвистики, риторики, логики, эмпиризма и экспериментальной науки. Семиотика имеет богатые традиции, и, подобно другим наукам, она должна сохранять к своей истории живой интерес.

В настоящее время достижения таких наук, как логика, математика, лингвистика, могут быть переосмыслены с семиотических позиций. Логические парадоксы, теория типов, законы логики, теория вероятностей, различение дедукции, индукции и гипотетического умозаключения, модальная логика — все эти темы могут обсуждаться в рамках теории знаков. В той мере, в какой математика есть знание о структурах языкового типа, ее также можно рассматривать как часть семиотики. Что касается лингвистики, то она явно подпадает под семиотику, занимаясь в настоящее время опреде-

ленными аспектами сложных знаковых структур, образующих языки в полном семиотическом смысле этого слова. Возможно, что всеми признанное неудовлетворительное положение с такими терминами, как «слово», «предложение», «часть речи», может быть исправлено, если будут учтены знаковые функции различных языковых средств. Древние проекты создания универсальной грамматики приобретают новую форму и оправдание, если в их основу будет положено учение, что все языки выполняют сходные знаковые функции, используя разные средства.

Логика, математика и лингвистика могут быть включены в семиотику полностью. Что касается некоторых других наук, то это возможно лишь частично. В значительной части под компетенцию семиотики подпадают проблемы, оцениваемые как эпистемологические или методологические: так, эмпиризм и рационализм являются в своей сути теориями о том, когда имеет место отношение денотации, или о том, когда можно сказать, что оно имеет место; обсуждение проблем истинности и знания неразрывно связано с семантикой и прагматикой; обсуждение процедур, применяемых в науке, если это не просто раздел логики, психологии или социологии, должно соотнести эти процедуры с познавательным [когнитивным] статусом утверждений — результатом их приложения [к миру]. Эстетика в той мере, в какой она изучает определенный вид функционирования знаков (таких, например, как иконические, десигнатами которых являются ценности), — семиотическая дисциплина, имеющая синтактический, семантический и прагматический компоненты, и различение этих компонентов может лечь в основу эстетического анализа. Социология знания есть явно часть прагматики, так же как и риторика; семиотика — это система, которая охватывает современные эквиваленты древнего «тривия» (trivium) — логики, грамматики и риторики. Согласно высказанному уже выше предположению, частичный (а возможно, и абсолютный) критерий отграничения психологии и ряда социальных наук от других биологических и социальных наук можно найти в том, что первые имеют дело с реакциями, опосредованными знаками. Само возникновение семиотики представляет собой определенную стадию в унификации наук, связанных полностью или частично со знаками; семиотика может также сыграть важную роль связующего звена между биологическими науками, с одной стороны, и психологией и социальными науками — с другой, пролив новый свет на соотношение так называемых «формальных» и «эмпирических» наук.

2. Семиотика как органон наук

Семиотика занимает среди других наук уникальное место. Можно, по-видимому, сказать, что всякая эмпирическая наука занимается поисками данных, которые могли бы служить в качестве на-

дежных знаков; и бесспорен тот факт, что всякая наука должна воплотить свои результаты в знаки языка. Следовательно, ученый должен быть столь же тщательным в обращении со своим орудием — языком, как и при конструировании приборов или проведении наблюдений. Именно к семиотике должны обращаться науки за понятиями и общими принципами, существенными для решения их собственных проблем знакового анализа, потому что семиотика — это не просто наука среди других наук, а органон, или инструмент, всех наук.

Эта функция может быть осуществлена двумя путями. Первый путь состоит в том, чтобы сделать подготовку в области семиотики постоянной частью образования ученого. Благодаря этой подготовке, ученые стали бы более критически относиться к своему лингвистическому аппарату, вырабатывать в себе навыки осторожного с ним обращения. Другой путь заключается в конкретном исследовании языков специальных наук. Выраженные с помощью языка достижения наук — часть предмета, изучаемого дескриптивной семиотикой. Конкретный анализ основных терминов и проблем в тех или иных науках покажет специалистам значение семиотики гораздо более эффективно, чем самое длинное абстрактное рассуждение. Такими исследованиями являются другие очерки в настоящей «Энциклопедии». В современных научных теориях встречается много псевдопроблем, возникших из смешения утверждений на языке семиотики и на языке-объекте, — многочисленные примеры тому можно было увидеть в недавних дискуссиях по проблемам индетерминизма и принципа дополнительности. Эмпирические проблемы нелингвистического порядка не могут быть решены исходя из лингвистических соображений; но очень важно, чтобы эти два рода проблем не смешивались и чтобы нелингвистические проблемы формулировались в такой форме, которая способствовала бы их эмпирическому решению. Классическая логика считала себя органоном наук, но в действительности она была неспособна осуществить эту задачу; современная семиотика, соединив в себе новые веяния в логике и широкое многообразие подходов к знаковым явлениям, возможно, попытается взять на себя эту роль.

3. Значение семиотики для гуманитарных наук

Знаки служат не только приобретению знания, но и другим целям, поэтому дескриптивную семиотику следует рассматривать шире, чем изучение языка науки. В соответствии с различными целями были разработаны более или менее специализированные языки, которые в известной степени следуют за различными измерениями семиозиса. Так, математическая форма выражения хорошо приспо-

соблена для того, чтобы выдвигать на первый план взаимосвязь терминов в языке, так что отношение к объектам и интерпретаторам отодвигается назад; язык эмпирической науки особенно пригоден для описания природы; язык морали, изобразительных и прикладных искусств особенно подходит для управления поведением, для представления вещей или ситуаций как объектов интереса, для манипуляции вещами с целью достижения желаемых результатов. И во всех этих случаях представлены все измерения семиозиса, но некоторые из них занимают подчиненное положение или частично преобразованы, в силу того что внимание сосредоточено на одном из измерений. У утверждений математики, возможно, есть эмпирический аспект (многие из них действительно были открыты эмпирическим путем); математические проблемы могут возникнуть в связи с проблемами в других областях, но язык математики отводит этим факторам подчиненную роль, чтобы лучше осуществить ту задачу, для выполнения которой он был создан. Эмпирические науки заняты в действительности не столько тем, чтобы получить все возможные истинные утверждения (как, например, утверждение о площади каждого знака на этой странице), сколько тем, чтобы получить *важные* истинные утверждения (то есть утверждения, которые дают надежную основу для предсказания и в то же время помогают в создании систематической науки), — но язык эмпирической науки приспособлен для выражения истины, а не важности ее утверждений. Лирическая поэзия обладает синтаксисом и использует слова, означающие вещи, но ее синтаксис и слова действуют таким образом, что для читателя на первый план выступают ценности и оценки. Максимы прикладных искусств покоятся на истинных пропозициях, существенных для достижения определенных целей («чтобы достигнуть x, сделай так и так»); у моральных суждений аналогичным образом может быть эмпирический компонент, но кроме этого, они могут предполагать желательность достижения определенной цели и стремиться управлять поведением («Вам следует сделать вашему ребенку прививку», то есть «Принимая как само собой разумеющееся цель сохранения здоровья ребенка, прививка в настоящее время является наиболее надежным средством достижения этой цели, поэтому ее нужно сделать»).

Семиотика дает основу для понимания важнейших форм человеческой деятельности и связи этих форм друг с другом, поскольку все эти виды деятельности и все отношения находят отражение в знаках. Такое понимание оказывает действенную помощь, устраняя смешение различных функций, осуществляемых посредством знаков. Как сказал Гёте: «Нельзя на самом деле придираться ни к какой форме представления» — при условии, разумеется, что та или иная форма представления не выдает себя за то, чем она не является. Способствуя пониманию человеческой деятельности, семиоти-

ка обещает осуществить одну из задач, традиционно считавшихся философскими. Философия часто грешила, смешивая в своем собственном языке различные функции, которые выполняют знаки. Но, согласно старой традиции, философия должна стараться постичь специфические формы человеческой деятельности, стремиться к наиболее общему и наиболее систематическому знанию, какое только возможно. В современной форме эта традиция выступает в отождествлении философии с теорией знаков и с унификацией науки, иначе говоря с общими и системными аспектами чистой и дескриптивной семиотики.

Избранная библиография*

Aidukiewicz K. Sprache und Sinn // Erkenntnis, vol. IV, 1934.

Benjamin A. C. The Logical Structure of Science. Chaps. VII, VIII, IX. London, 1936.

Carnap R. Philosophy and Logical Syntax. London, 1935.

Carnap R. Logical Syntax of Language. Vienna — London, 1937.

Carnap R. Testability and Meaning // Philosophy of Science, vol. III, 1936, vol. IV, 1937.

Cassirer E. Die Philosophie der symbolischen Formen. 3 vols. Berlin, 1923.

Eaton R. M. Symbolism and Truth. Cambridge (Mass), 1925.

Gatschenberger R. Zeichen. Stuttgart, 1932.

Husserl E. Logishe Untersuchungen. Vol. II, part I. 4th ed., Halle, 1928.

Kokoszynska M. Über den absoluten Wahrheitsbegriff und einige andere semantische Begriffe // Erkenntnis, vol. VI, 1936.

Mead G. H. Mind, Self, and Society. Chicago, 1934.

Mead G. H. The Philosophy of the Act. Chicago, 1938.

Morris Ch. W. Logical Positivism, Pragmatism, and Scientific Empiricism. Paris, 1937.

Ogden C. K., Richards I. A. The Meaning of «Meaning». London, 1923.

Peirce Ch.S. Collected Papers, esp. Vol. II. Cambridge (Mass.), 1931.

Reichenbach H. Experience and Prediction. Chaps. I and II, Chicago, 1938.

Schlick H. Gesammelte Aufsätze, 1926—1936. Vienna, 1938.

Tarski A. Grundlegung der wissenschaftlichen Semantlk // Actes du congrès international de philosophie scientifique. Paris, 1936.

Tarski A. Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen // Studia philosophica, vol. I, 1935.

Wittgenstein L. Tractatus logico-philosophicus. London, 1922 [русский перевод: Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958].

* Составлена Ч. У. Моррисом. — *Прим. ред.*

Жан Пиаже

Психогенез знаний и его эпистемологическое значение

Пятьдесят лет экспериментальных исследований убедили нас, что знания не являются результатом простой регистрации наблюдений. Процесс познания невозможен без структурации, осуществляемой благодаря активности субъекта. Не существует также (у человека) априорных или врожденных когнитивных структур: наследственным является лишь функционирование интеллекта, которое порождает структуры только через организацию последовательных действий, осуществляемых над объектами. Отсюда следует, что эпистемология, или теория познания, в соответствии с данными психогенеза, не может быть ни эмпирической, ни «преформистской», а может лишь основываться на «конструктивизме», т. е. на длительной выработке новых операций и структур. Основная проблема, следовательно, заключается в том, чтобы понять, как осуществляются такие действиями каким образом они, не будучи результатом предопределенных заранее конструкций, становятся в процессе развития логически необходимыми.

1. *Эмпиризм.* Критика эмпиризма заключается не в том, чтобы отрицать значение экспериментирования; дело в том, что «эмпирическое» исследование генезиса знаний сразу же выявляет недостаточность «эмпирической» интерпретации эксперимента. В действительности знание — это не результат чистого восприятия, поскольку восприятие всегда

направляется и ограничивается схемами действия. Познание начинается с действия, а всякое действие повторяется или обобщается (генерализуется) через применение к новым объектам, порождая тем самым некоторую «схему», т. е. своего рода праксический (praxique) концепт. Основная связь, лежащая в основе всякого знания, состоит не в простой «ассоциации» между объектами (поскольку это понятие отрицает активность субъекта), а в «ассимиляции» объектов по определенным схемам, которые присущи субъекту. Этот процесс является продолжением различных форм биологической ассимиляции, среди которых когнитивная ассимиляция представляет собой лишь частный случай и выступает как процесс функциональной интеграции. В свою очередь, когда объекты ассимилированы схемами действия, возникает необходимость приспособления («аккомодации») к особенностям этих объектов (ср. фенотипические «аккомодаты» в биологии), это приспособление (аккомодация) является результатом внешних воздействий, т. е. результатом опыта. Этот экзогенный механизм вполне согласуется со всем, что есть ценного в эмпирическом тезисе, но (и эта оговорка очень важна) приспособление не существует в «чистом» виде само по себе, а всегда является приспособлением схемы ассимиляции: именно в этой последней заключается движущаяся сила когнитивного акта.

Этот механизм, доступный наблюдению с момента своего возникновения, является универсальным и встречается на различных уровнях научного мышления. Роль ассимиляции здесь сводится к тому, что нечто «наблюдаемое в опыте», т. е. некоторый «факт», всегда интерпретируется параллельно с его расшифровкой: для этого всегда с самого начала требуется использование логико-математических рамок — таких, как установление связи или соответствия, смежности или разделения, навешивание кванторов «больше» или «меньше», ведущих к понятию меры, — короче говоря, всей концептуализации, присущей субъекту и исключающей существование чистых «фактов», равно как и фактов, целиком внешних по отношению к активности субъекта; и это тем более справедливо, поскольку субъект должен варьировать наблюдаемые феномены, чтобы их ассимилировать.

Что же касается процессов научения, на которые ссылаются эмпирики-бихевиористы в поддержку своих тезисов, то Инельдер, Синклер и Бове показали, что эти процессы не только не объясняют когнитивного развития, но и сами подчиняются его законам, поскольку стимул как таковой выступает лишь на определенном уровне «компетенции» (другое биологическое понятие, близкое ассимиляции). Одним словом, действие стимула предполагает наличие некоторой схемы, которая и является реальным источником ответа на стимул (что ведет к инверсии схемы SR или делает ее

симметричной S↔R). Прибрам к тому же показал, как осуществляется выбор входов (inputs), начиная с неврологических уровней.

2. *Преформация.* Необходимо ли в таком случае ориентироваться на врожденность (преформацию) знаний? Мы еще вернемся к этой проблеме, а сейчас ограничимся лишь критикой гипотезы предопределенности. Если придерживаться фактов психогенеза, то прежде всего можно констатировать существование стадий, по которым, по-видимому, происходит процесс длительной последовательной структурации. Это начальный сенсомоторный период, предшествующий языку, когда у человека формируется некоторая логика действий (отношение порядка, вхождение схем, пересечение, постановка в соответствие и т. д.), изобилующая открытиями и даже изобретениями (перманентные объекты, организация пространства, причинности и т. п.). С 2 до 7 лет имеет место концептуализация действий (т. е. их репрезентаций): характеризующаяся открытием функций между ковариациями явлений, идентичностью и т. д., но еще без реверсивных операций и операций хранения. Две последние операции формируются на уровне конкретных операций (в 7—10 лет) одновременно с логически организованными «группировками», которые, однако, еще связаны с манипулированием предметами. Наконец, к 11—12 годам формируется гипотетико-дедуктивная пропозициональная логика, параллельно с комбинаторикой, «совокупностью частей», кватернарными группами (de quaternalité) и т. д.

Только эти хорошо структурированные и последовательные построения (в которых одно звено необходимо для следующего) могут рассматриваться как прогрессивная актуализация (связанная со становлением центральной нервной системы и т. п.) некоторого набора преформаций, в процессе которой генная программа как бы регулирует органический эпигенез, хотя этот последний и остается во взаимодействии со средой и ее объектами. Таким образом, необходимо отдать предпочтение одной из двух гипотез: либо реальным конструктивным построениям с постепенным открытием новых возможностей, либо последовательной актуализации некоторого набора возможностей, заданного с самого начала. Заметим прежде, что аналогичная проблема существует и в истории науки: являются ли различные достижения в истории математики итогом поэтапного созидания, или же они представляют собой лишь реализацию множества всех возможностей, которое в данном случае соответствует универсуму платоновских идей? Однако «множество всех возможностей» — это понятие антиномическое, так же как и «множество всех множеств», поскольку само слово «всех» предполагает лишь некую возможность. Более того, современные исследования показывают, что за трансфинитным числом «каппа нуль» (предел предикативности) возможно открытие новых чисел,

но эта возможность эффективно непредсказуема, поскольку нельзя опираться на комбинаторику. Итак, или математика является частью природы и тогда она возникает вследствие конструктивной деятельности человека, или же ее источником является некий сверхчувственный платоновский универсум. Какими психологическими методами можно обнаружить этот универсум — это вопрос, на который никогда никто не мог ответить.

И мы вновь возвращаемся к ребенку, поскольку он всего лишь за несколько лет спонтанно осваивает базисные операции, создает структуры логико-математической природы, без которых он не понял бы ничего из того, чему его будут обучать в школе. Именно после долгого предоперационального периода, в возрасте около 7 лет, когда ребенку еще не хватает когнитивных инструментов, он открывает для себя обратимость, транзитивность, рекурсивность, взаимное соответствие отношений, включение классов, сохранение числовых ансамблей, меру, организацию пространственных отношений (координат), морфизм, некоторые функторы и т. п., иначе говоря — все основы логики и математики. Если бы все это было врожденным, это означало бы, что младенец уже в момент своего рождения виртуально владеет всем тем, что Галуа, Кантор, Гильберт, Бурбаки или МакЛейн смогли актуализовать впоследствии. А поскольку дитя человеческое является своего рода «суммой всех составляющих», мы должны, видимо, обратиться к простейшим одноклеточным организмам, к вирусам, с тем чтобы локализовать там «множество возможностей».

Одним словом, теории врожденных знаний, так же как и эмпирические объяснения, кажутся нам далекими от конкретной истины, поскольку логико-математические структуры при их бесконечности невозможно локализовать ни в объектах, ни в субъекте в момент его возникновения. Таким образом, единственно приемлемым для нас является конструктивизм, но на его долю выпадает сложнейшая задача объяснить механизм формирования нового, обосновать характер логической необходимости, которую это новое приобретает в процессе развития.

3. *Отражающая абстракция.* Если логико-математические структуры не являются врожденными, то следует вернуться очень далеко вспять, чтобы найти их корни, т. е. элементарные действия, обеспечивающие их выработку. Именно на сенсомоторном уровне, т. е. задолго до появления языка, прослеживаются такие исходные точки (впрочем, точки не абсолютного начала, поскольку для этого необходимо было бы обратиться к функционированию самого организма: см. разд. 5). Каковы же в таком случае механизмы, обеспечивающие построение различных структур от одной стадии к другой? Первым будет то, что мы назовем «отражающей абстракцией».

В самом деле, можно выделить три различных вида абстракции: (1) назовем «эмпирической абстракцией» ту, которая распространяется на физические объекты, внешние по отношению к субъекту; (2) абстракцию логико-математическую в противоположность первой назовем «отражающей» («réfléchissante»)*, поскольку она ведет начало от действий и операций субъекта. Она является «отражающей» в двойном смысле, поскольку в ее основе лежат два согласованных, но различных процесса: процесс проекции на более высокий уровень того, что было извлечено из низшего уровня (речь идет о своего рода «отражении» [«réfléchissement»]); и процесс своеобразной «рефлексии» («réflexion») как перестройки на новом уровне. В этой перестройке вначале используются операции, достигнутые на предыдущем уровне, лишь в качестве инструментальных, но с целью (отчасти бессознательной) скоординировать их в некую новую общность. (3) Наконец мы выделим «рефлексирующую («обдуманную») абстракцию» или «рефлексивное мышление», чтобы обозначить тематизацию того, что оставалось операциональным или инструментальным в (2). Фаза (3) представляет собой, таким образом, естественное завершение фазы (2), но предполагает, кроме того, явное сравнение на более высоком по отношению к «отражениям» уровне инструментальных операций и построений в процессе становления фазы (2). Таким образом, важно различать отражающую абстракцию, участвующую в любом конструктивном построении при решении новых задач, и абстракцию рефлексирующую, которая добавляет к первой некоторую систему эксплицитных соответствий между тематизированными указанным образом операциями.

Отражающая и рефлексирующая абстракции являются, таким образом, источниками структурных новообразований по следующим соображениям. Во-первых, «отражение» на более высокий уровень элемента, извлеченного с низшего уровня (например, интериоризация некоторого действия в некое концептуализованное представление), означает постановку в соответствие данных элементов, что само по себе уже является новым актом, который в свою очередь открывает дорогу другим возможным соответствиям, что уже является подлинным «открытием». Когда элемент, перенесенный на новый уровень, компонуется с элементами, которые прежде находились на этом уровне или которые еще будут сюда добавлены, то перед нами уже результат рефлексии, а не отражения (при этом рефлексия порождена этим последним): отсюда следуют новые комбинации, которые могут привести к созданию новых операций, осуществляемых «над» предыдущими, а это и есть обычный

* Французское слово réfléchissante двусмысленно, его можно перевести как «отражающая» и как «мыслящая». Это ниже используется Ж. Пиаже. — *Прим. ред.*

путь математического развития (например, для ребенка — это правила сложения, порождающие умножение)[1]. Иначе говоря, всякое отражение на некоторый новый уровень влечет за собой и делает неизбежным некоторую определенную реорганизацию, и именно такую продуктивную перестройку мы называем «рефлексией»: задолго до своего превращения в тематизированное целое оно вступает в действие через процессы ассимиляции и координации, еще инструментальных, причем структура как таковая не осознается (и это также встречается на протяжении всей истории математики). Наконец становится возможной рефлектирующая абстракция, или ретроспективная тематизация, которая, хотя и распространяется лишь на уже конструктивно добытые элементы, естественно, представляет собой некоторую новую конструкцию, поскольку с помощью перекрестных вертикальных соответствий она представляет симультанным то, что было уже до этого выработано последовательными связями в горизонтальных направлениях (ср. в научном мышлении тематизацию «структур» у Бурбаки)

4. *Конструктивная генерализация.* Само собой разумеется, абстракция и генерализация тесно связаны между собой и даже опираются друг на друга. Отсюда следует, что эмпирической абстракции соответствует идуктивная генерализация, развивающаяся от «некоторых» ко «всем» путем простого экстенсионального расширения, в то время как рефлексирующей абстракции соответствует конструктивная генерализация, и в частности, «дополнительная» или «комплетивная».

Первая проблема, которую необходимо решить, это проблема построения последовательных уровней (paliers), которые мы просто назвали в предыдущих параграфах: каждый из них есть результат ассимиляции или новой операции, предназначенной заполнить некоторую лакуну на предшествующем уровне и актуализующей таким образом некую возможность, открытую данным уровнем. Прекрасный тому пример — переход от действия к представлению благодаря формированию семиотической функции. Суть сенсомоторной ассимиляции состоит в ассимиляции объектов схемами действия, в то время как суть репрезентативной ассимиляции заключается в ассимиляции объектов друг другу, что приводит к возникновению концептуальных схем. Между тем эта новая форма ассимиляции уже была потенциально заложена в сенсомоторной форме, поскольку эта последняя распространялась на многие, последовательно возникающие объекты: достаточно, однако, было дополнить эти последовательные ассимиляции симультанным действием постановки в соответствие, чтобы перейти на следую-

[1] Ребенок на определенном этапе начинает учитывать число этих сложений, а не только их результаты.

щий уровень. Но такое действие содержит в себе восстановление в памяти объектов, не наблюдаемых в данный момент, а это восстановление в памяти требует формирования специфического инструмента, которым и является семиотическая функция (отсроченная имитация, символическая игра, мысленный образ, который является интериоризованной имитацией, язык жестов и т. п. в добавление к звуковому языку). Таким образом, существуют сенсомоторные означающие, которые являются признаками или сигналами, но они представляют собой лишь один какой-то аспект или часть обозначаемых объектов: семиотическая же функция появляется тогда, когда означающие отличаются от означаемых и могут соответствовать множеству этих последних. Таким образом, очевидно, что между концептуальной ассимиляцией объектов друг с другом и семиотизацией существует взаимозависимость, и оба эти процесса ведут свое происхождение от дополнительного, «комплетивного» обобщения сенсомоторной ассимиляции, которой соответствует отражающая абстракция элементов, непосредственно заимствуемых из нее.

Было бы легко показать, что новоприобретения, свойственные уровням конкретных, а затем — гипотетико-дедуктивных операций, также ведут свое происхождение от дополнительного, «комплетивного» обобщения. Так, например, своими новыми возможностями конкретные операции обязаны овладению обратимостью, что подготовлено уже предоперациональной обратимостью, но требует, кроме того, систематической отладки, регулировки утверждений и отрицаний, другими словами — саморегуляции, впрочем всегда существующей в рамках конструктивного обобщения (к которому мы вернемся в разд. 6). Что же касается гипотетико-дедуктивных операций, то они становятся возможными без комбинаторики при переходе от структур «группировок», элементы которых разобщены, к структурам «множество частей» с комбинаторикой и обобщением разбиений[1].

Эти последние успехи обязаны своим появлением очень важной форме конструктивного обобщения, суть которой заключается в том, чтобы придать определенной операции роль более высокого ранга: так, сочетания — это классификации классификаций, перестановки — это сериации сериаций, множества частей — это разбиения разбиений и т. д.

Отметим, наконец, более простую, но не менее важную форму, которая состоит в обобщении аналогичных структур через синтез, — такую, как координация двух систем референций, внутрен-

[1] Напомним, что дополнительное, «комплетивное» обобщение — это основной конструктивный процесс в математике; например, переход группоидов в полугруппы, затем в моноиды, затем в группы, кольца и тела.

ней и внешней по отношению к пространственному положению или движению (в возрасте 11—12 лет).

5. *Биологические корни знания.* Все, что мы рассмотрели до сих пор, говорит именно в пользу систематического конструктивизма. Нам остается лишь отыскать его источники в самом организме, поскольку последовательность построений не может предполагать абсолютного начала. Но прежде чем предложить какое-то решение, уместно задаться вопросом о том, что означало бы с биологической точки зрения решение в пользу преформизма, иначе говоря, чем бы стал априоризм, выраженный в терминах доктрины врожденности.

Это со всей ясностью показал великий ученый К. Лоренц, считавший себя кантианцем и остававшийся приверженцем наследственного происхождения основных структур разума, поскольку они предшествуют любому приобретению знания из опыта. Но как биолог, Лоренц прекрасно сознавал, что, кроме «общей» наследственности, присущей всем живым существам или их большим группам, существует специфическая наследственность, которая варьируется от одного вида к другому: так наследственность человека свойственна только человеческому виду. Отсюда следовало что, честно веря во врожденный характер — как некое предварительное условие — основных категорий нашего мышления, Лоренц не мог, даже исходя из этого факта, утверждать их общность: почему и появилась его очень глубокая формулировка, согласно которой «априорность» разума будет состоять просто из «врожденных рабочих гипотез». Другими словами, Лоренц сохраняет для «априорного» его исходную точку, предшествующую построениям субъекта, но устраняет из нее необходимость, значительно более важную (тогда как мы поступаем наоборот, настаивая на необходимости, — см. разд. 6, — но помещая ее в конце конструктивного процесса, без предварительного программирования).

Позиция Лоренца сама показывает свою слабость: если разум является врожденным, или всеобщим, то он должен восходить к простейшим одноклеточным механизмам; если же он является видовым (или же родовым и т. д.), то необходимо объяснить, через какие мутации и под влиянием какого естественного отбора он смог появиться (хотя бы и лишенный своего основного качества — необходимости). Но при современном состоянии наших знаний обычные объяснения этой частной проблемы сводятся к простой игре словами: они состояли бы в том, чтобы сделать из разума продукт случайной мутации, т. е. простого случая.

По нашему мнению, сторонники врожденности самым удивительным образом забывают о существовании некоего механизма, такого же всеобщего, как и наследственность, и, в некотором смысле, управляющего ею: это саморегуляция, которая играет опреде-

ленную роль на всех уровнях, начиная с гена, и все более важную роль по мере приближения к высшим уровням и к поведению. Саморегуляция, корни которой, очевидно, являются органическими, присуща жизненным и мыслительным процессам, и ее действие имеет, кроме того, то огромное преимущество, что может быть непосредственно проконтролировано: вот почему именно в этом направлении, а не в простой наследственности, надлежит искать биологическое объяснение когнитивных построений, тем более что в процессах регуляций саморегуляция по самой своей природе является в высшей степени конструктивистской (и диалектической)[1].

Теперь понятно, почему мы, симпатизируя трансформационным аспектам доктрины Н. Хомского, не можем принять его гипотезу о «врожденном фиксированном ядре». И этому есть две причины. Первая заключается в том, что биологически такая мутация, свойственная человеку как виду, была бы необъяснима: совершенно неясно уже одно то, почему случайные мутации сделали человеческое существо способным «понимать» звуковой язык, и если, кроме того, необходимо было бы приписать ему врожденность лингвистической структуры, заложенной в разуме, то это обесценило бы саму эту структуру, поскольку поставило бы ее в зависимость от тех же случайностей и превратило бы разум, согласно К. Лоренцу, в набор простых «рабочих гипотез». Вторая причина для нас заключается в том, что «врожденное фиксированное ядро» сохранило бы все свои достоинства «фиксированного ядра», если бы оно было не врожденным, а представляло бы собой «необходимый» результат конструктивных построений, свойственных сенсомоторному интеллекту, предшествующему языку и являющемуся результатом саморегуляции, одновременно органической и поведенческой, которая определяет этот эпигенез. Именное данное объяснение «фиксированного ядра» — не врожденного, но являющегося продуктом сенсомоторного интеллекта, — в конечном счете принимают такие авторы, как Р. Браун, Э. Леннеберг и Д. МакНейл. Все это достаточно ясно показывает, что гипотеза о врожденности бесполезна для поддержания единства прекрасной концепции Хомского.

6. *Необходимость и уравновешивание.* Нам осталось лишь выяснить, почему конструктивные построения, которых требует формирование разума, приобретают все возрастающую необходимость несмотря на то, что каждое из них начинается с разных проб, частью случайных и содержащих до достаточно позднего времени значительную часть иррационального (нонконсервация, дефекты обратимости, недостаточный контроль отрицаний и т. д.). Гипотеза,

[1] Верно, что саморегуляция частично является врожденной, но это скорее касается функционирования, а не структур.

естественно, будет такова: эта возрастающая необходимость есть результат саморегуляции, и она выражается через также возрастающее уравновешивание когнитивных структур; необходимость вытекает, следовательно, из их «закрытости».

С этой точки зрения, можно выделить три формы уравновешивания. Наиболее простая и, как следствие, наиболее ранняя — это уравновешивание ассимиляции и аккомодации. Начиная с сенсомоторного уровня, на котором равновесие стремится одновременно сохранить схему и учесть свойства объекта, оно может, если эти последние являются неожиданными и интересными, повлечь за собой образование некоторой подсхемы или даже новой схемы, которые потребуют своего собственного уравновешивания; само собой разумеется, что схема действий, примененная к новым объектам, должна быть иной в зависимости от свойств этих объектов. Но эти функциональные механизмы мы находим на всех уровнях. Даже в науке ассимиляция линейных и угловых скоростей включает одновременно ассимиляцию по отношению к пространственно-временной общности и аккомодацию к этим различным ситуациям; точно так же инкорпорация открытых систем в общие термодинамические системы требует как дифференцирующей аккомодации, так и ассимиляции.

Вторая форма равновесия устанавливается между подсистемами, идет ли речь о подсхемах в какой-то единой схеме действия или о подклассах какого-то одного общего класса, или же о подсистемах в множестве операций, которым располагает субъект, как, например, числа и пространственные измерения при оценках, когда может быть использовано и то, и другое. Но, поскольку подсистемы обычно развиваются с различной скоростью, между ними могут возникать конфликты. Их уравновешивание предполагает в этом случае определенное различение между их общими частями и их отличающимися свойствами и, как следствие, компенсаторную регулировку между утверждениями и частичными отрицаниями, так же как и между прямыми и обратными операциями, или же, в дополнение к этому, использование взаимности. Теперь ясно, как уравновешивание ведет к логической необходимости: развивающаяся внутренняя непротиворечивость (системы), которую ищет и в конце концов достигает субъект, проистекает из простой причинной регуляции действий, результаты которых раскрываются потом как совместимые или противоречащие, затем она приводит к включению связей или импликаций, становящихся выводимыми дедуктивно и, следовательно, необходимыми.

Третья форма уравновешивания опирается на предшествующую, но отличается от нее построением некой новой всеобщей системы: а именно, той, которую обусловливает необходимость самого процесса дифференциации новых подсистем и которая

требует, следовательно, компенсаторного действия интеграции в некое новое целое. По-видимому, здесь мы имеем дело с простым уравновешиванием противоположных сил: дифференциации, угрожающей единству целого, и интеграции, ставящей под угрозу необходимые различия. Действительно, своеобразие когнитивного равновесия (но, впрочем, это имеет место уже и в органических системах) заключается, наоборот, в том, чтобы обеспечить обогащение целого в зависимости от важности дифференциаций и умножение этих последних (а не только их связности) в зависимости от внутренних (или становящихся таковыми) изменений целого и его свойств. Здесь вновь отчетливо проявляются отношения между уравновешиванием и развивающейся логической необходимостью; необходимостью иметь terminus ad quem [«верхний предел»], вытекающей из конечной интеграции или «закрытости» систем.

Одним словом, когнитивное уравновешивание «играет на повышение», т. е. нарушения равновесия ведут не к возвращению к предыдущей форме равновесия, а к некоей лучшей форме, характеризующейся возрастанием взаимозависимостей или необходимых импликаций.

Что же касается знаний, являющихся результатом опыта, то их уравновешивание включает, кроме предшествующих законов, последовательный переход внешнего (экзогенного) во внутреннее (эндогенное) в том смысле, что все возмущающие воздействия (неосуществившееся предвидение и т. п.) вначале уничтожаются или нейтрализуются, а затем мало-помалу интегрируются (с изменением равновесия) и наконец включаются в систему в качестве внутренних вариаций, поддающихся дедуктивному выводу и реконструирующих экзогенное посредством эндогенного. Биологический эквивалент этого процесса (см. работу Г. фон Фёрстера «От шума к порядку»[1]) нужно искать в явлении «фенокопии», которое мы попытались проинтерпретировать и обобщить в одной из более ранних работ[2].

7. *Психогенез и история науки.* Как сказал Холтон[3], можно найти определенное совпадение между психогенезом и историческим развитием когнитивных структур, и именно это мы попытаемся уточнить в книге, над которой мы сейчас работаем совместно с физиком Р. Гарсиа.

---

[1] Foerster H. von. From noise to order. On self organizing systems and their environements. — In: «Self — Organizing systems», ed. M. Yovits, S. Cameron, Pergamon Press, London, 1960, p. 31—50.

[2] Piaget J. Adaptation vitale et psychologie de l'intelligence. Sélection organique et phénocopie. Hermann, Pans, 1974.

[3] Holton G. Thematic Origins of Scientific Thought. Harvard Univ. Press, Cambridge (Mass.), 1973, p. 102.

До XVII в. в развитии психогенеза и когнитивных структур в ряде случаев можно наблюдать полный параллелизм. Так, для отношений между силой и движением можно выделить 4 периода: 1) период теории движителя и движимого Аристотеля и как следствие — модель *антиперистасиса;* 2) глобальное объяснение, в котором остаются недифференцированными сила, движение и импульс; 3) теория импетуса или порыва, созданная Буриданом в качестве необходимого посредника между силой и движением; 4) заключительный предньютоновский период, когда импульс начинают связывать с ускорением. У ребенка же можно констатировать последовательность четырех очень сходных стадий. Первая — когда два двигателя довольно систематически выступают как пережиток анимизма, но с большим числом спонтанных примеров антиперистасиса (часто в очень неожиданных ситуациях и не только для движения метательных снарядов). На второй стадии появляется некоторое глобальное понятие, сравнимое с «действием», которое можно выразить следующим образом mve, где m — масса, v — скорость, и e — пройденный путь. На третьем этапе (7—10 лет) спонтанно появляется «импульс» в смысле среднего термина Буридана, но, сверх того, со способностью «проникать» в неподвижные посредники, проходя через их «внутренность», когда какое-то движение передано через их посредство. Наконец, на четвертом этапе (к 11—12 годам) появляются зачатки ускорения.

Для более широких исторических периодов, само собой разумеется, мы не находим полного параллелизма, но можно найти общие механизмы. Так, история западной геометрии обнаруживает некий процесс структурации, этапы которого таковы: этап центрации на отношениях интрафигуральных (внутри фигур) по Эвклиду; этап конструирования отношений интерфигуральных (между фигурами) с помощью декартовых координат, затем этап развивающейся алгебраизации, начиная с Клейна. В сокращенном виде мы находим аналогичный процесс и у детей, которые начинают, естественно, с интрафигурального, но к 7 годам открывают, что для того, чтобы определить некую точку на плане, недостаточно одного измерения: их необходимо два, и они должны быть расположены ортогонально. На этом этапе «интерфигуральное» (необходимое также для построения горизонталей) следует за тем, что мы назвали «трансфигуральное», в котором подлежащие открытию свойства не могут выявляться на одной-единственной фигуре, но требуют определенной дедукции или некоторого исчисления, например: механические кривые, относительные движения и т. п.

Эти аналогии с историей науки убедительно говорят в пользу нашего конструктивизма. Антиперистасис не был передан наследственным путем от Аристотеля к маленьким жителям Женевы, но сам Аристотель начал с того, что был ребенком, потому что дет-

ство предшествует зрелому возрасту у всех людей, включая и пещерного человека. Что же касается того, что именно человек науки извлекает из своих детских лет, то это не набор врожденных идей, поскольку в обоих случаях есть пробы и ошибки, но некая конструктивная сила, и один из нас сказал, что гениальный физик — это человек, который сумел сохранить способность к творчеству, свойственную своему детству, а не потерял ее в школе.

Роман Якобсон

В поисках сущности языка

«В человеческой речи разные звуки имеют разные значения». Отсюда Леонард Блумфилд в своей известной книге «Язык» (1933 г.) делает вывод, что «изучать это соответствие определенных звуков определенным значениям и значит изучать язык»*. Еще столетием раньше Вильгельм фон Гумбольдт учил, что «существует очевидная связь между звуком и значением, которая, однако, в редких случаях поддаваясь точному объяснению, обычно остается неясной». Проблема такой соотнесенности и связи всегда была кардинальной в уже немолодой науке о языке. Насколько этот факт был тем не менее временно предан забвению языковедами недавнего прошлого, показывает реакция на интерпретацию знака, и в частности языкового знака, как неразложимого единства означающего и означаемого у Фердинанда де Соссюра; этой интерпретации многократно воздавалась хвала за ее изумительную новизну, хотя давняя концепция вместе с терминологией была целиком перенесена из теории стоиков, существующей уже двадцать столетий. В учении стоиков знак (sēmeîon) рассматривался как сущность, образуемая отношением означающего (sēmaînon) и означаемого (sēmainòmenon). Первое определялось как «вос-

* Блумфилд Л. Язык. М.: Прогресс, 1968, с. 42. — *Прим. ред.*

принимаемое» (aisthēton), а второе — как «понимаемое» (noētón) или, если выражаться более лингвистично, «переводимое». Кроме того, референция знака была четко отграничена от значения с помощью термина tynkhánon (схватываемое). Исследования стоиков в области знако-обозначения (sēmeiōsis) были усвоены и получили дальнейшее развитие в трудах Августина; при этом использовались латинизированные термины, в частности signum (знак), который включал в себя и signans, и signatum. Между прочим, эта пара коррелятивных понятий и наименований была введена Соссюром лишь в середине его курса общей лингвистики, возможно, не без влияния «Ноологии» Х. Гомперца (1908 г.). Эта доктрина красной нитью проходит через средневековую философию языка с ее глубиной и разнообразием подходов. Двойственный характер и вытекающее из него, по терминологии Оккама, «двойное познание» любого знака были глубоко усвоены научной мыслью средневековья.

Возможно, самым изобретательным и разносторонним из американских мыслителей был Чарльз Сандерс Пирс (1839—1914 гг.), — настолько великий, что ни в одном университете не нашлось для него места. Первая попытка классификации знаков была сделана Пирсом в его проницательной работе «О новом списке категорий», которая вышла в «Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences» (1867 г.); спустя сорок лет, подводя итоги «изучения природы знаков, которому он посвятил свою жизнь», Пирс отмечал: «Насколько мне известно, я являюсь пионером или, скорее, даже проводником в деле прояснения и обнаружения того, что я называю семиотикой, т. е. в учении о сущности и основных видах знако-обозначения; я считаю, что для первопроходца это поле деятельности слишком обширно, а работа слишком велика». Пирс отчетливо сознавал несостоятельность общетеоретических предпосылок в исследованиях своих современников. Само название его науки о знаках восходит к античному sēmeiōtikḗ; Пирс ценил и широко использовал опыт античных и средневековых логиков, «мыслителей высшего класса», сурово осуждая столь обычное «варварское исступление» перед «изумительной проницательностью схоластов». В 1903 г. он выражал твердое убеждение в том, что если бы ранее «учение о знаках» не было предано забвению и если бы оно было продолжено со всей силой ума и страсти, то к началу двадцатого столетия такие жизненно важные специальные науки, как, например, языкознание, уже находились бы «наверняка в более развитом состоянии, чем то, которого они обещают достигнуть в самом лучшем случае к концу 1950-го года».

С конца прошлого века необходимость подобной научной дисциплины горячо отстаивал Соссюр. В свою очередь отталкиваясь от греков, он назвал ее семиологией и ожидал от этой отрасли знаний, что она прояснит сущность знаков и законы, управляющие ими.

Он полагал, что лингвистика должна стать частью этой общей науки и что она определит, какие свойства выделяют язык в отдельную систему из общей совокупности «семиологических фактов». Было бы интересно выяснить, есть ли какая-нибудь генетическая связь между работами обоих ученых в области сравнительного исследования знаковых систем или же это простое совпадение.

Полувековая работа Пирса по созданию общих основ семиотики имеет эпохальное значение, и если бы работы Пирса не остались большей частью неопубликованными вплоть до тридцатых годов или если бы, по меньшей мере, его опубликованные работы были известны языковедам, они, несомненно, оказали бы ни с чем не сравнимое влияние на развитие лингвистической теории в мировом масштабе.

Пирс также проводит резкое различие между «материальными качествами» — означающим любого знака и его «непосредственной интерпретацией», т. е. означаемым. Знаки (или, по терминологии Пирса, репрезентбмены (representamina)) обнаруживают три основных вида знакообозначения, три различных «репрезентативных свойства», которые основаны на разных взаимоотношениях между означающим и означаемым. Это различие позволяет Пирсу выделить три основных типа знаков:

1) Действие *иконического знака* основано на фактическом подобии означающего и означаемого, например рисунка какого-то животного и самого животного; первое заменяет второе «просто потому, что оно на него похоже».

2) Действие *индекса* основано на фактической, реально существующей смежности означающего и означаемого; «с точки зрения психологии, действие индекса зависит от ассоциации по смежности», например, дым есть индекс огня, и подтвержденное пословицей знание того, что «нет дыма без огня», позволяет человеку, интерпретирующему появление дыма, сделать заключение о наличии огня, безотносительно к тому, был или не был огонь зажжен намеренно, чтобы привлечь чье-то внимание; то, что обнаружил Робинзон Крузо, было индексом: его означающим был отпечаток ноги на песке, а установленным по нему означаемым — присутствие на этом острове человека; по Пирсу, индексом является ускорение пульса как возможный симптом жара, и в этих случаях его семиотика фактически сливается с исследованием симптомов болезней в медицине, которое называют семиотикой, семиологией или симптоматологией.

3) Действие *символа* основано главным образом на установленной по соглашению, усвоенной смежности означающего и означаемого. Сущность этой связи «состоит в том, что она является правилом», и не зависит от наличия или отсутствия какого-либо сходства или физической смежности. При интерпретации любого данного

символа знание этого конвенционального правила обязательно, и знак получает действительную интерпретацию только потому и просто потому, что известно это правило. Первоначально слово «символ» употреблялось в сходном смысле также Соссюром и его учениками, но позже он возражал против употребления этого термина, потому что в традиционном понимании последнего предполагается некоторая естественная связь между означающим и означаемым (например, весы как символ правосудия), и в заметках Соссюра было предложено для условных знаков, входящих в условную знаковую систему, название *сема*, в то время как Пирс использовал термин «сема» для особой, совершенно отличной цели. Достаточно сопоставить употребление Пирсом термина «символ» с различными значениями слова символизм, чтобы осознать, что здесь имеется опасность досадных двусмысленностей; но за неимением лучшего мы вынуждены сохранить термин, введенный Пирсом.

Рассмотренные семиотические соображения вновь вызывают к жизни вопрос, который с проницательностью обсуждался в «Кратиле», замечательном диалоге Платона: закрепляет ли язык форму за содержанием «по естеству» (phýsei), как это утверждает главный герой диалога, или «по соглашению» (thései), как это утверждается в контраргументах Гермогена. Примиряющий обе стороны Сократ склонен в диалоге Платона согласиться, что репрезентация через подобие преобладает над использованием произвольных знаков, но, несмотря на привлекательную силу подобия, он чувствует себя обязанным признать дополнительный фактор — условность, обычай, привычку.

Среди ученых, которые в своей трактовке этого вопроса следовали по стопам платоновского Гермогена, важное место принадлежит йельскому языковеду Дуайту Уитни (1827—1894 гг.), который выдвинул тезис о языке как об общественном учреждении. В фундаментальных трудах Уитни, относящихся к шестидесятым и семидесятым годам XIX века, язык определялся как система произвольных и условных знаков (epitýkhonta и synthêmata Платона). Это учение было заимствовано и развито Ф. де Соссюром и вошло в посмертное издание его «Курса общей лингвистики» (1916 г.), осуществленное его учениками Ш. Балли и А. Сеше. Учитель провозглашает: «В существенном моменте, как нам кажется, американский лингвист прав: язык — это соглашение; природа знака, о котором принимается соглашение, остается безразличной». Произвольность выдвигается Соссюром в качестве первого из двух основных принципов, определяющих природу языкового знака: «Связь, соединяющая означающее с означаемым, произвольна»*. В комментариях

* Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977, с. 100. — *Прим. ред.*

подчеркивается, что никто не опроверг этого принципа, но «часто легче обнаружить истину, чем приписать ей должное место».

Сформулированный принцип был главенствующим во всей науке о языке (la langue в соссюровском смысле этого термина, т. е. языковой код); последствия его неисчислимы. В согласии с Балли и Сеше, А. Мейе и Ж. Вандриес также подчеркивали «отсутствие связи между значением и звуком», и Блумфилд вторил тому же принципу: «Языковые формы являются произвольными».

Само собой разумеется, что согласие с соссюровской догмой произвольности языкового знака было далеко не единодушным. Так, Отто Есперсен отмечал (1916 г.), что роль произвольности в языке слишком преувеличена и что ни Уитни, ни Соссюру не удалось решить проблему взаимоотношения между звуком и значением. Отклики Ж. Дамуретта, Э. Пишона и Д. Л. Болинджера были озаглавлены одинаково: «Знак не произволен» («Le signe n'est pas arbitraire» (1927 г.), «The sign is not arbitrary» (1949 г.)). Э. Бенвенист в своей весьма своевременной статье «Природа языкового знака» («Nature de signe linguistique», 1939 г.) раскрыл тот решающий факт, что только для беспристрастного и стороннего наблюдателя связь между означающим и означаемым является чистой случайностью, в то время как для носителя данного языка эта связь превращается в необходимость*.

Своим основным требованием внутреннего лингвистического анализа любой синхронной (идеосинхронической) системы Соссюр с очевидностью лишает силы ссылку на различия звуков и значений во времени и пространстве, которая является аргументом в пользу произвольной связи между обоими составляющими языкового знака. Швейцарская крестьянка, говорившая по-немецки, своим пресловутым вопросом, почему ее франкоязычные односельчане называют сыр fromage, — Käse ist doch viel natürlicher! «Ведь Käse подходит гораздо лучше!», обнаружила отношение к проблеме, которая гораздо больше соответствует точке зрения Соссюра, чем утверждения, что каждое слово — произвольный знак, вместо которого мог бы использоваться для той же цели любой другой знак. Но существует ли эта естественная необходимость в силу одной только привычки? Действуют ли языковые знаки — поскольку они являются символами — «только благодаря существующей привычке», связывающей их означаемое с означающим?

Одной из важнейших черт семиотической классификации Пирса является тонкое осознание того, что различие трех основных классов знаков — это лишь различие в относительной иерархии. В основе разделения знаков на иконические знаки, индексы и символы

* См.: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974, гл. VI. — *Прим. ред.*

лежит не наличие или отсутствие подобия или смежности между означающим и означаемым, равно как и не исключительно фактический или исключительно условный, привычный характер связи между двумя составляющими, а лишь преобладание одного из этих факторов над другими. Так, ученый говорит об «иконических знаках, в которых сходство поддерживается конвенциональными правилами»; можно припомнить разные правила построения перспективы, которые зрителю нужно усвоить, чтобы воспринимать произведения несходных между собой направлений в живописи; в разных изобразительных кодах имеют разное значение различия в величине фигур; в соответствии с традицией некоторых средневековых школ живописи злодеи, в отличие от других персонажей, последовательно изображались в профиль, а в древнеегипетском искусстве их изображали только анфас. Пирс заявляет, что «было бы трудно, если не невозможно, привести пример абсолютно чистого индекса или пример знака, абсолютно лишенного свойства индекса». Такой типичный индекс, как указующий перст, передает неодинаковое значение в различных культурах; например, у некоторых южноафриканских племен, показывая пальцем на какой-нибудь предмет, его таким образом проклинают. С другой стороны, «в символ всегда включается своего рода индекс», и «без индексов было бы невозможно обозначить, о чем человек говорит».

Интерес Пирса к разным уровням взаимодействия трех выделенных функций во всех трех типах знаков и в особенности пристальное внимание к индексальным и иконическим компонентам языковых знаков непосредственно связаны с его тезисом, утверждающим, что «самые совершенные из знаков» — те, в которых иконические, индексальные и символические признаки «смешаны по возможности в равных отношениях». Напротив, настойчивое подчеркивание условности языка Соссюром связано с его утверждением, что «полностью произвольные знаки наиболее пригодны для обеспечения оптимального семиотического процесса».

Индексальные элементы языка обсуждались в нашей работе «Подвижные определители, глагольные категории и русский глагол» («Shifters, Verbal Categories and the Russian Verb», 1957 г.); попытаемся теперь рассмотреть иконический аспект языковой структуры и дать ответ на вопрос Платона: какого рода подражание (mnmesis) используется языком для соединения означающего с означаемым?

Последовательность глаголов veni, vidi, vici сообщает нам о порядке деяний Цезаря прежде всего и главным образом потому, что последовательность сочиненных форм прошедшего времени используется для воспроизведения хода событий. Временной порядок речевых форм имеет тенденцию к зеркальному отражению порядка повествуемых событий во времени или по степени важности. Та-

кая последовательность, как «На собрании присутствовали президент и государственный секретарь», гораздо более обычна, чем обратная, потому что первая позиция в паре однородных членов отражает более высокое официальное положение.

Соответствие в порядке между означающим и означаемым находит свое место среди «основных возможных видов знакообозначения», очерченных Пирсом. Пирс выделяет два отличных подкласса иконических знаков: *образы* и *диаграммы*. В образах означающее представляет «простые качества» означаемого, в то время как у диаграмм сходство между означающим и означаемым «касается только отношений их частей». Пирс определяет диаграмму как «репрезентамен, являющийся по преимуществу иконическим знаком отношения, стать каковым ему способствует условность». Примером подобного «иконического знака, отражающего отношения частей означаемого», могут служить прямоугольники разных размеров, которые выражают количественное сравнение производства стали в разных странах. Отношения в означающем соответствуют отношениям в означаемом. В таких типичных диаграммах, как статистические кривые, означающее представляет собой изобразительную аналогию с означаемым в том, что касается отношения их частей. Если в хронологической диаграмме относительный прирост населения обозначен пунктирной линией, а смертность — сплошной, то это, в терминах Пирса, «символические характеристики». Теория диаграмм занимает важное место в семиотических исследованиях Пирса; он отдает должное значительным достоинствам диаграмм, вытекающим из того, что они являются «поистине иконическими знаками, естественно аналогичными обозначаемому предмету». Рассмотрение различных множеств диаграмм приводит Пирса к утверждению, что «каждое алгебраическое уравнение является иконическим знаком, поскольку оно представляет с помощью алгебраических знаков (которые сами иконическими не являются) отношения соответствующих количеств». Любая алгебраическая формула оказывается иконическим знаком в силу правил коммутации, ассоциации и дистрибуции символов. Таким образом, «алгебра — лишь одна из разновидностей диаграммы», а «язык — лишь один из видов алгебры». Пирс отчетливо понимал, что, например, «аранжировка слов в предложении должна служить в качестве иконического знака, чтобы предложение могло быть понято».

Обсуждая грамматические универсалии и почти-универсалии, обнаруженные Дж. Х. Гринбергом, я отмечал, что порядок значимых элементов обнаруживает в силу своего явно иконического характера особенно ясно выраженную склонность к универсальности (см. мой доклад в сб. «Universals of Language» под ред. Дж. Х. Гринберга, 1963 г.). Именно поэтому в условных предложе-

ниях всех языков порядок, при котором условие предшествует следствию, является нормальным, первичным, нейтральным, немаркированным. Если почти во всех языках, опять-таки согласно данным Гринберга, в повествовательном предложении с именными субъектом и объектом первый, как правило, предшествует второму, то этот грамматический процесс с очевидностью отражает иерархию грамматических понятий. Субъект действия, обозначенного предикатом, воспринимается, в терминах Эдуарда Сепира, как «исходный пункт», «производитель действия», в противовес «конечному пункту», «объекту действия». Подлежащее, единственный независимый член предложения, выделяет то, о чем говорится в сообщении. Каков бы ни был истинный ранг деятеля, он с необходимостью выдвигается в герои сообщения, как только берет на себя роль подлежащего. The subordinate obeys the principal — «Подчиненный повинуется главному». Вопреки табели о рангах, внимание прежде всего сосредоточивается на подчиненном как на деятеле, а затем переходит на объект — на главного, которому повинуются. Если же, однако, сказуемое выражает вместо «активного» действия действие «пассивное», то роль подлежащего приписывается объекту активного предложения: The principal is obeyed by the subordinate «Главный ставится в повиновение подчиненным» .

Рассматриваемая иерархия подчеркивается невозможностью опустить подлежащее при факультативности дополнения: The subordinate obeys, the principal is obeyed. Как стало ясно после столетий грамматических и логических штудий, предикация столь кардинально отличается от всех других семантических актов, что настойчивые попытки аргументировать уравнивание подлежащего и сказуемого должны быть категорически отвергнуты.

Изучение диаграмм нашло свое дальнейшее развитие в современной теории графов. Языковеда, читающего отличную книгу Ф. Харари, Р. З. Нормана и Д. Картрайта «Структурные модели» (1965г.), в которой дано детальное описание различных ориентированных графов, невольно поражает подозрительная аналогия между графами и грамматическими моделями. Изоморфное строение означающего и означаемого обнаруживает в обеих областях похожие средства, которые облегчают точную транспозицию грамматических и особенно синтаксических структур и графы. В строении графов находят близкую аналогию такие свойства языка, как связанность языковых объектов друг с другом, а также с начальной границей цепочки, непосредственное соседство и связь на расстоянии, центральность и периферийность, симметричные и асимметричные отношения, эллипсис отдельных компонентов. Буквальный перевод всей синтаксической системы на язык графов позволит отделить диаграммные, иконические формы отношений от строго условных, символических черт этой системы.

Ярко выраженный диаграммный характер носит не только соединение слов в синтаксические группы, но и соединение морфем в слова. И в синтаксисе, и в морфологии любое отношение частей и целого согласуется с пирсовским определением диаграмм и их иконической природы. Существенный смысловой контраст между корнями как лексическими морфемами и аффиксами как грамматическими морфемами находит свое графическое-выражение в их различной позиции в пределах слова: аффиксы, в особенности словоизменительные суффиксы, в тех языках, где они есть, обычно отличаются от других морфем ограниченным и выборочным использованием фонем и их комбинаций. Так, единственные согласные, используемые в продуктивных словоизменительных суффиксах английского языка, — это зубной непрерывный и смычный, и их сочетание -st. Из 24 смычных фонем русской консонантной системы только четыре фонемы, явно противопоставленные друг другу, выступают в словоизменительных суффиксах.

Морфология богата примерами знаков, в которых проявляется эквивалентность отношения между означающими и означаемыми. Так, в индоевропейских языках положительная, сравнительная и превосходная степени прилагательных обнаруживают постепенное нарастание числа фонем, например: high — higher — highest, altus — altior — altissimus. Таким способом означающие отражают градацию означаемых по степени качества.

Есть языки, в которых формы множественного числа отличаются от форм единственного дополнительной морфемой, в то время как, по данным Гринберга, нет такого языка, в котором это отношение было бы обратным. Означающее плюральной формы проявляет тенденцию отражать значение количественного превосходства путем удлинения этой формы. Ср. личные формы глагола в единственном числе и соответствующие формы множественного числа с более длинными окончаниями во французском языке: 1 л. je finis — nous finissons, 2 л. tu finis — vous finissez, 3 л. il finit — ils finissent, или в польском языке: 1. znam — znamy, 2. znasz — znacie, 3. zna —znają. В склонении русских существительных реальные (ненулевые) окончания одного и того же падежа во множественном числе длиннее, чем в единственном. Прослеживая по разным славянским языкам различные исторические процессы, которые постоянно создавали это соотношение, можно убедиться, что эти и многие подобные данные лингвистических наблюдений расходятся с утверждением Соссюра, что «в звуковой структуре означающего нет ничего, что носило бы какое-либо сходство со значимостью или значением знака».

Соссюр сам ослабил свой «фундаментальный принцип произвольности», проведя различия между «радикально» и «относительно» произвольными элементами языка. Ко второй из этих ка-

тегорий он отнес те знаки, которые на синтагматической оси могут быть разложены на составляющие, идентифицируемые на парадигматической оси. Однако и такие, с точки зрения Соссюра «совершенно немотивированные», формы, как франц. berger «пастух» (из лат. berbicarius), могут поддаваться аналогичному анализу, поскольку -ег ассоциируется с другими случаями употребления этого суффикса деятеля и занимает то же место в других словах того же парадигматического класса, например vacher «пастух» и т. д. Более того, при отыскании связи между означающим и означаемым необходимо учитывать не только случаи полной тождественности формы, но и случаи, когда разные аффиксы обладают некоторой общей грамматической функцией и одним постоянным фонологическим признаком. Так, польский инструментальный падеж в различных окончаниях для разных родов, чисел и частей речи последовательно сохраняет признак назальности либо в последнем согласном, либо в гласном. В русском языке морфонема [м] (представленная двумя фонологическими вариантами — палатализованным и непалатализованным) встречается в окончаниях периферийных падежей (творительного, дательного и предложного) и никогда не встречается в окончаниях падежей других классов. Следовательно, отдельные фонемы или различительные признаки в составе морфем могут служить самостоятельными показателями определенных грамматических категорий. К употреблению таких более мелких единиц, чем морфема, применимо замечание Соссюра о «роли относительной мотивации»: «Сознанию удается ввести принцип порядка и регулярности в некоторые части корпуса знаков».

Соссюр выделил в языке два направления — тенденцию к использованию лексических средств, т. е. немотивированных знаков, и тенденцию к использованию грамматического инструмента, или правил построения. Санскрит оказывается, с его точки зрения, образчиком ультраграмматической, максимально мотивированной системы, тогда как во французском, по сравнению с латынью, Соссюр обнаруживает ту «абсолютную произвольность, которая, в сущности, и является истинным условием языкового знака». Следует отметить, что классификация Соссюра построена только на морфологических критериях, в то время как синтаксис остается фактически в стороне. Эта сверхупрощенная двухполюсная схема существенно улучшена Пирсом, Сепиром и Уорфом благодаря осмыслению более широких синтаксических проблем. В частности, Бенджамин Уорф, делавший упор на «алгебраическую природу языка», сумел выделить из отдельных предложений «модели структуры предложений» и утверждал, что «в языке аспект структурного моделирования всегда преобладает и осуществляет контроль над лексацией, или аспектом наименования». Таким образом, синтак-

сические диаграммы в системе языка как знаковой системы важны не менее словаря.

Оставляя грамматику и переходя к строго лексическим проблемам корней и далее неделимых одноморфемных слов (stoikheîa и prôta onómata словаря, как они названы в «Кратиле»), мы должны, вслед за участниками платоновского диалога, задаться вопросом: разумно ли на этом остановиться, прекратив обсуждение внутренней связи между означающим и означаемым, или же нужно без умных уверток «играть игру до конца и отважно исследовать эти вопросы».

Во французском языке слово ennemi «враг», как констатировал Соссюр, «ничем не мотивируется»; однако же в выражении ami et ennemi «друг и враг», от француза едва ли ускользнет сходство двух сополагаемых рифмующихся слов. Англ. father, mother и brother нельзя разделить на корень и суффикс, но второй слог этих терминов родства воспринимается как своего рода звуковой намек на их семантическую близость. Не существует синхронных правил, которые в английском управляли бы этимологической связью между ten, -teen и -ty, как и между three, thirty и third или two, twelve, twenty, twi- и twin, но все же эти формы и сейчас связываются в серии через очевидное парадигматическое родство. Какой бы знаменательной ни была звуковая форма слова eleven, все же улавливается некоторая связь со звуковой структурой числительного twelve, которая поддерживается непосредственным соседством обоих числительных.

Упрощенное применение теории вероятностей могло бы навести нас на мысль о существовании у смежных количественных числительных тенденции к расподоблению (любопытен тот факт, что дирекция берлинского телефонного управления изменила звучание числительного zwei на zwou, чтобы избежать смешения с drei). Однако в различных языках у стоящих рядом числительных преобладает противоположная, ассимилятивная тенденция. Так, русский язык обнаруживает в пределах каждой пары названий цифр частичное сближение, например, семь — восемь, девять — десять. Сходство означаемых соседних числительных приводит к их формальной близости.

Новообразования типа slithy «скользкий» (перен.) из slimy «скользкий; подобострастный.» и lithe «гибкий; сговорчивый» и многочисленные виды смешений и контаминированных форм вскрывают взаимное сцепление простых слов, приводящее к тесному взаимодействию их означающих и означаемых.

В цитированной выше работе Д.Л. Болинджера показывается «огромная важность взаимодействий» между звуком и значением и «объединение слов, имеющих похожие значения в соединении с похожими звуками», независимо от происхождения таких группи-

ровок (например, bash «ударять», mash «разваливать», smash «разбивать вдребезги», crash «рушиться с грохотом», dash «швырнуть», lash «хлестнуть», hash «рубить», rash «бросаться», brash «ломать», clash «сталкивать», trash «отбросы», plash «плескаться», «плавать», splash «брызгать», flash «мелькнуть»). Такие слова смыкаются со звукораздражительными словами, для синхронного анализа которых генетические вопросы опять-таки совершенно несущественны.

Парономазия (паронимия), или смысловое сближение фонологически сходных слов, независимо от их этимологической связанности, играет значительную роль в жизни языка. Апофония гласных подчеркивает каламбурный характер заголовка журнальной статьи: «Многосторонние усилия или многосторонний фарс?» («Multilateral Force or Farce?»). В русской пословице *Сила солому ломит* связь между сказуемым *ломит* и дополнением *солому* подчеркивается тем, что корень *лом-* созвучен с корнем *солом-*, фонема [л] в соседстве с ударной гласной объединяет все три члена предложения; оба гласных подлежащего *сила* повторены в том же порядке в дополнении, которое, так сказать, синтезирует фонемную отделку начального и конечного слов пословицы. И все же на обычном, лексическом уровне взаимодействие звука и значения носит скрытый, виртуальный характер, тогда как в синтаксисе и морфологии (равно как в словоизменении и в словообразовании) внутреннее, диаграммное соответствие между означающим и означаемым очевидно и обязательно.

Частичное сходство двух означаемых может быть выражено частичным сходством означающих, как в рассмотренных выше примерах, или полным тождеством означающих, как это бывает при лексических тропах. Слово star «звезда» означает либо «светящееся небесное тело», либо «выдающийся человек». Характерной особенностью таких асимметричных пар является иерархия двух значений: одно из них — первичное, центральное, собственное, не зависящее от контекста, другое — вторичное, периферийное, переносное, контекстуальное. Метафора (или метонимия) состоит в приписывании некоторого означающего вторичному означаемому, ассоциируемому с первичным означаемым по сходству (или по смежности).

Грамматические чередования в корнях приводят нас снова в область регулярных грамматических процессов. Выбор чередующихся фонем может быть чисто условным, как, например, использование передних гласных в «умлаутных» формах множественного числа в идише, приводимых Сепиром: tog «день» — teg «дни», fus «нога» — fis «ноги» и т. д. Существуют, однако, примеры аналогичных грамматических «диаграмм» с явно иконическим значением самих альтернантов, как, скажем, частичная или полная редупликация корня в плюральных, итеративных, дуративных или

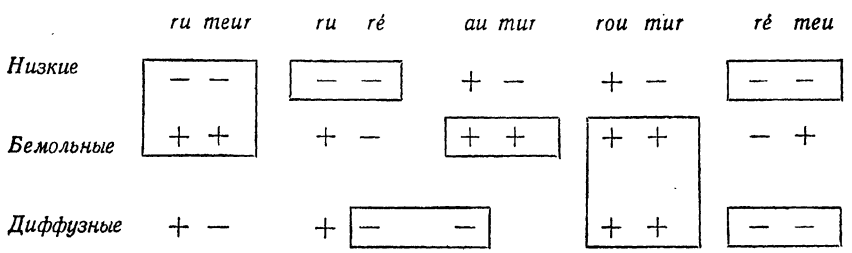
аугментативных формах различных африканских и американских языков. В баскских диалектах палатализация, повышающая тональность согласных, передает идею уменьшения. Замещение низких периферийных гласных или согласных высокими непериферийными, компактных — диффузными, непрерывных согласных — прерванными и неабруптивных — абруптивными (глоттализованными), используемое в ряде американских языков «для добавления к значению слова идеи малости», и обратная подстановка для выражения увеличительной, интенсивной степени — все это основано на скрытой синестетической значимости, присущей некоторым фонемным противопоставлениям. Эта значимость, легко обнаруживаемая тестами и экспериментами по восприятию звуков и особенно заметная в детской речи, может создавать шкалу «уменьшительных» и «увеличительных» значений, противопоставленных нейтральному. Наличие низкой или высокой фонемы в корне слова в языке дакота или чинук само по себе не сигнализирует о более высокой или более низкой степени интенсивности, в то время как сосуществование двух чередующихся звуковых форм одного и того же корня создает диаграммный параллелизм между оппозициями двух тональных уровней в означающих и двух градуирующих значений в соответствующих означаемых.

Автономная иконическая значимость фонемных оппозиций, если не считать относительно редких случаев ее грамматического использования, реже проявляется в чисто фактографических сообщениях, чем в поэтическом языке, в котором она становится особенно явственной. Изумительно чуткий к звуковой фактуре языка Стефан Малларме отмечал в своем эссе «Кризис стиха» («Crise de vers»), что слово ombre «тень» и в самом деле является тенистым, а ténèbres «мрак» (с его высокими гласными) не предполагает темноты, и он чувствовал себя глубоко обманутым тем, что значение «день» ошибочно приписано слову jour, а значение «ночь» — слову nuit вопреки темной окраске первого и светлой окраске второго слова. Однако стих, как утверждает поэт, «восполняет дефект языков» (rémunère le défaut des langues). Внимательный разбор ночных и дневных образов во французской поэзии показывает, как затемняется слово nuit и придается яркость слову jour, когда первое окружено контекстом низких и бемольных гласных, а второе растворено в последовательности высоких фонем. Даже в обычной речи, как заметил Стефан Ульманн, соответствующее звуковое окружение может усилить экспрессивное качество слова. Если распределение гласных между латинскими словами dies и nox или между чешскими den и noc отвечает поэтическому ощущению контрастов светотени, то французская поэзия драпирует «противоречащие» вокабулы или заменяет образцы дневного света и ночной темноты контрастом тяжелого, душного дня и легкой ночи, так как этот кон-

траст поддерживается другой синестетической коннотацией, связывающей низкую тональность периферийных фонем с тяжестью и, соответственно, высокую тональность неперифериных фонем с легким весом.

Впечатляющее воздействие звуковой фактуры проявляется в поэтическом языке в двух направлениях: в выборе и в группировке фонем и их составляющих; эти два выразительных фактора, навевающих образы, хотя и скрыты, но присутствуют и в нашем обычном речевом поведении.

Заключительная глава романа Жюля Ромена «Детская любовь» («Les amours enfantines») называется «Шумы улицы Реомюр» («Rumeur de la rue Réaumur»). Писатель говорит о названии этой парижской улицы, что она напоминает песню колес и стен и разные другие виды городского шума, вибрации и грохота. Эти мотивы, слитые в книге с темой приливов и отливов, воплощены в звуковом рисунке rue Réaumur. Из согласных фонем в это название входят только сонорные; последовательность состоит из четырех сонорных (S) и четырех гласных (V); SVSV, — VSVS, — зеркальная симметрия с группой *ru* в начале и ее перестановкой *ur* в конце. Начальный и конечный слоги названия трижды отражаются словесным окружением: rue Réaumur, ru-meur, roues . . . murailles, trépidation d'immeubles, [«шум, колеса . . . стены, дрожание зданий»]. Гласные выделенных слогов обнаруживают три оппозиции фонем; 1) низкие (задние) — высокие (передние); 2) бемольные (лабиализованные) — небемольные (нелабиализованные); 3) диффузные (закрытые) — недиффузные (открытые):



Искусное переплетение одинаковых и контрастных признаков в этой «песне колес и стен», подсказанное банальным уличным названием, дает решающий ответ на провозглашенное Александром Попом требование: «Звук должен быть откликом смысла».

Постулируя два изначальных языковых свойства — произвольность знака и линейность означающего, — Соссюр приписывал им обоим одинаково фундаментальную важность. Он полагал, что, если эти законы верны, они будут иметь «неисчислимые последствия» и определят «весь механизм языка». Однако система диаграммати-

заций, явная и обязательная для всей синтаксической и морфологической системы языка, но существующая в латентном и виртуальном виде и в его лексическом аспекте, разрушает догму Соссюра о произвольности, в то время как второй из его «общих принципов» — линейность означающего — был поколеблен разложением фонем на различные признаки. Устранение этих основных положений требует в свою очередь пересмотра и выведенных из них заключений.

Таким образом, наглядная и ясная идея Пирса, что «символ может представлять собой иконический знак или (перепишем этот союз в современном стиле: и/или) индекс», ставит перед наукой о языке новые, насущные задачи и открывает перед ней многообещающие перспективы. Указания этого «проводника в семиотике» влекут за собой важные последствия для лингвистической теории и практики. Иконические и индексальные составляющие языкового знака слишком часто недооценивались и даже вовсе не принимались во внимание; с другой стороны, преимущественно символический характер языка и вытекающее отсюда кардинальное отличие его от других, главным образом индексальных или иконических, систем знаков также ожидает должного учета в современной лингвистической методологии.

Свое любимое изречение Пирс взял из «Металогики» Джона Солсберийского: Nominantur singularia, sed universalia signifi cantur «Единичное называется, а общее означивается». Как много пустой и тривиальной полемики избежали бы ученые, изучающие естественный язык как систему, если бы овладели «Умозрительной грамматикой» Пирса, и особенно ее тезисом, что «истинный символ — это символ, который имеет общее значение», и что в свою очередь это значение «может быть только символом», поскольку omne symbolum de symbolo «Всякий символ — о символе». Символ не только не способен обозначать какую-либо отдельную вещь, а обязательно «обозначает род вещи», но «он и сам является родом, а не отдельной вещью». Символ, например слово, является «общим правилом», которое получает значение только через разные случаи его применения, а именно через произнесенные или написанные — носящие вещный характер — replicas. Как бы ни видоизменялись эти воплощения слова, оно остается во всех случаях «одним и тем же словом».

Знаки, носящие преимущественно символический характер, — это единственные знаки, которые благодаря тому, что обладают общим значением, способны образовывать суждения, тогда как «иконические знаки и индексы ничего не утверждают». В одной из посмертных работ Чарльза Пирса — книге «Экзистенциальные графы», имеющей подзаголовок «Мой шедевр», — завершается анализ и классификация знаков, сопровождаемые кратким обобщени-

ем, касающимся творческой способности (enérgeia) языка: «Итак, способ существования символа отличается от способа существования иконического знака и индекса. Бытие иконического знака принадлежит прошлому опыту. Он существует только как образ в памяти. Индекс существует в настоящем опыте. Бытие символа состоит в том реальном факте, что нечто определенно будет воспринято, если будут удовлетворены некоторые условия, а именно если символ окажет влияние на мысль и поведение его интерпретатора. Каждое слово есть символ. Каждое предложение — символ. Каждая книга — символ... Ценность символа в том, что он служит для придания рациональности мысли и поведению и позволяет нам предсказывать будущее». Философ многократно возвращался к этой идее: индексальному hie et nunc «здесь и сейчас» он настойчиво противопоставлял «общий закон», лежащий в основе любого символа: «Все истинно общее относится к неопределенному будущему, потому что прошлое содержит только некоторое множество таких случаев, которые уже произошли. Прошлое есть действительный факт. Но общее правило не может быть реализовано полностью. Это потенциальность; и его способ существования — esse in futuro "быть в будущем"». Здесь мысль американского логика пересекается с предвидением Велимира Хлебникова, самого своеобразного поэта нашего столетия, который в комментарии к собственным произведениям (1919г.) писал: «Я осознал, что родина творчества — в будущем; оттуда веет ветер богов слова».

Чарльз Уильям Моррис

Из книги «Значение и означивание». Знаки и действия

1. Область семиотики

Семиотика ставит своей целью создание общей теории знаков во всех их формах и проявлениях: как у человека, так и у животных, как в норме, так и в патологии, как в языке, так и вне его, как в индивиде, так и в обществе. Таким образом, семиотика — это интердисциплинарная сфера.

Широкий интерес к этой области вызван отчасти верой в то, что знаковые процессы более высокого уровня (часто называемые символами) имеют важнейшее значение для понимания человека и его действий. Эрнст Кассирер называл человека «символическим животным» (animal symbolicum), вместо «разумного животного» (animal rationale), и многие современные исследования показали обоснованность такой концепции.

Термин «семиотика» (semiotic) был воспринят Джоном Локком у греческих стоиков, которые в свою очередь испытали влияние традиции греческой медицины, трактовавшей диагноз и прогноз как знаковые процессы. Широкое распространение в наши дни термин «семиотика» получил благодаря Чарлзу С. Пирсу (1839—1914), который следовал словоупотреблению Локка. Используются также термины «сигнифика» (significs) и «семантика», хотя сейчас наблюдается тенденция употреблять термин «семантика» как название только одной отрасли семиотики.

В прошлом основной вклад в общую теорию знаков внесли философы и лингвисты, но в настоящее время большая работа в этой области ведется также психологами, психиатрами, эстетиками, социологами, антропологами.

2. Основные термины семиотики

Для целей настоящей работы основные термины семиотики можно ввести следующим образом: семиозис (или знаковый процесс) рассматривается как пятичленное отношение — *V, W, X, Y, Z,* — в котором *V* вызывает в *W* предрасположенность к определенной реакции *(X)* на определенный вид объекта *(Y)* (который, следовательно, не действует как стимул) при определенных условиях (Z). В случаях, где существует это отношение, *V* есть *знак, W — интерпретатор, X — интерпретанта, Y — значение* [означивание, сигнификация (signification)], а Z — *контекст,* в котором встречается знак.

Карл фон Фриш*[1] показал, что нашедшая нектар пчела, возвращаясь в улей, совершает «танец» и таким образом направляет других пчел к источнику пищи. В этом случае «танец» есть знак; другие пчелы, испытывающие влияние танца, — интерпретаторы; предрасположенность этих пчел реагировать определенным образом под влиянием танца[2] — интерпретанта; тип объектов, по отношению к которому пчелы предрасположены к определенной реакции, — значение (сигнификация) знака; а местонахождение улья — часть контекста.

Уместно сделать несколько замечаний относительно такого представления семиозиса (или знакового процесса или знакового поведения).

Во-первых, данная формулировка не предлагается в качестве определения «знака», поскольку мы, возможно, захотим назвать знаками вещи, которые не отвечают требованиям такого описания — я предпочитаю оставить этот вопрос открытым. Формулировка просто указывает условия признания некоторых явлений знаками.

Во-вторых, сказать, что то, что сигнифицируется, не является в данный момент стимулом, не значит отрицать, что мы можем сигнифицировать объекты, данные в непосредственном опыте, — как, например, я могу, указывая на письменный стол, за которым сижу и пишу, сказать: «Это письменный стол». «Письменный стол» означает (сигнифицирует) предмет с боковыми поверхностями, задней стенкой, ящиками, которые можно выдвигать, и т. п., а все это в данный момент недоступно моему наблюдению. Непосредственно я могу наблюдать только некоторые признаки письменного стола.

---

* В этой статье Ч.У. Морриса сноски, отмеченные цифрами, принадлежат автору и приведены в конце статьи. Наличие комментариев в тексте не отмечается, — см. по номеру стр. в Комментарии.

В-третьих, данная формулировка носит «поведенческий» характер; в ней подчеркивается, что знаковое поведение открыто для объективного изучения, хотя организм (по крайней мере человека), испытывая нечто, может сообщать о своем собственном знаковом поведении. Тем не менее основывающаяся на поведении формулировка носит более фундаментальный характер, чем формулировка, основанная на самонаблюдении, поскольку семиотика имеет дело со знаковыми процессами у животных, у детей, еще не овладевших языком, а также у лиц с различного рода психическими заболеваниями, когда отчеты о самонаблюдении либо невозможны, либо ненадежны. Однако отчеты о знаковых процессах, основанные на самонаблюдении, не отвергаются семиотикой, исходящей из поведения, потому что сами эти отчеты представляют собой разновидность знакового поведения.

В-четвертых, я не вижу возражений против введения таким образом «значений-сигнификаций». Это не «сущности» в каком-либо нежелательном смысле, но определенные, поддающиеся описанию стороны сложных процессов поведения в естественном мире. А поскольку это так, о них можно говорить, не превращая их в вещи. Мы можем наблюдать, что пчелы под влиянием танца при определенных обстоятельствах предрасположены искать пищу, равно как можно наблюдать, что в других контекстах танец служит для направления пчел на поиски возможных мест для размещения новых ульев. Если так интерпретировать значения, в них нет ничего мифического[3].

В-пятых, контекст, в котором нечто функционирует как знак, может включать и другие знаки, но это не обязательно.

В-шестых, интерпретанта, как предрасположенность реагировать определенным образом под влиянием знака (например, у пчел — поведение, направленное на поиски пищи или на разведку новых мест), не имеет обязательной «субъективной» коннотации. При желании эту предрасположенность можно интерпретировать, исходя из понятия вероятности, как вероятность определенной реакции в определенных условиях при появлении определенного знака. Или же, как мы увидим дальше, интерпретанту можно рассматривать как промежуточную переменную, которая постулируется в теоретических целях и контролируется косвенными эмпирическими данными.

3. Измерения значения

Общепризнано, что знаки, которым обычно (но не всегда) приписывают обладание значением-сигнификацией, существенно различаются по тому, какое значение-сигнификацию они имеют. Очевидные примеры этому — слова *черный, хороший* и *следует*. Такие различия, однако, объясняются по-разному.

Я исхожу из того, что значение-сигнификация трехмерно и что эти три измерения могут быть объяснены в связи с тремя фазами или аспектами действия, акта. В анализе действия я следую за Джорджем Г. Мидом[4].

Согласно Миду, если дан импульс (как предрасположенность к определенному виду действия), то последующее действие имеет три фазы: фазу восприятия, фазу манипуляции и фазу завершения (perceptual, manipulatory, consummatory). Организм должен воспринять существенные черты окружения, в котором ему предстоит действовать; он должен вести себя по отношению к объектам так, чтобы это привело к удовлетворению его импульса; и, если все идет благополучно, организм затем достигает той фазы деятельности, которая представляет собой завершение действия. Поскольку, в понимании Мида, действие и объект соотносительны, он говорит также о дистанционных, манипуляционных и завершающих (distance, manipulatory, consummatory) свойствах объекта.

Если теперь подойти к знакам с точки зрения поведения, можно предположить, что их значения связаны с этими тремя аспектами действия, что они трехмерны. Тем самым предполагается, что каждый знак должен рассматриваться в трех измерениях, хотя в ряде случаев по одним измерениям знаки могут быть нагружены сильнее, а по другим иметь нулевую нагруженность.

Знак является означающим, или десигнативным (designative), если он означает *наблюдаемые*[5] свойства окружения или действующего лица; *оценочным* (appraisive), если он означает завершающие (consummatory) свойства того или иного объекта или ситуации, и, наконец, знак является *предписывающим* (prescriptive), если он означает, как надо реагировать на объект или ситуацию, чтобы удовлетворить руководящий импульс. Исходя из этого, обычно *черный* является преимущественно десигнативным, *хороший* — оценочным, а *следует* — предписывающим. Разумеется, при этом всегда важен контекст, и в некоторых контекстах *черный* может оказаться преимущественно оценочным или предписывающим, *хороший* — десигнативным или предписывающим, а *следует* — десигнативным или оценочным. Анализируя произнесенное или написанное слово само по себе, нельзя определить, какова его сила по трем измерениям. Для этого требуется изучение конкретного действия в конкретной ситуации.

Тем не менее существуют известные доказательства того, что определенные слова действительно обладают значениями по трем измерениям[6] и что есть известная сбалансированность в их относительной силе по этим измерениям. В трех моих семинарах студентам давали форму «X есть —» и говорили, что X — *скромный, гордый, твердый, сырой, мудрый, строгий, объективный, добрый, серьезный, трусливый, старый* и т. п., а затем предлагали приписать

каждому предложению процент — число, показывающее, в какой степени оно является десигнативным, оценочным и предписывающим. В целом, в этих трех группах наблюдалось значительное единодушие относительно того, является ли данное предложение в данном контексте преимущественно десигнативным, оценочным или предписывающим. Так, все группы считали, что *трусливый* имеет значительную силу по всем трем измерениям, но наибольшую — в оценочном измерении; *старый* было оценено как преимущественно десигнативное слово. Полученные результаты с научной точки зрения трудно назвать впечатляющими, но они по крайней мере указывают на то, что в этой области возможны экспериментальные исследования.

Если связать сказанное выше с анализом действия у Мида, то можно ожидать, что десигнативные знаки будут преобладать на стадии восприятия, потому что здесь действующее лицо стремится получить информацию о ситуации, в которой оно действует. На стадии манипуляции, как представляется вероятным, используемые знаки должны быть в основном предписывающими и должны означать, как следует реагировать на объект или ситуацию. В завершающей фазе действия знаки, по-видимому, будут преимущественно оценочными, означая завершающие свойства объекта или ситуации.

4. Интерпретанта

Поскольку, согласно настоящей модели, все знаки имеют интерпретанты, трем измерениям значения соответствуют различные виды интерпретант. Интерпретанта знака — это предрасположенность реагировать определенным образом под влиянием знака. В десигнативном измерении значения интерпретантой соответственно является предрасположенность реагировать на означенный объект как если бы он обладал определенными наблюдаемыми свойствами. Так, если человеку сказали, что в соседней комнате находится черный предмет, он, входя в комнату, настраивается на определенные зрительные впечатления.

В случае оценочных знаков интерпретантой является предрасположенность действовать по отношению к означаемому объекту, как если бы он был удовлетворительным или неудовлетворительным. Так, если мать, пытаясь заставить ребенка проглотить чайную ложку касторки, говорит при этом *ням-ням*, ребенок настраивается на нечто приятное. Касторка же, когда он ее попробует, ему явно не понравится, и если мать вновь будет повторять *ням-ням* в подобных ситуациях, это слово из знака положительной оценки превратится в знак отрицательной оценки — или же ребенок вынужден будет считать свою мать лгуньей.

В случае предписывающих знаков интерпретантой является предрасположенность действовать определенным образом по отношению к означаемому объекту или ситуации. Если человеку, безуспешно пытающемуся открыть дверь, чтобы выйти, скажут, что ему следует нажать на кнопку, он будет склонен совершить это действие и будет в большинстве случаев ожидать, что, совершив его, сможет выйти из комнаты.

Очень важно отметить, что любой данный знак способен в той или иной степени функционировать во всех измерениях значения и, следовательно, иметь все интерпретанты, соответствующие измерениям. Проиллюстрировать это можно предложением *Он трус*[7]. Слова, подобные *черный, хороший* и *следует,* — это просто случаи, когда определенные измерения значения и определенные типы интерпретант являются преобладающими. Подробнее о таких словах будет сказано ниже.

5. Резюме исследования

Теперь от фаз действия в том виде, в каком их понимал Мид, мы перейдем к некоторым общим условиям действия. Остановимся на трех из них.

Действующее лицо должно получить информацию о ситуации, в которой предстоит действовать, выбрать объекты, по отношению к которым оно проявит позитивное предпочтительное поведение, воздействовать на выбранный объект посредством конкретного поведения. Так, если действующее лицо испытывает жажду и видит, что можно получить чай или кофе, оно должно оказать предпочтение чему-то одному, скажем, чаю, а затем решить, выпить ли ему чай быстро или медленно, в одиночестве или в компании и т. п.

Эти три условия действия являются общими для любого действия независимо от того, кто его совершает — люди или животные; они могут иметь место без знаков, или при наличии знаков на доязыковом уровне, или при наличии языковых знаков в сложном процессе познания (inquire). Поведение амебы относится, по-видимому, к первому уровню; крик утки, предостерегающий утят об опасности, — ко второму уровню, а поведение человека в значительной части — к третьему уровню. Познание будет подробно рассмотрено ниже. Сейчас же достаточно отметить, что оценочные знаки, используемые в процессе познания, — это знаки именно возможных объектов, завершающих действие, тогда как оценочные знаки на завершающей фазе действия сообщают о непосредственном опыте осуществления или неудачи. Чай, оцененный в процессе познания как *ням-ням,* может не оказаться таковым, когда его попробуют.

Некоторые результаты вышеизложенного в несколько иных терминах представлены в таблице № 1.

Термины, использованные в колонке «Интерпретанта», как представляется, в разъяснении не нуждаются. Мы исходим здесь из вполне вероятной гипотезы о том, что интерпретанта преимущественно десигнативных знаков тесно связана (помимо прочего) с сенсорной нервной системой, в том числе с областями сенсорной проекции в коре головного мозга, что преимущественно оценочные знаки тесно связаны с автономной нервной системой, включая области памяти и центры удовольствия, и что в основном предписывающие знаки тесно связаны с соматической (или двигательной) нервной системой, включая эффекторную систему мозга. Данная гипотеза, разумеется, не отрицает того, что во всех случаях действуют и другие стороны организма, а поскольку большинство знаков в действительности имеет нагруженность по всем трем измерениям значения, то эта гипотеза вовсе не подразумевает, что интерпретанта знака ограничена каким-либо одним аспектом нервной деятельности и связанными с ним органическими проявлениями. Из гипотезы действительно следует, что трехмерность значения находит отражение в трехмерности интерпретант.

Термины в колонке «Значения-сигнификации» заимствованы из психологии и нуждаются в некотором разъяснении. Свойство выступать в качестве стимула (stimulus property) используется здесь в широком смысле. Под этим подразумеваются не только признаки объекта, возбуждающие те или иные органы чувств, но и признаки, которые могли бы оказать воздействие при определенных условиях (например, на другой стороне луны), и даже такие, которые, являясь сами по себе ненаблюдаемыми, могут воздействовать на прибор, благодаря которому их можно наблюдать (например, температура на поверхности солнца). Таким образом, означение-десигнация охватывает гораздо более широкую область явлений, чем те, которые даны в непосредственном наблюдении.

Под усиливающим свойством объекта (reinforcing property) подразумевается способность объекта увеличивать вероятность осуществления вызываемой им реакции. Так, некоторые виды корма собака, попробовав, съедает, а от других отказывается. О первом виде корма можно сказать, что он обладает усиливающим свойством, а о втором — что у него такого свойства нет. Хотя такие свойства и не выступают в качестве стимула, я не вижу возражений против того, чтобы говорить о них как о свойствах объекта. Они действительно выступают как свойства только в связи с конкретным организмом, поэтому объект может обладать усиливающими свойствами, если исходить из поведения собаки, и может не иметь таких свойств, если исходить из поведения кошки. Но ведь это довольно обычная ситуация: мы не колеблясь говорим, что одни объекты съедобны, а другие — нет, хотя для различных типов пищеварительных систем такая классификация различна. Подобные свойства можно назвать «объективно относительными».

Таблица № 1. Знаки и условия действия

Условия действия	**Измерение значения**	**Интерпретанта (предрасположенность реагировать посредством)**	**Значения сигнификации**
1. Получение информации	Десигнативное	Органов чувств	Свойства объектов, выступающие как стимул
2. Выбор объектов для предпочтительного поведения	Оценочное	Предпочтения тех или иных объектов	Усиливающие свойства объекта
3. Воздействие на объект посредством особого поведения	Предписывающее	Предпочтения той или иной линии поведения	Действие как средство, способствующее чему-либо

Когда действие называют «способствующим» (instrumental), имеют в виду, что оно позволяет осуществить какое-то другое действие, которое предрасположен совершить организм. Так, во время эксперимента голодное животное может получить пищу, если, и только если оно нажмет на рычаг. Нажатие на рычаг и является, следовательно, способствующим действием. Нажатие кнопки у двери в приведенном выше примере также является способствующим действием для того, кто собирается выйти из комнаты.

6. Термины «значение» и «выражать»

Термины «значение» (meaning) и «выражать» не были введены в качестве основных терминов семиотики в связи с тем, что они настолько многозначны и используются настолько по-разному, что лучше было бы вообще не использовать их в качестве основных терминов при обсуждении семиотических проблем. Но при желании их, разумеется, можно ввести, опираясь на более фундаментальные семиотические термины. Так, можно было бы сказать, что значение (meaning) знака — это его значение-сигнификация и интерпретанта *одновременно,* но ни одно из них в отдельности.

В этом случае сказать просто, что некоторый объект имеет усиливающие свойства, не значит произнести оценочное высказывание (то есть не значит произнести нечто, имеющее оценочное зна-

чение). Следовательно, слово *хороший* имеет оценочное значение тогда, когда оно не только означает, что некоторый объект имеет усиливающие свойства, но и вызывает в своих интерпретаторах предрасположенность к позитивному предпочтительному поведению по отношению к означенному объекту. Врач-диетолог может сказать своему пациенту (предположим, страдающему диабетом), что диета *А* — хорошая, а диета *Б* — плохая, и при этом в нем самом отнюдь не возникает предрасположенность питаться в соответствии с диетой *А*, а не с диетой *Б*. Следовательно, слово *хороший* является для него преимущественно десигнативным, тогда как для его пациента это слово еще и оценочно (то есть имеет оценочное «значение»), поскольку оно предрасполагает его отдать предпочтение диете *А*[8].

Аналогичным образом обстоит дело со словом *следует:* в некоторых контекстах оно является чисто десигнативным, в других — имеет оценочный компонент. Оно имеет предписывающее значение только тогда, когда означает для интерпретатора, что предписываемое действие является способствующим и вдобавок действительно предрасполагает интерпретатора совершить это действие. Здесь также значение высказывания со словом *следует* может быть различным для того, кто его произносит, и того, кому оно адресовано.

Наконец, значение десигнативное: знак обладает им в той степени, в какой интерпретатор предрасположен к определенному роду деятельности собственных органов чувств[9] по отношению к определенного рода объекту. Многие знаки имеют все типы значения, но в различной степени.

Что же касается термина «выражать», то, исходя из предлагаемой системы, его можно ввести по крайней мере двумя способами. Так, можно было бы сказать, что каждый знак выражает свою интерпретанту без означивания-сигнификации ее. Или же можно было бы сказать, что знак выразителен (is expressive) в той мере, в какой его *образование,* или производство, само принимается интерпретатором как знак определенного состояния того, кто его произвел[10]. В этом случае не всякий знак действительно выразителен, хотя потенциально он таким свойством обладает. Конечно, некоторые знаки (как, например, сигнал тревоги) гораздо чаще, чем другие, интерпретируются как выразительные в этом смысле, и именно их, вероятно, имеют в виду многие, говоря о выразительных знаках. Однако в этом втором смысле все знаки могут быть истолкованы как выразительные, и то, что ими выражается, никоим образом не ограничено эмоциональными отношениями. Поэтому отождествление понятий «выразительное» и «эмоциональное» порождает много недоразумений, которых стремится избежать настоящее исследование.

Можно было бы утверждать, что воспроизведенный здесь анализ действия слишком упрощен — он концентрирует внимание на

том, что делает действующее лицо с объектом, и игнорирует то, что делает с действующим лицом объект[11]. Так, голодный человек пристально оглядывает окружение в поисках съедобных объектов, манипулирует ими, съедает их; и объект в свою очередь вызывает в организме очень сложный ряд процессов. Следует подумать, может быть, этот более пассивный, более «претерпеваемый» аспект поведения имеет свой особый вид функционирования знаков и именно такие знаки являются преимущественно «выразительными»? Эта область несомненно требует серьезного изучения и может пролить значительный свет на символизм мифов, эстетики и религии.

Когда человек ест яблоко, он действительно становится в каком-то смысле пассивным, и яблоко «действует на него». Но, как представляется, то, что происходит, поддается описанию на основе десигнативного, оценочного и предписывающего измерений означивания — сигнификации. Человек может обозначить как десигнат (designate) то, что с ним происходит, может это оценить, а затем и сформулировать предписания относительно своего поведения во время еды в будущем. Эти знаки могут иметь значение и быть выразительными в том смысле, в каком говорилось выше. Но вопрос заключается в том, не потребует ли такое важное исследование еще и введения нового измерения означивания-сигнификации.

7. Формальные знаки[12]

До сих пор ничего не было сказано о том, что часто называют логическими, или грамматическими, или структурными знаками, которым приписывают логическую, или грамматическую, или структурную сигнификацию (или значение). Примерами могут служить слова типа or «или», скобки, и -ly (русск.-о) в предложении He came quickly «Он пришел быстро».

В книге «Знаки, язык и поведение» такие единицы были названы «форматорами» и была сделана попытка выделить для них четвертое измерение сигнификации — «формативную сигнификацию». Так, об or «или» было сказано, что оно в некоторых случаях означает, сигнифицирует то, что означенная другим способом ситуация имеет свойство альтернативности. Об утверждении *Яблоко лежит на первой или второй полке холодильника* можно было бы сказать, что оно не означивает каких-либо наблюдаемых свойств яблока или холодильника, не оценивает их, не предписывает действия по отношению к ним. Следовательно, если мы подразумеваем под «лексическими» такие единицы, которые означивают, оценивают или предписывают, тогда *или* в этом употреблении лексической единицей не является. Поскольку оно все же, видимо, означает нечто об означенной ситуции, то можно сказать, что оно имеет другой тип (или измерение) сигнификации — «формативную сигнификацию»[13].

Теперь стоит рассмотреть возможность сохранения трехмерного подхода. Одной из причин введения формативного измерения сигнификации, несомненно, является стремление найти путь для объяснения статуса формальной логики, математики и грамматики. Так, если не вводить четвертого, формативного измерения, тогда нужно будет объяснить их статус в рамках анализа по трем измерениям.

Одна возможность, о которой иногда говорят, заключается в том, чтобы рассматривать форматоры просто как «вспомогательные средства», которые сами сигнификации не имеют, но которые решающим образом влияют на сигнификацию сочетаний знаков, в которых они выступают. Их можно тогда назвать «синсигнумами» (сознаками, sinsigns). Так, порядок слов в *X* hit *Y* «*X* ударил *Y*», противопоставленный порядку слов в *Y* hit *X* «*Y* ударил *X*», можно считать синсигнумом в этом смысле — он обусловливает различие сигнификации этих двух выражений, но своей собственной сигнификации не имеет.

Возможно, такого описания достаточно для объяснения некоторых (а может быть, и всех) единиц неопределенного класса, называемого форматорами. Но существует и другая возможность, а именно рассматривать форматоры как особый класс лексических знаков и, таким образом, как знаки, допускающие изучение с точки зрения десигнативной, оценочной и предписывающей сигнификации. Некоторые склонны считать их метаязыковыми знаками, которые означают (сигнифицируют) сопровождаемые ими знаки. Так *или* в «*P* или *Q*» можно было бы истолковать как означающее (в данном случае, имеющее десигнатом) совокупность пар предложений, такую, что по крайней мере одно из предложений в каждой данной паре является истинным. Скобки можно было бы рассматривать как означивающие выражения, вокруг которых они стоят, и предписывающие, чтобы к этим выражениям относились определенным образом. Важно осознать, что существуют отношения сигнификации не только к ситуациям вне области знаков, но и внутри этой области.

Как я полагаю, при таком походе можно достигнуть многого. Тем не менее заслуживает внимания и другая его разновидность — когда форматоры (по крайней мере некоторые) признаются не метаязыковыми знаками (в том смысле, что они эксплицитно означивают другие знаки), но находящимися на более высоком уровне, чем те знаки, которые они сопровождают (то есть они предполагают эти знаки, но, по существу, их не означивают). Так, в упомянутом выше случае с *или* можно было бы сказать, что *или* означает нечто о ситуации, означенной с помощью других знаков того сочетания, в котором выступает данное слово *или*, а именно, что это ситуация альтернативности и что на нее следует реагировать так-то и так-то

(*Если вы не найдете яблока на первой полке, поищите его на второй* и т. п.). Этот путь отличается от того, который был впервые предложен при введении понятия *уровней в языке-объекте*, и признание сигнификации форматоров лексической избавляет от необходимости вводить четвертое измерение сигнификации.

8. Формальный дискурс

Хотя измерение формативной сигнификации не признается необходимым, тем не менее в семиотике нужно дать объяснение такому формальному (formative) дискурсу, примером которого является математика и формальная логика. Так, 2+2=4 отличается *от 2 кварты спирта, добавленные к 2-м квартам воды, дают 4 кварты жидкости.* Первое предложение формальное (и аналитическое); второе — лексическое (и синтетическое). Первое — формально истинно, второе — эмпирически ложно. Отрицательные варианты этих предложений являются соответственно ложными с формальной точки зрения и истинными с точки зрения эмпирической.

Я не ставлю перед собой задачи всесторонне рассмотреть здесь проблемы формального дискурса. Однако одно соображение могло бы подсказать направление дальнейшего исследования.

Отношение *аналитических импликатов* (analytic implicates) между двумя знаками или рядами знаков может быть введено следующим образом: если сигнификация S_1 включается в сигнификацию S_2, или тождественна ей, S_2 является аналитическим импликатом S_1. Так, в *Люди суть животные* слово *животные* выступает как аналитический импликат по отношению к *люди*. Если нечто есть человек, тогда в силу сигнификации слова *человек* это нечто является животным. Аналогичные примеры — *А есть А* и Black berries are black «Черные ягоды черны». Предложение же Blackberries are black «Ягоды черной смородины черны» примером такого формального предложения не является. Это эмпирическое предложение, и для ранней стадии созревания черной смородины оно является фактически ложным.

Отношение *противоположных импликатов* (contradictory implicates) может быть введено следующим образом: если сигнификация S_1 есть отсутствие условий, которые образуют сигнификацию S_2, тогда S_1 и S_2 являются по отношению друг к другу противоположными импликатами. *Люди есть не-люди, А есть не-А,* Black berries are not-black «Черные ягоды не-черные» — примеры предложений, построенных на основе противоположных импликатов. Из сигнификации знаков известно, что если один из знаков применим к чему-то, то другой не подходит; и если один знак не применим к чему-либо, то другой применим.

Если дискурс основывается на аналитических импликатах, он представляет собой аналитический формальный дискурс; и если он основывается на противоположных импликатах, он представляет собой контрадикторный формальный дискурс. Математический дискурс часто (или всегда) относится к первому типу; мистический дискурс часто (или всегда) — ко второму[14].

Таким образом, в рамках современной семиотики возможно охватить тип формального дискурса (противопоставленный лексическому) и без введения четвертого (формативного) измерения сигнификации в дополнение к десигнативному, оценочному и предписывающему измерениям. Следовательно, для того, чтобы найти место формальному дискурсу, нет нужды усложнять анализ стадий действия.

9. Применения знаков

В современных исследованиях особо подчеркиваются многообразные применения знаков, особенно знаков языковых. Но термины «сигнификация», «применение», «употребление» и отношения между ними понимаются далеко не однозначно. Некоторые отождествляют сигнификацию слова с его применением (use), другие — с его употреблением (usage). Термины «применение» и «употребление» иногда различают, а иногда — нет.

Если признается, что прагматика занимается происхождением, применением и воздействием знаков, то, говоря о «применении» знака, тем самым уже предполагают, что у знака есть «сигнификация». Следовательно, в такой системе «сигнификация» и «применение» разграничиваются. Однако термин «употребление» знака, когда его отграничивают от «применения», — как мне представляется, означает не что иное, как оперирование с чем-то как со знаком в рамках знакового процесса (или знакового поведения). Этот термин ничего не добавляет к тому, что уже было сказано.

В книге «Знаки, язык и поведение» были рассмотрены четыре основных случая применения знаков, которые названы информативным, оценочным, побудительным и системным. Знаки можно использовать, чтобы информировать кого-либо о свойствах объектов или ситуаций, побудить кого-либо к предпочтительному поведению по отношению к определенным объектам или ситуациям, вызвать определенную линию поведения, организовать предрасположенность к поведению, уже вызванную другими знаками. Для выполнения тех или иных функций не обязательно подбираются знаки с какими-то определенными типами сигнификации, но, в целом, десигнативные знаки, как правило, употребляются информативно, оценивающие знаки — оценочно, предписывающие знаки — побудительно, а формативные знаки — системно.

Отличительной чертой семиотических исследований в последние годы был растущий интерес к различным измерениям сигнификации и к многообразным функциям знаков. Прежде философов XX века интересовали главным образом десигнативное и формативное измерения сигнификации[15], в том виде, в каком они проявлялись в математике и других науках. Этот интерес сохраняется, но, кроме того, усиливается интерес к роли знаков на стадиях манипуляции и завершения действия. Так, все чаще внимание ученых обращается к ритуалам, мифам, морали, искусству, законам, политике, религии, философии. Поскольку каждая из этих сфер предполагает понятие ценности, то пора обратиться к теории ценности (аксиологии), к исследованию отношений между знаками и ценностями, к изучению того, какое место занимают ценности в деятельности людей[16].

Примечания

1 F r i s c h Carl von. Bees, Their Vision, Chemical Senses, and Language. Cornell University Press, Ithaca, New York, 1950.

2 Сделаем оговорку, поскольку не всегда предрасположенность возникает в знаковых процессах. Есть много случаев, когда склонность реагировать определенным образом на определенные вещи имеет место независимо от знаков.

3 В связи с этим некоторые формулировки в моих ранних работах вызвали возражения. См. мою рецензию «Words Without Meaning» на книгу Б. Ф. Скиннера «Verbal Behavior», в журн. «Contemporary Psychology», 1958, № 3, p. 212—214.

4 M e a d George G. The Philosophy of the Act, ed. Ch. W. Morris, University of Chicago Press, Chicago, 1938.

5 Термин «наблюдаемый» употреблен здесь в довольно узком смысле: «наблюдаемый непосредственно органами чувств или наблюдаемый опосредованно, т. е. с помощью анализа факторов, который доказывает, что эти факторы свидетельствуют о явлениях, непосредственно органами чувств не наблюдаемых». Термин «наблюдение» широко употребляется в повседневном языке, и некоторые философы предпочтут не использовать его в данном контексте, дабы не создавать впечатление, что семиотика устанавливает объем значения сигнификации знаков. Важнейшие философские положения зависят от того, что признается границами значения (сигнификации). В настоящем предварительном изложении обсуждать этот вопрос нецелесообразно. Можно отослать читателя к анализу фаз референциальной функции языка в книге Q u i n e Willard van Orman. Word and Object MIT Press. Cambridge (Mass.), p. 108—110.

6 Некоторые читатели будут возражать против использования в этой связи термина «измерение», предпочитая, возможно, такие термины как

«фактор» или «отношение» (respect). Семиотические «измерения» не являются измерениями в строгом математическом смысле (как измерения величин). Величины переменных частично независимы, и, хотя нам неизвестна система счисления, которая была бы общей для всех переменных, величины каждого измерения до известной степени поддаются количественному выражению.

7 См. анализ слов cowardly «трусливый» и friendly «дружеский» в книге: D e w e y, John. Experience and Nature. Chicago — London, p. 292—293.

8 Слово *хороший* может иметь для врача-диетолога оценочный компонент даже здесь: если он вдруг заболеет диабетом, он, возможно, будет предрасположен к диете А, а не Б, в силу того, что он раньше говорил своему пациенту.

9 Здесь необходима оговорка в соответствии с комментарием по поводу термина «наблюдение» (см. примеч. 5).

10 Разумеется, в некоторых случаях интерпретатор знака может быть одновременно и его создателем. Абрахам Каплан называет такой знак «самовыразительным». Можно заметить, что не все знаки, выразительные в первом смысле этого слова, являются выразительными (или самовыразительными) во втором смысле. В своей книге «Signs, Language, and Behavior» (Prentice-Hall, New York, 1946; George Braziller, New York, 1955) я предложил использовать «выразительный» во втором смысле и продолжаю отстаивать свое предложение.

11 Мое внимание к этому привлек Хауэрд Парсонс, который в настоящее время работает над данными проблемами.

12 Неспециалист может опустить разделы 7 и 8 без ущерба для основной линии рассуждения.

13 Большинство современных лингвистов все еще говорит о структурном значении, грамматическом, формальном, языковом и т. п. Постулат о существовании такого значения был подвергнут сомнению Н. Хомским в его книге: C h o m c k y N. Syntactic Structures. Mouton, The Hague, 1957.

14 См. мою статью «Mysticism and its Language» в книге «Language: An Enquiry into Its Meaning and Function», Harper & Brothers, New York, 1957, p. 179— 187. Эта статья в несколько сокращенном виде была первоначально опубликована в «Etc. A Review of General Semantics», 1951, № 9, с. 3—8.

15 Разумеется, это не относится к таким мыслителям, как Эрнст Кассирер, которого интересовали все важнейшие формы символической деятельности людей.

16 Некоторых читателей, возможно, заинтересует, чем данное здесь изложение отличается от концепции в книге «Знаки, язык и поведение». Здесь предложена иная трактовка знакового поведения, сделана попытка обойтись без формативного измерения сигнификации, большое значение придается измерениям сигнификации (которые раньше именовались «способами означивания» [modes of signifying]).

Жан Пиаже

Схемы действия и усвоение языка

Нам хотелось бы в нескольких словах объяснить, почему мы считаем, что язык согласуется со всем, что усвоено на уровне сенсомоторного интеллекта. Действительно, сенсомоторный интеллект уже содержит некоторую логику — логику действий, когда нет еще ни мышления, ни представления, ни языка. Эти действия скоординированы согласно некоторой логике, уже содержащей множество структур, которые разовьются позднее самым ярким образом. Прежде всего имеется, конечно, обобщение (генерализация) действий. Например, ребенок пытается схватить висящий предмет, ему это не удается, но он раскачивает его; тогда, весьма заинтересованный, ребенок продолжает ударять по нему, чтобы заставить качаться, и в результате всякий раз, когда он видит висящий предмет, он начинает толкать его и раскачивать. Этот акт, несомненно, свидетельствует о начале логического обобщения, или интеллекта, у ребенка. Основным феноменом на уровне этой логики действий является ассимиляция; *ассимиляцией я называю интеграцию новых объектов или новых ситуаций и событий в предшествующие схемы;* я называю схемой то, что является результатом обобщения, пример которого я только что привел выше. Эти схемы ассимиляции являются своего рода концептами, но концептами практическими. Они являются концептами в том смысле, что предполагают содержание понятия (com-

préhension) (я противопоставляю термины «содержание понятия» и «экстенсионал» [extension], согласно их употреблению французской логической школой); концепты с содержанием понятия, следовательно, распространяются на качества и предикаты, но еще не имеют объема (экстенсионала); иначе говоря, ребенок узнает висящий предмет, то есть производит акт опознания, но у него нет средства представить себе совокупность висящих предметов. А если нет еще экстенсионала, значит, нет и припоминания, поскольку для того чтобы прийти к представлению о совокупности предметов, обладающих одним и тем же качеством, необходима, естественно, способность к припоминанию, то есть к представлению тоже. Последнее позволяет осуществить символическая или семиотическая функция, которая возникает значительно позже и которая не дана с самого начала; этим и объясняется ограниченность практических концептов, которые я называю схемами ассимиляции.

Однако хотя еще нет экстенсионала, существует координация между схемами, и именно эти координации образуют всю сенсомоторную логику. Вот один пример координации: представьте себе некий предмет, который положен на какой-то другой предмет; отношение «положен на» может быть скоординировано с действием «тянуть», и ребенок потянет к себе одеяло, на которое положен предмет, с целью получить его. Что же касается способа проверки действительного наличия координации, то достаточно положить предмет чуть подальше от одеяла: если ребенок его продолжает тянуть, значит, он ничего не понял, и координация отсутствует; если же он ожидает, что предмет должен быть на одеяле, и тянет его — координация существует. Более того, в этой сенсомоторной логике мы находим все виды соответствий или практических морфизмов, морфизмов в математическом смысле этого термина; мы находим ожидаемое отношение порядка: средства предшествуют достижению цели, они должны быть упорядочены согласно определенной последовательности; мы находим включения, то есть одна схема может быть включена в другую в виде частной схемы или подсхемы; короче говоря, мы находим постоянную структуру, которая предвещает структуру логики.

Вернемся к моей первой проблеме: как субъект переходит от этой логики действий к концептуальной логике? Под концептуальной логикой я понимаю такую логику, которая предполагает представление и мышление и, следовательно, концепты с экстенсионалом, а не только с содержанием (compréhension). Этот переход к концептуальной логике является, по сути дела, особым преобразованием ассимиляции. До этого момента ассимиляция представляет собой включение некоторого объекта в схему действия; например, один предмет может быть схвачен, другой тоже может быть схвачен, и т. д., — все объекты хватания ассимилированы, включены в

схему действия — действия хватания. В то время как новая форма ассимиляции, которая вскоре возникнет и сделает возможной концептуальную логику, — это ассимиляция между предметами, а не только между предметами и схемой действия; иначе говоря, одни предметы будут ассимилироваться другими, что и обусловит возникновение экстенсионала. Но это, естественно, предполагает воспроизведение в памяти; а для этого, разумеется, необходима потребность воспроизвести в памяти, то есть подумать о каком-либо предмете, который в настоящее время не является непосредственно воспринимаемым. Так откуда же возникает это воспроизведение в памяти? Именно здесь мы видим, как возникает символическая или семиотическая функция, о которой я говорил выше*.

Символическая или семиотическая функция формируется в течение второго года жизни ребенка и, как мне кажется, имеет чрезвычайно важное значение для нашей проблемы. Язык же является лишь частным случаем семиотической функции (безусловно, важным, я этого не отрицаю), но всего лишь частным случаем, и притом весьма ограниченным в совокупности проявлений символической функции[1].

Вполне возможно, что Хомский мне возразит, что все это относится к семантике и что семантика менее интересна для нашей проблемы, чем синтаксис. Но я считаю, что здесь мы имеем дело с синтаксисом, логическим синтаксисом, разумеется, поскольку речь идет о таких координациях схем, которые играют фундаментальную роль в последующей логике. Как мне кажется, имитация играет очень важную роль в формировании семиотической функции. Под имитацией я понимаю не подражание человеку, не имитацию его жестов, а имитацию некоторого предмета, когда с помощью жес-

---

* См. другую статью Пиаже в наст. сборнике. — *Прим. ред.*

1 Я наблюдал, как возникает семиотическая функция у моих детей. Сначала у одной из моих дочерей. Я ей предлагаю приоткрытый спичечный коробок, положив туда на глазах у дочери какой-нибудь предмет (например, наперсток: я подчеркиваю, что положенное в коробок несъедобно, далее будет ясно почему). Девочка пытается открыть коробок, чтобы достать предмет, она вертит его в руках, но это ничего ей не дает; наконец, она прекращает манипуляции с коробком, смотрит на него, и при этом открывает и закрывает рот; это служило символизацией того, что необходимо было сделать (ведь в коробке не было ничего съедобного). Еще один новый факт подтверждает такую интерпретацию. Я повторил тот же опыт четыре года спустя и предложил коробок своему сыну в том же возрасте. Вместо того чтобы закрыть и открыть рот, когда ему не удалось открыть коробок, он посмотрел на щель и на свою руку, потом разжал и сжал руку. Следовательно, это также символизация, только на этот раз в ручных терминах, но сразу же видно, что это снова представление цели, которую необходимо достигнуть (впрочем, один раз совершив это воспроизведение, он засунул палец в щель и попытался вытащить предмет); оба ребенка с интервалом в четыре года решили задачу, но после такого символического воспроизведения.

тов передаются характеристики этого предмета. Например, в предмете есть отверстие, которое нужно увеличить, и именно эта потребность имитируется, когда ребенок открывает и закрывает рот. Эта имитация играет чрезвычайно большую роль, поскольку она может быть моторной, как в случае, который я только что рассмотрел, но она продолжается затем в интериоризованной имитации, и я утверждаю, что ментальный образ вначале есть не что иное, как интериоризованная имитация, порождающая затем репрезентацию.

Другой формой символической функции является символическая игра. До того возраста, который мы в настоящий момент рассматриваем, игра, вне всякого сомнения, существует; ребенок начинает играть очень рано, но ранние игры, предшествующие этому уровню, заключаются в повторении какого-то предшествующего действия, первоначально серьезного. Ребенок может попытаться попробовать свои силы, например, в раскачивании висящего предмета, затем он забавляется просто из желания упражнять свою способность; это игра, состоящая в простом упражнении или повторении, и в ней нет еще никакого символизма. На уровне, который мы теперь рассматриваем, начинается символическая игра, то есть игра, которая воскрешает в памяти прошлую ситуацию с помощью жестов[1].

Мне бы хотелось указать в качестве третьего примера отсроченную имитацию; отсроченной имитацией в психологии называют такую, которая начинается в отсутствие модели. Это тот контекст, в котором начинается язык. Моя гипотеза сводится к тому, что условия возникновения языка составляют часть более широкой совокупности условий, подготовленной различными стадиями развития сенсомоторного интеллекта. Можно выделить шесть стадий, значительно различающихся тем, что именно последовательно приобретается на той или иной из них, но мне здесь было достаточно охарактеризовать сенсомоторную логику в целом и эту символическую функцию. Именно в этот момент появляется язык, и, следовательно, он может использовать все, что было достигнуто сенсомоторной логикой и символической функцией в широком смысле, в котором я употребляю этот термин, язык же является лишь ее частным случаем. Я думаю, таким образом, что есть некий смысл в этом синкретизме и в этом родстве между сенсомоторным интел-

[1] Я наблюдал первую символическую игру у одной из моих дочерей: чтобы заснуть, ей было необходимо сжать в кулаке край какой-нибудь материи, поднести свой большой палец ко рту и сосать его. Однажды утром мать перенесла ее к себе в кровать; дочь не хотела спать и осталась сидеть, но вот заметила край простыни, взяла его в руку, засунула в рот большой палец, склонила голову и закрыла глаза: улыбаясь, она притворилась спящей и продолжала сидеть; она имитировала ритуал, который повторяла каждый вечер, чтобы заснуть. Это пример простой символической игры; несколько дней спустя эта игра стала еще более сложной.

лектом и формированием языка; формирование символической функции, которая является необходимым результатом сенсомоторного интеллекта, позволяет усвоение языка. Вот почему со своей стороны я не вижу необходимости придавать характер врожденности структурам (субъект, предикат, отношение и т. д.), которые Хомский называет «фиксированным ядром». Я согласен с Хомским, когда речь идет о необходимости этого ядра, но я не верю, что факты предшествующего развития вполне объясняют его образование, если признать врожденность ядра. Иначе говоря, и в этом я целиком придерживаюсь того же мнения, что и Хомский, — язык есть особый продукт интеллекта, а не интеллект есть продукт языка. Вот те несколько фактов, которые я хотел предложить вашему вниманию по поводу дискуссии об отношении языка и интеллекта, или мышления.

Кроме того, следует еще уточнить, какое значение имеет синхронизация языка и развития интеллекта, поскольку гипотеза о врожденности фиксированного ядра не объясняет, почему язык не появляется шестью месяцами ранее или годом позднее. Откуда появляется такая синхронизация? Это не кажется мне случайным. Да и если признавать гипотезу о врожденности языка, почему не признать того же и для символической функции во всем ее объеме, и, наконец, для чего-либо еще более общего?

Ежи Пельц

Семиотика и логика

Чтобы надлежащим образом описать соотношение между семиотикой и логикой, следует выделить различные значения терминов «семиотика» и «логика» и затем для каждого из выделенных значений рассмотреть соотношения между указанными дисциплинами. Однако я не имею возможности сделать это по ряду причин. Во-первых, из-за ограниченности времени для моего доклада. Во-вторых, из-за того, что непросто дать определение термину «семиотика». В-третьих, если бы мне это даже удалось, мои выводы могли бы весьма скоро устареть: в истории каждой науки такие события, как международные конгрессы ее представителей, всегда имели важнейшее значение, не раз приводили к существенным изменениям в определении предмета и иногда даже знаменовали собой поворотный пункт в развитии данной науки. Все это a fortiori можно сказать о первом международном конгрессе в истории нашей науки. Вот почему я предлагаю дождаться окончания наших дебатов, в процессе которых столкновение различных точек зрения внесет ясность в определение предмета, раскроет объем и методы семиотики как науки.

В течение почти двадцати лет мы были свидетелями значительных изменений в научных дисциплинах, связанных с языками и знаками. И наконец настало время, когда представители двух научных дисциплин, более других за-

интересованные в исследовании языка, вновь решили пойти навстречу друг другу: я имею в виду логиков и лингвистов. Если не считать редких исключений, в последний раз такое совпадение интересов имело место в Средние века, а до этого — впервые в истории европейской цивилизации — только в античности.

Когда в тридцатые годы нашего столетия возникла идея унифицированной науки, Чарлз Моррис (в 1938 г.) увидел значение семиотики в том, что она представляет собой «определенный шаг вперед в унификации науки, поскольку она закладывает основы любой другой частной науки о знаках, такой, как лингвистика, логика, математика, риторика и... эстетика» (M o r r i s, 1938)* .Теперь, когда в своих исследованиях лингвисты в значительной степени пользуются методами и достижениями современной математической логики, а логики в своих исследованиях занимаются проблемами естественного языка (что привело к возникновению таких дисциплин, как модальная логика, временная логика, эпистемическая логика, деонтическая логика, логическая прагматика и т. п.), мы вправе выразить шутливое опасение по поводу возможного обмена ролями между лингвистами и логиками, что означало бы возврат к нежелательному положению вещей, которое имело место в прошлом, когда существовала нейтральная полоса, разделявшая области, в которых обособленно работала каждая из этих групп.

Упомянутые исследования нестандартных логик, начавшиеся в недавнее время, не в первый раз в истории логики предоставляют лингвистам удобный случай пересмотреть традиционные взгляды на язык. Первая возможность такого рода появилась давно, одновременно с зарождением математической логики, благодаря идеям Лейбница, а затем де Моргана и Буля. Они положили начало логическому изучению оснований арифметики и, в частности, логическому анализу понятия числа; следующей задачей было разрешение антиномий в теории множеств. Несколько поколений логиков трудилось над решением этих проблем. Первые шаги в этом направлении были сделаны Фреге, Пеано и Шредером, затем Уайтхедом и Расселом; следует упомянуть также Польскую логическую школу, в которую входили Лукасевич, Лесьневский, Хвистек, Айдукевич, Котарбиньский, Тарский и др., а также Геттингенскую школу: Гильберт, Аккерман, Бернайс и Беман.

В возникшей в то время логической системе, представлявшей собой тогда нечто новое, было два фактора, которые намечали возможность пересмотра и модификации теории языка, — возможность, которой лингвисты того времени не воспользовались. Первым фактором был символический, или формальный, характер логики, позволивший свести правила вывода к арифметическим опе-

* См. наст. сборник, с. 38. — *Прим. ред.*

рациям, что служило гарантией того, чтобы в процесс дедукции не прокрались незамеченные (неявные) допущения. Это было понято лингвистами много позднее, всего двадцать лет тому назад, когда был выдвинут принцип эксплицитной формулировки правил. Другим фактором, который был использован лингвистами еще позже (среди других генеративными семантиками, когда они стали применять разложение предложения на предикат и его аргументы— см. работы МакКоли и Лакоффа [M c C a w l e y, 1972; L a k o f f, 1970]), была реляционная теория предложений, начало которой в логике положили де Морган и Пирс, находившиеся в этом отношении под влиянием Лейбница, и теория пропозициональных функций.

Рассел, комментируя в 1924 г. значение своей теории логических типов для теории естественного языка, указал на неадекватность субъектно-предикатной схемы предложений, а также тех представлений традиционной семантики, в соответствии с которыми одно слово обозначает один объект (причем собственное имя обозначает индивидуальный объект, а абстрактное существительное — обобщенный). Он утверждал, что не всякое абстрактное существительное обозначает единую обобщенную сущность и не всякое предложение состоит из субъекта, связки и предиката. Слова в действительности относятся к одному и тому же логическому типу, но их значения могут относиться к различным логическим типам. Кроме того, не всякое значение может быть представлено изолированным символом. Так, например, признак «желтый», который в естественном языке (например, в английском) может быть обозначен единственным словом (например, yellow), по утверждению Рассела, должен быть представлен пропозициональной функцией *x есть желт*. То же самое относится к тем символам, которые обозначают отношения. Легко заметить, что, утверждая это, Рассел проводит разграничение между поверхностной структурой и глубинной структурой конкретного выражения естественного языка; он сделал это задолго до появления трансформационной генеративной грамматики (мы можем простить ему то, что он не использовал модные ныне термины «поверхностная структура» и «глубинная структура»).

Это не было единичным случаем разрыва во времени между логическим исследованием и развитием лингвистических теорий; представление об ограничениях на осмысленность утверждений, вытекающее из теорий типов Рассела, много позднее нашло отражение если не в понятии сочетаемостных ограничений Хомского, которое этот последний иллюстрирует, например, неприемлемостью предложения Sincerity may admire the boy «Искренность может восхищаться мальчиком», то по крайней мере в некоторых из его идей, составляющих источник этого понятия.

Семиотика представляет собой междисциплинарную науку, основанную главным образом на логике и лингвистике. Однако она не охватывает всех задач этих дисциплин. Например, в отличие от логики на одном из этапов ее развития она не особенно интересуется построением понятия числа или анализом логических оснований математики; в отличие от лингвистики на одном из этапов развития последней она не слишком интересуется выработкой метода быстрой и надежной фиксации языков вымирающих племен. С другой стороны, она принимает те цели, которые являются общими для логики и лингвистики, а также для психологии, социологии, философии и других дисциплин, проявляющих интерес к изучению языка (в самом широком смысле слова) как такового и знаков как таковых. (Если вслед за Ханом [H a h n, 1933] мы будем считать логику наукой, изучающей то, как мы говорим, то логика станет частью семиотики; если семиотика в свою очередь понимается так же широко, как в проекте Морриса, то она будет включать не только логику, но и много других дисциплин; если, следуя «Логическому синтаксису языка» Карнапа [C a r n a p, 1934], мы будем считать, что философия состоит из логического анализа понятий и предложений языка науки, то философия становится частью семиотики. Очевидно, что взаимоотношения между содержанием термина «семиотика», с одной стороны, и содержанием терминов «логика», «лингвистика», «философия», «психология» и т. д. — с другой, будут меняться в зависимости от проблем и целей каждой из этих наук.)

Тем не менее за этим замечанием в скобках должно последовать утверждение о важности еще одного фактора. Семиотика — это, так сказать, круглый стол, за которым представители различных дисциплин встречаются, чтобы обсудить, что общего у этих дисциплин в подходе к языку и знакам. Это предоставляет семиотике возможность послужить, как и в прошлом, основанием для того, чтобы устранить несогласованность, проявляющуюся то в отставании лингвистики от логики, то, наоборот, в отставании логики от лингвистики, когда, например, развитие интенсиональной логики, модальной логики, временной логики и т. п. не поспевало — по диапазону возникающих проблем и по предлагаемым решениям — за развитием лингвистической теории; причем, когда эти проблемы в свою очередь были охвачены логическими исследованиями, в логике были выработаны теории, которые по точности и адекватности превосходили теории, разработанные в лингвистике.

Я имею в виду логическую теорию прагматики по сравнению с более ранними и повсеместно принятыми формулировками лингвистической теории. Первый точный анализ знакорефлексивных выражений, ключевого понятия прагматики, можно найти у Рейхенбаха (R e i c h e n b a c h, 1947). Затем, значительный шаг вперед в

направлении истолкования этого понятия был намечен Бар-Хиллелом (B a r - H i l l e l, 1954); а три года спустя исследования Прайора по модальной и временной логике внесли существенный вклад в теорию прагматики (например, Prior, 1957).

Здесь можно сослаться на многих выдающихся ученых, например на фон Вригта, Хинтикку, Крипке, но первая полная и математически точная теория прагматики была дана лишь недавно Ричардом Монтегю (M o n t a g u e, 1970). Он построил систему прагматики, которая — подобно теории моделей, то есть современному варианту семантики, — использует понятия истинности и удовлетворительности не только по отношению к той или иной интерпретации, то есть к некоторой данной модели, но также и по отношению к так называемому контексту употребления. Для интерпретации построенного им языка Монтегю определяет, во-первых, то, что он назвал точками референции (отсчета), — множество совокупностей существенных сторон упомянутых контекстов употребления. Если, например, в некотором данном языке единственными индексальными характеристиками является наличие операторов грамматического времени и первого лица единственного числа, то точкой референции становится упорядоченная пара, состоящая из лица и действительного числа, которая должна интерпретироваться как говорящий в момент конкретного высказывания. Во-вторых, для каждой точки референции Монтегю определяет множество объектов, существующих относительно данной точки отсчета. В-третьих, он определяет значение, то есть интенсионал, каждого предиката и каждой индивидной постоянной в данном языке. Чтобы сделать это для некоторой постоянной, мы должны определить для каждой точки референции денотат, или экстенсионал, этой постоянной по отношению к некоторой данной точке референции; например, для выражения *является зеленым* по отношению к разным моментам времени мы должны указывать множества тех предметов, которые в данный момент считаются зелеными. В-четвертых, он интерпретирует операторы в некотором языке таким образом, что устанавливает для каждого оператора некоторое соотношение между точками референции и множествами точек референции. Индивидная постоянная обозначает какой-либо возможный индивидуальный объект, а одноместнопредикатная постоянная — множество возможных индивидуальных объектов по отношению к данной точке референции.

Понятия истинности и удовлетворительности, которые находятся в центре внимания прагматики, Монтегю объясняет в таких формулировках: «утверждение (a statement) (т. е. выражение, не содержащее свободных переменных) истинно по отношению к некоторой данной точке референции и некоторой данной интерпретации» и «возможный индивидуальный объект удовлетворяет упо-

мянутому выражению по отношению к некоторой данной точке референции и данной интерпретации» (см. M o n t a g u e, 1970). Возможные индивидуальные объекты также подвергаются квантификации. Экстенсионал выражения для некоторой данной точки референции представляет собой множество последовательностей, которые удовлетворяют данному выражению в данной точке, а экстенсионал индивидной постоянной или индивидной переменной для данной точки референции представляет собой функцию, которая определяет некоторый возможный индивидуальный объект для каждой последовательности в некоторой данной области.

В мои намерения не входит привлекать внимание неспециалистов к другой проблеме, разработанной Монтегю, а именно построению интенсионального языка. В этой области у него были предшественники, например Черч (C h u r c h, 1951), Карнап, Каплан (K a p l a n, 1964), Скотт, Хауэрд и другие, но в отличие от их систем его система допускает неограниченную квантификацию обычных индивидуальных объектов, без чего ценность системы для теории естественного языка невелика. С другой стороны, почти все вышеупомянутые авторы используют понятие возможных миров.

Исследования Монтегю при всей их ценности упомянуты здесь не просто ради них самих, а потому, что в двух вопросах они хорошо иллюстрируют ситуацию, когда пересекаются пути семиотики, логики и лингвистики.

Одно из центральных понятий системы Монтегю, понятие контекста употребления, и прежде считалось одним из основных понятий семиотики (а именно у Морриса и у философов школы обыденного языка), а еще раньше — хотя и скрытое под другим названием — в средневековой семиотике, а именно в обсуждениях суппозиций. Правда, до Монтегю не было никакого точного формального объяснения в рамках теории, которая использовала бы семантическую методику теории моделей, с тем чтобы охватить все возможные контексты употребления. Но и в этих более ранних семиотических теориях понятие контекста употребления получило такое объяснение, что открывало множество существенных связей между старыми понятиями, а именно теми, которые в наше время называются *поверхностной* и *глубинной* структурами. (Я отдаю себе отчет в том, что здесь я рискую навлечь на себя гнев фанатиков, верящих только в то, что в настоящий момент в науке модно, и искренне считающих, что, например, философы обыденного языка даже и не догадывались о чем-либо подобном «базисной глубинной структуре», пока она не была обнаружена представителями трансформационных порождающих грамматик или генеративной семантики.)

Я надеюсь, что приведенные выше примеры показывают, в частности, то, в чем состоит роль семиотики. Семиотика занимается

построением ключевых понятий и формулирует фундаментальные проблемы, стоящие перед теорией языка и знаков. Раскрывая первые, она пытается разрешить вторые часто описательным и неформальным образом — способами, которые могут быть названы предварительными. В изучении этих понятий и проблем она зачастую выходит в смежные области логики, философии, лингвистики, психологии и прочих дисциплин, чтобы из сферы онтологии и эпистемологии в логике и философии или из специальных и подробных неформальных описаний языков в традиционной лингвистике извлечь для себя то, что имеет отношение к природе языка и знаков.

С другой стороны, семиотика предлагает некоторые понятия и проблемы теории языка (в самом общем смысле слова) и знаков для тех дисциплин, которые иногда исследуют лишь некоторые специальные вопросы, например, занимаются построением искусственного языка посредством идеализации языка науки или грамматическим описанием конкретного естественного языка. Вот почему семиотические интерпретации представляют собой как бы «мосты» между исследованием лингвистических вопросов в логике и в лингвистике. Они также стимулируют дальнейшие исследования в любой науке, которая по той или иной причине проявляет интерес к языку. Семиотика, таким образом, привлекает внимание к важнейшим вопросам, которые являются общими для разных наук в некоторой данной отрасли.

Я полагаю — но это мое личное предположение, которое я не пытаюсь здесь обосновать, — что если бы роль контекста употребления не была прежде проанализирована в семиотике, то в логике не была бы разработана формальная теория этого понятия. А если бы она там и возникла, подобно Афине, явившейся из головы Зевса, ее влияние на современную лингвистическую теорию было бы крайне ограниченно. Это, по-видимому, подтверждается тем фактом, что лингвистика заимствовала у Монтегю прежде всего понятие *возможных миров,* которое, между прочим, рассматривал польский философ Хвистек за много лет до Черча и Хинтикки; однако, с другой стороны, из идей, наиболее существенных для системы Монтегю, лингвисты извлекли пока еще очень мало. Но, вероятно, придет время и для этого. Это предположение подтверждается нашими наблюдениями: наблюдается очевидный параллелизм в порядке появления некоторых направлений в лингвистике и в логической семиотике. Так, например, генеративная семантика, убежденная в главенствующей роли семантики по сравнению с синтаксисом или по крайней мере в неотделимости их друг от друга, возникла в современной лингвистике после продолжительного периода господства синтаксиса; точно так же Карнап (C a r n a p, 1934) и многие другие логики и философы до открытия Тарского (T a r s k i, 1933) утверждали, что логический синтаксис составляет всю логику языка; за

этим последовало как в логике, так и в философии восстановление в правах семантики, происшедшее более чем за тридцать лет до возрождения семантики в теоретической лингвистике, то есть до работ МакКоли (M c C a w l e y, 1972), Лакоффа (L a k o f f, 1970) и Льюиза (L e w i s, 1972).

Но можно ли действительно говорить об этом тридцатилетнем разрыве? В статье Д. Льюиза «Общая семантика»* основополагающую роль играет идея, выдвинутая польским логиком Айдукевичем (1890—1963), которого я считаю одним из наиболее выдающихся умов своего времени. Его идея была сформулирована в 1935 г. в статье «Синтактическая связанность» («Die Syntaktische Konnexität») (A j d u k i e w i c z, 1935), которая, по моему мнению, намного опередила уровень развития науки того времени. Айдукевич установил, в частности, что в структуре сложного выражения существенную роль играет порядок аргументов (его частным случаем является различие между субъектом и субъектным дополнением), который, однако, не тождествен внешнему порядку, в котором эти аргументы появляются в данном выражении. Иными словами, порядок аргументов представляет собой не какую-либо чисто внешнюю форму, а основан на свойствах всего выражения, свойствах, которые в свою очередь основываются на его значении. Айдукевич добавляет, что только в символических языках и в некоторых естественных языках порядок аргументов находит отражение в их чисто внешнем порядке. Нет ничего удивительного в том, что идеи Айдукевича показались привлекательными представителям генеративной семантики: мы находим в них разграничение между глубинной и поверхностной структурой, а также подчеркивание значения семантических факторов. Тем не менее представляется спорным, что Льюиз выбрал данную идею Айдукевича (A j d u k i e w i c z, 1958a), а не его более позднюю идею, сформулированную в докладе, прочитанном на Международном лингвистическом симпозиуме (A j d u k i e w i c z, 1958b). Айдукевич сам отметил, что его старая идея относительно синтаксической связанности применима к чисто позиционным искусственным языкам, которые он построил; это приводит к очевидным ограничениям применимости его теории. Кроме того, во второй работе Айдукевич предложил формальную запись для семантических категорий, тогда как в первой работе он использовал только понятие синтаксической категории, которое должно быть менее полезно для Льюиза, занимающегося созданием «общей семантики».

Я упоминаю это отнюдь не для того, чтобы критиковать работу Льюиза, а из следующих, более общих соображений. Во-первых, я бы хотел видеть миссию семиотики по отношению к

* См. наст. сборник, с. 253. — *Прим. ред.*

прочим дисциплинам, связанным с языком, в том, чтобы она способствовала передаче идей от одной дисциплины другой без какой-либо значительной потери времени (в нашем случае, от логики к лингвистике). Во-вторых, семиотика должна анализировать на метанаучном уровне те понятия, которые используются в разных дисциплинах, и осуществлять таким образом унификацию значения таких понятий. В рассматриваемом сейчас случае я имею в виду понятия семантической категории и синтаксической категории.

Гуссерль был первым, кто ввел термин «семантическая категория», но он определил его, апеллируя к той синтаксической роли, которую то или иное выражение играет в предложении, так что в действительности он имел в виду синтаксическую категорию. Семантические же категории должны быть выделяемы с точки зрения того, что обозначают данные выражения. Айдукевич описал это различие так: союз *или*, примененный для связи предложений, представляет собой, с синтаксической точки зрения, функтор, используемый для построения одного предложения из двух предложений s/ss; с семантической точки зрения, это функтор, обозначающий двухместную функцию, которая приписывает истинностные значения некоторому истинностному значению v/vv. Синтаксические категории, таким образом, представляют собой не что иное, как семантические категории, и метаязык синтаксиса отличается от метаязыка семантики, поскольку только второй, но не первый включает в себя язык-объект. Только на метаязыке семантики мы можем дать адекватное определение истинности и денотации, и только в семантике мы можем осуществить переход от утверждений относительно выражений к утверждениям относительно реалий, обозначаемых этими выражениями. То же возможно и в прагматике, язык которой, наряду с наименованиями выражений и их денотатов, включает наименования тех, кто использует язык. Можно опасаться, что терминология Гуссерля, в семиотической части его анализа, составляет причину некоторых позднейших недоразумений. Я думаю, что семиотика должна возместить вызванный этим ущерб, но, к сожалению, могу лишь упомянуть здесь об этом весьма важном вопросе.

У меня создалось впечатление, что различие во мнениях тех, кто может быть назван представителями трансформационно-генеративного синтаксиса, и тех, кто может быть назван представителями трансформационно-генеративной семантики (см. работы Хомского), не столь велико, как полагают. Даже если мы допустим, что в «деревьях», т. е. в структуре составляющих, терминальные элементы, то есть слова, представляют собой наименования выражений, а не наименования широко понимаемых внеязыковых объектов и что таким образом язык анализа, проводимого синтаксиста-

ми, является формально метаязыком синтаксиса, то все же понятия функциональных помет и категориальных помет, как все понятия, почерпнутые из традиционной грамматики, будут вызывать семантические ассоциации, так как они в действительности представляют собой категории, которые по своей природе являются как семантическими, так и синтаксическими. То же относится к понятию компетенции. Я согласен со Стросоном, который говорит, что трудно себе представить, чтобы знание значений не влияло на понимание носителем языка глубинных (underlying) грамматических функций и отношений элементов в предложении. Одним словом, выдвинутая синтаксистами лингвистическая теория имеет, по-видимому, смешанный характер, а именно как синтаксический, так и семантический. По причинному сходству, теория, выдвинутая генеративными семантиками, представляет собой, по существу, две теории: как семантическую, так и синтаксическую. Различие кроется, в частности, в распределении акцентов, что я обозначил посредством порядка употребленных мною прилагательных. И так как ни одна из этих теорий не может обойтись без учета прагматических аспектов, они обе представляют собой в действительности семиотические теории, что не удивительно, если учесть, что они обе являются грамматиками естественного языка.

Когда мы слышим термин «генеративная семантика», мы ассоциируем с ним — ибо теория ассоциаций в конце концов объясняет некоторые лингвистические факты — понятие логической формы. Недостаток современных лингвистических теорий заключается в том, что они прибегли к понятиям, чрезвычайно неясным и перегруженным недоразумениями, а именно к понятиям *структуры* и *формы*, причем последняя является сестрой «внутренней формы»— понятия, время от времени всплывающего в философии. Лингвистические теории также весьма склонны свободно использовать метафоры и олицетворения («правила порождают...») и не чуждаются гипостазирования («логическая форма»). Создается впечатление, что язык современной лингвистической теории образовался из смещения различных намерений и связанных с ними терминологических соглашений: намерения описать структуру и смысл сообщения говорящего; намерения описать стадии процесса обнаружения значения предложения, то есть процесса понимания предложения слушающим; намерения показать графически отношения, существующие между элементами поверхностной структуры предложения, а также между различными частями предложения, которое является перифразой первого предложения и в то же время его глубинной структурой; кроме того, связь между членами первого предложения и членами второго предложения и между каждым из этих двух предложений и промежуточными предложениями; наконец, намерение описать план технических операций, выполняемых электрон-

ной вычислительной машиной. Не говоря уже о том, что это уродливый язык, который сбивает с толку.

Здесь следует винить также математиков и логиков. Вынужденные соблюдать весьма строгие формальные требования, они дают волю своему стремлению к поэзии и красоте жизни: они слишком легко используют метафоры, когда, вырвавшись из царства символов, они чувствуют себя раскованно и беззаботно. Семиотика должна анализировать наиболее важные понятия лингвистической теории. Например, когда дело доходит до понятия логической формы, с одной стороны, трудно не признать за ним определенные преимущества, но с другой — трудно не согласиться с Куайном (Q u i n e, 1972), который был прав, говоря, что логический анализ заключается не в том, чтобы выявить логическую форму, то есть логическую структуру, скрытую в некотором данном предложении. Обращаясь для этого к формализованному языку, мы используем одну из многих возможных символических записей и выбираем ту, которая наилучшим образом соответствует нашей цели: мы перифразируем некоторое данное выражение наиболее удобным из всех способов, возможных при данных обстоятельствах. Речь идет не о том, чтобы была только одна перифраза, а о том, какую из многих возможных перифраз мы должны выбрать. Однако возникает впечатление, что сторонники естественной логики полагают, что все синонимичные предложения имеют в своей основе одну и ту же логическую форму. (Заметим в этой связи, что, согласно одной формулировке, логическая форма считается тождественной значению; согласно другой — она репрезентирует значение; а согласно третьей, она — наряду с семантическими постулатами и другими понятиями, используемыми в логической методике, — является частью значения.) Чем бы она ни была, она единственна. Но если это так, то мы могли бы ожидать, что английское предложение, которое является неграмматичным — возможно, потому, что его логическая форма неправильна, например, предложение It is possible that Sam will find a girl and he will kiss her «Возможно, что Сэм найдет [какую-нибудь] девушку и он поцелует ее» (L a k o f f, 1970), — вследствие того же самого фактора будет грамматически неправильным и в других языках. Фактор этот заключается в неправильности его логической формы. И тем не менее в точном переводе на польский язык это предложение грамматически правильно. Этот пример представляет собой эмпирический аргумент против одного фрагмента теории логической формы и призывает сделать это понятие значительно более точным. Вот почему я, вслед за Куайном, провозглашаю себя противником абсолютизации всякого рода и соглашаюсь с Дж. Флобер (F o d o r, 1970), которая утверждает, что у нас до сих пор нет удовлетворительных правил перевода с естественного языка на формальный.

В этой связи семиотика сталкивается с задачей дальнейшего анализа понятий перифразы и перевода. Последнее было замечательно проанализировано, в частности, Айдукевичем (A i d u k i e w i c z, 1934; 1967a) в одной из двух опубликованных посмертно его статей, где дается очень интересная синтаксическая и семантическая интерпретация предложений на чисто флективном языке, основанная на понятии синтаксического места. Айдукевич не был знаком с исследованиями по современной трансформационной генеративной грамматике, и поэтому весьма примечательно, что он дошел до аналогичных выводов, следуя по другому пути. Он разработал систему (A j d u k i e w i c z, 1961; 1967a; 1967b), в которой синтаксическая структура предложения или какого-либо иного сложного выражения, не включающая ни операторов, ни связанных переменных, описывается посредством числовых показателей, которые обозначают синтаксическую позицию различных слов, даже если эти слова записаны в произвольном порядке. В этой системе мы можем также определить и обозначить при помощи символов семантическую категорию каждого слова и таким образом определить такие отношения, как отношения между субъектом и предикатом и т. п.; это достигается указанием числового показателя синтаксического места и символического показателя семантической категории каждого рассматриваемого выражения. Айдукевич также определил понятие коннотации выражения как функцию, определенную для конечных синтаксических мест этого выражения, которая устанавливает единственное однозначное соответствие между этими синтаксическими местами и денотациями слов, занимающих эти места. Так, например, коннотации выражения round and red «круглый и красный» представляют собой конечное множество упорядоченных пар:

<(1, 1) — round; (1, 0) — and; (1, 2) — red>.

Коннотация однозначно определяет денотацию. Наименование денотации в рассмотренном выше случае принимает форму символической записи:

round	and	red
(1, 1)	(1, 0)	(1, 2)

Айдукевич также дал определение отношения, существующего между главным оператором и его аргументами. Из него следует, что синтаксическая структура правильно построенного выражения однозначно определяется уже семантическими категориями компонентов первого порядка этого выражения. Еще одна теория естественного языка — как дедуктивной системы со своими аксиоматическими, дедуктивными и эмпирическими правилами — была построена Айдукевичем в 30-е годы; в это время он также привлек внимание к тому, что называется творческой способностью естественного языка.

Когда я ссылался здесь на теорию языка, основанную на понятии синтаксического места, я руководствовался пятью соображениями: (1) эта теория интересна сама по себе; (2) она удовлетворяет теоретическим склонностям как современных синтаксистов, так и семантиков, являющихся сторонниками трансформационной генеративной грамматики; (3) она представляет собой теорию языка, которая экстенсионально эквивалентна трансформационной генеративной грамматике и является альтернативой этой последней; (4) она избегает нежелательных семантических ассоциаций в сфере своих синтаксических понятий и синтаксических ассоциаций в сфере своих семантических понятий; и (5) она является примером связей между логикой и семиотикой. Дело обстоит так потому, что основная идея Айдукевича явилась плодом его логических размышлений над искусственным языком, языком в логическом понимании этого термина, языком, считающимся идеализацией естественного языка; но распространение его первоначальной идеи относится к языку в лингвистическом смысле термина.

Связи между семиотикой и логикой несомненны и крепки, но границы между той и другой областью зыбки и трудно определимы. Я включаю в семиотику ту часть логики, которую называют логикой языка и которую я называю логической семиотикой (она также включает какие-то части логической методологии). Мы могли бы спорить, какие части формальной логики, логического исчисления, индуктивной логики и т. п. должны быть включены в семиотику. Возможно, в ходе такой дискуссии были бы обсуждены только некоторые металогические соображения, связанные с определенными фрагментами того, что называют логистикой; возможно, что обсуждение затронуло бы также и нестандартные логики. Но по моему мнению, такая дискуссия была бы бесплодной, как бывает всегда, когда возникает конфликт из-за прерогатив, в то время как поле остается невозделанным и ждет, когда его начнут обрабатывать.

Вот почему я ограничился лишь самым поверхностным указанием на связь между логикой, семиотикой и теоретической лингвистикой, а также на некоторые их общие задачи. Я сделал это, лишь бегло упомянув некоторые примеры. Семиотика дает представителям различных дисциплин возможность разрушить непроницаемые перегородки между их узкоспециальными сферами.

Литература

Ajdukiewicz, 1935 — Ajdukiewicz K. Die syntaktische Konnexität // Studia Philosophica, 1, 1936 (translated in: «Polish Logic», Oxford, 1967).

Ajdukiewicz, 1958a — Ajdukiewicz K. Trzy pojęcia definicji // Studia Filosoficzne, 5(8), 1958.

Ajdukiewicz, 1958b — Ajdukiewicz K. Związki skladniowe między czlonami zdań oznamujących (Syntactic connections between parts of declarative sentences) // International Symposium of Linguistics, 1958.
Ajdukiewicz, 1961 — A Method of Eliminating Intensional Sentences and Sentential Formulae // Atti del XII Congresso Internacionale di Filosofia, V, Fiorenze, 1961.
Ajdukiewicz, 1967a — Ajdukiewicz K. Intensional Expressions // Studia Logica, 20, 1967.
Ajdukiewicz 1967b — Ajdukiewicz K. Proposition as the Connotation of Sentence // Studia Logica, 20, 1967.
Bar-Hillel, 1954 — Bar-Hillel Y. Indexical Expressions // Mind, 63, 1954.
Carnap, 1934 — Carnap R. Logische Syntax der Sprache. Wien, 1934.
Church, 1951 — Church H. A. Formulation of the Logic of Sense and Denotation // Structure, Method and Meaning, eds. P. Henle, H. M. Kallen, S. K. Langen, New York, 1951.
Fodor, 1970 — Fodor J. D. Formal Linguistics and Formal Logic // New Horizons in Linguistics, ed. J. Lyons, Harmondworth, 1970.
Hahn, 1933 — Hahn H. Logic, Mathematics and Knowledge of Nature // Einheits Wissenschaft, Wien, 1933.
Kaplan, 1964 — Kaplan D. Foundations of Intensional Logic. Doctoral dissertation, UCLA, 1964.
Lakoff, 1970 — Lakoff G. H. Linguistics and Natural Logic // Synthese, 22, 1970.
Lewis, 1972 — Lewis D. General Semantics (см. наст. сборник, с. 253—284).
Montague, 1970 — Montague R. Pragmatics and Intentional Logic // Semantics of Natural Language, eds. D. Davidson, G. Harman, Dordrecht, 1970 (русский перевод см. в сб. «Семантика модальных и интесиональных логик». М.: Прогресс, 1981).
McCawley, 1972 — McCawley L. D. A Program for Logic // Semantics of Natural Language, eds. D. Davidson, G. Harman, Dordrecht, 1972.
Morris, 1938 — Morris Ch. Fondations of the Theory of Signs (см. наст. сборник, с. 37—89).
Prior, 1957 — Prior A. N. Time and Modality. Oxford, 1957.
Quine, 1972 — Quine G. Methological Reflections on Current Linguistich Theory // Semantics of Natural Language, eds. D. Davidson, G. Harman, Dordrecht, 1972.
Reinchenbach, 1947 — Reinchenbach H. Elements of Symbolic Logic. Free Press, MacMillan, 1947.
Russel, 1924 — Russel B. Logical Atomism // Logical Positivism, ed. A. J. Ayer, Clencoe (111.), 1959 (1924).
Tarski, 1933 — Tarski A. Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych. Warszawa, 1933.

Чарльз Сандерс Пирс

Из работы «Элементы логики. Grammatica speculativa»

ГЛАВА 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§ 1. Особенности дицисигнумов

309. Из трех классов [третьей]* трихотомии репрезентаменов (простых или субститутивных знаков, или *сумисигнумов* [рем]; двойных или информационных знаков, квазипредложений, или *дицисигнумов;* тройных или обладающих рациональной убедительной силой знаков, или *умозаключений,* или *свадисигнумов*) легче всего понять природу второго, то есть класса квазипредложений, несмотря на то, что вопрос о сущности «суждения» является в настоящее время самым спорным из всех вопросов логики. Правда, все эти классы имеют весьма сложную природу; но в настоящее время вопрос без всякой необходимости усложняется тем, что внимание большинства логиков вместо того, чтобы распространяться на предложения вообще, ограничивается «суждениями», то есть ментальными актами принятия предложений, которые не только содержат признаки дополнительные по отношению к предложениям вообще — признаки, выделяющие их как предложения особого

* Квадратные скобки здесь и далее принадлежат издателям английского текста Пирса. Сноски с цифровыми индексами принадлежат тексту оригинала — см. «Примечания» в конце работы Пирса. — *Прим. ред.*

рода, — но которые, кроме ментального предложения самого по себе, предполагают особый акт согласия. Проблема является достаточно сложной, даже если мы только хотим выявить существенные свойства *Дицисигнума* вообще, то есть такого вида знака, который передает информацию, в противоположность знаку [такому, как иконический знак], из которого информация может быть извлечена[1].

310. Наиболее простой критерий, показывающий, является ли знак Дицисигнумом или нет, заключается в том, что Дицисигнум либо истинен, либо ложен, но сам по себе не дает оснований судить, каков он. Это значит, что Дицисигнум должен явным образом указывать, что он имеет референцию (refer) или устанавливает отношение (relate) к чему-то, обладающему реальным бытием независимо от его репрезентации как такового, и притом эта референция или это отношение должно быть представлено не как нечто рациональное, но как слепая Вторичность. Но единственный вид знака, объект которого необходимо существует, есть подлинный Индекс. Конечно, Индекс мог бы быть частью некоторого Символа, но в этом случае отношение представлялось бы чем-то рациональным. Следовательно, Дицисигнум необходимо представляет себя самого в качестве подлинного индекса и ничего сверх того. На этой стадии нашего рассуждения откажемся от всех прочих соображений и посмотрим, какого рода знаком должен быть знак, который в любом случае представляет себя как подлинный Индекс своего Объекта и ничего сверх того. Заменяя «представляет себя» более ясным истолкованием, мы можем сказать: Интерпретанта Дицисигнума представляет (репрезентирует) тождество Дицисигнума с подлинным Индексом реального Объекта Дицисигнума. То есть Интерпретанта представляет реальное экзистенциальное отношение, или подлинную вторичность, как существующее между Дицисигнумом и его реальным объектом. Но Интерпретанта Знака не может представлять никакой другой Объект, нежели Объект самого этого Знака. Следовательно, то же самое экзистенциальное отношение должно быть объектом Дицисигнума, если последний вообще имеет реальный Объект. Это репрезентированное экзистенциальное отношение, будучи Объектом Дицисигнума, делает реальный Объект, который является коррелятом данного отношения, также Объектом Дицисигнума.

311. Этот последний Объект можно обозначить термином *Первичный Объект,* а другой — термином *Вторичный Объект.* В той мере, в какой Дицисигнум является релатумом экзистенциального отношения, которое есть Вторичный Объект Дицисигнума, он, очевидно, не может быть всем Дицисигнумом. Он одновременно есть часть Объекта и часть Интерпретанты Дицисигнума. Поскольку Ди-

цисигнум репрезентируется в своей Интерпретанте как Индекс некоторого комплекса как такового, он должен репрезентироваться в той же Интерпретанте как составленный из двух частей, соотнесенных соответственно с его Объектом и с ним самим [Дицисигнумом]. Другими словами, чтобы понять Дицисигнум, его следует рассматривать как составленный из двух таких частей, независимо от того, составлен он из них сам по себе или нет. Трудно понять, как это может быть, если в действительности у него нет таких двух частей, но быть может, нам это удастся. Рассмотрим эти две репрезентируемые части отдельно. Часть, которая репрезентируется как репрезентирующая Первичный Объект, должна репрезентироваться как Индекс (или некоторый репрезентамен Индекса) Первичного Объекта, так как Дицисигнум репрезентируется как Индекс своего объекта. Часть, которая репрезентируется как репрезентирующая часть Дицисигнума, репрезентируется одновременно как часть Интерпретанты и часть Объекта. Она должна поэтому репрезентироваться как Репрезентамен такого рода (или как репрезентирующая такой Репрезентамен), у которого Объект и Интерпретанта могут быть одним и тем же. Но ведь Символ не может быть сам своим Объектом, так как он есть закон, управляющий своим Объектом. Например, если я скажу: «Это предложение передает информацию о самом себе» или «Пусть термин «сфинкс» будет обозначать что-либо имеющее природу символа, применимого ко всем «сфинксам» и ни к чему иному», — я скажу чистейший вздор. Но Репрезентамен служит посредником между своими Интерпретантой и Объектом, и то, что не может быть объектом Репрезентамена, не может быть Объектом Интерпретанты. Следовательно, a fortiori* невозможно, чтобы Символ имел свой Объект своей Интерпретантой. Индекс же вполне может репрезентировать сам себя. Так, каждое число может быть умножено на два; и, таким образом, все множество (collection) четных чисел есть Индекс всего множества чисел, и поэтому это множество четных чисел содержит Индекс самого себя. Но невозможно, чтобы Индекс был своей собственной Интерпретантой, так как Индекс есть не что иное, как индивидуальное существование в некоторой Вторичности вместе с чем-то; и он становится Индексом, только будучи способным репрезентироваться некоторым Репрезентаменом как член данного отношения. Если бы эта Интерпретанта могла быть сама собой, не было бы различия между Индексом и Вторым. Иконический знак, однако, представляет собой, строго говоря, возможность, включающую возможность, и, таким образом, возможность того, что он будет репрезентироваться как возможность, есть возможность включенной возможности. Следовательно, только в Репрезентамене этого типа

* Тем более *(лат.)*. — *Прим. ред.*

Интерпретанта может быть Объектом. Отсюда та составная часть Дицисигнума, которая репрезентируется в Интерпретанте как часть Объекта, должна репрезентироваться Иконическим знаком или Репрезентаменом Иконического знака. Дицисигнум, как он должен пониматься, чтобы быть понятым вообще, должен содержать эти две части. Но Дицисигнум репрезентируется как Индекс Объекта в том смысле, что последний включает нечто, соответствующее этим частям; и Дицисигнум репрезентируется как Индекс этой Вторичности. Следовательно, Дицисигнум должен показывать связь между этими своими частями и должен репрезентировать эту связь как соответствующую связи в объекте между Секундарным Первичным Объектом [т. е. первичным объектом, поскольку он по своей структуре диадичен*] и Первичностью [или качеством первичного объекта], которая обозначена частью [Секундарного Первичного Объекта], соответствующей Дицисигнуму.

312. Таким образом, мы делаем вывод, что, если нам удалось пробраться через лабиринт этих абстракций, то Дицисигнум, определенный как Репрезентамен, Интерпретанта которого репрезентирует его как Индекс его Объекта, должен обладать следующими признаками.

Первое: Он должен, чтобы быть понятым, рассматриваться как состоящий из двух частей. Из них одна, *которая может быть названа Субъектом,* есть или репрезентирует некоторый Индекс Второго, существующего независимо от факта своей репрезентации, тогда как другая, *которая может быть названа Предикатом,* есть или репрезентирует некоторый Иконический знак Первичности [или качества или сущности]. Второе: Эти две части должны репрезентироваться как связанные; и причем таким образом, что, если Дицисигнум имеет какой-либо Объект, он [Дицисигнум] должен быть Индексом Вторичности, существующей между Реальным Объектом, репрезентированным в одной репрезентируемой части Дицисигнума как то, на что указывает Индекс, и Первичностью, репрезентированной в другой репрезентируемой части Дицисигнума как то, что изображает Иконический знак.

313. Теперь посмотрим, будут ли эти выводы наряду с допущениями, от которых они произведены, справедливы для всех знаков, которые явным образом указывают на то, что передают информацию, не давая при этом рациональной аргументации ее истинности; и будут ли они непригодными как для всех тех знаков, которые не передают информации, так и для всех тех, которые представляют доказательства истинности своей информации или основания верить в нее. Если наш анализ выдержит такую проверку, мы сможем

---

* От *диада* — «единство, образуемое двумя раздельными членами или частями». — *Прим. ред.*

предположить, что лежащее в ее основе определение Дицисигнума, справедливое по крайней мере в сфере знаков, может оказаться пригодным и за пределами этой сферы.

314. Наше определение не позволяет, чтобы Иконический знак был Дицисигнумом, так как собственная Интерпретанта Иконического знака не может репрезентировать его как Индекс, поскольку Индекс по самой своей природе более сложен, нежели Иконический знак. Поэтому среди Иконических знаков не может быть информационных знаков. Мы обнаруживаем, что в действительности Иконические знаки могут быть весьма полезны для получения информации — например, в геометрии, — но все же справедливо то, что Иконический знак не может сам по себе передавать информацию, так как его Объект — это все что угодно, что может быть подобно данному Иконическому знаку, и это любое нечто является его Объектом в той степени, в которой оно подобно данному Иконическому знаку.

§ 2. Субъекты и предикаты

315. Все предложения суть информационные Символы. Наши выводы не препятствуют тому, что Дицисигнумы были Символами; но начнем с рассмотрения того, применимы или нет наши определение и выводы к обычным предложениям. Проиллюстрируем наши представления на примере предложения «У Туллия на носу бородавка». Это есть предложение независимо от того, истинно оно или нет, утверждает его кто-либо или нет, изъявляет с ним кто-либо согласие или нет. Ибо акт утверждения предполагает, что лицо, сформулировавшее предложение, осуществляет акт, который — в случае ложности предложения — делает его подверженным санкциям со стороны общественного закона (или, во всяком случае, санкциям со стороны морального закона), если у этого лица нет определенного и достаточного оправдания. Акт же согласия есть мысленный акт, посредством которого человек стремится запечатлеть смысл предложения в своем сознании, так что это будет определять его поведение, включая умонастроение, лежащее в основе поведения, причем это умонастроение может измениться, если появятся причины для его изменения. Итак, при осуществлении любого из этих актов данное предложение признается предложением независимо от того, осуществился ли данный акт или нет. И на том факте, что предложение всегда понимается как нечто такое, с чем *можно было бы* соглашаться или что *можно было бы* утверждать, не может быть основано надежное возражение[2]. Ибо наше определение Дицисигнума более чем признает истинность этого, когда констатирует (исходя из того, что предложение есть Дицисигнум), что его Интерпретанта (т. е. ментальная

репрезентация, или мысль, которую он стремится определить) репрезентирует предложение как подлинный Индекс Реального Объекта, независимого от репрезентации. Ибо Индекс предполагает существование своего Объекта. Определение [Дицисигнума] добавляет, что этот Объект есть Вторичность, или действительный факт. Что это справедливо для обычных «амплиативных» предложений — а именно таких, которые имеют в виду репрезентировать нечто как факт, — не подлежит никакому сомнению. Но что касается до экспликативных предложений, и особенно определений, то в этом можно усомниться. Если понимать определение как вводящее определяемое, так что оно означает: «Пусть то-то и то-то — определяемое — означает то-то и то-то — определение», — то тогда мы имеем дело с предложением в повелительном наклонении и, следовательно, не с предложением; ибо предложение (proposition) эквивалентно фразе (sentence) в изъявительном наклонении. Таким образом, определение является предложением, только если определяемое уже известно интерпретатору. Но в этом случае оно, очевидно, передает информацию относительно свойств данного определяемого, которые имеются в реальной действительности. Но возьмем «аналитическое», то есть экспликативное, предложение; и прежде всего возьмем формулу «А есть А». Если она предназначена для того, чтобы сформулировать нечто относительно реальных вещей, она является чем-то совершенно непонятным. Она должна пониматься как означающая нечто относительно символов; нет сомнений, что субстантивный глагол «есть» выражает одно из тех отношений, которые всякая вещь имеет по отношению к себе самой, как, например, «____ любит всё что любимо____ом». Понимаемая таким образом, эта формула дает информацию относительно символа. Символ, правда, не является индивидуальным объектом. Но любая информация относительно символа есть информация относительно каждой его реплики*; а реплика является определенно индивидуальным объектом. В таком случае, какую информацию относительно этой реплики дает предложение «А есть А»? Информация состоит в том, что если эта реплика будет модифицирована так, чтобы перед нею и после нее было одно и то же имя, то следствием будет реплика предложения, которое никогда не будет находиться в противоречии с каким бы то ни было фактом. Сказать, что нечто никогда не произойдет, не значит установить какой-либо реальный факт, и до тех пор, пока не появятся какие-то наблюдения — будь то внешние наблюдения или воображаемый опыт, — которые могли бы считаться случаем, противоречащим рассматриваемому предложе-

* Употребления, повторения, каждый «экземпляр» одного и того же символа. — *Прим. ред.*

нию, оно не будет, как мы понимаем, репрезентировать никакую действительную Вторичность. Но как только такое событие возникнет, предложение устанавливает отношения с единичной репликой, появляющейся в таком случае, и с данным единичным опытом и описывает связь между ними. Аналогичные замечания относятся ко всякому экспликативному предложению. Мы можем быть уверенными, что предложению «Каждый феникс, восставая из своего пепла, поет "Янки Дудл"» не будут противоречить никакие наблюдения. Если так, оно совершенно истинно. «Каждый четырехсторонний треугольник является темно-синим» неизбежно является истинным, так как невозможно, чтобы ему противоречил какой бы то ни был опыт[3]. Однако оба предложения бессмысленны. Равным образом бессмысленно любое экспликативное предложение, являющееся истинным, если оно не рассматривается как предложение относительно символа определенного рода, некоторая реплика которого действительно появляется. Если допустим, что «Человек есть двуногое» — это экспликативное предложение, оно не имеет никакого значения, если не будет события, в котором можно применить имя «человек». Если будет такое событие, то относительно этого экзистенциального индивидуального случая говорится, что к нему может быть применен термин «двуногое». То есть в случае, когда применяется слово *двуногое,* следствие никогда не будет в противоречии с каким бы то ни было опытом, реальным или воображаемым. Таким образом, предложение каждого вида либо бессмысленно, либо имеет реальную Вторичность в качестве своего объекта. Это факт, который каждый читатель философских произведений должен постоянно иметь в виду, переводя каждое абстрактно выраженное предложение в его точное значение относительно данного индивидуального опыта. Система экзистенциальных графов, которая способна выразить каждое предложение с любой желательной мерой аналитичности, выражает утверждение посредством того, что действительно закрепляет индивидуальную реплику за индивидуальным листом, и такое закрепление есть в точности то, что репрезентирует Интерпретанта предложения, прежде чем данное предложение утверждается.

316. Перейдем теперь к сравнению следствий из абстрактного определения Дицисигнума с фактами относительно предложений. Первое следствие состоит в том, что каждое предложение содержит *Субъект* и *Предикат,* причем первый репрезентирует (или сам есть) Индекс Первичного Объекта, или Коррелят репрезентируемого отношения, а второй репрезентирует (или сам есть) Иконический знак Дицисигнума в некоторых отношениях. Прежде чем задаться вопросом, всякое ли предложение состоит из таких частей, посмотрим, являются ли точными предложенные для них опи-

сания, когда такие части имеются. Предложение «Каин убивает Авеля» имеет два субъекта: «Каин» и «Авель» и устанавливает отношение к реальным объектам одного в той же мере, что и к реальным объектам другого. Но его можно считать первоначально связанным с Диадой, составленной из Каина в качестве первого члена и Авеля в качестве второго. Эта Пара представляет собой единичный индивидуальный объект, имеющий такое отношение к Каину и Авелю, что его существование заключается в существовании Каина и в существовании Авеля и более ни в чем. Несмотря на то что существование этой Пары зависит, таким образом, от существования Каина и Авеля, она, однако, существует таким же истинным образом, как и они, каждый в отдельности. Диада не является в точности Парой. Диада представляет собой ментальную Диаграмму, состоящую из двух образов (images) двух объектов, один из которых экзистенциально связан с одним членом пары, а другой — с другим; за одним закреплен в качестве репрезентации Символ со значением «Первый», а за другим — Символ со значением «Второй». Таким образом, данная диаграмма, Диада, репрезентирует Индексы Каина и Авеля соответственно, что, таким образом, согласуется с нашими выводами относительно субъекта. Рассмотрим теперь субъект предложения «Каждый человек является сыном двух родителей». Оно предполагает ментальную диаграмму пары, помеченной «Первый» и «Второй», как и раньше (или, вернее, помеченной символами, эквивалентными им в данном специальном назначении), но вместо того, чтобы оба элемента Диаграммы непосредственно рассматривать как Индексы двух существующих индивидуальных объектов, Интерпретанта диаграммы репрезентирует то, что если истолкователь всего предложения мысленным актом действительно закрепит за каким-либо индивидуальным человеком один из элементов диаграммы, то возникнет экзистентное отношение, закрепляющее другой элемент за определенной парой индивидуумов, и если истолкователь всего предложения закрепит один из членов пары специально за этой единицей, то предикат будет истинен относительно данной индивидуальной Диады в порядке ее членов. Разумеется, это не значит, что человек, который понимает диаграмму в достаточной степени, действительно проходит через этот сложный мыслительный процесс; здесь имеется в виду лишь то, что этот процесс, по существу, необходим для полного и точного понимания предложения. Помочь увидеть, что это так, может граф предложения. Здесь, как и раньше, Субъект репрезентирует индивидуальную Диаду (Символом которой является предложение) как репрезентируемую Индексом. Если предложение имеет абстрактный субъект, как, например «Краснота» или «Справедливость», оно может либо трактоваться в духе схоластов как *экспонибилия*, то есть как предложение, реальное строение которого скрыто за грам-

матическим тропом, либо, если это не дает правильной интерпретации, предложение говорит об универсуме, который заключает в себе по одной реплике каждого из набора возможных символов, до некоторой степени неопределенного, но включающего все, что должно быть учтено. Мы не можем сказать: «Все, что относится к делу» — поскольку никакой набор не может исчерпать всех относящихся к делу символов. В случае условного предложения[4] «Если сегодня ночью будет мороз, ваши розы погибнут» значение состоит в том, что любая реплика предложения «Сегодня ночью будет мороз», которая может быть истинна, сосуществует с истинной репликой предложения «Ваши розы погибнут». Это требует репрезентации Индекса в той же мере, в какой ее требует субъект предложения «Всякая роза погибнет».

317. Перейдем теперь к рассмотрению предиката. Довольно ясно, что последнее предложение, или вообще какое-либо подобное ему, передает свое значение, только возбуждая в сознании некоторый образ или, так сказать, сложную фотографию образов, подобную соответствующей ей Первичности. Это, однако, не отвечает прямо на вопрос, который состоит не в том, что происходит по причине нашей ментальной конституции, а в том, как предикат репрезентирует Первичность, которую он сигнифицирует (означивает, signifies)[5]. Предикат неизбежно представляет собой Иконический Сумисигнум [Рему] (что не всегда верно относительно субъекта) и как таковой, что будет ясно после полного анализа Сумисигнума, по существу, сигнифицирует то, что он сигнифицирует, путем представления себя в качестве репрезентирующего Иконический знак этого (essentially signifies what it does by representing itself to represent an Icon of it). Без анализа Сумисигнума этот момент должен остаться немного непонятным.

318. Теперь мы подошли к вопросу о том, обладает ли всякое предложение Субъектом и Предикатом. Выше было показано, что это справедливо относительно условного предложения; и легко видеть, что это равным образом справедливо относительно любого Дизъюнктивного предложения. Но обычное Дизъюнктивное предложение построено таким образом, что трудно предпочесть какой-то один способ его анализа. То есть высказывание «Или А, или В истинно» может равным образом рассматриваться как высказывание «Истинна реплика, которая не является истинной, если не является истинной никакая реплика А и не является истинной никакая реплика В», или как высказывание «Если реплика А не истинна, реплика В истинна», или как высказывание «Если реплика В не истинна, реплика А истинна». Это сводится к одному и тому же точно так же, как «Некоторые X суть Y», «Некоторые Y суть X» и «Нечто представляет собой как X, так и Y» сводятся к одному и тому же. Наиболее идеально полный анализ сводит всю сущность

Дицисигнума к Предикату. Копулятивное предложение даже еще более очевидным образом имеет Субъект и Предикат. Оно предицирует подлинно Триадическое отношение сосуществования трех сущностей: «P и Q и R сосуществуют». Ибо сказать, что и A, и B истинны, — это сказать, что существует нечто, что сосуществует как третье с истинными репликами A и B. Некоторые логики были так заметно предубеждены или ограниченны, что приводили латинские предложения fulget «сверкает (молния)» и lucet «светло» как примеры предложений без какого бы то ни было субъекта. Но как можно не видеть, что эти слова не передают вообще никакой информации без отсылки (обычно Индексальной, поскольку Индексом является общее окружение собеседников) к тем условиям, при которых утверждается, что сигнифицированные этими словами Первичности имеют место?

319. Предложение должно иметь актуальный Синтаксис, репрезентируемый как Индекс тех элементов репрезентируемого факта, которые соответствуют Субъекту и Предикату. Это наблюдается во всех предложениях. Со времени Абеляра было обычным делать этот Синтаксис третьей частью предложения под именем Связки. Исторической причиной возникновения этого представления в двенадцатом столетии было, конечно, то, что латинский язык того времени не позволял опускать глагол est, который обычно, хотя и не всегда, опускался в греческом языке и достаточно часто в классической латыни. Во многих языках такого глагола нет. Но ясно, что нельзя избежать потребности в Синтаксисе, рассматривая Связку как третью часть предложения; и проще сказать, что она представляет собой только случайную форму, которую может принимать Синтаксис.

320. Таким образом, было достаточно продемонстрировано, что все предложения соответствуют определению Дицисигнума и следствиям, выведенным из этого определения. Предложение, короче говоря, представляет собой Дицисигнум, который является Символом. Но Индекс также может быть Дицисигнумом. Портрет мужчины с подписанным под ним мужским именем определенно является предложением, хотя его синтаксис — это не синтаксис речи, и хотя портрет сам по себе не только репрезентирует Гипоиконический знак, но и является таковым. Но имя собственное так тесно приближается по своей природе к Индексу, что это могло бы быть достаточным для того, чтобы дать представление об информационном Индексе. Лучшим примером является фотография. Один лишь снимок сам по себе не передает никакой информации. Но то, что он фактически представляет собой срез лучей, проецируемых предметом, который известен и помимо снимка, превращает его в Дицисигнум. Каждый Дицисигнум, как это целиком учитывается системой Экзистенциальных Графов, представляет собой дальнейшее

определение уже известного знака того же самого объекта. Возможно, это было недостаточно выявлено в ходе данного анализа. Заметим, что эта связь между данным отпечатком, который является квазипредикатом фотографии, и срезом лучей, который является квазисубъектом, представляет собой Синтаксис Дицисигнума; и, подобно Синтаксису предложения, она представляет собой факт, относящийся к Дицисигнуму, рассматриваемому как Первое, то есть само по себе, независимо от того, что это знак. Каждый информационный знак, таким образом, содержит Факт, являющийся его Синтаксисом. В таком случае совершенно очевидно, что Индексальные Дицисигнумы равным образом соответствуют данному определению и следствиям.

321. Заметим, что это соответствие как для предложений, так и для информационных индексов совершенно не зависит от того, что они утверждаются, или от того, что с ними соглашаются. В анализах, предлагавшихся прежде, по-видимому, предполагалось, что отсутствие утверждения или по крайней мере согласия ведет к неотличимости предложения от составного общего термина — так что «Человек является высоким» в таком случае было бы сведено к «Высокий человек». Поэтому важно выяснить, не может ли определение Дицисигнума, которое, как мы обнаружили, применимо к первому (даже если оно не подвергается «суждению»), быть равным образом применимо и ко второму. Ответ не заставляет себя ждать. Чтобы полностью понять и усвоить символ «высокий человек», никоим образом не требуется понимать его как связанный, или претендующий на связь, с реальным Объектом. Поэтому его Интерпретанта не репрезентирует его как подлинный Индекс; так что определение Дицисигнума к нему не относится. Здесь невозможно полностью вдаваться в рассмотрение того, уделяет ли приведенный анализ достаточное внимание разграничению между предложениями и умозаключениями. Но легко видеть, что предложение специально предназначено для того, чтобы заставить Интерпретанту относиться к своему реальному Объекту, то есть репрезентирует само себя как Индекс, тогда как умозаключение предназначено не для принуждения, а для воздействия посредством общих концептов, то есть репрезентирует свой характер как собственно символический.

322. Вышесказанное представляет самый лучший анализ Дицисигнума, на который способен автор в настоящее время. Какими бы удовлетворительными ни могли показаться его основные пункты, в целом мало правдоподобно, чтобы он обошелся без бóльших или меньших поправок, хотя он и кажется в достаточной степени близким к истине. Можно сомневаться, относится ли он в полной мере ко всем видам предложений. Данное определение Дицисигнума естественным образом наводит на мысль, что Су-

мисигнум представляет собой любой Репрезентамен, Интерпретанта которого репрезентирует его как Иконический знак, и что Умозаключение, или Свадисигнум, представляет собой Репрезентамен, Интерпретанта которого репрезентирует его как Символ. Тщательное рассмотрение дает основания полагать, что все это похоже на правду, но пока не исключает сомнений относительно того, вся ли это правда...

§ 3. Дихотомии предложений

323. Индексальные Дицисигнумы, по-видимому, не имеют существенных разновидностей, но предложения обычно могут быть подразделены посредством первичной дихотомии различными способами. Во-первых, по *Модальности* или *Модусу* предложение может быть или *de inesse** (выражение, используемое в «Суммулах» Петра Испанского[6]), или *модальным*. Предложение de inesse рассматривает только существующее положение вещей — то есть существующее в логическом универсуме рассуждение (discourse)[7]. Модальное же предложение учитывает целый диапазон возможностей. Соответственно тому, утверждает ли оно нечто как истинное или ложное на всем диапазоне возможностей, оно *необходимо* или *невозможно*. Соответственно тому, утверждает ли оно нечто как истинное или ложное в пределах этого диапазона возможностей (не включая и не исключая явным образом существующего положения вещей), оно *возможно* или *случайно* (contingent). (Все эти термины заимствованы у Боэция.)

324. Субъект предложения бывает *Единичный, Общий* или *Абстрактный*. Он является единичным, если указывает на индивидуальный Объект, известный до этого указания. Он является общим, если описывает, как должен быть выбран заданный объект. Общий субъект бывает (как обычно признается) либо *Универсальным*, либо *Частным* (Particular) и *Неопределенным*. (Последние три термина можно найти у Апулея[8], современника Нерона. Но автор настоящей работы не принимает во внимание лишенное смысла разграничение между неопределенным и частным.) В литературе можно встретить запутанное учение относительно этих терминов, в частности мнение, что некоторые виды универсальных предложений утверждают существование своих субъектов. Автор, напротив, считает все универсальные предложения сходными в том, что они не содержат подобного утверждения. Таким образом, *универсальный* субъект — это субъект, указывающий на то, что предложение имеет в виду любой удовлетворяющий общему описанию индивидуальный объект, который есть или мог бы быть в универсуме, не утвер-

* По присущности *(лат.)*. — *Прим. ред.*

ждая ничего о существовании какого-либо из таких объектов. *Частный* субъект — это субъект, который не указывает на то, какой индивидуальный объект имеется в виду, давая только его общее описание, но который содержит явные указания на существование по крайней мере одного такого объекта. Порядок, в котором идут Универсальный и Частный субъекты, существен. Так, в предложении Some woman is adored by whatever Spaniard may exist («Некую женщину обожает любой испанец, который только может существовать»)* первый субъект some woman «некоторая женщина» — Частный, а второй whatever Spaniard may exist «любой испанец, который только может существовать» — универсальный. Но предложение Whatever Spaniard may exist adores some woman («любой испанец, который только может существовать, обожает какую-нибудь женщину») имеет те же самые субъекты в обратном порядке и, таким образом, имеет другое значение. Вполне мыслимо, что субъект описывается таким образом, что не является ни Универсальным, ни Частным; как, например, в *эксцептивных* (исключающих) предложениях («Суммулы») вроде «Все люди, кроме одного, грешники». То же самое можно сказать о всех видах числовых предложений, например «Любое насекомое имеет четное число ног». Но такие субъекты можно рассматривать как Частные Множественные Субъекты. Примером Универсального Множественного субъекта было бы «Любые два человека, запертые вместе, поссорятся». Множество логически является индивидуальным объектом. Разграничение Универсальных и Частных субъектов содержательно, а не только формально; и оно, по-видимому, имеет (как это считалось и в Средние века) в основном ту же природу, что и разграничение Необходимых и Возможных предложений.

325. Не менее важно разграничение *Гипотетических*, *Категорических* и *Относительных* предложений. По крайней мере последний тип имеет некоторые существенные отличия от других.

326. Разграничение между *Утвердительными* и *Отрицательными* предложениями является чисто формальным. Процесс *инфинитации* (это выражение впервые было употреблено Абеляром[9], и до сих пор используется во всех западных языках), заключающийся в прибавлении к некоторому термину префикса *не-*, превращает предложение из отрицательного в утвердительное, или так называемое *Инфинитное (Бесконечное)*, предложение. Различие между отрицательным и бесконечным предложением не больше, чем между латинскими non est и est non, не отличающимися по смыслу. Socrates non est mortalis «Сократ не есть смертен» — обычная ферма; Socrates est non mortalis «Сократ есть не смертен» может быть

* Ввиду несовпадения в этом примере его русского перевода и логической записи, пример дается не в кавычках, а как английская фраза. — *Прим. ред.*

сказано равным образом. Следует иметь в виду, что занятия логикой иногда привлекали людей весьма незрелого ума, что и в настоящее время еще имеет место.

327. Наконец, каждое предложение или *истинно,* или *ложно.* Оно ложно, если из него (без помощи каких-либо ложных предложений) можно правильно вывести любое предложение, которое противоречило бы непосредственным чувственным показаниям, если таковые могут найтись. Предложение истинно, если оно не ложно. Следовательно, полностью бессмысленные предложения, если они вообще могут быть названы предложениями, должны быть отнесены к истинным предлежениям.

§ 4. Прагматическая интерпретация логического субъекта

328. Любой символ, который может быть прямой составляющей (a direct constituent) предложения, называется термином (terminus у Боэция)[10]. Когда логики говорят, что категорическое предложение имеет два термина: субъект и предикат, — то, по небрежности выражения или копируя Аристотеля[11], они наталкиваются на истину. Их обычная доктрина (хотя это часто не формулируется в одном тезисе) состоит в том, что предложение содержит три термина: субъект, предикат и связка (Абеляр)[12]. Правильным обозначением для субъекта и предиката будет, в соответствии с их учением, *крайние члены* (extremes), что является переводом того же греческого слова, что и *термин* (ὅρος)* . В таком учении связка считается единственным глаголом, а все остальные термины — или собственные имена, или общие имена классов (class-name). Автор настоящей работы считает связку неотъемлемой частью имени класса, так как это дает наиболее простое удовлетворительное описание предложения. Оказывается, что в подавляющем большинстве языков нет общих имен класса и прилагательных, которые не мыслились бы как части некоторого глагола (даже когда реально такого глагола нет), и, следовательно, для образования предложений в таких языках не требуется ничего подобного связке. Автор (отнюдь не желая выдавать себя за лингвиста) держал в руках грамматики многих языков в поисках языка, построенного по тому же образцу, по которому, как нас всячески пытаются уверить логики, построено мышление всех людей (причем, если бы даже они таким образом и мыслили, это не имело бы никакого отношения к логике). Ему удалось найти единственный подобный язык — баскский, в котором, кажется, есть всего два или три глагола, а все прочие основные слова понимаются как существительные. В каждом языке должны быть собственные имена; а в собственном имени не содержится никакой глагол.

* Букв. «предел». — *Прим. ред.*

Это, как будто, могло бы навести на мысль, что так обстоит дело с подлинными нарицательными именами, а также с прилагательными. Но несмотря на возможность такого предположения, люди в подавляющем большинстве случаев представляют себе общие слова как части глаголов. Это, по-видимому, опровергает психологию логиков.

329. Собственное имя, когда с ним встречаются в первый раз, экзистенциально связано с некоторым восприятием или с иным эквивалентным индивидуальным знанием индивидуального объекта, который этим именем называется. Тогда, и только тогда оно является подлинным Индексом. Когда с ним встречаются следующий раз, оно рассматривается как Иконический знак этого Индекса. Повседневное знакомство с именем делает его Символом, Интерпретанта которого репрезентирует его как Иконический знак Индекса называемого Индивидуального объекта.

330. Если вы заглянете в учебник химии в поисках определения лития, вы, возможно, обнаружите, что это элемент, атомный вес которого очень близок к семи. Но если у автора более логический склад ума, то он сообщит вам, что вам следует искать среди минералов, стекловидных, прозрачных, серых или белых, очень твердых, хрупких и нерастворимых, такой, который придает малиновый оттенок несветящемуся пламени; этот минерал, растертый в порошок вместе с известью или с так называемым крысиным ядом и расплавленный, может быть частично растворен в соляной кислоте; если этот раствор выпарить и осадок с помощью серной кислоты должным образом очистить, то обычными методами он может быть обращен в хлорид; если этот хлорид получить в твердом виде, расплавить и подвергнуть электролизу с помощью полудюжины мощных элементов, то образуется шарик розового, серебристого металла, который будет плавиться на газолиновой горелке; вот это вещество и есть образчик лития. Особенность этого определения — или, скорее, этого предписания, что более полезно, чем определение, — состоит в том, что оно говорит вам, что́ обозначает слово «литий», предписывая, что вы должны *делать*, чтобы получить чувственное (perceptual) знакомство с объектом слова. Каждый субъект предложения, если только это не Индекс (подобно окружению собеседников или чему-то в этом окружении, привлекающему внимание, как, например, указующий перст говорящего) или Субиндекс (подобно собственному имени; личному или указательному местоимению), должен быть *Предписанием* (Precept) или Символом, который не только дает интерпретатору описание того, что должно быть сделано им, или другим, или всеми вместе, чтобы получить Индекс индивидуального объекта (будь то единица или единый набор единиц), относительно которого данное предложение репрезентируется как истинное, но который, кроме того, присваивает некоторое обозначение

этому индивидуальному объекту или, если это множество, каждой отдельной единице этого множества. Пока мы не найдем лучшего обозначения, такой термин может быть назван Предписанием. Таким образом, Субъект предложения «Любой испанец, который только может быть, обожает какую-нибудь женщину» может быть лучше всего истолкован следующим образом: «Возьмем любой индивидуальный объект A в универсуме, тогда найдется некоторый индивидуальный объект B в универсуме, такой, что A и B в данном порядке образуют диаду, относительно которой верно следующее», а именно Предикат: «___либо не испанец, либо обожает женщину, которая есть___».

331. Любой термин, который подходит для того, чтобы быть субъектом предложения, может быть назван *Онома*. Категорематический термин (у Дунса Скота, но, вероятно, еще раньше) — это любой термин, который подходит для того, чтобы быть субъектом или предикатом предложения. Синкатегорематический Термин, или Синкатегорема («Суммулы»)[13], — это Символ, который участвует в образовании Категорематического Термина. Связка, по-видимому, имеет двойственный характер, не будучи ни категорематическим, ни синкатегорематическим...

§ 5. Природа утверждения

332. Рассмотрим теперь, в чем состоит сущность *утверждения*. Я могу здесь только повторить, хотя в улучшенной форме, те положения спекулятивной грамматики, которые я впервые сформулировал в 1867 г.[14]. С тех пор, по мере продвижения моих философских занятий, я был много раз вынужден серьезно усомниться в своей теории и подвергнуть ее строгой и основательной проверке. Каждая проверка, хотя и вела к некоторой более или менее значительной модификации, тем не менее снова реабилитировала в моих глазах то, в чем я был готов усомниться. Я полагаю, что теперь я могу сформулировать мою теорию достаточно удовлетворительным образом. В то же время я воспользуюсь случаем, чтобы признать и объяснить погрешности предыдущих формулировок.

333. В анализе утверждения нам придется использовать рассуждения двоякого рода. С одной стороны, мы можем непосредственно наблюдать то, что нам хорошо известно относительно утверждений из опыта и кажется от них неотделимым. Профессор Шредер (S c h r ö d e r) называет это риторической очевидностью; и это обозначение удачно, так как рассматриваемая аргументация имеет характерные черты выводов, которые древние логики называли риторическими. Этот термин гармонирует, кроме того, с термином *спекулятивная риторика*, употребляемым мною в качестве назва-

ния самой высокой и самой живой отрасли логики. Лично мне это обозначение, может быть, дает такого же рода удовлетворение, какое обнаруживали многие научные школы, заимствуя наименования, изобретенные их противниками в качестве уничижительных. Ибо, хотя профессор Шредер не может не признать значение и необходимость данной аргументации, чувствуется, что к его общей положительной оценке примешивается легкий оттенок неодобрения по поводу ее неоспоримого формального несовершенства. Для меня именно это несовершенство является показателем того, что рассуждение исходит как раз из тех источников наблюдения, откуда следует черпать все справедливые рассуждения; и я много раз отмечал, что в истории философии аргументация, которая была в известной мере темной и формально несовершенной, часто доходила до наибольших глубин. Другой вид рассуждений, применяемый мною при анализе утверждений, — это выведение того, какими должны быть составные части утверждения, из принимаемой мною теории, согласно которой истина состоит в окончательном убеждении — принуждении (compulsion) исследующего разума. Это выводится систематическим образом, но это только часть метода, ибо после того как заключения, или квазипредсказания, выведены дедуктивным путем из теории, необходимо обратиться к свидетельствам риторической очевидности и посмотреть, подтверждаются ли сделанные выводы опытом. Если мы обнаружим, что подтверждаются, то не только получим доказательства того, что анализ утверждения является всесторонним, но более вероятной сделается и теория истины.

334. В каждом утверждении мы можем различить говорящего и слушающего. Правда, существование последнего может быть проблематическим, как, например, в том случае, когда при кораблекрушении описание аварии запечатывают в бутылку и бросают в воду. Проблематический «слушающий» может объединяться с «говорящим» в одном и том же лице, как происходит, например, когда мы пытаемся точно зарегистрировать в своем уме суждение, чтобы вспомнить его позднее. Если бывает какой-либо акт суждения, независимый от какой бы то ни было регистрации, и если он имеет какой-либо логический смысл (что спорно), мы можем сказать, что в этом случае слушающий становится тождественным с говорящим.

335. Утверждение состоит в предоставлении слушающему со стороны говорящего свидетельств в том, что говорящий полагает нечто, то есть находит некоторое представление о некоторых обстоятельствах неотразимо убедительным (принудительным). Поэтому в каждом утверждении должно быть три части: знак того, что имеет место принуждение к представлению, знак самого принудительно возникающего представления и знак, свидетельствую-

щий о принуждающем характере воздействия, которое испытывает говорящий постольку, поскольку он отождествляет себя с научным познанием.

336. Поскольку убеждение-принуждение бывает по самой своей природе hic et nunc*, то обстоятельства такого принуждения могут репрезентироваться для слушающего только принуждением его к принятию опыта относительно этих самых обстоятельств. Следовательно, необходимо, чтобы был тип знака, который будет динамически воздействовать на внимание слушающего и направлять его на определенный объект или событие. Такой знак я называю Индексом. Правда, вместо простого знака этого типа может выступать предписание, описывающее, как должен действовать слушающий, чтобы приобрести опыт с обстоятельствами, к которым относится утверждение. Но так как это предписание говорит ему, как он должен действовать, и так как действовать и подвергаться действию это одно и то же и, таким образом, действие бывает также hic et nunc, то предписание само должно использовать Индекс или Индексы. То, на что индекс направляет внимание, можно назвать субъектом утверждения...

337. Никаким описанием нельзя отличить реальный мир от воображаемого мира. Часто спорили о том, был ли Гамлет сумасшедшим или нет. Это иллюстрирует необходимость *указывать*, что имеется в виду реальный мир, если он имеется в виду на самом деле. Однако реальность целиком динамична, а не квалитативна. Она состоит в принудительной силе. Только динамический знак может отличить ее от вымысла (fiction). Правда, никакой язык (насколько мне известно) не имеет особой формы речи, которая бы показывала, что речь идет о реальном мире. Но в этом и нет необходимости, так как интонация и мимика достаточны, чтобы показать, что говорящий говорит серьезно. Соответствующие интонация и мимика динамически воздействуют на слушающего и направляют его внимание на действительность. Поэтому они представляют собой индексы реального мира. Таким образом, не остается никакого класса утверждений, которые не содержат индексов, если только речь идет не о логическом анализе и предложениях тождества. Но логический анализ будет неправильно понят, а предложения тождества сочтены бессмысленными, если не понимать их как относящиеся к миру терминов или понятий; а этот мир, как фиктивный мир, требует индекса, чтобы его можно было отличить. Поэтому остается фактом, как это было провозглашено теорией, что частью каждого утверждения должен быть по крайней мере один индекс.

338. Обстоятельства или объекты, обозначаемые посредством индексов, я называю субъектами утверждения. Но они не будут

* Здесь и сейчас (*лат.*). — *Прим. ред.*

совпадать с объектами, обозначаемыми посредством грамматических подлежащих. Логики всегда подчинялись обычаю рассматривать предложения только (или главным образом) после того, как они выражены в определенных стандартных, или канонических, формах. Рассматривать их точно в том виде, как они выражены в том или ином языке (как это делают Гоппе [H o p p e] и некоторые другие), — значит превращать логику в филологическую, а не философскую дисциплину. Однако на выбор канонических форм оказала влияние структура ограниченного класса языков, что, я полагаю, свело философию с правильного пути. То, что называют подлежащим, — это существительное в именительном падеже, хотя, даже в нашей относительно небольшой семье индоевропейских языков, можно найти несколько таких, в которых существительное ставится в одном из косвенных падежей в тех случаях, когда в латинском, греческом и в современных европейских языках оно стоит в именительном падеже. Таковы ирландский и гаэльский. Кроме того, в роли индекса не всегда выступает имя существительное. Индекс может быть, как мы видели, простым взглядом или жестом. К тому же он может быть так замаскирован, что нельзя будет с уверенностью сказать, является ли он вообще индексом. И здесь нам едва ли поможет, если мы обратимся к значению утверждения; потому что в таких случаях трудно сказать точно, какое значение имеет данное утверждение. Так, в утверждении «Все люди смертны» мы можем сказать, что субъектом является «каждый человек», или можем сказать, что субъект — это «множество людей», или что «каждый человек» и «некоторый из смертных» — два субъекта, или что субъект — это «всё» (а предикат — «или не человек, или смертен»), или что «все» и «человечество» и «смертность» — это три субъекта, и еще есть сотня других возможностей. Но если желательно, чтобы была принята одна каноническая форма, то самым лучшим правилом было бы употреблять отдельный индекс для всего, что неразличимо с логической точки зрения. То есть в данном случае считать индексом «все», «человечество» и «смертность».

339. Каждый субъект, когда индекс указывает на него непосредственно, как в словах «человечество» и «смертность», является единичным. В противном случае предписание, которое можно назвать квантором субъекта, предписывает, каким образом субъект должен быть выбран из множества, называемого его универсумом. В логике вероятностей кванторы — такие, как «девять из десяти» и т. п., — относятся к опытным данным за достаточно «длительные отрезки времени». Но в логике необходимости не учитывается опыт такого рода и требуются только два квантора: *квантор общности* (the universal quantifier), который разрешает выбрать из универсума любой объект, безразлично какой, и *квантор существования* (the particular quantifier), который предписывает, что должен быть выб-

ран подходящий объект. Когда есть несколько квантифицируемых субъектов и кванторы различны, то существен порядок, в котором они выбраны. Именно свойства квантора того субъекта, который *выбран последним*, распространяются на все предложение. (В прежних формулировках этот последний момент был для меня не ясен.) Хотя никакие другие кванторы, помимо этих двух, не являются необходимыми, можно достичь много большего, нежели просто удобной и краткой записи, используя также два других «гемилогических» («полулогических», hemilogical) квантора, из которых один позволяет выбрать из универсума любой объект, *кроме одного*, а другой ограничивает свободу выбора одним или другим из подходящих двух. Прежде всегда предполагалось, что универсум логического субъекта представляет собой дискретное множество, так что субъектом является индивидуальный объект или обстоятельство. Но в действительности универсум может быть континуумом, так что не существует никакой части его, относительно которой все было бы непременно или целиком истинно, или целиком ложно. Например, невозможно найти такую часть поверхности, которая была бы целиком одного цвета. Даже точка на этой поверхности может одновременно принадлежать трем или более частям, окрашенным в разные цвета. Но логика непрерывных универсумов ожидает исследования..

340. В 1867 г. я определял символ как любой общий репрезентамен, и это было верно. Но сразу после этого я пошел по традиционному пути, разделив символы на *термины**, *предложения* и *умозаключения*, имея в виду, что термины не содержат никакого ассерторического элемента, и это было ошибкой, хотя это деление само по себе не столько неправильно, сколько несущественно. Впоследствии, обратив внимание на то, что я отнес естественные симптомы как к классу индексов, так и к классу символов, я ограничил символы конвенциональными знаками, что было еще одной ошибкой. Я думаю, что моя статья 1867 г. была — с логической точки зрения — наименее неудовлетворительной из всего, что мне удалось написать; и долго потом большая часть модификаций, которые я пытался внести, только уводили меня еще дальше по неправильному пути.

341. Поскольку каждый символ включает утверждение или зачаточное утверждение, он является общим (general) в том смысле, в каком мы говорим об общем знаке. Это значит, что предикат представляет собой общий знак. Даже когда мы говорим: «Боз был Чарльз Диккенс», — мы подразумеваем: «Боз был тем же, что и

---

* В оригинале здесь и далее употреблено слово term, которое соответствует русским *терм* и *термин*, первым соответствием term — *терм* пришлось пожертвовать. — *Прим. ред.*

Чарльз Диккенс», а тождество есть общее, а именно гемилогическое, отношение. Ибо предикат имеет идеальный характер, и в качестве такового не может быть простой «этостью» (hecceity)*. В действительности в предложении «Боз есть Чарльз Диккенс» Субъекты — это «Боз» и «Чарльз Диккенс», а предикат — «тождествен с». Далее, каждый общий знак, т. е. «термин», включает по крайней мере зачаточное утверждение. Ибо чем мы полагаем «термин» или «имя класса»? Это есть нечто, что означивает (сигнифицирует), или, используя вызывающую возражения терминологию Дж. С. Милля «коннотирует», определенные свойства и тем самым обозначает (денотирует) все, что обладает этими свойствами. Иначе говоря, «термин» направляет наше внимание на представление, или мысленное построение, или диаграмму чего-то, что обладает этими свойствами, и представление об обладании этими свойствами сохраняется в сознании. Что это означает, как не то, что слушающий говорит сам себе: «То, что находится *здесь* (предмет внимания), обладает такими-то и такими-то свойствами»? Это может быть не вполне предложением или полностью утверждением, так как слушающий не говорит сам себе, что представляет собой находящееся «здесь», потому что объект внимания в этом случае есть не более чем произведение мысли. Это по крайней мере не утверждение о реальном мире. Но тем не менее тут содержится ассерторический элемент, мысленная связка. Когда слушающий слышит слово «свет», он начинает создавать в уме соответствующий образ и проходит через тот же мыслительный процесс, который приписывается Элохиму в первой главе Бытия: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош», — то есть, что свет был, действительно, именно тем, что предполагалось создать. Это сводится к тому, чтобы сказать: «Это свет!». Пока не осуществлен этот процесс, название не возбуждает в сознании слушающего никакого значения. Но я возражаю против триады: *термин, предложение, вывод,* если ее считать важнейшей в логике. Ведь общие имена (нарицательные существительные или их эквиваленты), которые подразумеваются под терминами, — это не более чем случайные грамматические формы, которые по стечению обстоятельств выдвинулись на главные роли в наиболее знакомых нам языках, но которые едва ли существуют или по крайней мере играют далеко не такую значительную роль в огромном большинстве языков и, в сущности, должны были бы игнорироваться спекулятивной грамматикой. Действительно, абсурдно возводить эту ненужную часть речи в ранг логической формы и оставлять непредставленными необходимые

* Слово *этость* от *этот* употребляется в русской философской традиции для обозначения индивидуальности предмета, его конкретной данности (в соответствии с лат. haecceitas от haec жен. род слова hic «этот»). — *Прим. перев.*

предлоги только потому, что в индоевропейских языках последним часто соответствуют окончания.

342. В то же время следует признать, что предложение «Пусть *l* будет свет», или, что то же самое, «*l* есть свет», где *l* никаким иным образом не определяется, представляет собой только утверждение относительно непостоянной идеи, значительно менее развитое, нежели предложение «Гамлет был сумасшедшим», которое связывается с великим произведением, более прочным, чем бронза. Устраним из любого предложения его квантифицирующие знаки, и останется именно такое неразвитое выражение. Удалим квантор из предложения «Все люди смертны», или, что то же самое, «Любое нечто или не является человеком, или является смертным», и получим «*X* или не человек, или смертен». Удалим квантор из предложения «Все* имеет какую-то причину», или, что то же самое, «Пусть А — что угодно; тогда существует нечто, В, такое, что В является причиной А», и получится «В является причиной А». Такие рудиментарные утверждения — утверждения по форме, но лишенные субстанции, — в точности выражают значение логических терминов. В этом смысле мы можем сказать, что в каждом предложении столько терминов, сколько в нем квантифицируемых субъектов. Иной характер имеют единичные субъекты. Каждый термин является единичным, но неопределенным. В соответствии с характером своего предиката он может быть утвердительным или отрицательным.

343. Связка отличается от субъектов и предиката тем, что она чисто формальна и не имеет никакого специального содержания или сложности. Несомненно, это потому, что мы предпочитаем провести границы между различными частями предложения таким образом, чтобы для связки не осталось никакого содержания; но ведь есть веские доводы для того, чтобы провести эти границы именно так.

§ 6. Рудиментарные предложения и умозаключения

344. Закончив, таким образом, анализ утверждения, я приступаю теперь к тому, чтобы кратко продемонстрировать, что почти в том же смысле, в каком термин представляет собой зачаточное предложение, предложение в свою очередь есть зачаточное умозаключение. Термин — это предложение с субъектами, лишенными принудительной силы. Лишите предложения из некоторого умозаключения их ассертивности, и результатом будет утверждение. Так, умозаключение:

∴ Енох был человек,
∴ Енох был смертен,

* Буквальный перевод показал бы тождество этого предложения предыдущему: «Любое нечто...». — *Прим. ред.*

становится, если мы перестанем утверждать эти предложения, утверждением:

Если Енох был человек, то Енох был смертен.

Таким образом, верно по крайней мере обратное; и каждое таким образом «выпотрошенное» умозаключение является предложением.

345. Но теперь являются немецкие логики почти в полном своем составе, и среди них профессор Шредер, и провозглашают, что гипотетические предложения и категорические предложения существенно отличаются друг от друга[15]. Под гипотетическим предложением подразумевается — в соответствии с той точной традиционной терминологией, которую логика имела счастье унаследовать, — любое предложение, составленное из предложений. Де Морган[16] столь обстоятельно исследовал логические комбинации, что знакомство с его работой дает нам возможность сразу утверждать, что есть шесть разновидностей простых гипотетических предложений, выстраивающихся по двум родам; а объяснения К. Лэдд-Франклин и ее мужа[17] показывают, что сложные гипотетические предложения, имеющие два члена, исчисляются десятками тысяч. Простые разновидности суть следующие:

Род I. *Отрицательные простые гипотетические предложения* (не утверждающие и не отрицающие ни один из членов гипотетического предложения).

Разновидность 1. *Условные предложения.* Если гремит гром, идет дождь.

Разновидность 2. *Дизъюнктивные предложения.* Или гремит гром, или идет дождь.

Разновидность 3. *Предложения несовместности (Репугнациальные).* Гром и дождь не могут быть одновременно.

Род II. *Утвердительные простые гипотетические предложения* (или утверждающие, или отрицающие каждый из членов гипотетического предложения).

Разновидность 1. *Предложения независимости (Индепенденциальные).* Гремит гром, но не идет дождь.

Разновидность 2. *Конъюнктивные предложения.* И гремит гром, и идет дождь.

Разновидность 3. *Терциальные предложения.* Нет ни грома, ни дождя.

346. Большинство этих простых разновидностей выделялись в качестве гипотетических средневековыми логиками. Но Кант, который пришел к убеждению, что должно быть по три класса предложений, по каждому логическому принципу деления[1], выделил категорические предложения в один класс, и отнес первые две разновидности отрицательного рода простых гипотетических предложений к двум своим другим классам. Но он назвал условные предложения гипотетическими предложениями, ограничив этот термин

таким образом, как его, собственно, уже ограничивали некоторые логики. Арсенал Канта был недостаточным для того, чтобы составить таблицу «Функций суждений». Даже Ламберту, величайшему формальному логику, не удалось справиться с этой задачей; этого не могли сделать даже Кант и Ламберт вместе, объединившись в один могучий интеллект. Кант даже не уделил этой задаче времени, достаточного для того, чтобы получить представление о ее важности. Но последующие немецкие логики, блуждающие без какого-либо точного метода по всем периодам и занимающиеся всеми вопросами, слишком уважающие общепринятые предрассудки, академичные и пристрастные в своих мнениях, приняли триаду категорических, гипотетических и дизъюнктивных предложений — частично потому, что она казалась удобной с метафизической стороны, а частично потому, что у них не было никакого метода, который бы мог настоятельно потребовать отказа от какого-либо взгляда, официально ими проповедовавшегося. Но профессор Шредер, будучи точным логиком, все же не мог принять эту триаду. Тем не менее он считает категорические предложения по существу отличными от всех гипотетических предложений в широком смысле слова. Вышеприведенный анализ термина, поскольку он рассматривает термин как предложение, рассматривает категорические предложения как сложные, или гипотетические, предложения. Но мы не можем пройти мимо обдуманного мнения такого мыслителя, как Шредер, без более подробного рассмотрения...

347. Квантифицируемый субъект гипотетического предложения представляет собой *возможность*, или *возможный случай, или возможное положение вещей*. В самом простом смысле то, что является возможным, представляет собой гипотезу, относительно ложности которой на некотором данном уровне осведомленности нельзя с достоверностью судить. Предполагаемым уровнем осведомленности может быть действительный уровень знаний говорящего, либо большее или меньшее количество информации. Таким образом возникают разные виды возможности. Все эти разновидности возможности являются *игнорантными**, или *отрицательными. Положительная* возможность возникает тогда, когда наше знание таково, как оно репрезентируется дизъюнктивным предложением: или A, или B, или C, или D и т. д. истинно. A, B, C, D и т. д. являются в таком случае положительно возможными случаями. Так, при игре в трик грак имеется двадцать один возможный исход метания кости на каждую игру. Совокупность положительно возможных случаев представляет собой диапазон или *универсум возможности*. Высказывающий гипотетическое предложение не обязательно обладает положительным дизъюнктивным знанием; но, во всяком случае, он может произвес-

* От лат. ignorans «не знающий, не имеющий сведений». — *Прим. ред.*

ти логическую дизъюнкцию, которая необходимо будет истинна. Квантифицируемый субъект может быть или универсальным (общим) или специфическим (частным). Частноотрицательные и общеутвердительные простые гипотетические предложения будут иметь другой и более простой характер, нежели простые гипотетические предложения, являющиеся общеотрицательными и частноутвердительными. Это показывает следующая таблица.

Частноотрицательные гипотетические предложения

Условные. Не может греметь гром, или может идти дождь.
Дизъюнктивные. Может греметь гром, или может идти дождь.
Репугнанциальные. Не должен греметь гром, или не должен идти дождь.

Общеутвердительные гипотетические предложения

Индепенденциальные предложения. Должен греметь гром и не может идти дождь.
Конъюнктивные предложения. Должен греметь гром и должен идти дождь.
Терциальные предложения. Не может греметь гром и не может идти дождь.

Общеотрицательные гипотетические предложения

Условные предложения. Во всяком возможном случае, в котором должен был бы греметь гром, шел бы дождь.
Дизъюнктивные предложения. Во всяком возможном случае или гремит гром, или идет дождь.
Репугнанциальные предложения. Ни в каком возможном случае одновременно не будет греметь гром и идти дождь.

Частноутвердительные гипотетические предложения

Индепенденциальные предложения. Может греметь гром без дождя.
Конъюнктивные предложения. Может греметь гром и идти дождь одновременно.
Терциальные предложения. Может быть так, что не будет ни греметь гром, ни идти дождь.

348. Во всяком вполне развитом* гипотетическом предложении имеется некоторый диапазон возможностей. Из этого предложение извлекает свою характеристику. Но последователи Филона[19] утверждают (а последователи Диодора обычно допускают), что анализ должен начинаться с *consequentia simplex de inesse,* то есть с того, чем становится условное предложение, приобретая безусловную силу (omnipotence). Другими словами, мы должны начать с того,

* В контексте Пирса этот термин противопоставляется данному выше термину *рудиментарный. — Прим. ред.*

чтобы снять квантификацию и рассматривать *единичные* гипотетические предложения. Когда мы сделаем это, условное предложение (согласно учению Филона) приобретает вид: «В этом случае или не гремит гром, или идет дождь». Если мы не говорим об этом случае ничего, кроме того, что это некоторая предполагаемая возможность, единичное гипотетическое предложение становится термином (термом). «В предполагаемом мною случае или не гремел бы гром, или шел бы дождь» сводится к: «Рассмотрим случай, в котором или не гремит гром, или идет дождь», или к: «Случай либо наличия дождя, либо отсутствия грома». Последние два выражения отличаются с точки зрения акциденциального синтаксиса известных языков, но они не различаются по значению.

349. В статье, которую я опубликовал в 1880 г.[20], я дал несовершенное описание алгебры связки. Я там говорил со всей определенностью о необходимости квантифицировать возможный случай, к которому относится условное или индепенденциальное предложение. Но поскольку мне не были в то время известны знаки квантификации, алгебру которых я разработал позднее[21], основная часть главы трактовала о простых следствиях de inesse [. . .].

352. [...]* Замечу прежде всего, что предложение не перестает быть истинным из-за того, что оно не имеет смысла. Предложение ложно тогда, и только тогда, когда нечто, что оно или утверждает явным образом, или имплицирует, ложно; а всякое предложение, не являющееся ложным, истинно, согласно принципу исключенного третьего. Следовательно, нечто, не являющееся утверждением, но рассматриваемое как утверждение, является истинным. Поэтому мы можем отложить в сторону вопрос об истинности и ложности и задаться вопросом, верно ли, что гипотетическое предложение может не иметь смысла, а категорическое не может. В действительности бессмысленности так легко принимают форму категорических предложений, что языковой узус принял их и придал им значение. «То, что я вам говорю, правда» и «Человек есть человек» представляют собой изречения, которые мы часто слышим, хотя они, строго рассуждая, лишены смысла. Одним из примеров предложения, не имеющего смысла, у профессора Шредера является предложение «Это предложение не истинно». Но легко показать, что оно содержит противоречие, то есть подразумевает две противоречащие друг другу вещи. Поэтому оно подразумевает, или значит, нечто. Внутренне противоречивое предложение не является незначимым; оно значит слишком много. [То есть означает как p, так и не-p. См. 383.] Но если профессор Шредер имеет в виду сказать, что категорическое предложение не может быть внутренне про-

* Мы опустили небольшую часть текста Пирса, содержащую его полемику со Шредером. — *Прим. ред.*

тиворечивым, это равным образом несостоятельно. «А есть не А» опровергает это.

353. Общие Имена (нарицательные) обыкновенно используются для обозначения «чувственно воспринимаемых предметов» («sensepercepts»), тогда как являющиеся фразами части гипотетических предложений обычно используются для обозначения ситуаций, которые иногда имеют место или происходят. Одно обозначает объект, другое — событие, на которые направлено внимание. Между ними имеется психологическое различие. Но в логике не следует проводить разграничений, которые не могут вести к различению между хорошими и плохими умозаключениями. Для целей логики не имеет никакого значения, каким психологическим воздействием остановлено внимание. Когда потребуется произвести анализ непрерывного логического универсума-континуума, возможно, будет показано, что следует проводить логическое разграничение между таким универсумом и дискретным универсумом; и возможно, немного более естественно связывать непрерывный универсум с гипотетическими предложениями, нежели с категорическими. Тем не менее в очень многих случаях универсум гипотетических предложений является дискретным; и очень во многих случаях универсум категорических предложений непрерывен, как в приведенном выше примере с раскрашенной поверхностью.

354. Есть много языков, в которых простейшие утверждения, которые мы делаем в категорической форме, принимают — насколько мы можем понимать психические процессы — гипотетическую форму. Один из таких языков — некоторое знание которого не является чем-то исключительным и достаточно для того, чтобы исследователь проник в дух этого языка — древнеегипетский. В этом языке не многие слова отчетливым образом представляют собой общие (нарицательные) имена. Каждое общее слово вызывает изобразительное представление. Даже для современного исследователя изобразительная идеограмма становится важной составной частью возбуждаемого словом представления; влияние иероглифического письма, способов выражения и т. п. состоит в том, чтобы сделать «соединение изображений» особенно выразительным при описании соответствующего представления. Наше слово «есть», связка, обычно выражается в древнеегипетском посредством указательного местоимения. Очевидно, что это указательное местоимение в подобных предложениях функционирует как относительное местоимение. Где в таких предложениях глагол? Мы чувствуем, что он содержится в словах общего характера. Короче говоря, «Человек смертен» выражается в древнеегипетском в форме, которая представляет следующий психологический процесс мышления: «То, о чем говорится, есть человек, о котором то, что говорится, есть смер-

тность». Это в точности тот способ, которым та же самая идея передается в моей общей алгебре логики, где, обозначив человека как h, а смертный как d, я записываю:

$$\pi_i h_i \prec d,$$

то есть для всякого индивидуального объекта справедливо, что, если он человек, он смертен; или для всех случаев справедливо, что то, что является человеком, смертно.

Данная форма равным образом годится для универсального категорического предложения или для условного предложения, а то, что вид связи i с h и d кажется несколько различным в этих двух случаях с психологической точки зрения, не должно влиять на логическую классификацию.

355. Но читатель возразит, что, даже если принять мое утверждение о том, что гипотетические предложения охватывают все предложения, я все же далеко не доказал, что, наделив его члены ассертивностью, мы превращаем его в процесс умозаключения. Я показал это, если это вообще мне удалось, только для случая универсальных условных предложений. Но это не мало. Сама идея логики заставляет логика принять понятие вывода, а вывод заключает в себе представление о необходимом выводе, необходимый же вывод заключает в себе представление об универсальном условном предложении.

356. Остается показать, каким способом, по моему мнению, должны развиваться представления о других формах предложений; и это будет содержанием главы, касающейся того, что я назвал «спекулятивной риторикой». Я начну с замечания, что я использую знак $\prec$ как знак включения. Я полагаю, что я первым показал в 1867 г., что Булева алгебра, как она была оставлена Булем, не годилась для выражения частных предложений. Развивая дальше эту идею, я показал в 1870 г., раньше, чем кто-либо другой, что в логике нужен знак, соответствующий знаку $\leq$, но что этот знак является неудовлетворительным, так как подразумевает, что данное отношение представляет собой комбинацию отношений, выражаемых посредством знаков $<$ и $=$, тогда как на самом деле, как это было мною продемонстрировано, оно является более простым, нежели любое из них. Поэтому я предложил заменить знак $\leq$ знаком $\prec$, по крайней мере в логике. Предложенный мною знак имеет то преимущество, что он не доставляет затруднений при наборе, а его рукописная форма быстро чертится двумя черточками. Вследствие моего приоритета следует сохранить предложенный мною знак таким, каков он есть, разве что он вызовет слишком решительные возражения. Я сохраню его. Таким образом,

$$h_i \prec d_i$$

означает, что при обстоятельствах i, если рассудок определенно принуждается к идее h, то при тех же обстоятельствах рассудок определенно принуждается к идее d. В соответствии со взглядами Филона, это то же самое, что сказать, что при обстоятельствах i либо рассудок не принуждается определенным образом к идее h, либо при тех же обстоятельствах рассудок определенно принуждается к идее d. Из этого предположения можно математически вывести правила для знака $—<$. Я не привожу их здесь, так как мою рукопись, содержащую данный вывод, много месяцев тому назад взял у меня на время один приятель; и я еще не совсем потерял надежду получить ее обратно и потому не трачу сил на то, чтобы повторять эту работу. Из опущенного здесь вывода следует, что хотя этот знак дает нам возможность выразить многие отношения, используя буквы для обозначения различных предложений; однако, если мы не выберем какую-то букву для обозначения предложения, относительно которого известно или предполагается, что оно ложно, он никогда не даст нам возможности выразить то, что какое-либо утверждение является ложным. Есть серьезные основания принять условное соглашение, что

$$a —< b —< c$$

будет означать $a —< (b —< c)$, а не $(a —< b) —< c$. Тогда мы подходим к тому, чтобы задаться вопросом, каково должно быть значение

$$a —< a —< a —< a —< a —< a —< a —< a —<$$

и т. д. до бесконечности. Этот ряд посылок без заключительного результата, очевидно, эквивалентен отрицанию a [т. е. он эквивалентен: не-a, или не-a, или не-a...]. Так, не вводя никакого другого знака, а только благодаря представлению о бесконечном ряде, после того как мы уже имеем представление о последовательном ряде, мы приходим к идее отрицания. Таким образом, понятия, используемые в построении умозаключения, производят понятие о необходимости отвергнуть некоторое умозаключение. Следовательно, мы должны обобщить наше представление о построении умозаключения так, чтобы оно охватывало не только необходимость признать одно утверждение в силу того, что нами признано некоторое другое, но также и тот процесс мышления, посредством которого мы приходим к убеждению, что хотя одно утверждение истинно, однако некоторое другое тем самым еще не является неизбежно истинным. Всю сферу гипотетических предложений охватывает не примитивное понятие об умозаключении, а это обобщенное понятие. Как только мы будем иметь представление об абсурдности, мы сможем представить себе, что определенное умозаключение может логически вести к абсурду. Умозаключение, которое ведет к абсур-

ду, ложно; а умозаключение, которое является ложным, может в некотором возможном случае повести к абсурду. Следовательно, как только мы признаем идею абсурдности, мы будем вынуждены отнести отвергание некоторого умозаключения к умозаключениям. Таким образом, как было сказано, предложение есть не что иное, как умозаключение, предложения которого утратили ассертивность, точно так же, как термин представляет собой предложение, субъекты которого утратили денотативную силу.

§ 7. Субъект

357. Ниже рассмотрим вопрос о том, имеет ли каждое предложение главный субъект или нет, и, если имеет, может ли оно иметь более одного главного субъекта или не может. Предложение можно определить как знак, который сам по себе указывает на объект. Например, портрет с собственным именем изображенного лица, подписанным под ним, представляет собой предложение, утверждающее, что так выглядело это изображенное лицо. Если принять это широкое определение, то предложение не обязательно должно быть символом. Так, флюгер «сообщает», откуда дует ветер, благодаря реальной связи, которую он все равно имел бы с ветром, даже если бы никогда не предназначался для того, чтобы указывать на ветер, и не понимался бы таким образом. Он сам по себе указывает на ветер, потому что его *устройство* таково, что он должен показывать, откуда дует ветер; и это устройство есть нечто отличное от его *положения* в любое конкретное время. Но обычно под предложением или суждением мы подразумеваем символическое предложение, или *символ,* который сам по себе указывает на свой объект. Каждый субъект отчасти имеет свойства индекса в том смысле, что его функция — направлять внимание на объект — есть характерная функция индекса. Однако субъект символического предложения не может быть индексом в строгом смысле слова. Когда ребенок показывает на цветок и говорит: «Красиво», — это символическое предложение; ибо слово «красиво», будучи употребленным, репрезентирует свой объект только благодаря такой связи с ним, которую оно не могло бы иметь, если бы не предполагалось и не понималось как знак. Однако указывающая рука, которая является субъектом данного предложения, обычно обозначает свой объект только благодаря такой связи с этим объектом, которая все равно существовала бы, хотя бы рука не предполагалась и не понималась как знак. Но, когда она входит в предложение в качестве его субъекта, она указывает на свой объект иным образом. Ибо она не может быть субъектом этого символического предложения, если она не будет намеренно предполагаться и пониматься в качестве такового. Одного того,

что она является индексом цветка, недостаточно. Она становится субъектом предложения только потому, что сам факт ее использования в качестве индекса цветка является признаком того, что она к этому была намеренно предназначена. Подобным образом относятся к реальному универсуму, и обычно к ближайшему окружению, все обычные предложения. Так, если кто-то вбегает в комнату и кричит: «Пожар!» — мы знаем, что он говорит о чем-то поблизости, а не о мире «Тысячи и одной ночи». Уже сами обстоятельства, при которых произнесено или написано предложение, указывают на данное окружение, как на то, к чему предложение относится. Но они выступают не просто как индекс этого окружения, но и как признак намеренной связи речи с соответствующим объектом, каковую связь эта речь не могла бы иметь, если бы не предназначалась для того, чтобы быть знаком. Выраженный субъект обычного предложения наиболее близко подходит по характеру к индексу тогда, когда он является собственным именем, связь которого с объектом, хотя и чисто намеренная, не имеет, однако, никаких оснований (или по крайней мере ни о каких основаниях не думают, употребляя его), за исключением лишь того, что желательно дать обозначение известному объекту. Среди собственных имен или наряду с ними мы можем поместить абстракции, которые представляют собой названия отдельных вымышленных предметов или, точнее, индивидуальных объектов, бытие которых заключается в способе бытия еще чего-то. Одним из видов абстракций являются индивидуальные множества, такие, как «немецкий народ». Когда субъект не является собственным именем или иным обозначением индивидуального объекта, известного по опыту (близкому или отдаленному) как говорящему, так и слушающему, то роль такого обозначения играет потенциальное предписание, устанавливающее, как должен поступать слушающий для того, чтобы обнаружить объект, к которому должно относиться предложение. Если оно не содержит предписания к действительному опыту, то все случаи могут быть сведены к двум (вместе с их видоизменениями). Эти два случая таковы: во-первых, тот случай, когда слушающий должен выбрать какой-либо объект в соответствии с некоторым данным описанием и он может выбрать любой, какой захочет; во-вторых, тот случай, когда устанавливается, что соответствующий объект должен быть найден в некоторых пределах опыта, или среди существующих индивидуальных объектов некоторого класса. Первый случай дает *распределенный* субъект *универсального* предложения, как, например, «Любой василиск несет яйца». Утверждается не то, что какой бы то ни было василиск существует, а только то, что, если слушающий обнаружит василиска, предполагается, что предикат будет применим к нему. Другой случай дает *нераспределенный* субъект

*частного** предложения, как, например, «Некоторый негр-альбинос красив». Это предполагает, что существует по крайней мере один негр-альбинос. Среди видоизменений этих случаев мы можем учесть такие субъекты, как субъект предложения «Каждая неподвижная звезда, кроме одной, находится слишком далеко, чтобы показаться в виде диска» и «Существуют по крайней мере две точки, общие для всех окружностей, касающихся какой-либо данной кривой». Субъект универсального предложения можно толковать как «Какой бы объект из универсума** мы ни взяли»; так, предложение о василиске могло бы быть выражено: «Если выбрать любой объект из универсума, он или не будет василиском, или будет нести яйца». Если понимать субъект таким образом, *не утверждается*, что он существует, но о его существовании хорошо известно; ибо универсум должен считаться известным говорящему и слушающему, иначе никакое сообщение о нем не могло бы иметь место между ними; ибо универсум известен только из опыта. Частное предложение может быть выражено еще более естественным образом так: «В мире существует нечто, что представляет собой негра-альбиноса, который является красивым». Несомненно, есть грамматические различия между этими способами сообщения о факте; но формальная логика не берет на себя обеспечение более нежели одного способа выразить один и тот же факт, если второй способ не является необходимым для выявления выводов. Последний способ в целом является предпочтительным. Предложение может иметь несколько субъектов. Так, если речь идет об универсуме проективной геометрии, то является истинным предложением, что «Какими бы ни были индивидуальные объекты A, B, C и D, существуют индивидуальные объекты E и F, такие, что, каким бы ни был индивидуальный объект G, существуют индивидуальный объект H и индивидуальный объект Y, такие, что если A, B, C и D являются прямыми линиями, то E и F являются прямыми линиями, из которых каждая пересекает A, B, C и D, причем E и F не совпадают, и если G является прямой линией, не совпадающей с E и не совпадающей с F, и если G пересекает A, B и C, она не пересекает D, если H не является гиперболоидом, для которого A, B, C и D являются образующими, и Y представляет собой множество образующих H, к которому принадлежит и A, и B, и C, и D», то есть, в нашей обычной фразеологии, любые четыре пря-

* Переводы этих терминов Пирса представляют трудности. В современной логике «универсальное» (предложение) обычно противопоставляется «экзистенциальному» (предложению), поэтому вместо *частное* здесь можно было бы, по-видимому, сказать *экзистенциальное*; или, напротив, оставив *частное*, сказать *общее* (вместо *универсальное*) в первом случае. — *Прим. ред.*

** В этом рассуждении Пирса термин «универсум», по-видимому, значит то же, что термин «действительный мир». — *Прим. ред.*

мые линии в пространстве пересекаются равно двумя различными прямыми линиями, если эти четыре прямые линии не принадлежат к одному множеству образующих гиперболоида. Такое предложение называется предложением отношения. Порядок, в котором подбираются индивидуальные объекты, существен, когда отобранные объекты различны в отношении распределения. Предложение может относиться к частоте, с которой в ходе обычных наблюдений событие представляет собой событие определенной разновидности. Де Морган хочет возвести это в обычный тип предложений[22]. Но при этом он не учитывает крайне важного разграничения между вероятностью и тем, что утверждает универсальное предложение. Сказать, что вероятность того, что у теленка не более шести ног, равняется 1, значит сказать, что в конце концов, если взять телят, как они даны в опыте, то отношение числа тех, у кого не более шести ног, к общему числу телят равно 1. Но это не мешает тому, чтобы нашлось какое-либо конечное число телят с количеством ног большим, нежели шесть, при условии, что в конце концов, то есть в ходе бесконечных наблюдений, их число остается конечным и не увеличивается неограниченно. С другой стороны, универсальное предложение, например, утверждает, что любой теленок, который только может существовать, без исключения, является позвоночным животным. Универсальное предложение говорит о наблюдениях, относящихся к каждому объекту; вероятностное, или статистическое, предложение говорит о наблюдениях, относящихся к совокупности.

§ 8. Предикат

358. Здесь мы кратко изложим точку зрения на предикат, принимаемую в прагматической логике как следствие того, что в ней предполагается, что вся цель дедуктивной логики состоит в том, чтобы установить необходимые условия истинности знаков, никоим образом не учитывая случайные явления индоевропейской грамматики. Ср. *Отрицание*[23].

В любом предложении, то есть в любом изречении, которое должно быть истинным или ложным, вычеркнем некоторые части так, чтобы остаток был не предложением, а чем-то таким, что становится предложением, когда каждый пропуск заполнен собственным именем. Зачеркивания должны делаться не механически, а с такими видоизменениями, какие могут быть необходимы, чтобы сохранить частичный смысл фрагмента. Такой остаток является *предикатом*. Одно и то же предложение может быть сокращено различными способами, так что предикатами могут оказаться различные фрагменты. Так, возьмем предложение «Каждый мужчина чтит некоторую женщину». Оно содержит, в частности, следующие предикаты:

«...чтит некоторую женщину».
«...или не является мужчиной, или чтит некоторую женщину».
«Любой произвольно выбранный мужчина чтит...».
«Любой произвольно выбранный мужчина является...».

§ 9. Предикация

359. В логике: присоединение предиката к субъекту предложения, так чтобы увеличить логическую широту, не уменьшая логической глубины.

360. Это, однако, оставляет место для того, чтобы понимать предикацию различным образом, в зависимости от принятой концепции разделения предложения на субъект и предикат. В настоящее время ведется спор о том, является ли предикация основной функцией предложения. Некоторые утверждают, что предложение *Идет дождь* не содержит никакой предикации. Однако если оно — утверждение, то оно не означает, что дождь идет в сказочной стране, но сам акт говорения чего-либо с явным серьезным намерением представляет собой Индекс[24], который понуждает адресата оглядеться и выяснить, к чему относится то, что было сказано. Слово «дождь» воскрешает в его мысли образ мелких вертикальных черточек в пределах поля зрения; и он тотчас взглянет в окно, вполне понимая, что субъектом обозначается видимая окрестность, в которой должны быть видны линии падающих капель. Подобным образом, предикация есть и в условных или в других гипотетических предложениях, в том же смысле, то есть что делается ссылка на некоторую известную область опыта или мысли.

361. Далее следуют некоторые из наиболее часто повторяющихся схоластических словосочетаний.

...*Аналогическая предикация*; довольно излюбленное выражение Фомы Аквинского: предикация, в которой предикат берется не в своем строгом смысле и не в несвязанном смысле, а в особом смысле, для которого есть достаточные основания, например, когда о статуе говорят, что это человек.

...*Деноминативная предикация:* предикация, в которой то, что предназначено по своей природе быть субъектом, берется в качестве субъекта, а нечто, предназначенное по своей природе для предицирования, берется в качестве предиката; сущности предицируется здесь акциденциальное свойство. (Это основательно рассмотрено Дунсом Скотом «Utrum haec sit vera, *Homo est animal*» «Верно ли это: *Человек есть животное*»[25], где, как и в большей части схоластических дискуссий, вывод идет в начале, а интерес заключается в возникающих попутно значительных трудностях и в том, как они должны преодолеваться.) Деноминативная предикация в собственном смысле слова представляет со-

бой предикацию акциденциального конкретного термина, который относится к ее собственному субъекту; в широком смысле это предикация какого-либо конкретного признака, принадлежащего суппозитуму или любому субъекту меньшей широты; в самом широком смысле, это предикация любого предиката любому субъекту. Деноминативная предикация может быть апостериорной или априорной, например homo est albus «человек есть белое»; rationale est substantia «рассудочное есть субстанция»; homo est animal «человек есть животное».

...*Диалектическая предикация*, как определил Аристотель[26], предикация общего термина в предложении, которое может быть следствием умозаключения в соответствующем вероятном месте; она не сводима к чему-либо предшествующему.

Прямая предикация: предикация в обычном смысле как репрезентирование того, что широта субъекта принадлежит предикату, а глубина предиката — субъекту; или, на схоластическом языке, это предикация высшего термина низшему, страдательности — субъекту, акциденции — субъекту, способа — «чтойности» (quiddity)*, видового различия — роду.

...*Сущностная предикация*: в которой предикат целиком содержится в сущности субъекта. Поэтому она представляет собой аналитическое суждение в смысле Канта. Но ни Кант, ни схоласты не предусмотрели тот факт, что с помощью математического рассуждения или необходимой дедукции, посредством логики отношений часто можно из максимально простого определения вывести предложение неограниченной сложности, далеко не очевидное, не принимая никакой гипотезы (принятие такой гипотезы могло бы только сделать выводимое предложение более простым); выводимое предложение может содержать многие понятия, не выраженные явным образом в определении. Это можно проиллюстрировать следующим примером: человек есть разумное животное, следовательно, все, что не есть человек, либо, с одной стороны, не является разумным (будучи в то же время или животным, или же таким объектом, который любит только фантомы), либо, с другой стороны, не является животным (будучи в то же время или разумным, или, возможно, любящим фантомы).

Итак, если скажем, что это аналитическое суждение или сущностная предикация, то не будет адекватным ни определение схоластов, ни определение Канта. Но если мы скажем, что это не является сущностной предикацией, то есть аналитическим суждением, то необходимым следствием простого определения (и весьма не-

---

* *Чтойность* — термин, употреблявшийся в русской философской традиции для обозначения «сущности», т. е. того, что делает предмет тем, что он есть (лат. quidditas от quid «что»). — *Прим. перев.*

очевидным) может быть акциденциальная предикация и синтетическое суждение, в полную противоположность тому, что предполагали и на чем основывались Кант или схоласты. Ср. у Дунса Скота[27], которого сущностная предикация есть предикация рода, вида или видового различия.

Осуществленная предикация. Разграничение между осуществленной и обозначенной предикацией принадлежит Дунсу Скоту. (Отрывок, который Прантль приписывает Антонио Андреасу[28], представляет собой дословную цитату из Скота, как это, естественно, часто случается в «Истории» Прантля.) Обозначенная предикация есть предикация, о которой говорится, что она должна иметь место, осуществленная предикация есть предикация, имеющая, место; так что Скот говорит: «A praedicari signato ad praedicari exercitum, [sive ad esse] non tenet consequentia per se in eisdem terminis» «От предикации обозначенной к предикации осуществленной (от *если к быть)* следствие не действительно само по себе в тех же терминах»[29]. Скот приводит следующие примеры данного разграничения, где осуществленная предикация символизирована как *E,* обозначенная — как *S*: *S* — Genus predicatur de speciae «Род предицируется виду»; *E* — Homo est animal «Человек есть животное». (Лионский текст здесь меняет термины, которые мы приводим правильно.) *S* — nego «отрицаю», *E* — non «нет», *E* — tantum «только», S — excludo «исключаю». Абстрактное определение Скота таково: «Esse in rebus primae intentionis, illud exercet quod predicari signat in secundis intentionibus» «Быть в вещах — принадлежит первой интенции, это осуществляет то, что выступает как обозначенная предикация во вторых интенциях»[30].

Осуществленная предикация подразделяется на praedicatio de proprio supposito «предикацию о собственно индивидном субъекте» и на praedicatio de subjecto «предикацию о (вообще) субъекте»; первая является сущностной, вторая — акциденциальной.

Формальная предикация: предикация, где предикат содержится в понятии субъекта, независимо от какой-либо внешней причины или от какой-либо вещи in qua «в которой он выступает». Различие между формальной и сущностной предикацией является до некоторой степени тривиальным и приводящим в замешательство.

...*Естественная предикация:* когда субъект и предикат должны были бы быть связаны таким образом по своей природе. Это, в сущности, определение, даваемое во многих книгах; но оно создает недостаточно ясное представление о том, как употребляется это выражение. Естественная предикация всегда подразделяется на тождественную и прямую; предикация, не являющаяся естественной, будет или обратной, то есть contra naturam «против природы», или же praeter naturam «помимо природы; вдобавок к ней», то есть per accidens «через акциденцию». Примеры обратной преди-

кации, когда субъект связан с предикатом как форма с материей: alba est nix «белое есть снег»; animal est homo «животное есть человек». Примеры предикации praeter naturam, когда субъект и предикат связаны с некоторым третьим термином как форма с материей: album est dulce «белое есть сладкое»; dulce est album «сладкое есть белое». Примеры прямой предикации: nix est alba «снег есть белый»; homo est animal «человек есть животное». Примеры тождественной предикации: gladius est ensis «сабля есть меч»; Plato est Plato «Платон есть Платон»[31].

§ 10. Количество

362. (В логике и математике.) (1) Любая акциденция, посредством которой субстанция имеет части, не входящие одна в другую (has part outside of part). Ср. *Количество* (2).

Это старое определение; и оно отвечает старому значению слова тем, что оно представляет количество значительно более конкретным, нежели современная концепция. Количество (см. Аристотель[2]) является или раздельным, или непрерывным. Непрерывное количество — это, во-первых, величина, во-вторых, время. Старое определение математики как науки о количестве будет понято неправильно, если взять количество в современном смысле; имелось в виду только то, что математика изучает акциденции, имеющие число, величину или продолжительность. Поэтому была математика музыки.

363. (2) В общепринятом современном смысле, количество есть система отношений порядка. Отношение порядка отличается от транзитивного отношения только точкой зрения и (настолько близко связаны обе точки зрения) вряд ли представляет собой более, нежели способ выражения. Наконец, все транзитивные отношения можно отнести к включениям. Следовательно, количество можно определить как систему включений, рассматриваемую как отношение порядка. Очень важно понять, что количество — это просто система релятивных упорядоченных отношений в линейном ряду. Каждое полное определение количества в некоторой данной системе есть некоторая «величина».

Количество либо считается, либо измеряется. Считаемое количество может иметь конечное множество величин. Из всех количественных систем счетного множества простейшая — это система целых чисел. Система рациональных дробей — единственная обыкновенно употребляемая из прочих систем. Эти дроби могут быть несколькими способами упорядочены по количеству посредством простого счета.

364. (3) Понятия, или термины, рассматриваются в логике как имеющие *субъектные части,* состоящие из более узких терминов, и *дефинитные части,* представляющие собой более высокие тер-

мины, из которых слагаются их определения или описания: эти отношения составляют «количество».

Такой двойной способ рассматривать родовой термин как целое, состоящее из частей, в нескольких местах отмечается Аристотелем[33]. Этот способ был известен логикам всех веков.

Так, Скот Эриугена называет логику «ars ilia quae dividit genera in species et species in genera resoluit» «искусством, которое разделяет роды на виды и распределяет виды по родам»[34]. Джон из Солсбери говорит об этом различии как о том, что «quod fere in omnium ore celebre est, aliud scilicet esse quod appellativa [т. е. прилагательные и т. п.] *significant*, et aliud esse quod *nominant*. Nominantur singularia, sed universalia significantur» «все почти утверждают одно и то же, а именно: следует различать то, что апеллятивы означают, и то, что они называют. Единичные объекты называются, а универсальные означаются (означиваются)»[35]. Относительно Гийома из Оверни см. Прантль[36]. Автор имеет перед собой длинный список подобных высказываний.

Но последователи Аристотеля сосредоточивались на разграничении различных типов предикаций; они утверждали, что видовые различия разных родов различны, и не допускали, таким образом, перекрестных делений. Однако Арно в «L'Art de penser»[37] полагает все предикаты, то есть все сущностные предикаты, сходными, не различая род (genus) и видовое отличие (differentia), он был, таким образом, вынужден посвятить краткую главу (VI) объему (l'étendue) и содержанию (la compréhension), прежде чем рассматривать предикабилии.

Но его заслуги в этом вопросе были сильно преувеличены, и на самом деле, по-видимому, распространению в логике этих представлений способствовал Кант, который первый явным образом назвал их делением по количеству. Но это представление возникло давно. Архиепископ Томсон[38], В. Д. Вильсон[39] и Ч. С. Пирс[40] попытались выделить третью количественную меру терминов. Последний называет свою третью количественную меру «информацией» и определяет ее как «сумму синтетических предложений, в которых этот символ является субъектом или предикатом», антецедентом или консеквентом. Слово «символ» используется здесь потому, что автор рассматривает деление по количеству как относящееся к предложениям и умозаключениям, так же как и к терминам. Разграничение определенности по объему и по содержанию (экстенсиональной и интенсиональной определенности) предложено Скотом[41].Так, обычным следствием увеличения информации будет увеличение широты термина без уменьшения его глубины или увеличение его глубины без уменьшения широты. Но следствием может быть также обнаружение того, что субъекты, относительно применимости термина к которым уже известно, включают широту другого термина, относительно которого не было известно, что он подлежит такому вклю-

365. *Квантификация Предиката.* Этим наименованием называют придание предикатам простых предложений знаков пропозиционального количества. Dictum de omni «сказанное обо всем» определяет связь субъекта и предиката, так что «Любое А есть В» следует понимать как означающее «Ко всему, к чему применимо А, применимо и В». Но это определение должно быть видоизменено, чтобы уделить какое-нибудь место квантификации предиката. Если тогда мы должны будем понимать *все* и *некоторые* в их собственных дистрибутивных значениях, а не в собирательных значениях, говорить, что «Всякий человек есть всякое животное», как отмечает Аристотель, было бы абсурдно, если бы не имелось в виду, что существует только один человек и одно животное и что этот человек тождествен этому одному животному. Такая система никогда не предлагалась. Но Гамильтон[43] и его последователи Т. С. Байнес[44] и Калдервуд понимают количественные обозначения в собирательном смысле. Так, они вводят в качестве одной из пропозициональных форм «Некоторый человек не есть некоторое животное», которое является точным отрицанием предложения «Всякий человек есть всякое животное» в дистрибутивном смысле и вправе иметь одинаковое с ним положение в логике. Оно не является отрицанием предложения «Все люди суть все животные» в собирательном смысле, в понимании этих логиков. Такая система в свое время пользовалась некоторой популярностью.

366. *Система предложений Де Моргана*[45]. Она позволяет сохранить dictum de omni, просто прилагая качество предложения к субъекту. Таким образом мы получаем следующие восемь форм предложений:

)) Ко всему, к чему применимо А, применимо В.

(.) Ко всему, к чему неприменимо А, применимо В.

).(Ко всему, к чему применимо А, неприменимо В.

((Ко всему, к чему неприменимо А, неприменимо В; т. е.: Ко всему, к чему применимо В, применимо А.

() К чему-то, к чему применимо А, применимо В.

(.(К чему-то, к чему применимо А, неприменимо В.

).) К чему-то, к чему неприменимо А, применимо В; т. е.: К чему-то, к чему применимо В, неприменимо А.

) (К чему-то, к чему неприменимо А, неприменимо В.

Такова в основе одна из форм утверждений Де Моргана, названная им ониматической[46]. Эта система не вызывает возражений; но она представляет собой бесполезное усложнение форм, не дающее нам возможности учесть какой-либо модус умозаключений, который не охватывался бы старой системой. Впрочем, она обходится без фигур силлогизма. Но каковы бы ни были достоинства или недостатки этой системы, Де Морган разработал ее с логической элегантностью.

§ 11. Универсальное

367. (1) Это слово использовалось в Средние века вместо слова Общее. Другой синоним был *предикабилия* (praedicabile): «Praedicabile est quod aptum natum est praedicari de pluribus» «Предикабилия есть то, что самой природой приспособлено для того, чтобы предицироваться о многом», — говорит Петр Испанский[47]. Альберт Великий говорит: «Universale est quod cum sit in uno aptum natum est esse in pluribus» «Универсальное есть то, что, будучи в одном, самой природой приспособлено быть во многом»[48]. Бургерсдиций, буквально переводящий Аристотеля, говорит: «Universale appello, quod de pluribus suapte natura praedicari aptum est» «Универсальным я называю то, что способно по природе сказываться о многом».

Когда схоласты говорят об универсалиях, они просто имеют в виду общие термины (которые называют простыми универсалиями), со следующим исключением.

368. (2) Пять терминов второй интенции, или, точнее, пять классов предикатов: род (genus), вид (species), видовое отличие (difference), существенный (собственный) признак (property), несущественный (привходящий) признак, акциденция (accident), в Средние века (как и до сих пор) называли «предикабилиями». Но, поскольку «предикабилия» также означает пригодное для того, чтобы быть предикатом, в каковом смысле является почти точным синонимом универсалии в первом значении, то пять предикабилий стали часто называть «универсалиями».

369. (3) Предицируемое, или утверждаемое, в предложении de omni считается истинным по отношению ко всему без исключения, к чему только применим субъектный термин. См. *Количество* [§ 10].

Так, «Любой феникс встает из пепла» является универсальным предложением. Это называется *комплексным* смыслом универсального. Субъект должен быть понимаем в дистрибутивном значении, а не в собирательном значении. Так, «Все люди суть все искупленные», являющееся «обще-общим» (toto-total) предложением по Гамильтону[49], не является универсальным предложением, то есть утверждением de omni в смысле, определенном Аристотелем для dictum de omni, ибо оно означает, что множество людей тождественно множеству искупленных, а не то, что каждый человек без исключения есть все искупленные. Лейбниц справедливо говорит, что универсальное предложение не утверждает и не предполагает существование своего субъекта[50]. В первую очередь причина этого состоит в том, что это соответствует определению, то есть dictum de omni: о субъекте утверждается универсальным образом нечто, о чем говорится, что оно предицируемо относительно всего, относительно чего может быть предицирован субъект. Ибо это можно сделать, не утверждая, что субъект предицируем относительно

чего-либо, существующего в универсуме. Вторая причина состоит в том, что термин *универсальное предложение* представляет собой термин формальной логики. Главная, или по крайней мере самая существенная, задача формальной логики состоит в том, чтобы так формулировать непосредственный силлогизм, чтобы не изображать его требующим более или менее того, нежели он действительно требует. Большая посылка непосредственного силлогизма должна быть универсальной, но не обязана предполагать существование чего-либо, относительно чего должен был бы быть предицируем субъект. Следовательно, необходима форма универсального предложения, не содержащего утверждения о существовании субъекта. Вскоре мы увидим, что нет надобности ни в каком другом типе универсальных предложений. Третья причина состоит в том, что необходимо, чтобы в формальной логике была предусмотрена форма предложения, являющегося точным отрицанием всех предложений, соответствующих каждой из ее простых форм. Если универсальное предложение, утверждающее существование своего субъекта, рассматривать как простую форму предложения — как, например, «Существуют жители Марса, и у каждого из них, без исключения, рыжие волосы», — его точным отрицанием было бы частное предложение, не содержащее утверждения относительно существования субъекта, а это было бы крайне необыкновенной формой, почти никогда не нужной и очевидно сложной, такой, как «Или не существует ни одного жителя Марса, или, если они существуют, существует по крайней мере один, у которого не рыжие волосы». Очевидно, что значительно лучше иметь простое частное предложение, утверждающее существование своего субъекта: «Существует житель Марса, у которого рыжие волосы», тогда как универсальная форма не будет ни содержать утверждения относительно существования, ни предполагать его: «Все жители Марса, какие только могут существовать, должны, без исключения, иметь рыжие волосы». Если каждое частное предложение утверждает существование своего субъекта, то утвердительное частное предложение *предполагает* и существование своего предиката. Было бы прямым противоречием сказать, что предложение содержит *утверждение* относительно существования своего предиката, так как то, относительно чего предложение что-то *утверждает,* является его субъектом, а не предикатом. Но возможно, не вполне точно говорить, что частное предложение содержит *утверждение* относительно существования своего субъекта. Во всяком случае, это не следует понимать так, что в таком утверждении *существование* представляет собой предикат, который не предполагается в предложении, не содержащем этого утверждения [см. Кант[51]].

Каждое предложение соотносится с некоторым индексом: универсальное предложение через посредство окружения, общего для

говорящего и слушающего, соотносится с универсумом, который является индексом того, о чем говорит говорящий. Но частное предложение утверждает, что при наличии достаточных средств в данном универсуме нашелся бы объект, к которому был бы применим субъектный термин и к которому — как показало бы дальнейшее исследование — было бы применимо и представление, вызываемое предикатом. Когда это установлено, *непосредственный вывод* из этого состоит в том, что — хотя это в предложении в точности не *утверждается* — существует некоторый *индексируемый объект** (т. е. нечто *существующее),* к которому применяется и сам предикат; так что предикат также может рассматриваться как нечто, соотносящееся с некоторым индексом. Конечно, совершенно обоснованно и с некоторых точек зрения предпочтительно формулировать частное предложение таким образом: «Нечто является сразу жителем Марса и рыжеволосым», а универсальное предложение — так: «Все, что существует в универсуме, если является жителем Марса, является также рыжеволосым». В этом случае универсальное предложение не содержит никакого *утверждения* относительно существования; так как для говорящего и слушающего уже должно быть понятно, что универсум существует. Частное предложение в этой новой форме содержит утверждение относительно существования чего-то неопределенного, о чем объявляется, что к нему применимы выражения «житель Марса» и «рыжеволосый».

Универсальное предложение должно пониматься как не допускающее ни единого исключения. Тем самым оно отличается от предложения «Отношение числа (всех) А к числу (тех) А, которые являются В, есть 1 : 1» не только тем, что оно является дистрибутивным, а не собирательным по форме, но также и тем, что оно утверждает много больше. Так, отношение множества всех действительных чисел к тем из них, которые являются несоизмеримыми, есть 1 : 1, однако это не препятствует ни тому, чтобы существовали соизмеримые числа, ни тому, чтобы их число было бесконечным. Если бы было доказано, что отношение частоты всех событий к частоте тех из них, что обусловлены естественными причинами, есть 1 : 1, это не было бы никаким аргументом против существования чудес; хотя это могло бы быть (или могло бы не быть, в зависимости от обстоятельств) аргументом против объяснения любого данного события как чудесного, если такая гипотеза может быть названа объяснением. Индукция может вести к заключению, что отношение частоты видового события к родовому есть 1 : 1, в том же приблизительном смысле, в каком должны быть принимаемы все индуктивные заключения. На самом деле, отношения 1 : 1 и 0 : 1 могут быть индуктивно выведены с большей степенью уверенности относительно точности их выво-

* Indicable object «объект, на который можно указать». — *Прим. перев.*

да, нежели какое-либо другое отношение. Но вообще ни при каких обстоятельствах индукцией нельзя установить правильность или приблизительную правильность строго универсального предложения, то есть что какой-либо данный ряд явленных событий является в собственном смысле слова общим (и поэтому репрезентирует потенциально бесконечный класс) или даже приблизительно общим. Такие предложения за пределами математики (понимая это слово так, чтобы оно включало все определения и выводы из них) должны или быть полностью неподтверждаемыми, или получать свое подтверждение из какого-то иного источника, нежели наблюдение и эксперимент. Основанием [подобных предложений] могло бы служить некоторое заявление, например, обещание какого-либо потенциально бессмертного существа действовать определенным образом при каждом случае определенного характера; и таким образом, оно не должно было бы быть априорным суждением.

370. (4) ...Декарт, Лейбниц, Кант и другие обращались к универсальности определенных истин для доказательства того, что они не являются полученными из наблюдения — непосредственно или посредством обоснованного вероятностного заключения. У Декарта есть только один пассаж такого рода, и даже Лейбниц, хотя он в полемике с Локком часто ссылается на *необходимость* определенных истин (т. е. утверждает, что они являются по своему модусу предложениями необходимости), однако лишь в одном месте (в предисловии к «Новым опытам») специально упоминает критерий универсальности. Декарт, Лейбниц и Кант более или менее эксплицитно заявляют, что то, что, по их словам, не может быть основано на наблюдениях или выведено из наблюдений посредством закономерного вероятностного заключения, является универсальным предложением в смысле (3), то есть утверждением, касающимся каждого члена общего класса без исключения. Декарт (Письмо XCIC) утверждает, что нельзя прийти путем какого-либо закономерного умозаключения от внешних явлений к такому предложению, как; «Вещи, равные одному и тому же, равны между собой», так как это бы означало выведение «универсального» из «частного». Лейбниц использует почти тот же язык: «Это приводит к другому вопросу, а именно к вопросу о том, все ли истины зависят от опыта, то есть от индукции и примеров, или же имеются истины, покоющиеся на другой основе... Но, как бы многочисленны ни были примеры, подтверждающие какую-нибудь общую истину, их недостаточно, чтобы установить всеобщую необходимость этой самой истины; ведь из того, что нечто произошло, не следует вовсе, что оно всегда будет происходить таким же образом»[52].

Кант выражался еще более однозначно: «Опыт никогда не дает своим суждениям истинной или строгой всеобщности, он сообщает им только условную и сравнительную всеобщность (посредством

индукции), так что это должно, собственно, означать следующее: насколько нам до сих пор известно, исключений из того или иного правила не встречается. Следовательно, если какое-то суждение мыслится как строго всеобщее, то есть так, что не допускается возможность исключения, то оно не выведено из опыта, а есть безусловно априорное суждение. Стало быть, эмпирическая всеобщность есть лишь произвольное повышение значимости суждения с той степени, когда оно имеет силу для большинства случаев, на ту степень, когда оно имеет силу для всех случаев, как, например, в положении *все тела имеют тяжесть*. Наоборот, там, где строгая всеобщность принадлежит суждению по существу, она указывает на особый познавательный источник суждения, а именно на способность к априорному знанию. Итак, необходимость и строгая всеобщность суть верные признаки априорного знания и неразрывно связаны друг с другом»[53].

Но несмотря на тот факт, что в целом логика всех этих авторов, особенно Канта, требует того, чтобы слово *универсальное* понималось в этом смысле, все же некоторые пассажи в их работах могут в какой-то степени служить оправданием грубой ошибки отдельных комментаторов, утверждающих, что под необходимостью они понимают непреодолимую психическую силу, с которой предложение требует нашего согласия, а под универсальностью они понимали всеобщность (catholicity), то есть кафолическое* принятие предложения semper, ubique et ab omnibus «всегда, везде и всеми». В особенности Декарт, отчасти Лейбниц, а возможно, и Кант (хотя это было бы с его стороны крайне нелогично) действительно в большей или меньшей степени придавали значение неотразимой очевидности — а в какой-то мере и экуменическому признанию — предложений, как критериям стремления убедить нас в правдивости предложений; но не как критерию их происхождения. Однако следует обратить внимание на то, что некоторые истолкователи Канта ошибочно использовали слово *универсальное* в смысле «признаваемое всеми людьми» — в смысле χοινός «общий» в словосочетании χοιναί ἔννοιαι «общие мысли; мысли, присущие всем людям».

371. Слова *универсалия* и *универсальность* входят в различные специальные словосочетания:

...*Естественная универсалия:* естественный знак, предицируемый относительно множества вещей, как дым есть знак огня. Номиналистическое учение состоит в том, что ничто вне разума не является универсальным в этом смысле[54].

...*Универсальная сила:* согласно некоторым логикам, это сила таких рассуждений, которые «рассчитаны на то, чтобы убедить все

* *Кафолический* или *экуменический*— старинные синонимы к термину *универсальный*, в значении «повсеместный». — *Прим. ред.*

разумно рассуждающие умы»[55]. Если бы автор опустил выражение «разумно рассуждающие» и сказал «рассчитаны на то, чтобы убедительно действовать на все умы», это не говорило бы о том, что они имеют какую бы то ни было силу; ибо сила рассуждения зависит от того, приведет ли оно на самом деле к истине, а не от того, что полагают, что оно приведет. Таким образом, слова «разумно рассуждающие» — единственные уместные слова в этом определении. Но в действительности не существует никакого подразделения логической силы на универсальную и частную...

§ 12. Частное (Particular)

372. В неспециальном языке относится к единичным случаям, подпадающим под общие рубрики и встречающимся, или якобы встречающимся, в опыте; в данном значении это также существительное. Частное представляет собой известное из опыта явление общего характера, но так, как оно выступает в отдельном случае.

373. Частное предложение есть предложение, которое дает общее описание некоторого объекта и утверждает, что объект, к которому относится данное описание, встречается в универсуме рассуждения, не утверждая, что оно относится ко всему универсуму или ко всему в универсуме, что удовлетворяет указанному общему описанию; например, «Некоторые драконы дышат огнем». Если мы считаем, что частное предложение содержит утверждение относительно существования чего-либо, то точное отрицание его не содержит утверждения относительно существования чего бы то ни было, как в предложении «Никакого огнедышащего дракона не существует». Поэтому неверно, что из такого точного отрицания следует какое-либо частное предложение, такое, как «Некоторый дракон не дышит огнем». Ибо если не существует дракона, который не дышит огнем, это предложение ложно, хотя может быть истинным, что не существует дракона, который дышит огнем.

Например, из частного предложения «Некоторую женщину обожают все католики*» следует, что «Любой католик, который только может существовать, обожает какую-то женщину», то есть «Не существует католика, который бы не обожал какую-то женщину», что является точным отрицанием предложения «Какой-то католик не обожает всех женщин», которое является частным. Из него в свою очередь следует, что женщины, обожаемой всеми католиками, не существует, что является точным отрицанием первого предложения «Некоторую женщину обожают все католики». То же са-

* Слово *католик* употреблено здесь, по-видимому, в шутку, в значении «мужчина», см. прим. к 370. — *Прим. ред.*

мое справедливо относительно всякого частного предложения. Так, если «Некоторая ворона является белой», из этого следует, что «Никакое неизбежное последствие белизны не отсутствует у всех ворон», что является точным отрицанием частого предложения «Некоторое неизбежное последствие белизны отсутствует у всех ворон». Итак, из каждого частного предложения следует точное отрицание какого-то частного предложения, но ни из какого точного отрицания частного предложения не может следовать никакое частное предложение. Но это не распространяется на *простое* частное предложение, такое, как «Нечто является белым», так как сказать «Нечто является несуществующим» (что дала бы соответствующая трактовка) — нелепо, и это не должно вообще рассматриваться как предложение.

§ 13. Качество

374. (В грамматике и логике.) (1) Возьмем предложение, в котором общее имя (нарицательное) или прилагательное предицируется относительно имени собственного, и представим себе, что в действительности существует нечто, соответствующее этой форме предложения. Затем представим себе, что данная форма факта заключается в отношении объективного субъекта, или субстанции, к чему-то существующему, причем это отношение одно и то же во всех случаях, когда то же самое существительное или прилагательное предицируется в том же смысле и это воображаемое существующее нечто, рассматривается ли оно как реальное или только как условность мысли, является *качеством*. Так, если что-либо является прекрасным, белым или непонятным, то оно обладает качеством красоты, белизны или непонятности.

375. (2) Но в более правильном смысле термин «качество» неприменим, когда такое прилагательное, как *непонятный*, понимается как означающее отношение. Так, белизна будет, в этом узком смысле, качеством, только пока объекты считаются белыми независимо от чего бы то ни было еще; но когда это мыслится как какое-то отношение к глазу, «белизна» является качеством в более широком смысле. Локк[56] определяет качество как способность вызывать представление, что более или менее соответствует вышеприведенному разъяснению.

Термин Qualitas, который неизбежно стал употребляться в весьма неопределенном смысле, понимался в римских школах как обозначающий почти любой признак или признаки, для которых не было под рукой никакого другого наименования. Таким образом, возник целый ряд особых значений. Так в грамматике различие между существительными, имеющими множественное число, и теми, у которых нет множественного числа, называлось различием качества, как

и различие между личными местоимениями и такими местоимениями, как qui, quis «кто», и т. п.

376. (3) В логике: разграничение между утвердительным и отрицательным предложениями называли различием качества предложений все без исключения логики, от Апулея во II в. н. э. до наших современников.

Кант, чтобы дополнить триаду, добавил третье качество, которое назвал ограничительным, — качество предложения «Socrates est non homo» «Сократ есть не-человек» в отличие от «Socrates non est homo» «Сократ не есть человек». Это нововведение не выдерживает никакой критики; но авторитет Канта и сила традиции были причиной того, что оно сохранилось. Поскольку универсум признаков неограничен, очевидно, что любое множество объектов имеет некоторый предикат, общий для них и характерный только для этого множества. Если это так, то, как молчаливо предполагается в обычной силлогистике, разграничение между утвердительным и отрицательным предложениями полностью находится в связи с конкретным (particular) предикатом. Многие логики, несомненно, предполагали, что отрицательные предложения отличаются от обычных утвердительных предложений тем, что они не подразумевают реальности субъекта. Но что, в таком случае, означает «Некоторые патриархи не умирают»? Кроме того, все признают, что предложения per se primo modo «сами по себе и прежде всего» не предполагают существования субъекта, хотя они являются утвердительными. Во всяком случае, полученная силлогистика хотя и последовательна, но нежелательна. Если, однако, универсум признаков ограничен, как это есть в обычной речи, когда мы говорим, что логическая непоследовательность и мандарины не имеют ничего общего, то требуемая система формальной логики будет простым случаем логики отношений; но разграничение утвердительных и отрицательных предложений станет существенным и абсолютным, причем формы простых категорических предложений в таком случае будут:

Любое A обладает каждым признаком группы β.
Любое A лишено каждого из признаков группы β.
Любое A обладает некоторым признаком группы β.
Любое A лишено некоторого признака группы β.
Некоторое A обладает каждым признаком группы β. И т. п.

377. (4) Качество, уже у Аристотеля, особенно часто употреблялось для обозначения признаков, которые составляют достоинства или недостатки; и это слово замечательно по числу специальных значений, которое оно имеет. Со времени Канта оно употреблялось для обозначения разграничения между ясным и неясным, отчетливым и запутанным и т. д. См. предшествующую тему.

Различают качества первичные; вторичные; вторично-первичные, существенные, или субстанциальные; случайные, или акциденциальные; явные; скрытые; простые; исходные; элементарные; основные; производные; реальные; интенциональные; мнимые; возможные; логические; пропозициональные; активные; изменяющиеся; аффективные; категориальные и т. д.

§ 14. Отрицание

378. Отрицание используется (1) в логике, (2) в метафизике. В логическом смысле оно может употребляться (a) относительно, (b) абсолютно. Используемое относительно, применительно к предложениям, оно может пониматься (α) как отрицающее предложение или (β) как отрицающее предикат.

379. (1) В своем логическом смысле отрицание противопоставлено утверждению, хотя, когда отрицание используется относительно, утверждение, возможно, не является подходящим противоположным термином; в своем метафизическом смысле отрицательное противопоставлено положительному (факту и т. п.).

Рассматриваемое объективно, понятие отрицания является одним из наиболее важных логических отношений; но рассматриваемое субъективно, оно вообще является не логическим термином, а дологическим. Другими словами, это одно из тех представлений, которые следует тщательно разработать и которыми нужно научиться пользоваться, прежде чем можно будет хотя бы частично реализовать идею исследовать обоснованность рассуждений.

В учении об отрицании можно хорошо видеть результаты применения в логике принципа прагматизма. Прагматист при исследовании логических проблем ставит перед собой определенную цель. Он хочет установить общие условия истинности. Не беря на себя обязательство изложить здесь весь ход мысли, скажем, что первый шаг должен состоять в том, чтобы определить, каким образом два предложения могут быть связаны так, что при всех возможных обстоятельствах:

истинность одного влечет истинность другого,
истинность одного влечет ложность другого,
ложность одного влечет истинность другого,
ложность одного влечет ложность другого.

В этом должна состоять первая часть логики. Речь идет о логике дедуктивной, или (называя ее по ее основному результату) силлогистической. Во все времена эта часть логики признавалась необходимой предпосылкой дальнейших исследований. Дедуктивная и индуктивная, или методологическая, логики всегда разграничивались; и первое название обычно употреблялось так, как и здесь.

Чтобы проследить такие связи между предложениями, необходимо подвергнуть предложения некоторым преобразованиям. Можно сделать это различным образом. Некоторые способы ни в коей мере не ведут к разрешению нашей проблемы, и прагматист воздержится от них на этом этапе исследования. Примером такого подхода может быть выделение связки в качестве отдельной части предложения. Возможно, что существуют различные способы полезного преобразования; но обычный способ, единственный, который исследован в достаточной мере, может быть описан следующим образом.

Взяв какое бы то ни было предложение, например:

«Каждый священник сочетает браком некоторую женщину с некоторым мужчиной»,

мы заметим, что определенные части могут быть вычеркнуты таким образом, чтобы осталась незаполненная форма, которая, если заполнить пропуски собственными именами (называющими индивидуальные объекты, относительно которых известно, что они существуют), станет законченным предложением (каким бы оно ни было глупым и ложным). Такими незаполненными формами будут, например:

Каждый священник сочетает браком некоторую женщину с___
___сочетает браком ___с некоторым мужчиной
___сочетает браком ___с ___

Возможно, существует какой-нибудь язык, в котором пропуски в таких формах нельзя заполнить собственными именами так, чтобы образовались законченные предложения, потому что его синтаксис может быть иным для предложений, содержащих собственные имена. Но для нас здесь не имеет значения, какими могут быть правила грамматики.

Последняя из вышеприведенных незаполненных форм отличается тем, что она не содержит никакого селективного слова, такого, как *некоторый, каждый, любой,* или какого-либо выражения, эквивалентного такому слову по своему воздействию. Ее можно назвать Предикатом (см. 358), или ремой (ῥῆμα). Каждому такому предикату соответствует другой, такой, что если заполнить в обоих предикатах все пропуски одним и тем же набором собственных имен (называющих индивидуальные объекты, относительно которых известно, что они существуют), то одно из двух получающихся предложений будет истинным, тогда как другое — ложным; например:

Златоуст сочетает браком Елену с Константином;
Златоуст не-сочетает-браком Елену с Константином.

Правда, второе предложение нарушает правила грамматики*, но это не имеет большого значения. Говорят, что два таких предложения являются противоречащими и два таких предиката — взаимоотрицательными, то есть каждый из них получается в результате отрицания другого. Два предложения, содержащие селективные выражения, могут быть противоречащими; но, чтобы быть таковыми, каждое селективное выражение, обозначающее *подходящий выбор* (селекцию), должно быть заменено на выражение, обозначающее *любой выбор (селекцию), который может быть сделан,* или наоборот. Так, следующие два предложения являются противоречащими:

Каждый священник сочетает браком некоторую женщину с каждым мужчиной.
Некоторый священник не-сочетает-браком каждую женщину с некоторым мужчиной.

Очень удобно выражать отрицание предиката, просто присоединяя к нему *не-*. Если мы это примем, то *не-не-сочетает-браком* должно рассматриваться как эквивалентное выражение *сочетает браком.* Оказывается, что как в латинском, так и в английском языке это условное соглашение соответствует языковому употреблению. Вероятно, на земле лишь в незначительном меньшинстве языков действует это весьма искусственное правило. Говорят, что из двух противоречащих предложений каждое получается в результате *отрицания* другого.

Отношение отрицания может считаться определяемым по законам противоречия и исключенного третьего[57]. Эта точка зрения является допустимой, но не обязательной. Из всех понятий нерелятивной дедуктивной логики, таких, как следование, сосуществование, или композиция, агрегация, несовместимость, отрицание и т. п., необходимо только выбрать два понятия (и подойдут почти любые два), чтобы получить основу, нужную для определения остальных. Какие понятия следует выбрать — это вопрос, решение которого не входит в функции данного ответвления логики. Отсюда неоспоримые достоинства восьми знаков для связок, представленных К. Лэдд-Франклин как формальные показатели координации[58]. Но, рассматриваемые таким образом, они являются не собственно связками или утверждениями относительно отношений между несколькими отдельными объектами и предикатом, а только знаками логических отношений между различными составными частями предиката. Логическое учение, связанное с этими знаками, имеет важное значение в теории прагматизма.

---

* В оригинале non-marries, тогда как правильно было бы does not marry. — *Прим. ред.*

...*Отрицающее,* или *негативное, отрицание* есть отрицание, производимое присоединением отрицательной частицы к связке в обычном латинском «Socrates non est stultus» «Сократ не есть глупец» в отличие от *бесконечного,* или *инфинитного* (ἀόριστη), *отрицания,* производимое присоединением отрицательной частицы к предикату «Socrates est non stultus» «Сократ есть не глупец».

Кант возродил это разграничение, чтобы получить триаду, давшую симметрию его таблице категорий; и с тех пор это было одним из излюбленных предметов размышлений немецких логиков. Нет понятия более дуалистического по своему существу, нежели отрицание, понятие явно не триадическое: *Не-А = иное, нежели А = второе к А.* В языке сохраняется много следов этого. Dubius («сомнительное») находится между *двумя* альтернативами: да и нет*.

380. (2) В метафизическом смысле отрицание есть простое отсутствие признака или отношения, рассматриваемых как положительные. Оно отличается от привативного отношения тем, что не предполагает ничего иного.

Знаменитое изречение Спинозы, сыгравшее весьма существенную роль в построениях школы Шеллинга, «omnis determinatio est negatio» [«всякое определение (ограничение) есть отрицание»], имеет по крайней мере то основание, что *determinatio* (ограничение) в сторону одной альтернативы исключает для нас другую. Та же большая правда внушается молодежи в высказывании: «Вы не можете съесть булочку и иметь ее».

§ 15. Ограничительные суждения

381. (1) Этот термин относится к третьему качеству суждений, в добавление к утвердительным и отрицательным. Идея о таком третьем качестве возникла у римлян в связи с различием между «Человек не является добрым» (Homo non est bonus) и «Человек является не добрым» (Homo est non bonus), из которых второе предложение является ограничительным...

Это один из многочисленных случаев, когда случайности языка без достаточного основания влияют на признаваемые логические формы. Боэциус[59] и другие применяли инфинитацию также и по отношению к субъекту, что, как показал Де Морган[60], было ценным вкладом в логику. Вольф[61], однако, ограничил применение данной модификации предикатом, не указав для этого никакого серьезного основания. Кант заимствовал эту идею, так как она удачно дополняла его триаду категорий качества. Как сообщает Еше, Кант аргументировал это тем, что негативное суждение исключает субъект из сферы действия предиката, тогда как unendliche, огра-

---

* Dubius «сомнительное» — этимологически «двойное». — *Прим. перев.*

ничительное, или бесконечное, суждение помещает его в бесконечную сферу вне предиката. Следует отметить, что Кант считает, что положительный признак отличается per se «в самом себе» от отрицательного и что он, в частности, имеет значительно более узкий объем. Как и большинство античных логиков, он фактически ограничил универсум признаков такими признаками, которые останавливают наше внимание. Если бы это было сделано эксплицитно и последовательно, возникла бы интересная частная логика, в которой бы было содержательное, а не только формальное различие между утвердительными и отрицательными фактами. Вероятно также, что Кант понимал утвердительное предложение как утверждающее существование своего субъекта, тогда как отрицательное — как не содержащее такого утверждения; так что «Некоторые фениксы не восстают из своего пепла» было бы истинно, а «Все фениксы восстают из своего пепла» — ложно. Ограничительное суждение совпадает в этом отношении с утвердительным. Вероятно, это имел в виду Кант, но он не заметил, что его ограничительное суждение «Человеческая душа бессмертна» (nichtsterblich) может быть истолковано как эквивалентное конъюнктивному суждению «Человеческая душа не есть смертна, и она есть человеческая душа». Несомненно, между этими двумя утверждениями Кант усмотрел бы множество различий. В таком случае он должен был бы принять четвертое качество: «Человеческая душа не бессмертна».

§ 16. Модальность

382. Среди логиков нет согласия во взглядах на модальность, но, в общем, это логическая квалификация предложения или его связки или соответствующая квалификация факта или его формы различными способами, выраженными посредством модусов *возможность, невозможность, случайность, необходимость* (possibile, impossibile, contingens, necessarium).

Любая квалификация предикации есть модус; и Гамильтон говорит, что «все логики» называют любое предложение, на которое воздействует модус, модальным предложением. Однако это преувеличение; на практике этот термин со времен Абеляра, когда он впервые появился[63], и до настоящего времени был ограничен предложениями с четырьмя модусами — «возможный», «невозможный», «необходимый» и «случайный» — и лишь изредка распространялся и на некоторые другие; более того, можно было бы привести множество аргументов, свидетельствующих в пользу такого употребления.

Наиболее простое описание модальности — это описание схоластов, согласно которому необходимое (или невозможное) пред-

ложение представляет собой вид универсального предложения; возможное (или случайное, в смысле не необходимое) предложение — вид частного предложения. Другими словами, утверждать «А должно быть истинно» — значит утверждать не только, что А истинно, но и что *все* предложения, сходные с А, истинны; а утверждать «А может быть истинно» — значит утверждать только то, что некоторые предложения, сходные с А, истинны. Если будет задан вопрос, что подразумевается под сходными предложениями, ответ будет: все предложения, принадлежащие определенному классу, устанавливаемому в интересах рассуждения. Или можно сказать, что предложения, сходные с А, — это все те предложения, которые при некотором мыслимом уровне незнания были бы неотличимы от А. Ошибки не рассматриваются; приниматься во внимание должно только незнание. Это незнание будет заключаться в том, что его носитель не сумеет отвергнуть определенные потенциально мыслимые состояния универсума, каждое из которых абсолютно детерминировано во всех отношениях, но которые все на самом деле являются ложными. Совокупность этих неотвергнутых ложных состояний составляет «диапазон возможности» или, лучше, «диапазон незнания». Если бы не было незнания, эта совокупность была бы сведена к нулю. Предполагаемый уровень знания в предложениях необходимости, как правило, является воображаемым, а в предложениях возможности чаще представляет собой действительное состояние говорящего. Предложение необходимости утверждает, что при предполагаемом уровне знания во всем диапазоне незнания нет случая, когда предложение было бы ложным. В этом смысле можно сказать, что в основе каждой необходимости лежит невозможность. Предложение возможности утверждает, что найдется случай, когда оно истинно.

При изучении модальности мы сталкиваемся с различными тонкими разграничениями. Так, когда речь идет о диапазоне незнания, который определяется уровнем знания самого мыслящего субъекта, тогда суждения «А истинно» и «А должно быть истинно» не являются логически эквивалентными, потому что последнее утверждает факт, который первое не утверждает, хотя то, что этот факт утверждается, является прямым и окончательным свидетельством его истинности. Эти суждения аналогичны суждениям «А истинно» и «А истинно, и я это говорю», которые не являются логически эквивалентными, как легко показать, отрицая каждое из них и получая «А ложно» и «Если А истинно, я этого не говорю».

В частном предложении необходимости и универсальном предложении возможности иногда различают «совокупное» («composite») и «выделительное» («divided») значения. «Некоторое S дол-

жно быть P»*, взятое в совокупном значении, означает, что не существует случая во всем диапазоне незнания, когда то *или иное* S не было бы P; но, взятое в выделительном значении, оно означает, что существует некоторое S, такое, что это самое S остается P во всем диапазоне незнания. Далее, «Любое S, которое только может существовать, может быть P»**, взятое в совокупном значении, означает, что в диапазоне незнания есть некоторое гипотетическое положение вещей (или речь может идти о неидентифицируемом истинном состоянии, но едва ли возможно, чтобы такой случай был единственным), при котором или нет никакого S˜, или каждое существующее S есть P; тогда как в выделительном значении оно означает, что ни в каком гипотетическом состоянии нет вообще никаких S, кроме тех, которые в том или ином гипотетическом состоянии являются P. Если существует такое разграничение, выделительное значение утверждает больше, чем совокупное в частных предложениях необходимости, и меньше, чем в универсальных предложениях возможности. Но в большинстве случаев индивидуальные объекты не остаются идентифицируемыми во всем диапазоне возможности, и тогда разграничение становится бесполезным. Оно никогда не применяется по отношению к универсальным предложениям необходимости или к частным предложениям возможности.

383. Некоторые логики говорят, что «S может быть P» вообще не предложение, поскольку не содержит никакого утверждения. Но если бы оно не содержало никакого утверждения, никакое положение дел не могло бы его фальсифицировать и, следовательно, его отрицание было бы абсурдным. Пусть S будет «некоторое внутреннее противоречивое предложение», а P пусть будет «истинно». Тогда предложение возможности будет гласить: «Некоторое внутренне противоречивое предложение может быть истинно», а его отрицание — «Никакое внутренне противоречивое предложение не может быть истинным», что едва ли может быть названо абсурдным. Правда, эти логики обычно понимают форму «S может быть P» в копулятивном смысле «S может быть P, и S может не быть P», но ведь от этого оно утверждает больше, а не меньше. В таком случае предложение возможности является предложением. Оно не только должно быть признано одной из логических форм, если они должны быть достаточными для того, чтобы представить все фак-

---

* Английскому Some S must be P в «совокупном» (т. е. дизъюнктивном) значении может соответствовать русск. «Какое-нибудь S должно быть P», а в «выделительном» значении — «Какое-то S должно быть P». — *Прим. перев.*

** «Совокупное» значение англ. Whatever S there may be may be P может быть переведено на русский язык как «Может быть так, что любое S есть P», а «выделительное» — как «Для любого S возможно, чтобы оно было P». — *Прим. перев.*

ты логики, но оно играет особенно важную роль в теории науки[64]. В то же время, согласно рассматриваемой здесь точке зрения на модальность, предложения необходимости и возможности являются равнозначащими с некоторыми ассерторическими предложениями; так что они отличаются от ассерторических предложений не так, как отличаются друг от друга универсальные и частные предложения, а скорее приблизительно так, как отличаются друг от друга гипотетические (т. е. условные, копулятивные и дизъюнктивные) предложения, категорические предложения и предложения отношения — возможно, все же в меньшей степени.

Согласно этой точке зрения, предложения, логически необходимые и возможные, относятся к тому, что могло бы быть известно и без каких-либо знаний об обсуждаемом универсуме, а при единственном условии совершенно ясного понимания значения слов; таковы предложения, геометрически необходимые и возможные, относящиеся к тому, что исключается и не исключается знаниями о пространстве; физическая необходимость — к тому, что исключается и не исключается знанием определенных физических законов, и т. д. Но, когда мы говорим, что из двух множеств одно должно быть больше по мощности, чем другое, но каждое из них не может быть больше по мощности, чем другое, остается неясным, как этот тип необходимости может быть объяснен на основе вышеприведенных принципов.

384. Самая первая теория модальности принадлежит Аристотелю, философия которого и заключается главным образом в теории модальности. Тот, кто изучает Аристотеля, обычно начинает с Категорий; и первое, что останавливает его внимание, — это то, что автор совсем не отдает себе отчета в различии между грамматикой и метафизикой, между родами обозначения и родами бытия. Когда изучающий приступит к его «метафизическим» книгам, он обнаружит, что это не столько недосмотр, сколько принятая аксиома; что вся философия Аристотеля рассматривает существующую вселенную как осуществление, возникающее из предшествующей способности. Только в особых случаях Аристотель разграничивает возможность и способность, необходимость и вынужденность. Возможно, в этом он ближе к истине, нежели изложенная выше система равнозначностей.

385. По-видимому, первым пролил свет на эту проблему Кант. К старому разграничению между логической и действительной возможностью и необходимостью он приложил две новые пары терминов: аналитическое и синтетическое, субъективное и объективное. Следующие определения (где каждое слово, бесспорно, тщательно взвешено), несомненно, являются ценным развитием данной проблемы:

«1. То, что согласно с формальными условиями опыта (если иметь в виду созерцание и понятия), *возможно*.

2. То, что связано с материальными условиями опыта (ощущениями), *действительно*.

3. То, связь чего с действительным определена согласно общим условиям опыта, существует *необходимо*»[65].

Кант считает, что все общие метафизические понятия, применимые к опыту, могут быть представлены на диаграмме посредством изображения времени. Такие диаграммы он называет «схемами». Схема возможного — это изображение чего-нибудь в какой-нибудь момент. Схема необходимости — это изображение чего-либо продолжающегося на протяжении всего времени[66]. Он, кроме того, устанавливает (в разных местах), что предложение возможности представляет собой только концепт, а не суждение, и является функцией понимания (Verstand)* ; что ассерторическое предложение есть суждение и в этом смысле является функцией способности суждения и что предложение необходимости изображается как детерминированное законом и является, таким образом, функцией разума (Vernunft). Он утверждает, что его дедукция категорий показывает, что понятия, первоначально применимые к предложениям, могут быть распространены и на роды бытия (и как это сделать) — конститутивно на бытие, имеющее отношение к возможному опыту; регулятивно — на бытие вне возможности опыта.

386. Гегель считает силлогизм основной формой реального бытия. Он, однако, не стремится разработать сколько-нибудь основательно в свете этой идеи то, что обычно называют логикой, но что, с его точки зрения, становится лишь субъективной логикой. Он просто принимает таблицу функций суждений Канта, представляющую собой одну из самых необдуманных работ во всей истории философии. Поэтому то, что Гегель говорит по этому поводу, не следует считать закономерным результатом его общей позиции. Его последователи не были способны сделать большее. Для Розенкранца[67] модальность преодолевает форму суждения и подготавливает форму силлогизма.

В «Энциклопедии» Гегель в одном из последних своих объяснений (§ 178—180) дает понять, что содержанием «суждения понятия» является тотальность (или, скажем, соответствие идеалу)[68]. Сначала субъект является единичным, а предикат — отображением частного объекта на универсальный. Другими словами, о том или ином объекте, данном нам посредством опыта, высказывается суждение, что он соответствует чему-то в сфере идей. Но, когда это подвергается сомнению, так как субъект сам по себе не содержит никакого такого отношения к идеальному миру, мы получаем суждение «возможности», или суждение сомнения. А когда субъект

* В русской традиции Verstand Канта переводится обычно как «рассудок». — *Прим. перев.*

относится к своему роду, мы получаем аподиктическое суждение. Но Гегель в объективной логике уже разработал понятие возможности и необходимости как категорий сущности (Wesen). В «Энциклопедии» рассуждение, в общем, следующее. Действительность (Wirklichkeit) есть то, чей род бытия заключается в самовыявлении. Как тождество вообще (тождество бытия, Sein, и существования, Existenz) она есть прежде всего возможность, то есть, очевидно, голая возможность, любой продукт мысли, показываемый и рассматриваемый в виде факта. Например, возможно, что нынешний султан станет следующим папой. Но на второй стадии возникают понятия «Zufällig» «случайное» «Äusserlichkeit» «формальность; внешность», «условие». Zufällig есть то, что признается лишь возможным: «А может быть, но А может и не быть», но оно также описывается Гегелем, как имеющее основание. (Grund), то есть нечто, предшествующее (antecedent) его существованию, в чем-то ином, нежели оно само. Äusserlichkeit, по-видимому, знаменует бытие вне основания своего бытия. То, что Äusserlichkeit предполагает вне себя как основание (antecedent) своего бытия, есть пресуппонированное условие. Третья стадия дает прежде всего «реальную возможность». Здесь мы обнаруживаем понятия факта (Sache)*, «деятельности» (Thätigkeit) и «необходимости». [...] **

Примечания

Сноски 1, 2, 4, 5, 6 принадлежат Пирсу, остальные издателям английского текста; указания на литературу вынесены в примечаниях во всех случаях.

1 Объяснять суждение через «предложение» значит объяснять его через то, что по существу понятно. Объяснять же предложение через «суждение» значит объяснять нечто понятное само по себе через психический акт, представляющий собой самое непонятное из явлений или фактов.

2 Но если кто-либо предпочтет форму анализа, которая придает большее значение тому бесспорному факту, что предложение — это нечто, с чем можно соглашаться или что можно утверждать, я не намерен про-

---

* В русских переводах Гегеля термин Sache принято переводить термином «предмет». — *Прим. перев.*

** В нашем издании опущены пункты 387—390 (около 2 страниц текста), содержащие критику Пирсом воззрений на модальность Лотце, Тренделенбурга, Зигварта и Ланге. На этом раздел «Предложения» в оригинальном издании заканчивается. — *Прим. ред.*

тив этого возражать. Я не считаю, что мой анализ в достаточной степени подчеркивает все те моменты, которые следовало бы подчеркнуть.

[3] Если слово «некоторый» считается предусматривающим существование того, что определяется данным квантором, то как I-предложение, так и O-предложение относительно несуществующих объектов должны быть ложными; согласно квадрату оппозиций, как E, так и A тогда были бы истинны, так что все универсальные предложения, утвердительные или отрицательные, относительно несуществующих объектов истинны. См. также 324, 327, 369.

[4] Правильное название *условное*, а не *гипотетическое*, если следовать правилам, сформулированным автором в «Ethics of philosophical terminology» [кн. II, гл. I]. Значение слова hypotheticys в греческом было совершенно не установившимся; но, по-видимому, это слово в конечном счете стало относиться к любому сложному предложению; и поэтому Апулей, во времена Нерона используя для перевода слово conditionalis, писал: «Propositionum igitur perinde ut ipsarum conclusionum, duae speciae sunt: altera praedicativa, quae etiam simplex est; ut si dicamus, *qui regnal beatus est* altera substitutiva, vel conditionalis, quae etiam composita est; ut si aias; qui regnat, si sapit, beatus est. Substituis enim conditionem, qua, nisi sapiens est, non sit beatus».

«В таком случае предложения, так же как и заключения, бывают двух видов: во-первых, предикативное предложение, каковое является также простым, как если бы мы сказали *Кто царствует, тот блажен*; во-вторых, подстановочное, или условное, предложение, каковое является также сложным, как если скажем *Кто царствует, тот, если разумен, блажен*. Ибо ты подставляешь условие, что если он не разумен, то не будет блажен» (P r a n t l. Geschichte der Logik im Abendlande. 1, 580—581). Но еще при Боэции и Кассиодоре, т. е. около 500 г. н. э., было установлено, что hypothetica относится к любому сложному предложению, а coditionalis — к предложению, утверждающему одну вещь только если выполняется условие, излагаемое в отдельном придаточном предложении. Это было повсеместно принятое употребление данных терминов на протяжении всех средних веков. Поэтому гипотетические предложения следует разделить на дизъюнктивные и копулятивные. Обычно их делят на условные, дизъюнктивные и копулятивные. Но условные предложения на самом деле представляют собой только частный случай дизъюнктивных предложений. Сказать: «Если сегодня ночью будет мороз, ваши розы погибнут» — это то же самое, что сказать: «Или не будет мороза, или ваши розы сегодня ночью погибнут». Дизъюнктивное предложение не исключает истинности обеих частей сразу [ср. 345—347].

[5] Термин Милля «коннотировать» не очень точен. «Коннотировать» собственно значит «сообозначать побочным образом». Так, «убийца» коннотирует убитое живое существо. Когда схоласты говорили, что прилагательное коннотирует, они имели в виду, что оно конноти-

рует абстракцию, называемую посредством соответствующего абстрактного существительного. Но обычное употребление прилагательного не содержит обращения к какой бы то ни было абстракции. Слово *сигнифицировать* (означивать) было обычным специальным термином с двенадцатого столетия, когда Джон из Солсбери (Metalogicus, II, 20) говорил о том, «quod fere in omnium ore celebre est, aliud scilicet esse quod appellativa (т. е. прилагательные) *significant*, et aliud esse quod *nominant*. Nominantur singularis (т. е. существующие индивидуальные предметы и факты), sed universalia (т. е. Первичность) significantur» «Все почти утверждают одно и то же, а именно: следует различать то, что апеллятивы означают, и то, что они называют. Единичные объекты называются, а универсалии означиваются». См. мой доклад от 13 ноября 1867 г. [следующая глава], к которому я могу теперь [1902 г.] добавить множество примеров, подтверждающих то, что здесь было сказано в отношении «коннотировать» и «сигнифицировать» (означивать).

6 «Summulae Logicales» Петра Испанского [с. 71B], о которых Прантль [«Geschichte der Logik», II, 266 и сл.], автор малой рассудительности и переоцениваемой учености, чья популярная «История логики» изобилует грубыми ошибками, неверными оценками и неразумными теориями и чья площадная грубость оправдывает почти любой тон по отношению к нему самому, абсурдно утверждает, что эта книга в основном переведена с греческой книги, которая сама — явно перевод с латинского. «Суммулы» Петра Испанского почти тождественны некоторым другим современным им работам и очевидным образом основаны на учении, которое преподавалось в школах почти с 1200 г. н. э. После Боэция оно наиболее авторитетно в логической терминологии, согласно этическим взглядам автора настоящей работы

7 Т. е. оно может быть сформулировано в терминах материальной или Филоновой импликации. См. 348 сноска.

8 P r a n t l. Geschichte der Logik im Abendlande. I, 581.

9 A b e l a r d. Opera hactenus inedita, p. 225.

10 P r a n t l, op. cit., I, 696.

11 Термином (ὅρος) я называю то, на что распадается посылка, т. е. то, что «сказывается, и то, о чем оно сказывается» (Аристотель 24b. 16. Русск. перев.: Аристотель. Соч., т. 2. М., 1978, с. 120).

12 P r a n t l, op. cit., II, 197.

13 P r a n t l, op. cit., II, 272.

14 «Ona New List of Categories» («О новом списке категорий»).

15 S c h r ö d e r. Logic, § 28.

16 D e M o r g a n. Formal logic, ch. 4 и его «Syllabus» 21 и сл.; см. здесь 366.

17 См. Studies in logic. Ed. by Ch. S. Peirce, Little, Brown and Co., Boston, 1883; Christine L a d d. On the algebra of logic, p. 61 ff.; Fabian F r a n k l i n. A point of logical notation // Johns Hopkins University Circular, April, 1881, p. 131.

[18] См. русск. перев.: Кант И. Соч. в шести томах. Т. 3. М., 1964, с. 168.— *Прим. ред.*

[19] Филону следует тот, кто определяет импликацию «материально», т. е. тот, кто считает, что «из P следует Q» означает то же, что «Не-P или Q». У Цицерона (Acad. Qaest. II, 143) упоминается о споре между Филоном из Мегар, Диодором Кроносом и Хрисиппом по этому поводу; о расхождениях между Филоном и Диодором упоминает также Секст Эмпирик (Adversus mathematicos, VIII,113— 17).

[20] On the Algebra of Logic. Vol. 3, no. VI.

[21] Vol. 3, no. XII, XIII, §3.

[22] De Morgan. Formal Logic, ch 8.

[23] См. 378—380.

[24] См. 305—306.

[25] Duns Scotus Universalia Porphyrii, 9.12.

[26] Top., X (Аристотель. Топика, X.— *Прим. ред.)*.

[27] Scotus. Universalia Porphyrii, 9.12.

[28] Prantl. op. cit., III, 279.

[29] Scotus. Universalia Porphyrii, qu. XIV.

[30] Scotus, ibidem.— (Различие первой, или первичной, и второй, или вторичной, интенции было одним из основных положений схоластической теории познания, см. об этом в комм.— *Прим. ред.*).

[31] Conimbrenses. Praefatio Porphyrii, q. i. art. 4. (Conimbrenses — ученые Коимбрийской школы, в г. Коимбре, Португалия.— *Прим. ред.*)

[32] Praedicamenta, VI (Аристотель Категории, VI.— *Прим. ред.*).

[33] Met., V, XXV, 1023b, 22 (Аристотель. Метафизика, кн V, гл.XXV, 1023b, *22.— Прим. ред.*).

[34] Scotus Erigena. De divisione naturae, IV, 4.

[35] John of Salisbury. Metalogicus, II, XX.

[36] Prantl, op. cit., III, 77.

[37] Пирс имеет в виду соч.: Arnauld A., Nicole P. La logique ou l'art de penser. Paris. 1662.—*Прим. ред.*

[38] Thomson, Archbishop. An outline of the necessary laws of thought. 1842, §§ 52, 54, 80.

[39] Wilson W.D. An elementary treatise on logic, 1856, I, II, § 5.

[40] В этом же соч., 418.

[41] Scotus. Opus Oxon. I, II, 3.

[42] Prantl, op. cit., I, 581.

[43] Hamilton. Lectures on logic, XIII, p. 243—248.

[44] Baynes T.S. An essay on the new analytic of logical forms. 1850.

[45] De Morgan. Syllabus of a proposed system of logic. 1860, §21ff. см. также: Пирс, данное соч., 568.

[46] De Morgan, ibid., § 165.

[47] Petrus Hispanus. Summulae. Tractatus II, p. 87C.

[48] Albertus Magnus. De praedicabiliis, II, 1, p. 11A.

[49] Hamilton. Lectures on logic. App V (d), (3).

[50] L e i b n i z. Nouveaux essais sur l'entendement humain, livre IV, ch. 9.
[51] K a n t I. Kritik der reinen Vernunft (l Ausgabe), 599. (См. русск. перев. К а н т И. Критика чистого разума // К а н т И. Соч. в шести томах. Т. 3. М., 1964, с. 522.)
[52] L e i b n i z. Nouveaux essais. Avant-propos.— (Здесь цитируется по русск. перев. Лейбниц Г. В. Новые опыты о человеческом разуме. М.—Л., 1936, Предисловие.)
[53] K a n t I. Kritik... (2. Ausgabe. Einleitung, II). (Здесь цитируется по русск. перев.: К а н т И. Критика чистого разума.— И. Кант. Соч. в шести томах. Т. 3. М., 1964, с. 107).
[54] См. O c k h a m. Logica, I, XIV, ad fin.
[55] H a m i l t o n. Lectures on logic, XXVI.
[56] L o c k e J. An essay concerning human understanding, II, VIII, 8.
[57] Laws of thought, book III, ch. 4, § 15.
[58] Dictionary of Philosophy and Psychology. Vol. 2, p. 369 ff.
[59] P r a n t l, op. cit., I, 693.
[60] D e M o r g a n. Formal logic, p. 37 ff.
[61] W o l f f. Logica, § 208 ff.
[62] H a m i l t o n. Lectures on logic, XIV.
[63] P r a n t l, op. cit., II, 158 ff.
[64] см. Scientific Method, (vol. 7).
[65] K a n t I. Kritik der reinen Vernunft. (1 Ausgabe, 219.) (Здесь цитируется по русск. перев. К а н т И. Критика чистого разума // К а н т И. Соч. в шести томах. Т. 3. М., 1964, с. 280).
[66] См. указ. русск. перев., с. 220 и сл.
[67] R o s e n k r a n z. Wissenschaft der logischen Idee, Bd. II, S. 127.
[68] См. русск. перев. Г е г е л ь Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М., 1974, с. 363 и сл.

Кларенс Ирвинг Льюис

Модусы значения*

Обсуждение проблемы в данной статье в основном ограничено значением, т. е. тем, что передается словами, рядами письменных значков или звуков. Однако следует сразу же подчеркнуть, что значения слов не являются первичными: они появляются еще до их представления в языковом выражении; язык же способен модифицировать их в результате обратной связи той или иной степени сложности. Кроме того, значением обладают не только словесные выражения; ведь слова в принципе можно рассматривать как всего лишь суррогаты элементов другого рода, которые являются оригиналами при реализации функции значения. Как указал Чарльз Сандерс Пирс, основы значения-ситуации возникают тогда, когда имеется нечто, выступающее для некоторого ума в роли знака чего-либо отличного от этого нечто. Если же соотносить значение исключительно с единицами словесной символизации, то следствие будет предшествовать причине и возникнет риск чрезмерного упрощения. Общее значение термина «значение» таково: *A* значит *B*, если *A* выступает в качестве того, что представляет или означивает (сигнифицирует) *B*, т. е. если *A* выступает вместо *B* или вызывает *B* в воображении. Тем не менее едва ли существуют или

* Статья публикуется с небольшими сокращениями. Цифровые индексы указывают на «Примечания» автора в конце статьи. — *Прим. ред.*

могут существовать в принципе значения, которые нельзя было бы выразить с помощью слов: рассматривая только словесные значения, мы не исключаем заведомо какой-либо вид значений, а только ограничиваем поле зрения теми из них, которые передаются каким-либо конкретным носителем значения [...].

В общем случае связь между языковым знаком и его значением определена соглашением: языковые знаки — это словесные символы. *Словесный символ* — это опознаваемый образец (pattern) звуков, начертаний, помет, используемых с целью выразить нечто. (Что́ именно имеется в виду под конкретным образцом в различных обстоятельствах, частично связано с физическим подобием знаков, а частично с пониманием знаков в рамках соглашения.) Два начертания или два звука, соответствующие одному и тому же распознаваемому образцу, являются двумя *экземплярами* (instances) одного и того же символа, а не двумя различными символами.

Языковое выражение конституируется ассоциацией словесного символа и фиксированного значения; однако языковое выражение не может быть отождествлено только с одним символом или одним значением. Если различными символами выражается одно и то же значение, то это — два выражения, а не одно. Если же символ один и тот же, а значения различны, то это также два выражения, а не одно. Но если в двух случаях (различаемых по месту и по времени) имеется одно и то же значение и один и тот же символ, то речь идет о двух *экземплярах* одного и того же выражения.

Экземпляр символа часто называют символом, а экземпляр выражения — выражением; однако этот способ называния неточен. Чернильное пятно или шум — это конкретная сущность, символ же — сущность абстрактная; выражение — это абстракция, соотносящая символы друг с другом.

Языковое выражение может быть либо термином (термом), либо пропозициональной функцией. Как будет ясно ниже, все пропозициональные функции и пропозиции являются терминами, но только некоторые термины являются пропозициями или пропозициональными функциями: два этих класса не пересекаются.

Термин — это выражение, которое называет вещь или группу вещей того или иного рода, реальных (actual) или воображаемых, или приложимо к этим вещам.

Иногда говорят, что нереальное не может быть названо. Однако не следует так ограничивать сферу употребления глагола *называть* — ведь обо всем, что можно помыслить, можно и сказать. Утверждение, что не существующее в действительности не может быть названо, представляется слишком поверхностным. Как же те, кто так утверждает, расценивают явления, когда родители дают имя еще не родившемуся ребенку, а конструктор называет машину, которая еще только проектируется? Кроме того, имеются и реальные

трудности, связанные с такой точкой зрения; далее мы постараемся так построить наше рассуждение, чтобы по возможности не быть связанными с ней. Итак, можно переформулировать приведенное выше определение: термин — это выражение, способное именовать вещь или группу вещей определенного рода или способное быть приложимым к этим вещам.

В обычной речи принято говорить, что термин обозначает (денотирует) нечто существующее (сущее [existent]), к которому он приложим в каждом случае его употребления. Например, в высказывании *Те три объекта — книги* о термине *книга* говорят как об обозначающем (денотирующем) три указанных объекта или один из них. Такое употребление влечет за собой некоторую неясность, ибо в подобных случаях то, что имя обозначает (денотирует), чаще всего не является его денотацией. Тем не менее по-прежнему мы будем далее употреблять термины «обозначать» (денотировать (denote)) и «обозначение» (денотация (denotation)) в обычных значениях[1].

Все термины обладают значением в смысле, или модусе, денотации или экстенсии. В то же время они обладают значениями в модусе коннотации или интенсии.

Денотация термина — это класс всех реальных, или существующих, предметов, к которым данный термин правильно приложим. Определения «реальные, или существующие» здесь имеют ограничительный, а не поясняющий характер, то есть предметы, которые именуются или могут именоваться с помощью данного термина, но которые не существуют в действительности, в его денотацию не включаются.

Термин, не именующий никакого реального предмета, обладает нулевой денотацией. Но ошибочно было бы утверждать, будто такие термины, как *единорог* или *Аполлон,* денотацией не обладают, поскольку в этом случае пришлось бы считать, что они не обладают значением в соответствующем понимании термина «значение». Термин обладает значением в модусе денотации, если он функционирует в качестве имени целенаправленно; любое же произнесенное выражение, лишенное такой целенаправленности, термином не является.

Когда необходимо указать на любой объект, к которому некоторый термин приложим правильным образом, мы будем говорить о *классификации,* а не о классе, и о понятийном содержании термина. Таким образом, понятийное содержание (comprehension) термина (далее просто содержание термина) — это классификация всех непротиворечиво мыслимых предметов, к которым правильно приложим данный термин; нечто является непротиворечиво мыслимым, если утверждение о его существовании не связано с явным или неявным противоречием. Например, содержание термина *квадрат*

охватывает все мыслимые и реально существующие квадраты, но не охватывает круглых квадратов.

Если ясно различать денотацию и объем, то можно избежать многих неточностей при анализе.

Интенсионал (или *коннотация*) термина устанавливается путем правильного определения. Если все, что может быть правильно поименовано посредством T только при условии, что оно же может быть правильно названо посредством A_1, A_2... и т. д. A_n, и если произвольный предмет, называемый с помощью составного термина A_1, A_2... и т. д. до A_n, может быть также назван посредством T, тогда этот составной термин, или любой ему синонимичный, задает интенсионал для T, и об этом термине можно сказать, что он обладает тем же денотатом, что и T. Это может привести к определенной неоднозначности интенсионала, о чем будет сказано ниже. Однако пока что данная здесь характеристика достаточно ясна.

По традиции термин «сущность» (essence) употребляется для указания на то свойство именуемого объекта или объектов, которое соотносимо с интенсионалом термина. Разумеется, бессмысленно говорить о сущности вещи вне связи с именованием ее посредством некоторого определенного термина. Однако для целей анализа желательно, а иногда даже необходимо, каким-либо способом выделить различие между теми характеристиками объекта, которые существенны для его поименования, и теми его характеристиками, которые в данном отношении не существенны. Мы будем говорить, что термин *обозначает (сигнифицирует)* определенные признаки содержания и что любой объект, обладающий этими признаками, может быть правильно поименован посредством данного термина; те объекты, которые не обладают такими признаками, не могут быть поименованы таким способом. Это важное свойство содержания термина мы будем называть его *сигнификацией*[2].

Абстрактные термины — это такие термины, которые называют то, что ими сигнифицируется. Таким образом, сигнификация и денотация абстрактных терминов совпадают. Предметы, включающие в себя сигнификацию некоторого абстрактного термина A, но обладающие также другими характеристиками, не включенными в объем термина A, представляют собой *экземпляры* A (instances of A), но не именуются посредством A.

Неабстрактные термины, денотация которых отлична от их сигнификации, называются *конкретными*.

Законы языка таковы, что определенные слова и словосочетания (например предикаты-прилагательные типа *красный*), выступая в роли грамматического подлежащего, являются абстрактными терминами, но могут быть также и конкретными терминами, выступая в составе предиката. Такие слова и словосочетания иногда называют атрибутивными. Но это в первую очередь лингвистическая клас-

сификация; указанные слова и словосочетания являются, строго говоря, не терминами, а лишь неоднозначными символами, обладающими то одним, то другим значением. Характеризовать их как «атрибутивные» целесообразно только тогда, когда требуется избежать каких-либо неточностей относительно различения абстрактных и конкретных терминов.

Сингулярный термин — это такой термин, интенсионал которого исключает его употребление по отношению к более чем одному реальному предмету. Несингулярный термин называется *общим*. (Дихотомия «сингулярный — общий» несущественна для абстрактных терминов; если она к ним применяется, то все абстрактные термины должны быть квалифицированы как сингулярные.)

Следует отметить, что сингулярность или общность — это характеристики интенсионала, а не денотации. *Данный красный предмет на моем столе* — это сингулярный термин, а *красный предмет на моем столе* — общий термин, вне зависимости от того, какие красные предметы лежат на моем столе. Когда на моем столе нет красных предметов или когда их более одного, тогда *данный красный предмет на моем столе* обладает нулевой денотацией, однако его статус сингулярного термина не меняется.

Вопрос о содержании сингулярного термина связан с тем соображением, что, несмотря на сингулярность в рамках интенсионала, интенсионал сингулярного термина тем не менее никогда не бывает достаточным (т. е. позволяющим обойтись без других, случайных с логической точки зрения данных) при определении того, какой индивид именуется, то есть при выборе этого индивида из числа всех мыслимых предметов, отвечающих интенсионалу термина. Таким образом, денотация сингулярного термина — это класс, состоящий из одного элемента, либо пустой класс. Содержание такого термина — это классификация всех предметов, которые могут быть однозначно представлены как единственный элемент этого класса.

Возможно также, что интенсионал любого термина определяет его содержание, и наоборот, любой способ задания содержания термина предопределяет его интенсионал путем задания тех характеристик, которые общи всем предметам, включенным в такое содержание. Точно указать содержание можно лишь путем описания интенсионала; однако исчерпывающее перечисление всех мыслимых предметов, включаемых в содержание, никогда не бывает возможным.

И все же интенсионал термина и его денотация не являются взаимоопределяющими, ибо, когда задается интенсионал, денотация ограничивается, но не фиксируется. Если предметы не обладают каким-либо существенным атрибутом, указанным в интенсионале или вытекающим из него, то они исключаются из денотации.

Однако вопрос о том, что включено в денотацию, а что нет, зависит также от того, что существует реально, ибо класс денотатируемых предметов (в отличие от предметов, которые включены в содержание) ограничен только реально существующими.

С другой стороны, когда задана денотация термина, интенсионал его также ограничен, но не фиксирован. Интенсионал не может включать в себя произвольный атрибут, отсутствующий в одном, или более чем в одном, называемом предмете; однако интенсионал может включать, а может не включать в себя какой-либо атрибут, общий для всех существующих предметов, называемых данным термином: ведь такой атрибут может либо быть, либо не быть существенным для такого называния. Выражение *бескрылое двуногое,* например, не коннотатирует* «разумность», несмотря на то что денотируемый класс содержит только разумные существа.

Отметим также, что термин может обладать и нулевым содержанием, например, *круглый квадрат.* Классификация непротиворечиво мыслимых предметов, называемых таким образом, оказывается пустым классом. Но многие термины — например, *единорог* и *неразумное животное, которое смеется* — обладают нулевой денотацией и ненулевым содержанием; предметы, которые можно правильно поименовать таким образом, мыслимы непротиворечиво.

Классическое предписание считать денотацию обратно пропорциональной интенсионалу (коннотации) неверно. Так, например, *разумное бескрылое двуногое* обладает той же денотацией, что и *бескрылое двуногое,* однако это соотношение имеет место между интенсионалом и содержанием. Любой признак, добавляемый к интенсионалу, сужает содержание, а при устранении какого-либо признака из интенсионала классификация, определяющая содержание, расширяется, и тогда в нее уже входят мыслимые предметы, которые при сохранении указанного уточнения были бы исключены.

Это соотношение между интенсионалом и содержанием заслуживает внимания, ибо из него вытекает, что термин с нулевым содержанием обладает *универсальным* интенсионалом. На первый взгляд, это кажется парадоксом. Однако правильность такого вывода подтверждается следующими двумя соображениями. Только термины, не называющие ничего, что мыслимо непротиворечиво, обладают нулевым содержанием. В частности, высказывание *А круглое и квадратное одновременно* можно представить как *А есть у* при любом значении *у*. Иначе говоря, атрибуция «одновременно круглое и квадратное» имеет логическим следствием *любой* атри-

* Так как у Льюиса термины «интенсионал» и «коннотация» — синонимы (см. выше), то выражение «коннотатирует» следует понимать как «влечет (признак); предполагает (признак) включенным в интенсионал». — *Прим. ред.*

бут, а интенсионал выражения *круглый квадрат* универсален, поскольку включает в себя любой атрибут, который может быть назван.

Этот факт позволяет объяснить то, что иначе выглядит непонятным. Грубо говоря, неверно утверждать, что термины типа *круглый квадрат* не имеют интенсионала или что у них нет значения. Такие термины отличаются от бессмысленного выражения *зук* тем, что имплицируют свойства круглости и квадратности. И именно в силу этого значения (этого интенсионала) может быть определена неприложимость таких терминов к чему-либо непротиворечиво мыслимому.

Таким образом, то, что подразумевается под указанным выше неправильным высказыванием (а именно: у таких терминов нет значения), может быть точно сформулировано, если сказать, что такие термины обладают нулевым содержанием или что их интенсионал универсален.

Диаметрально противоположный вид термина (т. е. термин, обладающий универсальным содержанием и нулевым интенсионалом) часто считают не имеющим значения. Существо (being) и сущность (entity) являются такими терминами, если считать, что все, что может быть названо, является существом или сущностью. И опять-таки указать правильным способом на отсутствие значимости (significance) значит сказать, что в атрибуции этих терминов нет такого атрибута, который отсутствовал бы в каком-либо предмете, и что их интенсионал пуст, а содержание неограниченно. Но если бы у них вообще не было значения (интенсионала), то их характер нельзя было бы определить.

Вышеупомянутые виды значения — денотация или экстенсионал, коннотация или интенсионал, содержание и сигнификация — являются также видами значения пропозиций и пропозициональных функций. Ведь пропозиции — это разновидность терминов; пропозициональная функция — это также разновидность терминов.

Пропозиция — термин, способный означивать (сигнифицировать) состояние дел. Определить пропозицию как выражение, которое может быть либо истинным, либо ложным, было бы правильно, но неудобно: это может привести к смешению пропозиции и ее *высказывания* (или *утверждения*), тогда как элемент утверждения в высказывании является по отношению к собственно пропозиции внешним. Пропозиция — это содержание (content), которое может утверждаться. Само содержание, сигнифицирующее определенное положение дел, может быть вместе с тем поставлено под сомнение, подвергнуто отрицанию, может быть представлено как предположение, либо в каком-либо ином наклонении.

Высказывание *Фред покупает бакалейные продукты* утверждает состояние дел; с помощью причастного оборота оно может

быть переделано: *Фред, покупающий бакалейные продукты (в данный момент)*. Вопросительная конструкция *Фред покупает бакалейные продукты?* ставит вопрос относительно состояния дел; высказывание *Пусть Фред покупает бакалейные продукты* представляет это в побудительном наклонении; *О, если бы Фред покупал бакалейные продукты* — в желательном наклонении; *Предположим, что Фред покупает бакалейные продукты,* — в виде предположения. Если опустить этот произвольный элемент утверждения (или любой иной вид сопровождения), мы получим утверждаемое содержание, то есть саму пропозицию, которую можно выразить некоторым именным термом, причастием, сигнифицирующим реальное или мыслимое состояние дел.

Заметим, что состояние дел — это *сигнификация* пропозиции, а не ее денотация. Когда термин денотирует некоторый предмет, он называет этот предмет как целое, а не как какой-то сигнифицируемый признак или атрибут. И то, что термин денотирует, или то, к чему он прилагается, согласно закону исключенного третьего, денотируется либо одним, либо другим членом каждой пары взаимно исключающих терминов, которые могут быть осмысленно приложимы к нему. Таким образом, аналогия между пропозициональными терминами и самыми обычными видами терминов нарушилась бы, причем в самом важном месте, если бы пропозиции рассматривались как денотирующие состояние дел, на которое они указывают. Денотация, или экстенсионал, пропозиций не вошла бы в сферу действия закона исключенного третьего. Денотация, или экстенсионал, пропозиции, как вытекает из этого закона, — это нечто денотируемое либо одним, либо другим членом из пары взаимоисключающих пропозициональных терминов, то есть одним из членов каждой пары взаимно контрадикторных пропозиций. И этот денотируемый предмет — не просто ограниченное состояние дел, на которое указывает пропозиция, а то полное (total) состояние дел, которое мы будем называть миром. Ограниченное состояние дел, сигнифицированное таким образом, представляет собой *существенный атрибут,* которым должен обладать мир, с тем чтобы данная пропозиция могла его денотировать, то есть могла быть приложимой к такому миру. Высказывание, дающее утверждение пропозиции, *атрибутирует* сигнифицируемое состояние дел реальному миру. Денотация, или экстенсионал, пропозиции (поскольку денотация во всех случаях ограничена тем, что существует) — это либо реальный мир, либо пустота. Таким образом, все *истинные* пропозиции имеют один и тот же экстенсионал, а именно: актуальный мир. Все *ложные* пропозиции также имеют один и тот же экстенсионал, а именно: нулевой экстенсионал. Таким образом, различительный экстенсиональный признак пропозиции — это ее истинность или ложность.

Пропозиция включает в свое понятийное содержание любой непротиворечиво мыслимый мир, который выражает состояние дел, сигнифицируемое ею, это — классификация лейбницевских возможных миров. Такая концепция возможного мира — не чистая абстракция: реальный мир представляет собой один из многих возможных миров в той степени, в какой он известен кому-либо. Например, я не знаю, сколько денег у меня в кармане в данный момент. Предположим, тридцать центов. Этот мир полностью совпадает с объективно данным за исключением того, что у меня в кармане не тридцать, а тридцать пять центов. Это непротиворечиво мыслимый мир даже при тех фактах, которые мне известны. Когда я рассуждаю относительно числа фактов, о которых у меня нет определенных знаний, обилие возможных миров, которые, по моему мнению, могли бы соответствовать истинному миру, становится пугающе огромным.

Интенсионал пропозиции включает в себя все, что вытекает из пропозиции; он охватывает все, что должно быть истинным относительно любого возможного мира, с тем чтобы пропозиция могла быть приложима к такому миру, т. е. была бы истинна относительно этого мира. Именно этот смысл пропозиции хорошо известен и является фундаментальным.

Аналитическая пропозиция — та, которая истинна относительно любого возможного мира, следовательно, это такая пропозиция, понятийное содержание которой универсально; ее интенсионал соответственно нулевой. Именно здесь важно ранее отмеченное различие между терминами с нулевым интенсионалом и выражениями без значения. Аналитическая пропозиция не лишена импликаций, хотя все логические следствия из нее являются такими же аналитическими пропозициями, то есть представляют собой необходимые пропозиции, истинные относительно любого непротиворечиво мыслимого мира. Та черта аналитической пропозиции, что она имеет интенсионал, является коррелятом другого ее свойства, а именно: будучи справедливой относительно действительности, она не накладывает никаких ограничений на то актуально существующее, чего, с точки зрения непротиворечиво мыслимого, могло бы и не быть.

Самопротиворечивая, или несостоятельная, пропозиция имеет нулевое содержание и не может быть приложима (т. е. не может быть истинна) ни к одному непротиворечиво мыслимому миру. Коррелятом этого свойства является то, что такая пропозиция имеет универсальный интенсионал: из нее вытекают все пропозиции — как истинные, так и ложные.

Все *синтетические* пропозиции, за исключением самопротиворечивых, имеют интенсионал, который не является ни нулевым, ни универсальным, и понятийное содержание, которое также не

является ни нулевым, ни универсальным. Синтетические пропозиции имплицируют одни предметы и исключают в этом качестве другие. В соответствии с этим их истинность с одними непротиворечиво мыслимыми состояниями дел совместима, а с другими — нет [...].

Почти в каждом месте данного очерка мы были вынуждены обходить молчанием некоторые существенные вопросы. При сжатом изложении остается недостаточно места, чтобы указать на приложение нашей концепции к спорным вопросам теории. И все же мы коротко коснемся двух вопросов: вопроса об осмысленности в целом и вопроса о неоднозначности термина «интенсионал», о которой упоминалось выше.

Когда приходится рассуждать вообще о «значении» термина, пропозиции или пропозициональной функции, становится очевидным, что значение в модусе интенсии имеет все основания для того, чтобы претендовать на этот предпочтительный статус. Выражения, имеющие одну и ту же коннотацию или интенсионал, должны также иметь одну и ту же денотацию, или экстенсионал, одну и ту же сигнификацию и одно и то же понятийное содержание. Поэтому можно было бы предположить, что два выражения с одинаковым интенсионалом обладают одинаковым значением в любом смысле термина «значение». Тем не менее это было бы ошибкой.

Две фразы, выражающие одно и то же интенсиональное значение, могут быть тем не менее различными выражениями, а не просто двумя экземплярами одного и того же выражения; это положение уже обсуждалось выше. Они различны уже в силу того, что различны символы. При этом не любая пара выражений, обладающая одинаковыми интенсионалами, может быть названа синонимами; для такого утверждения есть веские основания

Два выражения обычно называются синонимичными (или, когда речь идет о пропозициях, эквиполентными), если у них один и тот же интенсионал, который *не является ни нулевым, ни универсальным*[3]. Но сказать, что два выражения с одинаковым интенсионалом имеют одно и то же значение, не конкретизировав это, значит, по сути дела, признать, что две любые аналитические пропозиции являются эквиполентными, равно как и две любые самопротиворечивые пропозиции. И тогда два любых термина типа *круглый квадрат* и *храбрый трус* окажутся синонимами. Но это не так.

Желаемое ограничение заставляет нас сделать дальнейшие уточнения относительно интенсионального значения, когда речь идет о сложных выражениях.

Конкретное выражение является *элементарным*, если оно не содержит символизированной составляющей, интенсионал которой есть составляющая интенсионала всего данного выражения. В противном случае выражение называется *сложным*.

Интенсионал любого сложного выражения имеет в дополнение к интенсионалам его символизированных элементарных составляющих также и элемент синтаксиса. Стараясь избежать здесь обсуждения сложнейших синтаксических вопросов, мы будем считать, что синтаксис сложного выражения в той мере, в какой он уже имплицитно не заложен в интенсионале составляющих, взятых порознь (например, в силу того, что эти составляющие являются существительными, глаголами и т. п.), передается *порядком следования* этих составляющих.

Говоря о способах, которыми сложные выражения могут анализироваться (разложение на составляющие), и о синтаксическом их упорядочении, мы можем обратиться к *аналитическому значению*. Этот термин определен не будет: мы будем вместо этого говорить об отношении «эквивалентности по аналитическому значению». Два выражения являются эквивалентными по аналитическому значению в том случае, если (1) по меньшей мере одно из них элементарно и оба выражения обладают одним и тем же интенсионалом; (2) оба выражения сложные, причем разложимы на компоненты, которые в свою очередь сами состоят из частей, таких, что (а) можно установить взаимно однозначное соответствие между этими частями обоих выражений; (б) ни одна из таких частей не может иметь нулевой или универсальный интенсионал; (в) порядок соответствующих частей в обоих выражениях либо одинаков, либо может быть приведен к одинаковому порядку без изменения интенсионала каждого из целых выражений.

Так, выражения *круглый вырез* и *вырезанный круг* эквивалентны по аналитическому значению, равно как и термины *квадрат* и *равносторонний прямоугольник;* последние имеют один и тот же интенсионал, а один из них элементарен. Но выражения *равносторонний треугольник* и *равноугольный треугольник* несмотря на то, что обладают одинаковым интенсионалом, если рассматривать эти выражения как целые, неэквивалентны по аналитическому значению, поскольку первое выражение не содержит составляющей, которая обладала бы интенсионалом термина *равноугольный*, а второе не содержит составляющей с интенсионалом термина *равносторонний.*

Мы останемся в рамках нормального словоупотребления, если будем говорить, что два выражения синонимичны, или эквиполентны, если (1) у них один и тот же интенсионал, не являющийся ни нулевым, ни универсальным; или (2) их интенсионал либо нулевой, либо универсальный, но при этом выражения эквивалентны по аналитическому значению. В рамках нормального словоупотребления мы останемся и в том случае, если будем употреблять высказывание *два выражения имеют одно и то же значение* (когда модус зна-

чения, который при этом имеется в виду, не конкретизирован), если эти выражения синонимичны или эквиполентны.

Теперь обратимся к неоднозначности термина «интенсионал».

Интенсионал, или коннотация, может мыслиться двумя способами — как «языковое значение» и как «смысловое значение».

Языковое значение — это интенсионал, конституируемый моделью отношения дефиниции и иных аналитических отношений данного выражения к другим *выражениям*[4]. Если бы кто-либо захотел, например, усвоить значение какого-нибудь французского слова только с помощью французского толкового словаря, то при недостаточном знакомстве с французским языком ему пришлось бы сначала устанавливать по словарю значения тех слов, которые входят в определение искомого слова, затем устанавливать значения тех слов, через которые в словаре определяются значения пояснительных слов и т. д., и т. д. Таким образом, человек создал бы довольно хорошую модель языковых отношений между данным словом и другими словами французского языка. Если бы по идеальному стечению обстоятельств можно было довести такой процесс до логического конца, то наш полиглот охватил бы полностью и с совершенной точностью языковую модель, соотносящую значительный корпус слов иностранного языка, но при этом, очевидно, он так и не узнал бы, что значит каждое из этих слов. То, что при этом все-таки узнается, было бы *языковым значением*, а то, что при этом ускользает, является *смысловым значением*.

Смысловое значение — это интенсионал, взятый как некоторый мыслительный критерий, с помощью которого возможно установить, приложимо или нет конкретное выражение к конкретным предметам и ситуациям. Тот, кто окажется в состоянии употреблять или отвергать некоторое выражение правильным образом во всех возможных обстоятельствах, будет в совершенстве владеть смысловым значением. Если же при этом, в силу небезупречного чувства языка или слабых аналитических способностей, он не сможет дать какого-либо правильного определения, тогда он не сможет также уловить (по крайней мере эксплицитно) языковое значение выражения.

Так как многие логики в последнее время несколько больше интересовались языковой стороной, то интенсионал как языковое (или «синтаксическое») значение выдвинулся в центр их внимания, а смысловое значение осталось на втором плане. Однако эти два вида интенсионального значения взаимодополнительны, а не альтернативны. И все же для многих целей теории познания более важным представляется исследование именно смыслового значения. Например, те, кто занимался проблемой теоретической верификации значимости (significance), заключенной в каком-либо

высказывании, имеют в виду смысловое значение как главный признак осмысленности в общем случае. Аналогично подходят к этому и те, кто пытается найти критерий практического различения этих понятий. И те, кто подчеркивает операциональную значимость понятий, также говорят главным образом о смысловом значении.

Смысловое значение находится в тесной связи с образностью. Лишь благодаря способности воображения человек еще до презентации объекта имеет в сознании мысленный рабочий критерий для определения того, подходит или не подходит некоторое выражение к тому, что будет презентировано. Однако уже из-за векового спора между номиналистами, концептуалистами и реалистами известно, что смысловое значение нельзя непосредственно и просто отнести к сфере образности. Номиналист отрицает возможность смыслового значения, основываясь на том, что невозможно вообразить себе собаку вообще или треугольник вообще либо наглядно представить себе различие между тысячесторонним многоугольником и девятьсотдевяностодевятисторонним многоугольником. Именно упорство номиналистов в значительной мере привело к современной тенденции полностью отождествлять значение с языковым значением.

Ответ на этот вопрос был дан Кантом. Смысловое значение, выражаясь точным образом, представляет собой схему; оно определяет правило или предписывает последовательность действий, мысленный результат которых определяет уместность приложения конкретного выражения. Мы не можем представить себе указанный многоугольник с фантастическим количеством сторон, но мы легко можем вообразить себе подсчет числа сторон многоугольника и получение в качестве результата 1000. Мы не в состоянии вообразить треугольник вообще, но мы легко можем представить себе обвод фигуры по периметру глазами или пальцем и установление того, что эта фигура имеет три угла. (Многие приверженцы операциональной значимости забывают упомянуть воображаемый результат и зачастую — если понимать их буквально — отождествляют понятие или значение исключительно с такой последовательностью действий. По-видимому, это непреднамеренное упущение: никакой процедурой наложения деревянного метра на предметы нельзя было бы определить длину, если бы не было опережающего представления о результате, как, скажем, подтверждения мнения о том, что данный предмет имеет длину три метра.)

На многие эпистемологические проблемы может быть пролит свет, если прибегнуть к понятию смыслового значения. Возьмем, например, вопрос об осмысленности утверждения, что существуют горы на обратной стороне Луны. Практические трудности про-

верки этого не важны*: процедура и результат проверки этого утверждения мыслятся с той степенью ясности, которая достаточна для установления истинности, — возможно, с той же степенью ясности, с какой мы понимаем верификацию предположения о наличии слонов в Африке. Оба утверждения в равной мере обладают смысловым значением.

Если сказать, что аналитические высказывания не обладают смысловым значением, то мы как раз и придем к выводу, что интенсионал аналитических высказываний нулевой и что эти высказывания не требуют никаких ограничений на какое-либо непротиворечиво мыслимое полное состояние дел, т. е. мир, поскольку они истинны относительно него. Аналитические высказывания, так сказать, верифицируемы уже тем, что нельзя вообразить себе никакое положение дел, в которых они не были бы истинны. Но если бы *составляющие* внутри аналитических высказываний были лишены смыслового значения, — в некотором более узком смысле (т. е. в смысле критериев уместности их употребления, которые иногда соблюдаются, а иногда и нет), — то тогда эту универсальную приложимость аналитического высказывания можно было бы оправдать только опираясь на воображение, не указывая конкретные акты восприятия. А следовательно, такая приложимость не была бы априорно познаваемой.

Аналогичным образом, если считать, что самопротиворечивое утверждение не обладает смысловым значением, то придется согласиться с тем, что самопротиворечивое высказывание имеет универсальный интенсионал и нулевое понятийное содержание. Достаточно одного воображения, чтобы обнаружить, что ситуация, в которой такое высказывание было бы уместно приложимо, не существует. Но и здесь опять-таки это не было бы априорно очевидным, если бы составляющие самопротиворечивого выражения не имели несамопротиворечивых смысловых значений. Мы можем удостоверить возможность того, что выражено, путем эксперимента, попытавшись соотнести эти смысловые значения составляющих таким образом, каким предписывает это данное выражение, взятое как целое.

В силу связи в конечном счете с конкретным смысловым значением даже аналитическое и самопротиворечивое высказывания имеют некоторую эмпирическую референцию к миру опыта.

А без этого они были бы попросту несущественны для какого-либо опыта (experience) в мире фактов. Они независимы от того или иного конкретного состояния дел или от того, как реальный мир выглядит в деталях, потому что их приложимость или неприложимость в целом, их истинность или ложность вообще, подтверждаемы в результате опыта воображений.

---

* Следует иметь в виду, что данная статья К. И. Льюиса написана в 1943 г. — *Прим. ред.*

Примечания

1 Желая устранить указанное неудобство, иногда говорят, что термин *десигнирует* предмет, называемый им. Эта терминология допустима, но здесь не употребляется.

2 Возможно, кому-то покажется более правильным считать, что сигнифицирует именно знак, а не термин или языковое выражение, которое конституируется ассоциацией знака со значением. Конечно, наше употребление слов *сигнифицировать* и *сигнификация* произвольно: возможно, вместо них удалось бы подобрать другие, более удачные слова. Однако с помощью этих слов мы указываем на функцию термина или выражения, а не на свойство, которое (подобно очертаниям предмета) может быть знаку приписано вне зависимости от значения, с ним соотносимого.

3 «Эквиполентный» — термин не очень уместный здесь; однако нет другого термина, который однозначно именовал бы то отношение между пропозициями, которое параллельно отношению синонимии между терминами.

4 Иногда употребляют в этой связи термин «синтаксические» вместо «аналитические». Связь является аналитической, если ее констатация составляет аналитическое высказывание.

Анна Вежбицка

Из книги «Семантические примитивы»

ВВЕДЕНИЕ

«Философия — не теория, а деятельность. Философская работа состоит по существу из разъяснений»[1].

Почти то же самое можно сказать и о семантике. Семантика представляет собой деятельность, которая заключается в разъяснении смысла человеческих высказываний. Ее цель состоит в том, чтобы выявить структуру мысли, скрытую за внешней формой языка. («Язык переодевает мысли. И притом так, что по внешней форме этой одежды нельзя заключить о форме скрытой за ней мысли, ибо внешняя форма одежды образуется совсем не для того, чтобы обнаруживать форму тела»)[2].

Традиционная семантика занималась довольно бессистемно то значениями индивидуальных выражений, то изменениями значений. Что касается современной семантики, то основным предметом ее внимания является *семантическое представление*: вместо того чтобы говорить о значениях (и изменениях значения), она стремится моделировать их и представлять в виде эксплицитных формул.

В настоящее время широко распространен взгляд, что основной целью семантики должно быть моделирование значений. Однако меньше согласия обнаруживается в отношении того, какой «язык», какую форму записи сле-

дует использовать для этой цели. То, чего можно надеяться достичь, необходимо является производным от нашего выбора семантического метаязыка. По моему мнению, наиболее плодотворный подход состоит в том, чтобы попытаться сделать репрезентацию значений одновременно их толкованием. Этот тип семантической репрезентации — «экспликация» — возможен только тогда, если запись является, по существу, самоочевидной. Семантический метаязык только в том случае будет по-настоящему «объясняющим», если он является настолько ясным и непосредственно понятным, чтобы в свою очередь не требовать «толкования». В частности, по этой причине формулы символической логики и матрицы дифференциальных признаков не могут рассматриваться в качестве экспликаций.

Если семантика, описывая содержание производимых людьми высказываний, призвана воспроизвести структуру человеческого сознания, то она не может использовать аппарат, чуждый таковому сознанию. Семантический язык, претендующий на объяснительную силу, должен делать сложное простым, запутанное—понятным, неясное — самоочевидным. Искусственные языки не делают свое содержание самоочевидным. Будучи производными от естественного языка, они в конечном счете могут быть поняты только на его основе. Непосредственных точек соприкосновения с интуицией искусственные языки не имеют, тогда как естественный язык, напротив, с ней неразрывно связан.

Следовательно, для того чтобы естественный язык был пригоден в качестве семантического метаязыка, он должен быть соответствующим образом «упорядочен». Семантический анализ неизбежно связан с *упрощением* (is inevitably reductive). Суть проблемы состоит в том, чтобы выделить возможно меньшую часть естественного языка и, в частности, определить тот минимальный список слов и выражений, который оказался бы достаточным для того, чтобы представить значения всех остальных слов и их взаимосвязь.

Построение минимальных или базовых словарей не является само по себе чем-то совершенно новым. Существуют, например, хорошо известные словари Огдена и Гугенхейма[3], использующие соответственно только 900 и 1500 неопределяемых («базовых», «фундаментальных») слов для всех толкований. Очевидно, что такая величина группы «неопределяемых» слов может быть обоснована только с точки зрения практической целесообразности. Конечно, в задачу упомянутых авторов не входило обнаружение и эксплицитное моделирование всех различий и сходств в значении между разными словами во французском или английском языке. В их «неопределяемых» единицах неизбежно смешивались совершенно различные степени сходства. Для более адекватного их освещения следовало бы сначала истолковать эти «неопределяемые» слова.

Теоретическая семантика, если она действительно стремится к познанию и подробной фиксации семантической структуры человеческой речи, не может остановиться на полпути. Она должна довести минимизацию (reduction) до конца, до тех пор, пока она не дойдет до таких составляющих человеческих высказываний, которые уже просто не могут быть подвергнуты дальнейшему разложению.

Анализ лингвистических фактов с целью получить список выражений, извлеченных из естественного языка, на основе которых можно было бы адекватно описать все интуитивно ощущаемые семантические связи между различными словами, предполагает предварительную постановку следующего теоретического вопроса: существует ли объективно какая-либо одна группа неопределяемых элементарных выражений, общих для всех естественных языков?

Создатели и исследователи искусственных языков подчеркивают обычно произвольность выбора *элементарных терминов* (primitive terms). «Термин выбирается в качестве элементарного, — пишет Нельсон Гудмен, — не потому, что он является неопределяемым; скорее, он является неопределяемым в силу того, что он был выбран как элементарный... Вообще термины, принятые в качестве элементарных для данной системы, вполне могут поддаваться определению в какой-либо другой системе. Не существует ни абсолютных элементарных терминов, ни такого их выбора, который был бы единственно правильным»[4].

Лингвисты склонны применять это рассуждение также и к области естественных языков. Я полагаю, что для этого нет никаких оснований. Семантическая интуиция обычных носителей языка представляет собой эмпирическую реальность, и семантическое изучение естественного языка является поэтому эмпирической наукой. В принципе не существует причин, по которым бы разрыв между теорией и эмпирическим фактом должен быть в семантике сколько-нибудь большим, нежели в физике или химии. Если установление списка химических элементов не может считаться произвольным, почему произвольный выбор должен иметь место в отношении семантических «элементов»?

«Нельзя требовать, — писал Фреге, — чтобы все формально определялось: ведь не считаем же мы, что химик должен уметь разложить любое вещество. То, что просто, не может быть разложено, а то, что логически просто, не может быть, собственно говоря, определено. Логически простое так же, как и большинство простейших химических элементов, обычно не наблюдается в чистом виде, а обнаруживается в результате научных исследований»[5].

Поиски универсальных, не выбранных произвольно «элементов человеческой мысли» и убеждение, что без них семантические исследования бесполезны, также не новы. Среди мыслителей сем-

надцатого столетия Декарт, Паскаль, Арно, Лейбниц и Локк выдвигали аналогичные планы исследований. В самом деле, их программы настолько аналогичны предложенной здесь, что в ее поддержку мне хотелось бы довольно подробно процитировать каждого из названных авторов.

Декарт: «...Если бы, например, я спросил у самого Эпистемона, что такое человек, и он ответил бы мне, как водится в школах, что человек — разумное животное (animal rationale), и сверх того, ради изъяснения этих терминов, не менее темных, чем первый, повел бы нас через все ступени, именуемые метафизическими, — мы, конечно, были бы введены в лабиринт, из которого никогда не выбрались бы. Ведь этим вопросом порождаются два других: что такое животное? что такое разумный? Более того, если бы, изъясняя понятие животного, он ответил, что это существо живое и чувствующее, что живое существо есть одушевленное тело, а тело есть телесная субстанция, — вопросы, как видите, шли бы возрастая и умножаясь подобно ветвям генеалогического дерева. И наконец, все эти превосходные вопросы закончились бы чистым празднословием, ничего не освещающим и оставляющим нас в нашем первоначальном неведении...»

«Если, например, скажут, что тело есть телесная субстанция, не определяя в то же время, что такое телесная субстанция, то два слова — телесная субстанция — не сделают нас более знающими, чем одно слово — тело. Подобным же образом если кто выскажет, что живое существо есть одушевленное тело, не выяснив сперва смысла слов *тело* и *одушевленное,* и проследует через все метафизические ступени, то он произнесет слова, — даже слова, размещенные в порядке, но не скажет ровно ничего. Высказанное им не обозначает ничего, что могло бы быть понято и образовать в нашем уме ясную и отчетливую идею...»

«...Есть много вещей, которые мы делаем более темными, желая их определить, ибо, вследствие их чрезвычайной простоты и ясности, нам невозможно постигать их лучше, чем самих по себе. Больше того, к числу величайших ошибок, какие можно допустить в науках, следует причислить, быть может, ошибки тех, кто хочет определять то, что должно только просто знать, и кто не может ни отличить ясное от темного, ни того, что в целях познания требует и заслуживает определения, от того, что отлично может быть познано само по себе...»

«Я прибавлю даже, что невозможно изучать эти вещи иначе как на самом себе и быть убеждену иначе, чем собственным опытом и тем сознанием или внутренним свидетельством, которое каждый человек носит в самом себе, когда он делает какое-либо наблюдение»[6].

Паскаль: «... Ясно, что есть слова, которые не могут быть определены; и если бы природа не компенсировала эту нашу неспособ-

ность, дав всем людям сходное понимание, все наши выражения оказались бы спутанными; напротив, эти слова употребляются с той же степенью уверенности, как если бы они были вполне недвусмысленно объяснены; ибо природа сама дала нам, без слов, более точное их понимание, чем можно было бы достичь при помощи искусства толкования»[7].

Здесь Паскаль добавляет некоторое пояснение, которое особенно существенно для одного из интересующих меня моментов: «Когда я говорю о невозможности и бесполезности определений, я не имею в виду, что все люди обладают одним и тем же понятием о сущности вещей... Всем известной является не сущность вещей, а только лишь связь между вещью и именем»[8].

Для того, кто подобно мне утверждает, что такие понятия, как «желание» или «мир», являются первичными элементами, известными всем на основании их собственного внутреннего опыта, это особенно важное наблюдение. Ибо вполне возможно было бы возразить: что может быть более спорно, нежели представление о сущности «желания» или «вселенной»? Паскаль дает ответ: всем известна не сущность этих вещей, а только связь между названием и вещью.

У Паскаля есть также довольно язвительное замечание о порочных кругах: «Иногда доходят до абсурда и толкуют слово при помощи этого же слова. Определение такого рода встречаем, например, в следующем толковании: La lumière est un mouvement luminaire des corps lumineux «Свет — это световое движение светящихся тел»; как будто бы можно понять слова luminaire и lumineux без слова lumière...»[9].

(Спустя три столетия это замечание Паскаля остается, увы, как нельзя более своевременным. Используя тот же пример и обратившись к первому попавшемуся словарю, находим: light — an illuminating or enlightened agent «свет — светящееся или освещенное вещество»; illuminate «освещать»— to give light, enlighten «давать свет, проливать свет»; enlighten «проливать свет»— to illuminate «освещать»[10].)

Арно и Николь: «...Не следует задаваться целью определить все слова, так как это нередко оказывается бесполезным и даже невозможным... Ибо когда имеющееся у всех людей понятие о какой-либо вещи является отчетливым, и у всех, кто понимает язык, возникает одно и то же понятие, когда они слышат некоторое слово, его определение оказывается ненужным, поскольку цель определения, состоящая в том, чтобы слово было связано с ясной и четкой идеей, уже достигнута...»

«Более того, я говорю, что было бы невозможно определить все слова. Ибо, чтобы определить слово, необходимо прибегать к другим словам, обозначающим понятие, с которым мы хотим связать это слово; а если мы захотим еще определить слова, использо-

ванные при определении данного, нам придется прибегать еще и к другим словам, и так до бесконечности. Необходимо поэтому остановиться, когда мы дойдем до простейших терминов, которые мы уже не будем определять; стремление определить слишком многое — не меньший грех, чем недостаточные определения, ибо и то и другое ведет к неясности, которой мы как раз и хотели избежать»[11].

Лейбниц: «Хотя количество понятий, которые можно себе мысленно представить, бесконечно, возможно, однако, что невелико число таких, которые мысленно представимы сами по себе. Ибо через комбинации немногого можно получить бесконечное множество.

Более того, это не только возможно, но и весьма вероятно, ибо природа имеет обыкновение создавать как можно большее как можно меньшими средствами, то есть действовать простейшим способом.

«Алфавит человеческих мыслей» [Alphabetum Cogitationum humanorum] есть каталог тех [понятий], которые мысленно представимы сами по себе и посредством комбинаций которых возникают остальные наши идеи»[12].

И, наконец, Локк: «...названия простых идей не могут быть определены; названия же всех сложных идей могут. До сих пор, насколько я знаю, никто не обращал внимания на то, какие слова могут быть определены и какие нет. И отсутствие такого исследования (как я склонен думать) бывает нередко причиной больших споров и неясности в рассуждениях людей. Одни требуют определения таких терминов, которые не могут быть определены; другие считают, что следует довольствоваться объяснением через более общее слово и его ограничение (или, употребляя технические термины, через род и видовое отличие), даже если после такого согласного с правилом определения слушатели часто получают не более ясное, нежели прежде, понятие о значении слова. Я по крайней мере думаю, что указание того, какие слова могут быть определены и какие нет и в чем состоит хорошее определение, имеет некоторое отношение к нашему предмету и может пролить столько света на природу этих знаков и наших идей, что это заслуживает более подробного рассмотрения...

По-моему, все согласны, что определение есть не что иное, как «указание значения одного слова при помощи нескольких других не синонимических терминов». Значения слов — это лишь те идеи, которые обозначает этими словами тот, кто их употребляет, а потому значение какого-либо термина указано и слово определено тогда, когда посредством других слов идею, знаком которой является связанное с ней слово в уме говорящего, как бы представляют или предлагают взору другого, и таким образом устанавливается ее значение. Это единственная польза и цель определения и потому единственное мерило того, является ли определение хорошим или нет.

Сделав эту предпосылку, я утверждаю, что «названия простых идей», и только они, «не могут быть определены». Причина этого в

том, что различные термины определения обозначают различные идеи и потому все вместе никак не могут представлять идею, которая вообще не является составной. Вот почему определение (которое есть не что иное, как указание значения одного слова при помощи нескольких других, не обозначающих каждое одного и того же) не имеет места у названий простых идей»[13].

Определение того, «какие слова могут и какие не могут быть определены», подготовка «Алфавита человеческих мыслей» — это, мне кажется, является или должно быть центральной задачей современной семантики.

Первым современным лингвистом, сосредоточившимся на поисках элементарных семантических единиц, был, по-видимому, Эдуард Сепир, написавший в начале 30-х гг. ряд работ, посвященных логическим отношениям в языке: «Всеобщность», «Выражение отношения конечной точки в английском, французском и немецком языках» (совместно с Моррисом Сводешом) и «Степени. Очерки по лингвистике»[14].

Из редакторского примечания Алисы Моррис к работе «Выражение отношения конечной точки...» мы узнаем, что эта работа предназначалась в качестве одного из разделов исследования «Фундаментальные реляционные понятия и их языковое выражение», которое в свою очередь должно было составить часть плана исследований, озаглавленного «Основы языка». А. Моррис пишет: «Не исключена возможность, что обнаружение новых данных и их классификация позволят составить целостную картину общих реляционных понятий, пронизывающих язык». И она выражает надежду, что «в ближайшие годы могут быть получены такие определения, классификации и комбинации отношений, выраженных или замаскированных при помощи обычных языковых форм, которые будут более фундаментальными и полными, чем все существовавшие до сих пор»[15]. Эта надежда, по-видимому, была преждевременной, но начало по крайней мере было положено.

Семантические очерки Сепира преследовали как практические, так и теоретические цели. Его «схема общих реляционных понятий» предназначалась, в частности, для того, чтобы служить «руководством для перевода и [семантического] толкования, а также образцом упрощения и классификации содержательных и формальных свойств международного языка»[16]. Теоретики и практики машинного перевода обратились к этой стороне работ Сепира в шестидесятые годы.

Между тем в сороковые и пятидесятые годы благодаря исследованиям таких ученых, как Луи Ельмслев и Хольгер Сёренсен, было достигнуто более глубокое и более отчетливое понимание чисто теоретических аспектов поисков элементарных смыслов.

Ельмслев предложил выделять элементарные составляющие, которые он назвал «фигурами», на двух уровнях — содержания и выражения:

«Анализ на фигуры в плане выражения, можно сказать, практически состоит в сведе́нии сущностей, входящих в неограниченные инвентари (например, словесных выражений), к сущностям, входящим в ограниченные инвентари; сведение продолжается до тех пор, пока не получится самый ограниченный инвентарь. Таким же путем проходит и анализ на фигуры в плане содержания... Таким образом, на практике процедура заключается в попытке разделения сущностей, входящих в неограниченные инвентари, на сущности, входящие в ограниченные инвентари...

В этом сведе́нии сущностей содержания в «группы» знаковое содержание приравнивается к цепи знаковых содержаний, имеющих определенные взаимные реляции. Определения, при помощи которых переводятся слова в одноязычном словаре, представляют собой явления именно такого рода, хотя словари не стремятся к сокращению (числа сущностей содержания) и поэтому не дают определений, точно соответствующих определениям, полученным в результате последовательно выполненного анализа»[17].

Сёренсен продвинул анализ Ельмслева еще на одну ступень, заменив несколько туманное понятие «фигур» понятием неопределяемых знаков — и, в сущности, возвратившись тем самым к семантическим постулатам, предложенным Лейбницем и Локком:

«Процедура семантического анализа состоит в сведении V (т. е. словаря. — *А. В.*) к минимальному набору знаков, из которых могут быть произведены все знаки V. Знак, принадлежащий к минимальному набору знаков, из которых могут быть произведены все знаки V, является семантически простейшим знаком... Установить минимальную группу знаков, «содержащую» весь словарь «обычного» языка *L*, есть конечная цель семантики»[18].

Шестидесятые годы были отмечены все более возрастающим влиянием идеи компонентного анализа (впрочем, по-разному интерпретируемой). Однако элементарные семантические единицы, обычно постулируемые приверженцами этого подхода, являются не неопределяемыми знаками в смысле Сёренсена, а скорее некоторым видом абстрактных единиц, часто называемых «маркерами», которые не имеют непосредственного отношения ни к каким словам или выражениям. В 1961 г. появилась классическая статья Уриэля Вейнрейха «О семантической структуре языка»[19], в которой автор, между прочим, выдвигает проект компонентного анализа в семантике, который в дальнейшем разрабатывался его учеником Э. Бендиксом[20].

В 1963 г. Катц и Флобер сделали попытку ввести этот вид анализа в арсенал генеративной грамматики[21], весьма важным след-

ствием этой попытки было то, что ряды прежде довольно немногочисленных исследователей, интересующихся компонентным семантическим анализом, пополнились за счет притока большого числа генеративистов. Однако большая часть из них вслед за Катцем и Флобером интересовалась только теоретическими аспектами семантики[22]. На долю Манфреда Бирвиша выпало произвести первый конкретный семантический анализ, выполненный в рамках соответствующих практических представлений. В работе «Семантические универсалии в немецких прилагательных» Бирвиш стремится подчеркнуть всеобщий не произвольно устанавливаемый (неарбитрарный) характер элементарных смыслов: «Есть серьезные основания полагать, — пишет он, — что семантические маркеры отражают в адекватном описании естественного языка не свойства окружающего мира в самом широком смысле, а определенные глубинные врожденные свойства человеческого организма и его перцептуального аппарата». Что именно представляют собой эти универсальные элементы и как они могут быть обнаружены, и составляет, по мнению Бирвиша, одну из самых фундаментальных проблем семантики: «Семантический анализ лексической единицы может считаться законченным, только если мы получаем в результате комбинацию базовых элементов, которые являются подлинными кандидатами для зачисления в универсальный набор семантических маркеров»[23].

Среди современных исследований в области компонентного семантического анализа особое место занимают работы Ю. Д. Апресяна. Апресян рассматривает семантический анализ как своего рода перевод с естественного языка на «семантический» язык, в качестве «слов» которого выступает то, что он называет «элементарными смыслами». Однако он полагает, что поиски предельных простых единиц, «примитивов», не могут увенчаться успехом (по крайней мере в настоящее время), и, таким образом, не предъявляет к своим «элементарным смыслам» требования полной взаимной независимости.

«Мы не ставили перед собой задачи, — пишет он, — использовать в качестве ЭЗ (элементарных значений. — *А. В.)* только подлинно элементарные понятия. В частности, все понятия, получающие определения в математике (ср. *отношение, линия, плоскость),* физике *(гореть, масса, энергия),* физиологии *(болеть)* или другой научной дисциплине, а также понятия, интуитивно очевидные, однословно выразимые в разных языках, но с трудом поддающиеся анализу *(понимать, время),* принимаются нами без определений. Кроме того, не подвергаются семантическому разложению некоторые относительно простые, хотя и не элементарные слова, если их толкования имеют чересчур сложный вид»[24].

Параллельно с такого рода теоретически ориентированной работой, в течение последних пятидесяти лет проводилось много исследований по проблеме базовых семантических элементов более «практической» направленности. Члены Кембриджского лингвистического объединения работали над созданием языка-посредника, слова которого были бы минимальными элементами, инвариантными в отношении перевода. Сходная цель преследовалась Миланской группой[25]. Пожалуй, наиболее впечатляющих результатов в этой области достигла московская группа семантиков. Знаменитый (по крайней мере в кругу читающих по-русски лингвистов) 8-й том, опубликованный Московской лабораторией машинного перевода в 1964 г., содержит ряд замечательных исследований различных словарных полей, так же как и ряд оригинальных и, вероятно, плодотворных общих концепций. Среди них идея «смыслового портретирования слов», теория пресуппозиции, входящей в содержание языковых выражений и не подверженной отрицанию, подчеркивание роли синонимии по сравнению с омонимией и роли синонимичных предложений по сравнению с синонимичными словами, и т. д.[26].

Базовые реляционные понятия Сепира, фигуры Ельмслева, семантические компоненты Вейнрейха, семантические маркеры Бирвиша, элементарные смыслы Апресяна — все эти понятия несомненно представляют собой своего рода лингвистические эквиваленты лейбницевским «человеческим мыслям, которые мысленно представимы сами по себе и через комбинации которых возникают остальные наши идеи». Но они не решают проблему полностью. В частности, они не стремятся обнаружить такие представления, которые были бы настолько простыми и ясными, чтобы, по выражению Декарта, «быть понятными сами по себе». Они также не предполагают (частичное исключение составляют Сёренсен[27] и Апресян) обнаружить свои элементарные семантические единицы в неопределимых терминах.

Конкретный и тщательно разработанный план исследований этого рода первым (насколько мне известно) предложил Анджей Богуславский в 1965—1966 гг. В соответствии с центральным положением программы Богуславского, непроизвольные и универсальные простейшие элементы содержания следует искать среди элементов максимально полных семантических истолкований выражений, иными словами, в их неопределимых компонентах (sub-units). Эти неопределимые элементы, получаемые посредством полного истолкования выражений, по мысли Богуславского, должны представлять собой те «предельные составляющие мира», которые давно являются предметом поисков философов.

«Наиболее элементарные толкования-экспликанты должны быть найдены непосредственным образом. Промежуточные ста-

дии экспликации часто неизбежны, но они могут вводить в заблуждение... Толкованию (экспликации) должны быть подвергнуты цельные высказывания, реально используемые во вполне определенных ситуациях и контекстах. Мы не можем отправляться от слов или каких-либо других частей высказываний, поскольку, взятые изолированно, они не обладают каким-либо смыслом и могут в различных предложениях выражать разное значение или же не выражать никакого значения... Толкование-экспликация должно заключаться в в том, чтобы дать действительно синонимичное высказывание в как можно более эксплицитной форме. Кроме того, толкованиями-экспликантами не могут быть изолированные слова или некоторый набор слов, ибо, в то время как толкуемые предложения обладают значением, изолированные слова или группы слов, строго говоря, значением не обладают... Другими словами, «матрицы смысловых различительных признаков» не являются подходящим способом описания содержания... Выбирая те или иные толкования-экспликанты, можно и должно полностью полагаться на собственный практический опыт употребления языковых выражений и на собственную изобретательность... Никакие соображения формального характера не должны приниматься во внимание в качестве доказательств. Они могут выполнять роль только некоторого ограниченного эвристического подспорья»[28].

Данная книга представляет собой попытку принять и частично осуществить программу, постепенное развитие которой я попыталась обрисовать выше. Другими словами, моя цель состоит в поисках таких выражений естественного языка, которые сами по себе не могут быть истолкованы удовлетворительным образом, но с помощью которых м о ж н о истолковать все прочие выражения (высказывания). Список неопределяемых единиц должен быть как можно меньшим; он должен содержать лишь те элементы, которые действительно являются абсолютно необходимыми, будучи в то же время пригодными для истолкования в с е х высказываний.

Постулат минимизации обеспечивает важный критерий при выборе различных «кандидатов» на роль неопределяемых единиц: только те семантические единицы являются подлинно неопределимыми, выбор которых в качестве таковых совместим с максимальной краткостью списка этих единиц. Минимизация, кроме того, дает возможность полностью описать семантические отношения, существующие между различными выражениями. Этот момент можно проиллюстрировать на таком примере: многие исследователи, проявлявшие интерес к проблеме элементарных семантических единиц, предлагали в качестве более или менее самоочевидного примера единицу homo или «человеческое (существо)». В работах, написанных по-английски, эта единица обычно обозначается как human. При этом авторы не пытались установить, чем человеческие существа

отличаются от всех прочих видов существ. Они имели в в виду просто неразложимую единицу «человеческое существо». Но, если мы будем считать единицу «человеческое существо» неразложимой, мы тем самым не сможем объяснить, что связывает это понятие с такими понятиями, как «ангел», «дьявол», «кентавр», «эльф», «бог» и т. п. Для того чтобы уловить общее в их значении, необходимо допустить, что неразложимым является скорей единица «существо» («некто»), и попытаться истолковать прочие слова, исходя из этой единицы. Таким образом:

бог = существо, не являющееся частью мира и способное сделать с миром все, что пожелает;
кентавр = существо, одна часть тела которого подобна телу человека, а другая часть — телу лошади;
дух = существо, мыслимое как не имеющее тела;
ангел = добрый дух;
дьявол = злой дух;
человек (homo) = существо, подобное тебе и мне.

Следует подчеркнуть, что эти формулы являются не окончательными толкованиями, а только первым приближением. Лишь некоторые из содержащихся в них выражений могут с достаточным основанием претендовать на то, чтобы рассматриваться в качестве неопределяемых единиц; остальные должны быть разложены далее. Помимо этого, я допускаю, что они могут быть просто неадекватными и требовать дальнейшего уточнения. Как бы то ни было, я не сомневаюсь в том, что элемент «некто» должен появиться где-то в окончательном варианте и, таким образом, единица «человек» не является неопределяемой.

«Установить простейшие элементы "обычного" языка, — писал Сёренсен, — это действительно трудное предприятие». Но, продолжал он, «оно не является столь безнадежным, каким кажется на первый взгляд; поиск элементарных смыслов никак нельзя считать просто блужданием в потемках. Многие (большинство?) из грамматических элементов (словоизменительные окончания и т. д.), по всей видимости, элементарны, весьма большой семантической простотой характеризуются также союзы (*и, если. . .* [то], [или]... *или* и т. д.) (ср. описание союзов — связок высказываний при помощи так называемых истинностных таблиц в логике); предлоги (*до, после, над, под* и т. д.); местоимения (*он, она, это, то,* и т. д.: *он* = "X мужского пола, который...", *она* = "X женского пола, который...", *этот X* = "X, который здесь", *тот X* = "X, который там"); "подлинные" наречия (*здесь, там, теперь, тогда, близко, далеко*); частицы *не* (*не-не*) и т. п. То же относится и к таким существительным, как *время, пространство, точка* и т. д., а также к таким глаголам, как *отличаться* (*быть идентичным*) и т. п., ср. *X* (*не*) *двинулся* = "X (не)

изменил положение" = "X (не) поменял точку пространства" = "пространственная, точка X-а теперь (не) та же, что пространственная точка X-а тогда"»[29].

Я, как и Сёренсен, надеюсь, что поиски элементарных смыслов — это не блуждания в потемках. Но я не думаю, чтобы такие грамматические элементы, как союзы и наречия, или такие абстрактные существительные, как *время, пространство* или *точка,* были действительно элементарными. На самом деле я даже сомневаюсь в том, что они обладают хотя бы относительной семантической простотой. Для меня чрезвычайно важным критерием является то, что может быть названо интуитивной очевидностью. Для того чтобы обнаружить элементарные смыслы, нам следует поискать такие вещи, которые не могут быть поняты «иначе как на самом себе» и которые не воспринимаются «иначе как собственным опытом и тем сознанием или внутренним свидетельством, которое каждый человек носит в самом себе, когда он делает какое-либо наблюдение» (Декарт).

Едва ли можно сказать, что словоизменительные окончания и слова вроде *и, если, пространство, время, точка* связаны с ясными, четкими, простыми представлениями, которые каждый может обнаружить в самом себе. Прежде всего, слова вроде *пространство* и *точка* не являются известными всякому (скажем, детям или необразованным крестьянам). А определять движение исходя из «точек пространства» — значит заменять нечто более ясное и понятное чем-то более туманным и «ученым».

Неопределяемые элементы представляют собой кирпичики, из которых строятся все человеческие высказывания, и в качестве таковых они не могут относиться к научному или элитарному жаргону какого бы то ни было рода, а скорее должны быть известны всем, включая детей. Рассматриваемые с этой точки зрения, такие понятия, как «прежде», «после», «ниже», «выше» или «двигаться» (также не являющиеся неопределимыми), оказываются очевидным образом более элементарными, нежели «пространство», «время» или «точка». Если имеются более простые слова, то более «ученые» слова должны быть отброшены.

Неопределяемые элементы должны соответствовать разговорным словам (выражениям), извлеченным из естественного языка. Однако характерно, что, в противоположность научному словарю, взаимнооднозначное соответствие между разговорными словами различных языков является относительно менее частым. Могут ли в таком случае неопределяемые элементы быть ясными, универсальными человеческими понятиями, которые в то же время выступают в качестве отдельных слов во всех естественных языках?

Нет оснований не принимать положительный ответ на этот вопрос в качестве рабочей гипотезы. Чтобы проверить ее, можно про-

сто собрать вместе группу выражений, которые удовлетворяют прочим упомянутым критериям (выражений, а не слов; нельзя предполагать, что неопределяемые элементы во всех языках будут представлены словами, а не словосочетаниями).

В течение семи лет, потраченных мною на поиски элементарных смыслов, число предполагаемых кандидатов систематически уменьшалось. В настоящее время я придерживаюсь мнения, что их число колеблется приблизительно от десяти до двадцати. Вот перечень кандидатов, представляющихся мне наиболее подходящими в настоящее время:

хотеть	*нечто*
не хотеть	*некто (существо)*
чувствовать	*я*
думать о . . .	*ты*
представлять себе	*мир (вселенная)*
сказать	*это*
становиться	
быть частью	

В пользу данного перечня свидетельствует то, что все элементы, приведенные в нем, являются общепонятными и твердо укоренились в опыте каждого человека и что с их помощью можно истолковать очень большое число разнообразных выражений таким способом, который интуитивно кажется удовлетворительным как для объяснения значения самого выражения, так и для описания различий и сходств, связывающих его с другими, смежными выражениями и отграничивающих его от них.

Моя гипотеза состоит в том, что с помощью этих элементов (или их эквивалентов в любом другом естественном языке) окажется возможным истолковать все речевые высказывания и описать все семантические отношения, существующие между различными выражениями.

Это отнюдь не значит, что я рассматриваю приведенный выше перечень как окончательный. Наоборот, может оказаться необходимым пересмотреть его в каких-то частностях. Но в принципе, я полагаю, он соответствует реальности.

Данный перечень требует целого ряда замечаний и пояснений. Читатель, разумеется, может удивиться или не согласиться как по поводу отсутствия, так и по поводу наличия в списке тех или иных слов. Некоторые слова, часто рассматриваемые как элементарные, он может не найти в нем; в то же время в список включены единицы, которые на первый взгляд могут показаться неэлементарными.

Для начала я кратко рассмотрю первую из этих двух категорий. Можно ли действительно обойтись без таких слов, как *причина, истина, мужской пол, женский пол, существовать, множество,*

животное, растение, организм, тело, больше, очень, подобный, тот же самый, равный, начало, конец, мочь, хороший, плохой и *живой?* А таких, как *и, не, если* и все? Действительно ли можно свести значения этих слов к каким-то более фундаментальным?

Я полагаю, что можно. *Причина,* по моему мнению, не может рассматриваться как элементарный смысл, потому что она связана со словом *если* и может быть перефразирована через это слово (ср. *X было причиной Y — если бы не X, то Y не произошло бы*). Слово *истина* связано со словами *думать, сказать* и, возможно, также *хороший* (истинно и ложно представляют собой род оценки, подобно красивому и уродливому). *Хороший* и *плохой* в свою очередь связаны с желанием. Тело (*тело X*), вероятно, может быть истолковано как «нечто, о чем можно думать (думают?) как об X». Во всяком случае, тело, конечно, представляет собой «нечто», так же как и растение и животное. *Больше* и *множество* связаны с понятием «части». Если что-то существует, то, значит, о нем может быть что-то сказано [To exist is to be «referable to»]; таким образом, существование связано со словами *это* и *сказать* (*Кентавры не существуют = Нельзя сказать, думая о чем бы то ни было: это кентавр*) . *Начало* и *конец* связаны друг с другом, так же как *хороший* и *плохой.* И так далее. Более подробное рассмотрение этих и других отвергнутых кандидатов на положение неопределяемых элементов можно найти в последующих главах.

Обратимся теперь к некоторым из наиболее спорных элементов, включенных в наш список.

Может показаться, что *не хотеть* составлено из *хотеть* и отрицания. В главе, посвященной отрицанию, я пытаюсь показать, что это не так; что воля является сложным понятием, основанным на двух простых представлениях: nolo и volo* и что nolo составляет исходный пункт всякого отрицания.

Думать о... следует отличать от *думать, что...*: только первое из двух предполагается элементарным; второе, по моему мнению, является сокращением сочетания двух неопределяемых элементов: *думать о...* и *сказать* (*думать, что...= думая о ..., сказать, что...*).

Становиться является элементарным только в имперфективном значении, которое с некоторыми затруднениями может быть передано по-английски как be becoming. В перфективном значении *становиться* (*стать*) является сложным понятием (производным от соответствующего имперфективного значения).

Понятие «сказать», которое я предполагаю элементарным, не следует брать в смысле vocem edere (т. е. dare sonum articulatum**

---

* nolo *(лат.)* «не хочу», volo *(лат.)* «хочу». — *Прим. ред.*

** У Лейбница: vocem edere est dare sonum articulatum *(лат.)* «говорить *(букв.* подавать голос) — это издавать членораздельные звуки». — *Прим. ред.*

или voce articulata signum dare cogitationis suae*), если воспользоваться формулировками Лейбница[30]. Оба эти значения, по моему мнению, могут быть истолкованы на основе подлинного базового и простого понятия «сказать», иллюстрируемого такими предложениями, как *трудно сказать...* или *я сказал себе...* В этом значении можно «сказать», используя или не используя vox articulata.

Что же касается всей группы «ментальных» элементов (т. е. *хотеть, чувствовать, не хотеть, думать о...* и *сказать*), то я испытываю полную неуверенность: не лучше ли, если бы они имели форму *я хочу, я чувствую* и т. д.? В ряде предшествовавших работ я действительно представляла их в такой форме. (Следует заметить, что *я* в этих выражениях — это не то же самое *я*, которое предлагается в другом месте в качестве неопределяемого элемента.) Какое понятие является более элементарным — «желание» или «мое желание»? Являются ли понятия «мое чувство», «мое желание» составленными из простых «я» и «хотеть», «чувствовать» и т. д., или скорее дело обстоит так, что «желание», «чувство» и т. д. являются производными от «моего желания», «моего чувства» и т. д.?

Более подробное рассмотрение этих и других indefinibilia** можно будет найти в последующих главах, так что я пока прерываю свои предварительные пояснения. Многие читатели, без сомнения, останутся настроенными скептически. Как можно анализировать научные термины, могут возразить мне, при помощи горстки простых разговорных выражений? Как решить проблему конкретного словаря (*корова, муха, роза, яблоко, огонь, волосы, золото* и т. д.)? Или проблему слов, относящихся к непосредственным данным наших органов чувств (*красный, сладкий, мягкий* и т. д.)?

Доводы против чрезмерной обеспокоенности проблемой научных терминов хорошо сформулировал Сёренсен: «...Лингвисту не следует заниматься техническими терминами, т. е. знаками, относящимися к специальным словарям различных наук; ведь все технические термины являются в конечном счете производными от обычных слов, совершенно так же, как знаки, составляющие словарь, скажем, теории мнимых чисел, произведены от знаков, которые входят в словарь элементарной математики»[31].

Проблема чувственных данных является более серьезной. Локк, например, склонялся к тому, что эти выражения являются неопределяемыми. «Если мы не знаем из опыта, — доказывал он, — значения слов *красный, горячий, сладкий* и тому подобных, то все слова на свете, к которым мы бы прибегали для определения любого из этих имен, все равно никогда не могли бы вызвать в нас представ-

---

* «Членораздельными звуками голоса подавать знаки о своих мыслях» (*лат.*). — *Прим. ред.*

** «Неопределяемых» (*лат.*). — *Прим. ред.*

ление о том, что стоит за именем»[32]. Поскольку, исходя лишь из словесных определений, невозможно достичь реального понимания названий качеств, которые воспринимаются органами чувств, эти названия, заключает Локк, являются неопределяемыми.

Но если мы будем рассматривать все слова этого типа как неопределяемые элементы, то мы будем не в состоянии описать связи между ними. Тем не менее очевидно, что *красное* имеет нечто общее с *зеленым, холодное* — с *горячим, сладкое* — с *горьким* и *соленым* и так далее. Адекватные толкования должны включать в себя этот общий элемент без насилия над интуицией.

Приведем пример, предложенный самим Локком: «Те, кто говорят нам, что Свет — это огромное количество мельчайших Шариков, быстро ударяющих по Дну Глаза, говорят более разумно, чем в Школах, и все же эти слова, как бы хорошо они ни были поняты человеком, который не знал слова *Свет* прежде, не сделают для него идею, замещаемую данным словом, сколько-нибудь более ясной, чем если бы ему сказали, что "Свет — это множество маленьких теннисных мячиков, запускаемых сказочными существами в лбы людей"»[33].

Физическая структура света и относящиеся к ней современные научные теории не слишком существенны для бытового «понятия» света. Сарказм Локка относительно ценности научных объяснений в этой области является вполне обоснованным. Но нет надобности соглашаться с его выводом о том, что здесь невозможно никакое толкование. Понятие «свет» очевидным образом связано, например, с понятием «видеть». Я бы предложила что-нибудь в следующем роде:

Здесь нет света. = Здесь невозможно видеть.
Там было темно. = Там было невозможно видеть.
Или, может быть:
Здесь нет света. = Это место является таким, что, находясь в этом месте, невозможно видеть.
Там было темно. = То место было таким (в то время), что, находясь там, невозможно было видеть.

В какой-то степени кажущаяся трудность этой проблемы происходит, я думаю, от двусмысленности употребления понятия неопределяемости: иногда неопределяемые слова понимают как «такие, которые невозможно сделать действительно ясными при помощи слов», а иногда — как «не связанные с другими словами и не подлежащие толкованию при помощи других слов». Это разграничение между двумя пониманиями хорошо уловил Лейбниц, проявивший вполне оправданную нерешительность, относя отдельные цвета (или даже само слово *цветной*) к элементарным понятиям.

«Первичными простыми терминами являются также все те смешанные чувственные явления, которые мы ясно воспринимаем, но которым не можем дать четкого объяснения, т. е. определить их при помощи других понятий или обозначить словами. Так, слепой может многое узнать от нас относительно распространения, интенсивности, формы и других характеристик, сопровождающих цвета; но помимо этих сопровождающих отдельных понятий, в цвете соединено нечто такое, что слепой не может постичь при помощи каких бы то ни было наших слов, разве что ему когда-нибудь будет дарована способность открыть глаза. В этом смысле «белое», «красное», «желтое» и «синее», будучи неизъяснимым воплощением нашего восприятия, являются в некотором роде первичными терминами... (разрядка моя. — *А. В.*) Так, «цветной» может быть объяснено через отношение к нашим глазам; но поскольку точное определение этого отношения потребовало бы очень многих слов и поскольку глаз, как род механизма, сам нуждается в пространном объяснении, следует, возможно, принять «цветной» за первичный простой термин, к которому можно прибавить определенные дифференцирующие признаки для обозначения различных цветов. Впрочем, «цветной», можно было бы, вероятно, определить через восприятие поверхности без осязательного контакта»[1].

Лейбниц не предложил каких-либо конкретных толкований цветообозначений. Однако он высказал ценные предложения для ряда других свойств:

dulcis «сладкий» = cujus sapor ut saccari «вкус которого подобен сахару»;
salsus «соленый» = cajus sapor ut salis vesci «вкус которого подобен едкой соли»;
austerus «кислый» =cujus sapor ut in pomis immaturis «вкус которого как у незрелых плодов».

Это решение можно было бы, я думаю, применить ко многим другим чувственным характеристикам. Такие слова, как *вкус, зрение, слух* и *запах,* мне кажется, должны быть истолкованы через слова *язык, глаза, уши* и *нос.*

Это не избавляет нас от проблемы таких слов, как сами слова *язык, глаза, уши, сахар* и *соль,* — другими словами, от проблемы конкретного словаря. Весьма соблазнительно истолковать *глаза* через *зрение, уши* через *слух, соль* через *соленый.* Тем не менее следует противиться этому соблазну, так как такое решение неизбежно приводит к порочному кругу. Можно ли в самом деле как-то избежать порочного круга при толковании конкретного словаря, не умножая число неопределяемых элементов?

Я думаю, можно разделить конкретные слова на две различные группы в зависимости от того, может ли быть рассматриваемое слово

истолковано (прямо или косвенно) через пятнадцать или около этого неопределяемых элементов. Некоторые слова и выражения не могут быть истолкованы таким образом, по крайней мере в каком-то смысле.

Среди слов, которые могут быть истолкованы, находятся названия частей тела, предметов, встречающихся в природе, — *море, река, поле, лес, облако, гора, ветер* и т. п., продуктов человеческой деятельности — *стол, дом, книга, бумага* и т. п. и общие названия живых существ — *птица, рыба, насекомое, растение, животное* и т. д. Словами, которые в известном смысле не могут быть истолкованы, являются обозначения конкретных «видов» (в самом общем смысле): *кошка, роза, яблоко, береза, золото, соль* и т. д.

Единственным доказательством того, что то или иное слово принадлежит к первой из названных групп, может служить построение для него удовлетворительного толкования. Я коснусь здесь лишь довольно небольшой их части (хотя ниже в этой главе предлагаются некоторые другие примеры). Впрочем, читатели, специально интересующиеся конкретными словами, найдут ряд весьма ценных предложений в Table de Définitions [Таблицах определений] Лейбница[35], где, несмотря на многие частные недочеты, показано, что в принципе такое предприятие осуществимо.

Такие слова, как *кошка, роза, яблоко* и т. д., я назвала в известном смысле не поддающимися толкованию-экспликации. Но они не являются первичными неопределяемыми элементами в том же смысле, что *я, вселенная, это* или *часть*. Они не являются составными частями, из которых построены значения прочих слов и выражений, и не соответствуют универсальным и ясным человеческим понятиям, «которые могут быть познаны сами по себе».

Я полагаю, что семантическую структуру видовых наименований можно сравнить с семантической структурой собственных имен. Слова *Джон* и *Лондон*, используемые по отношению к конкретному лицу или месту, означают просто «человек, называемый Джон» и «город, называемый Лондон». Дальнейшему анализу должны быть подвергнуты не только слова *человек* и *город*, но также и слово *называть*. Я бы предварительно предложила следующее толкование:

Человек, называемый Джон = *человек, думая о котором мы скажем «Джон»* (я не уверена, что лучше: *мы скажем* или *скажут*).

Значение видовых наименований, вероятно, можно теперь представить следующим образом:

кошка = *животное, думая о котором мы сказали бы «кошка».*
роза = *цветок, думая о котором мы сказали бы «роза».*

Существенное различие между таким именем, как *Джон,* и таким наименованием, как *роза,* состоит, по-видимому, в том, что нельзя быть Джоном, если другие люди не будут называть тебя этим именем, тогда как роза является розой и не будучи так когда-либо кем-либо названной. Розы распознаются как розы, хотя их отличительные признаки не поддаются словесной формулировке (конечно, я говорю здесь об обычных людях, способных узнать розу, а не об ученых-ботаниках). Слова *бы* и *который,* между прочим, также являются сложными и сами требуют анализа при полном толковании.

Предложенное выше решение вполне может казаться произвольным и бесполезным. Можно спросить: почему бы просто не применить его ко всем прочим словам и выражениям в естественном языке? Несомненно, при помощи таких толкований можно было бы объяснить все, как столь же несомненно и то, что они ничего не объясняют.

Однако в действительности пределы применимости этой модели весьма ограничены, и их не следует нарушать. Она уместна только для видовых наименований, обозначающих предметы, имеющие такой общий отличительный признак, который не может быть выражен при помощи слов, но тем не менее хорошо известен любому человеку, обладающему обычным жизненным опытом. Предлагаемый тип толкования видовых наименований, по-видимому, отражает их подлинную семантическую структуру. Но слова *стол, окно, бумага, волосы, дождь, лес* и т. п. не означают «то, что называется "стол", "окно", "бумага" и т. д.», а *сладкое* и *горячее* не означает «то, что называется "сладкое", "горячее" и т. д.». *Ходить, стоять на коленях* и т. п. также не могут быть истолкованы как «то, что называется "ходить", "стоять на коленях" и т. д.». Все эти слова являются сложными единицами, которые можно разложить на большее число элементарных единиц[1].

(Вследствие вышесказанного, утверждение, что английские слова gold «золото», salt «соль» и horse «лошадь» эквивалентны французским or, sel и cheval соответственно, должно пониматься по-другому, нежели внешне подобные утверждения, касающиеся слов, толкуемых независимо от каких-либо звуковых последовательностей. Если horse означает «животное, думая о котором сказали бы horse», а cheval означает «животное, думая о котором сказали бы cheval», референциальная эквивалентность этих двух слов может быть продемонстрирована только посредством энциклопедического, а не семантического — в строгом смысле слова — словаря.)

Я много говорила об определяемых и неопределяемых словах и в ы р а ж е н и я х. При этом я еще раз повторяю, что в действительности мое внимание сосредоточено на человеческих в ы с к а з ы в а н и я х, т. е. на предложениях, а не на отдельных словах. Итак,

во всех данных толкованиях, по мере того как анализ доводится до конца, мы приходим к ряду чрезвычайно простых грамматических моделей. И аналогично списку элементарных слов список основных синтаксических моделей никоим образом не является произвольным. Рассматриваемые модели оказываются единственным способом, посредством которого мы можем перифразировать предложения, используя простые слова и не совершая насилия над своей семантической интуицией.

Семантический анализ предложения А в языке N состоит, повторим еще раз, в обнаружении подходящей перифразы, т. е. предложения В в том же языке (или любом другом естественном языке), которое можно было бы считать построенным на «семантическом языке» (т. е. лишь с помощью слов, принятых в качестве элементарных и соединенных по предполагаемым грамматическим правилам «семантического языка»). Если предложение В удовлетворяет вышеупомянутым условиям по отношению к предложению А, мы можем назвать его семантическим представлением — или глубинной структурой — предложения А. Под «глубинной структурой» предложения А я в принципе понимаю структуру мысли, для выражения которой служит А.

Мы не можем продемонстрировать мысль саму по себе. По этой причине единственным способом репрезентации глубинной или семантической структуры некоторого предложения, т. е. структуры мысли, соотнесенной с этим предложением, является обнаружение другого предложения, синонимичного первому (но более расчлененного), которое было бы изоморфно мысли, передаваемой посредством обоих предложений. В этом смысле можно говорить о реальном предложении В (изоморфном мысли) как о глубинной структуре предложения А, хотя, в более точной формулировке, предложение В является, на самом деле, только репрезентацией того, что мы называем глубинной структурой предложения А.

Толкования, или, вернее, наброски толкований, предлагаемые в разных местах настоящей книги, вероятно, будут неоднократно вызывать у читателя вопрос: почему толкование должно быть таким, а не каким-либо иным? Какие фактические данные помогут нам обосновать именно такое решение? И, во всяком случае, каким методом оно было достигнуто?

В ответ мне хотелось бы прежде всего сказать: методом служит интроспекция, данными — факты интуиции. Моя цель состоит в моделировании собственной лингвистической интуиции. Данные, извлекаемые мной из собственной лингвистической интуиции, являются не только моим исходным пунктом, но и, так сказать, пунктом назначения.

Это объяснение, вероятно, вызовет новое возражение: почему лингвистическая интуиция какого бы то ни было отдельного лица

должна представлять особый интерес или ценность? Не лучше ли было бы изучать лингвистическую интуицию носителя языка вообще или «среднего» носителя языка?

Это возражение должно быть снято по крайней мере по двум соображениям. Во-первых, исследователь имеет непосредственный доступ только к собственной интуиции, и лишь на этой основе он может изучать интуицию других людей. И во-вторых, я полагаю, что интуиции разных носителей языка практически совпадают. Таким образом, исследование и описание интуиции отдельного лица равносильно исследованию и описанию интуиции всех носителей языка.

Природа интуиции такова, что методом ее исследования неизбежно может быть только интроспекция. Однако следует подчеркнуть, что интроспекция означает не какое-то случайное «мне кажется», а систематическое, упорное проникновение в глубины своего языкового сознания. Первые семантические впечатления различных людей, включая исследователей, часто значительно различаются. Да и собственные впечатления могут в разные дни быть различными. Исследованию подлежит глубинная интуиция, очищенная от всяких поверхностных ассоциаций и предрассудков, приобретенных вместе с лингвистическим образованием, от ложных впечатлений, подсказанных языковыми формами, и т. п.[37].

Настоящая работа стремится к построению эксплицитной семантической теории. Она неизбежно должна быть теорией языковой интуиции. Но в то же время она должна удовлетворять основным требованиям современной научной теории, т. е. она должна объяснять наблюдаемые факты и быть в состоянии предсказывать факты, еще не обнаруженные. (Единственное требование научного метода, которое мы не стремимся удовлетворить в настоящей работе, — это требование формализации. Можно полагать, что для этого еще не пришла пора. Пока не разработана полная семантическая модель естественного языка, пока делается радикальная попытка разрешить загадку семантической системы, любая попытка формализации только затемнила бы картину и затруднила бы, если не сделала невозможным, понимание. Нет необходимости говорить, что в настоящей работе любая формализация избегается исходя из стратегических, а не принципиальных соображений.)

Суммируем основные положения нашей теории. В сознании каждого человека в качестве необходимой части имеется семантическая система, т. е. набор элементарных понятий, или «логических атомов», и правил, по которым эти атомы участвуют в построении более сложных комплексов — ментальных предложений или мыслей. Семантическая система, или lingua mentalis*, в отличие от

* Ментальный язык, язык мысли *(лат.)*. *—Прим. ред.*

различных видов lingae vocales* (эти термины принадлежат Оккаму) является универсальной. Используя естественный язык, мы в действительности делаем перевод на этот естественный язык с языка lingua mentalis. Для любого предложения из lingua mentalis можно построить эквивалентное предложение на естественном языке, используя исключительно те элементарные единицы, которые непосредственно сопоставимы с элементами семантической системы, имеющейся в сознании. Это предложение на естественном языке затем может быть перифразировано в соответствии с грамматическими правилами, специфическими для данного языка («трансформационными правилами»). Грамматика — будь то грамматика английского, венгерского или китайского языков — представляет собой просто систему трансформационных правил, в результате применения которых предложения, изоморфные мысли, превращаются в предложения, явным образом не изоморфные мысли. Предложениями, эквивалентными по значению, независимо от того, принадлежат ли они одному и тому же естественному языку, являются предложения, имеющие один и тот же эквивалент в lingua mentalis.

Невозможно доказать адекватность каких бы то ни было толкований или правильный выбор списка неопределяемых элементов. Можно только продемонстрировать ошибочность того или иного решения. Прежде чем предложить толкование или ввести какой-то неопределяемый элемент, требуется продолжительный мысленный эксперимент. Например, некоторые из толкований, представленных в данной книге, являются итогом многолетних размышлений и имели много разных вариантов. Это, конечно, может показаться многим недостаточным свидетельством их неарбитрарности или ненадуманности. Однако я была бы рада, если бы читатель взял на себя труд постоянно иметь в виду, что они не являются результатом ряда случайных «озарений». Следует подчеркнуть также, что они составляют часть системы, в которой, по крайней мере по замыслу, tout se tient**. Интуитивно ощущаемая правдоподобность какого-либо толкования, рассматриваемого изолированно, может оказаться иллюзорной. И наоборот, некоторое несоответствие интуиции или громоздкость другого толкования может оказаться неизбежной, если рассматривать его как часть системы[38]. В ограниченных пределах данной книги было бы невозможно дать адекватное представление о мысленном эксперименте, проводившемся перед тем, как были достигнуты представленные в ней выводы. Иногда я выборочно привожу какие-то аргументы этого рода, но часто я этого не делаю. В частности, не представилось возможным рассмотреть влияние аль-

* Звуковых языков *(лат.)*. — *Прим. ред.*

** «Все держится друг за друга» *(франц.)* — афоризм А. Мейе, примененный им для характеристики соссюровской системы языка. — *Прим. ред.*

тернативных решений на другие части системы, так как в этом случае неуправляемый поток деталей нарушил бы течение дискуссии.

Что можно сделать (и что было сделано здесь), так это дать толкования в соответствии с предметно-тематическими группами: целостность и внутренняя связность представленной общей картины служит известным обоснованием и подтверждением отдельных толкований в пределах моделируемого фрагмента.

Для иллюстрации этого мне придется остановиться на следующем довольно пространном примере:

волосы = длинные тонкие гибкие предметы, растущие на коже и не являющиеся частью тела;
ногти = плоские твердые предметы, растущие на внешней стороне кончиков пальцев и не являющиеся частью тела;
перья = предметы, растущие на теле птицы и не являющиеся частью тела;
зубы = твердые предметы, растущие во рту и не являющиеся частью тела;
шерсть (fur) = плотное вещество, растущее на коже животного и не являющееся частью тела;
пух = мягкое вещество, растущее на коже птицы и не являющееся частью тела;
рога = твердые предметы, растущие поверх головы животного и не являющиеся частью тела.

Эти толкования являются предварительными и, вероятно, нуждаются в модификациях. Они также являются неокончательными в том смысле, что содержат слова, требующие дальнейшего анализа (прежде всего слова *растущий*). Более тщательное рассмотрение других родственных понятий могло бы, кроме того, обнаружить в толкованиях и другие недостатки, о которых в противном случае мы могли бы и не подозревать. Например, необходимо ли сочетание *не являющееся частью тела*? Я думаю, уместно считать, что ответ зависит от значения некоторых других слов, таких, как *хвост* и *гребешок*. Слово *хвост* может быть использовано по отношению к чему-то, являющемуся частью тела (у кошек и собак) или не являющемуся частью тела (у птиц и лошадей). Для толкования этого слова не существенно, следовательно, является или не является хвост частью тела. Но именно это и делает, как кажется, тем более необходимым включение подобных сведений в толкование таких слов, как *перья, пух, зубы* и т. п. К тому же заключению можно прийти, рассмотрев значение слова *гребешок* — предмета, растущего поверх головы некоторых птиц и *являющегося частью тела*.

Заметим, что вышеприведенный список толкований строится по достаточно симметричному образцу. Я полагаю, можно ожидать, что модель, построенная для любого семантического пространства,

обнаружит внутреннюю организацию такого типа. Однако я не захожу столь далеко, чтобы утверждать, что симметрия сама по себе составляет достоинство описания и что ее следует рассматривать как строгий критерий адекватности. Собственно говоря, мой опыт показывает, что описание всех семантических связей для некоторых семантических пространств предполагает работу с неоднородным строительным материалом. Например, в случае частей тела иногда оказываются необходимыми анатомические, иногда функциональные и иногда «топографические» толкования:

локоть = часть руки, где она сгибается;
колено = часть ноги, где она сгибается;
бедро = часть ноги выше колена;
икра = часть ноги между коленом и ступней;
ноги = длинные части тела, служащие ему опорой;
лицо = передняя часть головы;
рот = отверстие в нижней части лица;
нос = выступающая вперед средняя часть лица с двумя отверстиями;
уши = выступающие части тела по бокам головы;
шея = часть тела, соединяющая голову и остальное тело.

То, что это разнообразие не является произвольным или нелогичным, станет очевидным всякому, как только он сам попытается разрешить для себя эту проблему. Слова *сгибаться* и *опора* могут быть истолкованы без помощи слов *колено, локоть, нога* или *рука,* тогда как, если попытаться определить *рот, нос* или *уши* функционально, рано или поздно не удастся избежать порочного круга. Даже Огден, открыто заявивший о своем намерении избегать порочных кругов, здесь молча капитулирует:

ухо = часть тела, используемая для того, чтобы слышать;
слышать = знать (о звуках) через посредство ушей;
рот = часть головы, используемая при разговоре и принятии пищи;
есть = принимать пищу через рот;
нос = часть лица с отверстиями для дыхания, посредством которой воспринимаются запахи;
запах = ощущение, специфическое для носа.

Важнейшие данные при семантических исследованиях может предоставить «отрицательный» языковой материал. Он может быть либо специально построен для той или иной цели, либо извлечен из текстов, являющихся поэтическими в самом широком смысле слова (т. е. включающими в себя юмор, жаргон, индивидуальное словотворчество и т. д.). Нарушая правила семантической «грамматики», отрицательный языковой материал делает эти правила явными, да-

вая тем самым как ценные отправные пункты семантических исследований, так и объективные данные относительно семантической реальности[39].

С другой стороны, я не признаю имеющими силу так называемые «свидетельства синтаксического характера». Мысль о том, что синтаксические данные необходимы для семантической репрезентации, многими считается самоочевидной. На мой взгляд, это догма, которая не была поставлена под сомнение только вследствие некоторых случайных (с точки зрения принимаемого здесь взгляда) особенностей развития современной лингвистической мысли. Ее следует восстановить в ее истинном статусе гипотезы. А если это гипотеза, то, как мне кажется, необходимо сначала создать независимое семантическое описание, а уже потом проверять ее. Если предметом семантического описания является соотнесение значений с поверхностными структурами, то семантическое представление, базирующееся исключительно на семантической основе, должно быть исходным пунктом для синтаксического описания, а не наоборот. Ведь именно это соотнесение и представляет собой черный ящик; единственное, относительно чего мы имеем эмпирические данные, — это звуки и мысли, а не трансформационные правила, предположительно определяющие связь между тем и другим. С моей точки зрения, генеративная грамматика постулировала (и продолжает постулировать) многие трансформации, которые являются ошибочными, и ошибочными потому, что анализу синтаксической структуры предложений не предшествовало предварительное выявление их семантической структуры. Два устойчивых заблуждения, иллюстрирующие это утверждение, — это «сочинительное сокращение» и «перенос отрицания» (подробно рассмотренные в главах, озаглавленных «"И" и множественность» и «Отрицание»). Впрочем, последние работы многих генеративистов наводят на мысль, что они постепенно меняют свой подход. Хотя они не предпринимают независимого семантического описания, продолжая работать с «синтаксическими данными», и редко хотя бы бегло затрагивают проблему неопределяемых элементов (либо вообще ее не затрагивают), в их решениях конкретных вопросов все больше дает себя знать семантическая ориентация.

В дальнейшем я попытаюсь частично осуществить программу, широкие теоретические контуры которой я только что очертила. Следует еще раз подчеркнуть, что я не всегда полностью уверена в точности моих результатов. Если иногда я кажусь чрезмерно снисходительной по отношению к некоторым из моих толкований, то не потому, что я склонна предлагать лишь наполовину продуманные решения, а потому, что я стремлюсь показать, что разрабатываемая мной программа в принципе осуществима. Мне приходилось в связи с этим вторгаться в целый ряд различных областей, слишком

обширных, чтобы быть эффективно обработанными одним человеком. То, что я попыталась здесь наметить в общих чертах, представляет собой подход к определенной научной области, а не к конкретной теме. Впечатление известной неполноты — неизбежное следствие этого.

Примечания*

1 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958, 4.112.
2 Там же, 4.002.
3 Ogden C. K. The General Basic English Dictionary 1940; G. Gougenheim. Dictionnaire fondamental de la langue française. Paris, 1958.
4 Coodman N. The Structure of Appearance. Cambridge (Mass.), 1951, p. 57.
5 Фреге Г. Понятие и вещь // Семиотика и информатика. Вып. 10. М., 1978.
6 Сочинения Декарта, т. 1. Казань, 1914, с. 115, 116 и 123.
7 Pascal B. Oeuvres Complètes. Paris, 1963, p. 350.
8 Ibid., p. 350.
9 Ibid., p. 350.
10 Webster's New School and Office Dictionary. Springfield (Mass.), 1965.
11 Arnauld A. et Nicole P. La Logique ou l'art de penser. Ed. P. Clair et F. Girbal. Paris, 1965, p. 90—91.
12 Leibniz G.W. De organo sive arte margna cogitandi // Opuscules et fragments inédits, éd. L. Couturat. Paris, 1903, p. 430.
13 Локк Д. Опыт о человеческом разуме // Избр. философ. произведения, т. 1. М., 1960, с. 419—421.
14 Sapir E. Totality // Language Monographs. 1930, № VI; The Expression of the Ending-point Relation in English, French and German // Language Monographs. 1932, № X; Grading: A Study in Semantics // Selected Writings of Edward Sapir, ed. D. Mandelbaum, Berkeley.
15 Morris A. Editorial note to Sapir and Swadesh's The Endingpoint Relation, op. cit., p. 4—5.
16 Ibid., p. 5.
17 Hjelmslev L. Prolegomena to a Theory of Language. Baltimore, 1953, (русск. перевод: Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике. Вып. I. М., 1960, с. 328—329).
18 Sørensen H. S. Word-classes in Modern English. Copenhagen, 1958, p. 42, 43, 46.
19 Weinreich U. On the Semantic Structure of Language // Universals of Language, ed. J. H. Greenberg. Cambridge (Mass.), 1963 (русск. перевод:

* Ссылки на философские работы даются по их русским переводам. — *Прим. ред.*

Вейнрейх У. О семантической структуре языка // Новое в лингвистике. Вып. V. М., 1970).

[20] Bendix E. H. Componential Analysis of General Vocabulary. Bloomington, 1966.

[21] Katz J., Fodor J. The Structure of a Semantic Theory. — «Language», 1963.

[22] Интересная и оригинальная работа Джеффри Грубера (Jeffrey Gruber. Studies in Lexical Relations (MIT, 1965, mimeographed) занимает несколько периферийное положение по отношению к данной линии развития.

[23] Bierwisch M. Some Semantic Universals of German Adjectivals. — In: «Foundation of Language», 3, 1967, p. 3.

[24] Апресян Ю. Д. О языке для описания значений слов. — «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», 1969, т. XXVIII, № 1, с. 417.

[25] В доступных мне библиотеках мне удалось найти только русские переводы работ исследователей Кембриджской и Миланской групп: «Математическая лингвистика», под ред. Ю. А. Шрейдера, И. И. Ревзина, Д. Г. Лахути, В. К. Финна, М., 1964.

[26] «Машинный перевод и прикладная лингвистика», т. 8, М., 1964.

[27] См. сноски 18 и 29.

[28] Bogusławski A. On Semantic Primitives and Meaningfulness. — In: «Sign, Langauge, Culture» (proceedings of conference held in 1966) The Hague, 1970. См. также: Bogusławski A. Semanticzne pojęcie liczebnika. Wrocław-Warszawa, 1966.

[29] Sørensen, op. cit., p. 46.

[30] Leibniz G. W. Table de définitions. — In: «Opuscules et fragments», op. cit., p. 490, 497.

[31] Sørensen, op. cit., p. 47.

[32] Locke, op. cit., p. 27.

[33] Ibid., p. 27—28.

[34] Leibniz G. W. Logical Papers, translated and edited by G. H. R. Parkinson. Oxford 1966, p. 51—52.

[35] Ibid., p. 51—52.

[36] Относительно семантического анализа «конкретной лексики» см.: Апресян Ю. Д. Толкование лексических значений как проблема теоретической семантики. — «Известия АН СССР, Серия литературы и языка», т. XXVIII, вып. 1, с. 22.

[37] Об интуиции и интроспекции в лингвистическом анализе см.: Chomski N. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge (Mass.), 1965 (русск. перевод: Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М., 1972).

[38] О неарбитрарности в семантическом анализе см. цитировавшиеся выше работы Ю. Д. Апресяна.

[39] Значение «отрицательного языкового материала» иллюстрируется в последующих главах лишь отдельными примерами, но вся проблема в целом исчерпывающим образом не рассматривается. Более подробное обсуждение этой проблемы можно найти в моей книге «Dociekania semantyczne», Warszawa, 1969. Там я пыталась рассмотреть такие, на-

пример, предложения, как *Идет дождь, но я этому не верю, Я думаю, что идет дождь, но не верю этому, Я знаю, что идет дождь, а Петр знает, что дождь не идет, У меня есть определенное мнение об этом, но я с ним не согласен.* Я должна со всей откровенностью добавить, что теперь я не уверена, что та попытка была полностью успешной.

См. также мою статью «Descriptions or Quotations?», написанную в 1966 г., но опубликованную только в 1970 г. в сб. «Sign, Language and Culture». К сожалению, мой английский язык — это приобретение 1965 года, и в этой статье он еще достаточно плох, что затрудняет понимание некоторых мест. Но основная линия аргументации все же прослеживается и, я думаю, сохраняет силу до сих пор.

Дэйвид Льюиз

Общая семантика*

I. ВВЕДЕНИЕ

Принятие гипотезы о возможности описывать все естественные, а также искусственные языки, представляющие для нас тот или иной интерес, с помощью трансформационных грамматик не слишком специального вида позволяет дать очень простые общие ответы на следующие вопросы:

(1) Что такое значение?
(2) Как должны выглядеть те семантические правила, с по мощью которых значения сложных выражений определяются, исходя из значений их составных частей?

Я не собираюсь здесь выдвигать каких-либо радикальных положений эмпирического порядка относительно языка. Скорее наоборот: здесь будет предложен удобный и достаточно общий способ представления семантики, применимый к самым разным логически возможным языкам. Таким образом, эту статью следует отнести не к эмпирической лингвистической теории, а к философии такой теории.

То, что я предлагаю относительно природы значений, не будет соответствовать пред-

* Работа публикуется с сокращениями. — *Прим. ред.*

ставлениям тех лингвистов, для которых семантическая интерпретация заключается в том, что предложениям и их составляющим частям приписываются «семантические показатели (маркеры)» или что-либо подобное. (Ср., напр., K a t z — P o s t a l, 1964.) Семантические показатели — это *символы,* т. е. единицы словаря некоторого искусственного языка, который можем назвать *языком семантических маркеров* (Semantic Markerese). Семантическая интерпретация, осуществляемая с их помощью, равносильна алгоритму перевода с языка-объекта на вспомогательный *язык маркеров* (Markerese). Однако перевод на язык маркеров какого-либо английского предложения нам может быть известен без знания основных вопросов, касающихся значения этого предложения, а именно: при каких условиях это предложение истинно. Семантика, не изучающая условий истинности, не может быть семантикой. Перевод на язык маркеров в лучшем случае можно назвать эрзацем настоящей семантики, поскольку мы или полагаемся на собственные языковые знания (компетенцию), которые у нас появятся, если мы, предположим, когда-нибудь станем носителями этого языка, или же мы станем заниматься настоящей семантикой, но только применительно к этому искусственному языку. В той же степени был бы полезен и перевод на латинский язык, но создатели языка маркеров могут наделить его определенными полезными свойствами — такими, как отсутствие неоднозначностей, грамматический аппарат, базирующийся на символической логике, — поэтому применительно к языку маркеров осуществлять настоящие семантические исследования легче, чем применительно к латыни (ср. аналогичные критические замечания в работе V e r m a z e n, 1967).

Метод языка маркеров привлекателен, в частности, тем, что мы имеем дело только с символами, с исчислимыми комбинациями привычных для нас единиц, входящих в состав конечного множества элементов, которые имеют конечное множество употреблений с помощью опять-таки конечного множества правил. Даже те, кто чрезвычайно щепетилен в вопросах онтологии, могут быть при этом спокойны. Но как раз именно это благоприятное для нас конечное множество не позволяет маркерной семантике соприкоснуться с традиционно семантическими отношениями — отношениями между символами и миром не-символов. А следовательно, может случиться так, что, воспользовавшись более адекватным методом, мы обнаружим, что значения представляют собой сложнейшие переплетения бесконечного числа сущностей, состоящих из элементов с самым различным онтологическим статусом.

То, что я предлагаю, не созвучно также ожиданиям тех, кто при исследовании значения склонен обращаться к психологии и социологии языкового узуса, т. е. к таким понятиям, как чувственный

опыт, мысленные образы или социальные правила, условности и закономерности. Я различаю два объекта рассмотрения: во-первых, описание возможных языков или грамматик как абстрактных семантических систем, посредством которых символы связываются с аспектами реальности; во-вторых, описание психологических и социологических факторов, обусловливающих то, что некое лицо или группа лиц использует именно данную абстрактную семантическую систему. Смешение этих двух объектов может привести только к путанице. В настоящей работе речь пойдет исключительно о первом объекте. (Второму посвящены другие мои работы: Lewis, 1968 b; 1969, гл. V.)

Мои предложения укладываются в традицию *референтной семантики*, или семантики *теории моделей*, начало которой положено работами Фреге, Тарского, последними работами Карнапа, а также недавними работами Крипке и других ученых, занимающихся семантическими исследованиями интенсиональных логик (см. Frege, 1892, Tarski, 1936, Carnap, 1947 и 1963, § 9; Kripke, 1963; Kaplan, 1964; Montague, 1960, 1968 и 1970c; Scott, 1970). Недавно несколькими философами и лингвистами по-разному были сделаны попытки применить референтную семантику — в терминах которой обычно описываются искусственные языки — к естественным языкам (см. Davidson, 1967; Parsons, 1968; Montague, 1969, 1970a, 1970b; Keenan, 1969). У меня нет возражений против этих попыток; более того, в моей концепции используются определенные результаты некоторых из них; однако я полагаю, что излагаемый в данной статье подход позволяет достичь того же более простым способом. Впрочем, простота — дело вкуса; к тому же упрощение, достигаемое в одном месте, приводит к усложнениям в другом. Мой подход отличается от большинства остальных лишь тем, что́ именно уплачено за простоту.

II. ГРАММАТИКИ КАТЕГОРИАЛЬНОГО ТИПА

Категориальная грамматика в смысле Айдукевича (см. Ajdukiewicz, 1935, Bar-Hillel, 1964, ч. II) представляет собой контекстно-свободную грамматику следующего вида.

Первое. Имеется небольшое количество *базисных категорий*. Одна из них — категория *предложения* (S). Остальными категориями могут быть, например, *имя* (N)* и *общее имя (нарицательное существительное)* (C). В принципе, наверное, можно обойтись лишь

* Автор употребляет термин «имя» (name) в значении «имя индивида», «индивидное имя». — *Прим. ред.*

этими тремя категориями (кстати, Айдукевич не включал в список базисных категорий *общее имя)*. Возможно, лучше было бы рассматривать совсем другие базисные категории; ниже мы рассмотрим и тот вариант, когда категория *имя* заменена базисной категорией *глагольная составляющая* (VP) или, скажем, категорией *именная составляющая* (NP).

Второе. Имеется бесконечное количество *производных категорий.* Пусть $c, c_1, \ldots, c_n$ $(n \geq 1)$ — категории (базисные или производные — безразлично); из них образуется производная категория, записываемая так: $(c/c_1 \ldots c_n)$. (Внешние скобки мы будем, как правило, опускать.)

Третье. Имеются контекстно-свободные правила непосредственно составляющих (правила НС) вида:

$$c \rightarrow (c/c_1 \ldots c_n)+c_1+\ldots+c_n,$$

соответствующие каждой производной категории. Иначе говоря, пусть дан произвольный набор категорий $c, c_1, \ldots, c_n$; если справа от произвольного выражения категорий $(c/c_1 \ldots c_n)$ присоединить (конкатенировать) выражение категории c_1, а затем и выражения остальных указанных в скобках в данном же порядке категорий, то получим выражение категории c. Соответственно, мы будем говорить, что $(c/c_1 \ldots c_n)$ *принимает* c_1 и т. д. и *составляет* c. Правила НС имплицитно заложены в системе производных категорий.

И последнее. Имеется лексикон, в котором конечное множество выражений — слов и словоподобных морфем — отнесены к категориям. Категории этих лексических выражений могут быть либо базисными, либо производными. Нелексическое сложное выражение может быть порождено только тогда, когда некоторые лексические выражения относятся к производным категориям. Заметим, что, хотя наборы производных категорий и правил НС бесконечны, тем не менее в рамках любого данного лексикона почти все категории и правила остаются неиспользованными, кроме некоторого конечного числа их. И это несмотря на то, что многие лексиконы в состоянии породить бесконечное количество сложных выражений.

Чтобы определить конкретную категориальную грамматику, достаточно задать ее лексикон. Все остальное является общим для всех категориальных грамматик. Рассмотрим следующий лексикон:

<a «неопр. арт.»	(S/(S/N))/C>	<pig «свинья»	C>
<believes «полагает»	(S/N)/S>	<piggishly «по-свински»	(S/N)/(S/N)>
<every «каждый»	(S/(S/N))/C>	<Porky имя собств.	N>

<grunts «ворчит»	S/N>	<something «что-то»	S/(S/N)>
<is «есть»	(S/N)/N>	<the опред. арт.	(S/(S/N))/C>
<loves «любит»	(S/N)/N>	<which «который»	(C/C)/(S/N)>
<Petunia имя собств.	N>	<yellow «желтый»	C/C>

Он задает категориальную грамматику, являющуюся просто одним из нотационных вариантов следующей контекстно-свободной грамматики в привычных обозначениях*:

$$S \rightarrow \begin{cases} NP + VP & (1) \\ VP + Npr & (2) \end{cases}$$

$$VP \rightarrow \begin{cases} Adv+VP & (3) \\ Vt + Npr & (4) \\ Vs+S & (5) \end{cases}$$

$$Np \rightarrow Art + Nco \quad (6)$$

$$Nco \rightarrow Adj + Nco \quad (7)$$

$$Adj \rightarrow Rel + VP \quad (8)$$

$$Npr \rightarrow \begin{cases} \text{Porky} \\ \text{Petunia} \end{cases}$$

$$NP \rightarrow \text{something}$$

$$Nco \rightarrow \text{pig}$$

$$VP \rightarrow \text{grunts}$$

$$Vt \rightarrow \begin{cases} \text{loves} \\ \text{is} \end{cases}$$

$$Vs \rightarrow \text{believes}$$

$$Art \rightarrow \begin{cases} \text{a} \\ \text{every} \\ \text{the} \end{cases}$$

$$Adj \rightarrow \text{yellow}$$

$$Adv \rightarrow \text{piggishly}$$

$$Rel \rightarrow \text{which}$$

Эта грамматика обладает следующими тремя особенностями. Во-первых, собственные имена отличны от именных составляющих. И те, и другие могут выступать в качестве подлежащих (хотя и при различном порядке слов), но только собственные имена могут выступать в роли прямых дополнений. Во-вторых, модификаторы могут быть повторены неограниченное число раз, что неудачно. В-третьих, порядок слов иногда непривычен. Ниже мы покажем, как эти особенности могут быть преодолены.

В данном примере использованы восемь правил НС, соответствующие восьми используемым производным категориям**.

---

* Автор использует следующие стандартные для американской лингвистики сокращения: S (sentence) = предложение; VP (verb phrase) = глагольная составляющая; NP (noun phrase) = именная составляющая, Npr (proper noun) = имя собственное; Nco (common noun) = имя нарицательное; Vt (transitive verb) = переходный глагол; Vs (sentence verb) = сентенциальный глагол; Adj (Adjective) = прилагательное; Adv (adverb) = наречие; Rel (relation) = отношение; Art (article) = артикль. — *Прим. ред.*

** Мы пронумеровали их в авторском примере цифрами (1) — (8). — *Прим. ред.*

Производные категории здесь имеют вид (c/c_1), т. е. принимают один аргумент. Такое ограничение останется в силе в рамках данной статьи, хотя оно и не принципиально.

Легко видеть, что категориальные грамматики указанного вида не могут быть приемлемы как грамматики естественного языка. По этой причине они не могут быть и грамматиками для большинства искусственных языков — за исключением бесскобочного языка символической логики (так называемой «польской записи»). Поэтому, несмотря на свое изящество, категориальные грамматики были полностью исключены из обращения в начале 50-х годов. С тех пор наши интересы были направлены на проект использования той или иной простой грамматики НС в качестве основы трансформационной грамматики. Теперь же пришло время исследовать трансформационные грамматики на категориальной основе: этой основой служит категориальная грамматика Айдукевича, к которой добавляется трансформационный компонент. Насколько мне известно, такой подход был использован только один раз (см. L y o n s, 1966), но он представляется правомерным.

Очевидно, что, добавив трансформационный компонент к категориальной грамматике, приведенной выше в качестве примера, можно было бы подправить порядок слов и избавиться от излишних повторений модификаторов. Менее очевидно, как можно было бы получить объектные именные составляющие посредством взаимодействия трансформационного компонента с несколькими дополнительными лексическими единицами, — теми единицами, которые в окончательном виде порожденных предложений не будут видны.

Если для любого языка, представляющего для нас интерес, можно построить трансформационную грамматику на категориальной основе и при этом потребовать, чтобы значения полностью определились, исходя из базисной структуры (так что трансформационный компонент не будет влиять на семантику предложения), то общий ответ на вопросы: «Что такое значение?», «Как выглядят правила семантического проецирования?» — становится чрезвычайно простым. Посмотрим теперь, как это можно сделать.

III. ИНТЕНСИОНАЛЫ БАЗИСНЫХ КАТЕГОРИЙ

Для того чтобы ответить на вопрос, что такое значение, мы должны сначала установить, какова роль значения, а потом выяснить, что выполняет эту роль.

Значение предложения — это то, что определяет условия, при которых предложение истинно или ложно. Значение определяет значения истинности (truth-value) предложения в различных воз-

можных состояниях дел, в различные моменты времени, в различных точках пространства, для различных говорящих и т. д. (Сказанное я отношу также и к неповествовательным предложениям, однако пока что отложим их обсуждение.) Аналогично этому значение общего (нарицательного) имени — это нечто, определяющее, какой предмет, если таковой существует, это имя именует в различных возможных обстоятельствах в различные моменты времени и т. д. К «предметам» мы относим и такие предметы, которые на самом деле не существуют, но *могли бы* существовать в иных состояниях дел. Таким образом, значение общего (нарицательного) имени — это то, что определяет, к каким предметам (актуально существующим или возможным) — если таковые вообще имеются — данное имя прилагается в различных обстоятельствах в различные моменты времени и т. д.

Назовем значение истинности предложения его *экстенсионалом* (extension); предмет, называемый именем, — *экстенсионалом* этого имени; множество предметов, к которым прилагается общее имя, — *экстенсионалом* этого общего имени. Экстенсионал выражения, которое относится к одной из этих трех категорий, зависит от его значения, и в общем случае, и от других факторов: от фактов, известных о действительности, от времени высказывания, от места высказывания, от говорящего, от окружающих высказываний данного дискурса и т. д. Именно значение определяет, каким образом экстенсионал зависит от комбинации остальных релевантных факторов. А какого рода сущности задают зависимость чего-либо от чего-то другого? Разумеется, *функции* — в самом широком теоретико-множественном смысле, при котором область определения аргументов и область значений функции может состоять из сущностей любой природы и при котором не оговорено, что функция должна быть задана непременно каким-либо простым правилом. Итак, мы нашли нечто, что является по крайней мере частью значения для предложения, имени и общего имени: это функция, продуктом которой «на выходе» является соответствующий экстенсионал, когда «на входе» подается набор различных факторов, от которых экстенсионал может зависеть. Такой входной набор релевантных факторов мы будем называть *индексом* (index), а всякую функцию, соотносящую индексы и соответствующие экстенсионалы для предложения, имени или общего имени, будем называть *интенсионалом* (intension).

Таким образом, *соответственный интенсионал* предложения — это функция, переводящая индексы в значения истинности; *соответственный интенсионал* для имени — это функция от индексов к предметам; *соответственный интенсионал* для общего имени — функция от индексов к множествам. Идея рассмотрения интенсионалов как функций, определяющих экстенсионалы, восхо-

дит к Карнапу (см. C a r n a p, 1947, § 40, а также C a r n a p, 1963). Эти функции мы назовем поэтому *карнаповыми интенсионалами.* Однако в отличие от Карнапа, у которого функции, задающие экстенсионал, в качестве аргументов принимают модели или описания состояний, представляющие, или «репрезентирующие», возможные миры, здесь, — вслед за Монтегю (M o n t a g u e, 1968) и Скоттом (S c o t t, 1970), — под аргументами мы будем понимать наборы разнородных характеристик, релевантных для установления экстенсионалов.

Индексы можно представить себе как конечные последовательности из *n* различных единиц (отличных от значения), которые могут участвовать в установлении экстенсионалов. Эти разнообразные единицы назовем *координатами* индекса; далее мы будем предполагать произвольный фиксированный порядок следования таких единиц.

Прежде всего, должна иметься *координата возможного мира.* Значение истинности произвольного (случайного, contingent) предложения зависит от фактов, известных во внешнем мире, и поэтому является истинным в одних возможных мирах и ложным — в других. Возможный мир соответствует возможной совокупности фактов, детерминированных во всех аспектах. Общие имена тоже обладают различными экстенсионалами в различных возможных мирах; то же справедливо и относительно (индивидных) имен — по крайней мере в том случае, если мы примем точку зрения (она аргументируется в работе Lewis, 1968), согласно которой предметы стоят в отношении строгого подобия, но не тождественности к своим аналогам в других возможных мирах. Во-вторых, необходимо ввести несколько *координат контекста,* соответствующих хорошо известным видам зависимости от свойств окружения. (Координата возможного мира также может рассматриваться как свойство контекста, поскольку различные акты высказывания предложения могут быть локализованы в различных возможных мирах.) Имеется *координата времени* в силу того, что существуют предложения, предикат которых представлен временной формой, а также поскольку существуют предложения типа *Сегодня вторник;* аналогичным образом мы получаем *координату места* (ср. предложение *Здесь есть тигры*), *координату говорящего* (ср. *Я — Порки*), *координату адресата* (ср. *Вы — Порки*), *координату указываемых объектов* (ср. *Та свинья — Порки* или *Те люди — республиканцы*), а также *координату предшествующего дискурса* (ср. *Вышеупомянутую свинью зовут Порки*).

В-третьих, удобно иметь *координату приписывания* (assignment coordinate): это — бесконечная последовательность объектов, рассматриваемая как дающая значения истинности для свободных переменных в таких выражениях, как *X высок* или *Сын Y-а.* Каждая

используемая в языке переменная, соответственно, будет тогда рассматриваться как имя, имеющее свой интенсионал, при некотором числе n, а именно *интенсионал при n-й переменной*. Такая функция при произвольном индексе i имеет значением тот предмет, который является *n-м* термом координаты приписывания для i. Этот самый предмет является экстенсионалом, или значением истинности, для переменной при индексе i. (Заметим, что поскольку существует более чем один возможный объект, то интенсионалы переменных различны: ничто не является одновременно n_1-м и n_2-м интенсионалом переменной, когда n_1 и n_2 — различные числа.) Экстенсионалы для выражений *X высок* и *Сын Y-а* зависят от координаты приписывания и координаты возможного мира для индексов, точно так же, как экстенсионалы для выражения *Я высок* и *Один из моих сыновей* зависят от координаты говорящего и координаты возможного мира. Однако координату приписывания неестественно было бы отнести к координатам контекста, ведь в предложениях естественного языка переменных не видно. Однако на это можно ответить так: переменные удобно использовать в базе категориального типа. Во всяком случае, я достигаю достаточной степени обобщения, охватывающего также языки, которые используют переменные.

Возможно, потребуются и другие координаты. Но остановимся на этих, хотя избыток координат привел бы лишь к мешанине, а упущение необходимой координаты заставило бы нас поплатиться адекватностью. Таким образом, в данном опыте теории *индекс* — это любой восьмичленный набор (any octuple), первая координата которого — один из возможных миров, вторая — момент времени, третья — место, четвертая — лицо (или иное существо, способное выступать в роли говорящего), пятая — множество лиц (или других существ, которые могут выступать в роли аудитории), шестая — множество (возможно, и пустое) конкретных предметов, на которые возможно указание, седьмая — отрезок дискурса, и восьмая — бесконечная последовательность предметов.

Интенсионалы, т. е. функции от индексов к экстенсионалам, задуманы так, чтобы взять на себя часть той роли, которую играют значения. Однако интенсионалы нельзя отождествлять со значениями, ибо возможны различия в значениях при отсутствии различий в интенсионалах. Так, было бы абсурдным утверждать, что все тавтологии обладают одним и тем же значением, — однако все они имеют один и тот же интенсионал, а именно константную функцию, при каждом индексе выдающую значение *истинно*. Интенсионалы составляют часть пути к значениям и представляют интерес уже сами по себе. Позже мы рассмотрим вопрос о том, что необходимо добавить к интенсионалу, чтобы его роль могла сравняться с ролью значения.

Карнаповы интенсионалы могут считаться частично определенными функциями, т. е. функциями, не определенными для некоторых индексов. Так, в каком-либо возможном мире имя может и не обозначать никакого предмета Например, *Пегас* ничего не обозначает в нашем реальном мире, поэтому его интенсионал может считаться неопределенным при любом индексе, у которого координата возможного мира представлена нашим миром. Предложение с нарушением пресуппозиции часто считается лишенным значения истинности (см., например, S t r a w s o n, 1950; K e e n a n, 1969; M c C a w l e y, 1969). При таком подходе к пресуппозиции предложения, способные утрачивать значение истинности, будут считаться обладающими интенсионалами, но не будут считаться определенными при некоторых индексах. Они могут даже обладать интенсионалами, неопределенными при *всех* индексах; предложение с несостоятельными пресуппозициями имеет в качестве интенсионала пустую функцию, т. е. не определенную ни для одного индекса.

До сих пор понятие «предмет» трактовалось расплывчато. Предметы — это экстенсионалы имен и значения истинности, которые принимают интенсионалы имен; множества предметов — это экстенсионалы общих имен и значения истинности интенсионалов для общих имен; последовательности предметов — это координаты приписывания для индексов. Если мы изменим исходное множество предметов, то должны измениться и множества экстенсионалов, индексов и карнаповых интенсионалов. Но тогда что же такое *предмет?* Конечно, мне хотелось бы сказать: предмет — это *все что угодно*. Но так сказать я не имею права. Не любые множества предметов могут быть предметами, — иначе множество предметов было бы шире себя самого. Никакой из карнаповых интенсионалов не может быть предметом (за исключением того случая, когда интенсионал не определен для некоторых индексов), — иначе интенсионал был бы элементом собственного элемента. Вышеприведенные определения экстенсионалов, индексов и карнаповых интенсионалов (равно как приводимые ниже определения композиционных интенсионалов, значений и лексиконов) должны быть рассматриваемы только относительно некоторого — будем считать, что фиксированного, — множества предметов. Но можем ли мы выбрать это множество предметов раз навсегда? Не совсем; какое бы множество мы ни выбрали в качестве множества предметов, система интенсионалов, определенных через это множество, не в состоянии дать интенсионалы для некоторых терминов — например, для термина «интенсионал», — относящихся к семантическому метаязыку, соответствующему такому выбору. Возьмем, например, язык данной работы (за вычетом этого абзаца), в котором экстенсионал термина «предмет» так или иначе фиксирован; это адекватный семантический метаязык для некоторых других языков, но не для себя

самого, чтобы установить семантику для него, мы должны перейти ко второму языку, в котором термин «предмет» имеет больший объем; установление же семантики для этого второго языка требует перехода к третьему языку, в котором термин «предметом» имеет еще более широкий объем, и т. д. Любой язык можно описывать посредством такого метаязыка, в котором понятие «предмет» для этого достаточно широко. Однако универсальность семантики ограничена в самой основе тем, что никакой язык не может быть одновременно своим собственным семантическим метаязыком (ср. T a r s k i, 1936), а следовательно, не существует никакого универсального семантического метаязыка. Тем не менее мы можем приближаться к универсальности, расширяя в соответствующей степени объем понятия «предмет». Чтобы перейти к последующему изложению, примем, что множество предметов выбрано почти раз навсегда как множество достаточно широкое: по крайней мере, оно включает в себя универсум некоторой специальной модели для стандартной теории множеств плюс все те не-множества, — актуально существующие или возможные, — которые мы пожелали бы включить на правах индивидов. Последовательность семантических метаязыков, пока не поддающихся анализу, здесь не будет рассматриваться.

В таком случае имеем пересечения между предметами, множествами предметов и значениями истинности. (Не все множества предметов могут быть сами предметами, однако некоторые должны быть.) Более того, пересечения множеств и значений истинности появятся, если принять обычное соглашение, в соответствии с которым значение «истинно» идентифицируется с 1, а значение «ложно» с 0, и при этом приравнивать каждое натуральное число множеству его предшественников по натуральному ряду. Таким образом, будут пересекаться соответственные экстенсионалы и интенсионалы для предложений, имен и общих имен. Та же самая функция, которая является интенсионалом для всех противоречивых предложений, будет также интенсионалом для имени *ноль* и для общего имени *круглый квадрат*. Такое наложение, впрочем, безобидно. Каждый раз, когда мы захотим избежать его, мы можем заменить интенсионалы на упорядоченные двойки, состоящие из категории и интенсионала, соответственного для такой категории.

IV. ИНТЕНСИОНАЛЫ ПРОИЗВОДНЫХ КАТЕГОРИЙ

Переходя к производным категориям, представляется наиболее приемлемым в интересах общности сохранить экстенсионалы и карнаповы интенсионалы. Иногда, например, С/С — т. е. *прилагательное* — обладает экстенсионалом, подобным экстенсионалу общего

имени; множество предметов, к которым (при определенном индексе) это прилагательное приложимо. Видимо, слово *женатый* является таким *экстенсиональным прилагательным.* Однако большинство прилагательных экстенсионалами не обладают. Как могло бы выглядеть множество предметов, к которым приложим эпитет *мнимый? Мнимый демократ* — не тот, кто, с одной стороны, является мнимым предметом, а с другой — демократом.

В общем случае, прилагательное преобразует общее имя в новое общее имя, и интенсионал этого нового имени зависит от интенсионала исходного общего имени в том отношении, которое диктуется значением прилагательного. Следовательно, значение прилагательного — это то, что определяет, каким образом интенсионал одного общего имени зависит от интенсионала другого. В поисках того, что призвано выполнить значение, мы приходим к следующему: для прилагательного соответствующий интенсионал — это любая функция от множества интенсионалов общих имен к множеству интенсионалов новых общих имен. Более конкретно — это функция, область определения и область значений которой представляют собой функции от индексов к множествам. Так, интенсионал прилагательного *мнимый* — это функция, которая, если сделать ее аргументами интенсионалы таких общих имен, как *демократ, ветровое стекло, белка* и т. д. — выдаст соответственно интенсионалы составного общего имени: *мнимый демократ, мнимое ветровое стекло* и *мнимая белка.* Заметим, что такое определение не работает, если взять в нем функцию, соотносящую два множества экстенсионалов для общих имен (или их множеств): при определенных индексах *демократ* и *сторонник Кеннеди* обладают одним и тем же экстенсионалом, но *мнимый демократ* и *мнимый сторонник Кеннеди* имеют различные экстенсионалы (а при соответствующих иных индексах — и наоборот).

В более общем случае, назовем *соответственным интенсионалом* для категории $(c/c_1 \ldots c_n)$, где c, c_1, ... ,c_n — произвольные категории, базисные или производные, любую n-местную функцию, соотносящую наборы интенсионалов для категорий c_1, ... , c_n, с одной стороны, и интенсионалы для c — с другой. Иначе говоря, это любая функция (опять-таки в самом широком теоретико-множественном смысле), область значений которой — это множество интенсионалов для c, а область определения для первого аргумента — множество интенсионалов для c_1... и т. д., и наконец, область определения для n-го аргумента — множество интенсионалов для c_n. Аналогично тому, как $(c/c_1 \ldots c_n)$ берет c_1, ... ,c_n и их соединяет в c, так и интенсионал для $(c/c_1 \ldots c_n)$ берет интенсионал для c_1 и т. д., до интенсионала для c_n включительно в качестве аргументов, и в качестве значения функции выбирает некоторый интенсионал для c. Такие интенсионалы для производных категорий назовем *компози-*

циональными интенсионалами. (Интенсионалы, близкие к некоторым видам композициональных интенсионалов, рассматриваются в работах Kaplan, 1964; Scott, 1970; а такие, как соответственные интенсионалы для прилагательных и других модификаторов, — в работах Parsons, 1968 и Montague, 1970a.) Общий вид правил семантического проецирования для интерпретированной категориальной грамматики имплицитно заложен в природе композициональных интенсионалов, — точно так же, как общий вид правил НС заложен уже в самой номенклатуре для производных категорий. Результатом конкатенации (линейного связывания) представителя категории $(c/c_1 \ldots c_n)$ с интенсионалом φ_0 (когда c_1 имеет интенсионал φ_1, ... , c_n — интенсионал φ_n) будет представитель категории c_n с интенсионалом φ_0 $(\varphi_1 \ldots \varphi_n)$.

Рассмотрев производную категорию «прилагательное», C/C, перейдем к другому примеру, тоже производной категории «глагольная составляющая» S/N.

Глагольная составляющая, сочетаясь с именем, дает предложение. (Причем предполагается, что трансформационный компонент изменит, где это необходимо, порядок слов.) Поэтому соответственный интенсионал для глагольной составляющей — интенсионал S/N — является функцией, дающей для интенсионалов имен интенсионалы предложений. Иначе говоря, это функция, устанавливающая для функций от индексов к предметам — функции от индексов к значениям истинности. Например, интенсионал для глагола grunts «ворчит» — это функция φ, которая при аргументе, представленном произвольной функцией φ_1 (функцией от индексов к предметам), принимает в качестве значения ту функцию φ_2 от индексов к значениям истинности, что при произвольном индексе i — имеет место:

$$\varphi_2(\mathrm{i}) = \begin{cases} \text{если } \varphi_1(i) \text{ — нечто ворчащее в том мире и времени,} \\ \text{которые даны соответствующими координатами в} \\ \text{индексе } i, \text{ это } \textit{истина}, \text{ в противном случае это —} \\ \textit{ложь}. \end{cases}$$

Применение этого правила проецирования сообщает предложению Porky grunts «Порки ворчит» значение «истинно» как раз в тех индексах i, в которых предмет, называемый Porky, при i ворчит в возможном мире, представляющем собой координату возможного мира у индекса i, и в то время, которое обозначено координатой времени у i. (Круг в таком описании только кажущийся; он объясняется только тем обстоятельством, что я использую английский язык для указания интенсионала для английского же слова.)

В качестве следующего примера возьмем производную категорию «наречие» (одну из ее разновидностей) (S/N)(S/N). Наречие этого вида принимает глагольную составляющую, и в результате

получается тоже глагольная составляющая; таким образом, соответственный интенсионал для наречия такого класса — это функция над множеством интенсионалов для глагольных составляющих, дающая интенсионалы глагольных составляющих; или, еще конкретнее, — функция от множества функций от индексов (дающих предметы), дающих функции от индексов к истинностным оценкам; эта функция дает в качестве значений функции от функций от индексов (дающих предметы), дающих функции от индексов к истинностным оценкам.

Я обещал простоту; а при этом предлагаю рассматривать функции от функций от функций, дающих функции, дающие функции от функций, дающих функции. И еще хуже: у меня в запасе есть наречие, модифицирующее нормальные наречия, — категория ([S/N]/[S/N])/([S/N]/[S/N]). И все же, я полагаю, что извиняться здесь излишне. Интенсионалы являются затруднительными конструктами, но принципы их построения крайне просты. Это обычная ситуация: сложны теоретико-множественные построения для описания действительных чисел, — однако даже дети зачастую довольно хорошо знают, что такое действительные числа.

В некоторых случаях можно было бы найти и более простые интенсионалы, но очень дорогой ценой, т. е. ценой отказа от единообразной формы, которой должны отличаться правила семантического проецирования вида «функция + аргумент». Выше уже было отмечено, что некоторые прилагательные экстенсиональны, однако большинство — нет. Экстенсиональным прилагательным можно дать в качестве экстенсионалов множества, а в качестве карнаповых интенсионалов — функции над индексами, дающие множества. Аналогично — и для глагольных составляющих: глагольную составляющую можно назвать *экстенсиональной* тогда и только тогда, когда существует функция $\varphi_3(i) =$ от индексов к множествам, такая, что если φ_1 — (композициональный) интенсионал глагольной составляющей, φ_2 — произвольный интенсионал имени, φ_3 — это $\varphi_1(\varphi_2)$, а i — произвольный индекс,

$$\varphi_3(i) = \begin{cases} \text{истинно, если } \varphi_2(i) \text{ — член множества } \varphi(i) \\ \text{ложно — в противном случае.} \end{cases}$$

Если существует хотя бы одна такая функция φ, то она единственна; ее можно назвать карнаповым интенсионалом глагольной составляющей, а экстенсионалом при индексе — значение ее в этом индексе. Например, grunts «ворчит» является экстенсиональной глагольной составляющей; ее экстенсионалом при индексе i является множество предметов, ворчащих в том мире и в то время, которые задаются координатами возможного мира и времени индекса i. Глагольные составляющие, в отличие от прилагательных, обычно экстенсиональны; однако, как заметила Барбара Парти, глагольная

составляющая в предложении The price of milk is rising «Цена на молоко растет», видимо, неэкстенсиональна.

В том, что экстенсиональные прилагательные и глагольные составляющие обладают как карнаповыми, так и композициональными интенсионалами, нет никакого противоречия. Однако при определении интенсионала для комбинации типа «экстенсиональное прилагательное плюс имя нарицательное» или «экстенсиональная глагольная составляющая плюс имя» должен использоваться именно композициональный интенсионал. Если бы использовались карнаповы интенсионалы, то пришлось бы иметь дело с мешаниной из правил семантического проецирования — вместо единообразного правила типа «функция плюс аргументы». (Действительно, наилучшим способом формулирования правил проецирования, использующих карнаповы интенсионалы, было бы комбинировать правило, реконструирующее композициональные интенсионалы на основе карнаповых интенсионалов с правилом типа «функция плюс аргумент» для композициональных интенсионалов.) Более того, при этом пришлось бы пожертвовать обобщенностью: неэкстенсиональные прилагательные и глагольные составляющие тогда описывались бы порознь, исходя из экстенсиональных прилагательных, или вообще не описывались бы. Что касается прилагательных, то такая потеря в обобщенности была бы значительной, а в случае глагольных составляющих — не очень: неэкстенсиональных глагольных составляющих существует мало, а, может быть, не существует вообще.

С целью обобщения можно было бы описывать ограничения на выбор лексических единиц таким образом, что композициональный интенсионал остается для некоторых аргументов соответствующего типа неопределенным. Например, если мы считаем, что сочетание green idea «зеленая идея» не может обладать интенсионалом, мы могли бы тогда положить, что интенсионал для green является частично определенной функцией над множеством интенсионалов для общих имен, дающей также интенсионалы для общих имен, причем эта функция не определена именно для аргументов типа: экстенсионал для idea. Однако в таких случаях удобнее не считать интенсионал неопределенным, а приписать такое значение, которое можно назвать «нулевым интенсионалом» (для соответственной категории). Нулевой интенсионал для базисных категорий будет пустой функцией; нулевой интенсионал для любой производной категории типа $(c/c_1 \ldots c_n)$ — это тот интенсионал типа $(c/c_1 \ldots c_n)$, значением которого для любой комбинации соответственных аргументов будет нулевой интенсионал для c. Так, интенсионал для *зеленый,* при котором в качестве аргумента дан интенсионал для выражения *идея,* имеет в качестве значения нулевой интенсионал категории С. Интенсионал наречия furiously «яростно», когда аргументом является интенсионал для sleeps «спит», имеет значением нулевой интенси-

онал категории S/N, а тот, в свою очередь, по интенсионалу произвольного имени дает в качестве значения нулевой интенсионал категории S. (Мне такая трактовка сочетаемости, или селекции, не нравится, но я оставляю право выбора для всех желающих.)

Уместно будет отметить, что моя трактовка интенсионалов для производных категорий, а также соответствующая форма правил проецирования не зависят от моей же трактовки интенсионалов для базисных категорий. Чем бы ни были экстенсионалы для S и для N — будь они даже выражениями на маркерном языке или идеями в чьей-либо голове, — интенсионалы типа S/N могут быть приняты как функции над интенсионалами типа N, принимающие значения в виде интенсионалов типа S; при этом интенсионал выражения Porky grunts «Порки ворчит» будет получаться в результате взятия интенсионала от выражения grunts как функции от интенсионала для выражения Porky, взятого в качестве аргумента.

V. ЗНАЧЕНИЯ

Как уже замечено выше, интенсионалы предложений не могут быть приравнены значениям, поскольку различия в значении, — например, между тавтологиями, — не могут быть связаны с какими-либо различиями в интенсионале. То же самое справедливо и для других категорий, базисных и производных. Различия в интенсионале дают нам, так сказать, «огрубленные» различия значений. «Тонкие» различия значений могут быть подмечены при анализе составного выражения по частям и при рассмотрении интенсионалов различных составляющих. Например, Snow is white or it isn't «Снег белый или не белый» имеет тонкое отличие по значению от выражения Grass is green or it isn't «Трава зеленая или не зеленая», в силу различий интенсионалов вложенных в них предложений Snow is white «Снег белый» и Grass is green «Трава зеленая». Еще более тонкие различия в значении будут выявлены из рассмотрения составляющих для составляющих и т. д. Только придя к неразложимым, лексическим составляющим, можно принять тождество интенсионалов как достаточное условие для синонимичности. (См. C a r n a p, 1947, § 14, где речь идет об «интенсиональном изоморфизме»; L e w i s, 1944, об «аналитическом значении».)

Следовательно, естественным будет приравнять значения семантически интерпретированным показателям непосредственно составляющих (НС) за вычетом их терминальных узлов: значения тогда будут представлены как конечные упорядоченные деревья, в каждом узле которых проставлена категория и соответственный интенсионал. Если мы связываем значение такого вида с каким-либо

выражением, то получаем категорию и интенсионал этого выражения; а если выражение — составное, то мы имеем одновременно категории и интенсионалы составляющих его частей; то же самое для более мелких составных частей — составляющих составляющих и т. д.

Возможно, это слишком тонкое разложение значений. Например, мы не сможем принять ту точку зрения, что двойное отрицание имеет то же значение, что и соответствующее утверждение. Но это затруднение меня не беспокоит: у нас в руках будут иметься и интенсионалы, и то, что я называю значениями; иногда те, а иногда другие будут предпочтительны при эксплицировании общепринятого способа говорения (дискурса) о значениях. Возможно, и промежуточные единицы будут когда-либо предложены, но я сомневаюсь в том, что найти их можно каким-либо единственным естественным путем.

Может показаться не совсем удачным и то, что при нашем подходе к значению нам пришлось делать произвольный выбор — например, относительно порядка следования координат в индексе. Значения есть значения, и разве можно *выбирать* конструирование их одним, а не другим способом? Это обычное возражение против любого теоретико-множественного построения (см. B e n a c e r r a f, 1965), поэтому я не буду отвечать на него здесь. Но если оно вас беспокоит, вы можете выразиться иначе: действительные значения — это единицы sui generis, а те конструкты, которые я называю «значениями», играют роль настоящих значений, поскольку между ними и действительными значениями существует взаимнооднозначное соответствие.

Может также показаться неудачным то, что я рассуждал о категориях, предварительно не сказав, что это такое. Это также связано с произвольностью выбора. Можно было бы, например, принять, что они являются множествами выражений на некотором языке, что это — множества интенсионалов, или даже приравнять их произвольно выбранным числам-кодам. Наиболее же удобным, хотя и слегка неестественным, представляется приравнять категории к их собственным именам: т. е. к выражениям, составленным из букв S, N, C соответствующим образом (кроме этих букв, могут вводиться и другие, походу пересмотра общей системы), при участии скобок и косых черт. В результате этого наши категории-имена не перестают быть именами категорий: они называют сами себя. Все определения, в которые входят категории, должны быть понимаемы в соответствии с такой идентификацией категорий и их имен.

Кто-то, может быть, пожелает знать, что такое «дерево»? Прекрасно! Это — функция, указывающая для каждого элемента множества узлов этого дерева некоторый объект, о котором говорится, что он занимает этот узел, или находится в этом узле. Сами

узлы — это конечные последовательности положительных чисел. Множество таких последовательностей представляет собой множество узлов — для некоторого дерева тогда и только тогда, когда: 1) оно конечно, 2) оно содержит последовательность $<b_1 \ldots b_k>$, оно содержит также любую последовательность, начинающую эту цепочку $<b_1 \ldots b_k>$, и любую последовательность $<b_1 \ldots b_{k-1} b_k'>$ при $b_k' < b_k$. Мы рассматриваем $< >$, выражение нулевой длины, в качестве вершинного узла; $<b_1>$ — это b_1-*й* узел слева, непосредственно под узлом $< >$; $<b_1 b_2>$ — это b_2-й узел слева, непосредственно под узлом $<b_1>$, и т. д. Можно легко определить все требуемые понятия теории деревьев в терминах такого подхода.

Раз уж мы идентифицировали значения с семантически интерпретированными показателями НС, естественно пересмотреть НС-правила категориальной грамматики вместе с соответствующими им правилами проецирования: они имеют теперь статус условий, необходимых для того, чтобы значение было «хорошо построенным» (ср. M c C a w l y, 1968). Соответственно этому, *значение* мы определяем теперь как дерево, каждый узел которого, во-первых, занят некоторой упорядоченной парой <cj> некоторой категории и соответственным интенсионалом этой категории; а во-вторых, этот узел имеет непосредственно под собой (если он является нетерминальным узлом) два или более других узла, занятые, соответственно, парами $<c_0 \varphi_0>$, $<c_1 \varphi_1>$, . . . , $<c_n \varphi_n>$ (именно в указанном порядке), причем c_0 — категория $(c/c_1 \ldots c_n)$, а φ — это φ_0 $(\varphi_1 \ldots j_n)$.

Значение может быть и деревом с единственным узлом; такие значения назовем «простыми», а остальные — «составными». Составные значения можно представить как построенные из простых в результате поэтапных переходов, когда несколько значений (простых или составных) комбинируются в качестве поддеревьев под некоторым новым узлом, аналогично тому, как выражения строятся посредством конкатенирования более коротких выражений. Можно некоторое значение m' назвать «составляющей» некоторого значения m тогда и только тогда, когда m' является поддеревом для m. Можно сказать, что значение *m порождено* множеством простых значений тогда, и только тогда, когда каждая простая составляющая у m принадлежит этому множеству. В более общем случае *m порождается* множеством значений (простых или составных), если, и только если, каждая простая составляющая для m является составляющей для некоторой составляющей у m (возможно, и для себя самой), принадлежащей этому множеству.

Во многих отношениях оправданно говорить о значениях, как если бы они были символическими выражениями, порожденными некоторой интерпретированной категориальной грамматикой, хотя бы в действительности это было и не так. «Категорией» значения является та категория, которая находится в качестве первой ком-

поненты вершинного узла этого значения. «Интенсионал» значения — тот интенсионал, который представлен в качестве второй компоненты вершинного узла этого значения. «Экстенсионал» при индексе *i* для значения предложения, имени или нарицательного имени — это то, чем представлен интенсионал значения при аргументе *i* Значение предложения равно *истине* или *лжи* при *i* в зависимости от того, является ли его экстенсионал при *i* истиной или ложью; значение имени *называет* при *i* тот предмет (если последний существует), который является экстенсионалом имени при *i*, а значение имени нарицательного *приложимо* при *i* к любым предметам, входящим в экстенсионал этого нарицательного имени при *i*. Как мы видели, экстенсионалы могут быть приписаны даже некоторым значениям для производных категорий, типа C/C или S/N, однако такое приписывание не может быть осуществлено неискусственным, общим способом.

Исходя из определения истинности значения предложения при некотором индексе, можно определить производные отношения истинности. Координаты индекса могут быть представлены эксплицитно, могут быть определены контекстом высказывания, а могут и обобщаться. Обобщая все координаты, мы можем сказать, что значение предложения *аналитично* (в одном из смыслов), если, и только если, оно истинно при любом индексе. Обобщая координаты возможного мира и приписывания и оставляя другие координаты в стороне, как определяемые исходя из контекста, — можно сказать, что значение предложения аналитично (в другом смысле) в данном случае, если, и только если, оно истинно при любом индексе *i*, для которого его координаты времени, места, говорящего, адресата, указываемых объектов и предшествующего дискурса характеризуют в точности время, место, говорящего, адресата, множество указываемых объектов и предшествующий в этом случае дискурс. Осуществляя обобщения координат времени и приписывания — причем предполагается, что остальные координаты (включая и координату возможного мира) выявляются из контекста, — можно определить *вечную истинность* значения предложения в какомнибудь случае. Простая *истинность* в некотором случае определяется в результате обобщения координаты приписывания, при допущении того, что остальное выявляется из контекста.

Можно также определить и более сильные истинностные отношения, чем истинность при любом индексе. Назовем значение m' *семантическим вариантом* значения m в том, и только в том, случае, если m и m' имеют в точности одни и те же узлы, с одинаковыми категориями, но не обязательно одни и те же интенсионалы при каждом узле, причем всегда, когда один и тот же интенсионал находится в двух терминальных узлах в m, интенсионалы совпадают и в соответствующих двух узлах в дереве m'. Назовем m' *s-фикси-*

рованным семантическим вариантом m, где *s* — множество некоторых простых значений, — если, и только если, *m и m′* являются семантическими вариантами, и при этом каждый элемент множества *s*, являющийся составляющей для *m,* является также составляющей, в том же месте, и для *m′*. Тогда мы можем назвать значение предложения *s*-истинным, если, и только если, каждый его *s*-фиксированный семантический вариант (включая и его само) истинен при любом индексе. Если *s* — множество простых значений, носители которых могут быть отнесены к классу логических выражений, то можно назвать *s*-истинные значения предложения *логически истинными;* если *s* — множество простых значений, носители которых входят, по нашей оценке, в математический словарь (в состав которого входит логический словарь), то такие *s*-истинные значения предложений можно назвать *математически истинными.* Аналогичным образом можно определить отношение *s*-фиксированной семантической вариантности между последовательностями значений; тогда значение предложения *m* будет одним из *s*-следствий (в частности, *логическим следствием* или *математическим следствием)* для значений предложения $m_1, \ldots$ и т. д., если, и только если, для любого *s*-фиксированного семантического варианта $<m'_0 m'_1 \ldots>$ для последовательности $<m_0 m_1 \ldots>$ и любого индекса *i*, такого, что каждое из $m'_1, \ldots$ истины в *i*, m'_0 истинно в *i*. (Количество посылок $m_1, \ldots$ может быть и бесконечным. Их порядок особой роли не играет.) Эти определения являются переформулировками тех, которые используются во всех истинностных интерпретациях конкретного языка, в логических и математических стандартных описаниях. При этом, правда, нам удалось избежать введения понятия «альтернативные интерпретации», поскольку пока что мы имеем дело исключительно со значениями.

VI. ПЕРЕСМОТРЕННАЯ СТРУКТУРА ГРАММАТИК

Наша система значений может служить в качестве универсальной основы для трансформационных грамматик с категориальным базовым компонентом. Нет необходимости дублировать правила непосредственно составляющих, характеризующих «правильную построенность» в терминах категорий, при задании базового компонента в любой такой грамматике. Вместо этого значения рассматриваются как данное, и та или иная грамматика — как характеризующая способ кодирования для значений: она устанавливает *отношение репрезентирования* (в наших терминах) между конкретными значениями и конкретными выражениями (последовательностями, состоящими из звуко-типов или знако-типов).

Грамматики можно попросту приравнять отношениям репрезентирования; однако я предпочитаю смотреть на грамматики как на системы, задающие отношения репрезентирования тем или иным способом.

Если бы нас интересовали только категориальные грамматики без трансформаций, то грамматику мы определили бы как состоящую всего лишь из лексикона: т. е. как конечное множество троек вида $<e c \varphi>$, где e — выражение, c — категория, φ — интенсионал, соответственный для этой категории. Выражение e будет тогда *репрезентировать*, или *иметь* значение m относительно лексикона L, если, и только если, L содержит единицы $<e_1 c_1 \varphi_1>, \ldots, <e_n c_n \varphi_n>$, такие, что: во-первых, e—результат конкатенирования $e_1, \ldots, e_n$ (именно в указанном порядке), а во-вторых, терминальные узлы дерева m заняты парами $<c_1 \varphi_1>, \ldots, <c_n \varphi_n>$ (в том же порядке).

Можно было бы вместо этого действовать в два этапа. Во-первых, определить *(категориальный) показатель* НС как дерево, в нетерминальных узлах которого стоят категории, а в терминальных — выражения. Тогда показатель НС p репрезентирует, или *имеет* значение m относительно лексикона L, если, и только если, p получается из m в результате следующей процедуры: если некоторый терминальный узел в дереве значения m занят парой $<c\varphi>$, то пол ним помещается другой узел, занятый выражением e, таким, что единица $<e c \varphi>$ содержится в лексиконе; после чего удаляются интенсионалы: каждая пара $<c\varphi>$ в нетерминальных узлах заменяется на одиночную категорию c. Заметим, что множество значений, репрезентируемых таким образом относительно некоторого лексикона L, содержит все те и только те значения, которые порождаются множеством простых значений для самих лексических единиц; назовем это множество значений порожденным лексиконом L.

Во-вторых, определяется *терминальная цепочка* показателя НС p как выражение, которое получается в результате конкатенирования, одного за другим, выражений, находящихся в терминальных узлах этого p. Итак, мы видим, что согласно вышеприведенному определению выражение e репрезентирует некоторое значение m относительно некоторого же лексикона L, если, и только если, e является терминальной цепочкой того или иного показателя НС, который репрезентирует m относительно L.

В случае же трансформационной грамматики с категориальной базой наши действия имеют вместо двух три этапа. Такая грамматика состоит из лексикона L и *трансформационного компонента* Т. Последний налагает бесконечное количество ограничений на конечные последовательности показателей НС. Последовательность $<p_1 \ldots p_n>$ показателей НС, отвечающая этим ограничениям (т. е. не нарушающая их) из Т, будет тогда называться *(трансформационной) деривацией показателя* p_n из p_1 в Т. Выражение e *репрезенти-*

рует, или *имеет* значение *m* в грамматике <LT>, если, и только если, существует деривация вида $<p_1 \ldots p_n>$ в T такая, что *e* является в ней терминальной цепочкой для p_n, а p_1 репрезентирует значение *m* относительно лексикона L. В таком случае *e* будет названа *осмысленным выражением*, p_n — *поверхностной структурой e*, $p_{n-1}, \ldots, p_2$ — *промежуточными структурами, e*, p_1 — *базовой структурой e*, а *m* — *значением e* (и все это *относительно* грамматики <LT>). При этом, впрочем, мы будем называть любой показатель НС *p базовой структурой* относительно <LT>, если, и только если, он репрезентирует некоторое значение относительно лексикона *L*, — вне зависимости от того, является ли этот показатель базовой структурой какого-либо выражения. Итак, возможны базовые структуры, отфильтровываемые в силу того, что они не являются первым членом никакой деривации в T.

Отношение репрезентирования, задаваемое грамматикой <LT>, ни в коем случае не является взаимно-однозначным соответствием между значениями и выражениями. Конкретное выражение может быть также неоднозначным, репрезентируя несколько различных значений. (Если оно репрезентирует несколько различных, но совместимых значений, называть его неоднозначным, впрочем, неудачно; интуитивное понятие значения, видимо, лежит где-то между определенным здесь значением в узком, специальном смысле и интенсионалом.) С другой стороны, несколько выражений могут быть *синонимичными*, репрезентируя одно и то же значение. *Полностью синонимичными* можно было бы также назвать несколько выражений, если, и только если, наборы значений у каждого из них совпадают. Синонимия и полная синонимия совпадают, если мы имеем дело только с однозначными выражениями. Если несколько выражений репрезентируют различные, но совместимые (или коинтенсиональные) значения, то они могут быть названы эквивалентными, но не синонимичными. Если несколько выражений не только репрезентируют одно и то же значение, но и обладают одной и той же базовой структурой, то их можно назвать не только эквивалентными и синонимичными, но и *парафразами* друг для друга.

Когда задано некоторое отношение репрезентирования, все до сих пор определенные семантические отношения для значений переносятся и на выражения, обладающие этими значениями. (Если бы мы пожелали, то смогли бы перенести их на базовые, поверхностные и промежуточные структуры, лежащие между значениями и выражениями.) Таким образом, мы знаем, что значит говорить — применительно к конкретной грамматике и с уточнениями в случае неоднозначности, типа «при значении...» или «при всех значениях» — относительно категории и интенсионала любого осмысленного выражения, относительно экстенсионала, при определенном индексе, для произвольного выражения любой категории, относи-

тельно предмета, к которому прилагается определенное имя, относительно предметов, к которым приложимо определенное общее имя; а также относительно истинности при данном индексе, истинности в данном конкретном случае — ситуации, аналитичности, логической истинности и т. д. — все это верно, когда речь идет о предложении, и т. д.

Следует отметить следующую необычную черту нашей трактовки логической истинности. Какой-либо синоним для логически истинного предложения сам является логически истинным, поскольку он репрезентирует то же самое логически истинное значение, что и исходное. Следовательно, результат синонимичной замены логически истинного высказывания дает истину только при том условии, что синонимическая замена ограничена отдельными лексическими единицами базовой структуры; противное неверно. Например, высказывание *Все инсекты — насекомые** будет логически правильным, в то время как *Все квадраты — равносторонние прямоугольники* — чисто аналитическое высказывание (в строгом смысле слова).

Трансформационный компонент может ограничивать множество последовательностей показателей НС двумя способами. Имеется локальное ограничение, согласно которому любые два показателя НС, являющиеся смежными в деривации, должны находиться в одном из отношений, число которых конечно; такие дозволенные отношения между смежными показателями НС являются *трансформациями.* Кроме того, могут быть и глобальные деривационные ограничения, задающие отношения между несмежными показателями НС или даже между свойствами целой деривации. Примером последнего вида является ограничение, согласно которому трансформации работают некоторым циклическим (или частично циклическим) образом.

Бестрансформационная категориальная грамматика является частным случаем трансформационной грамматики с категориальной базой. Это тот случай, когда трансформационный компонент не содержит ни трансформаций, ни глобальных ограничений, так что деривации в рамках такой грамматики представляют собой последовательности, представленные всего лишь одним членом $<p_1>$ — показателем НС.

Не буду здесь подробно останавливаться на понятии трансформации и трансформационного компонента. Математически точные определения для них существуют (см., например, P e t e r s — R i t c h i e, 1969), однако выбор того или иного варианта определения связан с принятием того или иного концептуального аппарата из конкурирующих синтаксических теорий. Я предпочитаю сохранять

* В подлиннике другой пример: All woodchucks are groundhogs, woodchuck и groundhog — два синонимичных названия для американского сурка. — *Прим. перев.*

нейтралитет; впрочем, прямой необходимости в выборе класса трансформационных грамматик здесь нет. Будем ориентироваться на тот вид, который является некоторым упрощением модели, представленной в «Аспектах» Н. Хомского (см. C h o m s k y, 1965); пока что не было здесь сказано о том, какие альтернативы не будут рассмотрены.

Я не говорил пока что о такой альтернативе, как порождающая семантика. То, что я определил как «лексикон», представляет собой исходный (initial) лексикон. Слова, не входящие в этот лексикон, могли бы, в частности, быть в случае необходимости введены трансформационным способом, при переходе от базовой к поверхностной структуре. Могло бы даже оказаться, что ни одна из исходных лексических единиц не достигнет поверхностной структуры, так что все поверхностные лексические единицы (выражения, стоящие в терминальных узлах поверхностных структур) окажутся введенными по ходу деривации в результате работы трансформаций. В таком случае было бы уместно использовать один и тот же стандартизованный исходный лексикон во всех грамматиках, а мои базовые структуры переименовать в «семантические репрезентации». В таком случае останется открытым вопрос о том, существует или нет тот уровень между базовой и поверхностной структурами, который является выходом из компонента лексических трансформаций (вставляющих слова) и на котором другие трансформации еще не начались.

Не сказано было также ничего и об устранении поверхностной семантики. Это может показаться странным, так как я уже выше сказал, что значения определяются из базовых структур и только из них. Однако здесь я просто полагаюсь на наблюдение, сделанное Лакоффом (см. L a k o f f, 1970, § 3), из которого вытекает, что правила интерпретации для поверхностных структур невозможно отличить от глобальных деривационных ограничений, соотносящих три уровня: базовые структуры (рассматриваемые как семантические репрезентации), глубинные структуры (некоторый *промежуточный* уровень) и поверхностные структуры. Глубинные структуры могут быть, в частности, неоднозначными; трансформационная грамматика с такими базово-глубинно-поверхностными ограничениями допускала бы такие две деривации:

$$\begin{array}{l} <p^1{}_B \ldots p_D \ldots p^1{}_S> \\ <p^2{}_B \ldots p_D \ldots p^2{}_S>, \end{array}$$

которые различались бы только на базовом и поверхностном, но не на глубинном уровне, однако при этом та же грамматика отсеивала бы другие деривации, скажем, вида:

$$\begin{array}{l} <p^2{}_B \ldots p_D \ldots p^1{}_S> \\ <p^1{}_B \ldots p_D \ldots p^2{}_S> \end{array}$$

В таком случае базовая структура (а следовательно, и значение) определялась бы набором из глубинной и поверхностной структур, а не одной только глубинной структурой. Аналогичным образом можно было бы рассматривать ограничения, соотносящие базовую структуру не только с глубинной и поверхностной структурами, но также и со структурами на различных других промежуточных уровнях.

Не было сказано ничего и о том, почему устранен нетривиальный фонологический компонент; но последний я склонен рассматривать как часть трансформационного компонента. Последние несколько этапов трансформационной деривации могли бы состоять в переходе от предфонологической поверхностной структуры к постфонологической поверхностной структуре, вследствие чего результирующее выражение получится как результат простой конкатенации терминальных узлов.

Далее, я ничего не сказал об устранении детально разработанной системы ограничений на совместную встречаемость (селекционных ограничений). Но дело в том, что они оказались бы тогда не ограничениями на работу правил лексического вставления, а трансформационными фильтрами на более поздних этапах деривации. Так, можно было бы тогда допустить базовые структуры, представляющие значения для таких сомнительных предложений, как *Семнадцать съедает бананы* и *Он пел замужнюю зубную щетку;* такие базовые структуры не обязательно должны оказаться на входе в какой-либо деривации, поэтому-то эти значения и могут оказаться нерепрезентированы каким-либо предложением. Если же выбрать вариант грамматики с селекционными ограничениями, то можно соотнести лексикон с трансформационным компонентом таким образом, чтобы отфильтровать все те и только те значения, которые имеют нулевой интенсионал.

Выше не было оговорено, чтобы репрезентировались только значения предложений; такое дополнительное требование можно при необходимости включить.

Единственное требование, которому, по моему мнению, должен отвечать синтаксис, фактически состоит в том, что трансформационная грамматика должна обладать категориальной базой. Иначе говоря, трансформационный компонент должен преобразовывать множество показателей НС, заданных в терминах категориальной грамматики и репрезентирующих множество значений, порождаемых определенным лексиконом. Однако категориальные базы достаточно разнообразны, так что это требование совсем не строго. Я утверждаю, что любой категориальный компонент одного из известных типов, оказавшийся предпочтительным для вас по синтаксическим соображениям, позволяет построить такую категориальную базу (т. е. подходящую подсистему значений, порождаемую

подходящим же образом выбранным лексиконом), которая достаточно близка по свойствам, представляющим для вас наибольший интерес. Действительно, с помощью небольшого количества предварительных перестраивающих аранжировку трансформаций можно перейти от моих категориально-базовых структур к более принятым базовым структурам (являющимся нотационными вариантами первых), а после этого — действовать обычным образом. Доказывать этого здесь я не буду; я полагаю, что последующее описание альтернативных трактовок для фактов квантификации в терминах категориальной грамматики сделает более ясным большое сходство, которое имеется между такими трактовками и альтернативными базовыми компонентами знакомого уже вида. Если бы пришлось выбирать между категориальной базой, удобной для семантики, и некатегориальной базой, удобной для трансформационного синтаксиса, я бы все-таки выбрал первое. Однако необходимости в таком выборе нет.

Сказанное завершает изложение предлагаемой мною системы категорий, интенсионалов и значений. Далее будет рассмотрено, как эта система — в этом или в слегка измененном виде — могла бы быть применена в двух различных областях: к семантике квантификации и к семантике не-декларативных (отличных от повествовательных) предложений. Впрочем, последующие трактовки — не более чем иллюстрации; возможны и многие дальнейшие альтернативы, и не исключено, что они окажутся и более приемлемыми для синтаксиса [...].

Приложение: расширенный список индексов

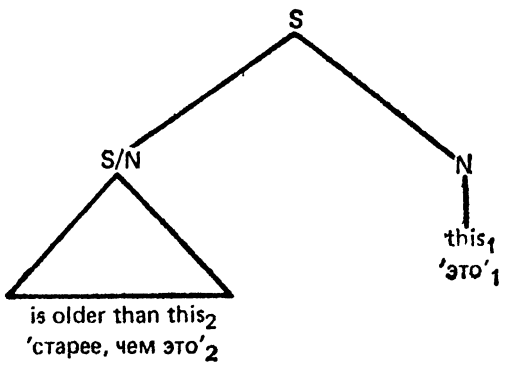
Индексы — это, по предположению, наборы единиц различной природы, за исключением значения, оно в индексы не входит, а определяет экстенсионалы. Однако все ли может быть в индексах? Позволю себе несколько умозрительных соображений по поводу расширения списка индексов, — возможно, это окажется полезным.

Во-первых, рассмотрим предложение «Э т о старее, чем э т о». Я мог бы сказать это, указывая на автомобиль «Фольксваген» марки 1972 года в тот момент, когда я произношу первое *это* и марки 1973 года, когда я произношу второе *это*. Предложение должно быть в таком случае истинным. Однако как оно оказывается истинным? Употребляя интенсионал для *это*, чувствительный к координате указываемых объектов, мы получаем интенсионал целого предложения; затем мы берем значение истинности этого интенсионала при том индексе, у которого координаты возможного мира и контекста определяются признаками данных конкретных обстоятельств высказывания. (Аналогично — относительно остальных координат, за исключением координаты приписывания; мы можем рассмотреть

каждую из них в отдельности, поскольку координата приписывания для рассматриваемого предложения несущественна.) Эта процедура не учитывает того, что указываемый объект меняется по ходу протекания обстоятельств высказывания. Поэтому предложение в целом оказывается ложным — как и должно быть, если указываемый объект остается одним и тем же.

При более экстенсиональном подходе к семантике решение было бы простым. Можно было бы взять оба экстенсионала для *это*, в двух обстоятельствах высказывания этого предложения, и считать эти экстенсионалы, вместо фиксированного интенсионала для *это*, определяющими истинностное значение предложения. Интенсионал и обстоятельства высказывания для предложения тогда «выпадут в осадок». Но поскольку экстенсионалы составных выражений в общем случае не определяются экстенсионалами составных частей, такое экстенсионалистское решение не позволило бы единообразно обращаться с правилами семантического проецирования.

Приемлемое решение, на которое натолкнул меня Дейвид Каплан, состоит в следующем. Определим координату указываемых объектов не как одно простое множество объектов, к которым может быть осуществлено указание, а как некоторую бесконечную последовательность таких множеств. Примем также, что координата указываемых объектов, определяемая конкретными обстоятельствами высказывания, имеет в качестве n-го терма то множество объектов, к которым производится указание вследствие n-го упоминания местоимения *это* по ходу высказывания всего предложения, причем если только n не превосходит количество таких упоминаний, — в противном случае имеем пустое множество, соответствующее такому n. Положим также, что имеется бесконечная последовательность составляющих $это_1$, $это_2$, . . . , интенсионалы которых таковы, что $это_n$ зависит, с точки зрения своего экстенсионала, от n-го терма координаты приписывания. Для того чтобы лексикон по-прежнему был конечным, положим, что все термы *это*, кроме $это_1$, являются сложными категориями, получаемыми в результате возобновленного присоединения (итерированной конкатенации) некоторой подходящей категории N/N к $это_1$. Пусть все члены последовательности проявлены в виде *это* в поверхностной структуре. Мы воспользуемся трансформационным фильтром, для того чтобы сделать так, что останутся только те базовые структуры, которые обладают следующим свойством: в них начальный сегмент последовательности, состоящей из *это*, упорядочен так, что если перенести в поверхностную структуру соответственным образом нижние индексы, то все *это* появятся в ней по порядку возрастания номеров и без повторений. Так, единственной базовой структурой для предложения This is older than this будет следующая:



Эта структура соответствует значению *истинно* в описанных выше обстоятельствах.

Это решение должно быть видоизменено, чтобы отразить тот факт, что *это* — не только указательное местоимение; не буду вдаваться в подробности. Для других координат контекста возможны аналогичные трудности, и они разрешимы аналогичным же образом: речь идет о координатах времени, места, адресата, а также, возможно, и говорящего.

Во-вторых, рассмотрим предложение The door is open «Дверь открыта». Оно не означает, что одна и только одна дверь из ныне существующих открыта, как не указывает оно и на то, что открыта одна-единственная дверь поблизости от места высказывания или из указываемых или из упомянутых в предшествующем дискурсе. Скорее это предложение означает, что одна и только одна дверь из тех, что как-либо выделены в конкретных обстоятельствах, открыта. Объект может быть выделенным в силу того, что он находится поблизости, указан или упомянут; однако все это не является необходимым условием для выделенности в контексте. Поэтому, видимо, нам потребуется еще одна координата — *координата выделенных объектов*, т. е. еще одна разновидность контекстных координат, независимая от остальных. Она определяется, в конкретных обстоятельствах высказывания, такими ментальными факторами, как ожидания говорящего в отношении тех предметов, на которые он может обращать внимание своих адресатов.

В-третьих, рассмотрим то предложение (см. K a p l a n, 1968; D o n n e l l a n, 1970), согласно которому экстенсионал личного имени в конкретных обстоятельствах частично зависит от той причинно-следственной цепи, которая связывает присвоение какого-либо имени какому-либо лицу и последующее употребление этого имени говорящим в конкретных обстоятельствах. Даже приняв эту теорию, возможно при этом не согласиться с тем, что интенсионал, или значение, имени зависит в конкретных обстоятельствах от ка-

узальной истории употребления его говорящим; нам может показаться нежелательным отказаться от обычной презумпции, согласно которой значение выражения для говорящего зависит только от ментальных факторов внутри него. Эту дилемму можно разрешить (в соответствии с работой L e w i s, 1968b) посредством включения *координаты истории причины получения имени* в рамках наших индексов, допустив при этом, что интенсионалы имен для говорящего определяют экстенсионалы этих имен только в соответствии с указанной координатой.

В-четвертых, до сих пор мы обходили стороной расплывчатый характер естественного языка. Возможно, мы правильно поступали, обходя или, скорее, выводя эту расплывчатость за пределы семантики и передав ее в ведение теории употребления языка. Можно было бы сказать (я так и делаю в работе L e w i s, 1969, глава V), что сами по себе языки лишены расплывчатости, но что языковые соглашения того или иного коллектива говорящих или языковые привычки того или иного индивида выбирают не точку, а размытый участок в пространстве точных языков. Впрочем, может оказаться, что расплывчатость лучше рассматривать в рамках семантики, — и тогда мы поступали бы следующим образом (сходный, но разработанный независимо от данного, метод представлен в работе G o g u e n, 1969).

Прежде всего сделаем вид, будто расплывчатость представлена в единственном случае — в противопоставлении между *прохладный* и *теплый*. Далее, для простоты предположим, что это — экстенсиональные прилагательные. Введем в индексы еще *координату шкалирования* («линеаризации»): это положительное действительное число, рассматриваемое как граничная температура между прохладным и теплым. Таким образом, при индексе *i* экстенсионал для *прохладный* представляет собой множество объектов, обладающих при координатах возможного мира и времени этого индекса *i* температурами (в градусах), меньшими или равными данной координате шкалирования; экстенсионал для прилагательного *теплый* — это множество таких объектов, температуры которых выше, чем координата шкалирования. Расплывчатое предложение типа This is cool «Это — прохладное» будет истинным в конкретных обстоятельствах, при некоторых, но не всех, шкалированиях; т. е. в некоторых — не всех — индексах, различающихся только в координате шкалирования, координаты возможного мира и контекста которых соответствуют данным конкретным обстоятельствам высказывания. Однако предложения, содержащие расплывчатые составляющие, не обязательно расплывчаты сами: предложение This is cool or warm, but not both «Это прохладно или тепло, но не то и другое сразу» соответствует истине при всех шкалированиях, если высказано в тех обстоятельствах, когда имеется единственный указываемый объект, даже если указанный объект чуть теплый.

Координата шкалирования не связана с контекстом. Она сродни координате приписывания в том отношении, что обычно она считается не конкретной, фиксированной, а неконкретизированной. Мы можем сказать, что предложение *истинно* над множеством *s* шкалирований при индексе *i*, если, и только если, при любом индексе *i'*, отличном от *i* самое большое по координате шкалирования, предложение истинно при *i'* тогда, и только тогда, когда координата шкалирования из *i'* входит в *s*. Если задана функция нормализованной меры над множеством шкалирований, мы можем говорить, что предложение *истинно до степени d* при *i*, если, и только если, оно истинно при *i* над множеством шкалирований меры *d*. Отметим, что степень истинности сочетания предложений, связанных истинностной связкой, не является функцией от степеней истинности тех предложений, которые в такое составное предложение входят: *x — прохладен и x — тёпел* могут оба быть истинными в степени 0,5 при индексе *i*, но при этом *x — прохладен или x — прохладен* будет при том же индексе *i* истинно в степени 0,5, а *x прохладен или x тёпел* будет истинно при *i* в степени 1.

Рассмотрение расплывчатости в рамках семантики позволяет говорить о простых формах указания для интенсионалов таких выражений, как «в некотором смысле», *обычный, -оватый* и *более* ____, *чем*. Например, современная идиома *в некотором смысле* представляет собой категорию S/S, соотнесенную с координатой шкалирования, точно так же как модальный оператор *возможно — с* координатой возможного мира. Интенсионал выражения *в некотором смысле* — это функция φ, такая, что если φ_1 — произвольный S-интенсионал, φ_2, — это φ (φ_1), а *i* — некоторый индекс, то имеем:

$$\varphi_2(i) = \begin{cases} \textit{истинно}, \text{ если, при некотором индексе } i', \text{ отличном} \\ \text{от } i, \text{ самое большое, в координате шкалирования,} \\ \varphi_1(i') — \textit{истинно, ложно} — \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Компаратив *более* _____, *чем* — это ((C/C)/N)/(C/C), интенсионал которого обладает следующим свойством: *x — прохладней, чем y*, например, истинно при индексе *i*, если, и только если, множество шкалирований, над которым *y — прохладно* истинно при *i*, является собственным подмножеством множества шкалирований, над которым *x — прохладно* истинно при *i*. Отсюда следует, что Солнце — не прохладнее, чем Сириус, если только верно, что Солнце не является в некотором смысле прохладным; однако такое заключение представляется верным, хотя я и не знаю, как быть: отказаться ли от того, что Солнце прохладнее, чем Сириус, или же согласиться с тем, что в некотором смысле Солнце прохладно. (Этот анализ сравнительной конструкции предложил мне провести Дейвид Каплан.)

В общем случае координата шкалирования должна представлять собой последовательность чисел, указывающих границы. Различные расплывчатые выражения тогда будут зависеть, в отношении своих экстенсионалов (или если они не экстенсиональны, то экстенсионалов своих экстенсиональных сочетаний), от разных термов шкалирования. Одно и то же выражение может оказаться связанным более чем с одним термом координаты шкалирования. Например, интенсионал прилагательного *зеленый* может быть привязан к одному терму в отношении шкалирования между синим и зеленым и к другому терму — в смысле разграничения зеленого и желтого. Первое из этих шкалирований, но не второе, будет одним из тех двух термов, которые вовлечены в определение интенсионала для прилагательного *синий* и т. д., при переходе от оттенка к оттенку.

Литература

Ajdukiewicz, 1935 — Ajdukiewicz K. Die syntaktische Konnexität // Studia Philosophical, v. 1, 1935, 1—27.

Austin, 1962 — Austin J. L. How to Do Things with Words. Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1962.

Bar-Hillel, 1964 — Bar-Hillel Y. Language and Information Addison-Wesley, Reading (Mass.), 1964.

Benacerraf, 1965 — Benacerraf P. What numbers could not be // Philosophical Review, v. 74, 1965, 47—73.

Carnap 1947 — Carnap R. Introduction to Symbolic Logic. Dover, New York, 1947.

Carnap, 1963 — Carnap R. Replies and systematic exposition // The Philosophy of Rudolf Carnap / Ed. P. Schlipp, Open Court, La Salle (Illinois), 1963.

Chomsky, 1965 — Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. MIT Press, Cambridge (Mass.), 1965 (русский перевод: Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. М.: Изд-во МГУ, 1972).

Church, 1941 — Church A. The Calculi of Lambda Conversion. Princeton University Press, Princeton (New Jersey), 1941.

Davidson, 1967 — Davidson D. Truth and meaning // Synthese, v. 17, 1967, 304—323.

Dodgson, 1871 — Dodgson (Lewis Carrol) C. L. Through the Looking Glass. London, 1871.

Donnellan, 1970 — Donnellan K. Proper names and identifying descriptions // Synthese, v. 21, 1970, 335—358.

Frege, 1892 — Frege G. Über Sinn und Bedeutung // Zeitschrift für Philosophic und philosophische Kritik, Bd. 100, 1892, 25—50.

Goguen, 1969 — Goguen J. A. The logic of inexact concepts // Synthese, v. 19, 1969, 325—373.

Kaplan, 1964 — Kaplan D. Foundations of Intensional Logic: Doctoral dissertation. University Microfilms, Ann Arbor (Michigan), 1964.
Kaplan, 1968 — Kaplan D. Quantfying in // Synthese, v. 19, 1968, 178—214.
Katz — Postal, 1964 — Katz J., Postal P. An Integrated Theory of Linguistic Descriptions. MIT Press, Cambridge (Mass.), 1964.
Keenan, 1969 — Keenan E. A Logical Base for English. Ph. D. dissertation, duplicated, 1969.
Kripke, 1963 — Kripke S. Semantical considerations on modal Logic // Acta Philosophica Logica, v. 16, 1963, 83—94.
Lakoff, 1970 — Lakoff G. On generative semantics // Semantics. An Interdisciplinary Reader in Philosophy, Linguistics, Anthropology and Psychology. Ed. D. Steinberg, L. Jakobovits. Cambridge University Press, Cambridge 1970.
Lewis, 1944 — Lewis C. I. The modes of meaning // Philosophy and Phenomenological Research, v. 4, 1944, 236—249.
Lewis, 1968a — Lewis D. Counterpart theory and quantified modal logic // Journal of Philosophy, v. 65, 1968, 113—126.
Lewis, 1968b — Lewis D. Languages and language. Unpubl., 1968.
Lewis, 1969 — Lewis D. Convention: A Philosophical Study. Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1969.
Lyons, 1966 — Lyons J. Towards a «notional» theory of «parts of speech» // Journal of Linguistics. v. 2, 1966, 209—236.
Mates, 1968 — Mates B. Leibniz on possible worlds // Logic, Methodology and Philosophy of Science, v. 3. Ed. B. van Rootselaar, J. F. Staal, North-Holland Publ. Co., Amsterdam, 1968.
McCawley, 1968 — McCawley J. Concerning the base component of a transformational grammar // Foundations of language. v. 4, 1968. 243—269.
McCawley, 1969 — McCawley J. Semantic representation. Paper presented to a Symposium on Cognitive Studies and Artificial Intelligence Research, University of Chicago Center for Continuing Education, March, 1969.
Montague, 1960 — Montague R. Logical necessity, physical necessity, ethics, and quantifiers // Inquiry, v. 3, 1960, 259—269.
Montague, 1968 — Montague R. Pragmatics // Contemporary Philosophy — La philosophie contemporaine. Ed. R. Klibansky. La Nuova Italia Editrice, Florence, 1968,
Montague, 1969 — Montague R. Intersional logic and some of its connections with ordinary language. Talk delivered to the Southern California Logic Colloquium, April 1969.
Montague, 1970a — Montague R. English as a formal language. 1 // Linguaggi nella societa e nella tecnica. Edizioni di Communita, Milano; 1970.
Montague, 1970b — Montague R. Universal grammar // Theoria, v. 36, 1970.
Montague, 1970c — Montague R. Pragmatics and intensional logic // Synthese, v. 22, 1970, 68—94 (русский перевод см. в сб. «Семантика модальных и интенсиональных логик». М.: Прогресс, 1981).

Parsons 1968 — Parsons T. A. A Semantics for English (manuscript). 1968.
Peters — Ritchie, 1969 — Peters P. S., Ritchie R. W. On the generative power of transformational grammars. Technical Report in Computer Science. University of Washington, Seattle (Washington), 1969.
Scott, 1970 — Scott D. Advice on modal logic // Philosophical Problems in Logic: Recent Developments. Ed. K. Lambert. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1970, 143—173.
Stenius, 1967 — Stenius E. Mood and language-game // Synthese, v. 17, 1967, 254—274.
Strawson, 1950 — Stawson P. F. On referring // Mind, v. 59, 320—344.
Tarski, 1936 — Tarski A. Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen // Studia Philosophica, v. 1, 261—405.
Thomason — Stalnaker, 1968 — Thomason R., Stalnaker R. Modality and reference // Nous, v. 2, 1968, 359—372.
Vermazen, 1967 — Vermazen B. Review of: J. Katz, P. Postal. An Integrated Theory of Linguistic Descriptions and: Katz J. Philosophy of Language // Synthese, v. 17, 1967, 350—365.
Wallace, 1965 — Wallace J. Sortal predicates and quantification // Journal of Philosophy, v. 62, 1965, 8—13.

Барбара Холл Парти

Грамматика Монтегю, мысленные представления и реальность

1. Введение

В течение последних десяти лет лингвисты и философы продолжали заметно сближаться на почве общего интереса к проблемам семантической теории и семантического описания естественных языков. Для того направления исследований, которое сложилось под воздействием работ Монтегю, особенно характерно влияние формальных семантических теорий, разрабатываемых логиками, на семантический анализ естественных языков и, в то же время, обратное влияние семантического описания естественных языков на разработку и обогащение формальных теорий. Во многом аналогичный путь прошли в последние два десятилетия исследования синтаксиса, начатые работами Хомского и других генеративистов; там также, по крайней мере вначале, было заметно взаимное влияние все более утонченных формальных синтаксических теорий и все более формализующихся описаний синтаксических явлений естественных языков. Однако, что касается семантики, то известная часть лингвистов все еще очень скептически смотрит на возможности применения формальных логических моделей к семантике естественного языка.

В своих предыдущих работах я выдвигала концепцию семантики возможных миров, развитую в духе Монтегю, в качестве кандидата

на роль лингвистической теории семантики. В настоящей статье я хочу остановиться на некоторых проблемах, которые мне представляются фундаментальными, когда речь идет о применении теории Монтегю в лингвистике.

В качестве начала я сформулирую три утверждения; первые два, если они справедливы по отдельности, указывают на существование одной важной проблемы; третье, также если оно справедливо, гласит, что решение ее будет непростым. Далее я попытаюсь обрисовать природу этой проблемы и ее истоки. Заключение статьи содержит, к сожалению, не ее решение, а лишь некоторый проект возможного подхода к нему.

Упомянутые три утверждения, сформулированные лишь в самой грубой и первоначальной форме, следующие:

(1) Если какой-либо естественный язык, например английский, состоит отчасти из его синтаксиса и семантики, то, согласно теории синтаксиса и семантики Монтегю, английский язык таков, что никакой природный носитель английского языка не может знать английского языка.

(2) Согласно взглядам Хомского на язык и грамматику, любой естественный язык определяется его грамматикой, а грамматика является мысленным конструктом человека, поэтому любой природный носитель данного языка должен по определению знать свой язык.

(3) Конфликт между (1) и (2) возникает из-за различного ответа на вопрос о том, что такое семантика, и это различие оказывается решающим уже на лексическом уровне.

Возможно, что конфликт возникает *только* на уровне лексической семантики. Но я подозреваю — и постараюсь далее в этой статье подтвердить, — что конфликт распространяется и на конструкции, выражающие пропозициональные установки. Все же для начала я ограничусь указанным расхождением на лексическом уровне и проведу контрастивное сопоставление синтаксической и «структурной» семантики, с одной стороны, и лексической семантики — с другой.

Предварительно замечу, что мои взгляды на этот вопрос сформировались под воздействием взглядов Хилари Патнэма, а проблема, которую я сформулировала с помощью утверждений (1)—(3), очень похожа на то, о чем Патнэм писал: «Итак, теория значения утвердилась на двух следующих незыблемых положениях: (1) знать значение языковой единицы —это нечто иное, как находиться в некотором психологическом состоянии; (2) значение языковой единицы (в смысле «интенсионал») устанавливает ее экстенсионал (в том смысле, что тождество интенсионалов определяет тождество экстенсионалов). Я утверждаю, что два эти положения, взятые

совместно, не удовлетворяются *никаким* понятием, не говоря уже о понятии значения»[1].

Я не думаю, что Монтегю когда-либо разделял первое из положений Патнэма и что Хомский подписался бы под вторым; и таким образом, констатировав конфликт, можно было бы затем просто сказать, что лингвистическая семантика и философская семантика типа Монтегю — это две разные дисциплины[2] и что, следовательно, не имеет смысла пытаться применить что-либо подобное теории Монтегю к лингвистике. Напротив, одна из моих задач заключается в том, чтобы показать, что на структурном уровне подход Монтегю *отвечает* целям лингвистической теории, а следовательно, вполне оправданна попытка разрешить конфликт и на лексическом уровне.

2. Синтаксические и семантические структуры

Центральная задача синтаксиса состоит в том, чтобы дать конечное описание бесконечного множества предложений данного естественного языка. Фундаментальное наблюдение, на котором основано это утверждение, заключается в том, что носитель языка может произвести и понять предложения, которые он никогда не производил и не встречал раньше, что не существует ограничений на максимальную длину предложений и что мозг представляет собой нечто конечное. Лингвисты и философы равно согласны[3] относительно пути к решению этой задачи: необходимо охарактеризовать конечный набор лексических единиц языка и некоторый конечный набор синтаксических правил — совместное использование того и другого позволит порождать бесконечное множество предложений. Что касается детального описания природы лексикона, то здесь существуют конфликтующие теории, однако все они предполагают некоторый базис в виде конечного набора элементов, которые природный носитель языка должен в действительности просто заучивать списком.

Применительно к тому, что я буду называть структурной частью семантики, или «логической формой», центральная проблема полностью аналогична центральной задаче синтаксиса: необходимо дать конечное описание *значений* бесконечного множества предложений данного языка. И здесь также, несмотря на разногласия относительно того, что такое значения и как надо подойти к ним в деталях, все согласны в том, что путь к решению задачи тот же самый: необходимо эксплицитно описать значения конечного набора лексических единиц и некоторого набора правил для приписывания значений сложным выражениям, исходя из значений их составных частей. Те, кто работает над структурной частью семантики, в общем в явной или неявной форме исходят из допущения, что ба-

зой лексической части является некоторый список, как и в синтаксисе[4]. Ниже я остановлюсь подробнее на следствиях, которые вытекают из разных взглядов на форму и содержание при описании значений базовой части; здесь же я хочу только подчеркнуть, что если считать центральным вопрос о том, как значения ассоциируются с бесконечным множеством предложений какого-либо языка, то естественно сосредоточить внимание на рекурсивных механизмах, которые обеспечивают бесконечность языка, и связывать с конечным набором базовых элементов такие свойства, которые необходимы для того, чтобы эти элементы могли подаваться на вход рекурсивных правил.

Эта стратегия, или рабочая гипотеза, очень ясно видна, например, у Монтегю в его описании фрагментов английского языка. Монтегю считал базисом семантики описание свойств истинного предложения (при его данной интерпретации) и следования (entailment)[5], принимая в качестве отправной точки предложенное Фреге различие между интенсионалом и экстенсионалом. Далее, он принимал тезис Фреге (который может формулироваться поразному)[6] о том, что интенсионал сложного выражения является производным от интенсионалов составных частей, в то время как экстенсионал выражения не всегда есть производное от экстенсионалов составных частей, но всегда является производным от экстенсионалов и интенсионалов составных частей. Поэтому естественно, что семантические правила Монтегю исходят из интенсионалов базовых лексических единиц как чего-то заданного, поскольку интенсионалы необходимы для подачи на вход семантического правила и не могут быть установлены на основе экстенсионалов какого бы то ни было мира.

Если принимается соглашение относительно интенсионалов базовых лексических единиц как исходной точки, то затем можно проделать большую содержательную работу (и она действительно была проделана) с эмпирически проверяемыми следствиями, для того чтобы установить правила для семантической интерпретации сложных выражений. Возьмем, например, типичные конструкции высшего уровня, такие, как комбинация именной составляющей, содержащей общее (нарицательное) имя, с ограничительным относительным предложением, или конструкция из общего имени и прилагательного-атрибута. Семантическое правило интерпретации для подобных конструкций позволяет делать предсказания относительно бесконечного класса выражений, и эти предсказания могут быть проверяемы в отношении условий истинности и следования без обращения к конкретному семантическому содержанию лексических единиц, помимо их логического типа. Работа такого типа была проведена и лингвистами, и философами, и, за исключением, пожалуй, проблемы пропозициональных установок, не было обнаруже-

но никакого конфликта между методами Монтегю и целями лингвистического описания в этих областях. Правила комбинации интерпретации частей для получения интерпретации целого допускают конечное представление и соответствуют, насколько это может быть выражено в словесной форме, интуиции носителей языка, так что в принципе, по-видимому, можно сказать, что носитель языка «знает» эти правила как часть своего владения языком (своей компетенции).

В своем введении к «Формальной философии» Монтегю Томазон недооценил разделимость лексической и структурной семантики и, основываясь на этом, писал: «Следует отличать проблемы семантической теории от проблем лексикографии. ...Главная задача семантики состоит в том, чтобы объяснить, как различные типы значений связываются с различными синтаксическими категориями. Другая задача — объяснить, как значения фраз зависят от значения их составных частей. ...*Но мы не можем ожидать от семантической теории, чтобы она объяснила, каким образом любые два выражения, принадлежащие к одной и той же синтаксической категории, различаются по значению.* Например, *идти* и *бежать* или *единорог* и *зебра* явно различаются по значению, и мы ждем от словаря английского языка, чтобы он объяснил нам, в чем именно. Но составление словаря требует существенных знаний о мире. ...Это вопрос приложения, а не вопрос теории» (выделено Томазоном. — *Б. П.*)[7].

Я думаю, что Томазон неудачно противопоставляет здесь «приложение» и «теорию», но я согласна с мыслью о том, что лексическая семантика — дисциплина, фундаментально отличная от структурной семантики (которую Томазон называет просто «семантикой»). Мне близко также по духу замечание Томазона о том, что нельзя требовать от специалиста по структурной семантике, чтобы он одновременно давал решения в области лексической семантики. Но можно задавать вопросы относительно допущений в области лексической семантики, вытекающие из структурной теории Монтегю, если эти допущения прямо касаются существа проблемы: может ли носитель языка знать свой язык?

3. Проблема «примитивов» на лексическом уровне

а. *Точка зрения лингвиста.* Мне кажется, можно сказать, что большинство лингвистов-генеративистов рассматривают семантические примитивы, подобно синтаксическим примитивам, как в основе мысленные конструкты. Так, Джеккендоф пишет: «Предположить, что существует некоторое универсальное семантическое представление, значит выдвинуть важное утверждение о врожденности семантической структуры. Можно обоснованно предполагать, что семантическое представление весьма органично встроено в когни-

тивную систему мышления человека»[8]. Катц принимает «более фрегевскую» точку зрения на свои собственные семантические маркеры: «Семантический маркер — это теоретический конструкт, который создается для того, чтобы репрезентировать концепт. ...Концепты — это не... элементы в субъективном процессе мышления, а скорее объективное содержание процессов мысли»[9]. Однако Катц считает, что эти семантические репрезентации, если и не являются сами по себе мысленными сущностями, являются познаваемыми: «Способность носителя языка понять любое предложение частично зависит от его знания значений компонентов — морфем»[10]. В последнее время лингвисты начинают осознавать важность взаимодействия «языковой способности» с другими компонентами механизмов восприятия и познания у человека. Важное лингвистическое значение имеет, например, недавно обнаруженное явление: универсальность таких, казалось бы, несомненно базовых терминов, как *красный,* может быть поставлена в связь с самим устройством механизма восприятия цвета у человека[11]. Можно сказать, хотя, пожалуй, слишком упрощенно, что обычная точка зрения лингвиста такова: если есть семантические отношения между языковыми выражениями и внеязыковыми, немыслительными сущностями, то эти отношения опосредованы конструктами познания и восприятия человека, и «семантические представления», которые лингвист выдвигает в качестве гипотез, в конечном счете основываются на состояниях и процессах в психике. Центральное положение психологических понятий является, на мой взгляд, следствием и работ Хомского, которые выдвинули «языковую компетенцию» как центральный объект лингвистики: «Зачем изучать язык? ...Изучая язык, мы можем открыть абстрактные принципы, которые управляют его структурой и функционированием, которые являются универсальными в силу биологической необходимости, а не просто исторической случайности, которые обусловлены свойствами мышления, присущими всему биологическому роду. ...Язык — продукт человеческого сознания, создаваемый заново в каждом индивиде посредством операций, которые лежат далеко за пределами воли и сознания»[12].

б. *Семантика возможных миров.* Если говорить о том подходе к семантике возможных миров, который представлен работами Монтегю, то лексическая семантика связана с особой интенсиональной моделью, приписывающей тот или иной интенсионал каждой базовой лексической единице. Интенсионал есть функция (производное) от возможных миров к объектам соответствующего типа, выбирающая экстенсионал лексической единицы в каждом возможном мире, Нужно подчеркнуть следующие положения.

1. Данное Монтегю описание английского языка не устанавливает единственной интенсиональной модели для данного фрагмен-

та английского языка. Скорее, он создает семейство моделей, которые могут различаться по какому-либо одному или по всем параметрам, составляющим интенсиональную модель: множество A индивидов; множество I возможных миров; множество J моментов времени; функция интерпретации F, которая приписывает интенсионалы базовым лексическим единицам. Постулаты значения могут быть добавлены для ограничения класса допустимых моделей; но даже это добавление всего лишь урезывает множество моделей до того количества, которое Монтегю называет «логически возможными интерпретациями», что достаточно для логических понятий логической истинности, логической импликации и логической эквивалентности.

2. Альтернативные характеристики функции интерпретации F в модели сводятся к альтернативе «возможных словарей». В работе «Английский язык как формальный язык» Монтегю замечает: «Использование какого-либо языка должно в идеале предполагать не только установление набора *всех* моделей этого языка.., но также характеристику отдельной, актуальной модели; это предполагается в характеристике *абсолютной* истинности (в противопоставлении истинности по отношению к одной модели)»[13]. Заметим, что эта лексическая неопределенность не затрагивает структурную часть семантики; принципы установления интерпретаций сложных выражений на основе их частей формулируются единообразно, так что их применение не требует знания какого-либо из особых значений частей.

3. Вариации в множествах A и I от модели к модели соответствуют альтернативным «метафизикам». Я думаю, что Монтегю, как и Д. Льюиз, стоит на реалистской позиции в вопросе о существовании «правильного» выбора для A и I. Если знание какого-либо языка требует знания того, что такое в действительности все возможные миры и возможные индивиды, то, разумеется, ни один человек не знает ни одного языка. Но обычно этот аспект моделей оставляется в стороне и сохраняется только следующее требование: владеющий языком знает значение предложения, если, при условии, что дан какой-либо возможный мир, он знает, является ли предложение истинным или ложным в этом мире[14]. Поэтому если какой-либо человек не в состоянии воспринять полную характеристику какого-либо возможного мира и тем самым «дан возможный мир» не является фактом его сознания, то это ничего не говорит против «владения языком» («языковой компетенции») этого человека.

Посмотрим теперь, что значит установить какую-либо конкретную актуальную модель для английского языка или фрагмента этого языка; в частности, что значит фиксировать лексикон посредством какой-либо частной интерпретации функции F.

4. Установление функции актуальной интерпретации

Крипке убедительно утверждает, что собственные имена — это «жесткие десигнаторы», которые выбирают один и тот же индивид в каждом возможном мире. Какого именно индивида выбирает собственное имя, устанавливая референцию к нему, — это зависит от «причинной истории» использования данного имени, а она восходит в прошлое, к какому-то акту первоначального именования — «так окрестили». В своей типичной форме этот первоначальный акт устанавливает референцию посредством указательного местоимения или прямого указания на объект реального мира[15]. Если принять эту точку зрения, то, очевидно, следует считать, что интенсионал собственного имени не фиксирован на каком-либо одном представлении в головах говорящих, общим для всех, кто использует это имя как единицу данного языка. Но большинство лингвистов не считает этот пример, взятый сам по себе, типичным для проблемы семантического представления. Катц, например, полагает, что собственные имена просто не имеют значения[16]. (Из положений Катца об интерпретации сложных выражений, по-видимому, следует, что предложения, содержащие собственные имена, тоже не должны иметь значения; мне не известно, предложил ли Катц как-нибудь восполнить этот явный пробел в его положениях.)

Патнэм в ряде статей стремился показать, что подобный процесс имеет место в очень многих случаях; он, в частности, выделяет термины «естественных классов» — такие, как имена биологических видов, названия болезней, физических явлений вроде электричества и магнетизма и т. п.[17] Если в язык успешно внедряется какой-либо термин, подобный, скажем, термину *тигр*, то этот процесс в типичной форме включает в себя два первичных фактора: указывающую (остенсивную) референцию к одному или более тиграм[18] и правильную презумпцию первоначальных пользователей этим термином о том, что индивиды, о которых идет речь, — представители некоторого естественного класса, скажем, одного биологического вида. В типичном случае пользователи таким термином обладают с психологической точки зрения вполне надежным критерием для отождествления тигров — «стереотипом тигра», последний, вообще говоря, может быть недостаточен для отличения тигров от других возможных видов с внешне сходными признаками, но термин все же будет, в силу своей «причинной истории» в языке, сохранять референцию к актуально данному виду, к тиграм, поскольку она была установлена в первоначальном акте внедрения термина.

Вообще можно сказать, что для каждого термина, введение которого в английский язык хотя бы частично было основано на явно указательном или местоименно-указательном акте «фиксации референции», интенсионал этого термина частично устанавливается

на основе свойств объекта (или объектов) реального мира, первоначально вовлеченных в акт введения термина. В таких случаях незнание говорящим экстенсионала термина или «причинной истории» термина ведет к незнанию интенсионала, но не мешает термину *иметь* интенсионал в языке говорящего. Поэтому вполне имеет смысл, а возможно и истинно, утверждение, что носитель языка в общем случае *не знает* полностью своего языка. (Далее мы обсудим, каким образом получается так, что коммуникация обычно не нарушается этим недостатком знания.)

Есть, однако, один психологический фактор, значение которого Патнэм, возможно, недооценил. Он замечает мимоходом в одном месте: «Конечно, даже в свете более новой теории «границы» между классами, о которых идет речь, устанавливаются более или менее произвольно: в этом смысле в содержании существующего технического определения может быть отражено частично просто условное соглашение»[19]. На мой взгляд, вопрос о «границах» большинства терминов гораздо более важен. В обычных собственных именах мы имеем дело с разновидностями референтов реального мира, которые мы схватываем и постигаем лучше всего как раз на их границах. Конечно, когда речь идет о лицах, то проблемы индивидуализации и идентификации на практике возникают редко и относятся в большинстве случаев к области философии. Что касается биологических видов, то там ситуация почти такая же, но все же очевидно, что мы не можем назвать целый вид, просто «окрестив» одного его представителя каким-либо именем. При этом обязательно должна существовать и презумпция, что выбранный индивид является показательным для всего вида, и должна быть интенция называющего применять это имя ко всему виду, причем возникают проблемы отграничения вида от подвидов, и т. п. Теория видов, действительно, дает нечто вроде критерия сходства как основание для распространения имени-термина на другие актуальные и возможные экземпляры.

Но такой теории нет или почти нет для многих других терминов естественного языка, когда приходится устанавливать границы для того, чтобы распространить применение имени-термина с первоначального множества индивидов на множество, покрываемое определенным экстенсионалом и интенсионалом. Возьмем для примера слова, описывающие разновидности домов, — *коттедж, особняк, дача* (с верандой), *ранчо* и т. п.* Различия, устанавливаемые этими словами, во многом зависят от случайных фактов совместной встречаемости признаков в имеющихся домах, а если их интенсионалы резко разграничены, то это, несомненно, результат склонности носителей языка делать одинаковые индуктивные обоб-

* Ср. рус. *особняк, дача, изба* и т. п. — *Прим. перев.*

щения на основании одинаковых данных своего опыта. В этом случае вполне могут быть экспертами архитекторы и агенты по продаже домов, подобно тому, как в примерах с терминами биологических видов у Патнэма экспертами являются специалисты-биологи, в примерах с химическими терминами — химики и т. п.[20]. Но как обстоит дело с оценочными словами типа *нежный, милый, скромный, дружеский, нудный, противный* и т. п.? Экспертов для таких слов нет, как нет и не предвидится теории об их «действительной» природе. Применительно к ним есть, по-видимому, только общая предрасположенность носителей языка к некоторым индуктивным обобщениям.

Резюмирую свои соображения о важности психологического фактора в значениях следующим образом: для каждого термина, введение и распространение которого в языке частично основано на индукции от отдельных индивидов, верно, что его экстенсионал и интенсионал являются неотграниченными (indeterminate) в той мере, в какой нет единственного основания наилучшего сходства для индукции, и предрасположенность носителей языка делать одинаковые индуктивные заключения из одинаковых данных опыта является решающим фактором для минимального отграничения термина, достаточного для его использования в коммуникации.

Кэтлин Дальгрен в своей недавно опубликованной интересной статье поддерживает мысль Патнэма о роли актуального экстенсионала в отграничении значения. Дальгрен обсуждает группу терминов, обозначающих социальное положение человека, и показывает роль исторических изменений в обществе в изменении экстенсионала и значения этих слов. Она рассматривает англосаксонский период и завоевание Англии норманнами[21]. Так, например, термин ceorl, предок современного английского слова churl «грубый, грубиян, мужлан», претерпело семантическое изменение, обозначая вначале свободного крестьянина низшего социального ранга (690 г.), затем полукрепостного (1050 г.) и наконец крепостного, serf (1100 г.). При этом одна линия названного семантического изменения может быть описана в терминах семантических маркеров Катца примерно как замена маркера (Свобод) на его отрицание (~~Свобод~~). Здесь же можно отметить и многие другие изменения концептуального содержания и ассоциаций, которые более или менее поддаются описанию в терминах компонентного анализа и постулатов о значении. Но Дальгрен не обсуждает, в каком смысле в подобных случаях можно говорить о том, что экстенсионал остался фиксированным, а его *свойства* изменились, и почему, например, не говорить, что экстенсионал и значение изменились оба. Я думаю, что ответ на этот вопрос может быть дан в духе работ Патнэма: экстенсионал в данном случае отграничен членством в некотором социальном классе, который сохраняется

как самотождественная сущность (entity), несмотря на постоянные замещения в его членстве, подобно тому, как наше тело сохраняется тождественным при всех изменениях его атомов и молекул. (Такое описание, возможно, не подходит к иной социальной структуре, где членство в социальном классе более мобильно; но в этом случае и термины социальных рангов, вероятно, были бы не столь застывшими.)

Но как бы ни была важна роль актуального экстенсионала в фиксации значения термина, примеры Дальгрен указывают, на мой взгляд, на важность и еще одного фактора — на роль мыслительных склонностей, «когнитивных установок» носителей языка. В самом деле, еще более ранним значением слова ceorl было просто «человек, мужчина», а сопутствующим значением, которое прошло сквозь все изменявшиеся значения социальных рангов, было то, которое в сущности сохраняется и теперь — «грубый, неотесанный парень; "мужик"»[22]. Семантическое изменение, состоящее в том, что сначала термин обозначал социальное положение, а затем стал обозначать нечто другое — черту характера, облика или социального поведения, предполагает изменение в критерии воспринимаемого сходства, на основании которого производится индукция от данного набора образцов-индивидов к более широкой области применения. Невозможно (разве что в каких-нибудь маловажных периферийных случаях) наглядно указать полный экстенсионал какого-либо предиката, и отношение подобия, на котором основано обобщение от одного примера или образца к полному экстенсионалу, не всегда поддается научному исследованию. Именно так обстоит дело и в примерах с естественными классами у Патнэма. Для таких слов, как *агрессивный, нежный, милый* и подобные, не существует подходящего родового термина, который можно было включить в остенсивное определение, как Патнэм включает термин *жидкость* в остенсивное определение термина *вода,* говоря *Эта жидкость называется «вода»*. Самое большее, что можно сделать подобным образом с приведенными словами, это сказать нечто расплывчатое, вроде *Эта манера поведения называется «агрессивная»*. Но отношение «такая манера поведения, как» является крайне неопределенным; во внеязыковом реальном мире нет ничего, что могло бы послужить адекватным основанием для теории манер поведения, и общие нам всем склонности определять сходства в поведении так, а не иначе, остаются решающим фактором.

Итак, из приведенных выше наблюдений я делаю следующее заключение. Фиксация определенной интерпретации лексических единиц почти всегда предполагает два основания: «актуальную природу данных индивидуальных (particular) объектов, которые выступают как парадигма»[23] — то, что яв-

ляется независимым от носителей языка и чего они полностью не знают, и общие перцептивные и когнитивные свойства человеческого сознания, определяющие природу генерализации, при которой названная выше парадигма начинает служить образцом для обобщения.

Я говорю о фиксации интерпретации; Патнэм говорит о фиксации экстенсионала и выступает против понятия интенсионала; Дальгрен принимает патнэмовское понятие экстенсионала и истолковывает аргументы Патнэма в пользу «референтной» семантики против семантики «интенсиональной». Но оба эти автора основывают свои доводы на таком понятии «интенсионал», когда последний понимается как нечто содержащееся в голове говорящих. (К тому же доводы Дальгрен направлены против теории Катца, который рассматривает свои семантические репрезентации как интенсионалы и как нечто, что знает говорящий; в этом я полностью согласна с Дальгрен.)

Но Крипке и Монтегю употребляют термин «интенсионал» иначе: они не рассматривают интенсионалы как мысленные представления говорящих. Поэтому я не вижу противоречия между тем, как выше была описана фиксация интерпретаций, и тем, что интерпретации — это интенсионалы. То, что фиксирует экстенсионал, фиксирует также и интенсионал.

Когда в язык впервые был введен термин *лошадь*, то лишь какая-то небольшая часть существовавшего тогда множества лошадей была в истории термина связана с этим языковым актом. Те же самые факторы, которые обеспечивали правильность применения этого термина ко всем остальным существовавшим тогда же лошадям, обеспечивают применение этого термина ко всем лошадям, народившимся после того, и ко всем возможным лошадям, которые появились бы на свете при каком-либо ином ходе дел. Актуальная природа объектов, вовлеченных в первоначальный акт введения термина, имеет результатом то, что интенсионал термина становится частично жестким, в том смысле, в каком Крипке говорит, что собственные имена делают их интенсионалы полностью жесткими.

Подчеркнем в этой связи, что имеется резкое различие между подходом к собственным именам в семантике возможных миров и в семантике Катца: Катц считает, что собственные имена не имеют значения, в то время как Крипке считает, что они имеют интенсионал, который просто выбирает один и тот же объект в каждом возможном мире. Оба автора сходятся на том, что референция не определяется тем, что имеется в голове говорящего; но если интенсионалам приписывается статус мысленных представлений в голове говорящего, то интенсионалы перестают отграничивать экстенсионалы.

5. Семантическая компетенция

Итак, мы пришли к заключению, что интенсионалы лексических единиц — это не мысленные сущности и они не фиксируются свойствами психики носителей языка. Для философа, работающего в русле логической традиции, такого, как Монтегю или Томазон, подобный вывод ни в коей мере не является проблематичным. Ведь в этой традиции семантика всегда рассматривалась как дисциплина об отношениях между выражениями языка и внеязыковыми объектами, о которых говорят эти выражения, а не как дисциплина об отношениях между выражениями языка и действующими в сознании правилами и представлениями, составляющими языковую компетенцию носителей языка.

Но для лингвиста это заключение может на первый взгляд показаться парадоксальным: ведь интенсионалы лексических единиц, подобно всему остальному в семантике и синтаксисе, должны быть фиксированы для данного языка носителями этого языка, поскольку естественные языки — это создание человека, они отличаются друг от друга и изменяются с течением времени. Интенсионалы сами по себе, как функции от возможных миров к объектам различного вида, являются абстрактными объектами, могущими существовать независимо от людей, подобно числам; но то, чем определяется, что некоторый интенсионал является именно интенсионалом какой-то лексической единицы в каком-то естественном языке, — это должно зависеть от явлений и фактов, связанных с данным естественным языком, и, следовательно, должно зависеть от свойств людей — носителей этого языка.

Я считаю, что существует выход из этого кажущегося парадокса. Разрешение парадокса основано на понятии «причинной истории», которое разрабатывали Крипке и Доннеллан[24], и на социолингвистической гипотезе о «лингвистическом разделении труда», выдвинутой Патнэмом.

Действительно, то, чем являются актуальные интерпретации лексических единиц в данном языке, определяется свойствами носителей этого языка, но не узко свойствами их психики. Равно важны взаимодействия носителей языка с внешним миром, которые сопровождают введение слов в язык, и важны также необходимые интенции, намерения говорящих использовать слова языка одинаковым образом. Если в момент введения слова *вода* в язык в определенном отношении к носителю языка находилось вещество H_2O, а не XYZ, то это обстоятельство является определенным фактором в фиксации интенсионала слова *вода*. Этот фактор решающим образом вовлекает в процесс говорящего, а не только вещество воды и слово *вода;* ведь без первоначального намерения говорящего использовать слово, например water, для обозначения вещества данного образца, это

слово в английском языке не имело бы референции к данному веществу. Таким образом, свойства говорящих, вводящих слова в язык, являются решающим фактором, но это не их психические свойства.

Как обстоит дело с другими говорящими и с последующей передачей уже существующего слова языка? Хомский, отвечая на подобный вопрос, приравнивает усвоение языка к созданию языка. Например, в синтаксисе, по его мнению, обучающийся языку ребенок должен сконструировать некоторую грамматику на основе использования языка окружающими его взрослыми и с помощью своего собственного врожденного «механизма усвоения языка». Если люди нового поколения по каким-то причинам конструируют грамматику, отличную от грамматики предшествующего поколения, то синтаксис данного языка просто меняется; при этом первые «создатели» синтаксиса находятся нисколько не в более привилегированном положении, чем другие. Я думаю, что здесь лежит одно из главных различий между синтаксисом и структурной семантикой, с одной стороны, и лексической семантикой — с другой. В лексической семантике обстоятельства, сопровождавшие первоначальное введение термина в язык, вносят решающее отличие в экстенсионал и интенсионал этого термина.

Передача лексической единицы сквозь меняющиеся состояния языка, от одного говорящего к другому, от одной эпохи к другой, решающим образом вовлекает в процесс социальные намерения людей говорить на одном языке. В принципе, вполне может быть так, что какой-либо говорящий ввел какое-то слово с жесткой референцией к какому-то данному объекту, затем этот объект перестал существовать и вообще не оставил никаких следов; но слово остается в языке и сохраняет ту же жесткую референцию к тому же объекту, несмотря на то, что последующие говорящие никогда не попадали в ситуацию первого, кто ввел это слово; слово сохраняется просто потому, что говорящие придерживаются молчаливого соглашения употреблять слово с такой же референцией, с какой его употреблял тот человек, от которого они это слово усвоили. На практике слово с таким эфемерным интенсионалом вряд ли сохранится, потому что оно мало полезно для целей коммуникации. Тот факт, что интенсионалы слов меняются с течением времени, свидетельствует о том, что процесс передачи слов в языке вовсе не такое пассивное явление, как можно было бы заключить из моих примеров на крайние и предельные случаи[25].

Если мы рассмотрим, как протекает процесс приобретения лексических единиц, то, мне кажется, начнем лучше понимать, каким образом говорящий научается компетентно пользоваться словами, интенсионалов которых он в действительности не знает, и сможем объяснить, почему в процессе передачи слов их интенсионалы иногда замещаются другими.

Существует два способа для человека, обучающегося языку, узнать что-либо об интенсионалах слов этого языка: переходить от этого языка к другому и переходить от этого языка к миру. Переход от языка к языку совершается так, что некоторые предложения принимаются как истинные, для этой цели особенно подходят предложения, которые в данной языковой общности рассматриваются как недоступные опровержению данными опыта, например *Холостяки — это неженатые мужчины.* Постулаты о значении Карнапа и компонентный анализ Катца, Джеккендофа и многих других лингвистов могут рассматриваться как способы кодирования общепринятых мнений об отношениях между интенсионалами различных миров. (Некоторые из этих общепринятых мнений могут быть ложными, но полезными, — например *Киты — это рыбы;* это предположение может помочь изучающему язык в усвоении слова *кит,* подобно тому, как ложная дескрипция отождествления может помочь слушателю понять, какое лицо имеет в виду говорящий.) Но, как справедливо отметил и Ричард Грэнди и другие, даже самое большое количество таких межъязыковых соответствий не помогает связать внеязыковое содержание с интенсионалами[27]. Действительно, кроме этого, должно быть также некоторое соответствие от языка к миру. Именно в этой роли выступает лексическая семантика, которая в этом отношении не имеет аналогов ни в синтаксисе, ни в структурной семантике и в которой взаимоотношения языка, мысли и реальности, наверное, сложнее всего.

Можно представить себе молодого члена в сообществе всезнающих взрослых богов, который хочет усвоить, «выучить» интенсионалы слов путем прямого указания; тогда какой-нибудь взрослый бог может «указать» ему на какую-либо определенную функцию от всех возможных миров к объектам или множествам соответствующего вида и сказать: *«Вот* интенсионал слова *гларк**». Но человеческие существа ограничены в разных существенных отношениях, и это кладет жесткий предел их возможности «схватить мыслью» интенсионалы. Положим, говорящий А ввел в язык новое слово, скажем *лошадь,* и хочет передать его говорящему Б. Поскольку дело идет о слове со столь сильно обращенным к «реальному миру» содержанием, то говорящий А мог бы попытаться поставить говорящего Б в ситуацию, подобную той, в какой произошло первоначальное введение слова, и сказать что-нибудь вроде *«Вот этот* тип животных называется *лошадь».* Говорящий А, как мы сказали, *не знает* интенсионала слова *лошадь,* и к тому же интенсионал остается неустановленным по отношению к возможным в дальнейшем генерализациям, которые могут быть сделаны исходя из предъявления первоначального образца под рубрикой «тот же тип животных».

* Ничего не значащий набор звуков. — *Прим. перев.*

В этом примере при передаче слова возможны по крайней мере следующие случаи: (1) образец, к которому обратятся при дальнейшей передаче, вообще будет отличным от образца первичного именования; (2) лишь некоторые свойства образца доступны восприятию говорящих, обычно наиболее легко воспринимаемые свойства; внеязыковые объекты, которые участвуют в фиксации интенсионалов терминов, участвуют в понимании интенсионалов говорящим только через посредство его органов восприятия и связанной с ними системы мнений, поэтому, вообще говоря, человеку никогда не бывает дан в чистом виде никакой образец экстенсионала; (3) даже в воображаемом случае, где говорящему А и говорящему Б каким-то образом будет «дан в чистом виде» один и тот же образец и дано прямое знание о нем, все же основная проблема индуктивного обобщения останется: каким из путей пойдет установление интенсионала на основе обобщения первоначального образца. Если имеется правильная биологическая теория видов и интенсионал слова *вид* уже фиксирован в соответствии с этой теорией, то направление генерализации на основе первоначального образца может быть следующим: для установления интенсионала слова *лошадь* следует сказать «Животные этого *вида* называются словом *лошадь*». Но обычно при передаче слов в языке ни говорящий А, ни говорящий Б не владеют такой теорией, и интенсионал передаваемого слова *психологически* не может быть обоснован подобным образом.

Куайн подробно обсуждал, почему передача языка совершается успешно, несмотря на столь очевидные трудности. Он писал: «Наши врожденные перцептивные механизмы, устанавливающие сходства, действуют в гармонии с окружающей нас природой. Этот параллелизм объясняется, конечно, естественным отбором», и затем: «Мы можем ожидать, что наши врожденные механизмы, устанавливающие сходства, одинаковы у всех, поскольку они — наследственное достояние расы; а если они постепенно и меняются с опытом, то мы все равно можем ожидать, что они останутся одинаковыми, поскольку они и меняются в общей природной среде, общей культуре, общем языке и во взаимовлиянии»[28]. (Принимая такой тип объяснения вслед за Куайном, который не считает понятие интенсионала полезным, я все же остаюсь при своем мнении, а именно, что фиксация интенсионалов на самом деле тот же самый процесс, что и фиксация экстенсионалов.) Итак, гармония наших механизмов перцептивного восприятия и наших индуктивных способностей между человеком и природой и человеком и человеком — вот что главным образом позволяет нам если не «схватить мыслью» интенсионалы, то все же связать с ними известное знание, достаточное для того, чтобы вступать в коммуникацию друг с другом и использовать предложения, условия истинности которых не установимы на основе нашего собственного внутреннего психического состояния.

Я хотела бы теперь вернуться к другому вопросу, который упомянула выше, — к вопросу об изменении языка. В описанном выше процессе передачи языка среди трудностей, которые сопровождают этот процесс, была отмечена сложность индукции от образца приложения термина к его более широкому приложению. Поскольку этот процесс не имеет четких границ, я думаю, что интенсионалы большинства слов в естественном языке в действительности не являются жестко фиксированными и что это обстоятельство стоит в тесной связи с историческими изменениями, происходящими в лексической семантике. Патнэм, говоря о важной роли внепсихических факторов, факторов реального мира в интерпретации лексических единиц, сосредоточил внимание на терминах естественных классов. Но можно заметить, что такие термины принадлежат как раз к исторически наиболее устойчивым. Если рассмотреть термины не естественных классов, такие, как термины социального положения, обследованные Дальгрен, термины, описывающие свойства личности или политические взгляды, то можно прийти к выводу, что типы индуктивных обобщений, которые совершаются от данного образца приложения термина к другим, здесь отграничиваются гораздо менее четко, идет ли речь о внешних факторах, «от мира», или о факторах внутренних, «от механизмов установления сходств». И тот, кто первоначально ввел термин, и те, кому он передается, как будто не идут дальше расплывчатого критерия «похоже на такой-то и такой-то образец», который они применяют к лицам, политическим взглядам и т. п. Когда термины не являются терминами объектов, для которых имеется научная теория, то нет основания говорить, что их интенсионалы полностью фиксированы; они не фиксированы ни интенциями говорящих, ни «правильной теорией» тех объектов, которые послужили первоначальным образцом экстенсионала. Отсюда, однако, еще не следует, что интенсионалы в таких случаях могут быть отождествлены с психическими свойствами носителей языка, но роль психических факторов здесь гораздо больше; изменения в свойствах самого объекта-образца и последующие изменения в индуктивных обобщениях, которые производят носители языка исходя из этого образца, действуя совместно, могут быстро привести к изменениям в интенсионале.

Сравним, к примеру, термин естественного класса *электричество,* про который Патнэм справедливо замечает, что он не изменил своей референции (и, добавим, своего интенсионала), вопреки многочисленным переменам в истории науки, — с термином churl (см. выше в связи с работой Дальгрен), который из обозначения членов некоторого социального класса превратился в предикат, обозначающий манеру социального поведения. Электричество не менялось в ходе времени, а структура социальных классов преобразовывалась, и в известной мере она определяется психологическими факторами, которые никак не воздействуют на электричество. Какое бы поколение ни использовало термин *электричество,* они

имеют в виду одну и ту же вещь; но, говоря о churl, разные поколения говорят не об одном и том же; поэтому следует, по-видимому, считать, что интенсионал в этом случае тоже изменился.

Исходя из этих соображений о различии между интенсионалами и мыслями в голове человека, мы приходим к выводу, что лингвистический термин «семантическое представление, или семантическая репрезентация» вполне пригоден, но только если поместить его в несколько иную сетку отношений, чем обычно бывает у лингвистов. Компетентный носитель языка не знает — как мы старались показать — интенсионалов слов своего языка, а это почти то же самое, что он не знает всего о мире, в котором живет. Оба эти обстоятельства и в действительности тесно связаны. Чтобы компетентно действовать в мире, разумеется, не нужно «знать» всего мира; но люди обычно отражают в своем сознании восприятие мира и мнения о нем, что мы назовем «репрезентациями мира» («представлениями о мире»), — они составляют богатую область исследований для психологии познания. Итак, если аналогичным образом понимать под «семантическими представлениями» психологические конструкты, которые отражают наши восприятия и мнения о семантике нашего языка, а не как саму семантику, то конфликт между взглядами на семантику психологов и непсихологов будет значительно уменьшен.

Однако для этого необходимо согласиться, что лексические единицы языка имеют интенсионалы, что ассоциации лексических единиц и интенсионалов составляют часть семантики языка и что то, чем являются сами интенсионалы лексических единиц, не может быть установлено исходя из чисто психических свойств компетентных носителей языка.

Этим, как я и сказала вначале, лексическая семантика резко отличается от синтаксиса: то, чем является синтаксис естественного языка, может быть установлено, как я считаю, исходя из психических состояний носителей языка.

6. Язык как «окно в мышление»

Я решительно поддерживаю утверждение, первоначально выдвинутое Патнэмом, что значения лексических единиц не заключены в головах носителей языка. Я подчеркнула также, что этим лексическая семантика коренным образом отличается от синтаксиса и от структурной семантики. Закончу несколькими соображениями о лингвистической и философской семантике и «моралью» всего сказанного.

Во-первых (хотя это соображение, возможно, представляет интерес для немногих), Монтегю не ошибался, относя семантические интерпретации к разряду таких вещей, которые не обретаются в голове говорящего. В его системе взглядов правила синтаксиса и структурной семантики допускают конечное представление и являются интуитивно приемлемыми, и только интенсиональные мо-

дели недоступны непосредственному когнитивному восприятию. Этими положениями закладывается основа для психологического исследования психических представлений, посредством которых мы можем оперировать с интенсионалами лексических единиц, не «зная» их прямо; такая область исследования составила бы параллель к психологии логики и математики. В той мере, в какой лингвисты склонны рассматривать лингвистику как отрасль психологии, подобные исследования могли бы представить интерес и для лингвистов, пожалуй, даже больший, чем изучение самих интенсиональных моделей; однако оба направления вполне могут уживаться.

Во-вторых, — соображение весьма умозрительное. Возможно, существует прямая зависимость между разделением интенсионалов и «репрезентаций, представлений» интенсионалов у говорящего, с одной стороны, и проблемой предложений с пропозициональной установкой, — с другой. Многие трудности, возникающие в связи с трактовкой предложений пропозициональной установки, коренятся, на мой взгляд, в том, что представления об интенсионалах слов нельзя четко отграничить от других представлений и мнений. Когда мы рассматриваем такое предложение, как *Многие дети считают, что облака живые,* то невозможно провести четкую границу между, с одной стороны, различиями в представлениях детей и нас, взрослых, относительно природы облаков и причин их движения, и, с другой стороны, различиями в представлениях детей и наших представлениях об интенсионалах слов *облако, живой.* Конечно, это не единственный источник проблем, возникающих в связи с контекстами пропозициональной установки, но, мне кажется, один из главных источников. Пока путь к решению мне не ясен, но уже ясно, что нельзя рассматривать объекты мнения как возникающие из «актуальных» интенсионалов.

Последнее. Если рассматривать лексическую семантику как резко отличную от структурной семантики, то открывается богатое поле исследований мышления и путь к этому, совершенно иной, нежели тот, который столь усиленно отстаивал Хомский. Хомский и Патнэм в ряде работ утверждали постулат врожденности некоторой весьма специфической системы механизмов и принципов, которая действует в мышлении ребенка при усвоении им языка. Эта система, постулированная Хомским, противопоставлялась другим взглядам, согласно которым ребенок в процессе усвоения языка основывается на более общих принципах обучения. Наиболее сильные аргументы в пользу взглядов Хомского были взяты из синтаксиса, где, как кажется, существуют очень специфические универсалии, такие, например, как трансформационный цикл, который ребенок без труда усваивает в такой период, когда другие задачи обучения, на первый взгляд гораздо более простые, решаются им с гораздо большими трудностями. Я думаю, что вполне может быть, что у человека генетически передается наследственная специфически синтаксическая мыслительная структура, и что, следовательно, исследование синтаксиса мо-

жет открыть доступ к глубинным структурам мышления. Человеческий язык — это «наш код», и, возможно, мы в какой-то степени наследственно «настроены» на него, подобно тому, как пчелы настроены на их менее сложные кодовые танцы.

Но исследование синтаксиса (также как и структурной части семантики) именно по этой причине может оказаться не столь прямым путем к другим, равно важным свойствам человеческого мышления, — таким, как способность делать заключения по индукции, решать задачи со множественными решениями, развивать понятия причинности, действия, времени, воли, свободы и т. д. Исследования того, как язык приобретает лексические единицы, какова роль психических факторов в установлении интенсионалов лексических единиц, как нам удается усваивать язык, базовые термины которого имеют относительно фиксированные интенсионалы, — все это представляется мне хоть во многом и более сложной, и менее четко определенной задачей, чем исследование синтаксиса, но задачей важнейшей, решение которой для понимания человеческого мышления будет иметь поистине неоценимые результаты.

Примечания

1 Putnam H. Mind, language and reality // Philosophical papers, v. 2., Cambridge, 1975, p. 219.

2 Chomsky N. Reflections on language. New York, 1975.

3 Но не все, см.. Hintikka J. On the limitations of generative grammar // Proceedings of the Scandinavian seminar on philoshophy of language, I. Uppsala, 1975, p. 1—95.

4 Katz J. J. Semantic theory. New York, 1972, p. 36; Montague R. English as a formal language // Linguagio nella societa e nella technica, Milano, 1970, p. 189—191; перепечатано в: Montague R. Formal philosophy. Selected papers of Richard Montague / Ed. and introduction by R. Thomason. New Haven, 1974; Chomsky N. Reflections on language, p. 80—81.

5 Montague R. Universal grammar // Theoria, 36, N 2, p. 373—398; перепечатано в: Montague R. Formal philosophy.

6 Монтегю, по-видимому, занимал разные позиции по этому вопросу в «English as a formal language» и в «Universal grammar»; Д. Льюиз считает, что эти и другие альтернативные позиции, в общем, сходны, см.: Lewis D. Tensions // Semantics and philosophy / Eds. M. Munitz and P. Unger. New York, 1974, p. 49—60.

7 Thomason R. Introduction // Montague R. Formal Philosophy, p. 48—49.

8 Jackendoff R. Semantic interpretation in generative grammar. Cambridge, 1972, p. 1.

9 Katz J. Semantic theory. New York, 1972, p. 38.

10 Ibid., p. 35.

[11] Интересное обсуждение и материалы к истории вопроса см.: B r o w n R. Reference. In memorial tribute to Eric Lenneberg // Cognition, 4, 1976, p. 125—153.

[12] Reflections on language, p. 4.

[13] M o n t a g u e R. Formal philosophy, p. 209.

[14] G r e s s w e l l M. J. Semantic competence // Meaning and translation. Philosophical and linguistic approaches / Eds. M. Guenthner-Reuter and F. Guenthner, London.

[15] K r i p k e S. Naming and necessity // Semantics of natural language / Eds. D. Davidson and G. Harman, Dordrecht, 1972.

[16] Semantic theory, p. 381—392.

[17] Примеры см.: P u t n a m H. The meaning of «meaning» // Language, mind and knowledge / Ed. K. Gunderson; Minnesota studies in the philosophy of science, v. VII, Minneapolis, 1975; P u t n a m H. Language and reality // Mind, language, and reality. Philosophical papers, v. 2, Cambridge, 1975.

[18] Указание может быть непрямым, например *То животное, которое оставило вот эти отпечатки лап; тот микроб, который вызывает заболевание вот с такими симптомами.*

[19] P u t n a m H. Dreaming and «depth grammar» // Analytical philosophy (First series) / Ed. R. Butler, Oxford, 1962.

[20] Однако, если эксперт-специалист в биологии может при желании заняться определением существенных признаков видов и критериев для применения имен к названиям конкретных объектов, то эксперт по домам и постройкам находится здесь не в лучшем положении, чем обычный говорящий, он будет говорить скорее, например, не о существенных свойствах дач, а о том, применимо ли слово *дача* для называния той или иной постройки.

[21] D a h l g r e n K. Referential semantics // Proposals for semantic and syntactic theory / Ed. J. Emonds. UCLA Papers in syntax, v. I. Los Angeles, 1976, p. 23.

[22] Приведенные здесь слова мыслятся не как синонимы, а как описания — на данный случай — экстенсионалов терминов.

[23] The meaning of meaning, p. 245.

[24] Naming and necessity; D o n n e l l a n K. Speaking of nothing // Philosophical review, 83, 1974.

[25] E v a n s G. The causal theory of names // Aristotelian society, supplementary volume, 47, 1973, p. 187—208. Автор убедительно показывает, что даже собственные имена могут изменять свои интенсионалы с течением времени (от жесткого десигнатора одного лица к десигнатору другого), поскольку ошибочное мнение относительно интенсионала может, приобретая все большее число сторонников, перекрыть первоначальный акт наименования.

[26] G r a n d y R. Some remarks on logical form (manuscript).

[27] Постулаты значения могут быть достаточными для логических слов типа «и», которые в некотором смысле не имеют внеязыкового содержания.

[28] Q u i n e W. V. O. The roots of reference. La Salle, Illinois, 1974, p. 19.

IV

СЕМИОТИКА ЛИТЕРАТУРЫ

Ролан Барт

Нулевая степень письма

ВВЕДЕНИЕ

Эбер не начинал ни одного номера своего «Папаши Дюшена» без какого-нибудь ругательства вроде «черт подери» или еще похлеще. Эти забористые словечки ничего не значили, зато служили опознавательным знаком. Знаком чего? Всей существовавшей тогда революционной ситуации. Перед нами пример письма, функция которого не только в том, чтобы сообщить или выразить нечто, но и в том, чтобы утвердить сверхъязыковую реальность — Историю и наше участие в ней.

Всякое писанное слово отмечено подобным ярлыком, и то, что верно по отношению к «Папаше Дюшену», верно и по отношению к Литературе. В ней тоже должен быть опознавательный знак чего-то, что отлично от ее содержания и конкретной формы, и это «что-то» — ее замкнутость, благодаря которой она, собственно, и заявляет о себе как о Литературе. Отсюда — совокупность знаков, существующих вне связи с конкретными идеями, языком или стилем и призванных обнаружить изоляцию этого ритуального слова среди плотной массы всех остальных возможных способов выражения. Этот обрядовый статус письменных знаков утверждает Литературу как особый институт и откровенно стремится отвлечь ее от Истории, ибо любая замкну-

тость обряда не обходится без представления о вечной неизменности. Однако именно тогда, когда Историю отвергают, она действует наиболее открыто; вот почему можно проследить историю литературного слова, которая не будет ни историей языка, ни историей стилей, но лишь историей знаков Литературности. Можно даже предположить, что такая история формы по-своему, но с достаточной ясностью, сумеет обнаружить свою связь с глубинной Историей.

Дело, разумеется, идет о такой связи, формы которой способны меняться вместе с самой Историей. Нет никакой необходимости прибегать к идее прямого детерминизма, чтобы почувствовать влияние Истории на судьбу различных видов письма: движение некоего функционального фронта, вовлекающего события, ситуации и идеи в поток исторического времени, предопределяет не столько последствия, сколько границы совершаемого выбора. История предстает перед писателем с предложением обязательного выбора между несколькими языковыми моралями; она понуждает его *означить* Литературу исходя из наличных возможностей, над которыми он не властен. Так, мы увидим, что идеологическое единство буржуазии привело к возникновению единого письма и что в буржуазную (то есть классическую и романтическую) эпоху форма не могла разрываться между несколькими возможностями, потому что разорванным не было само сознание писателя. Напротив, с того момента (1850 г.), как писатель перестал быть выразителем универсальной истины и превратился в носителя несчастного сознания, его первым актом стал выбор формы: он принимает на себя обязательство, ангажируется, приемля либо отвергая письмо, принадлежащее его прошлому. Так вдребезги разлетелось классическое письмо, и вся Литература — от Флобера до наших дней — превратилась в одну сплошную проблематику слова.

Именно в этот момент Литература (само слово возникло немногим ранее) бесповоротно стала объектом рефлексии. Классическое искусство неспособно было ощутить себя в качестве языка, ибо оно само *было* языком, то есть чем-то прозрачным, находящимся в безостановочном перетекании без осадка, — способом идеального слияния универсального разума и декоративных знаков, не обладавших собственной плотью и не обязывавших ни к какой ответственности; этот язык был замкнут в себе самом в силу социальных, а отнюдь не естественных причин. Известно, что к концу восемнадцатого века эта прозрачность была замутнена; литературная форма развила в себе дополнительную силу, не связанную ни с ее строением, ни с ее благозвучием; она начинает очаровывать, смущать, околдовывать; она обретает весомость; Литературу воспринимают отныне не в качестве социально привилегированного способа обобщения, но в качестве оплотненного, углубленного слова,

исполненного таинственности, ее ощущают как грезу и как угрозу одновременно.

Отсюда следствие; литературная форма как объект обрела возможность вызывать к себе экзистенциальные ощущения, сопряженные с глубинной сущностью всякого объекта: ощущение чуждости, родственности, отвращения, приязни, обыкновенности, ненависти. Вот почему уже в течение ста лет всякое письмо является попыткой приручить или отвергнуть ту Форму-Объект, с которой писатель неизбежно встречается на своем пути, в которую ему надлежит всматриваться, приходить с ней в столкновение или примиряться и которую он не может разрушить, не разрушив самого себя как писателя. Форма маячит перед его взором как объект; что с ней ни делай — она вызывает скандал: если форма блестяща, то кажется устаревшей, если анархична — то становится антиобщественной, если необычна для своего времени и своих современников — превращается в воплощенное одиночество.

Весь девятнадцатый век был свидетелем этого драматического процесса отвердения формы. У Шатобриана это еще лишь незначительное отложение, почти невесомый груз языковой эйфории, своего рода нарциссизм, когда письмо еще только едва заметно отвлеклось от своего инструментального назначения и принялось вглядываться в свой собственный лик. Флобер (мы указываем здесь лишь на наиболее характерные моменты названного процесса), создавший рабочую стоимость письма, окончательно превратил Литературу в объект: форма стала конечным продуктом «производства», подобно горшку или ювелирному изделию (это значит, что сам акт производства был «означен», иными словами, впервые превращен в зрелище и внедрен в сознание зрителей). И наконец, этот процесс конструирования Литературы-Объекта Малларме увенчал последним актом, завершающим всякую объективацию, — убийством: известно, что все усилия Малларме были направлены на разрушение слова, как бы трупом которого должна была стать Литература.

Таким образом, письмо пережило все этапы постепенного отвердевания; сделавшись сначала объектом разглядывания, затем производства и, наконец, убийства, ныне оно пришло к конечной точке своей метаморфозы — к исчезновению: в тех нейтральных типах письма, которые мы назовем здесь «нулевой степенью письма», нетрудно различить, с одной стороны, порыв к отрицанию, а с другой — бессилие осуществить его на практике, словно Литература, которая вот уже в течение столетия пытается превратить свой лик в форму, лишенную всяких черт наследственности, обретает таким путем большую чистоту, чем та, которую способно ей придать отсутствие всяких знаков, позволяя наконец сбыться орфеевой мечте: появлению писателя без Литературы. Белое письмо, на-

пример письмо Камю, Бланшо, Кейроля, или же разговорное письмо Кено — это последний эпизод Страстей письма, шаг за шагом сопровождающих процесс раскола буржуазного сознания.

Мы хотим здесь наметить эту связь, а также обосновать наличие некоего формального образования, не зависящего ни от языка, ни от стиля; мы намереваемся показать, что это третье измерение Формы также — хотя и не без доли трагизма — связывает писателя с обществом; мы собираемся подчеркнуть, наконец, что не бывает Литературы помимо языковой морали. Объем настоящей работы (страницы из которой публиковались в газете «Комба» в 1947 и в 1950 годах) ясно показывает, что речь идет лишь о Введении в книгу, которая могла бы стать Историей Письма.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Что такое письмо?

Известно, что язык представляет собой совокупность предписаний и навыков, общих для всех писателей одной эпохи. Это значит, что язык, подобно некой природе, насквозь пронизывает слово писателя, хотя при этом не придает ему никакой формы и даже никак его не питает: он похож на абстрактный круг расхожих истин; лишь за его пределами начинает сгущаться своеобычность одинокого писательского слова. Язык окружает всю сферу литературы примерно так же, как линия, у которой сходятся небо и земля, очерчивает пределы привычного для человека мира. Язык — это не столько запас материала, сколько горизонт, то есть одновременно территория и ее границы, одним словом, пространство языковой вотчины, где можно чувствовать себя уверенно. Писатель в буквальном смысле ничего не черпает в языке; скорее, язык для него подобен черте, переход через которую откроет, быть может, надприродные свойства слова; язык — это площадка, заранее подготовленная для действия, ограничение и одновременно открытие диапазона возможностей. Язык — это не та сфера, где человек принимает на себя социальные обязательства, это лишь рефлекс, не ведающий выбора, нераздельная собственность всех людей, а не одних только писателей; он не участвует в обрядовом действе Словесности; социальным объектом он является по своей природе, а не в результате человеческого выбора. Ни одному писателю не дано беспрепятственно привнести свою свободу в этот непроницаемый язык, ибо на нем держится вся История — непрерывная и единая подобно природе. Вот почему язык для писателя — это всего лишь человеческий горизонт, где в отдалении вырисовывается возможность *близости,*

определяемой к тому же совершенно негативно: сказать, что Камю и Кено говорят на одном и том же языке, — значит всего лишь посредством операции различения напомнить обо всех языках прошлого или будущего, на которых они не говорят: занимая промежуточное положение между уже исчезнувшими и еще неведомыми формами, язык писателя являет собой не столько почву, сколько крайний предел; это геометрическая граница, за которой он не может сказать ничего, не утратив при этом, подобно обернувшемуся Орфею, устойчивого смысла своего речевого поступка и главного признака своей принадлежности к обществу.

Итак, язык располагается как бы по эту сторону Литературы. Стиль же находится едва ли не по другую ее сторону: специфическая образность, выразительная манера, словарь данного писателя — все это обусловлено жизнью его тела и его прошлым, превращаясь мало-помалу в автоматические приемы его мастерства. Так, под именем «стиль» возникает автономное слово, погруженное исключительно в личную, интимную мифологию автора, в сферу его речевого организма, где рождается самый первоначальный союз слов и вещей, где однажды и навсегда складываются основные вербальные темы его существования. Как бы ни был изыскан стиль, в нем всегда есть нечто от сырья: стиль — это форма без назначения; его толкает некая сила снизу, а не влечет к себе известный замысел свыше; стиль — это человеческая мысль в ее вертикальном и обособленном измерении. Он отсылает к биологическому началу в человеке или к его прошлому, а не к Истории: он — природная «материя» писателя, его богатство и его тюрьма, стиль — это его одиночество. Безразличный для общества, которое смотрит сквозь него, стиль представляет собой самодовлеющий личностный акт, а вовсе не продукт выбора и рефлексии писателя относительно Литературы. Стиль участвует в литературном обряде на частных правах, он вырастает из глубин индивидуальной мифологии писателя и расцветает вне пределов его ответственности. Это живописный голос потаенной, неведомой плоти; он действует подобно самой Необходимости, так, словно в порыве к прорастанию являет собой конечную стадию слепой и упрямой метаморфозы, оказывается частью некоего низшего языка, возникающего на границе между плотью и внешним миром. Стиль — некий феномен растительного развития, проявление вовне органических свойств личности. Вот почему все, на что намекает стиль, лежит в глубине; обычная речь обладает горизонтальной структурой, любые ее тайны располагаются на той же поверхности, что и составляющие ее слова, и все, что она пытается скрыть, немедленно раскрывается в самом процессе ее развертывания; в речи все явлено непосредственно, предназначено для немедленного потребления; здесь слово, молчание и их движение устремлены к отсутствующему пока смыслу: это бег, не знающий задержки и не

оставляющий за собою следа. Напротив, стиль обладает лишь вертикальным измерением, он погружен в глухие тайники личностной памяти, сама его непроницаемость возникает из жизненного опыта тела; стиль — это всегда метафора, то есть отношение между литературной интенцией автора и структурой его плоти (вспомним, что в структуре свернута всякая длительность). Вот почему стиль — это неизменная тайна, однако его безмолвствующая сторона вовсе не связана с подвижной, чреватой постоянными отсрочками природой речи. Тайна стиля — это то, о чем помнит само тело писателя; его намекающая сила не зависит от быстроты движения речевого потока, где даже невысказанное становится формой сказанного; эта сила проявляется в самой оплотненности стиля, ибо под ним прочно и глубоко залегают такие слои реальности, которые абсолютно чужды слову, и эта реальность интенсивно сгущена или мягко разлита во всех его фигурах. Стиль оказывается своего рода сверхлитературным действом, в котором человек стоит на пороге всемогущества и магии. Биологическая природа стиля ставит его вне искусства, иначе говоря, вне договора, связывающего писателя с обществом. Вот почему нетрудно представить себе авторов, предпочитающих безопасность, которую сулит им мастерство, одиночеству, на которое обрекает их стиль. Так, Андре Жид, извлекающий благодаря своей ремесленнической манере удовольствие из современной обработки классического этоса, подобно тому как Сен-Санс переделывал Баха, а Пуленк — Шуберта, являет собой самый тип писателя без стиля. Напротив, поэзия нового времени — Гюго, Рембо, Шара — насыщена стилем, а *искусством* оказывается лишь в той мере, в какой сохраняет связь с интенциями Поэзии. Именно могущество стиля, иначе говоря, совершенно свободная связь слова с его телесным двойником, придает писателю свежесть дыхания, как бы веющего над Историей.

Горизонт языка и вертикальное измерение стиля очерчивают для писателя границы природной сферы, ибо он не выбирает ни свой язык, ни свой стиль. Язык действует как некое отрицательное определение, он представляет собой исходный рубеж возможного, стиль же воплощает Необходимость, которая связывает натуру писателя с его словом. В одном случае он обретает близость с Историей, в другом — с собственным прошлым. Но каждый раз речь идет о чем-то природном, то есть о привычном образе действий, когда сама энергия писателя имеет лишь орудийный характер и уходит в одном случае на перебор элементов языка, в другом — на претворение собственной плоти в стиль, но никогда на то, чтобы вынести суждение или заявить о сделанном выборе, означив его.

Между тем всякая форма обладает также и значимостью; вот почему между языком и стилем остается место еще для одного формального образования — письма. Любая литературная форма пред-

полагает общую возможность избрать известный тон или, точнее, как мы говорим, этос, и вот здесь-то наконец писатель обретает отчетливую индивидуальность, потому что именно здесь он принимает на себя социальные обязательства, ангажируется. Язык и стиль предшествуют любой проблематике слова, они — естественные продукты Времени и биологической личности автора. В области же формы писатель может действительно стать самим собой лишь за пределами установлений, диктующих ему грамматические нормы и константы его стиля, — там, где писанное слово автора, поначалу укорененное и замкнутое в пределах абсолютно нейтральной языковой природы, превращается наконец во всеобъемлющий знак, в способ выбора определенного типа человеческого поведения, в способ утвердить известное Благо, тем самым вовлекая писателя в сферу, где он получает возможность уяснить и сообщить другим ощущение счастья или тревоги, где сама форма его речи — в ее языковой обыкновенности и стилевой неповторимости — вплетается наконец в необъятную Историю других людей. Язык и стиль — слепые силы; письмо — это акт исторической солидарности. Язык и стиль — объекты; письмо — функция: оно есть способ связи между творением и обществом, это литературное слово, преображенное благодаря своему социальному назначению, это форма, взятая со стороны ее человеческой интенции и потому связанная со всеми великими кризисами Истории. Так, Мериме и Фенелона разделяли не только феномены языка, но и особенности их стиля; и тем не менее их слово было пронизано одной и той же интенцией, они исходили из одинакового представления о форме и содержании, прибегали к одной и той же системе условностей, пользовались одними и теми же техническими приемами; разделенные полуторавековой дистанцией, они работали — одними и теми же приемами — одинаковым инструментом, несколько изменившим, конечно, свой внешний вид, но отнюдь не свое положение или назначение; короче, у них было одно и то же письмо. Напротив, Мериме и Лотреамон, Малларме и Селин, Жид и Кено, Клодель и Камю — почти современники, говорившие или говорящие на одном и том же исторически сложившемся французском языке, — пользуются глубоко различными видами письма; их разделяет все: тон, выразительная манера, цели творчества, мораль, особенности речи, так что общность эпохи и языка мало что значит перед лицом столь контрастных и столь определенных именно в силу этой контрастности типов письма.

Тем не менее, хотя эти типы письма и отличаются друг от друга, они все же сопоставимы между собой, ибо порождены одним и тем же порывом — рефлексией писателя относительно социального использования формы и связанного с этим выбора. Письмо — находясь в самом центре литературной проблематики, которая воз-

никает лишь вместе с ним, — по самому своему существу есть мораль формы, оно есть акт выбора того социального пространства, в которое писатель решает поместить Мир своего слова. Но это вовсе не то пространство, где происходит фактическое потребление Литературы. Для писателя речь идет вовсе не о выборе той или иной социальной группы, для которой он намеревается писать: он хорошо знает, что — за вычетом революционных эпох — всегда пишет для одного и того же общества. Его выбор — это выбор в сфере духа, а не в сфере практической эффективности. Письмо — это способ мыслить Литературу, а не распространять ее среди читателей. Или так: именно потому что писатель не в силах изменить объективных условий потребления литературы (эти сугубо исторические условия неподвластны ему даже тогда, когда он их осознает), он умышленно переносит свою потребность в свободном слове в область его истоков, а не в сферу его потребления. Вот почему письмо представляет собой двойственное образование: с одной стороны, оно, несомненно, возникает на очной ставке между писателем и обществом; с другой — увлекает писателя на трагический путь, который ведет от социальных целей творчества к его инструментальным истокам. Не имея возможности предоставить в распоряжение писателя свободно потребляемый язык, История тем не менее способна внушить ему потребность в свободно производимом языке.

Итак, и сам выбор письма, и налагаемая им ответственность свидетельствуют о свободе писателя, однако пределы этой свободы различны в различные периоды Истории Писателю не дано выбирать свое письмо в некоем вневременном арсенале литературных форм. Возможные для данного писателя виды письма возникают под давлением Истории и традиции: существует История письма, у которой, однако, два лика: в тот самый момент, когда общая История выдвигает — или навязывает — новую проблематику литературного слова, письмо все еще погружено в воспоминания о своей прошлой жизни, ибо слово никогда не бывает безгрешным: слова обладают вторичной памятью, которая чудесным образом продолжает жить среди новых языковых значений. Письмо — это не что иное, как компромисс между свободой и воспоминанием, это припоминающая себя свобода, остающаяся свободой лишь в момент выбора, но не после того, как он свершился. Да, сегодня я вполне могу избрать для себя то или иное письмо и тем самым утвердить свою свободу — притязнуть на новизну или, наоборот, заявить о своей приверженности к традиции; но все дело в том, что я неспособен оставаться свободным и дальше, ибо мало-помалу превращаюсь в пленника чужих или даже своих собственных слов. Остаточные магнитные токи, упорно исходящие не только от всех разновидностей чужого, но и от моего собственного прошлого пись-

ма, перекрывают звучание моего нынешнего голоса. В любом закрепленном на письме слове происходит процесс выпадения осадка, как в химическом растворе, поначалу прозрачном, чистом и нейтральном; однако уже само течение времени выявляет в нем его прошлое, концентрирующееся, словно суспензия, и все яснее заставляет проступать скрытую в нем криптограмму.

Итак, подобно самой свободе, письмо есть только момент, но это — один из наиболее очевидных моментов в Истории, ибо История, в первую очередь, как раз и несет в себе возможность выбора и одновременно указывает на его границы. Именно потому, что письмо возникает как продукт значимого поступка писателя, оно соприкасается с Историей несравненно более ощутимо, нежели любой другой пласт литературы. Переход от единства классического письма, в течение веков сохранявшего свою однородность, к разнообразию современных видов письма, распространившихся за последние сто лет вплоть до крайних пределов, уже на границе литературы, — этот своеобразный взрыв, происшедший во французском письме, глубоко сопричастен великому кризису, пережитому общей Историей и гораздо более смутно различимому в литературной Истории в собственном смысле слова. То, что отличает «мышление» Бальзака от «мышления» Флобера, есть разница литературных направлений, к которым они принадлежали; но что делает противоположным их письмо, так это решительный перелом, случившийся в тот самый момент, когда происходила смена двух экономических структур, и повлекший за собой — на стыке этих структур — коренные перемены в области миропонимания и сознания.

II. Политическое письмо

Для любого письма характерна внутренняя замкнутость, чуждая разговорной речи. Письмо — вовсе не орудие общения между людьми, не свободная дорога, по которой могла бы устремиться чисто языковая интенция. Обычная речь извергается как хаотический поток, ей свойственно безоглядное, навеки незавершимое движение вперед. В противоположность этому письмо представляет собой отвердевший язык, оно живет, сконцентрировавшись в самом себе, и отнюдь не стремится превратить процесс собственного развертывания в подвижную последовательность поэтапных приближений к известной цели; напротив, располагая цельными и непроницаемо плотными знаками, оно утверждает лишь такую речь, которая предустановлена задолго до ее реального возникновения. Письмо и обычная речь противостоят друг другу в том отношении, что письмо *явлено* как некое символическое, обращенное вовнутрь самого себя, преднамеренно нацеленное на скрытую изнанку язы-

ка образование, тогда как обычная речь представляет собой лишь последовательность пустых знаков, имеющих смысл лишь благодаря своему движению вперед. Вся речь как раз и состоит в этом изнашивании слов, уносящихся вперед, подобно пенистым барашкам на поверхности речевого потока; речь есть лишь там, где язык открыто функционирует как процесс некоего пожирания, захватывающего одни только неустойчивые маковки слов; корни же письма, напротив, уходят во внеязыковую почву, письмо прорастает вверх, словно зерно, а не тянется вперед, как линия; оно выявляет некую скрытую сущность, в нем заключена тайна; письмо антикоммуникативно, оно устрашает. В любом письме можно обнаружить двойственность, свойственную ему как особому объекту, который одновременно является формой языкового выражения и формой принуждения: в глубине письма всегда залегает некий «фактор», чуждый языку как таковому, оттуда устремлен взгляд на некую внеязыковую цель. Этот взгляд вполне может быть направлен на само слово и заворожен им, как это имеет место в литературном письме; но в таком взгляде может сквозить и угроза наказания — и тогда перед нами политическое письмо: в этом случае задача письма состоит в том, чтобы в один прием соединить реальность фактов с идеальностью целей. Вот почему всякая власть, или хотя бы видимость власти, всегда вырабатывает аксиологическое письмо, где дистанция, обычно отделяющая факт от его значимости — ценности, уничтожается в пределах самого слова, которое одновременно становится и средством констатации факта, и его оценкой. Слово превращается в алиби (т. е. в свидетельство об отсутствии на месте преступления, в оправдательный акт). Сказанное верно не только по отношению к различным видам литературного письма, где знаки испытывают завораживающее влияние доязыковых или сверхъязыковых сфер, но и — в еще большей степени — по отношению к политическому письму, где языковое алиби есть одновременно и средство устрашения, и средство прославления; поистине, именно власть (или борьба за нее) порождает наиболее характерные типы письма.

Ниже мы увидим, что классическое письмо торжественно заявляло о коренной причастности писателя к определенному политическому социуму и что выражаться в соответствии с предписаниями Вожла значило в первую очередь вставать на сторону тех, в чьих руках была власть. И если в результате Революции нормы этого письма не претерпели изменений (ибо носителем мыслительной энергии в целом продолжал оставаться один и тот же класс, и лишь его духовное владычество переросло в политическую власть), то сама исключительность условий, в которых протекала борьба, по-

родила — в лоне великой Классической Формы — собственно революционное письмо. Революционным оно было не в силу его структуры, более чем когда бы то ни было сохранявшей академичность, а в силу его специфической замкнутости, подобно двойнику воспроизводившей черты действительности, ибо в ту эпоху языковая практика, как никогда в Истории, оказалась связана с потоками лившейся вокруг крови. У революционеров не было ни малейших причин стремиться к изменению классического письма, им и в голову не приходило усомниться в природе человека и еще менее — в его языке; авторитет «орудия», унаследованного от Вольтера, Руссо и Вовенарга, не мог быть подорван в их глазах. Своеобразие революционного письма возникло за счет своеобразия исторического момента. Бодлер обронил как-то фразу об «эмфатической истинности жеста, сделанного в решающих жизненных обстоятельствах». Революция как раз и оказалась одним из таких решающих обстоятельств, когда истина настолько пропиталась заплаченной за нее кровью, что для ее выражения могли подойти лишь помпезные средства театрального преувеличения. Революционное письмо явилось тем самым эмфатическим жестом, который только и пристал людям, ежедневно всходившим на эшафот или посылавшим на него других. Язык, поражающий сегодня своей напыщенностью, в то время был под стать самой действительности. Письмо, отмеченное всеми признаками языковой инфляции, было единственно точным для своей эпохи: никогда еще человеческая речь не была более искусственной и менее фальшивой. Эмфаза оказалась не просто формой, которую породила совершавшаяся драма, она стала ее самосознанием. Без тех экстравагантных словесных одеяний, в которые облекались тогда все великие революционеры и которые позволили жирондисту Гаде, арестованному в Сент-Эмильоне, без тени улыбки (ибо он шел на смерть) воскликнуть: «Да, я Гаде! Палач, делай свое дело! Ступай, отнеси мою голову тиранам отечества. Один ее вид всегда приводил их в трепет: узрев ее отрубленной, они затрепещут еще более!» — без этих одеяний Революция не смогла бы сыграть роль того мифологического события, которое оплодотворило дальнейшую Историю и предвосхитило любое будущее представление о Революции. Революционное письмо стало как бы энтелехией революционной легенды: оно устрашало и давало гражданское благословение на Кровь.

Совсем не таково марксистское письмо. Сама замкнутость его формы возникает не как результат риторического усиления или речевой эмфазы, но вследствие употребления особой лексики, столь же специфической и функциональной, как и в технических словарях; даже метафоры подвергаются здесь строжайшей кодификации. Письмо эпохи Французской революции давало право либо на кровь, либо на моральное оправдание; марксистское же письмо по

самому своему происхождению есть язык познания; это письмо однозначно, ибо призвано утвердить внутреннюю монолитность Природы; лексическое единство этого письма позволяет ему давать единообразное объяснение действительности и поддерживать устойчивость метода; с языками политической практики марксистское письмо соприкасается лишь у крайних пределов своей языковой территории. Насколько революционное письмо во Франции было эмфатичным, настолько марксистское письмо литотично в силу того, что каждое слово здесь есть лишь намек на целостную совокупность стоящих за ним, хотя и не обязательно высказываемых здесь же принципов. Так, выражение *повлечь за собой*, нередкое для марксистского письма, обычно лишено того нейтрального значения, которое оно имеет в словаре, но служит указанием на совершенно определенный, конкретно-исторический процесс; оно уподобляется алгебраическому символу, которым обозначают целую совокупность сформулированных ранее постулатов, выносимых, однако, за скобки. Марксистское письмо связано с действием, и потому оно очень скоро превратилось в выражение определенной системы оценок. Эта особенность заметна уже у Маркса, хотя в целом его письмо сохраняет объяснительный характер.

Очевидно, что любой политический режим располагает своим собственным письмом, чью историю еще предстоит написать. Социальные обязательства языка проявляются в письме с особой наглядностью; в силу своей утонченной двусмысленности письмо представляет всякую власть, и как то, что она есть, и как то, чем она кажется; оно раскрывает и то, какой эта власть является на самом деле, и то, какой она хотела бы выглядеть, — вот почему история различных видов письма могла бы стать одной из лучших форм социальной феноменологии. Эпоха Реставрации, например, выработала такое классовое письмо, при помощи которого любой репрессивный акт немедленно представал как обвинительный приговор, естественным образом исходящий от самой классической «Природы»: бастующие рабочие неизменно именовались здесь «субъектами», штрейкбрехеры — «благоразумными рабочими», а раболепство судей превращалось в «отеческую бдительность магистратов» (в наши дни, используя аналогичный прием, голлисты называют коммунистов «сепаратистами»). Мы видим, что письмо в данном случае выступает в роли спокойной совести, и его задача состоит в том, чтобы самым жульническим образом смешать первопричины явления с его отдаленнейшими последствиями, оправдывая любое действие самим фактом его существования.

Вторжение политической и социальной действительности в поле сознания Словесности породило новый тип занимающегося письмом индивида (scripteur) — нечто среднее между активистом и писателем. От активиста такой индивид заимствует идеальный

облик гражданина, а от писателя перенимает представление о том, что произведение письма есть акт творчества. Параллельно с тем, как происходил процесс подмены писателя интеллектуалом, в журналистике, в эссеистике происходил процесс рождения активистского письма, полностью освободившегося от стиля и выступающего в роли профессионального языка, который предназначен для использования «на службе». Такое письмо изобилует оттенками. Никто не станет отрицать, что существует, например, письмо марки «Эспри» или письмо марки «Тан модерн». Общей чертой любых разновидностей интеллектуального письма является то, что язык здесь перестает быть особой, привилегированной областью и стремится превратиться в наглядный опознавательный знак социального обязательства. Приобщиться к такому языку, обособившемуся под напором тех, которые на нем не говорят, значит выставить напоказ и подтвердить самый акт совершившегося выбора; письмо здесь превращается в своего рода подпись, которую мы ставим под коллективным заявлением, даже если не принимали никакого участия в его составлении. Освоить или, лучше сказать, присвоить то или иное письмо — значит сэкономить на самих предпосылках сделанного нами выбора, это значит объявить, что причины такого выбора подразумеваются сами собой. Вот почему всякое интеллектуальное письмо является первым среди всех возможных «скачков интеллекта». Если письмо, воплощающее абсолютную свободу, никогда не сможет стать этикеткой моей личности и не сообщит ничего ни о моей истории, ни о моей свободе, то готовое письмо, которому я вверяюсь, есть не что иное, как общественное установление; оно обнаруживает и мое прошлое, и мой выбор, оно снабжает меня историей, выставляет напоказ мое положение, накладывает на меня социальные обязательства, освобождая от необходимости сообщать об этом. Более чем когда бы то ни было форма оказывается самодовлеющим объектом, опознавательным знаком коллективной и охраняемой собственности, и этот объект подобен сберегательному вкладу, он функционирует как экономический показатель, при помощи этого объекта индивид, занимающийся письмом, дает знать о своем обращении в известную веру, избавляясь при этом от труда объяснять историю своего обращения.

Двуличие всех видов современного интеллектуального письма усугубляется тем обстоятельством, что, вопреки всем усилиям эпохи, в которую мы живем, Литературу так и не удалось уничтожить окончательно: она представляет собой манящий горизонт словесности. Интеллектуалы и поныне продолжают оставаться все теми же писателями, только не до конца сменившими кожу: и если только такой писатель не стремится сесть на мель и не хочет навеки превратиться в активиста, который больше не способен писать

(а ведь с некоторыми так и случилось, почему они и были забыты), он не может не поддаться гипнозу всех предшествующих видов письма, которые Литература вручает ему как прекрасно сохранившийся, хотя и устаревший инструмент. Вот почему интеллектуальное письмо отличается такой неустойчивостью: мера его литературности оказывается мерой его бессилия, а политическим оно является лишь в силу неотвязного стремления к ангажированности. Короче, речь вновь идет об этическом* письме, в котором индивид, занимающийся письмом (отныне трудно решиться назвать его писателем), обретает успокоительный образ коллективного спасения.

Однако подобно тому как при современном состоянии Истории любое политическое письмо способно служить лишь подтверждению полицейской действительности, точно так же всякое интеллектуальное письмо может создать одну только «паралитературу», не решающуюся назваться собственным именем. Это значит, что тупик, свойственный обоим этим видам письма, безысходен; они приводят либо к пособничеству, либо к бессилию и, следовательно, — так или иначе — к отчуждению.

III. Письмо романа

Между Романом и Историографией существовали тесные связи в ту самую эпоху, которая стала свидетельницей их наиболее пышного расцвета. Глубина этих связей, позволяющая одновременно понять и Бальзака, и Мишле, обусловлена тем, что каждый из них создавал свой автономный мир, имеющий собственное измерение и собственные границы, собственное время и собственное пространство, — мир со своими обитателями, предметами и мифами.

Сферическая замкнутость великих произведений XIX века воплотилась в долгих, пространных повествованиях Романистов и Историков, — повествованиях, представлявших своего рода плоскость, на которую проецировался тот завершенный и внутренне связанный мир, чью вырождающуюся разновидность являл собою возникший в ту пору роман-фельетон со всеми его хитросплетениями. Между тем повествовательность (наррация, la narration) не есть обязательный закон этого жанра. Ведь была же эпоха, способная помыслить роман в письмах, а в иную эпоху возможно существование Истории, пользующейся аналитическим приемом «разбора персонажа». Это значит, что Повествование (le Récit) как форма, связывающая Роман и Историографию, в целом оказывается именно продуктом выбора и выражением определенного исторического момента.

---

* От термина *этос* в его авторском понимании (см. комм.). — *Прим. ред.*

Простое прошедшее время (le passé simple), исчезнув из разговорного французского языка, остается краеугольным камнем Повествовательности (le Récit), сигнализируя о том, что мы находимся в сфере искусства; простое прошедшее время входит в ритуал Изящной Словесности. Его задача отныне не в том, чтобы просто выразить определенное действие в прошлом, а в том, чтобы свести действительность до размеров точки, выделить из бесконечного переплетения конкретно переживаемых человеком временных совокупностей вербальный акт в его чистом виде, отсеченный от экзистенциальных корней человеческого опыта и ориентированный на логические связи с другими действиями, процессами, с общим движением действительности: простое прошедшее время стремится поддержать иерархию в Царстве фактов. Благодаря его употреблению глагол незаметно включается в цепочку причинно-следственных отношений, входит в совокупность взаимозависимых и однонаправленных событий; это время подобно алгебраическому знаку, символизирующему определенную цель; выдавая временную последовательность явлений за их каузальное следование, оно тем самым вызывает к жизни разумное начало любого Повествования — его способность к развертыванию. Вот почему это время является идеальным инструментом при создании различных замкнутых миров; это искусственное время, свойственное космогониям, мифам, Историографиям и Романам. Его употребление предполагает существование сконструированного, отделанного и обособленного мира с осмысленными опорами, а отнюдь не разомкнутого мира произвола, хаоса и беспорядка. В простом прошедшем времени всегда проглядывает лик демиурга — бога или рассказчика; ведь поведать о мире как раз и значит изъяснить его — любую случайность представить как продукт определенных обстоятельств. Простое прошедшее время оказывается именно тем операциональным знаком, при помощи которого повествователь укладывает мозаичную действительность в тесное стерильное ложе слова, не имеющего ни плоти, ни объема, ни протяженности; единственная цель которого — скорейшим образом связать причины со следствиями. Когда историк утверждает, что герцог де Гиз умер 23 декабря 1588 года, а романист сообщает, что Маркиза вышла из дому в пять часов, то эти события возникают из абсолютно бесплотного прошлого; избавленные от бытийной трепетности, они обладают устойчивостью и контурами алгебраической системы: они суть воспоминание, но воспоминание, исполненное пользы: его интерес несравненно важнее его длительности.

Итак, в конечном счете простое прошедшее время есть воплощение упорядоченности, а следовательно, простодушного оптимизма. Благодаря ему действительность не кажется ни таинственной, ни абсурдной, напротив, она становится понятной, почти родной; в

любой данный момент длань создателя обнимает и удерживает ее в себе всю целиком; и действительность поддается нажиму этой длани. В глазах всех великих рассказчиков XIX века мир может выглядеть возбуждающим страсти, но отнюдь не брошенным на произвол судьбы, ибо он представляет собой совокупность упорядоченных отношений; ибо явления действительности, будучи описанными, уже не могут бессмысленно громоздиться друг на друга; ибо тот, кто рассказывает об этом мире, властен отвергнуть мысль о непроницаемости и одиночестве составляющих его человеческих существований; ибо каждой своей фразой повествователь может свидетельствовать о способности людей к общению друг с другом и об иерархической упорядоченности их поступков; ибо — говоря короче — сами эти поступки могут быть без остатка сведены к выражающим их знакам.

Итак, прошедшее время повествования — наррации входит в систему безопасности Изящной Словесности. Воплощая саму идею упорядоченности, оно служит одним из тех многочисленных формальных соглашений, которые заключают между собой писатель и общество — ради оправдания писателя и во имя спокойствия общества. Простое прошедшее время *означивает* самый факт созданности произведения, иначе говоря, сигнализирует о нем и его заявляет. Даже подчиняясь целям самого мрачного реализма, оно продолжает вселять уверенность, заставляя слова выражать завершенные в себе, устойчивые, субстантивированные поступки. Повествование дает вещам имена, ему неведом ужас, который внушает слово, рвущееся за свои собственные пределы: в результате действительность как бы ужимается, обретает привычные черты, укладывается в рамки стиля и не выходит за границы языка. В обществе, где сама форма слов указывает на смысл потребляемой продукции, Литература играет роль потребительной стоимости. Напротив, когда Повествование отвергают ради иных литературных жанров или когда внутри самой повествовательной литературы простое прошедшее время уступает место менее орнаментальным, более естественным, упругим и близким к разговорной речи формам (настоящему или сложному прошедшему [le passé composé] времени), тогда Литература превращается в хранилище самой плоти бытия, а не его внешних значений. Поступки, будучи отъяты от Истории, воссоединяются с конкретными человеческими личностями.

Теперь понятно, в чем польза и в чем неприемлемость простого прошедшего времени в Романе: это — ложь, выставляющая себя напоказ; простое прошедшее время очерчивает границы того, что следует считать правдоподобным, оно раскрывает область возмож-

ного и тут же указывает на его фальшивость. Общей целью Романа и повествовательной Историографии является объективация фактов: простое прошедшее время воплощает самый акт, при помощи которого общество овладевает своим прошлым и своими возможностями. Оно создает правдоподобный мир, немедленно заявляя о его иллюзорности; оно является высшим выражением диалектического процесса, протекающего в области формы, в ходе которого воображаемые факты сначала облекаются в одеяния истины, а затем — разоблаченной лжи. Все это следует поставить в связь с известным мифом об универсальности данного мира, свойственным буржуазному обществу, характерным продуктом которого является Роман: снабдить воображаемый мир формальным свидетельством о его реальности, в то же время сохранив за этим знаком двусмысленный характер двойственного объекта, — одновременно правдоподобного и ненастоящего, — вот операция, обычная для всего западного искусства, которое приравнивает настоящее к ненастоящему отнюдь не в силу своего агностицизма или поэтической неискренности, а в силу убеждения, что все настоящее несет в себе семя универсальности или, если угодно, некую сущность, способную оплодотворить — уже одним тем, что она воспроизводится в романе, — как жизнь других слоев общества, в различной степени отдаленных от данного, так и самый вымысел. Именно за счет такого приема восторжествовавшая в прошлом столетии буржуазия получила возможность считать созданные ею ценности как бы универсальными и переносить на совершенно разнородные слои общества все понятия собственной морали. Но в этом-то и заключается механизм мифотворчества, и потому-то Роман, а в пределах Романа — простое прошедшее время суть мифологические явления, и их прямое назначение перекрывается вторичной потребностью в дидактике или, лучше сказать, в педагогике, ибо задача состоит в том, чтобы преподать некую сущность, завернув ее в упаковочную обертку искусства. Чтобы понять значение простого прошедшего времени, достаточно сравнить искусство романа на Западе с такой, например, традицией в китайской культуре, где искусство понимается исключительно как совершенное подражание действительности; однако там не должно быть ничего, ни малейшего признака, который позволил бы отличить натуральный предмет от предмета искусственного вот этот деревянный орех, лежащий предо мной, отнюдь не должен сообщать мне — помимо образа ореха — никакой информации, сигнализирующей о том мастерстве, с помощью которого он был изготовлен. Напротив, письмо Романа делает именно последнее. Его цель состоит в том, чтобы, надев маску, тут же указать на нее пальцем.

Двойственную функцию простого прошедшего времени можно обнаружить и в другом факте — в повествовании от третьего

лица, свойственном Роману. Читатели, возможно, помнят роман, где вся хитрость заключалась в том, что убийца скрывался за местоимением первого лица. Читатель подозревал преступника в каждом сюжетном «он», но им был тот, кто говорил «я». Автор прекрасно знал, что «я» в романе обычно бывает свидетелем, а действующим лицом — «он». Почему? «Он» — это условно-типическая фигура любого романа, подобно повествовательному прошедшему времени, местоимение «он» сигнализирует сам факт наличия романа; отсутствие третьего лица означает, что автор либо не в состоянии создать роман, либо стремится его разрушить. Местоимение «он» формально удостоверяет, что перед нами миф; так вот, мы только что видели, что, по крайней мере на Западе, не существует искусства, которое не указывало бы пальцем на свою собственную маску. Вот почему третье лицо оказывает искусству романа ту же услугу, что и простое прошедшее время, — оно гарантирует его потребителям чувство безопасности, которое внушает вымысел правдоподобный, но непрестанно напоминающий о своей лживости.

Местоимение «я» отличается меньшей двойственностью, и потому романическое начало в нем ослаблено: употребление «я» может одновременно служить как наиболее простым — в тех случаях, когда повествование не вступает в пределы литературной условности (произведение Пруста, например, претендует лишь на роль введения в Литературу), — так и наиболее изощренным решением проблемы — когда «я» выходит за эти пределы и пытается разрушить условность, придавая повествованию интонации мнимодоверительной откровенности (таков хитроумный замысел некоторых произведений Жида). Равным образом и употребление местоимения «он» в романе приводит в действие две противоположные этические тенденции: будучи общепринятой условностью, третье лицо в романе прельщает как наиболее академичных и наименее озабоченных судьбами Литературы писателей, так и тех, кто полагает, будто условность в конечном счете неизбежно придаст свежесть их творчеству. Однако в любом случае такая условность выступает как знак соглашения, открыто заключенного между обществом и автором, но для автора она служит еще и средством представить действительность, как он сам того хочет. Условность, следовательно, выходит за рамки сугубо литературного опыта и оказывается актом человеческого поведения, который связывает творение либо с Историей, либо с человеческим существованием (экзистенцией).

У Бальзака, например, сама множественность персонажей, обозначаемых местоимением «он», вся сложная система почти бесплотных, но зато последовательных в своем поведении индивидов свидетельствует о существовании целого мира, первоосновой которого

является История. «Он» у Бальзака — это не конечный продукт, который породило «я», претерпевшее ряд трансформаций и возведенное в ранг всеобщности; это — первичный, исходный элемент романа, его материал, а не плод созидательного акта: бальзаковский роман не знает ни одной сюжетной истории, которая существовала бы помимо истории того или иного третьего лица. Третье лицо у Бальзака аналогично третьему лицу у Цезаря: оно придает поступкам алгебраическую форму, при которой роль экзистенциального начала оказывается ничтожной, а на первое место выдвигается логическая связность, определенность или трагизм человеческих отношений. Однако — в противоположность или по крайней мере в отличие от бальзаковского мира — третье лицо способно выражать и экзистенциальный опыт. У многих современных писателей развитие истории индивида как бы совпадает с последовательной сменой спрягаемых форм глагола: начав с «я» как с наиболее полного воплощения безымянности, автор как личность — по мере того как экзистенция отливается в форму конкретной судьбы, а монолог, обращенный к самому себе, превращается в Роман — шаг за шагом завоевывает право доступа к третьему лицу. Сам факт появления третьего лица предстает тогда не как исходная точка Истории, а как результат, увенчивающий известное усилие, благодаря чему из интимного мира переживаний и душевных движений извлекается чистая, выраженная в знаках форма, которая, однако, — в силу сугубой условности и хрупкости декораций, образованных третьим лицом, — тут же и рушится. В этом отношении, безусловно, показательна линия развития первых романов Жана Кейроля. Но если у классиков — а мы уже знаем, что в области письма эпоха классицизма продлилась вплоть до Флобера, — само неприятие биологической личности свидетельствовало о водворении на ее место человека, понятого как сущность, то у романистов, подобных Кейролю, внедрение третьего лица — это плод планомерного, победоносного наступления на плотную тень экзистенциального «я»; вот почему Роман, взятый со стороны его наиболее формальных признаков, предстает как акт приобщения к социуму; он учреждает Литературу.

Морис Бланшо заметил по поводу Кафки, что развитие безличного повествования (укажем в связи с этим термином, что «третье лицо» во всех случаях есть не что иное, как не-лицо, как отрицательная степень лица) — это процесс, отвечающий самой сущности языка, ибо последний по своей природе тяготеет к саморазрушению. Теперь понятно, почему местоимение «он» возникает как плод победы над «я» в той мере, в какой третье лицо одновременно воплощает и идею литературности, и идею отсутствия. Однако эта победа непрестанно подрывается изнутри: условно-литературное третье лицо, призванное уничтожить личность, тем не менее в лю-

бой момент способно придать ей неожиданную полноту. Литература подобна фосфору: ярче всего она горит тогда, когда готова сгореть окончательно. Однако, с другой стороны, коль скоро Литература, и в особенности Роман, — это акт, с необходимостью требующий временной длительности, то, значит, в конечном счете, Романа, полностью свободного от ига Изящной Словесности, существовать не может. Вот почему третье лицо в Романе — это один из самых навязчивых признаков той трагедии письма, которая родилась еще в прошлом столетии, когда под давлением Истории Литература и общество, ее потребляющее, оказались разобщены. Между третьим лицом у Бальзака и третьим лицом у Флобера пролегает целая эпоха (эпоха 1848 года): у Бальзака царит История, зрелище которой хотя и сурово, но зато отличается внутренней последовательностью и твердой определенностью; это само торжество упорядоченности; у Флобера же царит искусство, которое, дабы обмануть свою собственную нечистую совесть, либо нарочито утрирует условные приемы литературного письма, либо же стремится к их безудержному разрушению. Наша современность начинается с поисков Невозможной Литературы.

Итак, мы обнаруживаем в романе тот — разрушительный и созидательный одновременно — механизм, который характерен для всего современного искусства. Объектом разрушения является длительность — эта невыразимая связующая нить существования: самый акт упорядочения (идет ли речь о поэтическом континууме, о знаках романа, об ужасе поэтического слова или о правдоподобии слова в романе) есть акт предумышленного убийства. Однако в конце концов длительность вновь подчиняет себе писателя, ибо процесс отрицания, будучи развернут во времени, оборачивается созданием позитивного искусства — той самой упорядоченности, которая как раз и подлежит разрушению. Вот почему наиболее выдающиеся произведения современности, словно выдерживая некую магическую паузу, стараются как можно дольше задержаться на пороге Литературы, застыв в состоянии неустойчивого равновесия, когда жизнь уже явлена, уже развернута перед нами во всей плоти, но еще не раздавлена грузом увенчивающих и упорядочивающих ее знаков: таково, например, первое лицо у Пруста, чье творчество от начала и до конца есть неуклонный, хотя и неуклонно откладываемый, порыв к Литературе. Таков и Жан Кейроль. Он сознательно приходит к Роману как к последнему пределу одинокого монолога, — как будто литературный акт, двойственный по самой своей сути, лишь тогда закончится произведением, одобряемым обществом, когда будет наконец разорвана экзистенциальная упругость всякой длительности, лишенной до того всякого смысла.

Роман — это воплощенная Смерть; жизни он придает облик судьбы, воспоминание превращает в утилитарный акт, а длительность — во время, обладающее направленностью и осмысленностью. Однако подобная трансформация способна совершиться лишь под взглядом общества. Именно общество освящает Роман (то есть совокупность известных знаков) в качестве трансцендентного образования и сюжетно организованной длительности. Итак, распознать пакт, который с торжественностью, характерной для искусства, связывает писателя и общество, можно благодаря тому, что сами цели этого пакта с очевидностью проглядывают в знаках романа. Употребление простого прошедшего времени и третьего лица в Романе — вот тот неотвратимый жест, которым писатель указывает на надетую им маску. Вся Литература имеет право сказать о себе: Larvatus prodeo «я шествую, указывая пальцем на свою собственную маску». Будь то жестокая практика поэта, решившегося на самый серьезный из возможных разрывов — разрыв с социальным языком, или же правдоподобная ложь романиста — в любом случае для того, чтобы естественность их переживания смогла обрести плоть и превратиться в предмет потребления, она нуждается в искусственных, причем нарочито искусственных, знаках. Продуктом, а в конечном счете и источником такой двойственности как раз и является письмо. Этот особый язык, пользуясь которым писатель приобретает блистательное положение, хотя и попадает при этом под постоянный надзор, выдает его (незаметное на первых порах) рабское положение (что связано со всякой ответственностью). Будучи поначалу свободным, письмо под конец превращается в цепь, приковывающую писателя к Истории, которая в свою очередь сама опутана кандалами: общество метит писателя совершенно отчетливыми знаками, свидетельствующими о его причастности к искусству, для того, чтобы как можно вернее вовлечь его в круг собственного отчуждения.

IV. Существует ли поэтическое письмо?

В классическую эпоху проза и поэзия были подобны математическим величинам, разница между ними поддавалась измерению; они были удалены друг от друга не больше и не меньше, чем два различных числа — сопоставимых друг с другом, однако неодинаковых именно в силу своих количественных различий. Если минимальную речь (дискурс), наиболее экономный способ передачи мысли, назвать прозой, а некоторые специфические — пусть бесполезные, но зато обладающие декоративной функцией — языковые атрибуты, такие, как метр, рифма или свод общепринятых образов, обозначить буквами *a*, *в*, *c*, то на поверхности вся совокупность слов уложится в систему из двух уравнений г-на Журдена:

Поэзия = Проза + a + b + c
Проза = Поэзия — a — b — c

Отсюда с очевидностью следует, что Поэзия всегда отличается от Прозы. Однако это не сущностное, а количественное отличие. Оно, следовательно, не посягает на классическую догму о единстве языка. Речевые обороты по-разному дозировались в зависимости от социальной ситуации, в одном случае было принято говорить на языке прозы или красноречия, в другом — на языке поэзии или прециозности, как будто существовал целый светский требник *выразительных средств,* но при этом повсюду сохранялся один и тот же язык, воплощавший вековечные категории разума. Классическая поэзия воспринималась лишь как украшенный орнаментами вариант прозы, как продукт определенного *искусства* (то есть техники), но не как иной язык или плод особого мироощущения. Всякая поэзия оказывалась в этом случае аналогом — декоративным, аллюзивным или отягощенным — некоей виртуальной прозы, которая, как сущность и как потенциальная сила, лежит в глубине любого способа словесного выражения. В классическую эпоху слово «поэтическое» не обозначало ни особого диапазона, ни особой оплотненности человеческих переживаний, ни особых внутренних сцеплений, вообще никакого замкнутого, особого мира. Оно подразумевало лишь известный способ словесной техники, позволявший «выражаться» в соответствии с более изящными, а значит, и более социальными правилами, нежели те, которые используются в обычной беседе, иными словами, позволявший облечь внутреннюю мысль — в полном вооружении вышедшую из недр Разума — в ее внешнюю форму — слово, социализированное уже в силу того, что его условный характер был очевиден.

Известно, что в современной поэзии (той, которая восходит не к Бодлеру, а к Рембо) от этой структуры не осталось ничего, если не считать, что она сохранила, перестроив традиционные нормы, формальные требования классической поэзии: отныне поэты начинают утверждать собственное слово в качестве самодовлеющей Природы, одновременно охватывающей как функцию, так и структуру языка Поэзия перестает быть декоративно-орнаментальной или подвергнутой ограничениям Прозой. Она приобретает качество, не сводимое ни к чему иному, утрачивает черты наследственности. Отныне она — не атрибут, а сущность и, следовательно, может отказаться от всяких опознавательных знаков, ибо ее природа заключена в ней самой и не нуждается во внешнем обнаружении своей сути: поэтический и прозаический языки настолько отдалились друг от друга, что способны обойтись без знаков своей взаимной самостоятельности.

Более того, предполагаемое соотношение мысли и языка оказалось теперь перевернутым: в классическом искусстве некая вполь-

не готовая мысль разрешается словом, которое ее «выражает» и «передает». Классическая мысль лишена длительности, а в классической поэзии есть лишь такая длительность, которая необходима для технического построения высказывания. Напротив, в современной поэзии слова создают своего рода формальный континуум, мало-помалу выделяющий из себя некие оплотненные интеллектуальные или эмоциональные образования, невозможные без этих слов; время развертывания речи оказывается здесь сгущенным временем, вмещающим более одухотворенный процесс вызревания «мысли», которая — перебирая множество слов — понемногу нащупывает, находит сама себя. Эта словесная игра случая в речевой цепи, увенчанная зрелым плодом состоявшегося значения, предполагает, следовательно, особое поэтическое время, но это — не время, затраченное на «изготовление» произведения, а время возможного приключения, время встречи известных знаков с известными целями. Современная Поэзия противостоит классическому искусству в силу различий, охватывающих всю структуру языка, так что точкой соприкосновения между обеими поэзиями оказывается лишь их одинаковая социологическая цель.

Строение классического языка (Проза и Поэзия) имеет реляционную природу: сами слова здесь несравненно менее важны, чем отношения между ними. Ни одно слово не обладает здесь собственной плотью, они служат не столько знаками вещей, сколько связующими нитями. Каждое слово, будучи изреченным, отнюдь не стремится погрузить нас во внутренний мир, связанный с его внешним обликом, но немедленно начинает тянуться к другим словам, так что на поверхности возникает связная цепочка интенций. Возможно, реляционную природу классической прозы и поэзии позволит уяснить сравнение с языком математики. Известно, что в математическом письме, где каждой числовой величине соответствует определенный знак, сами отношения, связывающие эти величины, также изображаются при помощи знаков математического действия, знаков равенства или неравенства; можно сказать, что развертывание математического континуума происходит в результате эксплицитного чтения этих знаков-связок. Классическая речь приводится в движение сходным образом, хотя, разумеется, подчиняется при этом менее строгим правилам: «слова», составляющие эту речь, нейтрализованные, абстрагированные под давлением суровой традиции, поглотившей их свежесть, чуждаются любой звуковой или семантической неожиданности, которая позволила бы в одной точке сгустить аромат языка, прервать продуманное движение речи вперед ради внезапного наслаждения, доставляемого данным отдельным словом. Континуум классической речи — это

последовательность элементов одинаковой плотности, подверженных ровному эмоциональному напору, когда пресекается любая попытка создать индивидуальное и как бы впервые рождающееся значение. Сама поэтическая лексика — это лексика, определяемая привычным употреблением слов, а не созидательным актом: своеобразие здесь свойственно метафорике в целом, а не отдельным метафорам, тут правит обычай, а не творческое начало. Вот почему задача поэта-классика состоит не в том, чтобы искать новые, все более плотные и яркие слова, а в том, чтобы располагать их в соответствии с традиционными требованиями, совершенствовать симметрию и точность связей, укладывать, ужимать мысль строго до размеров стихотворного метра. Блеск классического ума проявляется тогда, когда дело доходит до отношений между словами, а не до самих слов: это искусство выражения, а не искусство изобретения. В отличие от позднейшей эпохи, когда слова, словно поддавшись неистовому, внезапному порыву гордыни, стали раскрывать всю глубину и неповторимость индивидуального человеческого опыта, в классической поэзии они выстраиваются на поверхности, подчиняясь требованиям изящной, декоративной упорядоченности. Нас чарует их сочетание, а не их собственная сила или красота.

Конечно, классическая речь не достигает функционального совершенства, свойственного математическим построениям: отношения выражены здесь не при помощи специальных знаков, а только побочными средствами формы и композиции. Реляционная природа классической речи проявляется в том, что сами слова отступают на второй план, а на первый выходит их линейная упорядоченность; изнашиваясь в тесном контексте всегда одних и тех же отношений, слова классического языка тяготеют к тому, чтобы превратиться в элементы некоей алгебраической системы: риторическая фигура, клише оказываются потенциальными инструментами связи; они утрачивают свою собственную плотность ради того, чтобы занять более прочное место внутри речевой последовательности; подобно химическим элементам, они обладают свойством валентности и образуют языковое пространство, насыщенное симметричными связями, пересечениями и узлами, из которых — не имея времени задержаться и удивиться отдельному слову — вырастают все новые и новые смысловые интенции. Едва успев передать собственный смысл, любой элемент классической речи превращается в своеобразный проводник или анонс, передающий все дальше и дальше иной смысл, который стремится не укорениться в глубинах отдельного слова, а пронизать собою весь акт понимания, то есть акт коммуникации в целом.

Расшатывание, которому Гюго попытался подвергнуть александрийский стих — наиболее реляционный из всех стихотворных метров, — в зародыше таило все будущее современной поэзии, ибо

речь шла о том, чтобы, уничтожив реляционную интенциональность речи, поставить на ее место взрывчатую силу отдельных слов. Действительно, современная поэзия — в той мере, в какой она противостоит классической поэзии, равно как и всякой прозе, — подрывает стихийную функциональность языка и оставляет в неприкосновенности только его лексические основы. В реляционных отношениях она сохраняет лишь само их движение, их музыкальность, но не истину, которую они в себе заключали. От отношений остается одна только пустая оболочка, и высоко над их горизонтом вспыхивает сияние отдельного Слова; грамматика лишается своей особой цели, превращается в просодию, это не более чем модуляция, длящаяся лишь затем, чтобы явить Слово. Строго говоря, отношения здесь не распадаются, они просто приобретают сходство с зарезервированными, но никем не занятыми местами, это пародия на связи, и такое отсутствие необходимо, чтобы Слово, во всей своей насыщенности, смогло вырваться за пределы волшебного, но бесплотного мира реляционности и зазвучать подобно гулу или бездонному знаку, подобно голосу «ярости и тайны».

В классическом языке именно поток отношений влечет за собой Слово и уносит его вслед за убегающим впереди смыслом; в современной же поэзии эти отношения возникают как продолжение Слова; Слово — это их «родной дом», оно — корень, глубоко сидящий в самой просодии слышимых, но незримых функций. Синтаксические связи обладают завораживающей силой, но питает их все же Слово, явление которого потрясает, подобно неожиданно открывшейся истине. Назвать эту истину поэтической — значит признать, что поэтическое Слово не может быть лживым, потому что оно всеобъемлюще; в нем сияет безграничная свобода, готовая озарить все множество зыбких потенциальных синтаксических связей. Когда незыблемые связи распадаются, в Слове остается одно лишь вертикальное измерение, оно уподобляется опоре, колонне, глубоко погруженной в нерасторжимую почву смыслов, смысловых рефлексов и отголосков: такое слово похоже на выпрямившийся во весь рост знак. Поэтическое слово превращается в акт, лишенный ближайшего прошлого и окружающего контекста, но зато в нем сгущена память обо всех породивших его корнях. Под каждым Словом современной поэзии залегают своего рода геологические пласты экзистенциальности, целиком содержащие все нерасторжимое богатство Имени, а не его выборочные значения — как в прозе или в классической поэзии. Отныне ни одно Слово уже не задано *наперед* в силу одной лишь общей целенаправленности социализированного дискурса. Потребитель поэзии, лишившись путеводных нитей в мире избирательных реляционных связей, сталкивается со Словом лицом к лицу, оно вырастает перед ним как некая абсолютная величина со всеми скрытыми в ней возможностями.

Такое Слово энциклопедично, оно разом содержит в себе все свои значения, тогда как реляционный дискурс заставляет его выбирать одно из них. Оно, следовательно, осуществляет то, что возможно лишь в словаре или в поэзии, то есть там, где имя способно жить независимо от артикля, где оно приведено к своего рода нулевой степени и чревато всеми своими прошлыми и будущими конкретизациями. Такое слово выступает в своей родовой, категориальной форме. Вот почему каждое поэтическое слово — это всегда неожиданность, это ящик Пандоры, из которого выскальзывают все потенциальные возможности языка; подобное слово творят и вкушают с особым любопытством, как священное лакомство. Этот голод по Слову, которым томится вся современная Поэзия, придает поэтической речи устрашающий, нечеловеческий облик. Зияющие темнотой провалы чередуются в ней со вспышками света, недомолвки соседствуют с перенасыщенными смыслом знаками; в такой поэзии отсутствует устойчивая, предсказуемая целенаправленность, и благодаря этому она настолько противостоит социальной функции языка, что уже само употребление речи, распавшейся на отдельные слова, открывает дорогу любым значениям возможных миров.

Что значит рациональное устройство классического языка, как не то, что сама Природа представлялась в ту эпоху единой и постижимой, что в ней не было ничего невыразившегося или неясного, что она до конца укладывалась в категории языка? Классический язык всегда сводился к своей убеждающей функции, он домогался диалога, он создавал мир, где люди не были одиноки, где над словом не тяготел чудовищный груз вещей, где всякая речь оказывалась формой встречи с другим человеком. Классический язык нес в себе ощущение блаженной безопасности, потому что его природа была непосредственно социальной. Не было ни одного классического жанра, ни одного классического текста, который не предполагал бы коллективного потребления, происходящего как бы в атмосфере общения и беседы. Классическое искусство литературы было объектом, циркулировавшим между лицами, принадлежавшими к одному классу, оно было продуктом, предназначенным для устной передачи и для потребления, регулируемого обстоятельствами светского общения: вопреки своей строгой кодификации, классический язык, по самому своему существу, был языком разговорным.

Напротив, современная поэзия, как мы видели, разрушает реляционные связи языка и превращает дискурс в совокупность остановленных в движении слов. А это означает переворот в понимании Природы. Распад нового поэтического языка на отдельные слова влечет за собой разложение Природы на изолированные элемен-

ты, так что Природа начинает открываться только отдельными кусками. Когда языковые функции отступают на задний план, погружая во мрак все связующие отношения действительности, тогда на почетное место выдвигается объект как таковой: современная поэзия — это объективная поэзия. Природа здесь превращается в разорванную совокупность одиноких и зловещих предметов, ибо связи между ними имеют лишь потенциальный характер; никто не подбирает для этих предметов привилегированного смысла, не подыскивает им употребления или использования, не устанавливает среди них иерархических отношений, никто не наделяет их значением, свойственным мыслительному акту или практике человека, а значит, в конечном счете, и не наделяет человеческой теплотой. Ослепительная вспышка поэтического слова утверждает объект как абсолют; Природа превращается в последовательность вертикальных линий, а предметы со всеми своими возможностями вдруг поднимаются в рост: как одинокие вехи высятся они в опустошенном и потому жутком мире. Эти слова-объекты, лишенные всяких связей, но наделенные неистовой взрывчатой силой, слова, сотрясаемые чисто механической дрожью, которая таинственным образом передается соседнему слову, но тут же и глохнет, — эти поэтические слова не признают человека: наша современность не знает понятия поэтического гуманизма: эта вздыбившаяся речь способна наводить только ужас, ибо ее цель не в том, чтобы связать человека с другими людьми, а в том, чтобы явить ему самые обесчеловеченные образы Природы — в виде небес, ада, святости, детства, безумия, наготы материального мира и т. п.

С этого момента становится затруднительным говорить о существовании поэтического письма, поскольку дело идет о таком языке, чье неистовое стремление к обособленности разрушает любую возможную этическую установку. Словесный жест как воплощенный демиург стремится здесь изменить самый лик Природы; он не выражает нравственной позиции, но оказывается актом принуждения. Таков по крайней мере язык тех современных поэтов, которые доводят свой замысел до логического конца и приемлют Поэзию не как интеллектуальное упражнение, выражение своего душевного состояния или точки зрения на мир, а как воплощение мечты о торжестве невиданного по своей свежести языка. Применительно к этим поэтам столь же бесполезно говорить о письме, как и о поэтическом чувстве. Современная Поэзия в ее наиболее чистых проявлениях — например, поэзия Рене Шара — лишена той многозначительности тона, того *ореола* изысканности, которые, действительно, создают поэтическое письмо и которые принято называть поэтическим чувством. Ничто не мешает говорить о поэтическом письме применительно к классикам и их эпигонам или даже применительно к поэтической прозе в духе «Яств земных»

А. Жида, где Поэзия поистине является известной языковой этикой. В обоих случаях письмо растворяет в себе стиль. Можно вообразить, как нелегко было людям XVIII столетия установить отчетливую, и в первую очередь — поэтическую, разницу между Расином и Прадоном, подобно тому как нынешнему читателю столь же трудно судить о тех современных поэтах, которые пользуются одним и тем же — однообразным и расплывчатым — письмом, ибо Поэзия для них — это своеобразная *атмосфера,* а именно, по самому своему существу, некое условное использование языка. Однако с того момента, как поэтический язык решительно пересматривает саму Природу — причем делает это в силу одних только особенностей своей структуры, не принимая во внимание содержания дискурса и не задерживаясь на его идеологической роли, — с этого момента письмо перестает существовать; остаются одни только стили; именно они позволяют человеку решительно повернуться лицом к объективному миру, не заслоненному образами, которые создаются в ходе Истории и социального общения.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. Триумф и крах буржуазного письма

В предклассической Литературе есть видимость разнообразия различных видов письма; однако если поставить эту языковую проблему не в эстетическом, а в структурном плане, то это разнообразие представится гораздо менее значительным. В эстетическом отношении период XVI — начала XVII веков являет собой картину более или менее свободного процветания различных литературных языков, ибо в ту пору люди еще были поглощены познанием Природы, а не тем, чтобы выразить свою собственную человеческую сущность. Ограничившись типическими примерами, можно сказать, что для энциклопедического письма Рабле и претенциозного письма Корнеля в равной мере был характерен такой язык, в котором орнаментальность еще не приобрела черт обрядовости, продолжая оставаться способом постижения мира во всей его необъятности. Именно это обстоятельство придавало классическому письму множество оттенков и вызывало в нем чувство упоения собственной свободой. Для читателя нового времени это ощущение разнообразия оказывается тем более сильным, что язык, похоже, все еще продолжал примериваться к различным возможностям, заложенным в неустоявшихся лингвистических структурах, и не осознал окончательно дух своего синтаксиса и законы расширения своего словарного запаса. Возвращаясь к проведенному нами различию между

«языком» и «письмом», можно сказать, что примерно до 1650 года Французская Литература еще не разрешила проблематику языка, а потому не знала и такого явления, как письмо. Действительно, до тех пор, пока язык колеблется относительно своей собственной структуры, появление какой бы то ни было языковой морали остается невозможным; письмо рождается лишь тогда, когда язык, сформировавшись в национальных масштабах, превращается в своего рода определение через отрицательные признаки, в границу, отделяющую дозволенное от недозволенного, и уже больше не задумывается о происхождении или обоснованности своих запретов. Создав представление о вневременном разумном основании языка, о «рациоязыке», грамматисты классической эпохи тем самым избавили французов от любых лингвистических проблем, и этот очищенный язык как раз и стал письмом, иначе говоря, языковой ценностью, которая немедленно была объявлена универсальной как бы в противовес случайностям исторических обстоятельств.

Разнообразие «жанров» и движение стилей в пределах классических догм суть эстетические, а не структурные явления; они не должны вызывать иллюзии: в течение всего периода борьбы буржуазной идеологии за власть, а затем и ее триумфа французское общество располагало единым и единственным письмом — инструментальным и орнаментальным одновременно. Инструментальным это письмо было потому, что форма считалась подчиненной содержанию, подобно тому как алгебраические формулы подчинены осуществлению операциональных действий. Орнаментальным же оно было потому, что этот инструмент украшали узоры, не имеющие отношения к его функции и без всякого стеснения заимствуемые из арсенала Традиции. Иными словами, буржуазному письму, которым пользовались самые разные писатели, было неведомо отвращение к унаследованным формам, ибо оно служило лишь удачной декорацией, на фоне которой высился мыслительный акт. Разумеется, писателям-классикам также была знакома проблематика формы, но о многообразии или смысле различных видов письма, и тем более — о языковой структуре, спор никогда не заходил; обсуждалась только риторика, иначе говоря, строй речевых высказываний, рассматриваемых с точки зрения их убедительной силы. Таким образом, единообразие буржуазного письма уравновешивалось разнообразием риторик; напротив, к середине XIX века, то есть именно тогда, когда к трактатам по риторике был утрачен интерес, утратило свою универсальность и классическое письмо, а на смену ему родились современные типы письма.

Классическое письмо было, несомненно, письмом классовым. Возникнув в XVII веке в рамках группы, непосредственно державшейся вблизи власти, являясь продуктом догматического декретирования, быстро избавившись от всех грамматических средств,

которые порождала спонтанная речь человека из народа, и, напротив, нацелившись на установление твердых определений, буржуазное письмо — не без цинизма, обычного для первых политических побед, — поначалу изображало себя как язык немногочисленной элиты и привилегированного класса. В 1647 году Вожла говорил о классическом письме как о явлении, существующем фактически, а не по праву; ясность пока что считалась особенностью только языка придворного общества. Напротив, уже в 1660 году — например, в грамматике Пор-Рояля — классический язык обрел черты универсальности, а ясность была возведена в ранг ценности. Между тем ясность — это сугубо риторический атрибут, она не является всеобщим свойством языка, возможным якобы повсеместно и во все времена, но всего лишь идеальным придатком особого типа речи, а именно такого, который подчинен устойчивой цели — оказать воздействие на адресата. Именно потому, что буржуазия времен монархии и буржуазия послереволюционной эпохи, пользуясь одним и тем же письмом, развили эссенциалистский миф о человеке, классическое письмо, единое и универсальное, забыло о трепетной энергии отдельных слов ради их линейной упорядоченности, когда даже самый мельчайший элемент оказывался продуктом *отбора*, то есть решительного устранения всех потенциальных возможностей языка. Политическая авторитарность, догматическая власть Разума и единство классического языка — вот три различных проявления одной и той же исторической силы.

Поэтому вряд ли стоит удивляться, что Революция не внесла никаких перемен в буржуазное письмо и что разница между письмом Фенелона и письмом Мериме совершенно ничтожна. Дело в том, что сама буржуазная идеология просуществовала, не зная малейших трещин, вплоть до 1848 года; и менее всего она была поколеблена в период Революции, которая дала в руки буржуазии политическую и социальную власть, но отнюдь не власть интеллектуальную, ибо последней она владела уже давным-давно. От Лакло и до Стендаля буржуазное письмо — если не считать недолгого периода смуты — непрестанно возобновляло и продлевало свое существование. Что же касается революции романтизма, номинально претендовавшей на переворот в области формы, то она весьма благоразумно позаботилась о том, чтобы сохранить в неприкосновенности письмо, воплощавшее ее собственную идеологию. Смешав жанры и стили и тем самым сбросив излишний груз традиции, романтизм сумел сохранить главное в классическом письме — его инструментальность; правда, этот инструмент становился слишком уж «заметным» (в частности, у Шатобриана), но все же его продолжали скромно использовать, оставаясь в полном неведении относительно того, что возможно личное, погруженное в одиночество слово. Один только Гюго сумел извлечь из

непроницаемо плотных временных и пространственных измерений языка совершенно неповторимую тематику слова, которую невозможно уяснить в свете традиционной перспективы, но лишь в связи с изумляющими глубинами его собственной экзистенции. Один только Гюго, обрушившись на классическое письмо всей тяжестью своего стиля, сумел подмять его и поставить на грань уничтожения. Вот почему всякое пренебрежение к Гюго свидетельствует о том, что перед нами все та же мифология формы, под сенью которой продолжает скрываться письмо XVIII века — свидетель пышных празднеств буржуазии, и поныне все еще диктующее нормы добротного французского языка — языка замкнутого, изолированного от общества благодаря самой плотности литературного мифа. Это священное письмо, которое без разбора продолжают использовать самые различные писатели — то как свод непреложных законов, то как источник гурманских удовольствий, подобно сокровищнице, где хранится таинственная, чудесная святыня, имя которой — Французская Литература.

Примерно около 1850 года произошли и совпали три новых великих исторических события: демографический взрыв в Европе; переход от текстильной промышленности к металлургической индустрии, ознаменовавший рождение современного капитализма, и, наконец, последовавший за июньскими днями 1848 года раскол французского общества на три враждующих класса, иными словами — бесповоротное крушение всех либеральных иллюзий. Эти обстоятельства поставили буржуазию в новое историческое положение. До той поры мерой и неоспоримым воплощением всякой универсальности продолжала оставаться сама буржуазная идеология; буржуазный писатель, являясь единственным судьей всех человеческих бед, не встречая на своем пути ни одного человека, который мог бы со стороны взглянуть на него самого, не испытывал никакого разлада между своим социальным положением и своим интеллектуальным призванием. Теперь же эта идеология превратилась в одну из многих возможных; универсальность ускользнула от нее; преодолеть сама себя она может отныне лишь путем самоосуждения. Писатель становится жертвой раздвоения, ибо появляется зазор между его сознанием и его социальной судьбой. Так рождается трагедия Литературы.

С этого-то момента и начинают множиться различные виды письма. Отныне выбор любого из них — изысканного, популистского, нейтрального, разговорного — превращается в основополагающий акт, посредством которого писатель принимает или отвергает свое буржуазное положение. Каждое из них оказывается попыткой разрешить орфееву проблему Современной Формы —

проблему писателей без Литературы. Вот уже в течение ста лет такие писатели, как Флобер, Малларме, Рембо, Гонкуры, сюрреалисты, Кено, Сартр, Бланшо или Камю, пытались наметить пути интеграции, разрушения или восстановления в правах литературного языка; однако ставкой здесь служат не приключения формы, не успех риторики или смелое обновление и изыски словаря. Всякий раз, когда писатель запечатлевает на бумаге ту или иную последовательность слов, под вопросом оказывается само существование Литературы; что наша современность позволяет разглядеть в присущей ей множественности типов письма, так это тупик ее собственной Истории.

II. Стиль как ремесло

«Форма стоит дорого», — ответил Валери, когда его спросили, почему он не публикует лекций, читанных им в Коллеж де Франс. Между тем на протяжении целой эпохи — эпохи триумфа буржуазного письма — цена формы почти что равнялась цене воплощенной в ней мысли; разумеется, в те времена тоже заботились о композиции формы, о ее благозвучии, и тем не менее форма была довольно-таки дешева, ибо писатель пользовался ею как готовым инструментом, механизмы которого, не подвергаясь искусу обновления, передавались от поколения к поколению в полной неприкосновенности; у формы не было хозяина; универсальность классического языка проистекала именно из того, что язык этот являлся всеобщим достоянием, а различалось только мышление писателей. Можно сказать, что на протяжении всего этого периода форма имела лишь потребительную стоимость.

Однако, как мы уже знаем, примерно к 1850 году Литература очутилась перед необходимостью оправдать собственное существование: письмо принялось подыскивать себе различные алиби; и как раз потому, что письма коснулась тень подозрения, возникла целая группа писателей, которые попытались взять на себя ответственность за продолжение литературной традиции, поставив на место потребительной стоимости письма стоимость вложенного в него труда. Они решили спасти письмо не ради его предназначения, а ради труда, которого оно стоило. Тогда-то и начал складываться образ писателя-работника, запирающегося в своей легендарной башне, подобно ремесленнику в мастерской, и принимающегося отделывать, шлифовать, полировать, оправлять форму совершенно так же, как ювелир превращает данный ему материал в произведение искусства. Изо дня в день, в полном одиночестве проводит он за этим занятием долгие часы, наполненные упорным трудом: такие писатели, как Готье (безупречный мэтр Изящной Словесности), Флобер (обтачивающий свои фразы в Круассе), Валери (пишу-

щий на рассвете у себя в спальне), Жид (удобно устроившийся за своей конторкой), образуют своего рода ремесленный цех во Французской Словесности, где сама работа над формой есть знак принадлежности к корпорации. Стоимость труда, вложенного в произведение, отчасти заменяет ценность воплощенного в нем гения; в словах писателей, хвастающих своей долгой и трудной работой над формой, проглядывает известное кокетство; иногда даже саму лаконичность стиля (ведь обработать материал как раз и значит устранить в нем все лишнее) начинают воспринимать как признак тонкой изощренности, которая, однако, существенно разнится от изощренности времен великой эпохи барокко (у Корнеля, например). Барочная претенциозность возникала из необходимости познать Природу, а это требовало широчайшего использования всех ресурсов языка; изыск же новых писателей направлен на выработку аристократического литературного стиля и свидетельствует об историческом кризисе, разразившемся тогда, когда обнаружилось, что для оправдания условности устаревшего литературного языка уже недостаточно одних только эстетических доводов, иными словами, когда движение Истории привело к очевидному разладу между социальным призванием писателя и инструментом, доставшимся ему из арсенала Традиции.

С наибольшей последовательностью обосновал это ремесленническое письмо Флобер. До него буржуазную повседневность принято было воспринимать как нечто курьезное или экзотическое; в силу того, что буржуазная идеология сама себя полагала мерой универсальности, она утверждала существование идеальной человеческой природы и потому могла позволить себе в блаженной безмятежности созерцать поведение конкретного буржуа как зрелище, не имеющее никакого отношения к ее собственным принципам. Флоберу же самый дух буржуазности представлялся неизлечимым недугом, который вселяется в писателя и поддается лечению только тогда, когда писатель с полной ясностью отдает себе в нем отчет; а это уже — признак трагического мироощущения. Столкновение лицом к лицу с буржуазной Необходимостью, подчиняющей себе Фредерика Моро, Эмму Бовари, Бувара и Пекюше, потребовало искусства, также пронизанного необходимостью и вооруженного собственным Законом. Флобер создал нормативное письмо, патетичность которого — и в этом заключен парадокс — создается сугубо техническими средствами. С одной стороны, он строит свое повествование как последовательное выявление различных сущностей, а не в феноменологическом порядке их явления (в отличие от Пруста); глагольные времена он употребляет в соответствии с условными нормами, так что они выступают как *знаки*

Литературности, по примеру того самого искусства, которое все время предупреждает о своей искусности и искусственности; он создает особый, письменный ритм, обладающий завораживающей силой и, в отличие от устного красноречия, затрагивающий шестое, сугубо литературное чувство создателей и потребителей Литературы. С другой стороны, эта кодификация литературного труда, совокупность упражнений по выработке письма является, если угодно, проявлением некоей мудрости, но также и грустного чистосердечия, ибо искусство Флобера шествует, указывая пальцем на свою собственную маску. Эта григорианская кодификация литературного языка имела целью если и не примирить писателя со всеобщим порядком вещей, то по крайней мере возложить на него ответственность за создаваемую им форму; превратить письмо, полученное им от Истории, в *искусство*, то есть в откровенную условность, в честный договор, позволяющий личности найти удобное место посреди чуждой для него природы. Писатель предлагает обществу искусство, не скрывающее своей искусности, выставляет на всеобщее обозрение его нормы, а взамен общество соглашается принять писателя в свое лоно. Так случилось с Бодлером, который попытался освятить восхитительный прозаизм своей поэзии авторитетом Готье, словно авторитетом самого божества *обработанной* формы; разумеется, эта обработанность не имела ничего общего с прагматизмом, свойственным буржуазной практике, и тем не менее она вписывалась в представление о повседневном труде, подпадала под контроль общества, усматривавшего в такой работе не столько идеал, к которому оно стремилось, сколько воплощение технических приемов своей деятельности. Коль скоро Литературу невозможно было победить изнутри, не лучше ли было признать ее открыто, приговорив писателя к литературной каторге, где он станет «трудиться на совесть»? Вот почему флоберизация письма оказалась неизбежным выкупом как для самых невзыскательных писателей, плативших его без размышлений, так и для наиболее требовательных из них, признававших тем самым безвыходность сложившегося положения вещей.

III. Письмо и революция

Ремесленнический стиль породил особую разновидность письма, восходящую к Флоберу, но использованную натуралистической школой в своих собственных целях. Это письмо — письмо Мопассана, Золя, Доде, — которое можно назвать реалистическим, представляет собой смесь формальных знаков Литературности (простое прошедшее время, косвенная речь, письменный ритм) со столь же формальными знаками реалистичности (заимствования из языка простонародья, крепкие словечки, провинциализмы и т. п.), так что

трудно назвать более искусственное письмо, нежели то, которое притязало на наиболее верное изображение природы. Нет сомнения, что неудача постигла натуралистов не только в области формы, но и в области теории: условное представление о действительности характерно для натуралистической эстетики в той же мере, что и потребность в изготовленной форме. Парадокс в том, что обращение натуралистов к повседневным предметам не повлекло за собой соответствующего упрощения формы. Нейтральное письмо — это позднее явление, оно будет создано такими писателями, как Камю, лишь много времени спустя после возникновения реализма, и не столько под воздействием эстетики ухода от действительности, сколько в результате поисков письма, добившегося наконец-то безгрешности. Что же до реалистического письма, то оно весьма далеко от нейтральности и, напротив, изобилует такими знаками, которые с исключительной впечатляющей силой указывают на его изготовленность.

Так, претерпев деградацию, отказываясь от надежды обрести словесную Природу, откровенно отрешенную от реальной действительности, но также и не помышляя об овладении (как это сделал Кено) языком социальной Природы, натуралистическая школа парадоксальным образом произвела на свет механическое искусство, с невиданной дотоле откровенностью выставлявшее напоказ условный характер литературы. Флоберовское письмо исподволь создавало какую-то колдовскую атмосферу, так что, читая Флобера, мы все еще словно бы рискуем затеряться посреди природы, наполненной звучанием множества отголосков, природы, где знаки обладают не столько выражающей, сколько внушающей силой. Что до реалистического письма, то оно полностью лишено убеждающей способности и обречено исключительно на живописание — в полном согласии с дуалистической догмой, которая учит, что существует лишь одна-единственная оптимальная форма, способная «выразить» инертную, словно бездушный предмет, действительность, над которой писатель властен только благодаря тому мастерству, с которым он умеет подгонять друг к другу различные знаки.

Все эти авторы без стиля — Мопассан, Золя, Доде и их эпигоны — практиковали письмо, одновременно служившее им и убежищем, и средством демонстрации тех ремесленнических операций, которые, как они полагали, им удалось изгнать из эстетики, ставшей чисто пассивной. Известны высказывания Мопассана о важности работы над формой, известны и все наивные приемы Школы, с помощью которых та переделывала естественные фразы во фразы искусственные, фразы, призванные заявить о собственной ли-

тературности; то есть в данном случае — объявить цену, которую стоила работа над ними. Известно также, что стилистика Мопассана, связывая мастерство с областью синтаксиса, оставляла лексику как материал, данный до Литературы. Хорошо писать — а это-то и становится отныне единственным признаком литературной принадлежности произведения — значит самым простодушным образом переставлять дополнения с их обычного места, «выделять» слова, полагая тем самым добиться «экспрессивного» ритма. Так вот, экспрессивность — это миф; экспрессивность на деле — это всего лишь условный образ экспрессивности.

Вот это-то условное письмо как раз и стало предметом постоянных восторгов со стороны школьной критики, для которой цена текста определялась зримостью той работы, которой он стоил. Но ведь нет ничего более впечатляющего, чем различные перестановки дополнений, аналогичные манипуляциям рабочего, подгоняющего на место тонкую деталь. Что восхищало школьную критику в письме Мопассана или Доде, так это сами литературные знаки, отрешившиеся наконец от своего содержания и со всей прямотой утверждавшие Литературу как явление, начисто лишенное связей с любыми иными языками; тем самым они как бы учреждали абсолютно идеальное понимание вещей. Занимая промежуточное положение между пролетариатом, полностью отлученным от всякой культуры, и интеллигенцией, уже успевшей усомниться в Литературе как таковой, средняя клиентура начальной и средней школы, то есть, вообще говоря, мелкая буржуазия, обрела в художественно-реалистическом письме (при помощи которого сочинялась добрая часть коммерческих романов) привилегированный образ Литературы, сплошь испещренной знаками собственной литературности. При таком положении дел роль писателя заключалась не столько в том, чтобы создать произведение, сколько в том, чтобы поставить потребителям литературу, которую те сумеют распознать даже на расстоянии [...].

IV. Письмо и молчание

Составляя часть буржуазной вотчины, ремесленническое письмо не могло нарушить никакого порядка; не участвуя в иных битвах, писатель был предан единственной страсти, оправдывавшей все его существование, — созиданию формы.

Отказываясь высвобождать некий новый литературный язык, он мог зато поднять в цене язык старый, насытить его всевозможными интенциями, красотами, изысканными выражениями, архаизмами, он мог создать пышное, хотя и обреченное на смерть слово.

Это великое традиционное письмо, письмо Жида, Валери, Монтерлана и даже Бретона, означало, что форма, во всей ее весомости и несравненном великолепии одеяний, есть ценность, не подвластная Истории, наподобие ритуального языка священнослужителей.

Находились писатели, полагавшие, что избавиться от этого сакрального письма можно лишь путем его разрушения; они принялись подрывать литературный язык, вновь и вновь взламывать скорлупу оживающих штампов, привычек, всего формального прошлого писателя; ввергнув форму в полнейший хаос, оставив на ее месте словесную пустыню, они надеялись обнаружить явление, полностью лишенное Истории, обрести новый, пахнущий свежестью язык. Однако подобного рода пертурбации в конце концов прокладывают свои собственные наезженные колеи и вырабатывают собственные законы. Изящная Словесность угрожает любому языку, который не основан на прямом воспроизведении социальной речи. Процесс разложения языка, все более и более усугубляющий его беспорядочность, способен привести лишь к молчанию письма. Аграфия, к которой пришел Рембо или некоторые сюрреалисты (почему они и канули в забвение), то есть потрясающее зрелище самоуничтожения Литературы, учит, что у некоторых писателей язык, этот исходный и конечный пункт литературного мифа, в конце концов восстанавливает все те формы, от которых он стремился избавиться, что не существует письма, способного навсегда сохранить свою революционность, и что всякое молчание формы не будет обманом лишь тогда, когда писатель обречет себя на абсолютную немоту. Личность Малларме — с его гамлетовским отношением к письму — прекрасно воплощает тот неустойчивый момент в Истории, когда литературный язык продолжал цепляться за жизнь лишь затем, чтобы лучше воспеть неизбежность собственной смерти. Аграфия печатного слова у Малларме имела целью создать вокруг разреженных вокабул зону пустоты, в которой глохнет звучание слова, избавленного от своих социальных и потому греховных связей. Вырвавшись из оболочки привычных штампов, освободившись из-под ига рефлексов писательской техники, каждое слово обретает независимость от любых возможных контекстов; само появление такого слова подобно мгновенному, неповторимому событию, не отдающемуся ни малейшим эхом и тем самым утверждающему свое одиночество, а значит, и безгрешность. Это искусство есть искусство самоубийства: само молчание превращается здесь в некое однородное поэтическое время, оно взрезает языковые слои и заставляет ощутить отдельное слово — но не как фрагмент криптограммы, а как вспышку света, зияющую пустоту или как истину, заключенную в смерти и в свободе. (Известно, сколь многим мы обязаны Морису Бланшо в разработке этой гипотезы о Малларме как об убийце языка.) Язык Малларме — это язык самого Орфея,

который может спасти любимое существо, лишь отказавшись от него, и тем не менее не удерживается и слегка оборачивается назад; язык Малларме — это язык Литературы, приведенной наконец к порогу Земли Обетованной, то есть к порогу мира без Литературы, хотя свидетельствовать об этом мире могут все же одни только писатели.

Но вот другой способ освободить литературное слово: он состоит в создании белого письма, избавленного от ига открыто выраженной языковой упорядоченности. Лингвистическое сопоставление, возможно, позволит разъяснить суть этого нового явления: как известно, некоторые лингвисты указывают, что в промежутке между двумя полярными языковыми категориями (единственное число — множественное число, прошедшее время — настоящее время) существует еще один — нейтральный или нулевой — термин; так, изъявительное наклонение — в сопоставлении с сослагательным и повелительным — представляется им внемодальной формой. В этом смысле — конечно, в другом масштабе — можно сказать, что письмо, приведенное к нулевой степени, есть, в сущности, не что иное, как письмо в индикативе или, если угодно, внемодальное письмо; его можно было бы даже назвать журналистским письмом, если бы только как раз журналистика не прибегала то и дело к формам повелительного и желательного наклонений (то есть к формам патетическим). Новое нейтральное письмо располагается посреди этих эмоциональных выкриков и суждений, но сохраняет от них полную независимость; его суть состоит как раз в их отсутствии; и это отсутствие абсолютно, оно не предполагает никакого убежища, никакой тайны; вот почему нельзя сказать, что это бесстрастное письмо; скорее, это безгрешное, хранящее невинность письмо. Речь здесь идет о том, чтобы преодолеть Литературу, вверившись некоему основному* языку, равно чуждому как любым разновидностям живой разговорной речи, так и литературному языку в собственном смысле. Этот прозрачный язык, впервые использованный Камю в «Постороннем», создает стиль, основанный на идее отсутствия, которое оборачивается едва ли не полным отсутствием самого стиля. Письмо в этом случае сводится к своего рода негативному модусу, где все социальные и мифологические черты языка уничтожаются, уступая место нейтральной и инертной форме; таким образом, мысль писателя продолжает сохранять всю свою ответственность, что не сопровождается, однако, дополнительным процессом социального вовлечения формы в Историю, не властную

* В оригинале langue basique, вместо обычного langage de base, или langage fondamental. — *Прим. ред.*

д этой формой. Если письмо Флобера зиждется на известном
коне, а письмо Малларме домогается молчания, если письмо та-
их писателей, как Пруст, Селин, Кено, Превер, — каждое на свой
д — исходит из существования социальной Природы, если все
и виды письма предполагают оплотненность формы и наличие
ыковой и социальной проблематики, утверждая слово как объект,
которым имеет дело ремесленник, чародей или копиист, — то ней-
альное письмо вновь фактически обретает первородное свойство
лассического искусства — инструментальность. Однако теперь
от формальный инструмент уже не стоит на службе у какой бы
о ни было торжествующей идеологии; отныне он выражает новое
ложение писателя и оказывается молчанием, облекшимся в плоть;
н умышленно отказывается от любых претензий на элегантность
ли орнаментальность, так как оба эти измерения способны вновь
вести в письмо Время — подвижную силу, несущую вместе с собой
торию. Но если письмо по-настоящему нейтрально, если языко-
ой акт утрачивает свою неуклюжесть и необузданность, превра-
ается в подобие чистого математического уравнения и становит-
я столь же бесплотным, как и алгебраические формулы перед лицом
ездонности человеческого существования, — вот тогда-то нако-
ец Литература оказывается поверженной, тогда-то вся пробле-
атика человеческого бытия раскрывается и воплощается как бы в
бесцвеченном пространстве, а писатель становится безоговорочно
о честным человеком. Беда в том, что нет ничего более обманчиво-
о, нежели белое письмо; с момента своего возникновения оно на-
инает вырабатывать автоматические приемы именно там, где
режде расцветала его свобода; окаменевшие формы со всех сто-
он обступают и теснят слово в его первородной непосредствен-
ости, и на месте языка, не поддающегося никаким готовым опре-
елениям, вновь вырастает письмо. Став классиком, писатель
превращается в эпигона своего собственного раннего творчества;
общество объявляет его письмо одной из многих литературных
анер и тем самым делает узником его собственного формотвор-
еского мифа.

V. Письмо и социальная речь

Лет сто с небольшим назад писатели, как правило, не подозревали,
то существует не один, а много самых различных способов изъяс-
няться по-французски. Однако после 1830 года — во времена, кога буржуазия добродушно потешалась над всем, что выходило за пределы ее собственного жизненного круга и располагалось в тесном социальном пространстве, отведенном ею для богемы, привратников и воров, — в собственно литературный язык писатели начали вкраплять отдельные куски, подхваченные, заимствованные в

«низших» языках — при условии их непременной эксцентричности (в противном случае они таили бы в себе угрозу). Эти живописные жаргоны служили украшению Литературы и не посягали на ее структуру. Бальзак, Сю, Монье, Гюго находили удовольствие в воспроизведении всяческих фонетических и лексических неправильностей — воровского арго, крестьянских наречий, говора немцев, жаргона привратников. Однако эти социальные языки были лишь своего рода театральными костюмами, в которые облекалась человеческая сущность, и никогда не затрагивали говорящего индивида в его целостности; человеческие переживания продолжали существовать помимо их речевого воплощения.

Вероятно, нужно было дождаться прихода Пруста, который целиком отождествил некоторых людей с их языком и начал изображать своих персонажей через чистые особенности их речи, плотной и красочной. Если, к примеру, бальзаковские персонажи без труда вписываются в систему принудительных взаимозависимостей, существующих в обществе, где эти персонажи играют роль своеобразных алгебраических связок, то персонаж Пруста сгущается как бы в непроницаемом пространстве того или иного специфического языка, и именно на этом уровне реально оформляется и упорядочивается все его историческое положение — профессиональная и классовая принадлежность, имущественное состояние, наследственные черты, биологические свойства. Так Литература начинает познавать общество в качестве своеобразной Природы, феномены которой, возможно, поддаются воспроизведению. В те моменты, когда писатель запечатлевает языки, на которых реально говорят люди, не просто как колоритные, а как существенно важные образования, исчерпывающие все содержание общества, — в эти моменты письмо распространяет свои рефлексы на реальную человеческую речь; литература начинает превращаться в чисто информативный акт, так, словно ее первой задачей является уяснение всех подробностей социального расслоения общества, осуществляемое путем их воспроизведения: она ставит себе целью дать немедленный — предваряющий любой другой способ извещения — отчет о положении людей, замурованных в языке своего класса, края, профессии, наследственности или истории.

В этом отношении оказывается, что литературный язык, основанный на воссоздании социальной речи, в принципе не способен освободиться от ограничивающей его описательной функции, потому что универсальность того или иного языка — при современном состоянии общества — является фактом восприятия речи, а отнюдь не фактом говорения: в пределах национальных норм языка, подобного французскому, существует языковое разноречие отдельных социальных групп, и любой индивид оказывается пленником своего языка; за пределами своего класса он обнаруживает

себя каждым произнесенным словом, каждое слово выявляет его всего целиком и выставляет напоказ вместе со всей его историей. Благодаря своему языку человек открыт для разгадки, его выдает сама правдивость языковой формы, неподвластная его — своекорыстному или благородному — желанию солгать о себе. Таким образом, само разнообразие языков выступает как проявление Необходимости, и именно в этом состоит его трагическая сущность.

Вот почему возрождение разговорного языка, мыслившееся поначалу как забавное подражание колоритным речевым формам, в конце концов стало выражать все противоречивое содержание социальной жизни: в творчестве Селина, например, письмо отнюдь не стоит на службе у мысли, наподобие удачного реалистического фона для живописной картины жизни той или иной социальной группы; для писателя оно есть способ самого настоящего погружения в вязкую гущу изображаемой им среды. Конечно, и в этом случае дело идет лишь о способе *выражения*, а потому Литература так и остается непреодоленной. Однако следует признать, что из всех возможных средств *изображения* действительности (поскольку до сих пор Литература главным образом претендовала именно на это) усвоение реальных языков является для писателя наиболее человечным литературным актом. В значительной части современной Литературы заметны более или менее отчетливые признаки тоски по такому языку, который обрел бы естественность языков социальных. (В качестве недавнего и хорошо известного примера достаточно вспомнить романные диалоги Сартра.) И все же, сколь бы удачны ни были эти живописные образы языков, они так и остаются репродукциями, своего рода ариями, обрамленными нескончаемым речитативом сугубо условного письма.

Кено как раз и попытался показать, что возможна разговорная контаминация письменного дискурса во всех его элементах. У него социализация литературного языка охватывает письмо сразу на всех его уровнях — графическом, лексическом и — что еще более важно, хотя и выглядит не столь эффектно, — на уровне речевой манеры. Разумеется, письмо Кено не выходит за пределы Литературы, потому что его потребляет лишь незначительная часть общества и оно не несет в себе какой бы то ни было универсальности, оставаясь всего-навсего экспериментом и забавой. И все же это первый случай, когда литературным оказывается не письмо как таковое; Литература изгоняется из области формы; отныне это не более как категория; Литература становится иронией, а язык — воплощением всей глубины человеческого опыта. Или так: Литература здесь открыто приведена к проблематике языка; поистине, отныне она не может быть ничем иным.

Таким образом, мы видим, как начинают вырисовываться возможные очертания некоего нового гуманизма, когда на смену все-

общему подозрению, нависшему над языком в современной литературе, придет примирение слова писателя со словом всех остальных людей. Лишь в том случае, когда поэтическая свобода писателя укоренится внутри самой языковой ситуации, а ее границы совпадут с границами всего общества, а не с рамками той или иной условной формы или же со вкусами известной части публики, — лишь тогда писатель сможет считать себя до конца социально ответственным. В противном случае эта ответственность навсегда останется номинальной; она сможет спасти сознание писателя, но не сумеет послужить основой его авторского поведения. Именно потому, что мысль не способна существовать помимо языка, что форма есть первая и последняя инстанция литературной ответственности и что в обществе отсутствует гармония, — именно поэтому язык — это воплощение необходимости и необходимого принуждения — как раз и создает ту ситуацию мучительного разлада, в которой оказывается писатель.

VI. Языковая утопия

Множество разновидностей письма — вот факт нашей современности, который понуждает писателя к выбору, превращает литературную форму в способ человеческого поведения и вырабатывает ту или иную этику письма. Число измерений, в которые укладывается литературное творение, возрастает за счет еще одной, новой величины: форма как таковая начинает играть роль паразитарного механизма, существующего наряду с сугубо интеллектуальной функцией произведения. Современное письмо — это поистине самостоятельный организм, который нарастает вокруг литературного акта, придает ему смысл, чуждый его прямой интенции, вовлекает в двойную жизнь и поверх непосредственного содержания слов наслаивает пласт загустевших знаков, которые несут в себе свою собственную, вторичную историю, таят собственную вину и собственное искупление, так что судьба мысли, заложенной в произведении, начинает переплетаться с дополняющей ее, нередко ей противоречащей и всегда ее отягощающей судьбой формы.

Любопытно, что это фатальное свойство литературного знака — которое не позволяет писателю написать ни слова так, чтобы он немедленно не оказался в специфическом положении носителя архаичного, анархического, подражательного, но в любом случае, условного и обесчеловеченного языка, — начинает действовать как раз тогда, когда Литературу, все решительнее отбрасывающую свой статус буржуазного мифа, пытается использовать то гуманистическое движение, которое, осмысляя жизнь или свидетельствуя о ней, сумело наконец включить Историю в созданный им образ человека. В этих условиях прежним литературным категориям, — ли-

шившимся (в лучшем случае) своего традиционного содержания, которое сводилось к выражению некоей вневременной человеческой сущности, — в конечном счете удается удержаться лишь благодаря наличию специфической формы, например, лексической или синтаксической упорядоченности; короче — благодаря известному языку: отныне именно письмо вбирает в себя все признаки литературной принадлежности произведения. Романы Сартра суть романы лишь в силу той (впрочем, постоянно нарушаемой) верности определенной речевой манере, нормы которой утвердились в ходе всех предшествующих геологических этапов развития романа. И действительно, Изящная Словесность просачивается в сартровский роман не за счет его содержания, а за счет его специфического способа письма. Более того, когда Сартр (в «Отсрочке») пытается разрушить романическую длительность и расщепляет свой речитатив, чтобы показать вездесущность действительности, тогда именно повествующий характер его письма восстанавливает — как бы поверх одновременности изображаемых событий — единство и однородность Времени, времени Повествователя, чей особенный голос, который нетрудно распознать по его специфическим модуляциям, отягощает, подобно паразитарному наросту, акт разоблачения Истории и придает роману двусмысленную интонацию свидетельского показания, которое на поверку может оказаться и лживым.

Из сказанного видно, что создание современного шедевра стало попросту невозможным, ибо письмо ставит писателя в безысходно противоречивое положение; одно из двух: либо его произведение наивно нацелено на соблюдение всех условностей формы — и в этом случае литература остается глухой к нашей живой Истории, а литературный миф оказывается непреодоленным; либо писатель ощущает всю широту и свежесть нашего мира, но, чтобы выразить их, располагает хотя и ослепительным в своем великолепии, но зато омертвевшим языком. Положив перед собою чистый лист бумаги, силясь подыскать слова, которые должны откровенно заявить о его месте в Истории и засвидетельствовать, что он принимает ее условия, писатель вдруг обнаруживает трагический разлад между тем, что он делает, и тем, что он видит, социальный мир предстает перед его взором как самая настоящая Природа, и эта Природа говорит, она создает множество исполненных жизни языков, от которых, однако, сам писатель безнадежно отлучен: взамен же История вкладывает ему в руки богато украшенный, хотя и компрометирующий инструмент — письмо, унаследованное от прошедшей и уже чужой для него Истории, письмо, за которое он не несет никакой ответственности, но которым, однако, только и может пользоваться. Так рождается трагедия письма, ибо отныне всякий сознательный писатель вынужден вступать в борьбу с всесильными знаками,

доставшимися ему от предков, знаками, которые из недр инородного прошлого навязывают ему Литературу словно некое ритуальное действо, а не как способ освоиться с жизнью.

Сам писатель, если только он не дерзнет вовсе порвать с Литературой, не в силах разрешить эту проблематику письма. Каждый писатель уже в момент творческого рождения начинает в себе судебный процесс против Литературы, но даже если он и выносит ей обвинительный приговор, то тут же откладывает его исполнение, а Литература пользуется этой отсрочкой, чтобы вновь подчинить себе писателя. Тщетно будет он пытаться создать совершенно свободный язык, последний вернется к нему как продукт производства, а за всякую роскошь полагается платить: писатель вынужден и дальше пользоваться этим отвердевшим языком, замкнувшимся на самом себе под чудовищным напором огромного множества людей, которые на нем не говорят. Существует, следовательно, тупик, в который приводит письмо, и это — тупик, в котором находится само общество; современные писатели чувствуют это: для них поиски не-стиля, устного стиля, нулевой или разговорной степени письма оказываются, в сущности, попыткой предвосхитить такое состояние общества, которое отличалось бы абсолютной однородностью; большинство из них понимает, что без реальной — а отнюдь не мистической или сугубо номинальной — универсальности социального мира не может существовать и универсального языка.

Итак, любому современному письму свойственна двунаправленность: письмо стремится к разрыву с прошлым и в то же время жаждет пришествия будущего; в нем воплощен удел любой революционной ситуации, ее фундаментальная двойственность, требующая, чтобы Революция черпала образы желаемого в той самой действительности, которую она стремится разрушить. Как и все современное искусство, литературное письмо одновременно воплощает в себе и отчуждающую силу Истории, и тоску по этой Истории: будучи олицетворением Необходимости, письмо свидетельствует о расколе внутри языка, неотъемлемом от классового раскола общества; но будучи в то же время олицетворением Свободы, оно предстает как осознание этого раскола и как порыв к его преодолению. Все время чувствуя себя повинным в собственном одиночестве, письмо тем не менее жадно мечтает о том времени, когда слова станут наконец счастливы, оно грезит о языке, чья естественность идеальным образом предвосхитила бы тот новый и совершенный адамов мир, где язык будет свободен от отчуждения. Сам факт умножения разновидностей письма учреждает новую Литературу в той мере, в какой последняя, создавая свой язык, стремится лишь к тому, чтобы быть воплощенной мечтой: Литература становится утопией языка.

Цветан Тодоров

Семиотика литературы

Заглавие этого сообщения, а также название секции [Конгресса], для которой оно предназначено, могут создать впечатление, будто оба эти понятия — «семиотика» и «литература» — вполне правомерны. Наша первая задача будет состоять в том, чтобы рассеять эту иллюзию. Начнем с термина «семиотика». В этом слове заключена целая концепция, основанная на убеждении в том, что целесообразно объединить все виды знания об объектах, называемых «знаками». Между тем подобное утверждение отнюдь не самоочевидно. Одно из двух: л и б о верно, что любые знаки подобны знакам естественного языка, изученным лучше, чем все остальные, и, следовательно, — в более широком смысле — все знаки похожи друг на друга. Однако этот тезис не может быть принят в качестве аксиомы; он нуждается в доказательстве. Даже поверхностное ознакомление с предметом позволяет привести множество контрпримеров. Допустим, однако, что приведенный тезис правилен. Но тогда речь должна была бы идти не о создании новой науки, семиотики, а всего лишь о расширении границ уже существующей науки — лингвистики. Л и б о верно, что все остальные знаки не подобны знакам естественного языка и, следовательно, — в более широком смысле — не похожи друг на друга, хотя и обладают некоторыми общими чертами, оправдывающими их объединение. Одна-

ко, начав искать общий признак, свойственный всем возможным знакам, мы неизбежно обнаружим его крайнюю бедность (это будет, приблизительно, синоним «ассоциативности» или «эквивалентности»). Пытаться создать целую дисциплину на столь узком (или, если угодно, столь широком) пространстве — это примерно то же самое, что утверждать целесообразность «науки об отношениях» или «науки об импликациях». Остается, следовательно, третья возможность: одни и те же термины, употребляемые в различных областях семиотики, следует — пока не доказано обратное — рассматривать как омонимы (число их к тому же невелико: означающее — означаемое, синтагма — парадигма, иконический знак — знак-признак). В настоящее время довольно неясно, чему именно «семиотика музыки» может научиться у «семиотики городской архитектуры», а последняя — у «семиотики, изучающей языки науки», короче, неясно, какую пользу можно извлечь из объединения этих дисциплин под общим названием «семиотика». Впрочем, не станем делать из приведенного рассуждения каких-либо выводов относительно настоящего конгресса.

Обратимся теперь к «литературе». Задача состоит не в том, чтобы выяснить, «существует» ли она, ибо последнее очевидно, а в том, чтобы установить, может ли подобное понятие иметь научный, в частности семиотический, статус. До настоящего времени никто не сумел дать устойчивого определения литературы. Напомним два из них, наиболее распространенные. Согласно первому, отличительная особенность литературного дискурса заключается в том, что составляющие его предложения не являются ни истинными, ни ложными, но создают представление о вымышленной действительности. Однако, с одной стороны, не всякая литература является вымыслом (fiction): вне этого определения остаются лирическая поэзия, некоторые культовые тексты (sapientiaux)*, эссе; с другой — не всякий вымысел является литературой: таков миф. Согласно второму определению, отличительной чертой литературного дискурса, благодаря систематическому характеру его организации, является сосредоточение внимания на сообщении ради него самого. Однако, если уточнить смысл слов, входящих в это определение, мы поймем, что и оно либо слишком узко, либо слишком широко: с одной стороны, организованностью и систематичностью отличается всякий дискурс; с другой — язык романа, например, не может восприниматься только «ради него самого». Любое свойство, присущее литературным произведениям, можно встретить и вне этих произведений; отсюда — уязвимость любого теоретического исследования, основанного только на понятии «литература».

---

* Термином sapientiaux во Франции обозначаются чаще всего некоторые книги части Ветхого завета, например, Екклесиаст, и др. — *Прим. ред.*

Термины «семиотика» и «литература» не обладают теоретическим существованием; парадоксально, но это обстоятельство не ведет к уничтожению «литературной семиотики», ибо фактом является существование «специалистов по семиотике литературы» Каков смысл этого выражения? Прежде всего его можно определить негативно: речь идет об исследовании таких языковых явлений, которые, по причинам преходящего или принципиального характера, не изучаются самой лингвистикой. Несколько огрубляя, эти явления можно распределить по трем группам: переносные (не совпадающие с лексическими) значения, способы организации единиц дискурса, бóльших, чем предложение; наконец, отношения носителей языка друг к другу и к их собственным высказываниям, могущие быть выведенными из самих этих высказываний. Отметим, что все эти три области входили в рамки уже почившей, но обладавшей богатыми традициями дисциплины — риторики. Действительно, риторика, помимо прочего, исследовала ситуации речевого общения, способы построения целостных речевых высказываний и значения, отличающиеся от номинативных значений отдельных слов. Поэтому будет удобно обозначить совокупность исследований о языке, не укладывающихся в рамки лингвистики, термином «риторика» (не питая при этом предубеждения относительно возможного в будущем обособления таких исследований или, наоборот, их слияния с лингвистикой). Все вышесказанное можно резюмировать следующим образом: оставаясь на почве науки, мы можем употреблять выражение «семиотика литературы» только в том случае, если разумеем под этим *риторику*.

Восстановление в правах термина «риторика» не освобождает нас от необходимости изучать поднимаемые ею проблемы. Первая из них состоит в самом разнообразии этих проблем. Мы распределили их по трем группам, исходя из чисто эмпирических соображений; но как обосновать такое распределение? Почему именно три, а не две или не пять? Этот вопрос сможет решить только комплексная теория риторического анализа; в настоящей работе мы не пытаемся на него ответить. Ограничимся тем, что выдвинем несколько предположений, касающихся отношений между двумя выделенными областями — областью непрямых (indirect) значений и областью дискурса. Более того, сопоставим лишь некоторые виды переносных значений с некоторыми типами речевых структур.

Начнем с тропов. Известно их классическое определение: метафора — это троп, основанный на принципе сходства, метонимия — троп, основанный на принципе смежности (причем авторы классических руководств, едва успев дать определение метонимии, сразу же разлагают ее путем перечисления различных ее разновидностей: содержащее и содержимое, причина и следствие, производитель действия и само действие, явление и его временное или

пространственное положение и т. п.), синекдоха — троп, в основе которого лежит отношение между частью и целым или родом и видом. Пока считалось, что эти тропы несводимы друг к другу, и все вместе — несводимы к каким-либо иным, более изученным, типам отношений, сохранялась вера в специфичность самого феномена тропов. Однако не так давно система отношений, создающих тропы, была подвергнута логическому анализу, в результате чего взгляд на проблему изменился. В основе синекдохи лежит отношение включения (инклюзии), принимающее различные формы в зависимости от того, разлагается ли целое на части или же на признаки; в основе метафоры — отношение перекрещивания (интерсекции); в основе метонимии — отношение исключения (эксклюзии), при котором, однако, оба термина, взаимно исключающие друг друга, в то же время совместно включены в некоторое более широкое целое (Rhétorique générale, группа μ, 1970). Категории, использованные в приведенных определениях тропов, хорошо известны: именно с их помощью принято описывать отношения, изучаемые в рамках классического исчисления предикатов в логике. Но на этом сходство не кончается. Известно, что Аристотелева силлогистика, которая частично использует исчисления предикатов, знает всего четыре, и только четыре фигуры. Эти четыре фигуры образуются путем комбинации двух категорий (каждая из которых имеет два термина), а именно категория экстенсии (быть включенным или включать в себя; обобщение или спецификация) и категория направления (идентичное оно или различное). Эти же самые комбинации позволяют дать определение четырех основных тропов, каковыми являются: обобщающая и специфицирующая синекдохи, метафора (обобщение, затем спецификация) и метонимия (спецификация, затем обобщение). Разница между тропами, с одной стороны, и утвердительными суждениями — с другой, заключена, следовательно, не в природе отношений, связывающих два термина (смысл выраженный и вложенный, субъект и предикат), а в том, что в одном случае наличествуют оба из них, а в другом — только один. Выражение *Все люди смертны* есть обобщающее утвердительное суждение, тогда как употребление слова *смертные* вместо слова *люди* есть обобщающая синекдоха.

«Тропы — не единственный способ ввода непрямого (indirect) значения. Другой подобный способ принято обычно называть "подразумеваемым"». Воспользуемся еще одним классическим примером: можно сказать *У этой женщины есть молоко,* подразумевая при этом: *Эта женщина родила.* Этот вид подразумевания также может быть описан в терминах логики. Знание, которым располагает некоторое общество, включает в себя известное число постулатов, среди которых следующий: *Если у женщины есть молоко, значит, она родила,* таким образом, этот постулат имеет форму

условного суждения: *«Если p, то q»*. Говорящий ограничивается указанием на антецедент *p*. Поскольку правилами вывода владеет каждый из нас, достаточно определенным образом сориентировать процесс восприятия, чтобы слушающий немедленно понял *p* и сделал вывод: следовательно, *q* (консеквент). Реально произнесенная фраза в равной мере отсылает и к общей истине, и к вытекающему из нее следствию; но фокализованной оказывается только сама произнесенная фраза, что и позволяет ей превратиться в подразумеваемое. Логика подразумевания имеет отношение к исчислению высказываний; разница между подразумеванием и умозаключением состоит не в природе отношений, связывающих два простых высказывания, а в том, что в одном случае наличествуют оба из них, а в другом — только одно.

Оба приведенных сопоставления подсказывают ряд выводов, гипотетический характер которых тем не менее не следует упускать из виду: (1) Механизмы формирования косвенных (иносказательных) смыслов в основе своей тождественны с механизмами, управляющими организацией дискурса. Существенная (это не значит — единственная) разница между ними заключена в операции конденсации (импликации), которой подвергается дискурс, чтобы тем самым превратиться в троп или в подразумеваемое. (2) Отсюда следует, что дискурсивным соответствием тропу служит не отдельное слово, а предложение, а подразумеванию — не предложение, но умозаключение. (3) Категории дискурса (дискурсивные категории) могут послужить описанию различных видов косвенного (иносказательного) значения: такова оппозиция между предикатом (синтагмой) и предложением или между предложением и умозаключением; так же между различными модальностями каждой из этих категорий. (4) Специфику косвенных (иносказательных) значений следует искать не в отношении между наличным и отсутствующим смыслом, но в иной плоскости.

Цветан Тодоров

Понятие литературы

Прежде чем броситься в пучину вопроса, «что такое литература?», позаботимся о небольшом спасательном круге: наше разыскание в первую очередь будет касаться не самого существа литературы, а дискурса исследований, которые подобно нашему собственному пытаются сделать ее объектом анализа. Разница, скорее всего, состоит в выборе маршрута, а не в цели, к которой мы устремляемся. Но какой путник возьмется утверждать, что путешествие будет менее интересным, чем тот пункт, в который он прибудет?

Начнем с того, что попытаемся усомниться в правомерности самого понятия литературы: ведь оттого, что имеется соответствующее слово, и оттого, что это слово положено в основу университетских курсов, само существование литературы еще не становится очевидным.

Для подобного сомнения есть основания, прежде всего — эмпирического характера. Исчерпывающей истории слова «литература» и его эквивалентов во всех языках и во все эпохи пока еще не написано, однако даже поверхностный взгляд позволяет убедиться, что существовало оно не всегда. В европейских языках слово «литература» в его современном значении возникло совсем недавно, едва ли не в XIX веке. Не значит ли это, что мы имеем дело

с исторически сформировавшимся, а отнюдь не «вечным» явлением? С другой стороны, многие языки (например, языки Африки) до сих пор не знают родового термина для обозначения всех видов литературного творчества; между тем давно миновали времена Леви-Брюля, когда объяснение этому факту искали в пресловутой «примитивности» подобных языков, якобы неспособных к абстрагированию и, следовательно, не знающих слов, обозначающих родовые, а не видовые понятия. К сказанному можно добавить, что современная литература исключительно многоформна: учитывая неустранимое разнообразие письменных текстов, которые с самых разных точек зрения принято относить к литературе, вряд ли найдется человек, который решится сегодня провести границу между тем, что является литературой, и тем, что ею не является.

Этот довод, впрочем, не имеет решающей силы: ведь известное явление может существовать даже тогда, когда в словаре еще нет точного слова для его обозначения; однако он бросает первую тень сомнения относительно «естественного» характера литературы. Этого сомнения отнюдь не рассеивает и теоретический анализ проблемы. В самом деле, откуда берется у нас уверенность в том, что явление, именуемое литературой, действительно существует? Из повседневного опыта: литературные произведения мы учим в школе, потом в университете, мы покупаем литературу в специальных магазинах; в повседневном общении мы привыкли говорить об авторах, которых называем «литераторами». Некая сущность «литература» функционирует на межсубъективном, социальном уровне — вот факт, представляющийся неоспоримым. Пусть так. Но что это доказывает? Только то, что в рамках более широкой системы, образуемой обществом и культурой, существует составная часть, которую можно выделить и которую принято обозначать при помощи слова «литература». Доказано ли этим, что все конкретные произведения, функционирующие указанным образом, обладают некоторой общей для них природой, существование которой мы тем самым имеем право признать? Ни в коем случае.

Будем называть «функциональным» такой подход к явлению, который позволяет выделить его в качестве элемента более обширной системы благодаря той роли, которую он в ней играет, а «структурным» назовем другой подход, при котором мы пытаемся выяснить, обладают ли все единицы, выполняющие одну и ту же функцию, одинаковыми свойствами. Функциональную и структурную точки зрения следует строго разграничивать, хотя, разумеется, исследователь может без труда переходить от одной из них к другой. В качестве иллюстрации обратимся к иному явлению — рекламе. Бесспорно, реклама выполняет в нашем обществе совершенно определенную функцию; однако дело значительно усложнится, если мы зададимся вопросом относительно ее структурной тожде-

ственности: реклама может использовать зрительные, слуховые (и иные) средства воздействия, может обладать или не обладать протяженностью во времени, ее можно давать целиком или по частям, она может прибегать к таким разным приемам, как прямое побуждение потребителя или описание предмета, намек, антифразис и т. п. Следовательно, функциональное единство рекламы (допустим на время, что оно существует) вовсе не обязательно предполагает ее структурное единство. Структура и функция не находятся в отношении строгой взаимной импликации, хотя черты близости между ними наблюдаются во всех случаях. Мы имеем дело скорее не с разными объектами, а с разными точками зрения на один и тот же объект: если мы установим, что литература (или реклама) представляет собой структурное образование, то должны будем уяснить функцию составляющих его элементов; и обратно: функциональное единство, называемое «рекламой», входит составной частью в структуру, которую, скажем, заключает в себе общество. Структура состоит из функций, а функции создают структуру; но коль скоро предмет познания формируется точкой зрения на объект, разница между структурным и функциональным подходами не становится менее существенной.

Итак, наличие функционального образования, называемого «литературой», отнюдь не предполагает наличия соответствующего структурного образования (хотя и побуждает нас предусмотреть такую возможность). Функциональные определения литературы (указывающие на ту роль, которую она играет, а не на то, чем она является) весьма многочисленны. При этом не следует думать, будто функциональный подход непременно уводит в область социологии: когда такой метафизик, как Хайдеггер, задается вопросом о сущности поэзии, он тоже пользуется функциональным понятием. Утверждать, что искусство есть произведение истины в действительность или что поэзия есть обоснование бытия через слово, — значит высказать пожелание относительно того, чем должны быть искусство и поэзия, не касаясь при этом тех специфических механизмов, которые делают их пригодными для выполнения этой задачи. Хотя дело идет об онтологической функции, она все же остается именно функцией, а не чем-либо иным. Кроме того, заявляя, что он имеет в виду лишь великое искусство, Хайдеггер сам же и допускает, что функциональная сущность вовсе не обязательно должна совпадать со структурной сущностью. Он выдвигает не внутренний критерий, который позволил бы дать определение любому произведению искусства (и литературы), а лишь утверждение относительно той роли, которую должна играть определенная (лучшая) часть произведений искусства.

Итак, вполне возможно, что литература представляет собой лишь функциональное образование. Однако мы не пойдем по это-

му пути и предположим — даже рискуя в конце концов убедиться в обратном, — что она обладает и структурным единством, а затем попытаемся понять, в чем это единство состоит. Можно назвать многих исследователей-оптимистов, предвосхитивших нас в этом начинании; будем отталкиваться от выводов, к которым они пришли. Не входя в исторические подробности, попытаемся рассмотреть два наиболее часто предлагаемых решения проблемы.

Вообще говоря, в трудах европейских теоретиков искусства от античности до середины XVIII века в явной или в неявной форме давалось одни и то же определение искусства. При ближайшем рассмотрении можно заметить, что это определение включает в себя два различных момента: в общем, родовом смысле искусство есть подражание; виды подражания различаются в зависимости от используемого материала; литература есть подражание при помощи слова, тогда как живопись — это подражание при посредстве изображений. Однако при конкретизации этого положения видовым отличием оказывается что дело вовсе не в любом подражании, ибо искусство подражает не реальным, а вымышленным предметам, не нуждающимся в фактическом существовании. Литература есть *вымысел* (fiction) — вот ее первое структурное определение.

Это определение сложилось не сразу и формулировалось в самых различных терминах. Можно предположить, что именно указанное свойство литературы позволило Аристотелю отметить, что «поэзия говорит более об общем, а история — о единичном»* (впрочем, замечание Аристотеля преследовало и иные цели): фразы, составляющие литературу, вовсе не описывают тех неповторимых поступков, которые единственно только и могли иметь место в действительности. Позже станут говорить, что литература лжива, обманчива по самой своей сущности. Фрай напомнил о двусмысленности выражений «фабула», «вымысел», «миф», одинаково применимых как к литературе, так и ко всякой «лжи». Однако это неверно: фразы, составляющие литературу, являются «ложными» не в большей степени, нежели «истинными»; родоначальники современной логики (например, Фреге) уже обратили внимание на то, что литературный текст не поддается испытанию на истинность, что он ни истинен, ни ложен, он — вымысел (fictionnel). В настоящее время эта мысль общеизвестна.

Однако удовлетворительно ли такое определение? Возникает вопрос, не происходит ли здесь подмены определения литературы определением одного из ее качеств, вытекающим из ее природы как следствие. Ничто не может помешать нам воспринять в качестве литературного сюжет, передающий реальные события; для этого даже не нужно ничего менять в его композиции, достаточно ска-

* Аристотель. Поэтика. М., 1957, с. 68. — *Прим. ред.*

зать себе, что нас не интересует истинность данной истории, что мы читаем ее, «как если бы» она была плодом литературного сочинительства. Любой текст можно прочесть как «литературный»: вопроса о его истинности не встанет именно потому, что он будет восприниматься в качестве л и т е р а т у р н о г о.

Вместо того чтобы дать определение литературы, нам указывают здесь, правда в неявной форме, на один из ее признаков. Но во всяком ли литературном произведении можно обнаружить этот признак? Случайно ли, что выражение «вымысел» мы охотно применяем только к известной части литературы (романам, новеллам, театральным пьесам), но с гораздо большей натяжкой делаем это (если вообще делаем), когда речь заходит о другой ее части — поэзии. Возникает искушение сказать, что, подобно тому как фраза, взятая из романа, — хотя она и описывает некое событие — не является ни истинной, ни ложной, поэтическая фраза не является ни вымышленной, ни невымышленной: вопрос об этом даже не встает, коль скоро поэзия ни о чем не повествует, не указывает ни на какое событие, ограничиваясь чаще всего тем, что запечатлевает известное размышление или впечатление. Видовое отличие «вымысел» не может быть применено к поэзии; в противном случае родовой термин «подражание» — чтобы сохранить релевантность — должен утратить всякий конкретный смысл; ведь поэзия нередко не изображает ничего внешнего по отношению к ней, довлея самой себе. Однако проблема еще более осложнится, когда мы обратимся к жанрам, которые, хотя нередко их и называют «низшими», тем не менее присутствуют во всех «литературах» мира, — молитвам, заклинаниям, пословицам, загадкам, считалкам (в связи с каждым из этих жанров возникают, разумеется, свои собственные проблемы). Станем ли мы утверждать, что суть этих жанров также в «подражании», или же мы исключим их из совокупности явлений, обозначаемых словом «литература»?

Далее, если все, что обычно считается литературой, не обязательно является продуктом вымысла, то верно и обратное: не всякий вымысел есть литература. Возьмем, к примеру, фрейдовские «истории болезней», не имеет смысла спрашивать, подлинны или нет приключения маленького Ганса или человека с волками; эти приключения относятся как раз к области вымысла: о них можно сказать только то, что они служат убедительным или неубедительным подтверждением положений Фрейда. Или совсем другой пример: следует ли включить все мифы в литературу (ведь все они, несомненно, являются «вымыслами»)?

Разумеется, мы не первыми выступаем с критикой понятия подражания в литературе и искусстве. На протяжении всей эпохи европейского классицизма в него пытались внести различные поправки, чтобы сделать это понятие практически пригодным. Ведь для

того, чтобы указанный термин сделался приложим ко всем перечисленным видам словесной деятельности, ему необходимо придать очень широкий смысл; но в этом случае он сразу же распространится на массу других явлений и потребует дополнительных видовых уточнений: говорят, например, что подражание должно быть «художественным», но это значит, что в определение допускается термин, который как раз нужно определить. К середине XVIII века ход мысли меняется на противоположный: теперь стремятся не столько приспособить к литературе прежнее определение, сколько дать новое, совершенно самостоятельное. Нет ничего более показательного в этом отношении, чем названия двух работ, отмечающих границу между двумя указанными периодами. В 1746 году появляется эстетический трактат воплотивший общий дух эпохи, — «Изящные искусства, сведенные к одному общему принципу» аббата Баттё; указанный принцип — подражание прекрасной природе. Ответным эхом в 1785 году прозвучало название другого трактата: «Опыт объединения всех изящных искусств и наук под понятие совершенного в себе самом» Карла Филиппа Морица. Изящные искусства вновь оказались объединены, на этот раз — по признаку прекрасного, понятого как «совершенство в самом себе».

Итак, второе определение литературы, сыгравшее значительную роль, было дано с точки зрения красоты; представление о том, что литература должна «нравиться», берет отныне верх над представлением о том, что она должна «наставлять». К концу XVIII века идея прекрасного выльется в формулу о самодостаточной, неинструментальной природе произведения. Если раньше прекрасное отождествляли с полезным, то отныне его сущность стали связывать с отсутствием утилитарной цели. Мориц писал: «Истинная красота состоит в том, что вещь довлеет лишь самой себе, являет завершенное в себе целое». При этом само искусство определяется именно как красота: «Если бы единственная цель искусства состояла в том, чтобы указать на нечто внешнее по отношению к нему, оно тем самым превратилось бы в вещь, лишенную всякой самостоятельности; между тем красота сама для себя является главной целью». Живопись — это такие изображения, которые воспринимаются ради них самих, а не ради той пользы, какую они могут принести; музыка — это звуки, ценность которых заключена в них самих; наконец, литература — это язык, который не является орудием, и ценность его также заключена в нем самом. Это, как сказал бы Новалис, «выражение ради выражения».

Такую позицию будут отстаивать немецкие романтики, затем ее унаследуют символисты; она будет определяющей для всех символистских и постсимволистских движений в Европе. Более того, она ляжет в основу первых современных попыток создать науку о литературе. Русские формалисты и американская Новая критика

отправлялись от одного и того же постулата. Поэтическая функция — это такая функция, которая сосредоточивает внимание на «сообщении» ради него самого. До сих пор это определение остается господствующим, даже если и получает различные формулировки.

По правде сказать, подобное определение литературы не заслуживает названия структурного, поскольку оно объясняет, какую функцию должна выполнять поэзия, а не то, как она достигает своей цели. Впрочем, с самого начала функциональный подход был дополнен структурной точкой зрения: одно свойство художественного произведения более, чем все остальные, заставляет воспринимать его ради него самого, это свойство — упорядоченность. Уже Дидро именно так определял сущность прекрасного; впоследствии выражение «прекрасное» заменили словом «форма», а то в свою очередь уступило место термину «структура». Исследования, предпринятые формалистами, обладают тем достоинством (благодаря которому, между прочим, они и заложили основы целой науки — поэтики), что это были исследования системы в литературе, а именно внутренней упорядоченности отдельных произведений. Итак, литература есть *система,* системно организованный язык, сосредоточивающий в силу этого наше внимание на себе самом, язык, приобретший свойство самоцельности; таково второе структурное определение литературы.

Разберем теперь это второе определение. Язык литературы — единственный ли это язык, которому присуща систематическая упорядоченность? Отрицательный ответ на этот вопрос не подлежит сомнению. Строгую организованность и даже использование тех же, что и в литературе, средств (рифма, полисемия и т. п.) можно обнаружить не только в тех областях, которые принято обычно непосредственно сопоставлять с литературой (например, в рекламе), но и в тех, которые в принципе очень далеки от нее. Разве можно утверждать, что судебное выступление [дискурс] или политическая речь [дискурс]* никак не организованы, не подчиняются вполне определенным правилам? Ведь не случайно вплоть до эпохи Возрождения, а в особенности в греческой и римской античности, рука об руку с Поэтикой шествовала Риторика (можно даже сказать, что Поэтика следовала лишь в свите Риторики), кодифицировавшая законы таких видов дискурса, которые отличались от собственно литературного дискурса. Можно пойти еще дальше и задаться вопросом, релевантно ли само понятие «система произведения», по причине той исклю-

* Автор, по-видимому, сознательно не избегает здесь двусмысленности французского слова discours «речь» и «дискурс» в семиотическом смысле. «Судебное выступление» так же относится к «юридическому дискурсу», как «отдельное произведение литературы» к «литературе». — *Прим. ред.*

чительной легкости, с которой образуется любая система. В языке существует лишь ограниченное число фонем и еще меньше различительных фонемных признаков. Грамматические категории, способные вступать в парадигматические отношения, также немногочисленны: мало того, что повторяемость одних и тех же элементов возникает без всякого труда — она неизбежна. Известна гипотеза, выдвинутая Соссюром относительно древнеримской поэзии; согласно этой гипотезе, поэты зашифровывали в звуках своих стихотворений имена собственные, например имя адресата или же имя того, кому было посвящено стихотворение. Гипотеза Соссюра заводит в тупик не потому, что ей не хватает доказательств, а скорее потому, что их слишком много: в любом стихотворении разумной длины можно обнаружить анаграмму какого угодно имени. Более того, Соссюр не ограничивал себя одной только поэзией: «Эта привычка была второй натурой всех образованных римлян даже тогда, когда они брались за перо, чтобы написать ничтожнейший пустяк». Да и почему одних только римлян? Соссюр дошел до того, что обнаружил анаграмму города Итон в латинском тексте-упражнении, которым пользовались студенты расположенного там колледжа в XIX веке; к несчастью для Соссюра, автором текста оказался один ученый из Королевского колледжа в Кембридже, живший еще в XVII веке, тогда как в Итон этот текст попал лишь сто лет спустя после того, как был составлен.

Когда система с такой легкостью обнаруживается повсюду, то это значит, что ее нет нигде. Проведем еще одну дополнительную проверку: верно ли, что упорядоченность любого литературного текста столь высока, что всякий раз позволяет охарактеризовать его как самоцельный, самодостаточный, «непроницаемо плотный» (непрозрачный [opaque])? С подобным утверждением еще можно согласиться, когда речь идет о совершенном в себе самом, как сказал бы Мориц, — о стихотворении; ну а роман? Мы далеки от мысли, будто роман — это всего-навсего «кусок жизни», чуждый условности искусства, а следовательно, и системы; однако же наличие системы в романе вовсе не делает его язык «непрозрачным». Напротив, язык романа (по крайней мере классического европейского романа) служит указанию и изображению различных предметов, событий, поступков, персонажей. Но если цель романа не заключается в его языке, то нельзя сказать и того, что она заключается в обнажении механизмов его строения: замечание Шкловского, будто философские диалоги у Достоевского служат лишь средством задержки ожидания, сегодня способно вызвать лишь улыбку. Правда, могут сказать, что в романе «непроницаемо плотным» оказывается сам изображенный мир, но разве подобное представление о непроницаемости нельзя с тем же успехом отнести к предмету любого повседневного разговора?

Уже в наше время было предпринято несколько попыток соединить оба приведенных определения литературы. Однако поскольку ни одно из этих определений, взятое само по себе, не может считаться по-настоящему удовлетворительным, их механическое сложение мало чем может помочь делу; чтобы компенсировать слабость этих определений, их следовало бы сочленить (artculer), а не просто прибавить одно к другому и уже тем более не смешивать друг с другом. Беда в том, что на деле обычно происходит именно последнее. Приведем несколько примеров.

В одной из глав «Теории литературы» Уэллека и Уоррена Уэллек рассматривает вопрос о «природе литературы». Прежде всего он замечает, что самым простым методом решения этого вопроса является обнаружение того особого способа, которым литература использует язык, и выделяет три основных способа его использования — литературный, бытовой и научный. Затем он по очереди противопоставляет литературное употребление языка двум остальным. В отличие от языка науки язык литературы коннотативен, то есть многосмыслен и способен вызывать множество ассоциаций; ему свойственна непроницаемая плотность, «непрозрачность» (в противоположность языку науки, где знак *прозрачен* в том смысле, что, не привлекая к себе внимания, он отсылает нас непосредственно к обозначаемым предметам*) и многофункциональность: наряду с функцией референции (отсылки к предмету), он обладает также экспрессивной и прагматической (конативной) функциями. В отличие от бытовой речи язык литературы системно организован («язык поэзии, обращаясь к возможностям бытового языка, подчиняет их определенному принципу, ограничивая их и порою даже через них переступая...»**), самоцелен, поскольку обретает смысл существования лишь в самом себе.

Все сказанное до сих пор позволяет предположить, что Уэллек является сторонником второго определения литературы. По его мнению, преобладание каких-либо иных функций (референтной, экспрессивной, прагматической) уводит нас далеко от литературы, где всякий текст самоценен (эту самоценность назвали эстетической функцией, благодаря тезису, выдвинутому Якобсоном и Мукаржовским еще в тридцатые годы). Структурным следствием из определения литературы по ее функции является ее тяготение к упорядоченности и актуализации всех символических возможностей, заложенных в знаке.

Затем, однако, Уэллек устанавливает еще одно разграничение, которое, на первый взгляд, призвано лишь углубить противопоставление обыденного и литературного употреблений языка. Природа

---

* См. Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. М., 1978, с. 39.
** Там же, с. 41.

литературы, по Уэллеку, с наибольшей ясностью обнаруживается при постановке вопроса о референтности (отношении) к предмету мысли, имея при этом в виду, что для произведений, которым в наибольшей степени присуще качество «литературности», устанавливают референцию к миру вымысла и воображения. Содержание романа, стихотворения или драмы не может быть признано истинным в буквальном смысле слова, поскольку перед нами не те суждения, которыми оперирует логика. «Отличительным свойством литературы, — заключает Уэллек, — является именно ее "вымышленность"»*.

Получается, что незаметно для самих себя мы перешли от второго определения литературы к ее первому определению. Теперь оказывается, что суть литературы состоит не в упорядоченности (и следовательно, самоцельности) ее языка, а в ее вымышленности, в том, что она использует предложения, не являющиеся ни истинными, ни ложными с логической точки зрения. Значит ли это, что оба определения равнозначны? Подобное предположение нуждается по меньшей мере в том, чтобы его открыто сформулировали (не говоря уже о необходимости привести доказательства в его пользу). Ненамного продвигает нас вперед и вывод Уэллека о том, что при характеристике произведения искусства в равной мере необходимо учитывать все названные свойства (упорядоченность, сосредоточенность внимания на знаке и вымышленность); ведь вопрос, стоящий перед нами, заключается как раз в том, каковы отношения, связывающие эти свойства между собой?

Примерно так же обстоит дело и с Нортропом Фраем, поставившим аналогичную проблему в своей книге «Анатомия критики» (глава «Литтеральный и дескриптивный фазисы: символ как мотив и как знак»). Фрай также начинает с того, что разграничивает литературное и нелитературное (то есть включающее «научное» и «бытовое», по Уэллеку) употребления языка. В основу он кладет противопоставление внешней (от знаков — к миру) и внутренней (на сам знак, на другие знаки) направленности языка. Этому противопоставлению поставлена в связь оппозиция между центробежной и центростремительной силами, между дескриптивным и литтеральным фазисами, между символами-знаками и символами-мотивами. Характерной чертой употребления языка в литературе является его направленность внутрь. Заметим при этом, что Фрай, как и Уэллек, нигде не утверждает, будто эта направленность полностью определяет литературу, он говорит лишь, что она в ней преобладает.

Таким образом, мы вновь имеем дело со вторым определением литературы и вновь, незаметно для самих себя, соскальзываем к первому. Фрай пишет: «Для всех языковых структур в литературе решающей является направленность значений вовнутрь самой ли-

* См. там же, с. 42, 43.

тературы. Внешние значения и связанные с ними требования являются в данном случае второстепенными в силу того, что литературные произведения не претендуют на роль описательных или утвердительных суждений и, следовательно, не являются ни истинными, ни ложными... В литературе проблема реальности или истинности определений вторична по отношению к основной цели, которую преследует литература и которая заключается в том, чтобы создать языковую структуру, находящую смысл существования в самой себе; денотативная функция символов отступает здесь на второй план перед той ролью, которую они играют в качестве мотивов, связанных в единую структуру». В этой последней фразе непроницаемой плотности литературы Фрай противопоставляет уже не проницаемость обычных знаков, а языковые образования, не связанные с вымыслом (то есть поддающиеся проверке в системе «истина—ложь»).

Переход от второго определения к первому осуществляется здесь за счет слова «внутрь». Оно присутствует в обоих противопоставлениях, но в одном случае служит синонимом для выражения «непроницаемость», а в другом — для выражения «вымышленность». Использование языка в литературе одновременно оказывается внутренним и потому, что здесь становятся ощутимыми знаки как таковые, и потому, что действительность, к которой они отсылают, является вымышленной. Впрочем, возможно, что дело не ограничивается простой полисемией (то есть элементарным смешением терминов) и что между двумя значениями слова «внутренний» существует отношение взаимной импликации, так что всякий «вымысел» предполагает наличие «непроницаемости», а всякая «непроницаемость» — наличие «вымышленности». Похоже, что именно это хочет сказать Фрай, когда, страницей ниже, утверждает, что если, например, сочинение по истории вдруг подчинится принципу симметрии (иначе говоря, принципу системности, то есть идее самоцельности), то тем самым перейдет в область литературы, основанной на вымысле. Попытаемся понять, в какой степени реально существование этой двойной импликации; возможно, что в результате прояснится характер отношения, связывающего два указанных выше определения литературы.

Предположим, что перед нами некий исторический труд, отвечающий в то же время и принципу симметрии (то есть подпадающий под понятие литературы, согласно ее второму определению); значит ли это, что такой труд тем самым стал продуктом вымысла (то есть подпадает под понятие литературы, согласно ее первому определению)? Нет. Скорее всего, в этом случае дело идет просто о плохой исторической работе; при этом, однако, подобная работа попадает из разряда «правдивых» в разряд «лживых», но не изымается из самой системы «истина—ложь» и не включается в систе-

му «вымысел». Равным образом ораторское выступление какого-либо политического деятеля может отличаться высокой степенью упорядоченности, но от этого оно не становится «вымыслом». Есть ли принципиальная разница между «системностью» текста, описывающего реальное путешествие, и текста, описывающего путешествие выдуманное (хотя в одном случае мы имеем дело с вымыслом, а в другом — нет). Актуализация принципа упорядоченности, внимание к внутренней организации текста не имплицируют его вымышленность. Короче, наша предполагаемая импликация не «проходит» по крайней мере в одном направлении.

А в обратном? Является ли упорядоченная организация произведения необходимым следствием его вымышленности? Все зависит от смысла, который мы вкладываем в понятие упорядоченности. Если в соответствии с некоторыми замечаниями Фрая мы станем придавать ему узкий смысл и понимать под ним принцип повторяемости конструкций (рекуррентности) или установку на синтагматическую (в противоположность парадигматической) упорядоченность текста, то надо будет признать, что существуют вымышленные произведения, лишенные названного свойства: хотя и редко, но встречаются повествования, где действует одна только логика хронологической последовательности и причинных связей между событиями. Если же мы станем понимать это выражение широко, в смысле «наличия любого вида организованности», то тогда придется признать, что «направленность внутрь» свойственна всем без исключения вымышленным произведениям; однако в этом случае трудно будет указать такой текст, который вовсе не обладал бы подобной направленностью. Таким образом, вторая импликация также не является строгой, и у нас, следовательно, нет никакого права утверждать, будто оба значения слова «внутренний» на деле сливаются в одно. Мы еще раз убеждаемся, что обе оппозиции (и оба определения) были просто механически соединены, а вовсе не сочленены друг с другом.

Итак, единственный пока вывод состоит в том, что каждое из приведенных определений охватывает значительное число произведений, называемых обычно литературными, но отнюдь не все их, и что эти определения находятся в отношении взаимной связи, но не взаимной импликации. Мы продолжаем пребывать в неясности и неопределенности.

Возможно, постигшая нас относительная неудача обусловлена самой природой вопроса, которым мы задались. Мы все время спрашивали себя: чем литература отличается от всего того, что не есть литература? какова разница между литературным и нелитературным употреблением языка? Дело, однако, в том, что, ставя вопрос о

понятии литературы указанным образом, мы полагали как бы установленным существование другого, единого понятия «нелитература». Не настало ли время разобраться и в нем?

Когда говорят о дескриптивном письме (Фрай), об обыденном употреблении языка (Уэллек), о бытовой, практической или нормальной речи — во всех этих случаях постулируют явление, само существование которого оказывается крайне проблематичным, как только мы в свою очередь подвергаем его проверке. Представляется очевидным, что этого явления как сущности (в равной мере охватывающей как деловую, так и шутливую речь, как ритуализованный язык административных и правовых учреждений, так и язык журналистов и политиков, как научные работы, так и религиозные или философские сочинения) попросту не существует. Мы не знаем в точности, каково количество различных типов дискурса, но все без труда согласимся, что их число превышает единицу.

Здесь необходимо ввести родовое по отношению к понятию литературы понятие *дискурса* (discours). Это — структурная пара к функциональному концепту «употребления» (языкового) (usage). Почему необходимо это понятие? Потому, что языковые правила, обязательные для всех носителей языка, — это лишь часть правил, управляющих производством конкретной речевой продукции. В языке — с различной степенью строгости — закреплены лишь правила комбинирования грамматических категорий внутри фразы, фонологические правила, общепринятые значения слов. Между совокупностью этих правил, свойственных всем без исключения высказываниям, и конкретными характеристиками конкретного высказывания пролегает пропасть неопределенности. Эту пропасть заполняют, с одной стороны, правила, присущие каждому дискурсу в отдельности: официальное письмо составляют иным образом, нежели письмо интимное; а с другой — ограничения, которые накладывает ситуация высказывания: личность адресанта и адресата, условия места и времени, в которых возникает высказывание. Специфика дискурса определяется тем, что он располагается по ту сторону языка, но по эту сторону высказывания, т. е. дан *после языка*, но *до высказывания*.

Каждый тип дискурса в свою очередь определяется набором правил, применения которых он требует. Так, сонет — это тип дискурса, характеризующийся дополнительными ограничениями, накладываемыми на его метрику и рифмы. Научный дискурс, вообще говоря, не допускает референции первого и второго лица глагола, равно как и употребления иных глагольных времен помимо настоящего. Остроты подчиняются семантическим правилам, отсутствующим в иных типах дискурса, тогда как их метрическая организация фиксируется лишь в самом процессе конкретного высказывания. Парадоксальная особенность ряда дискурсивных правил состоит в

том, что они отменяют действие тех или иных общеязыковых правил; как показал Сэмюэль Левин в Соединенных Штатах и Жан Коэн во Франции, современная поэзия снимает некоторые грамматические или семантические ограничения. Однако с точки зрения оформления определенного дискурса дело всегда идет об увеличении, а не об уменьшении числа правил; доказательством служит то, что в любом «отклоняющемся от нормы» поэтическом высказывании мы имеем возможность без труда восстановить нарушенное языковое правило, потому что оно было не столько отменено, сколько оспорено другим, новым правилом. В литературоведческих исследованиях правила, свойственные дискурсу, изучаются обычно в разделе «жанры» (иногда «стили» или «модусы» и т. п.).

Коль скоро мы допустили существование различных дискурсов, наш вопрос относительно специфики литературы должен быть переформулирован следующим образом: существуют ли правила, свойственные всем без исключения — интуитивно выделяемым — литературным явлениям, и только им одним? Поставленный в такой форме, этот вопрос может получить, по-моему, лишь отрицательный ответ. Мы уже приводили многочисленные примеры, показывающие, что черты «литературности» обнаруживаются также и за пределами литературы (начиная от каламбуров и детских считалок и кончая философскими медитациями, не говоря уже о журналистских репортажах или описаниях путешествий); равно как и невозможность найти общий определитель для всех «литературных» произведений (если не считать того, что все они пользуются языком).

Положение решительно изменится, если мы обратимся не к «литературе», но к ее разновидностям. Не составляет никакого труда сформулировать правила, свойственные некоторым типам дискурса (этим, собственно, всегда и занимались различные «Arts poétiques», которые, правда, смешивали функцию описания с функцией предписания); однако в иных случаях сформулировать подобные правила оказывается гораздо труднее, и все же наша «дискурсная компетенция» неизменно подсказывает, что такие правила существуют. К тому же мы видели, что наше первое определение литературы очень хорошо подходит для повествовательной прозы, а второе — для поэзии; возможно, не будет ошибкой именно здесь искать истоки этих двух вполне независимых друг от друга определений: дело, очевидно, в том, что литература, которая, собственно, имелась в виду, не одна и та же в первом и во втором случаях. Первая зиждется на повествовании (Аристотель рассуждал об эпопее и о трагедии, а не о поэзии), а вторая — на особенностях поэзии (ср. разборы различных стихотворений, предпринятые Якобсоном); таким образом, полагая в обоих случаях, что имеют дело с литературой в целом, на практике давали характеристику двум основным литературным родам.

Аналогичным образом можно установить правила, свойственные тем разновидностям дискурса, которые обычно принято считать «нелитературными». В этой связи я предложил бы следующую гипотезу: встав на структурную точку зрения, можно утверждать, что каждый тип дискурса, определяемый обычно как литературный, имеет нелитературных «родственников», более близких ему, чем какой-либо иной тип «литературного дискурса». Так, некоторые типы лирических стихотворений и молитва подчиняются большему количеству общих для них правил, чем то же стихотворение и исторический роман типа «Войны и мира». Таким образом оппозиция между литературой и нелитературой уступает место типологии дискурсов. Еще раз процитируем Фрая, теперь уже без всяких оговорок: «Наш литературный универсум развился в универсум слова».

Результат проделанного нами пути может показаться негативным: он сводится к отрицанию правомерности структурного понятия «литературы» и к оспариванию самого факта существования однородного «литературного дискурса». Независимо от того, правомерно ли функциональное определение литературы, ее структурное определение таковым не является. Однако наш вывод негативен только на первый взгляд, ибо на место единой литературы явились многочисленные типы дискурса, заслуживающие с нашей стороны не меньшего внимания. В случае, если выбор предмета исследования не диктуется нам чисто идеологическими соображениями (которые, в таком случае, следовало бы эксплицировать), мы больше не имеем права заниматься одними только подвидами литературы (пусть даже место нашей службы и называется «сектором литературы» (французской, английской или русской). Необходимо наконец признать, что в действительности есть лишь единое поле исследований, которое в настоящее время безжалостно разделено между семантиками и филологами, социо- и этнолингвистами, специалистами по философии языка и психологами.

Можно ли сразу ответить и на другой вопрос, а именно: почему два приведенных нами определения утвердились в истории поэтики прочнее, нежели любые другие? Будучи взяты в обобщенном виде, который только и делает их пригодными, эти определения сводятся к утверждению значимого характера и системной организованности литературных текстов. Но не есть ли это определение любого дискурса, который является системой и смыслом одновременно? Полагая уловить специфику литературы, теоретики на самом деле определили более широкое в логическом отношении понятие — ее «ближайший род». Именно ему свойственны два этих существенных и взаимодополняющих аспекта, какое бы название мы им ни дали: нравиться и наставлять, красота и истина, игра и

подражание, синтаксис и семантика (хотя эти терминологические вариации отнюдь не безразличны: они относятся к одному и тому же предмету, но обозначают его по-разному). Однако чего при этом не удалось сделать, так это указать на специфическое «видовое отличие», характеризующее литературу внутри ее «ближайшего рода». Не в том ли причина, что литература не имеет такого отличия, иными словами, не существует?

Антонио Прието

Из книги «Морфология романа»

НАРРАТИВНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

I, 1. Вначале я постараюсь показать, что роман представляет собой системное единство, возникшее как оппозиция двух структур: объективной (общество) и субъективной (автор). Эта оппозиция, представляющаяся на первом этапе чистой абстракцией, практически реализуется в семантике, где биполярность лингвистического знака — «означаемое — означающее» соответствует биполярности объективной и субъективной структур. Это единство и противоположность двух структур, получая литературную *репрезентацию*, последовательно обусловливают превращение романа из абстрактного замысла в семиологический факт, в котором язык, освобождаясь от автоматизма обычных словесных актов и механики коммуникации, приобретает иную смысловую значимость, в силу которой данный семиологический факт выступает как явление, граничащее с реальностью. В результате устанавливается отношение между фигурами означаемого, то есть персонажами романа, с одной стороны, и сознанием автора, — с другой. Это отношение зиждется на субъекте — нарративном субъекте, — который определяет форму романа, в корне отличающуюся от иных эпических форм.

Ниже я попытаюсь показать, что форма романа, обусловленная нарративным субъектом и

несущая в себе дополнительную информацию, представлена уже в «Графе Луканоре» (структура которого отличается от структуры новелл «Декамерона»), хотя обычно считают, что исторически современный реалистический роман есть продукт духовного развития, которое прослеживается, начиная с плутовского романа «Ласарильо с Тормеса» и кончая современными объективистскими тенденциями. Отчасти эта точка зрения обусловлена тем, что «Ласарильо» в корне противостоит аллегорическим формам-архетипам*.

Таким образом, роман выступает как ответ на социальный запрос; линия развития романа напоминает дугу, которая отражает развитие буржуазного дискурса — от изначального провозглашения индивидуума до отказа от персонажа в пользу вещи, т. е. вплоть до «овеществления», которое мы наблюдаем у отдельных представителей «нового романа». Крайние точки этой дуги отражают диаметрально противоположные позиции, ибо этапы общества, которым они соответствуют, противоположны друг другу. Однако несмотря на четкое противопоставление — перед нами продукт духовного потребления, для которого характерно особое структурное единство, и позволяющее понимать его как роман. Внутреннее единство, которое определяет структуру романа, качественно отличает его от эпоса или трагедии. Постоянно развивающаяся форма не нарушила внутреннего единства романа, а лишь усложнила «траекторию душ», по которой шло его развитие.

Парадоксально, что единство исторического феномена, называемого романом, проистекает из двойственности, т. е. из двух структур, объединенных в определенном вымышленном пространстве и диалектически связанных между собой. Если Кьеркегор отвергал любые попытки объединить внешнее и внутреннее и считал, что каждый человек отгорожен от других людей непереходимой стеной, то диалектика Гегеля, отвергнутая датским философом, напротив, утверждала, что внутреннее и внешнее как в объективной действительности, так и в человеке, образуют диалектическое единство[1]. Это единство существует как нерушимая структура, и заключенное в нем противоречие при транспозиции в сферу романа порождает нарративное действие.

Рассматривая сущность этого диалектического единства, которое является стержнем романа в его историческом развитии, я исхожу из того, что роман рождается как результат мятежа, следствие неудовлетворенности или разочарования, и этот результат выражается в реалистической форме, — форме, воплощающей в себе стремление убедить, не прибегая к документам и доказательствам. Заинтересованность убедить других (представить реаль-

* Автор имеет в виду такие жанровые формы, как басня, притча, аполог и т. п. — *Прим. перев.*

ность) часто сопровождается попыткой писателя убедить самого себя, воссоздавая свою жизнь, попыткой *раствориться* в литературном произведении. В отличие от историка, прибегающего к доказательствам и документам, романист, стремясь создать свой реализм, желая убедить и убедиться самому, как бы играет эстетическими ценностями (литературным языком и техникой композиции). Таким образом, в литературном отношении роман есть социально обусловленная игра, посредством которой абстрактный, вымышленный мир последовательно трансформируется в мир реалистический и конкретный — предлагаемый нам мир романа. В таком случае задача критики будет состоять в том, чтобы войти в эту игру, которую я возвожу в классический, *лудический** ранг. И войдя в нее, критика должна вскрыть или хотя бы приблизиться к тому, что́ и ка́к представляет нам эта игра в литературном выражении. Речь идет таким образом о поиске, о семиологическом исследовании *смысла* литературного произведения.

I, 2. На первом этапе своего создания роман предстает перед нами как попытка разрешить литературным путем проблемную ситуацию. Посредством своей творческой активности романист шаг за шагом, эдуктивно (eductivamente)** творит или интерпретирует, исходя из того, что ему уже так или иначе дано в нем самом или вне его, в окружающем обществе. В той или иной форме налицо всегда некое исходное противоречие, конфликтная ситуация, которую романист призван разрешить посредством литературного выражения. Позднее мы убедимся, что изменения, вносимые автором в уже готовое произведение, не снимают проблемного характера исходной ситуации. Как утверждал Люсьен Гольдман, «никакой писатель не может создать сколько-нибудь ценное произведение, ставя в нем проблемы, которые он сам для себя уже заранее разрешил»[2].

Замечание французского критика в определенном смысле указывает на слабость некоторых внешне-реалистических романов. Но мне оно представляется важным совсем по другой причине, а именно: согласно Гольдману, догматическая тенденция, свойственная другим областям человеческой деятельности, совершенно чужда роману. В то же время утверждение Гольдмана объясняет настойчивое возвращение авторов к изначально поставленной, но так и не разрешенной проблеме (сравним монотонные поиски утраченного времени у Пруста, повторения Джойса в его героях). Мятеж или возмущение автора заключает в себе двойственность. Кто-то вос-

* От лат. ludus «игра, зрелище, состязание». — *Прим. ред.*

** Здесь и далее автор использует испанский термин educir букв. «эдуцировать», близкий по значению к термину «дедуцировать», чтобы обозначить самопроизвольное, необходимое развитие творческого мышления писателя (эдукцию), сходное с процессом логической дедукции. — *Прим. ред.*

стает против чего-то или против самого себя, и это восстание влечет за собой *действие*, развитие проблемной ситуации. Автор развивает или дополняет себя в герое или героях романа и таким образом осуществляет свою биографическую функцию, составляющую первый элемент диалектического единства: субъективную структуру (энéргейю) мира романа. То, против чего восстают (или что осуждают, атакуют, пытаются преодолеть), есть второй элемент диалектического единства, объективная, или внешняя, структура мира романа (в свою очередь наделенная динамизмом). Конфликт, развитие действия в романе обусловлены оппозицией обеих структур (субъективная структура vs. объективная структура). Их динамическое слияние *компонует* новую динамическую систему, свойственную данному романисту. Эта динамическая система и составляет мир автора — ту ситуацию, которую он хочет изобразить с помощью определенных элементов, персонажей, которые хотя не тождественны автору, но в некоторой степени содержат его в себе[3]. Такое слияние обеих структур, имплицитно манифестированное в *симптомах*[4], является условием их нового существования, ибо всякая структура динамична, то есть она продолжается (и трансформируется) в новых структурах.

I, 3. Как написанное произведение роман составляет диалектическое единство двух структур. Каждая из них с самого начала принадлежит системе отношений, в которой есть разные уровни: культурный, экономический, эмоциональный, исторический и т. д. Поэтому роман неразрывно связан с историко-социальной хронологией и, несомненно, принадлежит той эпохе, которую он отражает. Однако в то же время роману свойственно стремление к будущему, в нем делается попытка преодолеть время своего создания (об этом я скажу позднее). Всякий роман является выражением своей эпохи, и это важная черта его характеристики; поэтому мне представляется крайне поспешной и поверхностной точка зрения Эухенио Норы, утверждавшего, что Рамон Гомес де ла Серна «был первым испанским писателем (из тех, кто пришли на смену поколению 1898 года), который полностью отверг национальные, идеологические, моральные, политико-социальные проблемы...»[5]. Между тем все романы Гомеса де ла Серны в соответствии с авангардизмом эпохи, который отвергает Д. Лукач[6], и есть социальный ответ — отчуждение художника, разочарованного в буржуазных идеалах[7].

Установив непосредственную зависимость обеих структур от историко-социальной хронологии (прямым или косвенным *отражением* которой является роман), мы, однако, сталкиваемся с тем, что вторая, объективная структура романа, диалектически противостоящая первой, субъективной структуре и в то же время тесно связанная с ней, может быть в какой-то мере отделена от романа. Иными словами, объективная структура, которую автор воспринимает

и которой он противостоит, может быть а) социальной группой, чисто внешней *реальностью* или б) самим отчужденным романистом, поскольку он является частью общества, его обязательным членом. Это позволяет мне разделить все романы на две большие категории, несмотря на то, что эти категории взаимосвязаны: а) закрытый роман, где преобладает внутренний мир человека и где автор противостоит самому себе как объективной структуре, и б) открытый роман, где преобладает социальное и где автор находится в постоянном конфликте с социальной действительностью, которую он стремится изменить. (Понятно, что такое различие между закрытым и открытым романом проводится на этапе, предшествующем литературной реализации романа, и не соответствует различию между открытой и закрытой структурами, которое, например, предлагает Бакеро Гойанес, рассматривающий роман как уже осуществленный продукт, вне своего автора[8].)

В известной степени установленное мною деление напоминает классификацию Лукача в его книге «Против неправильно понятого реализма» (см. прим. 6), где венгерский критик проводит различия между авангардизмом и критическим реализмом. Однако, с моей точки зрения, обе категории Лукача не выходят за рамки критического реализма, который, безусловно, нуждается в особом пути, чтобы достичь уровня представления историко-социальных проблем. Я же в своем разделении к первой категории отношу произведения Кафки, Музиля и т. д., а ко второй — Бальзака, Гальдоса, Томаса Манна и т. д.

Той и другой группе романов свойственно стремление к переменам, реалистический поиск. Эту задачу призван выполнить нарративный субъект (часто — *протагонист*), который определяет форму романа и который *выражает себя* (экстериоризуется) в новой структуре. Последняя *соответствует* диалектическому единству, возникшему в абстрактном времени из оппозиции романиста (субъективной структуры) к обществу или самому себе как проявлению общества (объективной структуре). В основном, нарративный субъект, который *придает форму* роману, имеет двойственный характер (мы видим, как он появляется в «Луканоре», «Ласарильо» и т. д.), но ему сопутствуют также и другие персонажи (как вымышленные, так и заимствованные из литературной традиции), привязывающие нарративный субъект к реальности, которую они приводят в движение. Таким образом, вымышленные персонажи приобретают основное реалистическое значение в структуре романа, и, по словам Мишеля Бютора, «вымышленные персонажи заполняют пробелы в реальности и освещают нам ее»[9].

I, 4. Внутри диалектического единства структур, охватывающих мир романа, сохраняется, однако, дистанция, присущая оппозиции. В силу этого первая, субъективная структура — активный субъект — как бы стремится, движется по направлению ко

второй, объективной структуре, чтобы вступить с ней во взаимодействие. Вторая структура, как я сказал, может быть социальной группой или самим романистом как частью этой группы. Отмеченная дистанция мотивирует нарративное действие *как реакцию* на невозможность полного слияния обеих структур. Речь идет о вечном приближении (то, что раньше называлось неопределенным словом «вдохновение»), которое как абстрактное действие растворяется в конкретном нарративном действии. Этим объясняется непоследовательность, тематические возвращения (повторы) у таких авторов, как Джойс, Пруст или Итало Свево. Последний даже утверждал, что за всю жизнь он написал только один роман[10].

В известной степени дистанция между обеими структурами (которые сталкиваются для дальнейшего стимулирующего взаимодействия в романе) есть дистанция по горизонтали (внутри абстрактного мира), которая соответствует дистанции по вертикали, существующей всегда между абстрактным взаимодействием и его конкретной реализацией в нарративном произведении, то есть в манифестированном взаимодействии. Точно так же оппозиция обеих структур в абстрактном мире (в мире романа) есть взаимодействие, которое соответствует в плане языка, по мнению Терначини, сфере стилистики, определяемой *оппозицией:* человеческая индивидуальность вообще и ее конкретно-историческое воплощение[11].

Наметив эти соответствия, мы пришли к тому, что в мире романа, предшествующем нарративной реализации (которая важна постольку, поскольку придает смысл языковому сообщению), первая (субъективная) структура принадлежит к сфере творческих устремлений, как стремление раскрыть поставленную проблему и как жажда увековечить себя, и чтобы понять ее, нужно применять такие методы научного исследования, как психоанализ; в то же время вторая структура подвластна созданному, объективному миру или реальности, при изучении ее следует пользоваться такими методами, как исторический. Творческий процесс создания мира романа включает не только перемещение субъективной структуры по направлению к объективной, но и отрыв последней от ее собственной реальности, с тем чтобы приспособить ее к реальности субъективной структуры. Необходимое движение обеих структур строит новую, своеобразную действительность, которая приобретает реалистический характер в силу желания автора убедить. По сути дела речь идет о борьбе, которая, как писал Андре Жид, разворачивается между тем, что действительность предлагает роману, и тем, во что он должен превратить ее[12], чтобы построить свой мир.

Трудность критического анализа всякого романа кроется именно в слиянии двух структур, составляющих мир романа, где реальность предстает в смещенном виде. Анализ романа труден независимо от того, идет ли речь о *закрытом* романе, как называю его я,

где обе структуры отражают раздвоение романиста (как например, проекция Джеймса Джойса в Стивена Дедалуса в «Улиссе»), или же об *открытом* романе, например, такого писателя — представителя веризма, как Джованни Верга, относительно которого Д. Г. Лоуренс сказал, что ему, Верга, пришлось решать крайне сложную задачу, наделяя своим трагическим чувством персонажей, значительно уступающих ему в развитии[13]. Тем самым «веризм» итальянского писателя, его преданность сицилийской проблематике трансформировались и обогатились благодаря чувству трагического.

Я полагаю, что тревожные размышления Ортега-и-Гассета о романе (тревога европейцев эпохи великого кризиса отразилась также в книге Франсуа Мориака «Роман» [«Le roman», Paris, 1928]), где автор превозносит самое индивидуальное в человеке и констатирует сужение сферы конфликтов в романе), в которых философ предсказывает упадок и кризис этого жанра, связаны с тем, что он не принимал во внимание отмеченного выше слияния субъективной и объективной структур, образующих мир романа. Дело не в том, что романист идет на охоту за сюжетами и интересными историями, которых почти не осталось. (Ортега сравнивал современного романиста с дровосеком посреди Сахары[14]). Дело в том, что романист как субъективная структура чувствует себя погруженным в структуру объективную, причем последняя находится в постоянном обновлении, которое позволяет ей быть неисчерпаемым источником новых тем. Одновременно романист испытывает необходимость построить свою проекцию в произведении и изменить ту действительность, в которой он живет. Этим я отнюдь не хочу сказать, что со временем роман не прекратит своего существования или не трансформируется в другой жанр. Если это и произойдет, то не потому, что не будет тем, за которыми можно «охотиться», а потому, что новые исторические структуры придут на смену современным и обусловят историческое угасание романа (как было обусловлено угасание эпоса). Возможно, час романа пробьет, когда прекратит свое существование буржуазия, вместе с которой родился этот жанр в своих социальных связях.

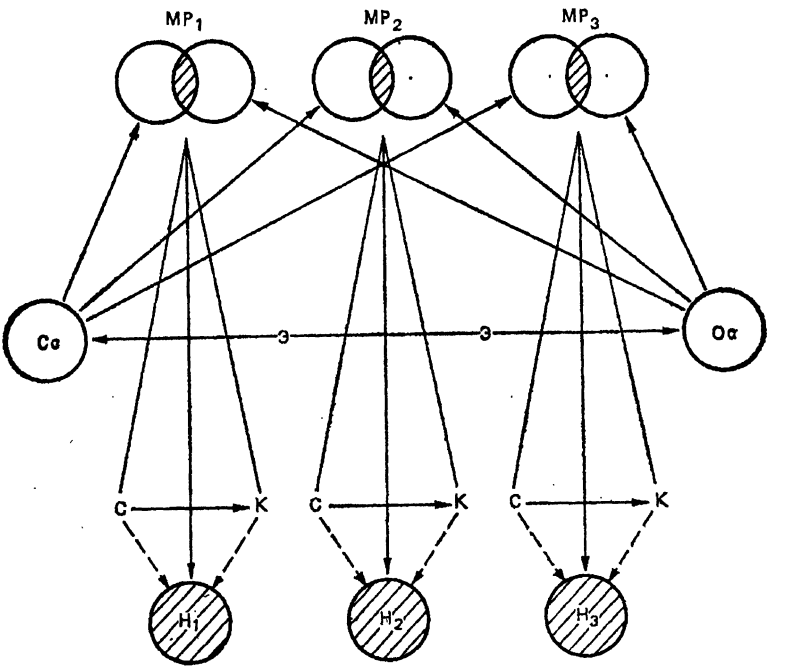
I, 5. Итак, мы имеем на оси эдукции (Э) субъективную структуру (Сс) и объективную структуру (Ос), которые встречаются и определяют мир романа (МР). В зависимости от того, лежит ли МР ближе к Сс или к Ос, он порождает три типа наррации, в которых принимают участие различные нарративные субъекты, начиная с формы, ближайшей к Сс (тип прустовского романа), и кончая формой ближайшей к Ос (тип объективистского романа). Таким образом абстрактный МР, определяемый встречей Сс и Ос в трех разных точках на оси эдукции ($МР_1$, $МР_2$ и $МР_3$), разрешается в динамизме структуры, в нарративном продукте (Н), смысл которого неразрывно связан с МР.

Однако очевидно, что МР не растворяется в Н так, что МР = Н, ибо между МР и Н всегда проходит время, необходимое для реали-

зации, в течение которого нарративный субъект и его языковое сообщение приспосабливаются друг к другу. Нарративный субъект (С) претерпевает этот процесс, ибо его касается новый (и/или старый) опыт, а языковое сообщение, коммуникация (К) касаются его постольку, поскольку романист не только выражает себя в языке (в той или иной степени близком к разговорному), но и размышляет о нем, то есть оценивает его выразительность, исправляя и направляя эффективность своего сообщения в пределах собственно языковой условной системы (кода).

Вертикальная дистанция между МР и Н (разделенными временем реализации) обусловливает продукт Н (подобно тому как дистанция по горизонтали между Сс и Ос помещала МР на границе с реальностью) следующим образом: непрерывность С и К, исходящих из МР, нарушается, претерпевает наложения, интерференции, что обогащает (также и в смысле риторики и стиля) продукт Н. Все это, образуя систему соответствий и создавая равновесие, формирует Н, определяет форму Н как систему трансформаций, которая, будучи регулируемой одним принципом, обогащается за счет использования внешних элементов, подчиненных ее правилам.

Структура Н (обладающая динамизмом, способным стимулировать другие структуры и развиваться в них) может быть схема-



тически представлена, начиная со встречи Сс и Ос в разных точках на оси эдукции (Э):

Согласно схеме, мы будем иметь МР + С + К = Н. Внутри гибкой системы соответствий конкретный продукт, или структура Н, варьируется в формах H_1, H_2 или H_3, так как точка возникновения МР, состоящего из Сс + Ос, проявляется как $МР_1$, $МР_2$ или $МР_3$. Следовательно, *новая* нарративная структура (Н) предстает перед нами как семиологический факт, выраженный в знаках, символах и симптомах, и *актуальность* его лежит не только в тексте (как в стиле), но и в антецедентах, придающих этому тексту *значение* [...].

1,15. Частое отождествление формы и структуры в современной критике в силу их широкого употребления представляет собой настоящую терминологическую проблему[15]. Каждое из этих понятий, взятое по отдельности, уже проблема, и куда сложнее обстоит дело, когда используются оба термина. Среди разнообразных текстов, трактующих употребление и значение термина «структура», достаточно упомянуть книгу Раймона Будона «Для чего служит понятие «структура»?», где автор подвергает анализу омонимичные выражения, смысл которых следует изучать внутри каждого отдельно взятого контекста. Рассматривая разнообразие структур в антропологии Леви-Стросса, в лингвистике Хомского, в фонологии Хэрриса и т. д., Будон приходит к отрицанию общего структурного метода, делая вывод, что «структура — всегда теория системы, и ничто иное».

Будучи отдаленным производным от латинского struere «строить», термин «структура» в настоящее время заключает в себе полисемию, которую не только трудно свести к единому целому, но и даже невозможно, если принять во внимание различные его употребления и значения. Столь же полисемично и понятие формы, особенно если мы будем проводить различие между формой и субстанцией (форма/субстанция). В строго лингвистическом смысле форма может быть, например, совокупностью звуковых единиц, из которых складывается означающее. Однако термин «форма» употребляется также и в смысле знака, поэтому он неоднозначен. Кроме того, термин «форма» (и особенно производный от него — «формальный») используется для квалификации (или «автоквалификации») тех методов лингвистического анализа, которые исключают из рассмотрения семантику.

То обстоятельство, что связанная с Пражским лингвистическим кружком группа чешских ученых назвала метод (или учение) русского формализма структурализмом, еще больше обусловило необходимость различать форму и структуру и одновременно указало на лингвистическое происхождение этого направления. Действительно, в соссюрианском смысле термин forme есть синоним термина structure, и они оба противостоят substance «субстанции».

Субстанция в этом случае есть семантическая реальность. Таким образом, форма слова mar «море», способна разлагаться на фонемы [m] [a] [r], в то время как смысл этого слова может быть представлен как способность построить вместе с другими единицами морфологического уровня синтаксическое единство, синтагму mar de amor «море любви». Синтагма mar de amor отсылает нас к другим, смежным смыслам. Это такая же метафорическая синтагма, как, например, определение, которое дает Лопе де Вега рукам Амарилис. Он называет их dos veces blancas «дважды белые», что означает их цвет и одновременно указывает, на отношение белая → снег → холодные. Этим я хочу сказать (в связи с терминологической сложностью понятий формы и/или структуры), что в литературоведении происходит нарушение лингвистической строгости описания (обусловленное, видимо, тем, что границы анализа раздвинулись). (Можно понять литературную стерильность Балли, отстраненность от литературы Ельмслева, которого интересовали лишь грамматические структуры.)[17]

Предложенное Бенвенистом соответствие между формой и смыслом развивает Ельмслев, согласно которому *функция* в лингвистике исключается из семантем. Под функцией понимается отношение, которое связывает слово (или совокупность слов) с остальными элементами. В глоссематике функция есть отношение, которое устанавливается между формой выражения и формой содержания, при этом мы вслед за Ельмслевом сразу же оговоримся, что выражение существует благодаря содержанию, а содержание — благодаря выражению. Теперь рассмотрим эту бинарность в глоссематике. В глоссематике содержание равно означаемому, а выражение означающему. И оба они (означаемое и означающее) обладают *формой* и *субстанцией*. Форма содержания (=означаемое) есть грамматический порядок, в котором нам представлено означаемое, а субстанция содержания есть его значение. В свою очередь в выражении (=означающем) форма выражения есть каждая из форм, которые приобретает тот или иной звук в разных языках, а субстанция выражения есть материя звука.

С другой стороны, Блумфилд, например, проводит различие между free form «свободная форма» и bound forme «связанная форма». Первая, свободная форма, есть всякая форма, способная построить сообщение: *Марио, сейчас* и т. д., в то время как nte и do есть связанные (присоединенные) формы в словах amante «любящий» и amado «любимый».

Во всех этих случаях форма дана как языковой элемент, но абстрагированный от его функции и значения. Эта форма, представленная в лингвистике в общем виде, не имеет никакого отношения к формализму, и ее возвышение в ранге можно легко понять. Согласно русскому формализму, форма есть все то, что превращает язы-

ковое выражение в произведение искусства. Такое *превращение* (отмеченное в той или иной степени субъективностью) опирается на синтагматическое отношение (и является им). Превращение, или трансформация, чисто языкового выражения в произведение искусства уже требует (от метода, изучающего произведение) выхода за рамки лингвистических терминов. Вследствие этого превращения изменился план содержания (неотделимый от плана выражения), и в литературоведении, очевидно, уже нельзя понимать под формой то же самое, что и в лингвистике (включая все разнообразие употребления этого термина). В строгом смысле слова, объект, к которому применялся этот термин (метод), изменился, и, следовательно, нам теперь необходимо сделать метод адекватным объекту. В результате форма выражения, о которой говорил Ельмслев, не будет столь же важна, как форма в металингвистическом и суперлингвистическом понимании, в которой автор выражает себя помимо своей воли.

Охарактеризуем вкратце методологическое развитие соответствующих понятий, которое предлагает феноменолог Роман Ингарден. Уже в пределах лингвистики структура есть система, которая функционирует по определенным законам, сохраняется и воспроизводится (ибо она есть движение, *энергейя)* в силу комбинации ее элементов. Структура в лингвистике есть система, для которой характерны *тотальность, трансформация* и *саморегуляция.* Следовательно, структуры определяются рядом отношений между их элементами (я еще вернусь к этому положению, когда буду проводить различие между структурой и формой).

В книге «Литературное произведение» («Das literarische Kunstwerk») Ингарден рассматривает литературный объект как систему из различных слоев, которые располагаются поверх реальных и идеальных явлений. Согласно Ингардену, каждый из этих слоев несет самостоятельные значимости и одновременно поддерживает внутреннюю связь с другими слоями (которым передает информацию и без которых не существовал бы сам). Первый (или низший) слой есть слой звуков языка. Как знак, первый слой определяет второй, слой значений. Это самый важный слой в структуре, ибо в нем начинается формирование объективных явлений (лиц, событий, предметов), *представленных* (отраженных) в произведении. С помощью этого слоя синтагмы *показывают* объект. Третий слой есть слой видов (Ansichten). По Ингардену, он представляет собой совокупность возможных способов (проявлений) чувственно воспринимаемых манифестаций объектов. Речь идет о виртуальном слое, который предоставляет возможность *видения* вымышленных объектов. Так мы подходим к четвертому и последнему слою, слою объективных реальностей. Здесь приобретает чувственно осязаемую форму *идея* произведения и происходит эстетическое восприятие

(выполняется задача искусства). Среди последовательности структур этот слой, в отличие от предыдущих, не имеет функции, но зато в его целостности одновременно и взаимосвязанно представлены все слои. Как я уже отмечал раньше[18], это разнообразие слоев (Wertqualitäten) напоминает концепции формалистов и представляет литературное произведение как единство, открытое для разного рода критических интерпретаций (среди которых структурализм не самым лучшим образом проникает в его смысл).

Подход Ингардена к литературному произведению уже предполагает выход за рамки лингвистического структурализма, ибо допускает мысль об эмотивной функции (и принимает, что эта функция существует), принадлежащей четвертому слою. Она наделяет форму (в ее эстетическом восприятии) коммуникативной значимостью, так что форма служит идее или сообщению при установлении контакта с адресатом. В таком случае функция четвертого слоя, по Ингардену, будет осуществляться вне произведения, во впечатлении читателя, заставляя его сознательно или бессознательно возвращаться к другим слоям произведения. Такая формальная позиция Ингардена не так уж далеко, как кажется на первый взгляд, отошла от критических установок в духе Кеннета Берка (смешивающего методологии психоанализа, марксизма, антропологии и семантики), для которого форма есть возбуждение желаний, порождающее в читателе[19] новые формы в соответствии с эмоциональными реакциями его как адресата. Иными словами, четвертый слой Ингардена, не имеющий функции внутри структуры слоев (в которой три слоя существуют лишь для того, чтобы существовал четвертый), выполняет свою, внутренне ему присущую функцию *вне* структуры, манифестируя свою организацию и идею адресату. Это *энергейя* всей структуры, поскольку мы видим необходимость ее объяснения как в тексте, так и вне его.

В исследованиях о построении моделей языка лингвистическим объектом до недавнего времени являлись фрагменты текста, не выходящие за пределы предложения. Однако очевидно, что сфера языка, речевое поведение, не ограничивается пределами предложения (последнее всего лишь один из этапов), поэтому необходим лингвистический анализ семантики текста (дискурса). В этом смысле большая экспрессивность и специфический характер художественных текстов, имеющих свои структурные особенности, их организация на различных уровнях представляют собой наиболее подходящее поле деятельности при изучении семантики текста и языковой техники выражения смысла. Такая постановка проблемы предусматривает применение лингвистических понятий (с логической экстраполяцией) к новому материалу (объекту), что отвечает старой филологической традиции поисков взаимодействия лингвистики и поэтики[20], традиции, которая продолжается в настоящее время в

семиологических исследованиях по литературе и языку. Этот подход зачастую предполагает возвращение (на новой основе) к традиционной лингвистике, противостоящей дескриптивно-формальной лингвистике, на базе которой развивалась современная трансформационная лингвистика. В традиционном языкознании изучение синтаксиса никогда не производилось в ущерб семантике, а семантический подход играет первостепенную роль в изучении литературного текста.

Естественно, что такие исследования предполагают в смысле (семантике) порождающее ядро и видоизменяют понятие формы.

Здесь уместно вспомнить структуру мира романа, изображенную графически в разделе I,5 [см. с. 377], ибо этот мир порождает то, что мы называем темой или сюжетом. Также уместно напомнить, что наша точка зрения противостоит мысли о теме или сюжете вне самих себя (когда за ними охотятся), о чем говорил Ортега (см. раздел I,4) [см. выше, с. 374], который далек от глубокого понимания нарративного. Это противопоставление относится непосредственно к тому, что было сказано в конце раздела I,14* по поводу двух форм использования типа. Охотиться за сюжетами или темами (с типизацией или без нее) значило бы перестать жить собственной жизнью (хотя при этом и приобретается ценный опыт другого рода), а жить ею необходимо присуще нарративной форме. В таком подходе (уместно вспомнить романы с продолжением) есть что-то общее с народным представлением о существовании сюжетов, которые можно предложить автору романа, чтобы он их рассказал. Наивное предложение, вроде: «Что я вам расскажу, это просто тема для романа!» (приведу как пример отрывок из письма Джан Паоло Озио кардиналу Федериго Борромео: «Можно было бы написать [роман] о том, что я пережил и испытал, и мое описание потрясло бы читателя»)[21], свидетельствует о непонимании подлинного нарративного процесса. Речь идет о формуле, пригодной для типичного персонажа низкопробного романа, персонажа, связанного с темой, абсолютно чуждой тем индивидуальным чертам, которыми наделяет его автор. Такой тематический подход не учитывает форму и совершенно не принимает во внимание язык. Но в процессе, изображенном графически в 1,5 [см. с. 376], который находит завершение в нарративном продукте (как данном произведении), форма есть тема, или форма есть то, как сообщается и представляется тема жизнью. (Это не противоречит *известной только романисту дистанции* между тем, что он хотел выразить, и тем, что у него выразилось. Это несоответствие служит для автора источником постоянной неудовлетворенности написанными произведениями и может заставить

* Этот раздел в настоящее издание не вошел. — *Прим. ред.*

его пытаться вновь воплотить те же темы в других или сходных нарративных формах.)

Когда эта оговорка сделана, можно сказать, что нарративный продукт Н как произведение искусства не создается в результате простой охоты за сюжетами или темами, чуждыми повествованию, какими бы интересными они ни представлялись. Охоте за сюжетом предшествует процесс интерьоризации, протекающий в нарративной форме и делающий чужое (внешнее) чем-то таким, что в свою очередь становится отражением повествователя. Из этого объединения (соединение Сс и Ос, отмеченное в I,5) с нарративной формой, которая характеризуется как нечто тотальное, трансформирующееся и саморегулирующееся, возникает процесс, несущий значения, которые принадлежат нарративной форме. Этот процесс, чтобы стать выраженным, нуждается в структуре, которая бы его поддерживала (и которая, будучи *энергейей,* становится независимой). Но заметим, что структура — не *весь* процесс, весь процесс содержится в форме, чья функция (подобно четвертому слою у Ингардена) состоит в передаче эмотивного значения адресату, к которому обращается (или хочет обратиться) автор. (Такое понимание формы приближает нас к социальной функции формы у Лукача.)

I,16. Рассмотрим процесс, изложенный в I,5. В определенной точке (которая может затеряться или не затеряться в структуре, но которая составляет семантическое ядро формы) Сс и Ос (другое лицо, факт или предмет) соединяются. Точка соединения есть порождающее ядро, которое в своем динамизме нуждается в манифестации, выражении. С этой целью соединение воплощается в нарративном субъекте, который, в разной степени, принимает черты автора романа. Речь идет не об отождествлении автора и нарративного субъекта, а о том, что последний в какой-то мере является отражением первого. С одной стороны, нарративный субъект есть автономный структурный элемент нарративной системы, в ином плане, с другой стороны, нарративный субъект выступает как форма, он есть романист, зависящий от себя самого. Будет ли нарративный субъект лицом (самый частый случай), деревом («Кровь» Елены Кирога), животным («Превращение» Кафки) или вещью («Воспоминания железнодорожного вагона» Е. Самакуа), реальность от этого не изменится.

Часто романист в своем произведении может «оформляться» (в том числе и семантически) как два и более персонажей, каждый из которых отчасти заключает его в себе. Соединение (с учетом возможных противоречий) характеристик этих персонажей приближает нас посредством формы к означаемому романиста. Отношение между этими персонажами в том виде, в каком оно складывается, когда мы сливаем их уже за пределами их самих и их репрезента-

ций, есть формальное отношение, в корне отличное от взаимоотношения этих персонажей — элементов нарративной структуры. Как элементы структуры персонажи действуют автономно внутри такой структуры, как роман, и в то же время противостоят этой структуре (внутри романа). Формально же отношение персонажей стремится обозначить нечто, лежащее вне структуры (вне романа) и завершиться вовне. В известной степени на это отличие вскользь указывала упомянутая Пражская школа, отдав предпочтение термину «структурализм» перед термином «формализм», ибо слово «структура» несет в себе меньше нюансов, намекающих на нечто вовне, чем слово «форма». Итак, следует отметить, что нарративная структура находит объяснение в самой себе, *в рамках* произведения, в то время как значение формы опирается на те элементы, которые отсылают нас за его пределы.

Когда романист воплощается в одном или нескольких персонажах (что необходимо для художественного выражения соединения Сс и Ос), он обязан поместить этого персонажа в пространстве и времени, заключающих его в себе. В результате автор творит новую структуру (пространство и время), являющуюся отражением внешней объективной структуры (Ос). Отдаленность новой структуры от реальной обусловлена проживанием в ней персонажа. В свою очередь персонаж (отражение Сс) обусловливается тем положением и жизненными характеристиками, которые сообщает ему новая структура времени и пространства, в которую он помещен. В определенной степени этот процесс лишает персонаж биографичности (к сведению тех, кто ищет в литературном произведении исторических данных). На этой стадии мы имеем уже ряд отношений между обеими структурами, которые взаимно изменяются и дополняют друг друга, образуя общую нарративную структуру. Мы описали процесс порождения и указали на трансформацию, свойственную всякой структуре и упомянутую в I,15. В то же время, как только произведение завершено в плане выражения, оно приобретает независимость как структура. Это обеспечивает возможность *саморегуляции* структуры произведения.

Очевидно, что если внутри нарративной структуры (как данного произведения) персонаж и пространство представлены в одном и том же или общем нарративном времени, то в процессе достижения этой стадии (процесс, который выводится, эдуцируется из формы) воплощение повествователя в персонаже обычно осуществляется до того, как образуется структура, куда помещается герой.

Романист, порождая себя в нарративном произведении, может иметь или не иметь представление о структуре, которая вместит в себя его проекцию в нарративном субъекте. В большой степени этот процесс зависит от личного, авторского подхода к организации произведения. Обычно дело обстоит так, что:

а) нарративный субъект как персонаж определяет рамки или структуру, в которые он помещен;

б) нарративный субъект придерживается структуры или определенных рамок, установленных a priori;

в) нарративный субъект по мере развития изменяет структуру или рамки, первоначально задуманные автором.

Во всех трех случаях, более или менее сознательно, устанавливается отношение взаимного воздействия и перемещения, как функция, в силу которой происходит в той или иной степени эффективная трансформация обеих структур (Сс м Ос). Довольно часто упоминают признания романистов о том, что персонаж, задуманный с определенными характеристиками, постепенно трансформировался в другого по мере его манифестации в нарративном плане. Здесь мы сталкиваемся с логически развивающимся процессом детерминации (отражением адаптации человека к среде). Это первое отношение — отношение Протея — отвечает становлению структуры как ряда отношений между ее элементами. Как я уже говорил, это первое выделенное нами отношение в последовательности эдукции. Найдя свое выражение, оно порождает ряд взаимосвязанных структурных элементов, зависящих от своего ядра или порождающего соединения. Со структурной точки зрения, порождающее соединение погружено (растворено), как один из элементов (в числе прочих) в целостной нарративной структуре. Но *формально* это порождающее соединение несет Идею существования и приобретает первенство (также и в историческом смысле). Семантическая роль этого соединения в содержании зависит от степени манифестации или от расстояния между генеративным замыслом (Идеей) и манифестацией (трансформацией Идеи в контакте со структурой).

(Понятно, что различие, которое я провел между структурой и формой и которое придает динамизм и той, и другой, подразумевает отход от методологии и теории формалистов. Прежде всего это относится к некоторым приложениям их теории к тексту, в особенности к *превращению* формального в структурное, что предпринималось на основе их постулатов, отчасти подвергавшихся при этом сокращению. Однако имплицитно при этом содержится также зависимость от формалистов и признание их заслуг в постановке таких задач, которые не рассматривала историческая школа[22].)

Таким образом, форма как данная цельность на металингвистическом уровне соотносится с темой, которая ее породила, и можно проверить (чего нельзя сказать о структуре), насколько изменилась тема в силу требований и функционирования языка при переводе ее в выражение. Это предполагает семантическую возможность верификации (чуждую структуре) того, как тема развернулась посредством структурных элементов, уже не зависящих (как

структура произведения) от Идеи или темы, хотя именно они и вызвали их к жизни в качестве сообщения. Именно динамизм формы (как отражение содержания) стремится к развитию в других формах, и последние по мере осуществления авторского замысла стремятся выполнить (или дополнить) то, что не было представлено в данной форме. Как структура «Дон Кихот» детерминирован в самом себе, в отношениях его элементов, но как форма «Дон Кихот» восходит к Идее противоположностей (печаль ≠ реальность = ирония), которая его породила и в своем динамизме переходит в рыцарский смысл «Персилеса и Сехисмунды». В отличие от динамизма структуры динамизм формы подобен научной абстракции, которую можно искать и находить посредством элементов формы. Но эти элементы находят оправдание (и объяснение) вне структуры нарративного произведения. В таком случае мы неизбежно приходим к дихотомии «содержание — выражение» и при этом в определенной степени выходим за рамки того соответствия между содержанием и выражением, которое предлагает глоссематика. Подобная дихотомия кажется логичной (Беккер утверждал: «Борьба напрасна, нет числа, способного это измерить»), она оправдывает существование критики, которая старается преодолеть расстояние, установленное этой дихотомией.

Мы пришли к тому, что повествователь проецирует себя на одного или нескольких субъектов, представленных в структуре. Структура обладает свойством динамизма. Структура появляется как необходимость пространственно-временных рамок для нарративного субъекта, имеет самостоятельное значение и, в свою очередь, превращается в агента, который принимает субъекта и изменяет его. В этом смысле нарративный субъект что-то теряет из своего содержания при помещении в структуру, но при этом и приобретает нечто от самой структуры. Эти потери и приобретения влекут за собой изменение согласно свойству трансформации, характерному для всякой структуры. Значение этой трансформации, которая расширяет, сужает и/или изменяет порождающую тему, мы можем измерить посредством формы, но не посредством структуры, ибо структура (в силу тотализации и саморегуляции) есть нечто замкнутое в самом себе и функционирует в соответствии со своими внутренними законами. Итак, форма есть результат соединения субъекта и структуры, результат помещения субъекта в структуру (с вытекающим отсюда подчинением и превращением самого субъекта в структурный элемент). Форма дает возможность измерить расстояние между порождающим смыслом и тем (закрепленным и измененным) смыслом, который сообщает структура. В противовес структуре, замкнутой в самой себе, форма с ее семантической нагрузкой проявляется в развитии, идущем в постоянном динамизме от формы как выражения к повествователю, а от него снова к форме. Этот ди-

намизм проистекает из дихотомии «содержание ⇒ выражение ⇒ содержание».

Как я стараюсь показать, литературное произведение как структура обладает динамизмом именно потому, что означаемое всегда есть отношение и никогда — объект (всегда движение и никогда — нечто статическое). Уже Соссюр утверждал, что лингвистическая единица имеет значимость. Каждый элемент нарративной структуры имеет значимость. Но если в структуре эта значимость заключена в отношении элемента с другими элементами структуры, то в форме та же значимость проистекает из отношения элемента с элементами другого порядка (фактами, документами, биографией), которые лежат вне структуры. Полисемия или неоднозначность лучших нарративных произведений (и всей литературы в целом) обусловлена связью элементов с внешними элементами, представленной формой, с одной стороны, и связью элементов в структуре (где они имеют иную значимость) — с другой.

Точно так же в отношении времени. Структура как бы отдыхает в пределах нарративного времени произведения, а форма (вместе со смыслом) стремится наверстать протекшее время посредством своего перехода к будущему. (В сущности, форма — это и есть протекшее время.) Именно поэтому нарративный субъект многих произведений имеет тенденцию раздваиваться на другие мифические или символические (вневременные) персонажи или сливаться с ними. Форма как бы увеличивает временное измерение, ограниченное структурой.

Поскольку структура наделена свойствами тотализации, трансформации и саморегуляции, я хочу отметить (в качестве возражения сторонникам исторического метода), что никакой элемент или фрагмент структуры не является чуждым или лишним в ее составе (это отвергают те, кто, применительно к некоторым произведениям, воспринимает только их форму). Одно время критики довольно часто утверждали: «Такой-то персонаж — лишний в таком-то произведении». Этот подход совершенно неприемлем с точки зрения структурного анализа, ибо персонаж произведения имеет определенную функцию и стоит в определенном отношении к другим элементам. Само присутствие его — уже факт структуры, и оно оправдано именно постольку, поскольку как структурный элемент он не адресует к смыслу вне себя, но как элемент формы он может осуществлять такую адресацию. Это отличие обусловлено тем, что структура имеет иной динамический порядок, чем форма.

Структура замыкает движение и значение своих элементов внутри себя самой и, регулируя все это как целое, создает свой смысл.

Внутри этой цельности (завершенности) элементы претерпели трансформацию, в результате которой они накапливали свое качество носителей означаемого, начиная с момента его появления по мере его движения в нарративном тексте (таково, например, становление или развитие литературного персонажа). Структура воплощает в себе движение, это значит, что она стремится к адресату, который должен воспринять это движение. Таким образом, структура обладает динамизмом, в силу которого она и реализовалась.

Я закончил раздел I,14* словами Хинеса де Пасамонте, персонажа из «Дон Кихота», которые подходят не только к плутовскому роману, но к любому повествованию. Здесь мы ясно видим, что любое произведение зависит от автора. Как только автор проецирует себя на нарративный субъект, который живет в нарративной структуре, он растворяет свою порождающую проблему (свою тему) в этой структуре. Вспомним фразу Гольдмана, упомянутую в разделе I,2 — «никакой писатель не может создать сколько-нибудь ценное произведение, ставя в нем проблемы, которые сам уже заранее разрешил». Но ведь растворить [disolver] не значит разрешить [resolver]. Едва лишь проблема оказывается растворенной в нарративном произведении, как она наделяет структуру содержанием, то есть ее означаемым, распределенным в отношениях элементов, которые его выражают и сообщают. Растворение проблемы в действии составляет динамизм структуры и ее движение.

В форме (которая предопределяет это растворение) выражается выход за пределы структуры (пространственно-временные границы), который дает начало динамизму формы, свидетельствует о неразрешимости нарративного субъекта как проекции автора. Форма (по крайней мере потенциально) указывает на некий мир, который представлен, но не разрешен в данной нарративной структуре, поскольку зависит от предыдущей нарративной структуры (если она существует), и стремится (но и не может) найти свое разрешение в будущей, последующей структуре. Именно динамизм формы (с его постоянной постановкой проблем в формах структур и попытками их разрешить) в своем выраженном развитии составляет мир романиста, придает органическое единство и стилистическое своеобразие различным произведениям одного автора. Вот почему мы можем говорить о мирах Гальдоса, Пруста, Бальзака, Кафки или Барохи, несмотря на разнообразие их сюжетов.

Структура как система может стимулировать другого повествователя, который начинает ей следовать (с теми или иными измене-

---

* Раздел I,14, который в настоящем издании не воспроизводится, заканчивается примером из XXII главы «Дон Кихота»: в ответ на вопрос Дон Кихота к персонажу Хинесу де Пасамонте, закончена ли книга, которую он пишет, Хинес ответил: «Как же она может быть окончена, когда еще не окончена моя жизнь?» — *Прим. ред.*

ниями). Но содержание и смысл структуры заключены в ней самой, поэтому мы можем объяснить структуру, не привлекая порождающего ядра, которое сообщило ей движение (и находится вовне), или связей структуры с другими произведениями автора, ибо никакой структурный элемент не лежит за ее пределами и функция структуры состоит в их взаимодействии.

Поскольку структура может стимулировать другого повествователя, понятие структуры (очевидно, что структура это не архитектура) известной своей стороной соприкасается с понятием техники. Техника нарративного произведения — термин несколько неточный, заимствованный извне, был в ходу у исторической критики и мало используется в современных литературных анализах. В данной работе я буду понимать под техникой использование тех чужих элементов, которые автор более или менее сознательно применяет при создании своего произведения. Эти элементы (от внутреннего монолога до таких риторических фигур, как анафора) принадлежат времени автора во время написания произведения. Как только эти элементы переходят во время произведения, включаются в него, они становятся структурными элементами, теряющими свой внешний характер. Однако технические элементы, к которым прибегает автор, не всегда переходят во время нарративного произведения, ибо они могут измениться, или даже исчезнуть в процессе написания, приобрести иную, отличную функцию. Таким образом, техника принадлежит времени создания произведения и имеет значение только тогда, когда входит в структуру, когда подчинена ей (подчас приобретая функцию, отличную от той, что имела первоначально). Итак, техника дана нам только в структуре. «Техника» — термин почти ненаучный, я употребляю его здесь только в качестве простого уточнения и не намерен более задерживаться на этой проблеме.

I, 17. Даже в различии, которое я провожу между формой и структурой (и которое я ввожу и сопровождаю примерами в III и IV частях этой книги), можно заметить, что форма и структура как носители содержания имеют общую область. Этой областью главным образом является язык. Отсюда вытекает необходимость рассмотрения языковой полисемии, амбивалентности, двусмысленности. Эту проблему я анализирую во II части. Однако пойдем далее.

Л. Витгенштейн в своем сложном «Логико-философском трактате» (мы учитываем и то, что он впоследствии отрицал или исправлял себя самого) выделил ряд постулатов, которые стали предметом самого серьезного внимания[23]. Из трактата Витгенштейна мы узнаем, что *«мы не можем выразить посредством языка то, что само выражается в языке»*. Мы не будем связывать с этим другое утверждение Витгенштейна: «То, что может быть показано, не мо-

жет быть сказано» (4.1212) (ибо сейчас это не входит в нашу задачу). Ведь в нарративном процессе (изложенном в I,5 и дополненном в I,15 и I,16) можно наблюдать, как автор романа *показывает* посредством языка, которым обладают его нарративная структура и форма

Рассмотрим выделенную фразу. Будем считать, что «то, что само выражается в языке» принадлежит к структуре, а «то, что выражается посредством языка» принадлежит к форме. Это сложная и тесно связанная двойственность, которая принадлежит одному и тому же выраженному единству. Если согласятся со мной, что такая двойственность существует, то мы далее скажем, что язык структуры (в соответствии с присущими ей тотализацией, трансформацией и саморегуляцией), несомненно, обладает автономией. В нем, согласно тому же Витгенштейну, как во всяком языке, важным являются его употребления, область функционирования. Поэтому следует изучать употребление языка, а не его значения. Мне кажется, что такой интерпретации соответствует большая часть структурных исследований литературного произведения, в которых довольно часто отсутствует анализ семантики.

Сам по себе смысл (содержание) в структуре выражается в языке, в употреблениях языка. Значение автономно (является содержанием) внутри структуры. Значение нам дано через синтагматическое отношение, в которое слово или предложение помещено, чтобы выражать новый (оригинальный) смысл. Слово «отец» не соотносится с означаемым вне текста, но выражает, является означаемым в силу своего употребления внутри синтагмы, синтагматической цепочки, приобретая в таком случае новое значение. В качестве возражения сторонникам исторического подхода приведу отрывок из TCLP (№ 1, 1929), который я уже приводил в своей работе «Семиологическое эссе»*. Представители Пражской школы утверждали: «Поэтическое произведение — это функциональная структура, и различные элементы ее не могут быть поняты вне связи с целым. Элементы, объективно тождественные, могут приобретать в различных структурах совершенно различные функции».

В «Семиологическом эссе» я цитировал одиннадцатисложный стих Лопе де Вега «Guando me paro a contemplar mi estado...» («Когда я погружен в себя...»). Любой сторонник исторического метода сможет заметить, что этот стих объективно тождествен такому же стиху Гарсиласо де ла Вега. Но это наблюдение не объясняет значения стиха со структурной точки зрения. Оно не объясняет его даже внутри одного и того же языка поэзии, ибо у Лопе де Вега значение обусловлено употреблением в иной, чем у Гарсиласо,

[1] Библиографическую ссылку см. в прим. 4 на с. 418. — *Прим. ред.*

структуре, что, как я объяснял в упомянутой работе, придает стиху новое значение, несмотря на то, что слова и их порядок тождественны в обоих одиннадцатисложниках.

Мы пришли к выводу, что структура сама выражается в языке, в своем языке, поскольку существует не один язык, но языки, которые выступают как содержание живых структур.

Однако очевидно, что и отмеченное сторонниками исторического подхода отношение также существует (по крайней мере в данном случае). Это отношение лежит вне структуры и выражается формой. Лопе де Вега стремился выразить себя (и об этом нельзя забывать) посредством языка. Он сделал своим (более или менее сознательно) стих Гарсиласо, стих, уже принадлежащий к традиции. Этот факт заимствования чего-то, что лежит вне структуры, имеет значение, которое объясняется связью, лежащей за пределами структуры, связью Лопе — Гарсиласо, связью, относящейся к их поэтике и жизненному пути. Это заимствование может, например, означать, что Лопе стремился опереться на Гарсиласо (так же, как Гарсиласо в свое время обращался к Петрарке), чтобы не чувствовать себя изолированным в ситуации противоречия (в любви), когда он желает изменить свою жизнь и вместе с тем с помощью слова обращается к прошлому (а это значит оживляет прошлое в любви).

Эту связь Лопе — Гарсиласо нельзя вывести из структурных отношений, хотя она и присутствует в синтагматическом отношении структуры. Ибо здесь (живя в другом, чем Гарсиласо, времени) Лопе выражается посредством своей формы языка, но при этом понимает сменяющиеся формы языка как формы жизни. Я полагаю, что этот пример с одним и тем же одиннадцатисложным стихом иллюстрирует сказанное выше о сложной и тесно связанной двойственности одного и того же выраженного единства.

Позволю себе еще раз взглянуть на ту же проблему под другим углом зрения. Я имею в виду нарративный субъект, на которого проецирует себя автор. Предположим, что в современную эпоху автор в качестве нарративного субъекта перемещается в XII век, стараясь найти там определенные константы, чтобы с их помощью выразить себя в символе. К XII веку относятся фрагменты предания, рассказывающего историю Тристана, плода запретной любви Бланшефлер и Ривалена, короля Леонуа. (На основе этого предания Вагнер создал свою оперу «Тристан и Изольда».) История о Тристане и Изольде полна волнующей красоты, она воскрешает в памяти такие константы мифа, как борьба Тесея с критским чудовищем Минотавром или то, как объятый скорбью Эгей умирает (как и Тристан) в тот момент, когда видит на корабле вместо белых парусов (служащих добрым знаком) — черные. Предположим, что автор, творящий в 1975 году, сливает свою тематическую ситуацию с

историей о Тристане (чего не смог сделать Ларра с Масиасом) и происходящее с ним лично растворяется (но не разрешается) в том, что происходит с Тристаном. Таким образом, оба процесса изменяются ради нового повествования. Рассмотрим краткий фрагмент этого нового повествования, например, тот момент, когда нарративный субъект 1975 года сменит имя *Тристан* на *Тантрис*, не объясняя как-либо причины такой перемены. Синтагматическое отношение внутри структуры, выраженной в себе самой, укажет нам только на сознательное изменение имени. Однако формально, посредством языка, возникнет металингвистическое отношение, которое, подобно симптому, сигнализирует нам присутствие белокурой Изольды, которой Тристан демонстрирует красоту музыки.

Новое нарративное произведение, несомненно, может получить объяснение в своей структуре и посредством ее выражать означаемое. Но максимальное приближение к смыслу и к порождающему ядру будет достигнуто только путем оценки формы, посредством которой сообщает себя автор. Это означает (я допускаю это предварительно), что в лингвистическом сообщении есть соответственно линейность и многомерность.

Структуралист Андре Мартине в своих «Основах общей лингвистики»[24] проводит различие между системой языковой и зрительной, уточняя то, что заметил еще Соссюр. Мартине утверждает, что в отличие от линейного характера словесных сообщений система зрительной коммуникации не линейна, а двухмерна, потому что адресат, созерцающий картину, воспринимает сообщение как целое. Речь идет, очевидно, о формах другой коммуникации. В данный момент я несколько схематично констатирую (позднее я разовью свою точку зрения), что в синтагме *Я сменил свое имя Тристан на Тантрис* внутри структуры дана линейная последовательность сообщения. В то же время данная синтагма как форма воскрешает в памяти ситуацию и тему за пределами структуры и за пределами простого сообщения (разумеется, при условии, что адресату известно о Тристане). Эти ситуация и тема связывают прошлое (XII век) и настоящее (1975 год) и придают последнему многомерное значение. Помимо простого действия замены имени (подобно тому как вместо *Хуан* мы сказали бы *Педро)*, данного структурой, адресант построил посредством языка и за пределами его линейности синтагму, в которой замена *Тристан⇒ Тантрис* объясняется (и сообщает нечто) посредством связи одного из элементов с явлениями вне текста (хотя сам элемент упоминается в тексте). Эта связь заставляет адресата (для понимания смысла) действовать во временных рамках «прошлое — настоящее».

Таким образом внутри разнообразного индивидуального восприятия одного и того же произведения разными читателями мы

можем обозначить две большие группы адресатов: А) те, кто *линейно* следуют *современному* чтению текста (для них *Тристан* — такое же имя, как *Педро или Хуан)*, и Б) те, кто понимают имя *Тристан* многомерно: а) видят в нем прошлое (XII век); б) настоящее (1975 год) и в) время-константу (вневременное состояние), образованное слиянием двух отдаленных временных отрезков, которые приспосабливаются друг к другу, служа новому сообщению. Адресат А сможет подойти к пониманию структуры и вникнуть в ее смысл с помощью того, что ему показано. Адресат же Б воспринимает и становится участником того, что выражено посредством формы языка, которая понимается многомерно.

Теперь мы, действительно, можем подойти к той особенности языка, на которую указал Витгенштейн: «То, что может быть показано, не может быть сказано» (4.1212). Структура есть то, что нам показывает, а форма есть то, о чем нам говорит эта структура (за ее пределами), ибо она этого не показывает. Иначе говоря (тут необходимо вспомнить пункты 3.32 и 3.344 из трактата Витгенштейна, приведенные в сноске[23]. Для адресата А *Тристан* есть знак, показанный в действии структуры, а для адресата Б *Тристан,* помимо того что это знак, есть форма, отсылающая к неким связям (многомерность), которые вызывают к жизни определенные символические константы таким образом, что их семантика сохраняется и в современном действии.

На самом деле отношение «структура — форма» (линейность — многомерность), которой обладает литературный текст (и которая заставила многих лингвистов избегать его анализа), укладывается в рамки отношений, указанных Романом Якобсоном в начале его работы «Лингвистика и поэтика»:

«Анализируя сюрреалистическую метафору, мы не сможем оставить в стороне картины Макса Эрнста или фильмы Луиса Бунюэля "Андалузский пес" и "Золотой век". Короче говоря, многие поэтические особенности должны изучаться не только лингвистикой, но и теорией знаков в целом, то есть общей семиотикой»[25].

Якобсон совершенно верно отмечает то обстоятельство, что в ориентации на адресата адресант «находит свое чисто грамматическое выражение в звательной форме и в повелительном наклонении, которые синтаксически, морфологически, а часто и фонологически отклоняются от прочих именных и глагольных категорий»[26] (т. е. более однозначно истолковываются). Характерно уже то, что в нарративном произведении представлено в основном синтагматическое отношение повествовательного декларативного типа, а фрагменты, написанные в повелительном наклонении и вставленные в повествование (например, в романе Матео Алемана «Гусман из Альфараче»), выполняют функцию сближения, вовлекая адресата в современность, в настоящее время, которое ему не чуждо. Использование императи-

ва (как формы привлечения внимания) — уже сигнал об опасности удаления от повествовательной формы интерпретации, свойственной нарративному произведению, ибо она объединяет эмотивное (экспрессивное), конативное и референциальное (коммуникативное) употребления языка[27]. Иначе говоря, императив у Алемана (как и у других авторов) имеет функцию привлечения внимания (имплицирует адресата) и преодоления неоднозначности и полисемии, содержащихся в нарративной форме. (О том, что дидактическая роль императива, которую высоко ценил Кеведо, потерпела неудачу в «Гусмане из Альфараче», я писал в уже упомянутом «Семиологическом эссе».)

Тем самым мы обнаруживаем иное отличие (временного характера) между структурой и формой как двумя сторонами того же выражения. Ссылаясь на У. С. Аллена, Мартине утверждает:

«Структуралист — не тот, кто обнаруживает структуру, но тот, кто ее строит»[28].

Очевидно, что в этой оппозиции (обнаруживать/строить) имплицитно содержатся адресант и адресат посредством структуры и формы. Эта оппозиция отвечает противопоставлению отправителя-адресанта/получателя-адресата.

Романист посредством формы сознательно пытается передать сообщение. Это проявление воли скрыто, но всегда присутствует в сообщении. Оно не терпит ущерба оттого, что сообщение меняется, когда романист размышляет о нем (как я писал в I,5), или оттого, что проявление воли в выражении (посредством знаков и/или символов) сопровождается, иногда невольно, симптомами, которые дополняют сложное единство текста как отражения. В форме (более или менее сознательно) всегда проявляется воля к передаче сообщения (форма-содержание), которую адресат обнаруживает по мере того, как декодирует сообщение. (Хороший и ясный пример: читатель детективных романов, который сам обнаруживает, кто преступник.)

Итак, форма выражает проявление воли автора. Вместе с тем, строя композицию повествования (а композиция не есть структура), романист играет техникой, языком, которые он использует в основном интуитивно. Данные элементы (техника, язык и т. д.), присутствующие в нарративном произведении, образуют то, что мы называем структурой (с ее разными планами). Однако в отличие от формы, в структуре почти отсутствует проявление воли романиста, либо это проявление сведено к минимуму. Структура есть нечто, что *поражает* романиста, когда он уже закончил произведение, когда произведение существует вне автора. Несмотря на то, что структура складывается в произведении, она есть результат a posteriori. Отсюда (даже применительно к поэзии) следует тот факт, что романист зачастую удивляется тому или иному структурному анализу своего произведения, даже не подозревая о наличии того или иного явления (вплоть до риторических приемов) в своем

романе. Элементы были использованы автором, но их совокупность в системе отношений — структура — есть нечто, восстановленное и показанное автору получателем его сообщения.

В противоположность форме, передающей информацию получателю-адресату (эмотивно, конативно и/или референтивно) в процессе того, как он последовательно читает текст, структура как саморегулирующаяся целостность есть то, что достигает (или может достичь) получателя, когда произведение завершено и получатель поэлементно восстанавливает для себя эту структуру. Итак, речь идет о разных временных характеристиках: если время формы складывается постепенно, то время структуры можно проанализировать лишь тогда, когда оно уже протекло в своей целостности.

Отмеченная трудность различия между формой и структурой кроется (как я старался показать) в области языка (литературного языка), общей для обеих. Эту трудность я постараюсь объяснить, приводя примеры нарративных структур и форм (в третьей части моей книги), ибо дальнейшее рассмотрение этой проблемы на данном этапе явилось бы излишним теоретизированием. В основном, как я показал, форма объясняется в ее отношениях с внешними элементами, и лишь в связи с ними можно обнаружить порождающее ядро и смысл, дающий начало нарративному субъекту, который формируется и дан посредством языка. В свою очередь, форма, то есть роман, захватывает своим движением (действием) получателя-адресата, который постепенно чувствует (воспринимает ее) по мере чтения (следования по тексту). В основном, структура объясняется в отношениях ее элементов друг с другом, размещенных в различных планах, которые показывают себя в языке. В свою очередь, в соответствии с тотальностью и саморегуляцией, получатель-адресат строит эту структуру и познает ее, когда нарративное произведение принято как сообщение и воспринимается как целое, независимое от внешних связей. Следовательно, наблюдения семантического, морфологического, ритмического и иного порядка над тем, что дано как целое (и таковым является на деле) в тексте, приобретают различные значения (дополнительные, а не противоречивые) по отношению к форме и к структуре.

Примечания

[1] Как известно, Гегель в отличие от Канта отождествлял саму философию и ее понятие, поэтому философия у Гегеля предстает как *реальность* (эффективное знание, строгая наука). Согласно Гегелю, природа (то, что мы называем объективной структурой) есть Идея в другом, *отчужденном* бытии, протяженном в пространстве и во времени, т. е. идея

есть диалектическое развитие. Идея (в своем бытии) и ее оппозиция (идея в своем инобытии, т. е. природа) являются тезисом и антитезисом длительного процесса. В отличие от таких противников гегелевской диалектики, как Сёрен Кьеркегор, для которого начало и конец философии есть «я» как бытие индивидуума (под этим понимается отношение «я» к самому себе), диалектика Гегеля с ее реализмом, естественно, оказала плодотворное влияние на всю методологию исследования литературы Например, Дьёрдь Лукач интерпретирует *реальность* художественных произведений в генетико-социальном аспекте (ниже мы увидим, что в отличие от формалистов Лукач понимал, что подлинно социальным в литературе является ее форма).

2 G o l d m a n n L. Epílogo // L u k a c s. Teoría de la novela. Siglo Viente, Buenos Aires, 1966, p. 166.

3 Поскольку я еще вернусь к этой проблеме в своей книге, приведу здесь мнение Франсиско Айалы (оно, между прочим, интересно тем, что отражает опыт романиста), так установившего отношение «автор — персонаж»: «проецируя событие на вымышленный план, автор — ранее субъект или свидетель действия — сам себя переносит в этот план и превращает себя посредством поэтической магии в вымышленного героя» (A y a l a F. La estructura narrativa. Taurus, Madrid, 1970, p. 22). Естественно, система такого превращения будет различной в разных нарративных структурах, о чем я скажу позднее.

4 Важную роль симптома внутри литературного произведения я рассматриваю в моей работе «О символе, знаке и симптоме» («De un símbolo, un signo y un síntoma»), которая была включена в мою книгу: P r i e t o A. Ensayo semiológico de sistemas literarios. Ensayos. Planeta, Barcelona, 1972.

5 Эту цитату из Эухенио Норы приводит также Бенито Варела: V a r e l a B. Renovación de la novela en el siglo XX. Destino, Barcelona, 1967, p. 225.

6 Я имею в виду прежде всего книгу венгерского критика Д. Лукача «Против неправильно понятого реализма» (L u k á c s G. Wider den missverstandenen Realismus. Hamburg, 1968), в которой он размышляет о тесной связи буржуазного критического реализма с социалистическим реализмом, противопоставляя эти направления декадентскому и иррациональному авангардизму, к которому он относит таких писателей, как Кафка, Джойс, Музиль, Беккет. Лукач противопоставлял им реализм Томаса Манна, Чехова, Синклера Льюиса, вместе с произведениями которых он рассматривает, правда, весьма бегло, и пьесу «Дом Бернарды Альбы» Гарсиа Лорки, как близкую по духу драмам Островского. Основанная на историческом принципе классификация Лукача, разумеется, не учитывает структурного подхода к нарративному произведению. Концепции Лукача можно было бы противопоставить такие исследования, как «За новый роман» Алена Роб-Грийе (R o b b e - G r i l l e t A. Pour un nouveau roman. Paris, 1963). Особенности творчества Джойса, Пруста или Вирджинии Вульф (которых Лукач причисляет к

«авангардистам») совершенно иначе оцениваются, например в книге Натали Саррот «Эра подозрений» (S a r r a u t e N. L'ère du soupçon. Gallimard, Paris, 1956), в которой произведения этих писателей противопоставляются психологическому процессу (с демистификацией автора) во французском «новом романе».

7 В свете отмеченной зависимости нарративных структур от социальной среды, я, безусловно, не разделяю критической оценки, которую иногда дают такому превосходному писателю, как Камило Хосе Села (особенно это относится к мнению Альборга в его книге «Современное состояние испанского романа»; A l b o r g. Hora actual de la novela española. Madrid, Taurus, 1958). Очевидное языковое единство, представленное в произведениях Селы (которое несет в себе смысл нарративного мира), в той или иной степени соответствует запросам культурной буржуазии, которая, не имея возможности активно повлиять на творчество Селы, все же в силу ряда причин появляется в его произведениях. Таким образом, даже не вникая в содержание романов Селы, видно, что он — писатель той части испанской буржуазии, которая тяготеет к реализму, наслаждается им, но не верит в него. Реализм Селы не задевает буржуазного читателя, потому что он воспринимает лишь самые поверхностные формы языкового сообщения. Этим я отнюдь не желаю принизить высокие достоинства произведений Селы.

8 G o y a n e s, Mariano Bequero. Estructuras novelescas// Atlántida, Madrid, 1967, N 28, p. 338—350.

9 B u t o r M. Répertoire. Paris, 1960.

10 Свево, написавший три романа, в одном письме сказал: «Может быть, согласятся, что я написал всего один роман за всю мою жизнь» (S v e v o I. Lettera a Enrico Rocca// Ausonia, VI, 1951, N 52—53, p. 18). Свево вновь повторяет ту же мысль, которую уже однажды высказал в письме к Валери Ларбо; тогда, ссылаясь на Джойса, он писал: «Джеймс Джойс всегда говорил, что в сердце человека есть место лишь для одного романа, а когда их пишут несколько, то это всегда та же маска, но искусно составленная из других слов» (Veneziani S v e v o I. Vita de mio marito, stesura di Lina Galdi, ed. dello Ziboldone Trieste, 1958, p. 107). Аналогичную мысль высказывал Мигель де Унамуно в «Монологе», опубликованном в 1907 году и затем включенном в «Монологи и беседы» (U n a m u n o M. de. Soliloquies y conversaciones. Renacimiento, Madrid, 1912, p. 64—65).

11 T e r r a c i n i. Analisi Stilistici. Milano, 1966, p. 19 etc.

12 G i d e A. Les Faux-Monnayeurs. Paris, 1925, II, chap. III.

13 См.: «Phoenix. The posthumous papers of D. H. Lawrence». Текст, на который я ссылаюсь, — перевод на испанский язык, выполненный Леоном Мирласом. Это сборник «Pulso literario» Santiago Ruede, Buenos Aires, 1955. В книге предлагается иная оценка творчества Джойса или Пруста, чем та, о которой говорится в сноске 6.

[14] Ortega-y-Gasset J. Meditaciones del Quijote e ideas sobre la novela. Revista de Occidente, Mardid, 1956, p. 143. Ортега на с. 145 этой книги пришел к следующему заключению: «В целом, я полагаю, что жанр романа если не бесповоротно исчерпал себя, то, безусловно, переживает свою последнюю стадию». О позиции Ортега-и-Гассета и полемике с ним Пио Бароха пишет Бакеро Гойанес: Goyanes B. Ortega y Baroja frente a la novela // Anales de la Universidad de Murcia, vol. XVIII, 1959—1960.

[15] В качестве примера и образца краткости приведем цитату из статьи Рене Уэллека «Понятия формы и структуры в критике XX века» в книге «Понятия литературной критики» (Wellek R. Los conceptos de forma y estructura en la crítica del siglo XX // Conceptos de crítika literaria. Universidad Central de Venezuela, Venezuela, 1968, p. 49—59). Уэллек утверждает: «Я хотел бы показать определенные, достаточно очевидные различия между понятиями формы и структуры, которые можно проследить в высказываниях известных критиков нашего времени, и тем самым выяснить некоторые важные тенденции в критике XX века». В статье отмечается историческое значение различных употреблений этих терминов и дается библиография, к которой я отсылаю читателя. Однако я не думаю, что автор хоть в какой-то мере разъясняет различие между формой и структурой.

[16] Boudon R. A quoi sert la notion de «Structure»? Paris, 1968.

[17] Весьма удачным примером приложения структурализма Ельмслева к литературному тексту является ряд работ Грегорио Сальвадора. Продолжая попытки, предпринятые в этом направлении Стендер-Петерсеном и Свендом Юхансеном в 1949 г. (см. «Recherches structurales», том V, изданные Копенгагенским лингвистическим кружком), Сальвадор развивает свою концепцию в таких работах, как: Salvador G. Análisis connotativo de un soneto de Unamuno // Archivum, XIV, Oviedo, 1964; Salvador G. El tema del árbol caído en Meléndez Valdés // Cuadernos de la Cátedra Feijoo, 19, Oviedo, 1966; Salvador G. Cuarto tiempo de una metáfora // Homenaje al Profesor Alarcos García, II, Villadolid, 1965—1967; Salvador G. «Orillas del Duero», de A. Machado // El comentario de textos. Madrid, Castalia, 1973, p. 271—284.

[18] Prieto A. Los caminos actuales de la crítica (Introducción). Ensayos/ Planeta, Barcelona, 1969, p. 13.

[19] Burke K. Counter-Statement. Los Altos, California, 1953, p. 124.

[20] Ср. статью Ф. Ласаро Карретера: Carreter L. F. Estructuralismo y ciencia literaria // Insula. Madrid, 1966, p. 275—276. Точка зрения Карретера противостоит позиции Гуго Фридриха, считающего, что лингвистика и литературоведение несовместимы. Статья Карретера имеет несколько иную направленность в плане структурализма, чем «манифест», опубликованный в издании: «Предварительные публикации Проблемной группы по экспериментальной и прикладной лингвистике Института русского языка АН СССР», вып. 22, М., 1971, на который я ссылаюсь.

[21] Я уже приводил этот пример нарративного искуса в связи с известным эпизодом о монахине из Монцы в романе «Фермо и Лючия» («Обрученные») Мандзони в своей работе: P r i e t o A. La piedad creadora de Manzoni // Maestros Italianos. Planeta, Barcelona, 1971, p. 482.

[22] Естественно, я говорю о тех сторонах формализма, которые решительно изменили исходные положения и ориентацию современной литературной критики, к примеру, понятие о форме как о динамическом элементе, лежащее в основе исследований Тынянова о стихотворном языке. Отрицая аналогию «форма — содержание=стакан—вино», которая подразумевала статическое понимание формы как вместилища, Тынянов понимает форму как нечто динамическое по самой сущности, и это позволило ему вплотную подойти к понятию литературного произведения как системы. Если факторы, составляющие произведение, эквивалентны, то «динамическая форма образуется не соединением, не их слиянием..., а их взаимодействием и, стало быть, выдвиганием одной группы факторов за счет другой» (Т ы н я н о в Ю. Проблема стихотворного языка. М.: Советский писатель, 1965, с. 28). Эта мысль, которая не оставляет никакого места «автоматизму» в искусстве, приводит его к следующему заключению: «Единство произведения не есть замкнутая симметрическая цельность, а развертывающаяся динамическая цельность; между ее элементами нет статического знака равенства и сложения, но всегда есть динамический знак соотносительности и интеграции» (там же, с. 28).

Иными словами, тыняновская концепция формы прямо привела его к пониманию литературного произведения как системы. В отличие от Тынянова, Шкловскому пришлось пережить эволюцию, чтобы прийти к аналогичной концепции. Шкловский от идеи произведения как «сложной суммы всех художественных приемов, которые в нем содержатся» приходит к идее системы через отношение «мотивации» между различными факторами, образующими систему, которое примет к сведению структурализм.

Можно понять, что Шкловский не сразу сделал подобный вывод, это объясняется его первоначальной приверженностью к теориям Веселовского, среди которых следует упомянуть концепцию формы как чего-то статического, противостоящего динамике содержания. Здесь у Шкловского мы лишний раз наблюдаем его стремление держаться подальше от «избитых путей» академизма и рутины, которое, как обычно, принимает у него формы решительного протеста и поиска новых подходов к литературному произведению.

Важным вкладом в понимание формализма и его связи со структурализмом и стилистикой является книга Антонио Гарсия Беррио «Современное значение русского формализма» (B e r r i o Antonio G. Significado actual del formalismo ruso. Ensayos/Planeta, Barcelona, 1973), а также предисловие Марии Эрнандес к книге В. Шкловского «Тетива» (H e r n á n d e z M.

Prólogo // Šklovski V. La cuerda del arco. Ensayos/Planeta, Barcelona, 1975).

[23] В связи с тем, что мы говорили выше (в 1,15 и 1,16), необходимо указать, что, согласно Витгенштейну, «Субстанция есть то, что существует независимо от того, что имеет место» (2.024) и что «Она есть форма и содержание» (2.025). В свою очередь «Форма есть возможность структуры» (2.033). По поводу различия между знаком и символом, которое я устанавливаю во второй части (II,/12, 15 и далее), и в связи с отмеченной (в 1,12) оппозицией «тип/символ», рассмотрим эти понятия у Витгенштейна. «Знак есть чувственно воспринимаемая часть символа» (3.32) и «То, что обозначено символом, есть общее всех тех символов, которыми первый символ может замещаться согласно правилам логического синтаксиса» (3.344). Анализу лингвистических взглядов Л. Витгенштейна посвящена весьма полезная книга: Mora J. F, Wright G. H. von, Malcolm N., Pole D. Las filosofías de Ludwig Wittgenstein. Oikos-Tau, Barcelona, 1966. Недавно (в 1971 г.) была издана в испанском переводе книга о Витгенштейне, что свидетельствует о возрастании интереса к трудам Витгенштейна у нас: Pears D. Wittgenstein. Grijalbo, Barcelona, 1971. В одной из частей этой книги рассмотрена проблема «границ языка» (с. 77—98). Исследование опирается на материал «Записных книжек» Витгенштейна, где этот вопрос изложен довольно ясно.

[24] Martinet A. Éléments de linguistique générale. Paris, 1961, p. 1—10 (русский перевод см. в сб. «Новое в лингвистике», вып. III. М., 1963).

[25] Jakobson R. Linguistics and Poetics // Style in Language / Ed. Th. A. Sebeok. MIT Press, Cambridge (mass.), 1960, p. 350—377 [цитируется по русскому переводу, напечатанному в сб. «Структурализм: "за" и "против"». М., 1975, с. 194. —*Прим. ред.*]. Цитата соответствует второй части моей работы, где семиологический подход выступает как метод литературной критики, способный рассмотреть литературное произведение во всей его полноте, что не удается ни структуралистскому литературоведению, ни историческому методу.

[26] «Структурализм: "за" и "против"», с. 200. — *Прим. ред.*

[27] Независимо от этих употреблений, или языков, указанных Бюлером (об этом я пишу во второй части настоящей книги), Якобсон в поэтической области (в работе «Лингвистика и поэтика») приписывает эпической поэзии, сосредоточенной на третьем лице, референциальную (коммуникативную) функцию языка, лирике (первое лицо) — эмотивную (экспрессивную) функцию, в «поэзии второго лица» (умоляющей или поучающей) — конативную (апеллятивную) функцию [см. «Структурализм: "за" и "против"», с. 203. — *Прим. ред.*].

[28] Естественно, Мартине сразу же оговаривается: «Разумеется, это крайняя позиция, но она разъясняет срединную позицию, согласно которой реальное существование структуры не постулируется» (Martinet A. La considerazione funzionale del linguaggio. Il Mulino, Bolonia, 1965, p. 20).

Клод Леви-Стросс

Структура и форма. Размышления об одной работе Владимира Проппа

Сторонников структурного анализа в лингвистике и в антропологии нередко обвиняют в формализме. Говорить так значит упускать из виду, что формализм — это самостоятельная доктрина, с которой, не отрицая своей преемственности, структурализм все же расходится в силу весьма различного отношения обеих школ к категории конкретного. В противоположность формализму, структурализм отказывается противопоставлять конкретное абстрактному и лишь абстрактному придавать привилегированное значение. *Форма* определяется через свою противопоставленность инородному ей материалу; *структура* же не обладает отличным от нее содержанием: она и есть содержание в его логически организованном виде, причем сама эта организация рассматривается как факт реальной действительности.

Указанное различие заслуживает того, чтобы пояснить его с помощью конкретного примера. Ныне мы располагаем такой возможностью благодаря появлению английского перевода теперь уже давнишней работы Владимира Проппа, чьи идеи были весьма близки к идеям русской формальной школы в недолгий период ее расцвета, примерно с 1915 по 1930 год.

Осуществив публикацию этой незаслуженно обойденной на Западе вниманием рабо-

ты на языке, доступном новым поколениям читателей, автор предисловия г-жа Сватава Пиркова-Якобсон, переводчик г-н Лоуренс Скотт и Научно-исследовательский центр Индианского университета оказали гуманитарным наукам громадную услугу. В 1928 г., когда вышло русское издание книги Проппа, формальная школа переживала глубокий кризис. Сам Пропп в своих позднейших работах отошел от формализма и морфологического анализа, посвятив себя историческим и сравнительным разысканиям об отношении устной литературы к мифам, обрядам и учреждениям.

Идеи русской формальной школы не были забыты. Сначала они были усвоены и распространены в Европе Пражским лингвистическим кружком, затем, начиная примерно с 1940 года, благодаря личному влиянию и преподавательской деятельности Романа Якобсона их восприняли в Соединенных Штатах. Я не хочу этим сказать, будто вся структурная лингвистика и современный структурализм как в рамках лингвистики, так и вне ее есть продолжение русского формализма. Как я уже отмечал, отличие структурализма от формализма состоит в убеждении, что, если небольшая доля структурализма отдаляет от конкретного, то структурализм вообще к нему приближает. Тем не менее Якобсон — хотя его учение ни в каком смысле не может быть названо «формалистическим» — не терял из виду ни исторической роли русской школы, ни ее подлинного значения. Перечисляя предшественников структурализма, он всегда отводил представителям этой школы почетное место. Все, кому довелось слушать лекции Якобсона начиная с 1940 года, косвенно испытали это отдаленное влияние. Г-жа Пиркова-Якобсон утверждает, что автор этих строк «применил и развил метод Проппа» (p. VII). Может быть, и так, но это не могло быть сделано сознательно, поскольку книга Проппа оставалась для меня недоступной вплоть до выхода указанного перевода. Однако частично — через Романа Якобсона — ее суть и ее пафос были мне известны.

* * *

Есть основания сомневаться, что даже сейчас английский перевод в том виде, в каком он появился, не намного облегчает распространение идей Проппа. Добавлю также, что чтение этой книги затруднено из-за содержащихся в ней опечаток и неясностей, которые, возможно, присутствуют и в оригинале, но скорее всего проистекают из трудностей, испытанных переводчиком при передаче терминологии автора. Вот почему небесполезно будет взглянуть на эту работу более пристально, попытавшись выделить ее основные положения и выводы.

Пропп начинает с краткой истории вопроса. Работы, посвященные народным сказкам, пишет он, сводятся в основном к собиранию текстов, систематические исследования редки и имеют рудиментарный характер. Чтобы оправдать такое положение дел, многие ссылаются на недостаточность материала; Пропп отвергает такое объяснение, поскольку во всех остальных областях знания проблемы описания ставятся на самых ранних этапах исследования. Кроме того, ученые отнюдь не упускают случая обсудить вопрос о происхождении народных сказок: дело, однако, в том, что «о происхождении какого бы то ни было явления можно говорить лишь после того, как явление это описано» (с. 10) *.

Практическая польза, которую приносит обычное деление сказок (Миллер, Вундт, Аарне, Веселовский), состоит в том, что оно наталкивается на одно и то же возражение: всегда можно обнаружить сказки, относящиеся сразу к нескольким группам. Это верно как в том случае, когда в основу предлагаемой классификации положено распределение сказок по *разрядам*, так и в случае их деления по *сюжетам* (thème). В самом деле, установление сюжетных типов отличается произвольностью; оно исходит не из реального анализа, а из инстинктивных представлений или теоретических принципов каждого отдельного автора, причем первые, как правило, оказываются более верными в своей основе, нежели вторые (с. 11, 12, 17). Классификация Аарне дает список сюжетов, оказавший исследователям крупнейшую услугу, однако деление Аарне имеет сугубо эмпирический характер, так что отнесение сказки к тому или иному разряду всегда остается приблизительным.

Особый интерес представляет дискуссия Проппа с идеями Веселовского. С точки зрения Веселовского, сюжет раскладывается на мотивы; по отношению к ним сюжет есть акт творчества, соединения; он объединяет мотивы, которые представляют собой неразлагаемые единицы повествования. Однако в этом случае, замечает Пропп, любая фраза дает мотив, и анализ сказки должен проводиться на уровне, который ныне мы назвали бы «молекулярным». Однако ни один мотив не может считаться неразложимым, потому что даже такой простой пример, как «змей похищает дочь царя», включает по меньшей мере четыре элемента, каждый из которых может быть заменен другими (змей — колдуном, вихрем, чертом, соколом и т. д.; похищение — вампиризмом, усыплением и т. д.; дочь — сестрой, невестой, матерью и т. д.; и наконец, царь — царским сыном, крестьянином, попом и т. д.). Таким образом, мы получаем единицы более мелкие, чем мотив, и не обладающие, по Проппу, логически независимым существованием. Мы остановились

* Здесь и далее цитаты и постраничные ссылки на работу Проппа даются по изданию: Пропп В. Я. Морфология сказки. 2-е изд. М.: Наука, 1969. — *Прим. перев.*

на этой дискуссии потому, что в приведенном утверждении Проппа, верном лишь наполовину, содержатся основные пункты расхождения между формализмом и структурализмом. Ниже мы вернемся к этому вопросу.

Жозефу Бедье Пропп воздает должное за то, что тот провел разницу между переменными и постоянными величинами в народных сказках. Постоянные величины образуют простейшие единицы. Однако Бедье не сумел определить, в чем состоят эти элементы.

Если морфологическое изучение сказок осталось в рудиментарном состоянии, то так случилось потому, что им пренебрегали, отдавая предпочтение генетическим разысканиям. Что же касается так называемых морфологических штудий, то слишком часто они оборачиваются обычной тавтологией. В новейшей (для эпохи, когда писал Пропп) работе русского исследователя Р. М. Волкова доказывается, по словам Проппа, лишь то, что «сходные сказки похожи друг на друга» (с. 20). Лишь правильная морфологическая разработка может послужить основой любого научного исследования. Более того, «пока нет правильной морфологической разработки, не может быть и правильной исторической разработки» (с. 21).

* * *

Как указывает Пропп в начале второй главы «Морфологии сказки», все его начинание строится на рабочей гипотезе о существовании «волшебных сказок» как особого разряда народных сказок. В начале исследования «волшебные сказки» определяются эмпирически — как выделенные в указателе Аарне под номерами 300— 749. Метод определяется следующим образом:

Пусть даны следующие случаи:

1 — Царь дает удальцу орла. Орел уносит удальца в иное царство.
2 — Дед дает Сученке коня. Конь уносит Сученко в иное царство.
3 — Колдун дает Ивану лодочку. Лодочка уносит Ивана в иное царство.
4 — Царевна дает Ивану волшебное кольцо. Молодцы из кольца уносят Ивана в иное царство.

В приведенных случаях имеются величины переменные и постоянные. Меняются персонажи и их атрибуты, но не меняются действия и функции. Особенность народных сказок состоит в том, что различным персонажам они приписывают одинаковые действия. Именно устойчивые элементы должно положить в основу исследования в том случае, если будет доказано, что число функций ограничено. И вот оказывается, что их повторяемость чрезвычайно высока. Можно, следовательно, утверждать, «что функций чрезвычайно

мало, а персонажей чрезвычайно много. Этим объясняется двоякое качество волшебной сказки с одной стороны, ее поразительное многообразие, ее пестрота и красочность, с другой — ее не менее поразительное однообразие, ее повторяемость» (с. 24).

Чтобы определить функции, понятые как основные единицы сказки, необходимо сначала исключить из рассмотрения персонажи, чья роль сводится к «выполнению» функций. Определение функции есть обыкновенное имя существительное, обозначающее действие: *запрет, бегство* и т. п. Далее, функцию следует определять с учетом ее положения в ходе повествования: так, женитьба функционально может играть различные роли. Одинаковые поступки способны иметь различные значения, и наоборот: понять значение поступка можно, лишь включив его в последовательность других поступков, то есть поместив между предшествующей и последующей функциями, а это предполагает, что *последовательность функций всегда одинакова (с.* 29), с той оговоркой, что (как будет видно из дальнейшего изложения) некоторые перестановки функций все же возможны, хотя они и имеют вторичный характер: это — исключения из нормы, которая в любом случае поддается восстановлению (с. 97—98). Кроме того, допускается, что каждая сказка в отдельности никогда не дает всех функций, а только часть их, но это нисколько не меняет закона последовательности. Целостная система функций, эмпирического воплощения которой, возможно, и не существует, рисуется Проппу как такое образование, которое ныне мы назвали бы «метаструктурой».

Из изложенных гипотез вытекает последний вывод, который будет подтвержден в ходе дальнейшего анализа, хотя Пропп и признает, что на первый взгляд он может показаться «нелепым» и «даже диким», а именно: *все волшебные сказки однотипны по своему строению* (с. 26).

Завершая рассуждения о проблемах метода, Пропп задается вопросом, должна ли быть исчерпывающей разработка материала, имеющая целью подтвердить или опровергнуть его теорию. При положительном ответе окажется, что довести такую разработку до конца практически невозможно. Но если допущено, что материалом обследования являются функции, то это обследование может считаться законченным, когда обнаружится, что его продолжение не приводит к выявлению никаких новых функций, при том, разумеется, условии, что используемый материал не выбирается по усмотрению исследователя, а как бы «диктуется извне» (с. 27). Присоединяясь — конечно, невольно — к Дюркгейму, Пропп подчеркивает: «Дело не в количестве материала, а в качестве его разработки» (с. 28). Опыт показывает, что сто сказок — вполне достаточный материал. Поэтому анализ будет проводиться на материале сказок под номерами 50—151 по Афанасьевскому сборнику.

* * *

Более бегло — в силу невозможности детального разбора — мы остановимся на перечне функций, составляющем содержание III главы. Каждая функция кратко излагается и получает сокращенное определение при помощи одного какого-нибудь слова (*отлучка, запрет, нарушение* и т. п.) и снабжается условным знаком — буквой или символом. Каждую функцию Пропп определяет через ее принадлежность к определенному «виду» и «роду», а виды в ряде случаев подразделяет на «разновидности». В результате общая схема волшебной сказки предстает в следующем виде.

После того как изложена «исходная ситуация», персонаж отлучается из дому. Эта отлучка прямо или косвенно (вследствие нарушения запрета или неисполнения приказания) влечет за собой наступление беды. Появляется антагонист, он получает сведения о своей жертве и обманывает ее с целью причинения ей вреда.

Анализируя этот ряд из семи функций, Пропп обозначает их первыми буквами греческого алфавита, чтобы отличить от последующих функций, обозначенных заглавными латинскими буквами и различными символами*. И действительно, эти семь функций играют подготовительную роль, причем сразу в двух отношениях: во-первых, они вводят действие, во-вторых, они могут быть опущены, поскольку некоторые сказки начинаются непосредственно с первой основной функции, представляющей собой действие вредителя: похищение человека, отнятие волшебного средства, нанесение телесного повреждения, околдование, подмена, убийство и т. п. (с. 33—36). Результатом такого вредительства оказывается «недостача», если только начальная ситуация сама по себе не связана непосредственно с ситуацией недостачи; далее, недостача сообщается, и к герою обращаются с просьбой о ее ликвидации.

Здесь возможны два пути развития: либо жертва играет в повествовании роль героя, либо герой не является жертвой, но оказывает ей помощь. Этим не опровергается гипотеза о единстве сказки, ибо не существует сказок, которые следили бы сразу за обоими персонажами. Есть, следовательно, лишь одна «функция героя», которую в равной степени может выполнять тот или другой тип персонажа. Тем не менее существует альтернативный выбор между двумя рядами: 1) обращение к герою-искателю с его последующей отсылкой; 2) отправка пострадавшего героя и повествование об опасностях, которым он подвергается.

Герой (жертва или искатель) встречает «помощника» — добровольного или нечаянного, услужливого или безразличного, го-

* Такая система принята в английском и французском переводах. Мы же сохраняем буквенные обозначения, принятые в указанном русском издании работы В. Я. Проппа. — *Прим. перев.*

тового к немедленной помощи или поначалу враждебного. Он подвергает героя испытанию (в самых различных формах вплоть до вступления с ним в бой). Герой реагирует (положительно или отрицательно), либо используя свои собственные средства, либо применяя волшебную силу (многочисленные промежуточные формы). Получение волшебного средства (предмета, животного, персонажа) входит в функцию героя (с. 43).

Будучи перенесен к месту назначения, герой вступает в борьбу (битва, состязание, игра) с антагонистом. Он получает метку (на теле или иным способом), антагонист побеждается, и ситуация недостачи ликвидируется. Герой пускается в обратный путь, но подвергается преследованию врага, от которого он спасается либо с чьей-нибудь помощью, либо прибегнув к хитрости. Здесь — на возвращении героя и его последующей женитьбе — многие сказки и кончаются.

Правда, есть другие сказки, которые начинают «разыгрывать» то, что Пропп называет повторным «ходом»: все повторяется сначала — вредитель, герои, даритель, испытание, волшебное средство; с этого момента повествование устремляется по новому руслу. Необходимо, следовательно, ввести в первую очередь ряд функций «bis» (с. 55—56), за которыми следуют новые поступки: герой возвращается неузнанным, ему задают трудную задачу, с которой он успешно справляется. После этого героя узнают, а ложный герой (захвативший его место) изобличается. Наконец, герой получает награду (жену, царство), и сказка заканчивается.

Перечисленный список функций приводит автора к ряду выводов. Во-первых, количество функций весьма ограниченно, всего их тридцать одна. Во-вторых, каждая функция вытекает из другой «с логической и художественной необходимостью», все они принадлежат одному стержню, так что из двух функций ни одна не исключает другой (с. 60). Вместе с тем некоторые функции могут быть расположены попарно (*запрет — нарушение, борьба — победа, преследование — спасение* и т. п.), а другие — построены в ряды; такова, например, последовательность: *вредительство — обращение о помощи — решение героя противодействовать — отправка на поиски.* Парные функции, последовательности функций и одиночные функции организованы в инвариантную систему: эта система представляет собой самый настоящий пробный камень, позволяющий определить каждую сказку и отвести ей место в классификации. Действительно, любая сказка получает собственную формулу, сходную с химическими формулами и состоящую из букв (греческих и латинских), расположенных в алфавитном порядке, а также из символов, обозначающих различные функции. Такова, например, формула простой сказки, следующим образом резюмированной Проппом:

$$ie^3A^1B^1C?Б^1 — П^1Л^4?С^3$$

Эти одиннадцать знаков читаются следующим образом: «Царь, три дочери. Дочери отправляются гулять, опаздывают в саду. Змей похищает их. Царь призывает к помощи. Три героя отправляются в поиски. Три боя со змеем и победа, избавление девиц. Возвращение. Награждение» (с. 114).

* * *

Установив таким образом правила классификации, Пропп посвящает следующие главы (IV и V) разрешению ряда возникших трудностей. Первая, о которой уже говорилось, связана с возможностью ошибочного отождествления двух функций. Так, функция «испытание героя дарителем» (bienfaiteur) может быть представлена так, что окажется неотличимой от «задавания трудной задачи». В подобных случаях идентификация двусмысленной функции проводится не путем анализа ее внутреннего содержания, а за счет ее соотнесения с контекстом, то есть за счет определения ее места среди окружающих функций. И наоборот, высказывание, по видимости выражающее одну функцию, на деле может включать в себя две различные функции, как, например, в случае, когда будущая жертва поддается «обману вредителя» и тем самым «нарушает запрет» (с. 61—64).

Другая трудность состоит в том, что в сказке, разобранной по функциям, сохраняется своего рода остаточный материал, не укладывающийся ни в одну из функций. Эта проблема вызывает у Проппа затруднения, и он предлагает разнести указанный субстрат по двум нефункциональным разрядам, выделив, с одной стороны, «связки», а с другой — «мотивировки».

Связки чаще всего состоят из эпизодов, позволяющих объяснить, каким образом персонаж А узнал о том, что сделал персонаж В, ибо такое знание необходимо, чтобы персонаж А получил возможность включиться в действие. То есть, в общем виде, связки позволяют непосредственно свести двух персонажей или доставить персонажу предмет в тех случаях, когда по обстоятельствам повествования они оказываются разъединенными. Эта теория связок играет двоякую роль: во-первых, она объясняет, каким образом функции, даже если они не следуют непосредственно друг за другом, могут все же эксплицитно связываться между собой; во-вторых, она позволяет понять утроения как единую функцию, хотя существуют и такие связки, которые не играют роли самостоятельных функций, а только делают возможным утроение (с. 65—68).

Мотивировки — это «как причины, так и цели персонажей, вызывающие их на те или иные поступки» (с. 69). Нередко, однако,

поступки сказочных персонажей вообще ничем не мотивируются. Пропп заключает отсюда, что мотивировки, если они есть в сказке, могут оказаться новообразованиями. Действительно, мотивировка состояния или поступка персонажа в ряде случаев может обратиться в самую настоящую сказку, развивающуюся внутри основной сказки и могущую обрести почти что самостоятельное существование: «Подобно всему живому, сказка производит лишь себе подобных» (с. 71).

* * *

Функции, общим числом тридцать одна, к которым сводятся все волшебные сказки, «выполняются», как мы видели, известным числом персонажей. При классификации функций по их «выполнителям» можно заметить, что каждый персонаж объединяет несколько функций в свойственный для него «круг действия». Так, функции «вредительство» — «борьба» — «преследование» образуют круг действий антагониста, а функции «перемещение героя» — «ликвидация недостачи» — «спасение» — «разрешение трудной задачи» — «трансфигурация героя» определяют круг действий волшебного помощника и т. п. Отсюда вытекает, что, подобно функциям, число персонажей сказки ограниченно. Пропп выделяет семь действующих лиц, а именно: вредитель, даритель, волшебный помощник, искомый персонаж, отправитель, герой и ложный герой (с. 72— 73). Существуют и другие персонажи, но они участвуют только в создании «связок». Между каждым из персонажей и различными кругами действий редко бывает однозначное соответствие: один персонаж может охватывать несколько кругов действий, а один круг в свою очередь может распределяться по нескольким персонажам. Так, герой способен обойтись без волшебного помощника, если он сам наделен волшебной силой; а в некоторых сказках, наоборот, волшебный помощник исполняет те функции, которые, как правило, специфичны для героя (с. 75).

Если сказку следует понимать как некое целое, то нельзя ли все-таки выделить в ней составные части? Сведя сказку к наиболее отвлеченной формуле, ее можно определить как всякое развитие, отправной точкой которого является вредительство, а конечной — свадьба, награждение, освобождение, спасение; причем переход от начального состояния к конечному осуществляется при посредстве промежуточных функций. Пропп обозначает такой ряд при помощи выражения («ход». — *Прим. перев.*), которое английский переводчик перевел как *move*, а мы предпочитаем передать по-французски словом *partie*, придавая ему двоякий смысл, а именно: а) разделение повествовательного текста на его основные ча-

сти; б) партия в карты или в шахматы. И в самом деле, речь идет об этих двух явлениях одновременно, ибо, как мы только что видели, для сказок, состоящих из нескольких «партий», характерны время от времени повторяющиеся функции, подобно тому как это имеет место и в карточных партиях, следующих друг за другом, — когда игроки периодически, каждый раз заново, тасуют карты, раздают их, объявляют игру, заходят с той или иной карты, бьют ее козырями, берут взятки, короче, *многократно пользуются одинаковыми правилами, хотя карты каждый раз сдаются по-разному.*

Одна сказка может включать в себя несколько ходов; не образуют ли эти ходы самостоятельных сказок? Ответить на этот вопрос можно лишь после морфологического анализа и определения отношений между ходами. Ходы могут непосредственно следовать друг за другом; один ход может вклиниваться в другой, временно прерывая его развертывание, но в то же время и сам может быть прерван аналогичным способом; иногда два хода начинаются одновременно, но развитие одного из них вскоре приостанавливается до тех пор, пока не завершится второй; два следующих друг за другом хода могут иметь общий конец; наконец, бывает и так, что некоторые персонажи как бы раздваиваются, и воссоединение происходит при помощи предмета-сигнализатора.

Не вдаваясь в подробности, укажем, что, по Проппу, несмотря на множественность ходов, все же мы имеем одну сказку в том случае, если между этими ходами существует функциональная связь. Если же ходы логически разъединены, то каждый из них должен рассматриваться как самостоятельная сказка (с. 83—86).

Приведя конкретный пример анализа (с. 86—89), Пропп возвращается к двум вопросам, поставленным в начале его работы, — к вопросу об отношении волшебных сказок к народным сказкам вообще и к вопросу классификации волшебных сказок самих по себе.

Мы уже видели, что волшебная сказка есть не что иное, как рассказ, эксплицирующий ряд функций, число которых ограниченно, а последовательность одинакова. Формальная разница между отдельными сказками проистекает из того, что каждая сказка осуществляет выбор среди тридцати одной наличной функции и вместе с тем имеет возможность повторять некоторые из них. Однако ничто не препятствует построению сказки, в которой волшебство будет играть известную роль, а сама сказка тем не менее не уляжется в приведенную схему. Так обстоит дело с искусственными сказками, примеры которых можно найти у Андерсена, Брентано и Гёте. И наоборот, схема может быть соблюдена даже в том случае, когда в рассказе отсутствует всякое волшеб-

ство. Таким образом, выражение «волшебная сказка» оказывается вдвойне неточным. За неимением лучшего определения, Пропп, хотя и не без колебаний, принимает следующую формулу: «сказки, подчиненные семиперсонажной схеме», поскольку он полагает доказанным, что эти семь персонажей образуют систему (с. 89—90). Однако если когда-нибудь удастся направить исследование по историческому руслу, тогда подходящим может оказаться название «мифических сказок».

В основу идеальной классификации сказок должна была бы лечь система функций, исключающих друг друга. Однако Пропп ранее уже допустил принцип взаимной импликации функций (с. 60), который, напротив, предполагает их полную совместимость. Теперь же, как бы перечеркивая сказанное, что нередко случается в его работе, он вновь вводит принцип исключаемости, распространив его только на две пары функций: *борьба с вредителем — победа героя, с* одной стороны, и *трудная задача — ее разрешение* — с другой. Эти пары столь редко совмещаются в пределах одного «хода», что подобные случаи могут считаться исключением из правила. Отсюда следует, что можно установить четыре разряда сказок: сказки, использующие первую пару; сказки, использующие вторую пару; сказки, использующие обе пары; сказки, обходящиеся и без той, и без другой пары (с. 91).

Поскольку ни одна из остальных функций в этой системе не исключает других, деление должно быть продолжено по разновидностям тех функций, которые обязательны для всех сказок. Такой обязательностью обладают лишь две функции: «вредительство» и «недостача». Поэтому сказки следует различать по разновидностям, которые имеют эти две функции в пределах ранее выделенных четырех разрядов.

Проблема осложняется при обращении к сказкам, состоящим из нескольких «ходов». Однако наличие особых, «двухходовых» сказок позволяет, по Проппу, разрешить кажущееся противоречие между морфологическим единообразием волшебной сказки, постулированным в начале работы, и взаимной исключаемостью двух пар функций, введенных к ее концу в качестве единственной возможной основы для структурной классификации. В самом деле, если сказка состоит из двух ходов и один из них содержит пару: *бой — победа,* а другой — пару: *трудная задача — ее решение,* то они и располагаются всегда в только что указанном порядке, а именно: *бой ? победа* в первом ходе и *трудная задача ? ее разрешение* — во втором. Кроме того, оба хода объединяются с помощью общей для них начальной функции (с. 93). Пропп усматривает в такой структуре своего рода архетип, из которого произошли все волшебные сказки, по крайней мере — русские (с. 93).

В результате сведения воедино всех типических схем получается следующая каноническая формула:

$$АВС \uparrow ДГZR \frac{БКПЛ \downarrow Пр - СпХФ}{ФЗКРЛ \downarrow Пр - Сп} УОТНС*,$$

откуда нетрудно вывести четыре основных разряда, которым соответствуют следующие схемы:

1) начальный ряд + верхнее ответвление + конечный ряд;
2) начальный ряд + нижнее ответвление + конечный ряд;
3) начальный ряд + верхнее ответвление + нижнее ответвление + конечный ряд;
4) начальный ряд + конечный ряд.

Таким образом, принцип морфологического единообразия оказывается спасенным (с. 95).

Спасенным оказывается и принцип одинаковой последовательности функций, если не считать функции (Ф): «притязания ложного героя», которая может встречаться как в конечной, так и в начальной позиции в зависимости от выбора одной из двух исключающих друг друга пар: (БП) и (ЗР). Впрочем, Пропп допускает возможность и иных перестановок одиночных функций и даже образованных ими рядов. Однако все эти отступления не меняют вывода об однотипности и морфологическом родстве всех сказок, поскольку подобные отступления не порождают никаких структурных различий (с. 97—98).

* * *

Что прежде всего поражает в работе Проппа, так это глубокое предвосхищение позднейших исследований в той же области. Те, кто приступил к структурному анализу устной литературы примерно в 1950 году, не будучи прямо знаком с исследованием Проппа, предпринятым за четверть века до этого, не без изумления обнаружат в его работе многие формулировки и даже целые фразы, которых они вовсе у него не заимствовали. Понятие «исходной ситуации», сравнение мифологической матрицы с правилами музыкальной композиции (с. 7), указание на необходимость одновременного чтения текста и «по горизонтали» и «по вертикали» (с. 107), постоянное обращение к понятию группы подстановок и трансформации с целью разрешить очевидную антиномию между устойчивостью формы и переменчивостью содержания (разные стр.), стремление — по крайней мере наметившееся — свести кажущуюся специфичность

* Знак звездочки в формуле входит в обозначение одной из функций у автора. — *Прим. ред.*

функций к парным оппозициям, указание на особую роль мифов для структурного анализа (с. 82); наконец и в особенности — предположение о том, что, строго говоря, существует лишь одна-единственная сказка (с. 26) и что весь запас известных нам сказок следует рассматривать как «цепь вариантов» по отношению к общему для них типу (с. 103), так что в один прекрасный день мы, возможно, сумеем вычислить исчезнувшие или неизвестные варианты «точно так же, как мы на основании общих астрономических законов предполагаем о существовании таких звезд, которых мы не видим» (с. 104), — все это такие прозрения, глубина и пророческий характер которых вызывают восхищение и безграничную признательность по отношению к Проппу со стороны всех, кто оказался его продолжателем, сам того не ведая.

Если все же в ходе предстоящего обсуждения работы Проппа мы вынуждены будем сделать некоторые оговорки и выдвинуть ряд возражений, то они ни в коей мере не могут ни приуменьшить громадную заслугу Проппа, ни поставить под сомнение его приоритет на сделанные им открытия.

Теперь, учитывая все сказанное, можно задаться вопросом о причинах, побудивших Проппа избрать именно народные сказки (или известную их разновидность) для проверки своего метода. Причина вовсе не в том, что эти сказки следует классифицировать отдельно от всего остального фольклора. Пропп утверждает, что с известной точки зрения («исторической», по его мнению, но также психологической и логической, как думаем мы) волшебная сказка в своих морфологических основах представляет собой миф. «Мы вполне сознаем, — добавляет он тотчас же, — что с точки зрения современной науки мы высказываем мысль совершенно еретическую» (с. 82)*.

Пропп прав. Не существует сколько-нибудь серьезных оснований для изоляции сказки от мифа несмотря на то, что субъективно очень многие общества ощущают разницу между этими двумя жанрами; несмотря на то что объективно разница эта закрепляется благодаря особым выражениям; наконец, несмотря даже на то, что ряд предписаний и запретов накладывается порою именно на мифы, а не на сказки (таково, например, требование рассказывать мифы только в определенное время суток или года, между тем как сказки, по причине их «мирского» характера, можно рассказывать когда угодно).

Все эти разграничения, проводимые самими аборигенами, представляют значительный интерес для этнографа, и тем не менее нет

---

* Последняя фраза отсутствует во втором издании «Морфологии сказки». См. в первом издании: П р о п п В. Я. Морфология сказки. Л.: Academia, 1928, с. 100. — *Прим. перев.*

никакой уверенности в том, что они действительно вытекают из самой природы вещей. Напротив, известно, что повествования, которые в одном обществе трактуются как сказки, в другом воспринимаются как мифы, и наоборот: вот первая причина, побуждающая остерегаться произвольных классификаций. С другой стороны, мифограф почти всегда отмечает, что как в мифах, так и в сказках той или иной народности обнаруживаются (в устойчивой или же в превращенной форме) одни и те же повествования, одни и те же мотивы. Более того, чтобы получить полный перечень трансформаций той или иной мифологической темы, лишь в редких случаях можно ограничиться одними только мифами (как их понимают аборигены): часть этих трансформаций следует искать в сказках, хотя их существование выводимо и из мифов в собственном смысле слова.

Вместе с тем несомненно, что почти все общества ощущают различие между обоими жанрами и что должна быть какая-то причина, объясняющая это разграничение. На наш взгляд, такая причина действительно существует, но сводится она к количественным различиям двоякого рода. Во-первых, сказки строятся на ослабленных — по сравнению с мифом — оппозициях, а именно не на космических, метафизических или природных, как в мифе, а, гораздо чаще, на локальных, социальных или нравственных. Во-вторых, именно потому, что сказка представляет собой ослабленную транспозицию тех тем, которые в полном объеме воплощены в мифе, сказка менее строго, нежели миф, подчиняется троякому требованию — логической связности, религиозного правоверия и соответствия коллективным предписаниям. Сказка предполагает больше возможностей для комбинаций; в ней существует относительная свобода перестановок, мало-помалу достигающая степени произвольности. Однако именно потому, что сказка имеет дело с оппозициями, сведенными до минимума, последние с особым трудом поддаются обнаружению; причем трудность возрастает в силу того, что, будучи и без того мелкомасштабными, эти оппозиции отличаются еще и неустойчивостью, которая открывает возможность для перехода в область литературного творчества.

Пропп очень хорошо подметил вторую из указанных трудностей. «Чистота строения сказок», необходимая для применения его метода, «свойственна только крестьянству.., мало затронутому цивилизацией. Всяческие сторонние влияния меняют, а иногда и разлагают сказку». В этом случае «всех деталей предусмотреть нельзя» (с. 90). С другой стороны, Пропп допускает относительную свободу сказочника в выборе некоторых персонажей, свободу опускать или повторять известные функции, свободу решать, каким способом он осуществит удержанные функции; наконец, свободу, при-

чем намного большую, в выборе номенклатуры и атрибутов действующих лиц, хотя последние и заданы сказочнику извне: «Дерево может указать путь, журавль может подарить коня, долото может подсмотреть и т. д. Эта свобода — специфическая особенность только сказки» (с. 102). В другом месте Пропп говорит о таких атрибутах персонажей, как их «возраст, пол, положение, внешний облик, особенности этого облика и т. д.», которые представляют собой переменные величины, поскольку «придают сказке ее яркость, ее красоту и обаяние». Таким образом, получается, что объяснить, почему в сказке одни атрибуты заменяются другими, способны лишь внешние причины: к этим причинам относится изменение действительных условий жизни, влияние эпоса соседних народов, влияние письменности, религии, поверий и пережитков: «Сказка постепенно метаморфирует, и эти трансформации, метаморфозы сказок также подвержены известным законам. Все эти процессы и создают такое многообразие, в котором разобраться чрезвычайно трудно» (с. 79).

Все это значит, что народная сказка поддается структурному анализу не до конца. Несомненно, что в известной мере это так и есть — хотя мера эта и не так велика, как полагает Пропп, а причины не совсем те, которые он имеет в виду. Мы еще вернемся к этому вопросу; но прежде необходимо понять, почему при подобном положении дел Пропп все-таки избрал именно сказку для проверки своего метода. Не лучше ли было ему обратиться к мифу, коль скоро он сам неоднократно признает его привилегированный характер?

Причины, продиктовавшие Проппу его выбор, не только разнообразны, но и различны по значению. Можно предположить, что, не будучи этнологом, Пропп не располагал таким мифологическим материалом, который он самостоятельно собрал бы у известных ему народов и которым владел бы в совершенстве. Кроме того, Пропп вступил на путь, по которому непосредственно перед ним устремлялись многие: именно сказки, а не мифы, служили предметом споров среди его предшественников, создавая тем самым почву для первых попыток морфологического анализа, предпринятых некоторыми русскими учеными. Обратившись к тому же материалу, что и эти ученые, Пропп взялся за проблему как раз там, где они ее оставили.

Однако мы полагаем, что выбор Проппа объясняется также и неточностью его представлений о подлинном соотношении мифа и сказки. Хотя большая заслуга Проппа состоит в том, что он усмотрел в них два различных вида, принадлежащих к одному и тому же роду, он тем не менее остался верен представлению об историческом приоритете мифа над сказкой. Чтобы получить доступ к изучению мифа, пишет Пропп, необходимо связать морфологи-

ческие разыскания с «изучением историческим, что пока не может войти в нашу задачу» (с. 82). Несколько дальше он утверждает, что древнейшие мифы как раз и образуют ту область, к которой восходят отдаленные корни сказки (с. 90). В самом деле, «умирает быт, умирает религия, а содержание ее превращается в сказку» (с. 96).

Однако этнолог не станет доверяться такому объяснению, ибо ему хорошо известно, что в современности мифы и сказки существуют бок о бок: один жанр не может, таким образом, считаться пережитком другого, если только не предполагается, что сказки хранят память о тех древних мифах, которые сами по себе вышли из употребления. Однако помимо того, что подобное предположение по большей части является недоказуемым (ибо мы ничего или почти ничего не знаем о древних верованиях изучаемых нами народов и как раз по этой причине называем их «примитивными»), повседневные этнографические наблюдения подталкивают к мысли о том, что, напротив, миф и сказка эксплуатируют общую субстанцию, хотя и делают это по-разному. Миф не относится к сказке как предок к потомку или как исходная форма к форме производной. Вернее сказать, что их связывает отношение дополнительности. Сказки — это мифы в миниатюре, где те же самые оппозиции переведены в более мелкий масштаб, и именно это в первую очередь затрудняет их изучение.

Приведенные соображения не должны, разумеется, заслонять остальных трудностей, отмеченных Проппом, хотя они и могут быть сформулированы несколько иначе. Даже в нашем современном обществе сказка отнюдь не является остаточной формой мифа; скорее, она тяготится тем, что сумела выжить лишь в одиночку. Исчезновение мифов нарушило равновесие. Подобно спутнику, лишившемуся своей планеты, сказка стремится сойти с прежней орбиты с тем, чтобы попасть в поле притяжения других тел.

Таковы дополнительные аргументы в пользу предпочтительного обращения к таким цивилизациям, где миф и сказка сосуществовали до самого недавнего времени, а в ряде случаев продолжают сосуществовать и теперь; и где, следовательно, устная литература, образуя целостную систему, может изучаться в качестве таковой. Действительно, задача состоит вовсе не в том, чтобы выбрать между сказкой и мифом, а в том, чтобы понять их как два крайних полюса области, заполненной множеством разнообразнейших промежуточных форм, подлежащих морфологическому анализу на тех же самых основаниях; в противном случае возникает опасность упустить из виду особенности, которые принадлежат к той же системе трансформаций, что сказка и миф.

* * *

Итак, Пропп предстает как человек, разрывающийся между формалистическим ви́дением, когда речь идет о сказке, и навязчивой потребностью исторических объяснений. В известной мере можно понять испытанное им чувство раскаяния, побудившее его отказаться от формализма и вернуться к исторической точке зрения. Действительно, едва успев остановить свой выбор на народных сказках, он тут же оказался перед неразрешимой антиномией: ясно, конечно, что в сказках отложилась история, но эта история остается для нас практически недоступной, так как мы знаем очень мало о доисторических цивилизациях, где они зародились. Однако верно ли, что нам не хватает именно истории? Историческое измерение предстает скорее в виде некоего отрицательного определения, возникающего из разрыва между наличествующей сказкой и отсутствующим этнографическим контекстом. Противоречие разрешимо в том случае, если мы возьмем устную традицию в ее «живом окружении», подобном тому, который составляет предмет этнографии. При таком подходе проблема исторического прошлого не возникает или возникает лишь в исключительных случаях, потому, что все внешние факторы, необходимые для понимания устной традиции, даны исследователю столь же непосредственно, как и сама эта традиция.

Пропп, таким образом, оказался жертвой субъективной иллюзии. Переживаемое им противоречие вовсе не является противоречием между требованиями синхронического и требованиями диахронического подхода, как он сам полагает: *ему недостает не прошлого, а контекста.* Формалистическая дихотомия, основанная на противопоставлении формы и содержания и определяющая их при посредстве признаков антитезы, диктуется Проппу отнюдь не природой вещей, но случайным характером выбора такого жанра, в котором уцелела одна только форма, тогда как содержание оказалось изжитым. Против собственной воли Пропп вынужден пойти на их расчленение. И в самых решающих пунктах своего анализа он рассуждает так, словно явления, ускользающие от систематизации на практике, не поддаются ей в принципе.

Помимо нескольких — несомненно, пророческих, хотя и чрезвычайно робких и неуверенных — мест в его книге, к которым мы еще вернемся, Пропп выделяет в устной литературе две стороны — форму, составляющую существенный аспект этой литературы в силу того, что она поддается морфологическому изучению, и содержание, которому, по причине его переменчивости, он придает лишь второстепенное значение. Да будет нам позволено особо подчеркнуть этот момент, ибо в нем сосредоточена вся разница между формализмом и структурализмом. С точки зрения формализма форма и содержание должны быть полностью разведены, поскольку

умопостигаемой считается только форма, а содержание рассматривается как обыкновенный субстрат, лишенный значимости. Для структурализма же такого противопоставления не существует: для него не существует категории абстрактного, с одной стороны, и категории конкретного — с другой. Форма и содержание обладают одной природой, они подсудны одному анализу. Реальность содержания — в наличии у него структуры, а то, что принято называть формой, есть продукт «структурирования» локальных структур, из которых состоит содержание.

Указанное ограничение, которое мы полагаем неотъемлемым от формализма, с особой разительностью проявляется в центральной главе работы Проппа, посвященной функциям действующих лиц. Здесь автор разбирает функции по родам и видам. При этом оказывается, что если роды могут быть определены с помощью сугубо морфологических критериев, то виды поддаются подобному определению лишь в слабой степени; к понятию вида Пропп прибегает (разумеется, невольно) для того, чтобы с его помощью вновь ввести в анализ аспекты, относящиеся к содержанию сказки. Возьмем, к примеру, родовую функцию: *вредительство*. Она подразделяется на двадцать два вида и разновидности, такие, как: *вредитель похищает человека; похищает волшебное средство; расхищает или портит посев; похищает дневной свет; угрожает каннибализмом* и т. д. (с. 34—36). Тем самым содержание мало-помалу вновь водворяется на прежнее место, анализ начинает колебаться между чисто формальным описанием — настолько обобщенным, что оно оказывается приложимо к любым сказкам без всякого различия (это — родовой анализ), и простым восстановлением субстрата, о котором вначале было заявлено, что только его формальные свойства имеют объяснительную ценность.

Двусмысленность ситуации настолько разительна, что Пропп мучительно пытается найти промежуточную позицию. Вместо того чтобы последовательно систематизировать явления, называемые им «видами», он ограничивается тем, что выделяет некоторые из них, а все те, которые встречаются редко, скопом подводит под некий «обобщающий» разряд. «Технически, — поясняет Пропп, — удобнее выделить несколько главнейших форм, а остальные обобщить» (с. 34 и 37). Но надо выбирать одно из двух: либо речь идет о специфических формах, так что построение законченной системы оказывается невозможным без их предварительной систематизации и классификации; либо все эти виды относятся исключительно к содержанию, которое, согласно принципам, выдвинутым самим же Проппом, должно быть исключено из морфологического анализа. Однако в любом случае тот ящик, в который Пропп пытается сложить, этим и ограничившись, все несистематизированные формы, не представляет собой какого-либо особого «вида».

Почему же возникает такая приблизительность, как будто устраивающая Проппа? По очень простой причине, позволяющей, между прочим, понять еще одну слабость формалистической позиции: если только содержание тайком не водворяется в пределах формы, последняя обречена оставаться на таком уровне абстракции, который лишает ее всякого значения и, более того, всякой эвристической ценности. *Формализм уничтожает свой собственный объект.* Формализм приводит Проппа к открытию, что в действительности существует лишь одна-единственная сказка. Но с этого момента проблема объяснения просто-напросто переносится в иную плоскость. Теперь мы знаем, что такое *сказка вообще,* но зато, коль скоро реально мы наблюдаем вовсе не архетип сказки, а множество конкретных сказок, не знаем, как их классифицировать. Конечно же, до формализма нам было неведомо, что общего имеют между собой эти сказки. Однако после формализма мы лишились всякой возможности понять, чем они отличаются друг от друга. Мы и вправду совершили восхождение от конкретного к абстрактному, но не можем вернуться от абстрактного к конкретному.

В качестве заключения к своей работе Пропп приводит замечательную выдержку из Веселовского: «Дозволено ли и в этой области поставить вопрос о типических схемах... схемах, передававшихся в ряду поколений как готовые формулы, способные оживиться новым настроением, вызвать новообразования?.. Современная повествовательная литература с ее сложной сюжетностью и фотографическим воспроизведением действительности, по-видимому, устраняет самую возможность подобного вопроса; но когда для будущих поколений она очутится в такой же далекой перспективе, как для нас древность, от доисторической до средневековой; когда синтез времени, этого великого упростителя, пройдя по сложности явлений, сократит их до величины точек, уходящих вглубь, их линии сольются с теми, которые открываются нам теперь, когда мы оглянемся на далекое поэтическое творчество, — и явления схематизма и повторяемости водворятся на всем протяжении» (цитировано Проппом на с. 106 по работе А. Н. Веселовского «Поэтика сюжетов», с. 2). Приведенные соображения чрезвычайно глубоки, однако, по крайней мере из данной цитаты, остается неясным, на какой основе мы сможем провести дифференциацию, если — на фоне общих законов литературного творчества — захотим понять природу и причины его разнообразия.

Пропп почувствовал, в чем состоит суть проблемы, и не случайно заключительная часть его работы представляет собой попытку — столь же робкую, сколь и искусную — возврата к классифицирующему принципу: да, существует лишь одна сказка, но это — прасказка, образованная четырьмя рядами функций, логически соотносящимися между собой. Если обозначить эти ряды цифрами 1,

2, 3, 4, то все конкретные сказки распределятся по четырем разрядам в зависимости от того, сколько рядов используется для их построения: либо все четыре сразу; либо три, могущие (в силу их логических отношений) группироваться только так: 1, 2, 4 или: 1, 3, 4; либо два, располагающиеся в порядке: 1, 4 (ср. выше, с. 410).

Однако на практике это распределение по четырем разрядам приближает нас к реальным сказкам не более, чем выделение единого типа, в силу того, что каждый разряд включает в себя десятки и сотни различных сказок. Проппу это хорошо известно, и потому он пишет: «По разновидностям этого (т. е. обязательного — *Прим. перев.*) элемента и можно вести дальнейшую классификацию. Таким образом, в первую голову для каждого разряда пойдут сказки о похищении человека, затем о похищении талисмана и т. д. сквозь все разновидности элемента *А* («вредительство». —*Прим. перев.*). Затем пойдут сказки... о поисках невесты, о поисках талисмана и т. д.» (с. 92). Что это значит, как не то, что морфологические разряды не исчерпывают изучаемого материала и что, изгнав из сказок содержание как не могущее служить основой для классификации, Пропп затем вновь водворяет его на место как раз в силу того, что попытка морфологического анализа не удалась?

Но дело обстоит еще более серьезно. Мы видели, что основной тип сказки, который конкретные сказки реализуют лишь частично, состоит из двух «ходов», так что одни функции представляют собой простые варианты друг друга и могут повторяться в обоих ходах, а другие принадлежат лишь каждому «ходу» в отдельности (ср. выше, с. 408). Эти специфические функции суть (для первого «хода»): *бой, клеймение героя, победа, ликвидация недостачи, возвращение, преследование героя, спасение* и (для второго «хода»): *неузнанное прибытие, трудная задача, ее решение, узнавание героя, обличение ложного героя, трансфигурация героя.*

По какому принципу проводится различение этих двух рядов? Разве нельзя с тем же успехом рассматривать их просто как два варианта, когда *задавание трудной задачи* окажется трансформацией *боя*[1], *ложный герой* — трансформацией *вредителя, решение трудной задачи* — трансформацией *победы,* а трансфигурация — трансформацией *клеймения?* В случае положительного ответа на этот вопрос теория о целостной сказке, состоящей из двух «ходов», незамедлительно рухнет, а вместе с ней рухнет и робкая надежда на создание морфологической классификации, поскольку мы действительно получим тогда одну-единственную сказку. Но эта сказка— абстракция, столь неопределенная и общая, что она не скажет нам ничего об объективных причинах, почему существует множество отдельных сказок.

---

[1] Впрочем, скорее, — трансформацией *испытания героя,* которое происходит раньше.

* * *

Проверкой всякого анализа является синтез. Если синтез оказывается невозможным, значит, анализ страдает неполнотой. Ничто не доказывает изъяны формализма лучше, чем его неспособность воссоздать то эмпирическое содержание, которое тем не менее послужило ему отправной точкой. Что же было утрачено по дороге? Не что иное, как это самое содержание. Пропп открыл — и тем заслужил славу, — что содержание сказок является *переменной* величиной; но отсюда он слишком часто заключал, будто оно является величиной *случайной,* и в этом-то и состоит причина трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться, ибо даже субституции совершаются по определенным законам.

В мифах и сказках индейцев Северной и Южной Америки различным животным в различных повествованиях приписываются одинаковые поступки. Возьмем для простоты птиц: орла, сову, ворона. Станем ли мы, подобно Проппу, отличать устойчивую функцию от меняющихся персонажей? Нет, ибо ни один персонаж не явлен нам в виде некоего непроницаемого элемента, перед которым структурному анализу надлежит замереть, сказав самому себе: «Все, дальше ты не пойдешь». Правда, можно прийти к противоположному выводу, если рассматривать — в духе Проппа — всякий рассказ как замкнутую систему. В самом деле, такой рассказ не несет никакой информации о самом себе, и персонаж в этом случае уподобляется слову, встреченному в каком-либо документе, но отсутствующему в словаре, или же имени собственному, короче — термину, лишенному всякого контекста.

Однако в действительности понять смысл такого термина — как раз и значит подставить его во все возможные для него контексты. В устной литературе эти контексты образованы в первую очередь совокупностью вариантов, иными словами, системой отношений совместимости и несовместимости, определяющей совокупность переменных. Тот факт, что, выполняя одну и ту же функцию, орел появляется днем, а сова — ночью, уже позволяет определить орла как дневную сову, а сову — как ночного орла, а это значит, что оппозиция дня и ночи приобретает релевантность. Если изучаемый фольклорный материал принадлежит к этнографическому типу, то он окажется в окружении и других контекстов, образованных обрядами, религиозными верованиями и поверьями, равно как и совокупностью позитивных знаний данного общества. В этом случае можно будет заметить, что орел и сова в качестве хищных птиц противостоят ворону как пожирателю падали, а оппозиция между орлом и совой проходит по оси дня и ночи; утка же противостоит всем троим в плане новой оппозиции между парой *небо/земля* и парой *небо/вода.* Так, постепенно, можно будет прийти к определению «мира сказки», подлежащего анализу путем установления парных оппозиций, по-раз-

ному сочетающихся внутри различных персонажей, которые вовсе не являются какими-то неразложимыми сущностями, а, подобно фонемам, как их понимает Роман Якобсон, представляют собой «пучки дифференциальных элементов».

Далее, в мифах американских индейцев нередко фигурируют деревья, такие, например, как *слива* или *яблоня*. В данном случае также неверно было бы полагать существенным только само понятие *дерево*, а его конкретные воплощения считать произвольными или же думать, будто имеется такая функция, по отношению к которой само дерево всегда является лишь «выполнителем». И действительно, обследование соответствующих контекстов показывает, что индейца в соответствии с его миропониманием в сливе интересует ее плодовитость, тогда как яблоня привлекает его внимание мощью и глубиной своих корней. Слива, таким образом, вводит позитивную функцию: *плодовитость*, а яблоня — негативную функцию: *соединение земли с небом*, причем оба дерева располагаются по оси вегетации. В свою очередь яблоня противопоставляется дикой репе (съемная затычка, разделяющая два мира), которая реализует позитивную функцию: *соединение неба с землей*.

С другой стороны, внимательное обследование различных контекстов позволяет устранять ложные разграничения. У равнинных индейцев в мифических повествованиях, связанных с охотой на орлов, фигурирует животное, иногда называемое *росомахой*, а иногда — *медведем*. Можно отдать предпочтение росомахе, если учесть, что в повадках последней индейцев в особенности поражает ее умение обманывать людей, выбираясь из ловушек, вырытых в земле. И действительно, охотники на орлов прячутся в ямах, поэтому оппозиция *орел/росомаха* оказывается оппозицией между небесной дичью и хтоническим (земным) охотником — то есть наиболее существенной в плане охоты. Тем самым эта максимальная амплитуда между элементами, противопоставленными, как правило, не столь резко, объясняет, почему охота на орлов требует ритуала столь исключительной строгости[1].

Наше утверждение о том, что переменный характер содержания отнюдь не равносилен его произвольности, означает, что при условии проведения анализа на достаточно глубоком уровне мы сумеем обнаружить за видимым разнообразием отношений их устойчивость. И наоборот, так называемая устойчивость формы не должна скрывать от нас того факта, что функции, со своей стороны, также способны взаимозаменяться.

Структура сказки, как она описана Проппом, предстанет в виде хронологической последовательности качественно различных фун-

[1] Эти разборы см. в: «Annuaire de l'École pratique des hautes études (Sciences religieuses)» — 1954—1955, p. 25—27, и 1959—1960, p. 39—42, «La Pensée sauvage», 1962, p. 66—71.

кций, каждая из которых образует самостоятельный «род». Возникает вопрос: не слишком ли рано (как это имеет место в случае с персонажами и их атрибутами) заканчивает Пропп свой анализ и не пытается ли он обнаружить форму слишком близко к уровню эмпирического наблюдения? Похоже, что некоторые из его тридцати и одной функции поддаются сведению, иными словами, отождествлению в рамках *одной и той же* функции, которая, претерпев одну или несколько *трансформаций*, появляется в *различных* точках повествования. В этом отношении мы уже указывали на ложного героя, который, возможно, представляет собой трансформацию вредителя, а также и на трудную задачу как на вариант испытания и т. п. (см. выше, с. 418) и отмечали, что в этом случае оба «хода», составляющие основную сказку, тоже оказываются трансформациями друг друга.

Не исключено, что такая редукция может быть продолжена и дальше и что каждый ход в отдельности разложим на небольшое число повторяющихся функций, так что некоторые функции, выделенные Проппом, в действительности окажутся совокупностью трансформаций одной и той же функции. Так, *нарушение запрета* можно рассматривать как функцию, противоположную самому *запрету*, а *запрет* — как негативную трансформацию *приказания*. *Отправка* героя и *его возвращение* предстанут как одна и та же дизъюнктивная функция, выраженная в одном случае отрицательно, а в другом — положительно; *поиск* героя (он отправляется за чем-нибудь или за кем-нибудь) окажется обращенной формой его *преследования* (что-нибудь или кто-нибудь гонится за ним) и т. п. Иными словами, вместо хронологической схемы Проппа, где порядок следования функций выступает в роли структурного фактора:

$$A, B, C, \uparrow Д, \ldots\ldots\ldots Б, К, П, \ldots\ldots\ldots У, О, Т, Н, С^*,$$

нужно будет принять другую схему, представляющую собой структурную модель, которая определяется как группа трансформаций малого количества элементов. Эта схема будет иметь вид матрицы с одним, двумя или большим числом измерений:

$$\begin{array}{cccc} W & -X & \frac{1}{Y} & 1-Z \\ -W & \frac{1}{X} & 1-Y & Z \\ \frac{1}{W} & 1-X & Y & -Z \\ 1-W & X & -Y & \frac{1}{Z} \end{array} \quad \ldots\ldots$$

где система операций будет строиться по типу Булевой алгебры.

В одной из своих работ я показал, что только приведенная схема способна объяснить двойственный характер времени в любой мифологической системе: повествование здесь одновременно располагается как «во времени» (оно представляет собой последовательность событий), так и «вне времени» (его значение остается актуальным всегда)[1]. Однако, ограничившись лишь обсуждением теории Проппа, можно сказать, что наша схема обладает еще и тем преимуществом, что позволяет — намного удачнее, чем это удалось сделать самому Проппу, — согласовать его теоретический принцип, по которому событийная последовательность всегда одинакова, с эмпирически наблюдаемым от сказки к сказке фактом перестановки отдельных функций или даже их групп (с. 97—98). Если принять нашу концепцию, то получится, что хронологическая последовательность событий растворяется во вневременной матричной структуре, форма которой действительно обладает устойчивостью; а перестановки функций суть не что иное, как один из способов их субституции (когда они выбираются из вертикальных столбцов или их фрагментов).

* * *

Несомненно, что все эти критические замечания свидетельствуют как против метода Проппа, так и против его выводов. Однако не будет лишним еще раз подчеркнуть, что Пропп сам же и выдвинул эти замечания и в ряде случаев с абсолютной ясностью сформулировал те решения, о которых мы только что упоминали. Вернемся в этой связи к двум основным проблемам нашей дискуссии — проблеме устойчивости содержания (которой оно обладает вопреки своей переменчивости) и проблеме переменчивости функций (которой они обладают вопреки своей устойчивости).

Одна из глав работы Проппа (VIII) называется: «Об атрибутах действующих лиц *и их значении*» (курсив мой. — *К. Л-С.*). В довольно-таки туманной форме (по крайней мере так обстоит дело в английском переводе) Пропп ставит здесь вопрос о причинах очевидной изменчивости некоторых элементов сказки. Изменчивость эта, однако, не исключает их повторяемости; можно, следовательно, выделить основные формы и формы производные или гетерономные. Далее, на этой основе можно будет отличить «интернациональный» канон от «национальных» или «провинциальных» форм и, наконец, от форм, характерных для известных социальных или профессиональных групп: «Группируя материал каждой рубрики, мы можем определить все способы или, вернее, все виды трансформаций» (с. 80).

---

[1] «Anthropologie structurale», p. 231.

Однако если привести все основные формы для каждой рубрики к одной типической сказке, то обнаружится, что в основе ее лежат некоторые отвлеченные представления. Так, задачи, задаваемые герою дарителем, могут меняться от сказки к сказке, однако цели дарителя по отношению к герою во всех случаях остаются неизменными. То же касается и задач похищенной царевны. Между этими целями, которые можно выразить в виде формул, обнаруживаются общие черты. Сопоставляя эти формулы с другими атрибутивными элементами, «мы неожиданно получаем такую же связную цепь в логическом плане сказки, как в плане художественном. ...Даже такие подробности, как золотые волосы царевны... приобретают совершенно особое значение и могут быть изучены. Изучение атрибутов дает возможность научного т о л к о в а н и я сказки» (с. 81—82).

Однако, не располагая этнографическим контекстом (который могло бы добыть только изучение исторических и доисторических данных), Пропп, едва успев сформулировать указанную задачу, тотчас же отказывается от нее или откладывает до лучших времен (что объясняет его последующее обращение к изучению пережитков и к сравнительным разысканиям): «Все это мы высказываем в виде предположения». И все же «изучение атрибутов действующих лиц, лишь намеченное нами, чрезвычайно важно» (с. 82). Даже если на первых порах такое изучение сведется к составлению малоинтересного самого по себе каталога, оно все равно побуждает к рассмотрению «законов трансформаций и отвлеченных представлений, которые отражаются в основных формах этих атрибутов» *(там же)*.

Пропп затрагивает здесь самое существо вопроса. Он чувствует, что за атрибутами, первоначально третировавшимися как произвольный и лишенный значения субстрат, стоят и действуют «отвлеченные представления» и «логический план», существование которых, будучи доказанным, позволило бы рассматривать сказку как миф *(там же)*.

Что касается второй проблемы, то здесь примеры, приводимые Проппом в приложении II, показывают, что в ряде случаев он не колеблясь вводит такие понятия, как отрицательная и обращенная функция. Для обозначения последней даже использует специальный символ (=). Выше (с. 409) мы видели, что некоторые функции взаимно исключают друг друга. Но есть и иные, которые имплицируют одна другую, как, например, *запрет* и его *нарушение*, с одной стороны, и *обман* и *поддача обману* — с другой, причем чаще всего обе эти пары оказываются взаимно несовместимы[1] (с. 98). Так воз-

[1] Эта вторая система несовместимостей относится к функциям, которые, по причине их необязательности, Пропп называет подготовительными. Напомним, что, по Проппу, среди основных функций есть только одна пара несовместимых.

никает проблема, эксплицитно сформулированная самим Проппом: «связаны ли разновидности одной функции непременно с соответствующими разновидностями другой функции?» (с. 98—99). В некоторых случаях (*запрет* и *нарушение*, *бой* и *победа*, *клеймение* и *узнавание* и т. д.) они связаны всегда, в иных — только время от времени. Некоторые корреляции могут быть односторонними, другие — двусторонними (так, бросание гребешка всегда происходит во время погони, но обратное неверно). «Таким образом, есть как бы односторонне и двусторонне заменяемые элементы» (с. 99).

В одной из предшествующих глав Пропп изучил возможные связи между различными формами *испытания* героя дарителем и формами, в которых может выражаться *передача волшебного средства;* он пришел к выводу о существовании двух типов связей в зависимости от того, носит или нет эта передача характер обмена (с. 45—46). Применяя эти и однотипные с ними правила, Пропп указывает на возможность экспериментальной проверки своих выводов. Для этого достаточно будет применить всю эту систему взаимных совместимостей и исключаемостей, импликаций и корреляций (полных или частичных) для синтезирования искусственных сказок. В этом случае можно будет увидеть, как эти произведения «оживают», «становятся сказками» (с. 101).

* * *

Разумеется, добавляет Пропп, сказанное возможно только при условии, если функции будут распределены между традиционными или искусственно созданными персонажами, а также будут приняты во внимание мотивировки, связки и «прочие вспомогательные элементы», в выборе которых сказочник «совершенно свободен» (с. 102). Мы со своей стороны еще раз утверждаем, что он лишен такой свободы и что колебания Проппа в этом вопросе объясняют нам, почему его попытка с самого начала представляется — представлялась ему самому — безысходной.

Мифы западных индейцев пуэбло о первотворении начинаются с рассказа о появлении первых людей из земных недр, где они пребывали ранее. Это появление нуждается в мотивации, и оно действительно мотивируется двумя различными способами: либо люди начинают понимать ничтожность своего положения и стремятся его изменить; либо боги обнаруживают свое собственное одиночество и выводят людей на поверхность земли, дабы те могли возносить им молитвы и установить их культ. Здесь нетрудно признать «ситуацию недостачи», описанную Проппом, но мотивированную в одном случае с точки зрения людей, а в другом — с точки зрения богов. Так вот, эта разница мотивировок в обоих вариантах настолько неслучайна, что она влечет за собой соответствующую

трансформацию целого ряда функций. В конечном счете эта разница связана с различной постановкой вопроса о соотношении охоты и земледелия[1]. Но к такому объяснению невозможно прийти, если мы лишены возможности изучать обряды, ремесла, знания и верования соответствующих народностей с социологической точки зрения и независимо от их мифологической трактовки. В противном случае мы окажемся в замкнутом круге.

Таким образом, ошибка формализма имеет двоякий характер. Обращаясь исключительно к правилам, управляющим построением предложений, он упускает из виду, что не существует ни одного языка, словарь которого можно было бы вывести из его синтаксиса. Изучение любой лингвистической системы требует участия как со стороны грамматиста, так и со стороны лексиколога, а это, применительно к устной традиции, означает, что морфология бесплодна, если она, прямо или косвенно, не будет оплодотворена данными этнографии. Полагать, будто можно расчленить обе эти задачи, изучив сначала грамматику и отложив словарь на будущее, — значит обречь себя на создание обескровленной грамматики и такого словаря, где вместо определений будут содержаться одни только курьезные наблюдения. В конечном счете ни первое, ни второе в отдельности не смогут выполнить своей задачи.

Эта главная ошибка формализма объясняется свойственной ему недооценкой отношения дополнительности, существующего между означающим и означаемым, отношения, которое со времен Соссюра считается присущим любой лингвистической системе. Указанное заблуждение усугубляется другим, противоположным; оно состоит в том, что устную традицию рассматривают как способ языкового выражения, подобный любому иному, то есть когда разные уровни в разной степени поддаются структурному анализу.

В настоящее время признано, что язык обладает структурной организацией на фонологическом уровне; понемногу приходят к убеждению, что такой же организацией он обладает и на уровне грамматики. Однако гораздо меньше уверенности в том, что язык структурен и на уровне словаря. За исключением, быть может, некоторых особых областей, до сих пор не обнаружен тот угол зрения, который сделал бы возможным структурный анализ словаря.

Перенесение этой ситуации в плоскость устной традиции объясняет, почему Пропп разграничил только два уровня: один — уровень функций, — который якобы только и обладает подлинной морфологической организацией, и другой, аморфный, где в полном беспорядке громоздятся персонажи, их атрибуты, мотивировки и

---

[1] «Anthropologie structurale», ch. XI; см. также: «Annuaire de l'École pratique des hautes études (Sciences Religieuses)»: 1952—1953, p. 19—21; 1953—1954, p. 27— 29.

связки; этот последний уровень, подобный словарному (лексическому), подлежит якобы лишь историческому и литературно-критическому изучению.

При таком отождествлении не учитывается, что, хотя мифы и сказки суть модусы языка, для них тем не менее характерно его «гиперструктуральное» использование: можно сказать, что они образуют такой «метаязык», где структурной организацией обладают все уровни. Эта особенность к тому же позволяет немедленно отличить мифы и сказки от исторических или романных повествований. Разумеется, поскольку мифы и сказки представляют собой речевые образования, они используют как грамматические правила языка, так и слова из его лексического запаса. Однако это привычное измерение дополняется в данном случае еще одним, потому что указанные правила и слова служат здесь созданию таких образов и действий, которые одновременно выступают как в роли «нормальных» означающих по отношению к речевым означаемым, так и в роли элементов значения по отношению к вторичной знаковой системе, располагающейся уже в иной плоскости. Чтобы пояснить это положение, скажем, что в сказке *король* никогда не бывает просто королем, а *пастушка* — пастушкой, но что эти слова превращаются в материальные средства для создания смысловой системы, образованной оппозициями: *мужской/женский* (по оси *природы)* и *верх/низ* (по оси *культуры)* и всеми возможными сочетаниями между этими шестью элементами.

Язык и метаязык, которые, соединяясь, создают сказки и мифы, могут обладать рядом общих для них уровней; и все же эти уровни различны. Хотя слова и продолжают оставаться элементами речи, в мифе они начинают функционировать как пучки дифференциальных отношений. В плане классификации эти мифемы располагаются не на лексическом, а на фонематическом уровне, с той только разницей, что мифемы и фонемы принадлежат к разным *континуумам* (совокупность данных чувственного опыта — в первом случае и звуковая материя, вырабатываемая голосовым аппаратом, — в другом); сходство же состоит в том, что оба эти *континуума* расчленяются и синтезируются при помощи бинарных и тринарных оппозиций и корреляций.

Это значит, что проблема лексики (словаря) ставится по-разному в зависимости от того, что именно мы рассматриваем — язык или метаязык. Тот факт, что в мифах и сказках американских индейцев функцию *трикстера* может выполнять то койот, то норка, то ворон, ставит нас перед исторической и этнографической проблемой, сопоставимой с филологическим разысканием относительно современной формы того или иного слова. Однако это совершенно иная проблема, нежели выяснение причин, по которым *норка* по-французски называется vison, а по-английски — mink. Во вто-

ром случае названия могут рассматриваться как произвольные, и задача будет состоять лишь в том, чтобы проследить путь развития, приведший к появлению той или иной языковой формы. В первом же случае ограничения оказываются гораздо более строгими, поскольку число конститутивных единиц здесь невелико, а возможность их комбинирования ограничена. Выбор здесь осуществляется среди нескольких предварительно заданных возможностей.

И однако, если взглянуть на дело более внимательно, можно заметить, что это различие, по видимости количественное, на самом деле зависит не от числа конститутивных единиц, которое не совпадает в случае с фонемами и в случае с мифемами, но от самой природы этих единиц, качественно различной в обоих случаях.

Согласно классическому определению, фонемы представляют собой элементы, лишенные значения, но служащие — [в частности] самим фактом своего наличия или отсутствия — различению терминов — слов, которые, наоборот, обладают смыслом. Если слова, со стороны своей звуковой оболочки, представляются произвольными, то причина не только в том, что они являются продуктом в значительной степени (возможно, впрочем, и не в такой, как принято думать) случайных комбинаций, которые возможны между фонемами и число которых в каждом языке чрезвычайно велико. Произвольность звуковых форм проистекает в первую очередь от того, что их конститутивные единицы — фонемы — находятся в неопределенном отношении к категории значения: не существует причин, которые заставляли бы известные звуковые комбинации быть носителями определенного смысла. Как мы попытались показать в другой работе*, структурирование лексического пласта происходит на ином этапе: a posteriori, а не a priori.

Совершенно иначе обстоит дело с мифемами: мифемы возникают в результате комбинирования бинарных и тринарных оппозиций (что придает им сходство с фонемами), но при этом комбинируются такие элементы, которые — в плане языка — уже наделены значением, мифемы и суть те «отвлеченные представления», о которых говорит Пропп и которые могут быть выражены при помощи слов из лексического запаса языка. Воспользовавшись неологизмом из области строительной техники, можно было бы сказать, что в отличие от слов мифемам свойственна «предварительная напряженность». Разумеется, мифемы — это тоже слова, но это слова с двойным значением, *слова слов,* одновременно функционирующие в двух планах — в плане языка, где они сохраняют свое лексическое значение, и в плане метаязыка, где они выступают в роли элементов вторичной знаковой системы, которая способна возникнуть лишь из соединения этих элементов.

---

* «Anthropologie structurale», ch. V.

Согласившись со сказанным, нетрудно понять, что в сказках и в мифах не содержится ничего, что могло бы оказаться чужеродным и как бы даже противным их структуре. Даже лексика, то есть содержание, лишена здесь признаков той «творящей природы», на которую — быть может, напрасно — принято ссылаться как на субстанцию, осуществляющуюся непредвиденным и самопроизвольным образом. В сказках и в мифах лексика предстает как «сотворенная природа»: это — готовая данность, ей присущи законы, которые определенным образом членят не только действительность, но и само мифическое видение мира. Свобода такого видения состоит лишь в нахождении упорядоченных сочетаний, возможных между кусочками мозаики, число, смысл и конфигурация которых заданы заранее.

Итак, мы раскрыли ошибку формализма, состоящую в убеждении, будто можно непосредственно приступать к изучению грамматики, минуя лексику, словарь. Однако то, что верно относительно какой-либо лингвистической системы, еще в большей степени верно применительно к мифам и к сказкам, потому что в данном случае грамматика и словарь не просто тесно связаны между собой, хотя и принадлежат к различным уровням текста, а смыкаются друг с другом по всей своей плоскости и полностью перекрывают одна другую. В отличие от языка, где проблема словаря все еще продолжает стоять, в метаязыке нет ни одного уровня, элементы которого не возникали бы в результате совершенно определенных, подчиняющихся известным правилам операций. В этом смысле в метаязыке все — синтаксис. Но с другой стороны, в нем все — лексика, словарь, поскольку в роли дифференциальных элементов здесь выступают слова; мифемы — это тоже слова; функции — эти мифемы в квадрате — могут быть обозначены (как очень верно отметил Пропп) при помощи отдельных слов; и представляется вероятным, что существуют такие языки, в которых весь миф целиком может быть выражен при помощи одного-единственного слова.

Владимир Пропп

Структурное и историческое изучение волшебной сказки (Ответ К. Леви-Строссу)

Книга «Морфология сказки» вышла в свет на русском языке в 1928 году[1]. Она в свое время вызвала двоякие отклики. С одной стороны, ее доброжелательно встретили некоторые фольклористы, этнографы и литературоведы. С другой стороны, автора обвиняли в формализме, и такие обвинения повторяются по сегодняшний день. Книга эта, как и многие другие, вероятно, была бы забыта, и о ней изредка вспоминали бы только специалисты, но вот через несколько лет после войны о ней вдруг снова вспомнили. О ней заговорили на конгрессах и в печати, она была переведена на английский язык[2]. Что же такое произошло и чем можно объяснить этот возродившийся интерес? В области точных наук были сделаны огромные, ошеломляющие открытия. Эти открытия стали

---

1 Пропп В. Морфология сказки. Л., 1928.

2 P r o p p V. Morphology of the Folktale / Edited with an Introduction by Svatava Pirkova-Jacobson. Translated by Laurence Scott. Bloomington, 1958 («Indiana University Research Center in Anthropology, Folklore and Linguistics, Publication Ten»). (Перепечатки: «International Journal of American Linguistics», vol. 24, N 4, pt 3, October 1958; «Bibliographical and Special Series of the American Folklore Society», vol. 9 Philadelphia, 1958); P r o p p V. Morphology of the Folktale. Second Edition / Revised and Edited with a Preface by Louis. A. Wagner. New Introduction by Alan Dundes. Austin — London [1968, 1970]. — *Прим. ред.*

возможны благодаря применению новых точных и точнейших методов исследований и вычислений. Стремление к применению точных методов перекинулось и на гуманитарные науки. Появилась структурная и математическая лингвистика. За лингвистикой последовали и другие дисциплины. Одна из них — теоретическая поэтика. Тут оказалось, что понимание искусства как некоей знаковой системы, прием формализации и моделирования, возможность применения математических вычислений уже предвосхищены в этой книге, хотя в то время, когда она создавалась, не было того круга понятий и той терминологии, которыми оперируют современные науки. И вновь отношение к этой работе оказалось двойственным. Одни считали ее нужной и полезной в поисках новых уточненных методов, другие же, как и прежде, считали ее формалистической и отрицали за ней всякую познавательную ценность.

К числу противников этой книги принадлежит и проф. Леви-Стросс. Он структуралист. Но структуралистов часто обвиняют в формализме. Чтобы показать разницу между структурализмом и формализмом, проф. Леви-Стросс берет в качестве примера книгу «Морфология сказки», которую он считает формалистической, и на ее примере обрисовывает эту разницу. Его статья «La structure et la forme. Réflexions sur un ouvrage de Vladimir Propp» прилагается к настоящему изданию «Морфологии»[3]. Прав он или нет, об этом пусть судят читатели. Но когда на человека нападают, ему свойственно защищаться. Против аргументов противника, если они представляются ложными, можно выдвинуть контраргументы, которые могут оказаться более правильными. Такая полемика может иметь общенаучный интерес. Поэтому я с благодарностью согласился на любезное предложение издательства Эйнауди написать на эту статью ответ. Проф. Леви-Стросс бросил мне перчатку, и я ее подымаю. Читатели «Морфологии» станут, таким образом, свидетелями поединка и смогут встать на сторону того, кого они сочтут победителем, если таковой вообще окажется.

Проф. Леви-Стросс имеет предо мной одно весьма существенное преимущество: он философ. Я же эмпирик, притом эмпирик неподкупный, который прежде всего пристально всматривается в факты и изучает их скрупулезно и методически, проверяя свои предпосылки и оглядываясь на каждый шаг рассуждений. Эмпирические науки, однако, тоже бывают разные. В некоторых случаях эмпирик может и даже вынужден довольствоваться описанием,

---

[3] Lévi-StraussC. La structure et la forme. Réflexions sur un ouvrage de Vladimir Propp, — «Cahiers de l'Institut de Science économique appliquée», série M, № 7, mars, 1960 (перепечатка: «International Journal of Slavic Linguistics and Poetics», III, s'Gravenhage, 1960; на итальянском языке статья включена в качестве приложения к итальянскому изданию книги В. Я. Проппа). — *Прим. ред.*

характеристикой, в особенности если предметом изучения служит единичный факт. Такие описания отнюдь не лишены научного значения, если только они сделаны правильно. Но если описываются и изучаются ряды фактов и их связи, описание их перерастает в раскрытие явления, феномена, и раскрытие такого феномена обладает уже не только частным интересом, но располагает к философским размышлениям. Эти размышления были и у меня, но они зашифрованы и выражены только в эпиграфах, которыми сопровождаются некоторые из глав. Проф. Леви-Стросс знает мою книгу только по английскому переводу. Но переводчик позволил себе одну недопустимую вольность. Он совершенно не понял, для чего нужны эпиграфы. Внешне они с текстом книги не связаны. Поэтому он счел их излишними украшениями и варварски вычеркнул их. Между тем все эпиграфы взяты из серии трудов Гёте, объединенных им под общим заглавием «Морфология», а также из его дневников. Эти эпиграфы должны были выразить то, что в самой книге не сказано. Венец всякой науки есть раскрытие закономерностей. Там, где чистый эмпирик видит разрозненные факты, эмпирик-философ усматривает отражение закона. Я увидел закон на очень скромном участке — на одном из видов народной сказки. Но мне показалось уже тогда, что раскрытие этого закона может иметь и более широкое значение. Самый термин «морфология» заимствован не из таких руководств по ботанике, где основная цель — систематика, а также не из грамматических трудов, — он заимствован у Гёте, который под этим заглавием объединил труды по ботанике и остеологии. За этим термином у Гёте раскрывается перспектива в распознании закономерностей, которые пронизывают природу вообще. И не случайно, что после ботаники Гёте пришел к сравнительной остеологии. Эти труды можно усиленно рекомендовать структуралистам. И если молодой Гёте в лице Фауста, сидящего в своей пыльной лаборатории и окруженного скелетами, костями и гербариями, не видит в них ничего, кроме праха, то стареющий Гёте, вооруженный методом точных сравнений в области естествознания, видит сквозь единичное — пронизывающее всю природу великое общее и целое. Но нет двух Гёте — поэта и ученого; Гёте «Фауста», стремящийся к познанию, и Гёте — естествовед, пришедший к познанию, есть один и тот же Гёте. Эпиграфы к отдельным главам — знак преклонения перед ним. Но эти эпиграфы должны выразить и другое: область природы и область человеческого творчества не разъединены. Есть нечто, что объединяет их, есть какие-то общие для них законы, которые могут быть изучены сходными методами. Мысль эта, смутно вырисовывавшаяся тогда, в настоящее время лежит в основе поисков точных методов в области гуманитарных наук, о которых говорилось выше. Здесь одна из причин, почему структуралисты меня поддержали. С другой же стороны, некоторые струк-

туралисты не поняли того, что моя цель состояла не в том, чтобы установить какие-то широкие обобщения, возможность которых выражена в эпиграфах, а что цель была чисто профессионально-фольклористическая. Так, проф. Леви-Стросс дважды задает себе недоуменный вопрос: какие причины побудили меня применить мой метод к сказке? Он сам разъясняет читателю эти причины, которых, по его мнению, несколько. Одна из них состоит в том, что я не этнолог и потому не располагаю материалом мифологии, не знаю его. Я, далее, не имею никаких представлений о подлинных отношениях между сказкой и мифом (с. 413)[4]. Короче говоря, то, что я занимаюсь сказкой, объясняется моим недостаточным научным горизонтом, иначе я, вероятно, испробовал бы свой метод не на сказках, а на мифах.

Я не буду входить в логику этих тезисов («так как автор не знает мифов, он занимается сказками»). Логика таких утверждений кажется мне слабой. Но я думаю, что ни одному ученому нельзя запретить заниматься одним и рекомендовать ему заниматься другим. Эти рассуждения проф. Леви-Стросса показывают, что он представляет себе дело так, будто у ученого сперва возникает метод, а потом уже он начинает размышлять, к чему бы этот метод приложить; в данном случае ученый почему-то применяет свой метод к сказкам, что не очень интересует философа. Но так в науке никогда не бывает, так не было и со мной. Дело обстояло совершенно иначе. Русские университеты царских времен давали филологам очень слабую литературоведческую подготовку. В частности, народная поэзия была в полном загоне. Чтобы заполнить этот пробел, я по окончании университета взялся за знаменитый сборник Афанасьева и стал его изучать. Я напал на серию сказок с гонимой падчерицей, и тут я заметил следующее: в сказке «Морозко» (№ 95 по нумерации советских изданий) мачеха отправляет свою падчерицу в лес к Морозке. Морозко пробует ее заморозить, но она отвечает ему так кротко и терпеливо, что он ее щадит, награждает и отпускает. Родная дочь старухи не выдерживает испытания и погибает. В следующей сказке падчерица попадает уже не к Морозке, а к лешему, а еще в следующей — к медведю. Но ведь это одна и та же сказка! Морозко, леший и медведь испытывают и награждают падчерицу по-разному, но ход действия одинаков. Неужели этого никто не замечал? Почему же Афанасьев и другие считают эти сказки разными? Совершенно очевидно, что Морозко, леший и медведь в разной форме совершают один и тот же поступок. Афанасьев считает эти сказки разными потому, что выступают разные пер-

[4] Здесь и далее даются ссылки на статью Леви-Стросса в настоящем сборнике. Расхождения в ряде случаев объясняются не совсем точным переводом текста Леви-Стросса у Проппа. — *Прим. ред.*

сонажи. Мне же показалось, что сказки эти одинаковы потому, что одинаковы поступки действующих лиц. Я этим заинтересовался и стал изучать и другие сказки с точки зрения того, что в сказке вообще делают персонажи. Так, путем вхождения в материал, а не путем абстракций, родился очень простой метод изучения сказки по поступкам действующих лиц независимо от их облика. Поступки действующих лиц, их действия я назвал функциями. Наблюдение, сделанное над сказками о гонимой падчерице, оказалось тем кончиком, за который можно было ухватить нить и размотать весь клубок. Обнаружилось, что и другие сюжеты основаны на повторяемости функций и что в конечном итоге все сюжеты волшебной сказки основаны на одинаковых функциях, что все волшебные сказки однотипны по своему строению.

Но если плохую услугу оказал читателю переводчик, опустив эпиграфы из Гёте, то другое нарушение авторской воли было допущено не переводчиком, а русским издательством, выпустившим книгу; было изменено заглавие ее. Она называлась «Морфология волшебной сказки». Чтобы придать книге больший интерес, редактор вычеркнул слово «волшебной» и тем ввел читателей (и в том числе и проф. Леви-Стросса) в заблуждение, будто здесь рассматриваются закономерности сказки как жанра вообще. Книга под таким названием могла бы стать в один ряд с этюдами типа «Морфология заговора», «Морфология басни», «Морфология комедии» и т. д. Но у автора отнюдь не было цели изучить все виды сложного и многообразного жанра сказки как таковой. В ней рассматривается только один вид ее, резко отличающийся от всех других ее видов, а именно сказки волшебные, притом только народные. Это, таким образом, специальное исследование по частному вопросу фольклористики. Другое дело, что метод изучения повествовательных жанров по функциям действующих лиц может оказаться продуктивным не только в применении к волшебным, но и другим видам сказки, а может быть и к изучению произведений повествовательного характера мировой литературы вообще. Но можно предсказать, что конкретные результаты во всех этих случаях окажутся совершенно различными. Так, например, кумулятивные сказки построены на совершенно иных принципах, чем сказки волшебные. В английской фольклористике они названы Formula-Tales. Типы формул, на которых основаны эти сказки, могут быть найдены и определены, но схемы их окажутся совершенно иными, чем схемы сказок волшебных. Есть, таким образом, различные типы повествований, которые могут, однако, изучаться одинаковыми методами. Проф. Леви-Стросс приводит мои слова, что найденные мною выводы неприменимы к сказкам Новалиса или Гёте и вообще к искусственным сказкам литературного происхождения, и обращает их против меня, считая, что в таком случае мои выводы ошибочны. Но

они отнюдь не ошибочны, они только не имеют того универсального значения, которое хотел бы им придать мой уважаемый критик. Метод широк, выводы же строго ограничиваются тем видом фольклорного повествовательного творчества, на изучении которого они были получены.

Я не буду отвечать на все обвинения, выдвинутые против меня проф. Леви-Строссом. Я остановлюсь только на некоторых, наиболее важных. Если эти обвинения окажутся необоснованными, другие, более мелкие и вытекающие из них, отпадут сами собой.

Основное обвинение состоит в том, что моя работа формалистическая и уже потому не может иметь познавательного значения. Точного определения того, что понимается под формализмом, проф. Леви-Стросс не дает, ограничиваясь указанием на некоторые его признаки, которые сообщаются по ходу изложения. Один из этих признаков состоит в том, что формалисты изучают свой материал безотносительно к истории. Такое формалистическое, внеисторическое изучение он приписывает и мне. Желая, по-видимому, несколько смягчить свой суровый приговор, проф. Леви-Стросс сообщает читателям, будто я, написав «Морфологию», затем отказался от формализма и морфологического анализа, чтобы посвятить себя историческим и сравнительным разысканиям об отношении «устной литературы» (так он называет фольклор) к мифам, обрядам и учреждениям (с. 400). Какие это разыскания — он не говорит. В книге «Русские аграрные праздники» (1963) я применил как раз тот самый метод, что и в «Морфологии». Оказалось, что все большие основные аграрные праздники состоят из одинаковых элементов, различно оформленных. Но об этой работе проф. Леви-Стросс еще не мог знать. По-видимому, он имеет в виду книгу «Исторические корни волшебной сказки», вышедшую в 1946 году и выпущенную издательством Эйнауди на итальянском языке. Но если бы проф. Леви-Стросс заглянул в эту книгу, он бы увидел, что она начинается с изложения тех положений, которые развиты в «Морфологии». Определение волшебной сказки дается не через ее сюжеты, а через ее композицию. Действительно, установив единство композиции волшебных сказок, я должен был задуматься о причине такого единства. Что причина кроется не в имманентных законах формы, а что она лежит в области ранней истории или, как некоторые предпочитают говорить, до истории, т. е. той ступени развития человеческого общества, которая изучается этнографией и этнологией, для меня было ясно с самого начала. Проф. Леви-Стросс совершенно прав, когда он говорит, что морфология бесплодна, если она, прямо или косвенно, не будет оплодотворена данными этнографии (observation ethnographique — с. 425). Именно поэтому я не отвернулся от морфологического анализа, а стал искать исторических основ и корней той системы, которая открылась на сравнительном изучении

сюжетов волшебной сказки. «Морфология» и «Исторические корни» представляют собой как бы две части или два тома одного большого труда. Второй прямо вытекает из первого, первый есть предпосылка второго. Проф. Леви-Стросс цитирует мои слова о том, что морфологические разыскания следует связать с изучением историческим (с. 414), но опять употребляет их против меня. Поскольку в «Морфологии» такое изучение фактически не дано — он прав. Но он недооценил, что эти слова представляют собой выражение известного принципа. Они содержат также некоторое обещание в будущем это историческое изучение произвести. Они — своего рода вексель, по которому, хотя и через много лет, я все же честно уплатил. Если, таким образом, он пишет про меня, что я разрываюсь между «формалистическим призраком» (vision formaliste) и «кошмарной необходимостью исторических объяснений» (l'obsession des explications historiques — с. 415), то это просто неверно. Я, по возможности строго методически и последовательно, перехожу от научного описания явлений и фактов к объяснению их исторических причин. Не зная всего этого, проф. Леви-Стросс даже приписывает мне раскаяние, которое заставило меня отказаться от своих формалистических видений, чтобы прийти к историческим разысканиям. Но я не испытываю никакого раскаяния и не ощущаю ни малейших угрызений совести. Сам проф. Леви-Стросс считает, что историческое объяснение сказок вообще фактически невозможно, «так как мы знаем очень мало о доисторических цивилизациях, где они зародились» (с. 415). Он сетует также на отсутствие текстов для сравнения. Но дело не в текстах (которые, впрочем, имеются в совершенно достаточном количестве), а в том, что сюжеты порождены бытом народа, его жизнью и вытекающими из этого формами мышления на ранних стадиях человеческого общественного развития и что появление этих сюжетов исторически закономерно. Да, мы еще мало знаем этнологию, но все же в мировой науке накопился огромный фактический материал, который делает подобные разыскания вполне надежными.

Но дело не в том, как создавалась «Морфология» и что переживал автор, а в вопросах совершенно принципиальных. Формальное изучение нельзя отрывать от исторического и противопоставлять их. Как раз наоборот: формальное изучение, точное систематическое описание изучаемого материала есть первое условие, предпосылка исторического изучения и вместе с тем первый шаг его. В разрозненном изучении отдельных сюжетов нет недостатка: они в большом количестве даны в трудах так называемой финской школы. Однако, изучая отдельные сюжеты в отрыве друг от друга, сторонники этого направления не видят никакой связи сюжетов между собой, не подозревают даже о наличии или возможности такой связи. Такая установка характерна для формализ-

ма. Для формалистов целое есть механический конгломерат из разрозненных частей. Соответственно в данном случае жанр волшебной сказки представляется как совокупность не связанных между собой отдельных сюжетов. Для структуралиста же части рассматриваются и изучаются как элементы целого и в их отношении к целому. Структуралист видит целое, видит систему, там, где формалист ее видеть не может. То, что дается в «Морфологии», дает возможность межсюжетного изучения жанра как некоего целого, как некоей системы, вместо изучения посюжетного, как это делается в трудах финской школы, которую, несмотря на все ее заслуги, как мне кажется, упрекают в формализме справедливо. Сравнительное межсюжетное изучение открывает широкие исторические перспективы. Историческому объяснению в первую очередь подлежат не отдельные сюжеты, а та композиционная система, к которой они принадлежат. Тогда между сюжетами откроется историческая связь, и этим прокладывается путь к изучению отдельных сюжетов.

Но вопрос об отношении формального изучения к историческому охватывает только одну сторону дела. Другая касается понимания отношения формы к содержанию и способов их изучения. Под формалистическим изучением обычно понимается изучение формы безотносительно к содержанию. Проф. Леви-Стросс даже говорит о их противопоставлении. Такой взгляд не противоречит взглядам современных советских литературоведов. Так, Ю. М. Лотман, один из активнейших исследователей в области структурального литературоведения, пишет, что основной порок так называемого «формального метода» в том, что он зачастую подводил исследователей к взгляду на литературу как на сумму приемов, механический конгломерат[5]. К этому можно бы прибавить еще другое: для формалистов форма имеет свои самодовлеющие законы и имманентные, независимые от общественной истории законы развития. С этой точки зрения развитие в области литературного творчества есть саморазвитие, определяющееся законами формы.

Но если эти определения формализма верны, книгу «Морфология сказки» никак нельзя назвать формалистической, хотя проф. Леви-Стросс далеко не единственный обвинитель. Не всякое изучение формы есть изучение формалистическое, и не всякий ученый, изучающий художественную форму произведений словесного или изобразительного искусства, есть непременно формалист.

Уже выше я приводил слова проф. Леви-Стросса о том, что мои выводы о структуре волшебной сказки представляют собой фан-

[5] Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике. Вып. I (Введение, теория стиха)// Ученые записки Тартуского государственного университета, вып. 160. Труды по знаковым системам, I, Тарту, 1964, с. 9—10.

том, формалистическое привидение — une vision formaliste. Это — не случайно оброненное слово, а глубочайшее убеждение автора. Он считает, что я — жертва субъективных иллюзий (с. 415). Из многих сказок я конструирую одну, которая никогда не существовала. Это «абстракция, такая беспредметная, что она не учит нас ничему об объективных причинах, почему существует множество отдельных сказок» (с. 419). Что моя абстракция, как выведенную мною схему называет проф. Леви-Стросс, не открывает причин разнообразия — это верно. Этому учит только историческое рассмотрение. Но что она беспредметна и представляет собой иллюзию — неверно. Слова проф. Леви-Стросса показывают, что он, по-видимому, просто не понял моего совершенно эмпирического конкретного детализованного исследования. Как это могло случиться? Проф. Леви-Стросс жалуется, что мою работу вообще трудно понять. Можно заметить, что люди, у которых много своих мыслей, трудно понимают мысли других. Они не понимают того, что понимает человек непредубежденный. Мое исследование не подходит под общие взгляды проф. Леви-Стросса, и в этом одна из причин такого недоразумения. Другая лежит во мне самом. Когда писалась книга, я был молод и потому был убежден, что стоит высказать какое-нибудь наблюдение или какую-нибудь мысль, как все сейчас же ее поймут и разделят. Поэтому я выражался чрезвычайно коротко, стилем теорем, считая излишним развивать или подробно доказывать свои мысли, так как и без того все ясно и понятно с первого взгляда. Но в этом я ошибался.

Начнем с терминологии. Я должен признать, что термин «морфология», которым я когда-то так дорожил и который я заимствовал у Гёте, вкладывая в него не только научный, но и какой-то философский и даже поэтический смысл, выбран был не совсем удачно. Если быть совершенно точным, то надо было говорить не «морфология», а взять понятие гораздо более узкое и сказать «композиция», и так и назвать: «Композиция фольклорной волшебной сказки». Но слово «композиция» тоже требует определения, под ним можно подразумевать разное. Что же под этим подразумевается здесь?

Уже выше говорилось, что весь анализ исходит из наблюдения, что в волшебных сказках разные люди совершают одни и те же поступки или, что одно и то же, что одинаковые действия могут осуществляться очень по-разному. Это было показано на вариантах группы сказок о гонимой падчерице, но это наблюдение верно не только для вариантов одного сюжета, но и для всех сюжетов жанра волшебных сказок. Так, например, если герой отправляется из дому на какие-нибудь поиски и предмет его желаний находится очень далеко, он может полететь туда по воздуху на волшебном коне, или на спине орла, или на ковре-самолёте, а также на летучем

проф. Леви-Строссом, будто функции установлены совершенно произвольно и субъективно. Они установлены не произвольно, а путем сопоставлений, сравнений и логических определений сотен и тысяч случаев. Но проф. Леви-Стросс понимает термин «функция» в совершенно ином смысле, чем это оговорено в «Морфологии». Так, чтобы доказать, что функции установлены произвольно, он приводит в пример разных людей, которые смотрят на плодовое дерево: один будет считать важнейшей функцию плодовитости, другой — наличие глубоких корней, дикарь может видеть в нем функцию соединения неба с землей (дерево может вырасти до неба). С точки зрения логики плодовитость действительно может быть названа одной из функций плодового дерева, но плодовитость не поступок, тем более не поступок действующего лица в художественном повествовании. Я же имею дело именно с повествованиями и поисками в них специфических закономерностей. Проф. Леви-Стросс придает моим терминам такой обобщающий, абстрактный смысл, которого они не имеют, а потом их отвергает. Функции установлены непроизвольно. Теперь можно вернуться к вопросу о том, что можно назвать композицией. Композицией я называю последовательность функций, как это диктуется самой сказкой. Полученная схема — не архетип, не реконструкция какой-то единственной никогда не существовавшей сказки, как думает мой оппонент, а нечто совершенно другое: это единая композиционная схема, лежащая в основе волшебных сказок. В одном проф. Леви-Стросс действительно прав; реально эта композиционная схема не существует. Но она реализуется в повествовании в самых различных формах, она лежит в основе сюжетов, представляет собой как бы их скелет. Чтобы лучше разъяснить эту мысль и обезопасить себя от дальнейших недоразумений, приведем пример того, что понимается под сюжетом и что под композицией. Примеры будут приведены в самой краткой и несколько упрощенной форме. Предположим, что змей похищает дочь царя. Царь взывает о помощи. Крестьянский сын берется ее отыскать. Он отправляется в путь. По дороге он встречает старуху, которая предлагает ему пасти стадо диких коней. Он это выполняет, и она дарит ему одного из коней, который переносит его на остров, где находится похищенная царевна. Герой убивает змея, возвращается, царь его награждает — женит его на своей дочери. Таков сюжет сказки. Композиция же ее может быть определена следующим образом: происходит какая-нибудь беда. К герою взывают о помощи. Он отправляется в поиски. По дороге герой встречает кого-либо, кто подвергает его испытанию и награждает его волшебным средством. При помощи этого волшебного средства он находит объект своих поисков. Герой возвращается, и его награждают. Такова композиция сказки. Легко заметить, что одна и та же композиция может лежать в основе мно-

гих сюжетов, и наоборот: множество сюжетов имеют в основе одну и ту же композицию. Композиция есть фактор стабильный, сюжет — переменный. Если бы не было опасности дальнейших терминологических недоразумений, совокупность сюжета и композиции можно было бы назвать структурой сказки. Композиция реально не существует в той же степени, в какой в мире вещей не существует общих понятий: они есть только в сознании человека. Но именно при помощи общих понятий мы познаем мир, раскрываем его законы и учимся управлять им.

Раньше чем вплотную перейти к вопросу о форме и содержании, надо остановиться еще на некоторых частностях.

Изучая сказку, можно заметить, что некоторые функции (поступки действующих лиц) легко располагаются попарно. Например: задание трудной задачи влечет за собой ее разрешение, погоня ведет к спасению от нее, бой ведет к победе, беда или несчастие, с которого начинается сказка, в конце ее ликвидируется и т. д. Проф. Леви-Стросс полагает, что парные функции собственно составляют одну, сводимы к одной. Логически это, может быть, и так. Бой и победа как бы составляют одно целое. Но для определения композиции такие механические соединения непригодны и применение их дало бы ложную картину. Парные функции выполняются разными лицами. Трудную задачу задает одно лицо, а решает ее другое. Вторая половина парной функции может быть положительной или отрицательной. В сказке бывает подлинный герой и ложный: подлинный герой решает задачу и награждается, ложный герой не может этого сделать и наказывается. Парные функции разъединены промежуточными функциями. Так, похищение царевны (начальная беда, первый элемент завязки) стоит в начале сказки, а возвращение ее (развязка) происходит в конце. Поэтому при изучении композиции, т. е. последовательности функций, соединение парных элементов в один не привело бы нас к пониманию закономерностей хода действия и развития сюжета. Рекомендацию логизировать эти функции вопреки материалу принять невозможно.

В силу этих же причин невозможно принять и другую рекомендацию. Для меня было очень важно установить, в какой последовательности народ размещает функции. Оказалось, что последовательность всегда одна: для фольклориста это — весьма существенное открытие. Действия совершаются во времени, и поэтому последовательность их рассматривается одна за другой. Этот способ изучения и расположения не удовлетворяет проф. Леви-Стросса. Принятый мной порядок изложения он обозначает буквами алфавита: A, B, C и т. д. Вместо хронологического ряда он предлагает логическую систему. Мой оппонент хотел бы распределить функции так, чтобы они располагались по вертикали и горизонтали. Такое расположение — одно из требований структуралистской техники изучения. Но оно

уже дано в «Морфологии», только в другом виде. Мой оппонент, вероятно, обратил недостаточное внимание на конец книги, где имеется приложение, названное «Материалы для табуляции сказки». Приведенные там рубрики представляют собой горизонталь. Эта таблица — расширенная композиционная схема, данная в книге через буквенные обозначения. Под приведенные рубрики может вписываться конкретный материал сказки — это будет вертикаль. Эту совершенно конкретную схему, полученную путем сопоставления текстов, нет никакой надобности заменять схемой чисто абстрактной. Разница между моим мышлением и мышлением моего оппонента состоит в том, что я абстрагирую от материала, проф. Леви-Стросс абстрагирует мои абстракции. Он упрекает меня в том, что от предложенных мной абстракций нет обратного пути к материалу. Но если бы он взял любой сборник волшебных сказок и приложил бы их к предложенной мной схеме, он увидел бы, что схема в точности соответствует материалу, увидел бы воочию закономерность структуры сказки. Мало того, исходя из схемы, можно самому сочинять бесконечное количество сказок, которые все будут строиться по тем же законам, что и народная. За вычетом несоединимых разновидностей количество возможных комбинаций можно было бы вычислить математически. Если предложенную мною схему назвать моделью, то модель эта воспроизводит все конструктивные (стабильные) элементы сказки, оставляя в стороне элементы не конструктивные (переменные). Моя модель соответствует тому, что моделируется, она основана на изучении материала, модель же, предложенная проф. Леви-Строссом, действительности не соответствует и основана на логических операциях, не вынужденных материалами. Абстракция от материала объясняет материал, абстракция от абстракции становится самоцелью, оторвана от материала, может оказаться в противоречии с данными реального мира и объяснять его уже не может. Логизируя совершенно абстрактно и полностью оторвавшись от материала (сказкой проф. Леви-Стросс не интересуется и узнать ее не стремится), он изымает функции из времени (с. 415). Для фольклориста это невозможно, так как функция (поступок, действие, акция), как она определена в книге, совершается во времени и изъять ее из времени невозможно. Здесь, кстати, можно упомянуть, что в сказке господствует совершенно иная концепция времени, пространства и числа, чем та, к которой мы привыкли и которую мы склонны считать абсолютной. Но об этом здесь речи быть не может — это особая проблема.

Упоминаю же я об этом только потому, что насильственное выведение функций из времени разрушает всю художественную ткань произведения, которая подобна тонкой и искусной паутине, не терпящей прикосновений. Это — лишний аргумент в пользу расположения функций во времени, как это диктуется повествованием, а не

во вневременный ряд (structure a-temporelle), как это хотелось бы проф. Леви-Строссу.

Для фольклориста и литературоведа в центре внимания находится сюжет. В русском языке слово «сюжет» как литературоведческий термин получило совершенно определенное значение: совокупность действий, событий, которые конкретно развиваются в ходе повествования. Английский переводчик очень удачно перевел его через слово «plot». Недаром также немецкий журнал, посвященный повествовательному творчеству народа, назван «Fabula». Но для проф. Леви-Стросса сюжет интересом не обладает. Слово «сюжет» он переводит на французский язык через «thème» (с. 401). Он, по-видимому, предпочитает его потому, что «сюжет» есть категория, относящаяся ко времени, а «тема» этим признаком не обладает. Но с такой заменой ни один литературовед никогда не согласится. Можно очень по-разному понимать как термин «сюжет», так и термин «тема», но отождествлять и взаимно заменять их никак нельзя. Такое пренебрежение к сюжету, к повествованию видно и по другим случаям неправильных переводов. Так, герой на своем пути встречает какую-нибудь старуху (или другой персонаж), которая его испытывает и дарит ему волшебный предмет или волшебное средство. Персонаж этот в точном соответствии с его функцией назван мной «дарителем». Волшебные предметы, которые получает герой, в фольклористике получили название «волшебных даров» (Zauber Gaben). Это специальный научный термин. Английский переводчик перевел слово «даритель» через «donor», что очень точно соответствует сказке и, может быть, даже лучше, чем «даритель», так как «дар» не всегда бывает добровольным. Но проф. Леви-Стросс переводит это слово через «bienfaiteur» (с. 406), что опять придает термину настолько общий, абстрактный смысл, что он теряет свое значение.

После этих отступлений, необходимых для лучшего понимания дальнейшего, можно уже вплотную подойти к вопросу о содержании и форме. Как уже указывалось, формалистическим принято называть изучение формы в отрыве от содержания. Должен признаться, что я не понимаю, что это означает, не знаю, как это реально понять, приложить к материалу. Может быть, я бы это понял, если бы я знал, где в художественном произведении искать форму и где содержание. О форме и содержании вообще как философской категории можно спорить сколько угодно, но споры эти будут бесплодны, если предметом спора с самого начала будет служить категория формы вообще и содержания вообще, без конкретного изучения материала во всем его многообразии.

Для народной эстетики сюжет как таковой составляет содержание произведения. Содержание сказки о Жар-птице для народа состоит в рассказе о том, как огненная птица прилетела в сад коро-

ля и стала воровать золотые яблоки, как царевич отправился ее искать и вернулся не только с Жар-птицей, но и с конем и красивой невестой. В том, что случилось, и состоит весь интерес. Встанем на минуту на точку зрения народа (она, между прочим, весьма умна). Если сюжет можно назвать содержанием, то композиция содержанием никак названа быть не может. Так мы логически приходим к заключению, что композиция относится к области формы прозаического произведения. С этой точки зрения в одну форму можно уложить разное содержание. Но выше мы говорили и пытались показать, что композиция и сюжет неразделимы, что сюжет не может существовать вне композиции, а композиция не существует вне сюжета. Так мы на нашем материале приходим к подтверждению общеизвестной истины, что форма и содержание неразделимы. Об этом же говорит и проф. Леви-Стросс: «Форма и содержание обладают одной природой, они подсудны одному анализу» (с. 416). Это несомненно так. Но вдумаемся в это утверждение: если форма и содержание неразделимы и даже одноприродны, то тот, кто анализирует форму, тем самым анализирует содержание. В чем же тогда грех формализма и в чем состоит мое преступление, когда я анализирую сюжет (содержание) и композицию (форму) в их неразрывной связи?

Однако такое понимание содержания и формы не совсем обычно, и неясно, годится ли оно и для других видов художественного словесного творчества или нет. Под формой обычно понимают жанровую принадлежность. Один и тот же сюжет может иметь форму романа, трагедии, киносценария. Кстати, мысль проф. Леви-Стросса блестяще подтверждается на попытках драматизировать или экранизировать повествовательные произведения. Роман Золя на страницах книги и на экранах кино — это разные произведения, большей частью ничего общего не имеющие между собой. Под содержанием также обычно понимают не сюжет, а идею произведения, то, что автор хотел выразить, его мировоззрение, взгляды. Попыток изучить и оценить мировоззрение писателей имеется великое множество. В большинстве случаев они носят совершенно дилетантский характер. Над такими попытками издевался Лев Толстой. Когда его спросили, что он хотел сказать своим романом «Анна Каренина», он сказал: «Если же бы я хотел сказать словами все то, что я имел в виду выразить романом, то я должен был написать роман тот самый, который я написал сначала. И если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю»[6]. Если, таким образом, в профессиональной литературе художественное произведение как таковое есть форма выражения идеи, то тем более это относится к фольклору.

[6] Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений, т. 62. М., 1953, с. 29.

Здесь имеются столь железные законы формы (композиции), что игнорирование их приводит к величайшим ошибкам. В зависимости от собственных политических, социальных, исторических или религиозных взглядов исследователь будет приписывать сказке или фольклору свое собственное мировоззрение, доказывая, что она — выражение мистических, или атеистических, или революционных, или охранительных взглядов. Это вовсе не значит, что мир идей фольклора нельзя изучать. Это значит совсем другое: мир идей («содержание») научно и объективно возможно изучить только тогда, когда будут изучены закономерности в области художественной формы. Я совершенно согласен с проф. Леви-Строссом, когда он требует исторических и литературно-критических разысканий («investigation historique» и «critique littéraire»). Но он ставит это требование в отмену того, что он называет формальным изучением. Между тем предварительное формальное изучение есть первое условие не только исторического, но и литературно-критического изучения. Если «Морфология» составляет как бы первый том большого исследования, а «Исторические корни» — второй, то литературная критика могла бы составить третий том. Только после изучения формальной системы сказки и определения ее исторических корней окажется возможным объективно и научно раскрыть заложенный в сказке интереснейший и весьма значительный мир народной философии и народной морали в их историческом развитии. В этом отношении сказка показала бы слоистое строение, наподобие слоям геологических отложений. В ней сочетаются древнейшие пласты, наряду с более поздними и современными. Здесь можно было бы изучить и все переменные элементы, краски, ибо художественность сказки не ограничивается ее композицией. Для того чтобы все это изучить и понять, нужно знать ту основу, из которой вырастает великое многообразие народной сказки.

Я не могу ответить на все мысли, высказанные проф. Леви-Строссом. Но еще на одном, уже более частном, но очень интересном вопросе все же хотелось бы остановиться. Это — вопрос об отношении сказки и мифа. Существенного значения эта проблема для наших целей не имеет, так как в данной работе исследуется сказка, а не миф. Но проф. Леви-Стросс много занимался мифами, эта сторона его интересует, и здесь он со мной тоже не согласен.

Об отношении сказки к мифу в книге говорится очень скупо, коротко и бездоказательно. Я имел неосторожность высказать свои взгляды аподиктически. Но недоказанные взгляды не всегда бывают ошибочными. Я полагаю, что миф как таковой, как историческая категория, древнее сказки, проф. Леви-Стросс это отрицает. Развить всю проблему здесь невозможно, но кратко осветить ее все же нужно.

В чем разница между сказкой и мифом и в чем состоит их совпадение, как это представляется фольклористу? Одно из характерных свойств сказки состоит в том, что она основана на художественном вымысле и представляет собой фикцию действительности. В большинстве языков слово «сказка» есть синоним слова «ложь», «враки». «Сказка вся, больше врать нельзя» — так русский сказочник кончает свой рассказ. Миф же есть рассказ сакрального порядка. В действительность рассказа не только верят, он выражает священную веру народа. Разница между ними, следовательно, не формальная. Мифы могут принять форму художественного рассказа, и виды таких рассказов могут быть изучены, хотя в данной книге это и не делается. Когда проф. Леви-Стросс говорит, что «миф и сказка эксплуатируют общую субстанцию» (с. 414), то это совершенно правильно, если под субстанцией понимать ход повествования или сюжет. Есть мифы, которые строятся по той же морфологической или композиционной системе, что и сказка. Из области античности сюда относятся, например, мифы об Аргонавтах, о Персее и Андромеде, о Тезее и некоторые другие. Они иногда вплоть до деталей соответствуют той композиционной системе, которая изучена в «Морфологии сказки». Таким образом, есть случаи, когда миф и сказка по формам могут совпадать. Но это наблюдение отнюдь не имеет универсального характера. Целый ряд античных мифов — таких большинство — не имеют с этой системой ничего общего. Еще более это относится к мифам первобытных. Космогонические мифы, мифы о создании или происхождении мира, животных, людей и вещей не связаны с системой волшебной сказки и не могут превратиться в нее. Они строятся по совершенно иной морфологической системе. Таких систем имеется очень много, и с этой стороны мифология изучалась еще мало. Там, где сказка и миф строятся по одинаковой системе, миф всегда древнее сказки. Это можно доказать, например, изучая историю сюжета софокловского «Эдипа»[7]. В Элладе это миф. В средневековье этот сюжет приобретает христианский сакральный характер. Его рассказывают о великом грешнике Иуде, или о таких святых, как Григорий или Андрей Критский, или Альбан, которые великой святостью искупили великий грех. Но когда герой теряет свое имя, а рассказ теряет свой сакральный характер — миф и легенда превращаются в сказку. Но проф. Леви-Стросс утверждает совершенно иное; он не согласен, что миф древнее сказки, говоря, что миф и сказка могут сосуществовать и что они сосуществуют по сегодняшний день. «В современности мифы и сказки существуют бок о бок: один жанр не может, таким образом, считаться продолжением другого» (с. 414).

[7] Пропп В. Эдип в свете фольклора // Пропп В. Фольклор и действительность М.: Наука, 1976.

Пример Эдипа показывает, однако, что в историческом развитии сюжеты из одного жанра (миф) могут переходить в другой (легенда), а из другого в третий (сказка). Всякий фольклорист хорошо знает, что сюжеты сплошь и рядом из одного жанра перекочевывают в другой очень широко (сюжеты сказки попадают в эпос и т. д.). Но проф. Леви-Стросс говорит не о конкретных сюжетах, а употребляет слова «миф» и «сказка» в общем генерализирующем смысле как миф «вообще» и сказка «вообще», т. е. имеет в виду жанр как таковой, не различая их типов и сюжетов. Поэтому он говорит о их сосуществовании по сегодняшний день. Но в этом случае он мыслит не как историк. Надо говорить не о веках, а об исторических периодах и общественных формациях. Изучение наиболее архаических и примитивных народов приводит к заключению, что весь их фольклор (как и изобразительное искусство) имеет сплошь сакральный или магический характер. То, что в популярных, а иногда и научных изданиях выдается за «сказки дикарей», далеко не всегда представляет собой сказки. Достаточно известно, что, например, так называемые сказки о животных некогда рассказывались не как сказки, а как рассказы, имевшие магический характер и долженствовавшие способствовать успеху на охоте. Материалов по этому вопросу имеется очень много. Сказка же рождается позднее чем миф, и наступает эпоха, когда некоторое время они действительно могут сосуществовать, но только в тех случаях, когда сюжеты мифов и сюжеты сказок принадлежат к разным композиционным системам и представляют разные сюжеты. Античность знала и сказки, и мифы, но сюжеты их были различны. Миф об Аргонавтах и сказка об Аргонавтах одновременно у одного народа сосуществовать не могут. Сказок о Тезее не могло быть там, где имелся миф о Тезее и где ему воздавался культ. Наконец, в современных развитых общественных формациях существование мифов уже невозможно. Ту роль, которую некогда играли мифы, как священное предание народа, теперь играет священное сказание и церковная повествовательная литература. Однако в социалистических странах и эти последние остатки мифа и священного предания исчезают. Таким образом, вопрос о сравнительной древности мифа и сказки и о возможности или невозможности их сосуществования не может решаться суммарно. Он решается в зависимости от ступени развития народа. Знание и понимание морфологических систем и умение их различать необходимо как для установления сходства между сказкой и мифом, так и их различий, а также для решения вопроса об их относительной древности и возможности или невозможности их сосуществования. Вопрос сложнее, чем это представляется проф. Леви-Строссу.

Можно подвести некоторые итоги. Философ будет считать правильными те общие суждения, которые соответствуют той или

иной философии. Ученый же будет считать правильными прежде всего такие общие суждения, которые вытекают как выводы из изучения материалов. Хотя проф. Леви-Стросс упрекает меня в том, что мои выводы не соответствуют, как он говорит, природе вещей, но ни одного конкретного случая из области сказки, когда полученные выводы оказались бы ошибочными, он не привел, а такие возражения для ученого наиболее опасны, но и наиболее полезны, желательны и ценны.

Другой важнейший для любого ученого любой специальности вопрос есть вопрос о методах. Проф. Леви-Стросс указывает, что мой метод ошибочен, так как явление переносимости действия с одного лица на другое или наличие одних и тех же действий при разных исполнителях возможно не только в области волшебной сказки. Это наблюдение совершенно правильно, но оно говорит не против предложенного мною метода, а в пользу его. Так, если в космогонических мифах ворон, норка и антропоморфное существо или божество могут выступить в одинаковой роли создателей мира, то это означает, что мифы не только могут, но даже должны изучаться теми же методами, что и волшебная сказка. Выводы получатся совершенно другие, морфологических систем окажется много, но методы могут быть одинаковы.

Очень возможно, что метод изучения повествований по функциям действующих лиц окажется полезным и для изучения повествовательных жанров не только фольклора, но и литературы. Однако методы, предложенные в этой книге до появления структурализма, как и методы структуралистов, стремящихся к объективному и точному изучению художественной литературы, все же имеют свои границы применения. Они возможны и плодотворны там, где имеется повторяемость в больших масштабах. Это мы имеем в языке, это мы имеем в фольклоре. Но там, где искусство становится областью творчества неповторимого гения, применение точных методов только тогда даст положительные результаты, если изучение повторимости будет сочетаться с изучением единственности, перед которым пока мы стоим как перед проявлением непостижимого чуда. Под какие бы рубрики мы ни подводили «Божественную комедию» или трагедии Шекспира, гений Данте и гений Шекспира неповторим, и ограничиваться в их изучении точными методами нельзя. И если в начале этого предисловия указывалось на сходство, которое имеется между закономерностями, изучаемыми точными науками и науками гуманитарными, то закончить хотелось бы указанием на их принципиальное специфическое отличие.

Клод Бремон

Структурное изучение повествовательных текстов после В. Проппа

Все исследователи сходятся на том, что начало структурному изучению повествовательных текстов положила «Морфология сказки» В. Проппа, вышедшая в 1928 году (П р о п п, 1928). Разумеется, у Проппа было немало предшественников во главе с такой знаменитостью, как Фердинанд де Соссюр: напомним о его разысканиях в области германского эпоса о Нибелунгах. Тем не менее книга Проппа и по сей день сохраняет значение теоретического первоисточника. Большая часть работ, имеющих право считаться структурными исследованиями повествовательных текстов, была создана в результате отталкивания от «Морфологии сказки»: авторы этих работ либо перенимали метод Проппа, внося в него некоторые второстепенные коррективы, либо, напротив, стремились отвергнуть сами основы этого метода. Вот почему лучшим введением в последующую дискуссию послужит суммарное напоминание главных положений Проппа.

Будучи убежден, что изучение структуры всех видов сказки есть необходимое предварительное условие ее исторического изучения, Пропп в начале своей книги ставит вопрос о самих принципах структурного описания этого фольклорного жанра. Структура — это совокупность устойчивых отношений, в которые вступают друг с другом и с целым произведением отдельные его части. Между тем «моти-

вы», выделяя которые традиционная фольклористика стремилась обычно определять свой объект, по самому своему существу отличаются вариативностью, поддаются видоизменениям, что, однако, не нарушает структурной самотождественности сказочного сообщения; следовательно, мотивы не обладают структурной устойчивостью. Подлинные инварианты надо искать не здесь: инварианты — это поступки (actions) действующего лица, определяемые с точки зрения их роли в развитии действия (intrigue). Эту сторону поступков Пропп назвал «функцией» и, опираясь на выявленные им особенности функций, выдвинул в своей книге четыре основополагающих тезиса:

1) постоянными, устойчивыми элементами сказки служат функции действующих лиц независимо от того, кем и как они выполняются;

2) число функций, известных волшебной сказке, ограниченно;

3) последовательность функций всегда одинакова;

4) все волшебные сказки однотипны по своему строению.

Здесь, со свойственной ему резкой определенностью, Пропп намечает целую совокупность теоретических позиций, часть из которых непосредственно сформулирована в его книге, а остальные выявляются «на расстоянии», благодаря сорокалетней дистанции, отделяющей нас от времени ее написания; это позволяет поднять почти все вопросы, возникающие в связи с современным положением дел в области структурного анализа повествовательных текстов. Гениальность Проппа сказалась не в том, что во всех случаях ему удалось прийти к правильным решениям, а в том, что он с самого начала сумел нащупать все наиболее существенные проблемы. Сформулируем их в виде восьми основных пунктов.

I. Структуру сказки Пропп располагает на том уровне сказочного текста (message), который является уровнем организации *рассказываемых* событий. Правомерен или нет такой подход, но он сразу же наталкивает на проблему определения статуса *рассказывающего* дискурса. Огромная область, охватывающая изучение приемов наррации, с самого начала рассматривается Проппом как не имеющая отношения к структурному анализу повествовательных текстов.

II. В последовательности рассказываемых событий Пропп выделяет *поступки* персонажей в качестве единственных носителей нарративных *функций,* исключая из рассмотрения все остальные характеристики этих персонажей (облик, физические и моральные атрибуты и т. п.) и, a fortiori, — любые указания на место, время и обстоятельства действия. Правомерен или нет такой подход, но он поднимает проблему статуса персонажей и соответственно вопрос о роли обстановки, в которой разворачивается действие.

III. В каждом поступке персонажа Пропп выделяет один его аспект — *функцию* этого поступка в развертывании сюжета (intrigue). Правомерен или нет такой подход, но он поднимает вопрос о статусе других семантических характеристик поступка, являющегося носителем функции.

IV. Связанность функций в сюжете мыслится Проппом как их однолинейная последовательность (*a*, затем *b*, затем *c* и т. д.), так что сущность каждой из них заключается в том, чтобы вводить последующую. Правомерен или нет такой подход, но он снимает вопрос о синтагматических правилах, которые позволяют связывать между собой события, из которых складывается повествование: Пропп принимает во внимание лишь хронологические связи типа раньше/потом. Его концепция предполагает отрицательное отношение к гипотезе о существовании парадигмы функций: между функциями *a* и *c* возможно появление функции *b;* но на ее место не может быть подставлена никакая иная функция, *b'* или *b''*.

V. Применительно к русской волшебной сказке Пропп рассматривает последовательность функций, образующих сюжетный «ход» («mouvement») в качестве длинной цепочки из тридцати одного элемента. Такой подход в принципе предполагает отрицательный ответ на вопрос о возможности выделения синтагматических образований, занимающих промежуточное положение между наименьшей (функция) и наибольшей («ход») сюжетными единицами, и о принципах их сочетания друг с другом. Между тем Пропп сам же показал, что функции могут быть распределены попарно или по триадам (например: *Вредительство/Ликвидация последствий вредительства*), а также, уже в ином отношении, — по кругам действий, свойственным различным *действующим лицам* (dramatis personae). Эти колебания и поправки подсказывают, что к вопросу об иерархизации различных типов синтагматических единиц, образуемых функциями, следует вернуться заново.

VI. Исходя в своем анализе русской сказки из того, что порядок ввода функций строго фиксирован и допускает лишь одно-единственное их расположение, Пропп — даже учитывая наличие или вынужденное отсутствие той или иной функции — ни в коей мере не мог рассчитывать, что ему удастся выделить несколько типов сюжета. Таким образом, и в этом случае его жесткая концепция одинаковой последовательности функций вызывает на спор: ведь достаточно допустить известную подвижность функций, группирующихся попарно или по триадам, чтобы появилась возможность для возникновения их разнообразных сочетаний, соответствующих различным сюжетным схемам.

VII. Утверждая, что число функций, известных русской сказке, ограниченно, Пропп тем самым ставит проблему сегментации сюжета и инвентаризации функций, необходимых для его возник-

новения. Сам Пропп хотел сказать лишь то, что, внимательно изучив корпус отобранных им текстов, он констатировал постоянную повторяемость некоторых функций, общим числом тридцать одна, и не счел необходимым добавлять к ним какие-либо иные. Иными словами, его подход к материалу был сугубо эмпирическим. В таком случае возникает вопрос, может ли интуитивно-догматическая позиция Проппа быть подтверждена при помощи какой-либо исследовательской процедуры, например путем систематического установления инвентаря в поле всех возможных функций, так чтобы можно было быть уверенным, что полученный список содержит одни только последовательно сочетающиеся (если они принадлежат одному уровню) или взаимно подчиненные (если они организованы иерархически) функции и не имеет ни пропусков, ни избыточных элементов, ни частичного наложения одних функций на другие.

VIII. Пропп подчеркивал, что установленная им последовательность функций свойственна только одному типу повествовательных текстов — русской волшебной сказке. Однако с неизбежностью возникает вопрос о возможности перенесения метода Проппа на иные корпусы сказочных текстов и, далее, на иные нарративные жанры. В этой связи речь заходит об отношении модели Проппа к общей грамматике повествовательных текстов.

Разумеется, было бы преувеличением считать, что все новейшие исследования в области повествовательных текстов возникли в результате непосредственного осмысления тезисов Проппа. Но фактом остается то, что именно Пропп дал нам путеводную нить, позволяющую наметить классификацию этих исследований.

Возьмем за отправную точку сформулированные выше пункты, чтобы, не претендуя на исчерпывающую полноту, просто обозначить основные современные тенденции в этой сфере исследований.

I. Структурные исследования повествовательных текстов в целом можно разделить на две группы, имеющие объектом две стороны повествовательного сообщения, — *рассказываемую историю* и *рассказывающий дискурс (le discours racontant)*. Эта дихотомия, напоминающая знаменитые пары типа *означающее/означаемое* или *акт высказывания/высказывание-результат, с* одной стороны, опирается на теоретический авторитет соссюровской традиции, а с другой — отличается несомненной практической эффективностью. Тем не менее она может быть поставлена под сомнение в двух отношениях: при практическом анализе текстов она способна привести к недооценке отношения солидарности, связывающего обе эти стороны сообщения в процессе формирования смысла, и в частности — к недооценке необходимости строить стилистический и риторический анализ повествовательной (нарративной) техники с учетом

сюжета; в теоретическом плане любое разрушение пары *означающее/означаемое* способно привести к отрицанию пары *рассказывающее/рассказываемое*. Так, всякая недооценка означаемого в пользу означающего соответственно влечет за собой недооценку рассказываемой истории в пользу способов рассказывания (рассказывающего дискурса) [ср., например, уничижительный статус, который приобрел «проэретический» (proairétique) код, т. е. код поступков, у Барта — B a r t h e s, 1970].

II. Несомненно, у Проппа были все основания считать поступки персонажей, приводящие в движение сюжет, «составными частями», *необходимыми* для структуры рассказываемой истории. Тем не менее современные исследования приводят к выводу о необходимости градуального включения и других элементов. Исключение из рассмотрения понятия персонажа, его мотивировок и т. п. представляется все менее и менее приемлемым. Как показал Ц. Тодоров (T o d o r o v, 1971), простейшее нарративное высказывание включает в себя не только глагол, но также субъект (совершающий или претерпевающий действие) и атрибуты, характеризующие состояние этого субъекта. Кроме того, модель, описывающая последовательность функций, должна быть дополнена «сверху» моделью, описывающей систему персонажей (последняя была предусмотрена уже Проппом и позднее разработана А. Ж. Греймасом — G r e i m a s, 1966a, 1970). В таких работах, как исследование У. Эко, посвященное повествовательной комбинаторике в романах о Джеймсе Бонде (E c o, 1966), или исследование А. Паскуалино о рыцарской литературе, показана необходимость и продуктивность такого дополнения. Наконец, хотя описательные, гномические, лирические и т. п. фрагменты, являющиеся непременной составной частью всякого повествовательного произведения, возможно, и не входят в собственно нарративную структуру на тех же правах, что и поступки персонажей, они тем не менее участвуют в формировании смысла сообщения как целого и, следовательно, не могут полностью игнорироваться исследователем.

III. Несомненно, что различие между семантическим значением *поступка*, взятого в изоляции от повествовательного контекста, и *функцией* этого поступка в развитии сюжета является наиболее оригинальным положением, доставшимся нам от Проппа. Многие исследователи, не учитывающие этого различия, полагают, что используют метод Проппа, тогда как в действительности анализируют лишь непосредственное содержание произведения. Однако существуют два способа понимания функции «нарремы», «мифемы», «мотифемы» и т. п. Один выдвинут К. Леви-Строссом, расчленяющим сюжетную синтагму таким образом, чтобы, перегруппировав нарративные элементы, построить из них парадигматическую систему, внутри которой устанавливаются вневременные, ахронные отношения (1958);

другой предложен Проппом, определившим функцию поступка с точки зрения его значимости для хода действия. Не станем высказываться здесь относительно возможности примирения обоих подходов [см. на этот счет работы П. Мадсена, «структурную модель» П. и Э. Маранда, а также «конститутивную модель» А. Ж. Греймаса (G r e i m a s, 1966a)], укажем лишь на сам факт существования разногласий, от разрешения которых может зависеть будущее нарративных исследований. Во всяком случае, отметим, что последователи Проппа [например, Е. Мелетинский в Советском Союзе (М е л е т и н с к и й, 1969) или А. Дандес (D u n d e s, 1964) в Соединенных Штатах] сходятся на том, что наряду с синтагматической последовательностью сюжетных функций перпендикулярно к ней должна быть построена парадигма поступков, способных выполнять эти функции («алломотивы» Дандеса).

IV. Одним из слабых пунктов концепции Проппа является положение о том, что функции организованы в однолинейную последовательность, где каждый элемент неизменно занимает одну и ту же позицию, соответствующую хронологическому порядку его появления в повествовании. По Проппу, функции могут связываться между собой только благодаря существующей между ними временной последовательности (раньше/потом); более того, он считает симультанность особым случаем, нарушающим норму («двойное морфологическое значение»); между тем подлинный нарративный синтаксис предполагает учет не только хронологических связей (последовательность или одновременность), но и логических отношений, подобных отношению части к целому, причины к следствию, средства к цели и т. п. С другой стороны, как только обнаруживается, что исследуемый нарративный жанр не укладывается в стереотипную схему и допускает, что одна и та же ситуация может иметь несколько различных исходов или, наоборот, способна образовываться несколькими различными путями, возникает необходимость в построении парадигматической системы, где осуществлялся бы выбор среди ряда функций, связанных отношением коммутации. Так, по Дандесу, усилия героя, направленные на то, чтобы ликвидировать последствия нарушения запрета, могут либо увенчаться, либо не увенчаться успехом; равным образом в «Структурной модели» П. и Э. Маранда модель II (неудача медиатора) противопоставляется модели III (успех медиатора), а сама модель III (успех медиатора без приобретения дополнительных ценностей) противопоставляется модели IV (успех медиатора с приобретением дополнительных ценностей). Основываясь на сходных принципах, автор настоящего доклада сам попытался составить сетку возможностей, открывающихся перед рассказчиком в определенной точке повествования и позволяющих ему продолжить начатую историю тем или иным образом.

V и VI. Почти все последователи Проппа почувствовали необходимость ввести наряду с наименьшей (функция) и наибольшей («ход» из тридцати одной функции) повествовательными единицами промежуточные группировки, где функции объединялись бы в пары или в триады и были бы связаны парадигматическими и синтагматическими отношениями: таково, например, отношение *исходная ситуация/конечная ситуация* (G r e i m a s, 1966b), или последовательность *возможность действия/ее реализация в форме поступка/ результат* (B r e m o n d, 1973), или «нарративные трансформации» одной и той же функции (T o d o r o v, 1971) и т. п. Равным образом у Дандеса (D u n d e s, 1964) и М. Попа (P o p, 1967) функции сгруппированы попарно в соответствии со схемой *стимул/реакция* или *действие/результат*. В модели «А—В—С» Х. Джасон анализ сказки строится на основе триады функций А (предложенное испытание) — В (прохождение через испытание) — С (воздаяние в форме награды или наказания). Главное здесь то, что эти промежуточные группировки позволяют определить функцию через ее отношение к одной или двум другим функциям и фиксируют их взаимные позиции, но при этом не требуется, чтобы каждая группировка функций занимала строго определенное место в целостной последовательности событийного ряда. Напротив — и первым это понял Дандес, — пары или триады функций обладают способностью образовывать самые различные конфигурации, так что само их многообразие позволяет построить типологию сюжетных форм, разрешив тем самым проблему классификации, в которую столь неожиданным образом уперлось исследование Проппа.

VII. Кроме того, некоторые исследователи предприняли попытку обработать (точнее — формализовать) последовательность пропповских функций. В самом деле, очевидно, что некоторые функции, взятые в известных контекстах, представляют собой лишь спецификацию некоторых других функций, что они находятся между собой в отношениях противоречия, противности и т. п.; короче, очевидно, что можно сократить число исходных единиц и в то же время скомбинировать их между собой таким образом, чтобы на известном уровне абстракции описать значение каждого сюжетного эпизода. Опыт семического анализа, предпринятый А. Ж. Греймасом (G r e i m a s, 1966a), представляет собой наиболее последовательную попытку такого рода.

VIII. Эти попытки, благодаря высокой степени формализации, которой им удалось достичь, позволяют поставить вопрос об области применимости предлагаемых моделей. Применимы ли они только к определенному корпусу текстов, в лучшем случае — к определенному нарративному жанру, или же охватывают все проявления нарративности (narrativité) вообще? Чтобы держаться приведенного примера, скажем, что результаты формализации пропповских фун-

кций, предпринятой Греймасом, обрели форму грамматики нарративности, описывающей два уровня — глубинный и поверхностный. В основе конструкции Греймаса лежит логическая по своему происхождению модель, гарантирующая применимость этой конструкции к любому типу повествовательных текстов. Мы со своей стороны (B r e m o n d, 1973) также попытались построить a priori словарь и синтаксис, свойственные всем без исключения формам нарративности. Равным образом структурная модель П. и Э. Маранда (1971) имеет целью общую классификацию произведений фольклора. Таким образом, дело идет о выделении *универсалий* нарративности: следует ли, применительно к каждому новому корпусу текстов, заново определять понятие функции, лексику функций, синтаксические правила, связывающие функции между собой? Или же, напротив, существует возможность на известной ступени абстракции создать универсальную грамматику нарративности, стоящую над грамматиками конкретных нарративных жанров? Ответ, который будет получен на этот вопрос, поможет ответить и на другой: возможна ли семиотика повествовательных текстов в качестве самостоятельной дисциплины?

Литература

М е л е т и н с к и й, 1969 — М е л е т и н с к и й Е. Структурно-типологическое изучение сказки // Пропп В. Морфология сказки. М.: Наука, 1969.

П р о п п, 1928 — П р о п п В. Морфология сказки. Л.: Academia, 1928 (переиздание: Пропп В. Морфология сказки. М.: Наука, 1969).

B a r t h e s, 1970 — B a r t h e s R. S/Z. Seuil, Paris, 1970.

B r e m o n d, 1973 — B r e m o n d C. Logique du récit. Seuil, Paris, 1973.

D u n d e s, 1964 — D u n d e s A. The Morphology of North American Indian Folktales. F. F. Communication. Helsinki, 1964.

E c o, 1966 — E c o U. James Bond: une combinatoire narrative // Communications, 8, 1966.

G r e i m a s, 1966a — G r e i m a s A. J. Sémantique structurale. Larousse, Paris, 1966.

G r e i m a s, 1966b — G r e i m a s A. J. Eléments pour une théorie de l'interpretation du récit mythique // Communication, 8, 1966.

Greimas, 1970 — G r e i m a s A. J. Du Sens. Seuil, Paris, 1970.

L é v i-S t r a u s s, 1958 — L é v i-S t r o s s C. Anthropologie structurale. Paris, 1958.

P o p, 1967 — P o p M. Aspects actuels des recherches sur la structure des contes // Fabula, 9, 1—3, 1967.

T o d o r o v, 1971 — T o d o r o v T. Poétique de la prose. Seuil, Paris, 1971.

Андрей Белый

Из книги «Поэзия слова» Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятии природы

1

Как поэты видят природу?
Краски зрения их — изобразительность слова: эпитет, метафора и т. д.

Необходимо их знать; необходима статистика; необходим словарь слов: Баратынского, Пушкина, Тютчева.

В руках чуткого критика словари — ключи к тайнам духа поэтов; и в обычных руках они — хлам.

Критику недостаточно чуткости; проникновенье в цитату и в сумму их индивидуально всегда; нужна квинтэссенция из цитат — предполагающая нелегкую обработку словесного материала; невозможно ее мгновенное извлечение; утонченнейший знаток Пушкина не резюмирует в мысли суммы пушкинских слов о л ю б в и.

Слово критика о поэте должно быть объективно-конкретным и творческим; критик, оставаясь ученым, — поэт.

Наиболее чуткие критики (как М. О. Гершензон) обладают магической властью углублять жизнь поэта, чеканя одну, две цитаты; не обывателям, нам, необходима статистика (рифм, эпитетов и т. д.), а — им, чутким критикам; благодаря отсутствию материала статистики интерпретатор поэта уподобляется композитору, вынужденному вгонять свои

звуки в пределы октавы; пусть ученые собиратели материала ему раздвинут октаву в полную клавиатуру поэта; роль критика — извлечь новые душевные ноты в нас, помочь новым формам искусства осуществиться в действительности; критики — садовники цвета поэзии в наших душах. Поэт, интерпретатор (критик) и слушатель — треугольник поэзии; в нем она — процветает в великое социальное дело; в нем она — метаморфоза самого душевного строя душ, движущая развитие.

Для большинства из читателей поэтический образ есть трубка неподожженной ракеты; в руках критика нам поджигается образ и разрывается в нас блесками ракетных огней; в руку критику — больше же сырого, горючего материала! Пусть фаланга работников ему собирает его!

2

Каково отношение Пушкина — к воде, воздуху, солнцу, небу и прочим стихиям природы? Оно — в сумме всех слов о солнце, а не в цитате, и не в их ограниченной серии. Каково отличие с о л н ц а Пушкина от с о л н ц а Тютчева? Лишь цитатные суммы решат нам вопрос; это — критику предваряющая работа; и — критику окрыляющая; в каком скромном объеме ни производим опыт тут, он всегда — показателен, красноречив, плодотворен.

Для примера беру опыт сравнения слов, живописующих образы неба, месяца, солнца, воздуха и воды, в поэзиях Пушкина, Баратынского, Тютчева; опыт произведен мной случайно и безо всякой предвзятости, пересмотрена вся поэзия Тютчева и поэзия Баратынского; у Пушкина оставлены без рассмотрения драматические отрывки, «Борис Годунов», сказки; рассмотрены: лирика, поэмы и «Евгений Онегин».

На основании статистики существительных, прилагательных и глаголов, при упразднении общих слов трех поэтов о стихиях природы, — упразднении, выделяющем индивидуальные разности зрения, я пришел к нижеследующему...

3

Три поэта трояко дробят нам природу; три природы друг с другом враждуют в их творчествах; три картины, три мира, три солнца, три месяца; три воды; троякое представленье о воздухе; и — троякое небо.

Ночное светило у Пушкина — женщина, о н а, л у н а, враждебно-тревожная ц а р и ц а н о ч и (Геката); мужественно отношение к ней поэта, она тревожит, — он действие ее обращает нам в шутку и называет «г л у п о й» луну, заставляет ее сменять «тусклые фонари»; в 85 случаях 70 раз у него светило — л у н а, и 15 раз всего — месяц (не правда ли, характерный для тонкого критика штрих?).

Наоборот Тютчев знает лишь «месяц» (почти не знает «л у н ы»); он — «б о г», и он — «г е н и й», льющий в душу покой, не тревожащий и усыпляющий душу; женственно отношение к «м е с я ц у» души Тютчева; и она миротворно влечется за ним в «ц а р с т в о т е н е й».

Пушкинская «л у н а» — в облаках (статистика нам ее рисует такою); то она «н е в и д и м к а», а — то «о т у м а н е н а»: «б л е д н о е п я т н о» ее «с т р у и с т о г о к р у г а» тревожит нас своими «м у т н ы м и и г р а м и» (все слова Пушкина!), ее движенья — коварны, летучи, стремительны: «п р о б е г а е т», «п е р е б е г а е т», «и г р а е т», «д р о ж и т», «с к о л ь з и т», «х о д и т» (небо «обходит») она переменчивым ликом («п о л у м е с я ц», «д в у р о г а я», «с е р п», «п о л н ы й м е с я ц»).

Нет у Тютчева «п о л у м е с я ц а», «с е р п а», есть его дневной лик, «о б л а к т о щ и й», месяц Тютчева неподвижен на небе (и чаще всего на безоблачном), он — «м а г и ч е с к и й», «с в е т о з а р н ы й», «б л и с т а ю щ и й», полный; никогда не бывает «с р е б р и с т ы м» (частый цвет «л у н ы» Пушкина); бывает «я н т а р н ы м»: не желтым, не красным; луна Пушкина временами — желта, временами — красна, и — никогда не бела; днем у Тютчева «м е с я ц» — т у м а н и с т о - б е л ы й, почти не скрывается с неба; менее он всего — «н е в и д и м к а», он — «г е н и й» неба.

Два индивидуальных светила: успокоенно блистающий г е н и й - м е с я ц; и — бегающая по небу л у н а.

Зрительный образ месяца в поэзии Баратынского и заемен, и бледен («с е р е б р я н е н», как у Пушкина, и, как у Тютчева, «с л а д о с т е н»); индивидуализм его действия — в впечатленьях поэта («п о д л у н н ы е в п е ч а т л е н ь я»), заставляющих его уверять: месяц «м а н и т з а к р а й з е м л и». Баратынского месяц — призрачный и «л е т е й с к и й»: более всего он — в душе, там он действен; а по небу ходит его слово пустое: л у н а, м е с я ц, разве что «ясные».

Три образа: три луны.

4

И — три образа солнца.
Солнце Пушкина — «з а р е й в ы в о д и м о е с о л н ц е: в ы с о к о е, я р к о е, я с н о е», как... «л а м п а д н ы й х р у с т а л ь» (в противоположность «л у н е» — облачной, мятущейся, страстной).

В противоположность спокойному месяцу солнце Тютчева действенно, «п л а м е н н о» — страстно и р а с к а л е н н о - б а г р о в о (все слова Тютчева); оно «п л а м е н н ы й», «б л и с т а ю щ и й» «шар» в «м о л н и е в и д н ы х» лучах; очень страшное солнце; не чистейший «хрусталь», а скорей молниеносное чудище, с е ю щ е е и с к р ы, р о з ы и в о з д в и г а ю щ е е д у г и р а д у г (слова Тютчева).

У Баратынского солнце (хотя и ж и в о е) как-то «н е х о т я б л е щ е т» и рассыпает «н е в е р н о е» золото; его зрительный образ опять-таки призрачен: и переходит из подлинно солнца при случае в «солнце юности».

Три образа солнца.

5

Три неба: пушкинский «н е б о с в о д» («синий,» «дальний»), Тютчева «б л а г о с к л о н н а я т в е р д ь» (вместе и «лазурь огневая») и «б а р а т ы н с к о е» небо — «р о д н о е», «ж и в о е» и «о б л а ч н о е». «Н е б о с в о д, н е б о, т в е р д ь — три словесных символа, данных нам в трех картинах — материал: трех статей. Но я опускаю статьи, их суммируя в трех классических моделях о небе.

«Н е б о с в о д д а л ь н и й б л е щ е т» — гласит нам поэзия Пушкина; и гласит поэзия Тютчева: «п л а м е н н о т в е р д ь г л я д и т»; и— «о б л а ч н о н е б о р о д н о е»— сказал бы нам Баратынский на основании собрания и обработки суммы всех материалов о нем.

Из подобных классических, синтетических фраз воссоздаваема картина природы в любой из поэзии; вот начало такой картины природы у Пушкина: «Н е б о с в о д д а л ь н и й б л е щ е т; в нем ночью: т у м а н н а я л у н а в о б л а к а х; в нем утром з а р е ю в ы в о д и т с я: в ы с о к о е ч и с т о е с о л н ц е; и оно — к а к х р у с т а л ь; в о з д у х н е п р е в о з м о г а е т д р е м о т ы; к и п и т и с р е б р и т с я с в е т л а я к л ю ч е в а я, с е д а я о т п е н ы, в о д а» и т. д.

Начало картины — сдержанно, объективно и четко (даже — выглядит холодно).

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Пушкин сознательно нам на природу бросает дневной, Аполлонов покров своих вещих глаз; темные языки ее им изучены; и безглагольным недрам ее изречены им глаголы; в четких образах перед нами она; но эти четкие образы не фотография вовсе обставшей, природной природы, а образы изреченных и иссеченных неизреченностей.

Я понять тебя хочу,
Темный твой язык учу —

как бы он говорит ей в начале создания образа; оттого есть его образ — хаоса изреченный язык.

Наоборот, слово образа падает в безглагольные недра — под образы: в поэзии Тютчева, в них она растворяется; в них образы снимаются с своих мест и сочетаются, месятся в небывалые сочетания, превращаясь просто в какой-то персидский ковер, сотканный из лучей и павлиньих перьев пленительной Майи; но поверь ему — и он рвется в безобразное, темные языки природы не изучены Тютчевым; и когда они бегают произвольно по образам поэзии Тютчева, то — эти образы рвутся, а Тютчев — пугается там («страшных песен... не пой»), где у ч и т с я Пушкин:

Я понять тебя хочу,
Темный твой язык учу.

Вот начало картины природы у Тютчева, соответствующей данной нами «п у ш к и н с к о й» картине на основании характерных и статистически установленных истинно-тютчевских слов:

«П л а м е н н о г л я д и т т в е р д ь л а з у р е в а я; р а с к а л е н н ы й ш а р с о л н ц а п р о т я н у т в н е й м о л н и е в и д н ы м р о д и м ы м л у ч о м; к о г д а н е т е г о, т о с в е т о з а р н ы й б о г, м е с я ц, м и р о т в о р н о п о л н и т е л е е м в о л н у в о з д у х а, р а з л и т о г о п о в с ю д у, п о я щ е г о г р у д ь, п л а м е н я щ е г о л а н и т ы у д е в ы, и — о т р а ж а е т с я в з е р к а л ь н о й з ы б и (в воде)».

Такова картина пламенных природных стихий в поэзии Тютчева; и по сравнению с ней — холодна муза Пушкина; но эта пламенность — лжива; и т а х о л о д н о с т ь есть магия при более глубоком подходе к источникам творчества Пушкина; пламенно бьются у Тютчева все стихии; и все образы, срываясь с мест, падают в душу поэта:

Все — во мне; и я — во всем.

Почему же этой строке предшествует другая, х о л о д н а я?

Час тоски невыразимой:
Все — во мне; и я — во всем,

Потому что здесь речь поэзии Тютчева распадается в темные глаголы природы; а эти глаголы — лишь хаос! бурю красочных радуг взметает пред Тютчевым: мгла Аримана, перед нею Тютчев бессилен; наоборот: вооружен Пушкин — тут; он проходит твердо сквозь мглу: и из нее иссекает нам свои кристальные образы.

Обратимся к образу природных стихий на основании данных поэзии Баратынского; он — вот:

«На родном, но облачном небе, холодное, но живое светило дневное; чистый воздухблагоухает; не приязненна летийская влага вод; она восстала пучиной; нет солнца: и сладко манит луна от земли».

Целостно овладение природой у Пушкина; а у Тютчева целостно растворение; этого овладения и этого растворения в поэзии Баратынского нет: у него природа раздвоена: л у н н ы е и в о д я н ы е н а ч а л а (начала страсти) бушуют в нем, и ему непокорны; в воздухе, солнце и в небе черпает он свою силу; и этой целебною силою (б л а г о у х а ю щ и й его воздух — ц е л е б е н) он убивает в себе: непокорные пучины страстей: воды; водопадные «з а с т ы л ы е» влаги — висят над землею; а сама земля — «в ш и р о к и х л ы с и н а х б е с с и л ь я» (выражение Баратынского); и только этой ценою ему о ч и щ а е т с я воздух — не п л а м е н я щ и й, т ю т ч е в с к и й воздух — а благоухающий, свежий.

Тютчева природа страстна; «вода» Баратынского — кипение сладострастия, побеждаемого упорно; образом и подобием природных стихий повествует нам поэзия Баратынского об умерщвлении ее плоти; увы, этой ценой, утратою воды и земли — подымается благоухание ее чистого и целебного воздуха.

Изучение трех «природ» трех поэтов по трем зрительным образам нас способно ввести в глубочайшие ходы и их душ и в тончайшие нервы творчеств.

Но повторяю: для этого необходима путеводная нить — материал слов, образов, красок, рассортированный точно и собранный тщательно, материал этот в руках тонкого критика — не только измерительный лот самосознанья поэтов, но и действенный динамит, нам взрывающий нашу душевную косность и уводящий нас в нас самих — к очистительным просветам.

Июнь 1916.

Дорнах

Александр Реформатский

Опыт анализа новеллистической композиции

Настоящая работа является некоторым обобщением многих вопросов, подымавшихся в университетском семинарии М. А. Петровского по «Композиции новеллы у Мопассана», вопросов, возникших в связи с докладами М. А. Петровского о «Выстреле» Пушкина и «Вечном муже» Достоевского, а также и в порядке личных бесед, — а потому считаю первым долгом выразить мою глубокую благодарность Михаилу Александровичу за все советы и указания, положенные в основание этой работы. Приношу мою благодарность также О. М. Брику, сделавшему мне ценные замечания, которыми я и воспользовался в настоящей редакции моей работы.

В последнее время приходится слышать чрезвычайно много споров на общие, преимущественно методологические, темы поэтики. Не отрицая важности общих принципов, я полагаю, что плодотворным может быть только то, что исходит из конкретного материала, и все теоретические построения, не имеющие такого основания, обречены оставаться схоластикой.

Всякая наука переживает обычно три стадии: 1) хаотическое накопление материала, 2) классификация и накопление множества мелких законов (период плюрализма), 3) обобщения и сведéние к немногим общим законам (стремление к монизму).

Наша наука (поэтика) находится в состоянии формовки: мы не изжили еще первого мо-

мента — собирания материала и только приступаем ко второму — классификации, поэтому делать сейчас какие-либо обобщения не представляется возможным и наоборот: дифференциации бояться нечего, — важно только, чтобы она протекала систематично. В частности, относительно интересующего нас вопроса (новелла) в статье «Композиция новеллы у Мопассана» («Начала», 1922, № 1) М. А. Петровский говорит: «Проблема новеллистической композиции настолько еще свежа и неразработана, что пытаться выступить с общим теоретическим трактатом о ней не настало еще время, нужно обсудить еще очень многое в самом подходе к предмету исследования, в самих приемах анализа новеллистического материала». Вполне разделяя это мнение, я предлагаемой работе отнюдь не придаю значения вывода, это скорее «ввод», и цели ее более методические, чем теоретические.

Должен оговориться:

1) Вопросы, намечаемые здесь, отнюдь не исчерпывают всего богатства новеллистических возможностей — каждый пункт можно, наверное, в свою очередь разбивать и дифференцировать дальше; кроме того, центр внимания у меня перенесен на чисто нарративный тип новеллистической композиции и других подвидов (новелла-картина, новелла-пародия) я почти не касаюсь.

2) В подыскании примеров мне приходится обращаться и к собственно новеллам, и к романам, и к театральным пьесам, либретто и т. д. — Спешу отвести возможный упрек: в данном случае меня интересует не квалификация литературных форм (новелла, роман), а систематика вопросов новеллистической композиции, как приема сюжетосложения, как тенденции, пронизывающей собой разные формы, точно так же, как в музыке «сонатная форма» играет ту же роль по отношению к собственно сонате, к симфонии, к концерту.

3) При полном отсутствии в русской поэтике твердой терминологии приходится прибегать в поисках номенклатуры к самым различным областям: к теории музыки, живописи, театру и употреблять термины иноязычные без перевода*. «Важно констатирование специфических особенностей сложного явления, а терминологический ярлык, который мы на него наклеиваем, имеет значение служебное, как рабочий аппарат, для дальнейшей классификации», говорит М. А. Петровский в указанной ранее статье. Остается только присоединиться к этим словам и с благодарностью принять все поправки, короче и ясней называющие явление.

---

* В настоящем переиздании они снабжены переводом в квадратных скобках. — *Прим. ред.*

Первое условие всякого морфологического исследования это строгость аналитического метода: исследование не должно выходить за пределы объекта, и попытки привнесения исследователем «домыслов» и «объяснений» должны быть раз навсегда забыты.

Каковы же последовательные шаги морфологического анализа? Прежде всего с чего начинать работу над текстом: от анализа мелких кусков доходить до целого или, начиная с общего, дробя, доходить до самых мелких кусков? О. М. Брик всегда советует идти вторым путем. М. А. Петровский говорит, что это зависит от объекта — если в новелле дано определенное членение на части, главы, — надо начинать с этого, в противном случае работать путем энумерации абзацев. Каким бы путем ни анализировать, полученный хаотический материал можно классифицировать по следующим рубрикам.

1. СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ

Как и всякое построение, сюжетная композиция поддается моделированию, выражающемуся в установлении схемы структуры, изложенной в виде формулы.

I. Чередование; 1) Описания (статика) — Descriptio (D) и 2) Повествования (динамика) — Narratio (N).

Напр.

«Выстрел» Пушкина

$$\overbrace{d_1 d_2}^{D} + \overbrace{n_1}^{N} + \overbrace{d_2 d_1}^{D} + \overbrace{n_1 - n_2 - n_1}^{N} \Big\| \overbrace{d_3 d_4}^{D} + \overbrace{n_3 n_4 n_3}^{N} + (dn)$$

(Анализ М. А. Петровского).

II. Классификация Narratio [повествования]. В новеллах с установкой на драматическую концепцию (а таковые преобладают):

1) Восстановление сценария.

Компоненты сценария: сцены — более крупные моменты; эпизоды — более мелкие; переходы — моменты, аналогичные музыкальным антрактам в опере; диалоги, монологи, немые сцены. При этом важно обращать внимание на типографские членения: части, главы, абзацы. Исторически это членение дифференцируется и из ти-

пографского приема, становится композиционным (сравнить тексты XVIII в., когда все писалось слитно и напр. «Преступление Николая Летаева» А. Белого).

2) Проблема композиции места — так сказать, композиционная география.

3) Проблема временной композиции: а) общее количество времени (сравнить напр. Достоевского и Тургенева, у первого почти ложно-классическое единство времени, у второго наоборот); б) последование времени: диспозиция — хронологическое последование, композиция — наличие временных сдвигов, аналитический способ.

Примеры: диспозиция: «Петух пропел» Мопассана; аналитическая композиция: «Метель» Пушкина, «Шесть Наполеонов» Конан-Дойля, характерно для детективного романа.

III. Классификация Descriptio [описания].

1) Описания фона: а) Paysage de la nature [пейзаж природы] — описания природы, характерно для романтиков, б) Paysage de la culture [пейзаж цивилизации] — описание быта, свойственно напр. «урбанистам».

2) Описания — характеристики персонажей а) общие — канонично для Тургенева; б) эпизодические, т. е. приуроченные к данному эпизоду, напр. первая характеристика героини в «В пути» Мопассана.

IV. Определение и систематизация тематики.

Элементы: 1) Тема — простейшая статическая единица сюжетосложения.

2) Мотив — простейшая динамическая единица, характеризуемая обычно наличием глагола или его эквивалента, в русском языке — краткая форма прилагательного, напр. «Иван Иванович влюбленный», не мотив, а тема; «Иван Иванович влюблен» и тем паче «Иван Иванович влюбляется» — мотив.

Мотив по А. Н. Веселовскому: «простейшая повествовательная единица»; по М. А. Петровскому: «элемент сюжета, задерживающий или ускоряющий действие»; по В. М. Жирмунскому: «Мотивом как зачатком сюжета является в языке простое предложение с сказуемым-глаголом». («Начала», 1922 г., № 1 — «Задачи поэтики».)

3) Симптом — аксессуарный элемент сюжета; напр. «деньги на полу и появление незнакомца» в «В пути» Мопассана.

4) Сюжетные темы — сложные единицы, составленные из тем и мотивов. По А. Н. Веселовскому: «под сюжетом я разумею тему, в которой снуются разные положения, мотивы»*.

---

* Позволю себе аналогию: сравнение с шахматами: 1) Фигуры — темы; 2) Функции фигур (напр., ход конька) — мотив; 3) Игра (напр., какой-нибудь гамбит) — сюжетная тема; 4) Игра, развернутая в партию, — сюжет.

Для их определения важны: иерархия персонажей и группировка тем и мотивов:

1) Установление иерархии персонажей.

а) Персонажи — темы (герой, героиня — Подколесин, Агафья Тихоновна [«Женитьба» Гоголя]), б) Служебные персонажи, двигающие сценарий (напр. Кочкарев, нянька Селеста в новелле «Малыш» Мопассана, слуги, лакеи, вестники и т. д. в) Средние персонажи — и темы и служебные одновременно: напр. Мефистофель, «Фауст», и П. С. Верховенский, «Бесы» Достоевского.

2) Группировка тем и мотивов.

а) отношение сопутствующее или параллельное, частный вид — ступенчатое, (можно наоборот: ступенчатое, частный вид — параллельное при равенстве ступеней) и б) контрастирующее.

Типы сюжетных тем.

Конструкция новеллы во многих отношениях близка конструкции сонатной формы. Тематически для сонаты каноничны две темы (главная и побочная), иногда эта схема усложняется введением третьей, четвертой темы. Для новеллы также канонично двучленное строение тематики, при этом — в самой разнообразной мотивировке. Чаще всего:

1а) a + b (он + она) герой и героиня, динамика мотивируется любовью, это двучленная любовная новелла.

1б) a + a (он + он, или она + она) два героя (героини) — главный и побочный; напр. «Вечный Муж» Достоевского: Вельчанинов (1-й) и Трусоцкий (2-й), это, по определению М. А. Петровского «сюжетное построение на дуэльном мотиве столкновения двух тем». В данном случае мотивировка сложная, обычно: соперничество, соревнование.

2) Трехчленная новелла — разные типы:
а) $a_1 + b + a_2$ обычная мотивировка

Он	Она	Он	
Муж	Жена	Любовник	
Альфред Шазель	Элен Шазель	Арман де Керн	«Любовное преступление» П. Бурже
Каренин	Анна	Вронский	«Анна Каренина» Л. Толстого
Г-н де Марель	Мадам де Марель	Дю-Руа	«Милый друг» Мопассана
Г-н Вальтер	Мадам Вальтер	Дю-Руа	То же

б) $b_1 + a + b_2$

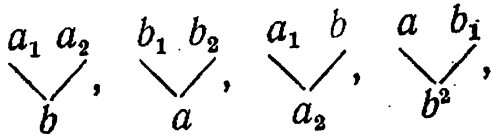
Она	Он	Она	
Жена	Муж	Любовница	
Долли	Стива	Гувернантка	«Анна Каренина»
Фру	Капитан	Елизавета	«Странник играет под сурдинку» К. Гамсуна
Сарра	Иванов	Саша	«Иванов» А. П. Чехова

в) $b_1 + a + b_2$ с видоизмененной мотивировкой (канонично для Достоевского и Гамсуна)

Она	Он	Она	
Возлюбленная	Он	Любовница	
Аглая	Князь Мышкин	Настасья Филипповна	«Идиот»
Катерина Ивановна	Дмитрий Карамазов	Грушенька	«Братья Карамазовы»
Полина	Алексей Иванович	Бланш	«Игрок»
Эдварда	Глан	Ева	«Пан» Гамсуна
Роза	Бенони	Эдварда	«Роза» Гамсуна
Виктория	Иоганнес	Камилла	«Виктория» Гамсуна
Дагни	Нагель	Марта	«Мистерии» Гамсуна
Дама в желтом	Владимеж Т.	Кельнерша	«Рабы любви»

[Та же модель] в обнажении — «Покоритель» Гамсуна (сборник «Поросль»).

Во всех этих формулах обычно две темы превалируют, побочная в самых различных комбинациях:



3) Существует канон четырехчленной новеллы, встречается у Мопассана типа: $b + a_1 + a_2 + a_3$ (она + $он_1$ + $он_2$ + $он_3$) в мотивировке:

Жена — муж — любовник — насильник

Напр. Она — капитан — офицер — денщик («Денщик»).

Она — нотариус — Лабарб — Морен («Эта свинья Морен»).

В вопросах иерархии персонажей и определения сюжетной темы важны: а) имена и прозвища героев или их отсутствие (напр., в «Выстреле» Пушкина одно имя: Сильвио, подчеркивающее главного героя); б) заглавие новеллы; для Мопассана канонично совпадение заглавия с Pointe (напр., часто пронизывающее всю композицию рефреном [«Человек, кружку пива», «Эта свинья Морен»]); в) анализ эпиграфов: эпиграфы концентрирующие (например, «Выстрел»), эпиграфы пародирующие («Пиковая Дама»); г) частным вопросом (где есть налицо) может быть вопрос о рассказчике, частный случай — «рассказчик я» (интересно у Достоевского).

V. Схема временного последования и ее формула. Два способа: 1) при бóльшем количестве тем, чем мотивов — по мотивам со значком тем, 2) при бóльшем количестве мотивов — по темам со значком мотивов.

Скобками обозначаются сноски с точки зрения а) сценария: разбить на сцены, эпизоды и т. д. б) описательных моментов (декорации, характеристики).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Вся установленная структура может квалифицироваться гелеологически, тогда компоненты расцениваются по их функциональной значимости, относительно некоего ядра, развернутого в данное построение. Проследим в хронологическом порядке сообразно простейшему виду диспозиции, при условии отсутствия параллельных и скрещивающихся интриг, когда все функциональные моменты будут являться в более сложном рисунке.

При всяком повороте действия необходимо констатирование ситуации.

I. Квалификация развития действия:

1) Geschichte [история] — совокупность сцен, составляющих действие; формальные приметы: обычно praesens [настоящее время] или perfect [перфект].

2) Vorgeschichte [предыстория] — с обычной приметой прошедшего несовершенного, imperfekt [имперфекта].

3) Nachgeschichte [последующая история; то, что было потом; эпилог] — чаще praesens [настоящее время] и perfekt [перфект].

4) Возможна наличность Zwischengeschichte [промежуточная история], например: Intermezzo [интермеццо] 12 и 14 гл. «Вечного мужа» Достоевского.

II. Функции отдельных моментов структуры.

1. Экспозиция — а) в виде прямой характеристики; б) в виде косвенной: 1) в действии, как экзэмплификация прямой характеристики, напр. в «Выстреле» эпизод за картами с офицером; 2) как демонстрация героя, напр. барон Жозеф де Круассар в утро охоты («Петух пропел» Мопассана); 3) в репликах — например: «Ревизор» Гоголя, первый разговор первого акта.

2. Моменты интродуктивные: a) интродукция; b) зачин; c) пролог; различаем несколько видов; 1) чисто экспозиционный пролог — греческие трагедии, 2) обрамляющий — «Паяцы» Леонкавалло, 3) действенный — «Сказка о Царе Салтане» Римского-Корсакова; d) приступ — мелкое интродуктивное членение.

3. Моменты действия: a) завязка; b) разработка; c) реприза (напр., третье пятиглавие «Вечного мужа»); d) развязка.

4. Вводим функции, так сказать, второго этажа: a) Spannung [напряжение] разработки — характеризуемая перебоями внутреннего ритма повествования (т. е. чередования устойчивых и неустойчивых моментов — статики и динамики) и торможением разрешения, как в музыке скопление септаккордов, не разрешающихся долго в тонику; b) важно отметить кульминацию Spannung [напряжения], интересны, напр., «Бесы» Достоевского: композиция с двумя кульминациями (утро в Скворешниках и благотворительный вечер) — пример, так сказать, «двухгорбого» построения; c) наконец, спецификум новеллы — Pointe [соль] (по Брику, «шпилька»), ударное место новеллы — обычно короткая фраза, характеризуемая остротой и неожиданностью. С точки зрения сюжетного ритма Pointe [соль] — окончание на неустойчивом моменте, как в музыке окончание на доминанте.

5. Конклюзивные моменты: a) концовка; b) кода — если в концовке имеется нечто новое, напр. чрезвычайно расширенная кода «Метели», провоцирующая на подозрение второй новеллы; c) концовка иногда приобретает значение эпилога (см. В. Шкловский «Развертывание сюжета»); обычно — комканье временного масштаба, обобщенная форма («Выстрел»).

6. Функции Zwischengeschichte [промежуточной истории] — преимущественно характер отступлений, функции задержания или торможения действия; в связи с этим — проблема темпа (о чем подробнее в моей работе по анализу «Игрока» Достоевского). Для установления проблемы темпа необходимо припомнить исследование и развертывание времени.

7. Функции пейзажа: по Шкловскому («Розанов»), «могут быть два основных случая литературного пейзажа: пейзаж, совпадающий с основным действием, и пейзаж, контрастирующий с ним».

8. Функциональное значение рамы (в случае наличия). Может быть два типа: а) новелла обрамленная («В пути»); б) новелла обрамляющая («Человек, кружку пива»), — см. экскурс М. А. Петровского («Начала» № 1).

Таким образом формула временного последования усложняется сносками функциональной значимости.

В заключение необходимо подвести итог как первому, так и второму параграфу изложенной работы.

1) Окончательное определение структуры: разные типы; напр. ˜=˜ «гиря»: «В полях», «Встреча» Мопассана.

W «подкова»: одиночные: «Молочница» (Панчатантра, фольклор); у Чехова: «Выигрышный билет», «Устрицы», «Панихида», «Мелюзга», «Зеркало»; Габриэль Д'Аннунцио «Похороны» и т. д. Двойные: «Мечты», «Ванька» Чехова и т. д.

2) Итог функционального исследования — нахождение «ядра», развернутого в сюжет. Обычно — анекдот, например «Ревизор», «Мертвые души» Гоголь строил по анекдотам, данным Пушкиным; «Скверный анекдот» Достоевского, «Метель» Пушкина и т. д. Современный беллетрист В. Г. Вешнев на мой вопрос, как он пишет, отвечал: «Обычно беру трагический анекдот и по нему развожу узоры» (напр его рассказ «Сторублевка»).

3) Важным моментом является определение жанра. Приведу два определения М. А. Петровского: а) авантюрный: персонажи в служебной роли к событиям, б) психологический: события в служебной роли к персонажам (см. «Начала» № 1). Морфологические определения новеллы-пародии, новеллы-комической и т. д. пока привести трудно — это одна из целей будущего исследователя.

Новеллистический мир, как говорит М. А. Петровский, многообразен, и он еще тем усложняется, что нарративная новеллистическая композиция не всегда или даже, скорее, никогда не встречается в чистом виде, сосуществуя с иными организующими моментами, как эвфоническими, эвритмическими, мелодическими, собственно семантическими и т. д., где часто сама композиционная доминанта принимает иную установку, как, напр.: ритмико-эвфоническую у А. Белого, ритмуко-мелодическую у Гамсуна, мелодико-семантическую у Гоголя (так называемая «стилизация сказа», см. Б. Эйхенбаум «Как сделана "Шинель"», «Поэтика»). Еще под-

черкнутее это выступает в композиции романтической поэмы, где при всей очевидности ритмико-эвфонической доминанты (стих, строфа) установка на сюжетную композицию все же ощущается Там, конечно, надо применять вышеизложенную систему с оговорками и с соответствующими коррективами, ибо априорная нормативность никогда не может содействовать систематичности, так как всякий материал специфичен, а потому требует специфических методов.

Николай Трубецкой

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина как литературный памятник

Древнерусская литература недоступна непосредственному восприятию современного — не только иностранного, но и русского — читателя. Мы ее не понимаем и не умеем ценить ее как литературу. Древнерусскую икону теперь «открыли», открыли не только физически, тем, что счистили с нее копоть и позднейшие краски, но и духовно: научились смотреть на нее, видеть и понимать, что она говорит. Но к памятникам древнерусской письменности мы продолжаем быть глухи и слепы.

На этом основаны специфические особенности науки «истории древнерусской литературы». Пишу в кавычках, ибо эта «история литературы» очень странная, непохожая на другие. В этом легко убедиться, просмотрев любой учебник или университетский курс этой науки. Собственно, о литературе, как о таковой, в этих учебниках и курсах говорится мало. Говорится о просвещении (точнее, об отсутствии просвещения), о бытовых чертах, отразившихся (точнее, недостаточно отразившихся) в проповедях, летописях и житиях, об исправлении церковных книг и т. д., словом — об очень многом. Но о литературе говорится мало. Существует несколько трафаретных оценок, прилагаемых к самым различным древнерусским литературным произведениям: одни из этих произведений написаны «витиевато», другие — «простодушно» или «бесхитростно». Отношение авторов учебников и курсов

ко всем этим произведениям неизменно презрительное, пренебрежительное, в лучшем случае снисходительно-презрительное, а иногда и прямо негодующе-недоброжелательное. «Интересным» древнерусское литературное произведение считается не само по себе, а лишь постольку, поскольку отражает в себе какие-нибудь бытовые черты (т. е. поскольку является памятником не истории литературы, а истории быта) или поскольку заключает в себе прямые или косвенные указания на знакомство автора с какими-нибудь другими литературными произведениями (преимущественно переводными). От древнерусского автора почему-то требуют непременно выражения «народного миросозерцания», примыкания к народной поэзии: если этого у него нет — его презирают с оттенком негодования, если же это у него есть — его похваливают, но все-таки с оттенком снисходительного презрения.

Нечего и говорить, что все эти особенности науки истории древнерусской литературы (в том виде, как эта наука отражается в учебниках и университетских курсах) мыслимы лишь при допущении, что древнерусская литература *не есть литература*. В этом особенно легко убедиться, если в виде опыта попробовать подойти к новой русской литературе с теми же мерилами, которые применяют к литературе древнерусской: пушкинский «Евгений Онегин» оказался бы интересен только потому, что отражает быт русских помещиков начала XIX в. и свидетельствует о знакомстве автора с Ричардсоном и Адамом Смитом; Тургеневу пришлось бы поставить в вину, что он не примыкает к народной поэзии и лишен народного мировоззрения и т. д. Конечно, в этих особенностях истории древней литературы повинно общее враждебное отношение русской интеллигенции к допетровской Руси, как к царству варварства, темноты и убожества во всех областях жизни. Но, казалось бы, «открытие» иконы, показавшее, что в допетровской Руси существовала высокая эстетическая культура и глубокая, отнюдь не варварская и не первобытная, а мистически и богословски осознанная религиозность, должно было бы поколебать это ходячее предубеждение против Древней Руси. И если тем не менее история древнерусской литературы продолжает и по сие время относиться к своему предмету так же, как относились раньше, то объясняется это, конечно, тем, что произведения древнерусской литературы до сих пор «открыты» еще только физически, а не духовно, что мы еще не умеем воспринимать их как художественную ценность.

Чтобы выйти из этого затруднения, у нас есть только одно средство. Надо подойти к произведениям древнерусской литературы с теми же научными методами, с которыми принято подходить к новой русской литературе, ко всякой литературе вообще. В этом отношении как раз в последнее время создано могучее средство научного исследования литературы. Это средство — «формальный

метод». Применение этого метода к изучению древнерусской литературы раскрывает перед исследователем совершенно неожиданные горизонты: произведения, которые прежде было принято считать «бесхитростными», оказываются сотканными из «приемов», при этом большею частью довольно «хитрых». И каждый такой «прием» имеет не только свой смысл, свою цель, но и свою историю. Сразу меняется и все представление об истории древнерусской литературы: вместо той картины многовекового беспомощного барахтанья в сетях невежества, которой представляется история древнерусской литературы в ходячих учебниках, получается картина работы над разрешением формальных проблем. Словом, форма древнерусских литературных произведений оживает, получает смысл. А постигая этот смысл и начиная ценить чисто техническую, формальную сторону древнерусских литературных произведений, мы получаем возможность воспринимать и самую художественную ценность этих произведений. Конечно, для этого ценения одного формального метода, одного рассудочного понимания смысла и цели древнерусских композиционных и стилистических приемов недостаточно. Нужно еще раскрыть свою душу для восприятия, сделать ее доступной действию всех этих приемов, перестать сопротивляться этому действию. А для этого надо порвать с ходячим предвзято-недоброжелательным и презрительным отношением к древнерусской культуре и заменить его отношением предвзято-доброжелательным. Это есть непременное условие ценения всякого искусства: острая ненависть к какому-нибудь народу или культуре делает невозможным ценение искусства этого народа, и, наоборот, ценение этого искусства становится возможным лишь тогда, когда мы, хотя бы условно, методологически, стараемся отнестись к данному народу любовно или максимально благожелательно.

В нижеследующих строках я хочу попытаться произвести вышеописанную работу над одним древнерусским литературным памятником конца XV в., именно над «Хожением за три моря» Афанасия Никитина. Памятник этот изучался историками русской литературы главным образом с точки зрения культурно-исторической. Так как содержание его составляет описание путешествия тверского купца Афанасия Никитина в Индию в 1468 г., то из него старались извлечь материал для истории Индии, для истории сношений России с Востоком и т. д. Такой подход, разумеется, вполне правомерен, точно так же как вполне допустимо рассматривать «Письма русского путешественника» Карамзина как памятник бытописания Европы конца XVIII в. или извлекать из «Фрегата Паллады» Гончарова сведения по этнографии и географии разных посещенных Гончаровым стран. Но, конечно, ограничиваться только таким подходом ко всем этим литературным произведениям было бы непра-

вильно. Впрочем, по отношению к «Хожению» Афанасия Никитина историки литературы таким подходом и не ограничились: они использовали этот памятник и как свидетельство о низком уровне культуры в России XV в., об отсутствии в тогдашнем русском обществе научных запросов и интересов, причем, для большей убедительности, сопоставили Афанасия Никитина с Васко да Гамой, путешествовавшим по Индии приблизительно в то же время. Но при этом речь шла вовсе не о сравнении литературных достоинств «Хожения» Афанасия Никитина с мемуарами Васко да Гамы. Таким образом, разбор «Хожения» Афанасия Никитина с точки зрения собственно литературной до сих пор так никем и не был сделан.

В последующем изложении мы займемся сначала композицией «Хожения за три моря», потом перейдем к стилистическим особенностям этого памятника, а в заключение попытаемся сквозь форму добраться и до внутреннего смысла этого памятника[1]*.

* * *

Манеру изложения Афанасия Никитина можно описать так: Афанасий Никитин ведет изложение в спокойном тоне, потом вдруг вспоминает, как он был одинок среди иноверцев, и начинает плакаться, жаловаться, сокрушаться, молиться; потом опять начинает спокойно излагать дальше, но через некоторое время опять съезжает на жалобы и молитвы, потом опять принимается спокойно рассказывать, через некоторое время опять переходит к жалобам и молитвам и т. д. Словом, все «Хожение» представляет из себя чередование довольно длинных отрезков спокойного изложения с более короткими отрезками религиозно-лирических отступлений.

Спокойное изложение и религиозно-лирические отступления являются, таким образом, двумя основными композиционными элементами, двумя строительными материалами Афанасия Никитина. Эти два элемента отличаются друг от друга не только по содержанию, но и по форме словесного выражения. В религиозно-лирических отступлениях нередки восклицательные предложения, встречаются и обращения к читателям[2], чего в отрезках спокойного изложения не наблюдается. Язык религиозно-лирических отступлений более «литературен», т. е. заключает в себе больше церковнославянских элементов и черт, чем разговорно-деловой, почти чистый русский язык отрезков спокойного изложения[3]. Это различие двух языковых стилистических типов еще усугубляет различие между двумя основными композиционными элементами «Хожения» и делает их взаимопротивопоставление особенно явственным.

---

* См. прим. ред. на с. 514. — *Прим. ред.*

По содержанию своему отдельные отрезки спокойного изложения довольно явственно отличаются друг от друга. В самой середине «Хожения» стоят два отрезка, из которых один (336,4—337,18 [17— 19]) всецело посвящен религии Индии, а другой (338,3—339,25 [20—23]) — сведениям об индийских «пристанищах» (портовых городах). Каждый из этих отрезков представляет из себя замкнутое и внутренне однородное целое, систематическое собрание сведений одной определенной категории.

С двух сторон к этим двум центральным отрезкам примыкают два других (334,10—335,32 [14—17] и 340,18—341,11 [23—25]), заключающих в себе разрозненные наблюдения над природой и бытом Индии, причем наблюдения эти изложены в хаотическом беспорядке. Так, в первом из этих двух отрезков сначала рассказывается о морской торговле и пиратстве, потом — о базаре в городе Бедере, потом — о господствующих над Индией хорасанских правителях и вооружении их войск, потом — о ярмарке в день памяти шейха Алауддина, потом — о диковинах индийской фауны (птица гукук, обезьяны), потом — о длительности времен года, потом — опять о хорасанских вельможах, о пышности их выездов, о великолепии дворца бедерского султана, наконец, о змеях, ходящих по улицам Бедеря. Так же непоследовательно изложение другого из этих двух отрезков. Разнородность наблюдений, сгруппированных в этих двух отрезках, резко отличает их от внутренне однородных центральных отрезков. С другой стороны, между обоими «боковыми» отрезками, кроме этой формальной общности беспорядочного изложения, существует сходство в самом содержании: так, и в том и в другом описывается пышность выезда бедерского султана, и в том и в другом даются сведения о климате.

Все четыре вышерассмотренных отрезка составляют вместе взятое статическое описание Индии. Описание это более или менее систематично только в самых центральных своих частях, а в «боковых» частях несистематично и беспорядочно. Распределение отдельных сведений, по-видимому, находится в зависимости от существенности и важности их: в центре помещены более существенные, по бокам — менее существенные сведения, и это подчеркнуто самой манерой изложения — систематичной в центре и беспорядочной по бокам. Как купец и в то же время религиозный человек, Афанасий Никитин более всего придавал значение тому, что ему удалось узнать о религии Индии и о коммерческих возможностях индийских портовых городов.

В отличие от *статически-описательного* характера четырех отрезков срединной части «Хожения» самое начало и самый конец «Хожения» носят характер *динамически-повествовательный:* в начале (331,2—332,25 [9—11]) рассказывается о событиях путешествия из Твери до «Гурмыза» (Гурмыз [Хормуз] — город на остро-

ве в Персидском заливе), а в конце (344,1—30 [29—31]) — о событиях обратного путешествия от последнего индийского «пристанища» Дабиля [Дабула] до Крыма. В этих двух отрезках Афанасий Никитин говорит исключительно о событиях своего путешествия, совершенно не останавливаясь на описании того, что он во время этого путешествия видел. И наоборот, в средней части «Хожения», посвященной, как указано было выше, статическому описанию Индии, не сообщается никаких данных о тех событиях и приключениях, которыми, несомненно, сопровождались путешествия и передвижения автора внутри самой Индии, из одного города в другой. Таким образом, статическое описание и динамическое повествование в «Хожении» композиционно разграничены: статика вся сконцентрирована в середине, а динамика вся размещена по краям произведения.

Между статически-описательной серединой и динамически-повествовательными краями «Хожения» имеются отрезки, которые можно назвать «переходными». Первый такой отрезок (332,28—334,1 [12—14]) представляет из себя переход от динамического повествования к статическому описанию. Уже в конце того отрезка, в котором описываются события путешествия от Твери до Гурмыза, имеется несколько кратких сообщений описательного характера, вставленных в перечисление персидских городов[4]. После прибытия в Гурмыз повествование о путешествии идет уже все время вперемежку с описанием страны и ее обитателей. Уже первые впечатления об Индии носят субъективную окраску. «И тут есть Индѣйская страна, и люди ходять нагы всѣ, а голова не покрыта, а груди голы, а волосы в одну косу плетены, а всѣ ходят брюхаты, дѣти родять на всякый годъ, а детей у нихъ много, а мужы и жены всѣ черны, — язъ хожу куды, ино за мною людей много, дивятся бѣлому человѣку» (332,33—36 [12]). И в дальнейшем в этом отрезке каждое сообщение описательного характера делается как бы по поводу какого-нибудь эпизода путешествия: по поводу приезда в Чюнейрь, резиденцию Асад-хана, сообщаются данные о быте хорасанских вельмож в Индии; наступление зимы, заставившее Афанасия Никитина задержаться в Чюнейре, дает повод сообщить сведения о климате, о том, что «в тѣ же дни у нихъ орють да сѣють», и вообще разные сведения о сельском хозяйстве; то же наступление зимы дает повод рассказать и о зимнем костюме. Вообще, в этом отрезке мы находим тот же беспорядочный способ сообщения разрозненных наблюдений, который характерен для «боковых» отрезков срединной, чисто статически-описательной части «Хожения»: но в отличие от этих «боковых» отрезков, где это беспорядочное изложение ничем не мотивировано, здесь оно мотивировано тем, что это — «путевые заметки». Благодаря этому в рассматриваемом отрезке элементы описательный и повествовательный соединены друг

с другом, и весь отрезок является постепенным переходом от чисто динамического повествования начала «Хожения» к чисто статическому описанию средней части «Хожения».

Обратный переход от статического описания средней части «Хожения» к динамическому повествованию конца «Хожения» осуществляется двумя «переходными» отрезками, следующими друг за другом. Оба этих отрезка тесно связаны друг с другом по содержанию: в обоих рассказывается о войнах и военных событиях, имевших место в Индии во время пребывания там Афанасия Никитина. Еще перед началом первого из этих отрезков Афанасий Никитин, жалуясь на то, что выехать из Индии стало трудно вследствие повсеместных войн («вездѣ булгакъ сталъ» [26], т. е. смута, смятение), кратко обрисовывает общее политическое положение, создавшееся на Востоке: «князей вездѣ выбыли, Яишу мурзу убилъ Узуосанбекъ, а Солтамусаитя окормили, а Узуосанъбекъ на Ширязи сѣлъ, и земля ея не обрѣнила [не окрепла], а Едигерь Махметъ, а тотъ къ нему не ѣтът, блюдется» (341,17—19 [26]). Самый отрезок (341,23—343,4) начинается с сообщения о том, что полководец бередского султана Меликтучар «два города взялъ индѣйскыя, что разбивали (т. е. занимались разбоем) по морю Индѣйскому, а князей поймал 7 да казну ихъ взялъ... а стоялъ подъ городомъ два году, а рати с нимъ два ста тысячь, да слонов 100, да 300 верьблюдовъ» (341,23—25 [26]). Затем рассказывается о приезде этого Меликтучара в Бедер, о встрече его с султаном и о выступлении войск бедерского султана в поход против чюнедарского князя. Попутно с повествованием об этих событиях описывается пышность образа жизни Меликтучара и пышный выезд султана, подробно перечисляется состав войск султана с указаниями о вооружении. Таким образом, здесь динамическое повествование о событиях соединено с описанием, причем описание преобладает над повествованием и по самому своему содержанию и форме живо напоминает описание пышного выезда бедерского султана о предыдущем, «боковом» отрезке средней, чисто статически-описательной части «Хожения». Следующий отрезок (343,10—31 [29]) в начале своем заключает продолжение рассказа о походе бедерского султана[5], но в этот рассказ вставлено краткое описание одного города, который особенно трудно было завоевать. Затем следует рассказ о переезде Афанасия Никитина из Кельберга в Дабиль, причем попутно даются краткие сведения о достопримечательности некоторых городов[6].

Таким образом, и в этом отрезке элемент динамического повествования смешан с элементом статического описания, но в противоположность предшествующему отрезку повествование преобладает над описанием. Этим подготовляется следующий за только что рассмотренным отрезком чисто динамически-повествовательный

рассказ об обратном пути от Дабиля до Крыма, заканчивающий все «Хожение».

Таким образом, постепенный переход от динамически-повествовательного начала к статически-описательной середине «Хожения» осуществляется при помощи «переходного» отрезка с путевыми заметками, а обратный постепенный переход от статически-описательной середины к динамически-повествовательному концу «Хожения» осуществлен двумя «переходными» отрезками, посвященными военным событиям. Это различие в содержании переходных отрезков зависит от различия в содержании тех чисто повествовательных частей, к которым переходные отрезки примыкают: путешествие Афанасия Никитина из Твери до Индии происходило в спокойной политической обстановке, а обратное путешествие из Индии в Крым совершалось на фоне военных событий, которые упоминаются не только в переходных отрезках, но и в самом чисто повествовательном конце «Хожения». И все же, несмотря на все эти различия, переходные отрезки по своей формальной, композиционной функции аналогичны друг другу, т. к. служат связующими звеньями между двумя основными видами спокойного изложения — динамическим повествованием и статическим описанием — и благодаря этому соединяют середину «Хожения», с одной стороны, с его началом, с другой стороны — с его концом[7].

Резюмируя все сказанное об «отрезках спокойного изложения» в «Хожении», получаем для «Хожения» следующую общую схему: чем ближе к середине, тем чище вид статического описания, чем дальше от середины, тем чище вид динамического повествования. Эта «кривая», идущая от динамического повествования к статическому описанию и вновь возвращающаяся к динамическому повествованию, является не «сплошной», а разлагается на 9 отрезков, каждый из которых представляет из себя отклонение в определенном направлении. Отрезки эти таковы:

1-й: «Путешествие от Твери до Гурмыза» (чистый вид динам. повеств.);

2-й: «Первые путевые впечатления» (смесь динам. повеств. и статич. опис.);

3-й: «Отдельные сведения о природе и жителях Индии» (статич. опис. при беспорядочном и несистематическом характере изложения);

4-й: «Сведения о религии Индии» (систематическое статич. опис.);

5-й: «Описание портовых городов Индии» (систематич. статич. опис.);

6-й: «Отдельные сведения о природе и жителях Индии» (статич. опис. при беспорядочном и несистематическом характере изложения);

7-й: «Военные события в Индии» (смесь статич. опис. с динам. повеств. при преобладании элемента описания);
8-й: «Военные события в Индии. Переезд Афанасия Никитина к берегу моря» (смесь динамич. повеств. со статич. опис., но с преобладанием повествования);
9-й: «Обратное путешествие из Дабиля в Крым» (чистый вид динамич. повеств.).

Нельзя не обратить внимания на поразительную симметрию и стройность этой композиционной схемы.

Обратимся к другому композиционному элементу «Хожения», к религиозно-лирическим отступлениям. В отличие от разнообразия содержания отрезков спокойного изложения религиозно-лирические отступления по своему содержанию все однородны. Все они связаны с упоминанием какого-нибудь двунадесятого праздника, подчеркивают тяжелое чувство одиночества православного христианина среди иноверцев и трудность для такого христианина сохранить свою веру (в смысле бытового исповедничества). Отличаются эти отступления друг от друга главным образом тем, что одни из них пространны и развиты, другие — короче и, так сказать, «недоразвиты», т. е. заключают в себе только указание на психологическую ситуацию, а не разработку самой этой ситуации. Как уже было указано выше, каждое из этих религиозно-лирических отступлений стоит в промежутке между двумя отрезками спокойного изложения, т. е. на каждом изгибе вышеупомянутой композиционной «кривой», осуществляя, таким образом, самое членение этой кривой. Присматриваясь внимательнее к распределению религиозно-лирических отступлений, замечаем, что пространные и вполне развитые отступления выступают во всех тех случаях, когда хотя бы один из непосредственно примыкающих к данному отступлению отрезков спокойного изложения является чисто статически-описательным[8]. Исключение из этого правила составляет только место спайки 3-го отрезка с 4-м, где, несмотря на чисто статически-описательный характер обоих отрезков, религиозно-лирическое отступление только намечено, но не развито, т. е. имеется и упоминание двунадесятого праздника, и указание на исповедничество Афанасия Никитина среди иноверцев, но лирика отсутствует и должна дополняться воображением читателя[9]. Объясняется это, конечно, тем, что 4-й отрезок, перед которым стоит это отступление, всецело посвящен религии Индии: слишком настойчивое подчеркивание духовного одиночества Афанасия Никитина в этом месте было бы излишним и могло бы даже затруднить переход к дальнейшему спокойному изложению.

Там, где ни один из соседних отрезков не является чисто статически-описательным, религиозно-лирическое отступление выступает в сокращенном и недоразвитом виде[10]. Объясняется это,

конечно, относительно быстрым темпом, присущим динамическому повествованию и не позволяющим задержаться на отступлении. На месте спайки первого отрезка со 2-м религиозно-лирического отступления, собственно, вовсе нет, а есть только краткое упоминание о том, что Афанасий Никитин встретил Пасху («Великий День») на острове Гурмызе[11]: читателю предоставляется дополнить своим воображением грустное настроение и ощущение одиночества путешественника, встречающего великий христианский праздник среди иноверцев, вдали от родины, на каком-то острове среди Персидского залива; но автору некогда на этом останавливаться — он спешит перейти к повествованию о своих путевых впечатлениях.

Таким образом, объем и степень развитости отдельных религиозно-лирических отступлений зависит от характера и содержания тех отрезков спокойного изложения, между которыми эти отступления вставлены. Содержание же всех этих религиозно-лирических отступлений приблизительно одно и то же. Благодаря этому религиозно-лирический элемент оказывается красной нитью, проходящей через все «Хожение», однородным цементом, связывающим отдельные отрезки и в то же время обрамляющим каждый из этих отрезков в отдельности.

Этот композиционный принцип обрамления при помощи религиозно-лирического элемента проведен с полной последовательностью. Религиозно-лирический элемент обрамляет не только каждый отдельный отрезок спокойного изложения, но и все «Хожение» в целом. Перед началом «Хожения» помещена краткая молитва на церковно-славянском языке[12], а в конце «Хожения» после сопровождаемого молитвенными восклицаниями рассказа о прибытии в Крым и после заключительной фразы[13] помещена длинная молитва на арабском языке[14], которой все «Хожение» и заканчивается. Таким образом, все «Хожение» вставлено в рамку двух молитв.

Перейдем теперь от композиционных приемов «Хожения» к его стилистической стороне и языковой символике. Первое и главное, что поражает в этой области, — это, конечно, та чисто акустическая экзотика, которой окрашено все «Хожение». Достигается этот эффект усиленным употреблением имен, слов, выражений и фраз индийских, арабских, персидских и тюркских.

Восточные *географические названия* разбросаны по всему «Хожению». Но время от времени они сгущаются и собираются в более длинные ряды. Мотивировки таких перечислений экзотических географических названий бывают разные. Чаще всего (в 6-ти случаях из 13-ти) такое перечисление мотивируется указанием маршрута, что дает возможность называть каждое географическое название по крайней мере два раза[15]. Но часто географические имена перечисляются и по какому-нибудь иному поводу[16]. Истинная цель этих

перечислений состоит, конечно, в нагромождении экзотических слов со своеобразными звукосочетаниями. Это явствует особенно из того, что в подобных перечислениях Афанасий Никитин обозначает арабскими и персидскими именами даже и такие страны, для которых в славянском языке обычно употребляются имена греческого происхождения: так, Египет он называет «Мисюрь», Сирию — «Шам», Аравию — «Оробстань» или «Рабаст»[17].

Личные имена собственные в «Хожении» встречаются в общем реже географических, но замечается тоже довольно ясно выраженная тенденция группировать такие имена в более или менее длинные ряды, причем мотивировка таких перечислений опять-таки довольно разнообразна[18].

Кроме имен собственных, встречается в «Хожении» и множество *отдельных* слов из «восточных» языков. В большинстве своем это технические термины, обозначения специфически туземных предметов и понятий. Но объяснение этих слов Афанасий Никитин дает лишь в очень немногих случаях[19]. Большей частью читателю самому предоставляется догадываться о значении данного слова. Иногда догадаться можно потому, что в параллельном месте употреблено соответствующее русское слово[20]; в других случаях можно из контекста угадать, к какому классу предметов принадлежит данный предмет, обозначенный мудреным восточным именем[21]. Но очень часто догадаться без знания соответствующих языков просто невозможно[22]. При этом очень часто восточные слова употребляются для обозначения таких понятий, которые свободно можно было бы обозначить русским или церковнославянским словом[23]. Употребление этих восточных слов придает изложению особую couleur locale [«местный колорит»] и в то же время особую звуковую экзотичность, а процесс угадывания значения создает особенно напряженную установку на словесное выражение[24]. Некоторые фразы Афанасия Никитина производят впечатление какой-то русскоазиатской тарабарщины, сквозь которую смысл только просвечивает[25].

Наконец, кроме восточных имен и отдельных слов, Афанасий Никитин вводит в русский текст своего «Хожения» целый ряд фраз на арабском, персидском и тюркском языках. В XV веке персидский и арабский языки были известны лишь ничтожному числу русских людей. Несколько более распространено было в то время знание тюркского, «татарского», языка[26] (особенно среди купцов поволжских городов). Но все же большинству возможных читателей Афанасия Никитина ни арабский, ни персидский, ни тюркский языки не были известны. Афанасий Никитин, несомненно, это учитывал. Там, где понимание какой-нибудь татарской фразы необходимо для понимания общего хода рассказа, Афанасий Никитин снабжает эту фразу русским переводом [27]. Из этого следует, что во всех

многочисленных прочих случаях, где арабские, персидские фразы переводом не снабжены, Афанасий Никитин вполне сознательно шел на то, что читатели не поймут его. Поэтому целью всех этих довольно многочисленных, не снабженных переводом «восточных фраз», разбросанных по всему «Хожению» (главным образом в религиозно-лирических отступлениях и отрезках статически-описательного изложения), является только создание определенного эффекта экзотики, достигаемого необычностью звукосочетаний в связи с непонятностью самих фраз.

Собственно, этот эффект можно было бы достигнуть и простым подбором слов из разных восточных языков без всякого связного смысла. Но на самом деле все арабские, персидские и тюркские фразы, внесенные Афанасием Никитиным в текст «Хожения», имеют смысл. Смысл этот, будучи понятен только самому автору и небольшому меньшинству читателей, интересен только для психологии и характеристики автора, а не для литературной характеристики самого произведения, в котором помянутые фразы, как сказано, играют только роль средств для создания и повышения общего впечатления чуждости и экзотичности описываемой обстановки. Тем не менее мы должны рассмотреть эти фразы и с точки зрения их смысла, ибо это поможет нам яснее почувствовать дух «Хожения».

Значительная часть «восточных» фраз «Хожения» представляет из себя молитвы или молитвенные восклицания. Во всех развитых религиозно-лирических отступлениях имеются такие «восточные» молитвы и молитвенные восклицания наряду с русскими[28], а по окончании всего «Хожения», как указано выше, приводится длинная молитва на арабском языке. Мотивы, побудившие Афанасия Никитина прибегнуть в этих молитвах к восточным языкам, конечно, были разнообразны. Тут была и потребность обращаться к богу не на обычном, понятном для всех языке — потребность, отмеченная в психологии религии разных времен и народов. Но была тут и своеобразная символика религиозного одиночества, символика особенно своеобразная потому, что символ был, так сказать, прямо противоположен символизируемому состоянию. В бытность свою на Востоке Афанасий Никитин остро ощущал свое религиозное одиночество и, вынужденный прятать свое христианство от окружающих, тайно (а может быть, иногда и вслух) молился *по-русски*, т. е. непонятно окружающим. Теперь, описывая свои странствия и живо вспоминая это доминирующее состояние своего духовного одиночества, он символизирует его тем, что опять молится на языке, непонятном для окружающих. Но так как эти окружающие теперь — русские, то молиться приходится уже не по-русски, а по-арабски, по-персидски или по-татарски. Таким образом, перемена окружения вызвала переворачивание наизнанку языковых выраже-

ний психического состояния: в Индии языковым символом интимной, лично-религиозной жизни Афанасия Никитина был русский, в «Хожении» же, написанном по-русски и для русских читателей, таким символом становятся восточные языки. Поэтому на этих языках Афанасий Никитин пишет теперь такие мысли, которые в Индии приходили ему в голову по-русски и оставались не высказанными вслух или скрытыми от окружающих[29]. Замечательно, что единственная молитва о России, заключающая в себе несдержанное проявление горячей любви Афанасия Никитина к родине, приведена в «Хожении» по-татарски и без русского перевода[30].

Но, раз ассоциировавшись с психологическим комплексом сокровенности личных религиозных переживаний и с воспоминанием о духовном одиночестве, употребление восточных языков в «Хожении» захватывает и некоторые смежные психологические комплексы. Так, мы находим фразы на восточных языках там, где Афанасий Никитин вспоминает о своей осквернённости, явившейся следствием долгой жизни среди иноверцев. На татарском языке он признается в том, что, забыв точные сроки православных постов, иногда постился вместе с мусульманами и по-мусульмански и что при этом молился богу о том, чтобы это не зачлось ему как измена вере[31]. Ощущение своей осквернённости особенно сильно выступало, когда Афанасию Никитину доводилось вступать в половые сношения с черными невольницами и вообще с некрещеными туземками. Поэтому все сведения о проституции в Индии и о платном удовлетворении половых потребностей он сообщает на татарском языке[32]. Характерно, что за наиболее циничной в этом отношении татарской фразой[33] непосредственно следует религиозно-лирическое отступление, в котором Афанасий Никитин плачется о соблазнах, окружающих его, и о трудности сохранить религиозную чистоту, живя среди иноверцев. О том, что во время поста он воздерживался от половых сношений, Афанасий Никитин сообщает тоже по-татарски[34].

То своеобразное положение, при котором восточные языки *в рассказе* Афанасия Никитина играют ту же символическую роль, которую русский язык играл в его *интимной жизни в Индии,* сказывается и в других случаях. Некоторые браманские идолы поразили Афанасия Никитина своей непристойностью: поразила, очевидно, не непристойность сама по себе, а то, что эта непристойность придана изображению божества, которому поклоняются. Это Афанасий Никитин подумал, очевидно, *по-русски,* но вслух, конечно, не высказал. Описывая же эти идолы в своем «Хожении», он указывает на их непристойность *по-татарски*[35]. Другой раз, при виде могущества и военной мощи мусульманских правителей, победоносно воюющих с «неверными», у Афанасия Никитина мелькнула мысль, что, хотя с виду ислам как будто помогает своим последова-

телям, тем не менее бог-то знает, какая вера истинна и какая неистинна. Опять-таки мелькнула эта мысль *по-русски* и вслух высказана не была, при изложении же своих воспоминаний Афанасий Никитин высказывал эту мысль *по-персидски*[36].

Таким образом, фразы на восточных языках в «Хожении» Афанасия Никитина имеют свою определенную смысловую сферу, связаны с определенным психологическим комплексом ассоциаций[37]. Но эта внутренняя смысловая сторона этих фраз доступна и открыта лишь самому Афанасию Никитину и очень ограниченному кругу его читателей. Для большинства же читателей фразы эти лишены смысловой стороны и в силу именно этой своей бессмысленности в соединении с своеобразием своей акустически-звуковой стороны являются только средством повышения впечатления экзотичности описываемых в «Хожении» диковинных явлений, обычаев и событий.

* * *

Рассмотренные здесь формальные особенности «Хожения за три моря» Афанасия Никитина присущи исключительно одному этому памятнику. Но, сравнивая «Хожение» Афанасия Никитина с другими памятниками древнерусской письменности, замечаем, что главные особенности, рассмотренные выше, встречаются — правда, в ином и менее развитом виде — в определенной группе произведений, именно в древнерусских паломничествах.

Так, прием разграничения элементов динамически-повествовательного и статически-описательного с помещением описания страны в середине, а повествования о путешествии из России и обратно — по краям памятника встречается в большинстве русских паломничеств начиная с конца XIV в.[38] Но ни в одном паломничестве это разграничение двух видов изложения и постепенность переходов от одного вида к другому не проведены с такой последовательностью и не разработаны с таким мастерством, как в «Хожении» Афанасия Никитина.

Обычай начинать и кончать произведение молитвами был широко распространен в древнерусской литературе, и в частности в литературе паломнической. Но Афанасий Никитин разработал и этот прием совершенно оригинально, превратив религиозно-лирический элемент в средство композиционного членения своего произведения и в средство спайки отдельных его частей — чего ни в одном древнерусском паломничестве не наблюдается.

Прием перечисления географических названий (с указанием расстояний и дней пути) широко распространен в паломнической литературе, где он выполняет роль предельно схематизированного заместителя динамического повествования о путешествии. Но Афа-

насий Никитин оригинально использовал этот прием для совершенно иных целей, именно для создания определенного экзотического звукового эффекта[39]. Поэтому он расширил самое применение этого приема, введя разные мотивировки перечисления географических названий, далее, аналогичные роды восточных личных имен, наконец, бессмысленные (с точки зрения большинства читателей) фразы на восточных языках и т. д.

Наконец, мы видели выше, что в некоторых частях своего «Хожения» Афанасий Никитин применяет прием несистематического, беспорядочного изложения (мотивированного формой путевых заметок во 2-м отрезке и ничем не мотивированного в 3-м и 6-м отрезках). Тот же прием широко применяется и в паломнической литературе (где он обычно мотивирован формой путевых заметок). Заметим кстати, что прием этот отнюдь нельзя объяснить пресловутой «бесхитростностью» или «простодушием» паломников. Смысл этого приема в том, что при таком способе изложения создается иллюзия разнообразия и многочисленности впечатлений, тогда как при систематическом описании материал кажется более ограниченным и скудным именно оттого, что он становится легко обозримым.

Таким образом, между «Хожением» Афанасия Никитина и древнерусскими паломничествами существует несомненная связь[40]. Остается только выяснить характер этой связи.

Мы уже говорили выше, что как многие паломничества, так и «Хожение» Афанасия Никитина начинаются и заканчиваются молитвами. Но в то время, как в паломничествах обе молитвы (и начальная, и заключительная) — церковнославянские и христианские, в «Хожении» Афанасия Никитина заключительная молитва арабская, мусульманская. На первый взгляд это создает впечатление какой-то пародии. Но на самом деле это, конечно, не так.

Отношение между «Хожением» Афанасия Никитина и паломничествами может быть выражено следующей краткой формулой: в то время как паломничество есть описание путешествия в *святую* землю, «Хожение за три моря» Афанасия Никитина есть описание путешествия в *поганую* землю.

Это создает глубокое различие в религиозно-психологической ситуации. Паломник путешествует по святым местам, переполненным святынями и представляющим на каждом шагу материальные, осязаемые следы ветхозаветных и новозаветных воспоминаний. Он несет в себе самом, в своем сознании особую атмосферу благочестивых чувств, мыслей, настроений и представлений, и окружающий мир, внешняя обстановка святой земли действуют на этот внутренний мир паломника как мощный резонатор, повышая интенсивность всех его переживаний, мыслей и чувств. Оба мира, внешний и внутренний, сливаются воедино, и паломник неспособен различать, где кончается один и где начинается другой: в окружающем он видит и

замечает только то, что гармонирует с его внутренним миром, впитывает все это в себя и в то же время вкладывает свои собственные религиозные переживания во все виденное и слышанное. Наоборот, Афанасий Никитин путешествует по странам нехристианским — мусульманским и языческим, — где не только нет христианских воспоминаний, не только царят нехристианские религии, но где эта чужая, нехристианская религиозная стихия выступает на каждом шагу, бьет ключом. Между внутренним религиозным миром Афанасия Никитина и окружающей его обстановкой мусульманской или языческой жизни не только нет гармонии, но есть прямая противоположность, противоположность постоянно и интенсивно ощущаемая. В результате вместо того осмоса между внутренним миром путешественника и внешним миром окружающей его действительности, вместо того слияния этих двух миров и растворения внутреннего мира во внешнем, которое наблюдается у паломника, у Афанасия Никитина должно было получиться как раз обратное, но не менее интенсивное ощущение своей отдельности, изолированности от внешнего мира, своего религиозного одиночества. Ему приходилось бороться как против проникновения внешнего, нехристианского мира в его внутренний мир (ибо проникновение сознавалось как осквернение), так и против выявления его внутреннего религиозного мира вовне, ибо такое выявление могло быть опасным для его личной судьбы, иначе говоря, приходилось замыкаться в себе и тем не ослаблять, а еще усиливать свою духовную изоляцию, свое религиозное одиночество. Это было длительным и напряженным религиозным переживанием. В этой-то интенсивно религиозной окраске переживаний, связанных с путешествием, и заключалась аналогия с паломничеством, несмотря на все различие в самом направлении этих переживаний. Как для паломника, так и для Афанасия Никитина воспоминание о путешествии было прежде всего воспоминанием о сильном религиозном переживании. И именно поэтому как паломник, так и Афанасий Никитин считали себя обязанными записать эти воспоминания, поведать их потомству: ибо в Древней Руси в принципе записывалось и облекалось в литературную форму только лишь религиозно ценное, все же религиозно нейтральное в принципе оставалось предметом не письменной, а устной литературы.

Сказанным выше определяется истинный смысл и сущность содержания «Хожения» Афанасия Никитина. Это не есть простое описание любопытных путевых приключений или диковин, виденных в далеких странах, а повесть о том, как несчастный православный христианин, «рабище божие» Афанасий, занесенный судьбой в нехристианские страны, страдал от своего религиозного одиночества и тосковал по родной христианской обстановке. Только с этой стороны и можно подходить к «Хожению» как к литературному произведению.

Все «Хожение» проникнуто реальным ощущением религиозной изолированности Афанасия Никитина среди окружающей его нехристианской религиозной стихии. Вместе с тем Афанасий Никитин слишком хорошо знает мусульман и браманистов, чтобы просто презирать их. Их религиозный мир отделен от внутреннего мира Афанасия Никитина непроницаемой стеной. Но Афанасий Никитин знает, что это пусть чужой, но все-таки *религиозный* мир, и потому не может ни презирать, ни осуждать тех, кто к этому миру принадлежит. Даже больше того, Афанасий Никитин чувствует, что при всем внутреннем, материальном различии между его собственной русско-православной и чужими, мусульманской и браманской, религиозными стихиями между ними существует известный формальный параллелизм, формальная аналогия, которую он постоянно подчеркивает. Упоминая мусульманские праздники и посты, он всегда указывает, какому православному празднику или посту они по времени или по значению своему соответствуют: « ..на память шиха Аладина, на руськый праздникъ на Покровъ святыя Богородица» (334,33 [15]); «а празднують шиху Аладину и веснѣ двѣ недѣли по Покровѣ» (335,10 [16]); «Великий День бываеть хрестьяньскы первие бесерьменьскаго багрима за 9-ть день, или за 10 дни» (337,20— 21 [19]); «на курбантъ баграмъ, а по-русьскому на Петровъ день» (341,27—28 [26]). О священном городе браманистов, Парвате, Афанасий Никитин говорит: «къ Первотѣ же явдять о великомъ заговѣйне, къ своему Буту тотъ ихъ Іерусалимъ, а по-бесерменьскыи Мякъка, а по-рускы Ерусалимъ, а по-индѣйскы Парватъ» (337, 7—9 [19]). Он отмечает внешнее сходство некоторых подробностей браманского ритуала с православным: «а намазъ же ихъ на востокъ, по-рускы» (336, 34 [18]); «а бутханы (т. е. храмы) же ихъ... ставлены на востокъ, и Буты (т. е. идолы) стоять на востокъ» (337, 3—4 [19]), «ины ся кланяють по черіечьскы, обе рукы дотычуть до земли» (337, 6—7 [19]). Чуждость браманского религиозного миросозерцания, конечно, не могла не поразить Афанасия Никитина. При описании главного храма в Парвате он рассказывает без прикрас то, что там видел, и одного этого описания достаточно, чтобы убедиться в совершенной чуждости браманизма: «А бутхана же велми велика, есть с полъ-Твѣри, камена, да рѣзаны по ней дѣяния Бутовыя[41], около ея всея 12 рѣзано вѣнцевъ, какъ Бутъ чюдеса творилъ, какъ ся имъ являлъ многыми образы: первое человѣческымъ образомъ являлся, другое человѣкъ, а носъ слоновъ, третье человѣкъ, а виденье обезьанино, въ четвертые человѣкъ, а образомъ лютаго звѣря, являлся имъ все съ хвостомъ, а вырезанъ на камени, а хвость черезъ него сажень» (336, 10—14 [17—18]). Казалось бы, у всякого русского XV века все эти образы должны были бы вызвать заключение, что этот «бут» есть просто сатана. Возможно, что такая мысль

и пришла в голову Афанасию Никитину. Но он подавил ее в себе, не высказал ее даже и в «Хожении», а только отметил формальное внешнее сходство главного идола парватского храма со статуей Юстиниана, описанной русскими паломниками: «Бутъ вырѣзанъ ис камени, велми великъ, да хвостъ у него черезъ него, да руку правую поднялъ высоко да простеръ, акы Устьянъ царь Царяградскы» (336, 19—21 [18]). Таким образом, даже здесь опять формальный параллелизм двух религиозных миров. Но констатирование этого формального параллелизма, конечно, только усиливает впечатление полной внутренней, материальной разнородности этих миров. Так же спокойно и объективно описывает Афанасий Никитин и другие подробности религиозной жизни Индии, даже самые странные и отталкивающие с русско-православной точки зрения (напр., религиозное почитание рогатого скота[42] и т. д.). Нигде ни тени осуждения, пренебрежения или насмешки: всякий-де верует по-своему, других осуждать нечего, а надо самому смотреть, как бы свою веру соблюсти, не отпасть от бога.

Нелегко было Афанасию Никитину устоять в вере. И не только потому, что как христианин он не пользовался никакими правами и всегда мог подвергнуться притеснениям мусульманских вельмож вроде чюнерского правителя Асад-хана; но главным образом потому, что он был физически лишен возможности исполнять обряды и предписания всей веры, в то время как вокруг себя он видел людей, строго выполняющих свои религиозные обязательства, живущих благообразным ритуальным бытом, формально похожим на его собственное русско-православное обрядовое исповедничество. Соблазн был велик: своей веры, своего закона все равно соблюсти нельзя, а «бесермене» так благообразно живут, так твердо стоят в своей вере и соблюдают свой закон, что даже зависть берет; почему бы не перейти в их веру? Ведь бог один, только законы разные.

Это — смысл разговора Афанасия Никитина «с бесерменином Меликом», который нудил Афанасия Никитина «въ вѣру бесерменьскую стати» и укорял его за то, что он от христианства отстал, а к мусульманству не пристал. Но Афанасий Никитин устоял. Несмотря на все уважение, с которым он относился ко всякой чужой вере, и несмотря на то, что никогда не допускал себя осуждать или презирать окружающих за их религиозные воззрения, в глубине души он чувствовал и знал, что истинная вера только его, русская вера, и за нее он держался крепко, хотя от всех это скрывал, присвоив себе для окружающих даже вымышленное «бесерменьское» имя, «хозя Исуфъ [Юсуф] Хорасани» [17].

Так жил он «промежу вѣръ», сокрыв от всех свой личный религиозный мир и подавив его внешние проявления. Эту свою жизнь он и описал в своем «Хожении». Только время от времени, по слу-

чаю наступления какого-нибудь большого христианского праздника или поста, эта скрытая в глубине его души стихия русско-православной веры вздымается в нем, охватывает все его существо, заставляет его остро почувствовать свое духовное одиночество. Тогда он начинает плакать, сокрушаться, тосковать по христианской обстановке, по благообразному русскому бытовому исповедничеству и обращается с молитвой к истинному, христианскому богу. Но и тут его религиозная стыдливость и вызванная обстоятельствами жизни скрытность мешают полному проявлению накипевших чувств, и свою молитву он сейчас же скрывает покрывалом арабского, персидского или татарского языка, этих символов его долговременного духовного одиночества.

Эти вздымания волны интимно-религиозных переживаний имеют свою периодичность. Религиозная жизнь человека, выросшего в религиозной культуре, воспитанного в обрядовом исповедничестве, всегда ритмична и периодична. Интенсивность и напряженность ее то усиливается, то ослабевает, и усиления эти связаны с определенными моментами во дню, с определенными днями в неделе, с определенными неделями в году. Настолько, что для такого человека времяисчисление неотделимо от вероисповедания и становится категорией религиозной. И именно потому, что сокровенные движения его внутреннего религиозного мира были подчинены определенному ритму и периодичности, у Афанасия Никитина и могла явиться мысль при написании «Хожения за три моря» использовать поведание о моментах своей религиозной тоски как средство внутреннего членения рассказа о путешествии и о всем виденном и пережитом в далеких странах.

Примечания

[1] Мы будем пользоваться текстом, напечатанным в VI томе «Полного собрания русских летописей» (СПб. 1853), с. 330—345 и представляющим из себя наиболее полную редакцию «Хожения». Другая редакция этого памятника (напечатанная там же, с. 345—354) сильно искажена и потому нами в расчет приниматься не будет. В цитатах мы будем указывать страницу и строку (считая сверху) помянутого издания*.

* В издании, на которое ссылается Трубецкой, опубликован Троицкий список «Хожения» (XVI в.), переизданный также в серии «Литературные памятники»: «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. М.: Изд-во АН СССР, 1948, с. 7—32, причем при переиздании полностью была соблюдена орфография подлинника. Все цитаты из «Хожения», приводящиеся в статье Трубецкого, сверены и исправлены по изданию 1948 г. После ссылок на страницу и строку, сделанных Трубецким по изданию «Полное собрание русских летописей», мы в квадратных скобках указываем соответствующую страницу в издании 1948 г. — *Прим. ред.*

[2] Напр. «Ино, братья русьсті и христіяне!» (344, 6 [14]), «О благовѣрныи христіяне!» (293, 27[23]).

[3] Это различие сказывается прежде всего в синтаксисе. Разговорно-деловой язык XV века избегал придаточных предложений. В «Хожении» находим соединения главных предложений (при помощи соединительных союзов *а, и, да* или без союзов) часто даже в таких случаях, где современный русский язык употребил бы придаточное предложение, напр.: «ѣздять на волехъ, *да у* вола рога окованы мѣдью, да на шие (у него) колокольцевъ 300, да копыта подкованы, а тѣ волы ачьче зовутъ» (337, 12—13 [19]), «а то къ нему не ѣтѣт, блюдется» (т. е. «*потому что* блюдется») (341, 19[26]) и т. д... . Напротив, церковно-славянский язык всегда охотно прибегает к придаточным предложениям. В «Хожении» придаточные предложения встречаются (вводимые союзами *яко*, местоимением *иже* и т. д.) в религиозно-лирических отступлениях гораздо чаще, чем в отрезках спокойного изложения. Исключительно в религиозно-лирических отступлениях встречаются также неупотребительные в разговорном языке XV века деепричастия прошед. времени («въскликну Махмета», 334, 7[14]; «и разговѣвся съ ними», 343, 9[28]). Неупотребительный в разговорном языке аорист (*рекохъ, рече* и т. д.) в отрезках спокойного изложения встречается редко (исключение в этом отношении составляет только самый последний отрезок «Хожения»), а в религиозно-лирических отступлениях — гораздо чаще.

[4] «А язъ пошелъ къ Дербенти, а из Дербенти къ Бакѣ, *гдѣ огнь горить неугасимы,* а изъ Бакі пошелъ есми за море к Чобокару (332, 15—17[11])... А оттуды к Димованту, а из Димованту ко Рею. *А ту убили Шаусеня* [*шаха Хусейна*] *Алеевыхъ детей и внучатъ Махметевыхъ, и онъ ихъ проклялъ, ино 70 городовъ ся развалило.* А изъ Дрѣя к Кашени (332, 19—21[11])..., а из Сырчана къ Тарому, *а фуники кормять животину батманъ по 4 алтыны.* А изъ Тарома къ Лару» (332, 22—23 [11]).

[5] «Султанъ же пришелъ до Меликътучара съ ратию своею 15 денъ по улубагрямѣ, а все Кельбергу; и война ся имъ не удала, одинъ городъ взяли индѣйской, а людей много изгыбло, а казны много истеряли» (343, 10—12[29]) и т. д.

[6] «А въ Курули же родится ахикъ (сердолик), а ту его дѣлають и на весь свѣтъ отъкудыва его развозять... оттуды же пондохъ Калики, а ту же бозаръ велми великъ... а отъ Сури поидохъ к Дабили, пристанище великаго моря Индѣйскаго. Дабыль же есть градъ велми великъ, а к тому жь Дабили съежщается вся поморья Индѣйскаа і Ефиопьскаа» [29—30].

[7] Кроме этой общности композиционной функции между переходными отрезками до и после середины «Хожения» есть и ассоциативная связь. В отрезке, связующем начало «Хожения» с серединой по поводу при-

бытия в Чюнейрь говорится, что тамошний правитель Асад-хан есть «холопъ меликътучяровъ..., а Меликътучаръ сѣдитъ на 20 тмахъ; а бьется с кафары (т. е. с язычниками-туземцами) 20 лѣтъ есть, то его побиють, то онъ побиваеть ихъ многажды» (333, 10—11 [12—13]): это замечание предвосхищает содержание переходных отрезков, связующих середину с концом.

[8] Вот все эти случаи:

А) На месте спайки 2-го отрезка с 3-м: «А се — оло, оло, абрь оло акъ, оло керимъ, оло рагымъ! А въ томъ Чюнерѣ хань у меня взялъ жерепца, а увѣдалъ, что язъ не бесерменинъ, русинъ, и онъ молвитъ: «И жерепца дамъ да тысячю золотыхъ дамъ, а стань въ вѣру нашу въ Махмѣтъ дени; а не станешь въ вѣру нашу в Махметъ дени, и жерепца возму, и тысячю золотыхъ на главѣ твоей возму». А срокъ учинилъ на 4 дни, въ говѣйно успенiи на Спасов день. И господь богъ смиловася на свой честный праздникъ, не отстави отъ меня милости своея грешнаго и не по велѣ погыбнути въ Чюнерѣ съ нечестивыми; и канунъ Спасова дни приѣхалъ хозяйочи Махметъ хоросанець, билъ есми челомъ ему, чтобы ся о мнѣ печаловалъ; и онъ ѣздил к хану в городъ, да мене отпросилъ, чтобы мя в вѣру не поставили, да и жерепца моего у него взялъ. Таково господарево чюдо на Спасовъ день! Ино, братья русьстiи християне, кто хочетъ поити въ Ындѣйскую землю, и ты остави вѣру свою на Руси, да въскликну Махмета да пойди въ Гундустаньскую землю. Мене залгали псы бесермена, а сказывали всего много нашего товару ано нѣтъ ничего на нашу землю; все товаръ бѣло[й] на Бесермьньскую землю, перець да краска, то дешево...» [14] и т. д....

Б) На месте спайки 4-го отрезка с 5-м: «От Первати же приехалъ есми в Бедерь за 15 дний до бесерменьскаго улубагря. А Великого дни, въскресения Христова не вѣдаю, а по примѣтам гадаю, Великий день бываетъ хрестьяньскый первие бесерьменьскаго багрима за 9-ть день, или за 10 дни. А со мною нѣтъ ничево, никакоя книгы, а книгы есмя взяли съ собою съ Руси; ино коли мя пограбили, или ихъ взяли и язъ позабылъ вѣры хрестьяньскыя всея и праздников хрестiаньскыхъ, ни Велика дни, ни Рождества Христова не вѣдаю, ни среды, ни пятници не знаю; а промежу есми вѣръ тангрыдань истремень олъсакласынъ; олло худо, олло акъ, олло ты, олло акъберъ, олло рагымъ, олло керимъ, олло рагымелъло, олло каримелло, танъ танъгрысень, худосеньсень*. Богъ единъ то царь славы, творецъ небу и земли. А иду я на Русь, кетьмышьтыръ имень, уручь туть тым. Месяць март прошелъ, и азъ месяць мяса есмь не ялъ, заговѣлъ с

---

* «Аллах акбар, аллах хакк, аллах керим, аллах рахим» (ар.) = «бог величайший, бог-истина, бог благий, бог милосердный»— обычные эпитеты бога у мусульман. «Тангры» в тюрских языках — «бог»; «худо», точнее «худа» *(перс)*. = «бог». — *Прим. ред.*

бессермены в недѣлю, да говѣль есми ничево скоромнаго; никакыя ястъвы бесерменьскыя, а ялъ есми все подвожды днемъ хльбъ да воду, вратыйялъ ять мадымъ [с женщиной связи не имел]; да молился есми богу вседержителю, кто сътворилъ небо и землю, а иного есми не призывалъ никоторово имени, богъ олло, бог керимъ, бог рагымъ, богъ худо, богъ акъ беръ, богъ царь славы, олло варенно, олло рагымелло сеньсень олло ты... А от Гурмыза ити моремъ до Голатъ 10 дни, а отъ Калаты до Дѣгу...» [19—20] и т. д.

В) На месте спайки 5-го отрезка с 6-м: «Месяца маа Великій день взялъ есми в Бедере бесерменьскомъ и в Гондустани; а в бесермене бограмъ взяли въ среду месяца маа; а заговѣлъ есми месяца априля 1 день. О благовѣрныи христіяне! Иже кто по многымъ землямъ много плаваетъ, въ многыя грѣхы впадаеть и вѣры ся да лишаеть христианскые. Азъ же рабище божие Афонасие и сжалился по вѣрѣ; уже проидоша четыре великыя говѣйна и 4 проидоша Великыя дни, азъ же грѣшный не вѣдаю, что есть Великый день, или говѣйно, ни Рождества Христова нѣ вѣдаю, ни иныхъ праздниковъ не вѣдаю, ни среды ни пятници не вѣдаю; а книг у меня нѣтъ, коли мя пограбили, ини книгы взяли у ме[не], азъ же отъ многыя беды поидохъ до Индѣи, занже ми на Русь пойти нѣ с чѣмъ, не осталося товару ничего. Пръвый же Великъ день взялъ есми в Каинѣ, другой Великъ день въ Чебукару въ Маздраньской земли, третий Великый день в Гурмызѣ, четвертый Великый день в Индѣи съ бесермены въ Бедери; и ту же много плакахъ по вѣрѣ по хрестьяньской. Бесерменинъ же Меликъ тотъ мя много понуди... (см. ниже прим. 29). Азъ же въ многыя помышления впадохъ и рекохъ себѣ: «Горе мнѣ окаанному, яко отъ пути истиннаго заблудихся и пути не знаю, уже самъ пойду. Господи боже вседержителю, творець небу и земли! Не отврати лица отъ рабища твоего, яко скорбь близъ есмь. Господи! Призри на мя и помилуй мя, яко твое есмь создание; не отврати мя, господи, от пути истиннаго и настави, мя, господи, на путь твой правый, яко никоея же добродѣтели в нужи той сотворихъ тебѣ, господи мой, яко дни своя преплыхъ все во злѣ, господи мой, олло перводигерь, олло ты, каримъ олло, рагымъ олло, каримъ олло, рагымелло; ахалимъ дулимо». Уже проидоша 4 Великыя дни в Бесерменьской земли, а христианства не оставихъ; далѣ богъ ведаеть, что будеть. Господи боже, есми на тя уповахъ, спаси мя господи боже мой» [23—24].

Г) На месте спайки 6-го отрезка с 7-м: «...В Гурзыньской земли добро обильно всѣмъ; да Турьскаа земля обидна вельми; да в Волоской земли обилно и дешево все съѣстное; да Подольскаа земля обилна всѣмъ; а урусь ерье таньгры сакласынъ; олло сакла, худо сакла, будоньяда мунукыбить ерь ектуръ; нечик урус ери бегъляри акай тусилъ; урусь ерь абаданъ больсынъ; расте камъ деретъ. Олло, худо, богъ, богъ данъгры. Господи боже мой! На тя уповахъ. Спаси мя господи! Пути [не] знаю, иже камо пойду изъ Гундустана: на Гурмызъ поити, а отъ Гурмыза на Хоросанъ пути нѣт... (см.

ниже прим. 16). А на Мякъку поити, ино стати в вѣру бесерменьскую, зань же христіане не ходятъ на Мякъку вѣры дѣля, что ставять в вѣру. А жити в Гундустанѣ ино вся собина исхарчити, зань же у нихъ все дорого: один есми человѣкъ, ино и язъ по полутретія алтына на день харчю идеть, а вина есми не півалъ, ни сыты...» [25—26] и т. д.

[9] Вот это место: «Приидохъ же в Бедерь о заговѣйне о Филиповѣ ис Кулонгѣря, и продахъ жеребца своего о Рожествѣ, и тутъ быхъ до великого заговейа в Бедери и познася со многыми индѣяны и сказахъ имъ вѣру свою, что есми не бесерменинъ исаяденіені есть християнинъ, а имя ми Офонасей, а бесерменьское имя хозя Исуфь Хоросани. И они же не учали ся отъ меня крыти ни о чемъ, ни о ѣствѣ, ни о торговле, ни о маназу [молитве], ни о иных вещехъ, ни жонъ своихъ не учали крыти. Да о вѣрѣ же о ихъ распытахъ все, і оны сказывають: вѣруем...» [17] и т. д. Знакомый уже читателю (по концу 2-го отрезка, см. выше прим. 8А) жеребец Афанасия Никитина упоминается здесь, очевидно, только для того, чтобы вызвать по ассоциации воспоминание о эпизоде с чюнерским ханом и о всем примыкающем к этому эпизоду религиозно-лирическом отступлении (см. выше прим. 7). Такую же ассоциацию порождает фраза «и сказахъ имъ вѣру свою, что есми не бесерменинъ», напоминающая фразу «а увѣдалъ (чюнерский хан), что язъ не бесерменинъ».

[10] Именно:

А) На месте спайки 7-го отрезка с 8-м: «Такова сила султана индѣйскаго бесерменьскаго Маметь дени іаріа, а растъ дени худо доносить; а правую вѣру богъ вѣдаеть, а праваа вѣра бога единаго знати, имя его призывати на всякомъ мѣстѣ чистѣ чисту. Въ пятый же Великый день възмыслилъ ся на Русь. Изыдохъ же из Бедеря града за месяць до улубаграма бесерменьского. Маметь дени росолялъ, а Велика дни христьаньскаго не вѣдаю, Христова въскресенія, а говѣйно же ихъ говѣхъ съ бесермены и, разговѣвся съ ними, Великый день взяхъ в Келберху, отъ Бедеря 20 кововъ. Султанъ-же пришелъ до Меликътучара...» [28—29] и т. д...

Б) На месте спайки 8-го отрезка с 9-м: «...Х тому жъ Дабили съежщается вся приморья Индѣйскаа і Ефиопьскаа. И ту аканный и язъ, рабище Афанасіе бога вышняго, творца небу и земли възмыслихся по вѣрѣ по христіаньской, и по крещение Христовѣ, и по говѣйнѣхъ святыхъ отець устроеныхъ, и по заповедехъ апостольскихъ, и устремихся умомъ поити на Русь; внидохъ же въ таву (т. е. в корабль) и съговорихъ о налонѣ кораблемъ...» [30] и т. д.

[11] Вот это место: «...И оттуды ити моремъ до Гурмыза 4 мили. А Гурмызъ есть на островѣ, а ежедень поимаеть его море по двожды на день. *И тутъ есми езяль 1-й Великъ день, а пришелъ есми в Гурмызъ за четыре недѣли до Велика дни...* А въ Гурмызѣ есть варное солнце, человѣка съжжеть» (332, 25—28[12]).

[12] «За молитву святыхъ отець нашихъ, господи Ісусе Христе, сыне божій, помилуй мя раба своего грѣшнаго Афонасья Микитина сына»[9].

[13] «Милостию же божиею преидохъ же три моря; дигырь худо доно, олло перводигирь доно [остальное богъ ведает, господь покровитель ведает]. Аминь» [31].

[14] Это — обычная мусульманская молитва, так наз. асма-уллаh; только в начале ее рядом с призыванием аллаха Афанасий Никитин вставил призывание Христа и святого духа («іса рухолло ааліксоломъ» [«Иисус и дух божий, мир тебе!»]) [31].

[15] Напр.: «...И в Гурмызѣ быхъ 20 дни. И зъ Гурмыза поидохъ къ Лари, и быхъ 3 дни. Изъ Лари поидохъ къ Ширязи 12 дни, а въ Ширязи быхъ 7 дни. А изъ Ширяза поидохъ Верху 15, а въ Вергу быхъ 10 дни. А изъ Вергу поидохъ къ Езъди 9 дни, а въ Езди быхъ 8 дни. А из Езди поидохъ къ Спагани 5 дни, а въ Спагани 6 дни. А ис [С]пагани поидохъ Кашани, а в Кашани быхъ 5 дни. А ис Кошани поидохъ к Куму. А ис Кума поидохъ в Саву. А ис Савы поидохъ въ Султанию. А ис[С]ултаніи поидохъ до Терьвиза. А ис Тервиза поидохъ въ [о]рду Асанбѣ[г]...» (334, 9—16[30]). Ср. еще 332, 16—21, 30—33, 333, 6—8; 344, 16—17, 343, 27—30 [11, 12, 14, 20, 22, 29].

[16] Напр.: «...Севасть взяли, а Тоханъ взяли да и пожъгли, Амасию взяли, и много пограбили селъ, да пошли на Караманъ воюючи» (334, 17—18[31]); «и привозять кони изъ Мисюря, изъ Арабъстани, изъ Хоросани, исъ Туркустани, изъ Негостани» (338, 15—16[21]); «...на Гурмызъ поити, а отъ Гурмыза на Хоросанъ пути нѣт, ни на Чеготай пути пѣтъ, ни на Катобагряимъ пути нѣту, ни на Ездъ пути нѣту. То вездѣ булгакъ сталъ» (341, 15—17[26]); «В Гундустан'ѣ же силнаго вара нѣтъ; силно варъ в Гурмызѣ да в Катобагряимѣ, гдѣ ся жемчюгъ родить, да въ Жидѣ, да въ Бакѣ, да въ Мисюрѣ да въ О[роб]стани, да вЛар'ѣ; а въ Хоросань-ской земли варно, да не таково; а въ Чеготани велми варно; а в Ширязѣ, да в Езди, в Кашини варно да вѣтр бываетъ; а в Гиляни душьно велми да парищо лихо, да въ Щамахѣи паръ лихъ; да в Вавилони варно, да Хумитѣ да в Шамѣ варно, а в Ляпѣ не такъ варно» (341, 3—9[25]); «Перъвый же Великъ день в взялъ есми в Каинѣ» (см. выше прим. 8 В); ср. еще 338, 3—9; 339, 6—2 [20—21, 22].

[17] Иногда приводятся параллельно оба имени: «...И тутъ есть море Индейкое, а парьсейскымъ языкомъ и Гондустаньскаа дорія» (332, 24—25[11]), «до третьаго моря, до Чермнаго, а парьсьискымъ языком дория Стимъбольскаа» (344, 24— 25[31]).

[18] Напр.: «Князей вездѣ выбыли, Яищу мурзу убилъ Узуосанбекъ, а Солтамусаитя окормили, а Узуасанъбекъ на Ширязи сѣлъ и земля ся не обрѣнила, а Едигерь Махметъ, а тотъ къ нему не ѣтѣт, блюдется» (341, 17—19[26]); «Мызамылкъ, да Мекханъ, да Фаратханъ, а тѣе, взяли 3 городы великыи» (342, 1—2[27]); «А из Малханомъ вышло двора его 20

тысячь коныхъ людей, а пѣшихъ шестьдесять тысячь, да 20 слонов наряженыхъ. А зъ Бедерьханомъ вышло 30 тысячь конныхъ людей... А съ султаномъ вышло... А з Возырханомъ вышло... А с Кутарханомъ вышло...» (342, 24—30[28]).

19 «А привозять все моремъ въ *тавахъ*, Индѣйскыя земли корабли» (333, 14[13]); «Вино же у нихъ чинятъ в великыхъ орѣсехъ *кози* гундустаньскаа» (333, 18—19[13]); «...*кофары*, ни крестіяне, ни бесерьмена; а молятся каменнымъ болваномъ, а Христа не знають» (334, 12—13[14]); «а тѣ волы *ачьче* зовутъ» (337, 13[19]); «за десять *кововъ*, в въ *ковъ* по 10 верстъ» (341, 29[26]).

20 Напр., выезд бедерского султана упоминается три раза, причем в одном месте говорится, что он выезжает «на теферичь» (*араб.* тафридж «развлечение, удовольствие, радость» [или — тафаррудж «прогулка, осмотр, объезд»]) [24], в двух других (335, 20[16] и 342, 5—6[27[), что он выезжает «на потѣху». О неприступном городе на горе Биченѣгирѣ [Виджаянагар] говорится, что с одной стороны его стоит *женьгьль* злый» (джунгли), а двумя строками ниже (343, 17(29]) говорится, что там стоит «деберь златикен» (*тикень — тур.* дикан «колючка») [«злая дебрь»].

21 Так можно догадаться, что во фразах «орють да сѣють пшеницу, да *тутурганъ*, да *ногутъ*» (333,18[13]), «кони кормять *нохотомъ*... порану же дають *шьшени*» (333, 12(13]) речь идет о кормовых злаках, в фразах «емлють по двѣ *шекшени* пошлини... а с коней по четыре *футы*» (336, 17—18[18]) — о каких-то денежных единицах, в фразе «(родится) перецъ, — да *зеньзебиль*, да цвѣть, да *мошкатъ*, да *калафуръ*, да корица, да гвозникы, да пряное коренье, да *ядрякъ*» (338, 19—20 [21]) — о каких то пряностях, в фразе «за ними... трубников 10, да *нагарниковъ* 10 человѣкъ, да свирѣлниковъ 10 человѣкъ» [16] — о каких-то музыкантах (*инд.* наггара «барабан»), в фразе «а туть ся родить краска да *лекъ*» (332, 32[12]) — о каком-то красящем веществе (*перс.* лак «лак»), а фразе «а ядятъ — *кичири* с масломъ» (336, 29[18]) — о чем-то съестном и т. д.

22 Напр.: «А въ немъ баба Адамъ на горѣ на высоцѣ» (338, 22[21]); «да девякуши продають в вѣсъ» (338, 24 [21]); (*тюрк.* дäвäкуш — «страус»); «да все въ немъ дербыши живуть индѣйскыя» (338, 29[21]); «да обезьянъ на нимъ 100, да блядей 100, а все гаурыкы» (335, 21[16]) и т. д., и т. д.

23 Напр. *гарибъ — араб.* уариб «странник, иноземец», *татен* (предложный пад. «въ татну») в фразе «а брагу чинятъ въ танту»[13] — *тюрк.* täкäнжбаи «корыто» и т. д.

24 Эта установка сказывается и в склонности Афанасия Никитина к малоупотребительным и «новым» русским словам. В его «Хожении» очень много таких слов, которых либо нет ни в одном другом памят-

нике, либо нет в памятниках современных Афанасию Никитину или более ранних: напр. *фуртовина* «шторм, буря на море», *болкатый* «смуглый, черномазый», *вьдъ* «колдовство, волшебство», *булгакъ* «смута, мятеж, военное время», *волосыны* «созвездие Плеяд», *налохъ* «плата за путешествие на корабле», *фота* «фата», *вшеретный* «по договору» и т. д.

25 Напр. «А ночи жоны ихъ ходять къ *гарипомъ* да спять съ *гарипы*, дають имь *олафу*» (339, 1—2), «ино ему нѣтъ ничево, что пилъ да ѣлъ, то ему *халялъ*» (339, 5—6) и т. д. ...

26 Трудно точно локализировать то тюркское наречие, на котором составлены татарские фразы Афанасия Никитина. Рядом с формами северотюркскими (напр. *болсын* «да будет», *болмыш* «был»), встречается и южнотюркская форма дат. пад. на *-а (булара* «им»). В рукописях «Хожения» арабские, персидские и тюркские фразы транскрибированы русскими буквами. Транскрипция эта не всегда последовательна: так, напр., гласная *д* передается то через *я*, то через *е*, гласная *ф* — то через о, то через *е*; персидск. *и*, арабск. *а* передаются то через *а*, то через о (иногда тем же о передается и персидское *д*) и т. д. Кроме того, в рукописях имеется и много описок, так что иногда расшифровать арабскую, персидскую или тюркскую фразу довольно трудно. В дальнейшем мы при передаче этих фраз не будем строго придерживаться правописания рукописей.

27 «...Татаровѣ намъ кликалі: *качьма!* не бѣгайте» (331, 18[10]); «И ту люди вси въскличаша *олло перводигерь, олло конъкарь, бизимъ баши мудна носипъ болмышьти*, а по-рускы языкомъ молвятъ: "боже осподарю, боже, боже вышний, царю небесный, зде намъ судилъ еси погыбнути"» (344, 4—6[30]).

28 См. выше прим. 7, где приведены все эти развитые религиозно-лирические отступления. Встречающиеся в них «восточные» слова немногочисленны и представляют из себя имена бога и разные эпитеты бога: *араб.* Аллäh («Олло»), *перс.* Худа («Худо»), *тюрк.* Тангры («Богъ»); *араб.* акбдр «велик», карим «милостив», раһым «милосердный», һак («акъ») «истинный» алһамду — лиллаһ «слава богу»: *перс.* пärвäрдигäр («перводигерь») «промыслитель»; *тюрк.* сän («сень») «ты». Молитвенные восклицания представляют из себя различные комбинации всех этих слов, причем иногда в комбинациях участвует и русское слово *бог* («*бог* керимъ, ...богъ акъ беръ» [20] и т. д.).

29 Этот переворот символической роли русского и восточных языков особенно ярко выступает в диалоге между Афанасием Никитиным и мусульманином Медиком, В этом диалоге слова Мелика приводятся *по-русски*, а слова Афанасия Никитина — *по-татарски*, без русского перевода: «Бесерменинъ же Меликъ тотъ мя много понуди в вѣру бесерменьскую стачи. Азъ же ему рекохъ: «Господине! Ты намаръ кылар-

сенъ менда намазъ киларьменъ, ты бешь намазъ киларьсизъменда 3 каларемень мень гарипъ асень иньчаи» (т. е. «ты молишься, и я молюсь; ты пять раз молишься, а я 3 раза; я — чужеземец, а ты — здешний»); онъ же ми рече: "Истину ты не бесерменинъ кажешися, а хрестьаньства не знаешь"» (340, 5—9 [23— 24]); диалог этот вставлен в религиозно-лирическое отступление (см. выше прим. 8 В).

30 Эта молитва находится в начале религиозно-лирического отступления между 6-м и 7-м отрезками (341, 11—14). Татарский текст ее («Урусь ерье таньгры сакласынъ» и т. д. см. выше, прим. 8 Г). Вот ее перевод: «Русскую землю бог да сохранит! Боже сохрани! Боже сохрани! На этом свете нет страны, подобной ей! Некоторые вельможи Русской земли несправедливы и недобры. Но да устроится Русская земля!.. Боже! Боже! Боже! Боже! Боже!» (из этих пяти призываний имени божьего первое — по-арабски, второе — по-персидски, третье и четвертое — по-русски, пятое — по-татарски).

31 Именно в религиозно-лирическом отступлении между 4-м и 5-м отрезками (см. прим. 8 Б): «Тангрыдань истремень олъсакласынъ», т. е. «я молил бога, чтобы он сохранил меня»; далее «А иду я на Русь, кетьмышьтыръ имень, уручь тутъ тым», т. е. «пропала (моя) вера: я собладал мусульманский пост» [20].

32 «Во Индѣйской земли гости ся ставять по подворьемь, а ѣсти варять на гости господарыни, и постелю стелють, и спять с гостьми, сикишь илересънь ду житель берсень, достурь авратъ чектурь а сикишъ муфутъ (т. е. «хочешь... давай два шетеля, т. е. две мелкие монеты, не хочешь, давай один шетель, таково правило; баб много, а... даром») любять бѣлых людей» (333, 24—27[13]); «Да все въ немъ (в Келекоте) дешево, да куль да каравашь письярь хубь сія», т. е. «невольницы очень хороши черные» [21].

33 «Въ Индѣе же какъ пачекътуръ, а учюзе-дерь: сикишь иларсень ики шитель; акечаны иля атырьсеньатле жетель берь; булара досторъ: а кулъ каравашь учюзъ чар фуна хубъ бемъ фуна хубесия; капкара амь чюкъ кичи хошь» (т. е. «проституток много, и они дешевы: хочешь... — 2 шетеля, хочешь сорить деньгами — 6 шетелей, таково их правило; а невольницы дешевы: за 4 фуна — хорошая, за 5 фунов — хорошая черная; а черненькая маленькая очень приятно») (337, 16—18[19]).

34 «Вратыйялъ ятъ мадымъ», т. е. «с женщиной не ложился» [20] (см. выше, прим. 8 Б).

35 «А иныя Буты нагы, нѣт ничего, котъ ачюкъ» (т. е. «задница голая») (336, 22[18]); заметим, что в других местах Афанасий Никитин называет части тела своими (русскими) именами без смущения.

36 «Маметь дени іарія, а растъ дени худо доносить» (343,4—5 [28]).

37 «Восточных» фраз, не связанных с этими комплексами, очень немного. Это — технические выражения, напр.: «в Курыли же алмазъниковъ три-

ста, *суляхъ микунѣть* (букв. «делают оружие», т. е. украшают оружие)» (343, 26[29]); «а иных (обезьян) учатъ *базы миканетъ* (букв. «делает игру», т. е. играть, показывать фокусы) (335, 9[16]); «новаго же почка алмазу *пѣнечь чекени, сія же чаршешкени*, а *сипитъ екъ тенка*» (339, 14[22]) (т. е. «...5 кени, черного же — 4—6 кени, а белого — 1 тенка»). Несовсем понятно, почему при описании священного города Парвата число паломников указывается по-персидски: «а съѣждается... всѣхъ людей *бистъ азаръ лекъ вахтъ башетъ сатъ азаре лекъ*» [18] (т. е. «20 000 лек, а по временам бывает 100 000 лек»). Вероятно, эти колоссальные цифры (в одном «леке» считается 100 000!), сообщенные браманами, показались Афанасию Никитину настолько невероятными, что он не решился сообщить их по-русски. В двух местах текст рукописи настолько искажен, что угадать смысл короткого восточного выражения невозможно «...А моремъ четыре дни ити, *аросто хода чотом* (?)» (338, 10[20]) и «а моремъ месяца аукиковъ» (339, 23[23]).

38 В паломничествах более древних этот прием еще неизвестен. Старые новгородские паломничества (Арсения, ок. 1200 и Стефана, ок. 1350) особенно поражают полным отсутствием повествования о путешествии. В соединении с почти полным затушевыванием всякого автобиографического элемента, это превращает эти паломничества почти в каталоги или путеводители по святыням, т. е. ослабляет их литературную действенность.

Оригинальный опыт оживления паломничеств этого типа был предпринят неизвестным (по-видимому, тоже новгородским) автором «Бес ды о святыняхъ Царяграда» (XIV в.). Здесь паломничество вставлено в рамку вымышленного рассказа о том, как какой-то царь при каких-то обстоятельствах (нам, к сожалению, неизвестных, ибо начало рукописи утрачено) встретился с «Венединским» епископом и, наслушавшись его рассказов о святынях Царьграда, отказался от своего царского достоинства и простым паломником отправился в Царьград. Описание святынь Царьграда таким образом имеет форму диалога, причем епископ рассказывает систематично, а царь только изредка подает ему малосодержательные реплики, композиционный смысл которых состоит в том, чтобы расчленить систематическое описание Царьграда на главы. Благодаря этому, паломничество, в данном случае, и без повествования о реальном путешествии перестает быть простым каталогом и приобретает «литературность». Однако, этот искусственный прием не привился.

39 Несмотря на то, что перечисления географических названий играют у Афанасия Никитина совершенно другую роль, перечисления эти самой формой своей явно свидетельствуют о влиянии паломнической литературы. В «маршрутных» перечислениях географических названий Афанасий Никитин весьма часто употребляет формы аориста (*поидохъ быхъ*, ср. напр. приведенную выше цитату, прим. 15);

принимая во внимание, что в отрезках спокойного изложения тот же Афанасий Никитин предпочитает аористу обычный в разговорном языке «перфект» *(пошелъ есми, былъ есми)*, приходим к заключению, что аорист в «маршрутных перечислениях» обусловлен влиянием традиции паломнической литературы, церковнославянской по языку.

[40] Знакомство Афанасия Никитина с паломнической литературой с полной очевидностью явствует из упоминания в его «Хожении» статуи императора Юстиниана (336. 21 [18]). Так как Афанасий Никитин сам в Константинополе не был, то об этой статуе он мог знать только из древнерусских паломничеств, во многих из которых оно, действительно, описывается.

[41] Слово *бут* по-персидски значит «идол». В данном случае речь идет, по-видимому, о божестве вишнуитского культа, о Вишну или о Кришне.

[42] Напр.: «А перет Бутом же стоить волъ велми великъ, а вырезанъ ис камени ис чернаго, а весь позолоченъ, а цѣлуютъ его въ копыто, а сыплутъ на него цвѣты, и на Бута сыплютъ цвѣты» (336, 32—25[18]); «Индѣяне же вола зовуть отцомъ, а корову матерью, а каломъ ихъ пекутъ хлѣбы и ѣству варять собѣ, а попеломь тѣмъ мажуться по лицу по челу, и по всему тѣлу ихъ знамя» (337, 13—15[19]),

1926

Роман Якобсон

Поэзия грамматики и грамматика поэзии

И глагольных окончаний колокол
Мне вдали указывает путь.

О. Мандельштам

I. ГРАММАТИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ

На склоне тридцатых годов редакторская работа над сочинениями Пушкина в чешском переводе наглядно показала мне, как стихи, думалось бы, тесно приближающиеся к тексту русского подлинника, к его образам и звуковому ладу, зачастую производят сокрушающее впечатление глубокого разрыва с оригиналом в силу неумения или же невозможности воспроизвести грамматический строй переводимого стихотворения. Становилось все ясней: в поэзии Пушкина путеводная значимость морфологической и синтаксической ткани сплетается и соперничает с художественной ролью словесных тропов, нередко овладевая стихами и превращаясь в главного, даже единственного носителя их сокровенной символики. Соответственно в послесловии к чешскому тому пушкинской лирики нами было отмечено, что «с обостренным вниманием к значению связана яркая актуализация грамматических противопоставлений, особенно четко сказавшаяся в пушкинских глагольных и местоименных формах. Контрасты, сходства и смежности различных времен и чисел, глагольных видов и залогов приобретают впрямь руководящую роль в композиции отдельных стихотворений; выдвинутые путем взаимного противопоставления

грамматические категории действуют подобно поэтическим образам; в частности, искусное чередование грамматических лиц становится средством напряженного драматизма. Едва ли возможно сыскать пример более изощренного поэтического использования флективных средств» [I, с. 263].

В частности, опыт семинария по «Медному всаднику» и его инославянским переводам позволил нам охарактеризовать последовательное противопоставление несовершенного вида — совершенному в «Петербургской повести», как выразительную грамматическую проекцию трагического конфликта между беспредельной мощью, навеки данной «державцу полумира», и роковой ограниченностью всех деяний безличного Евгения, дерзнувшего заклинательным «Ужо тебе!» объявить предел чудотворному строителю [2, с. 20; 3, с. 15—18]. Вопросы соотношения между грамматикой и поэзией настоятельно требуют систематического освещения.

Сопоставляя такие примеры, как *мать обижает дочь* и *кошка ловит мышь*, мы, согласно Эдуарду Сепиру, «инстинктивно, без малейшего поползновения к сознательному анализу, чувствуем, что оба предложения в точности следуют одинаковой модели: в действительности перед нами одно и то же основное предложение с различием в одной лишь материальной утвари. Иначе говоря, тожественные реляционные понятия выражены в обоих случаях тожественным образом» [4, гл. V]. Обратно, мы можем изменить предложение или его отдельные слова «в чисто реляционном, нематериальном плане», не задевая «материальных аксессуаров». Изменениям могут быть подвергнуты синтаксические отношения (ср. *мать обижает дочь* и *дочь обижает мать)* или же одни только морфологические отношения *(мать обидела дочерей* с модификацией времени и вида в глаголе и числа во втором имени).

Несмотря на существование пограничных, переходных образований, язык отчетливо различает материальные и реляционные понятия, находящие себе выражение одни в лексикальном, а другие в грамматическом плане речи. Научное языкознание переводит действительно наличные в речи грамматические понятия на свой технический «метаязык», не навязывая наблюдаемой языковой системе произвольных или иноязычных категорий.

Нередко разница грамматических значений не находит себе соответствия в реальных явлениях, о которых трактует речь. Если один говорит, что *мать обидела дочь*, а другой одновременно утверждает, что *дочь была обижена матерью*, нельзя обвинить обоих свидетелей в разноречивых показаниях, несмотря на противоположность грамматических значений, связанную с залоговым и падежным различием. Одну и ту же фактическую подоплеку отображают предложения: *ложь* (или *лганье) — грех, ложь греховна, лганье греховно, лгать грех* (или *грешно), лгать — грешить* (или

солгать — согрешить), лжецы (или *лживые* или *лгущие*) — *грешники* (или *грешны* или *грешат*), *лжец* (и т. д.) — *грешник* (и т. д.).

Различна только форма подачи. Суждение, тожественное по сути дела, может оперировать названиями либо действующих лиц во множественном или обобщенном единственном числе (*лжецы, грешники* или *лжец, грешник*), либо самих действий (*лгать, грешить*), и действия могут быть изображены как бы независимыми, отвлеченными (*лганье, прегрешенье*), даже овеществленными (*ложь, грех*); наконец, они могут выступать в роли свойств, приписываемых субъекту (*грешен* и т. п.). Части речи, наряду с другими грамматическими категориями, отражают, согласно Сепиру, прежде всего нашу способность укладывать действительность в разновидные формальные образцы.

Бентам впервые вскрыл многообразие «языковых фикций», лежащих в основе грамматического строя и находящих себе в языке широкое и обязательное применение. Эти фикции не следует приписывать ни окружающей действительности, ни творческому воображению лингвистов, и Бентам прав в своем утверждении, что «именно языку, и только языку они обязаны своим невероятным и в то же время неизбежным существованием» [5, с. 15].

Необходимая, принудительная роль, принадлежащая в речи грамматическим значениям и служащая их характерной отличительной чертой, была обстоятельно показана языковедами, особенно Боасом [6, с. 139—145], Сепиром (гл. V) и Уорфом [7]. Если дискуссия о познавательной роли и ценности грамматических значений и о степени отпора научной мысли против давления грамматических шаблонов все еще остается открытой, одно несомненно: из всех областей речевой деятельности именно поэтическое творчество наделяет «языковые фикции» наибольшей значимостью.

Когда в заключении поэмы «Хорошо!» Маяковский пишет — *и жизнь | хороша, || и жить | хорошо ||*, то едва ли следует искать какое-либо познавательное различие между обоими сочиненными предложениями, однако в поэтической мифологии языковая функция субстантивированной и тем самым опредмеченной деятельности вырастает в образ процесса самого по себе, жизни как таковой, деятельности, метонимически обособленной от деятелей, «абстрактное взамен конкретного», как в тринадцатом веке определил такую разновидность метонимии англичанин Гальфред в замечательном латинском трактате о поэзии [8]. В отличие от первого предложения с его именем существительным и согласованным именем прилагательным женского рода, легко поддающегося персонификации, второе из двух сочиненных предложений с инфинитивом несовершенного вида и сказуемостной формой безличного, среднего рода дает протекающий процесс без всяких намеков на ограничение или овеществление и с на-

вязчивой возможностью предположить или подставить «дательный деятеля».

Повторная «грамматическая фигура», которую, наряду с «звуковой фигурой», Джеральд Гопкинс, гениальный новатор не только в поэзии, но и в поэтике, рассматривал как основоположный принцип стиха [9, с. 84—85, 105—109, 267], особенно наглядно проявляется в тех стихотворных формах, где грамматический параллелизм, объединяющий смежные строки в двустишия, а факультативно в группы большего охвата, близок к метрической константе. Вышеприведенное сепировское определение всецело применимо к таким параллельным рядам: «в действительности перед нами одно и то же основное предложение с различием в одной лишь материальной утвари».

Среди монографий, посвященных литературным примерам регулярного параллелизма, например, вопросу парных словосочетаний в древнеиндийской поэзии [10], в китайском [11] и в библейском стихе [12], ближе всего подошли к лингвистической проблематике параллелизма труды Штейница [13; ср. 212, с. 10] и Аустерлица [14] по финно-угорскому фольклору, а также новейшая работа Поппе о параллелизме в монгольской устной поэзии [15, с. 195—228], тесно связанная с подходом Вольфганга Штейница. Книга последнего, полная новых наблюдений и выводов, поставила наблюдателям ряд новых принципиальных вопросов. Подвергая анализу те фольклорные системы, которые с большей или меньшей последовательностью пользуются параллелизмом как основным средством вязки стихов, мы узнаем, какие грамматические классы и категории способны друг другу соответствовать в параллельных строках и, следовательно, расцениваются данным языковым коллективом как близкие или эквивалентные. Изучение поэтических вольностей в технике параллелизма, подобно разбору правил приблизительной рифмовки, дает объективные показания о структурных особенностях данного языка (ср., напр., замечания Штейница о нередких сопоставлениях аллатива с иллативом и претерита с презенсом в парных карельских строках и, обратно, о несопоставимых падежах и глагольных категориях). Взаимоотношение синтаксических, морфологических и лексических соответствий и расхождений, различные виды семантических сходств и смежностей, синонимических и антонимических построений, наконец, типы и функции «холостых строк» — все эти явления требуют систематического обследования.

Многообразно семантическое обоснование параллелизма и его роль в композиции художественного целого. Простейший пример: в бесконечных путевых и рыболовных песнях кольских лопарей два смежных лица совершают одинаковые действия и служат как бы стержнем для автоматического, бессюжетного нанизывания таких самодовлеющих парных формул:

Я Катерина Васильевна, ты Катерина Семеновна;
У меня кошелек с деньгами, у тебя кошелек с деньгами;
У меня сорока узорчатая, у тебя сорока узорчатая;
У меня сарафан с хазами, у тебя сарафан с хазами и т. д.

[16, с. 393]

В русской повести и песне о Фоме и Ереме оба злополучных брата служат юмористической мотивировкой для цепи парных фраз, пародирующих параллелизм, типичный для русской народной поэзии, обнажающих его плеоназмы и дающих мнимо различительную, а в действительности тавтологическую характеристику двух горе-богатырей путем сопоставления синонимичных выражений или же параллельных ссылок на тесно смежные и близко схожие явления (ср. обзор вариантов у Аристова) [17, с. 359—368]:

Ерему в шею, а Фому в толчки!
Ерема ушел, а Фома убежал,
Ерема в овин, а Фома под овин,
Ерему сыскали, а Фому нашли,
Ерему били, а Фоме не спустили,
Ерема ушел в березник, а Фома в дубник.

Различия между сопоставляемыми выступлениями обоих братьев лишены значимости, эллиптическая фраза «Фома в дубник» вторит полной фразе «Ерема ушел в березник», оба героя одинаково бежали в лес, и если один из них предпочел березовую рощу, а другой — дубовую, то только потому, что *Ерёма* и *берёзник* — равно амфибрахии, а *Фома́* и *дубни́к* — оба ямбы. Такие сказуемые, как «Ерема не докинул, Фома через перекинул», в свою очередь оказываются, по сути дела, синонимами, сводясь к общему знаменателю — «не попал». В терминах синонимического параллелизма описаны не только братья, но и все, что их окружает: «Одна уточка белешенька, а другая-то что снег». Наконец, там, где синонимия спадает, вторгаются паронимические рифмы: «Сели они в *сани*, да поехали *сами*».

В великолепной севернорусской балладе «Василий и Софья» (ср. ряд вариантов у Соболевского [18, Н. 82—88] и Астаховой, а также ее перечень прочих записей [19, с. 708—711]) бинарный грамматический параллелизм становится пружиной драматического действия. Церковная сцена в завязке этой сжатой былины сопоставляет в терминах антитетического параллелизма молитвенное воззвание всех прихожан «Господи Боже!» с кровосмесительной обмолвкой героини — «Васильюшко, братец мой!» Вмешательство матери-лиходейки открывает цепь двустиший, которые связывают обоих любовников строгим соответствием между каждой строкой о брате и последую-

щей строкой о сестре: мать «на гривенку купила зелена вина» (для Василия), «на другую купила зелья лютого» (для Софьи). Сцепление судеб брата и сестры закреплено повторным хиазмом:

«Ты, Васильюшко, пей да Софеи не давай,
А Софеюшка, пей, Василью не давай»,
А Васильюшко пил и Софеи подносил,
А Софеюшка пила и Василью поднесла.

Тесно смежные образы парных стихов внешне приближаются к стереотипным конструкциям лопарского плеонастического «словоплетения»:

Васильюшко говорит, что головушка болит,
а Софея говорит: ретиво сердце щемит.
Они оба вдруг переставились
и оба вдруг переславились.
Василья несут на буйных головах,
А Софею несут на белых руках.
Василья хоронили по праву руку,
А Софею хоронили по леву руку.

В отдельных вариантах былины возвращается крестообразное построение два дерева выросли на могилах: *верба* (женского рода) — на могиле брата, *кипарис* (мужского рода) — на сестриной могиле: тема связи героев и их судеб переходит по смежности и сходству на оба дерева:

На Васильи выростала золота верба,
На Софеи выростало кипарис-древо.
Они вместо вершочками свивались
и вместе листочками слипались.

В других вариантах хиазм отсутствует: мужское дерево растет на братниной могиле, а женское на сестриной. Та же мать, что «Софею извела да Василья извела», —

Кипарично деревцо она повырубила,
золотую вербу она повырвала.

Заключительное сочетание парных предложений, таким образом, метафорически и метонимически вторит мотиву гибели любовников. Ученые усилия провести точную границу между метафорикой и фактической обстановкой в поэзии [ср., напр., 20] едва ли применимы к этой балладе, да и вообще весьма и весьма ограничен

круг поэтических произведений и школ, для которых такая граница действительно существует.

В диалоге «О происхождении красоты» (1865), ценнейшем вкладе в теорию поэзии, Гопкинс отмечает, что при всем нашем знакомстве с каноническим параллелизмом библейского образца, мы в то же время не отдаем себе отчета в той важной роли, которую играет параллелизм и в нашем поэтическом творчестве: «Когда она будет впервые показана, мне думается, каждый будет поражен» [9, с. 106]. Несмотря на единичные рекогносцировочные рейды в область поэтической грамматики [см., напр., 21; 22; 23], роль «грамматической фигуры» в мировой поэзии всех времен по-прежнему остается сюрпризом для литературоведов, хотя первое указание было сделано Гопкинсом без малого сто лет тому назад. В античных и средневековых опытах различения между лексическими тропами и грамматическими фигурами, правда, есть намеки на вопрос поэтической грамматики, но и эти робкие начатки оказались в дальнейшем забыты. Между тем словесный параллелизм, сопоставляющий мать, наказывающую дочь, либо в порядке *изоколона (парисосиса)* — с кошкой, ловящей мышь, или же с машиной, моющей белье, либо в форме *полиптотона* — с матерью, наказавшей дочерей, продолжает в утонченных и прихотливых обликах владеть стихами.

Согласно формулировке, предложенной в наших недавних разысканиях о поэтике в свете лингвистики [24, с. 431—473; 25, с. 350—377], поэзия, налагая сходство на смежность, возводит эквивалентность в принцип построения сочетаний. Симметричная повторность и контраст грамматических значений становятся здесь художественными приемами.

В связи с настоящим докладом было подвергнуто подробному анализу несколько характерных и ярких образцов поэзии различных эпох и народов: знаменитый гуситский хорал, сложенный в начале двадцатых годов XV века, стихи замечательных английских лириков Филипа Сидни (XVI в.) и Эндрю Марвелла (XVII в.), два классических примера пушкинской лирики 1829 г., одно из вершинных достижений славянской поэзии на склоне XIX столетия — «Прошлое» (1865) Норвида, последнее стихотворение (1875) величайшего болгарского поэта Христо Ботева, а из творчества первых десятилетий нынешнего века — «Девушка пела в церковном хоре» (1906) Александра Блока и «Возьми на радость из моих ладоней» (1920) Осипа Мандельштама[1]. Когда непредвзятое, внимательное, подробное, целостное описание вскрывает грамматическую структуру отдельного стихотворения, картина отбора, распределения и соотношения различных морфологических классов и синтаксических конструкций способна изумить наблюдателя нежданными, ра-

[1] Эти опыты вошли в монографию [26].

зительно симметричными расположениями, соразмерными построениями, искусными скоплениями эквивалентных форм и броскими контрастами. Характерны также радикальные ограничения в репертуаре использованных грамматических категорий: с изъятием одних остальные выигрывают в поэтической доходчивости. Действенность подобных приемов не подлежит сомнению, и любой чуткий читатель, как сказал бы Сепир, инстинктивно ощущает художественный эффект этих грамматических ходов, «без малейшего попользования к сознательному анализу», и в этом отношении поэт нередко оказывается схож с таким читателем. Привычный слушатель или исполнитель народной поэзии, основанной на более или менее константном параллелизме, соответственно улавливает отклонения от этой нормы, хотя и неспособен подвергнуть их анализу, точно так же, как сербские гусляры и их среда замечают и нередко осуждают всякий уклон от силлабической схемы эпических песен и от постоянного места так называемой цезуры, отнюдь не будучи в состоянии определить, в чем же состоит ошибка.

Часто контрасты в грамматическом составе оттеняют строфическое членение стихотворения, как в вышеупомянутом гуситском хорале «Кто вы, божьи воины...», или же они самостоятельно расчленяют произведение на композиционные части; например, послание Марвела «To His Coy Mistress» состоит из трех грамматически несходных частей, в свою очередь подразделяющихся на три характерных единицы, и каждая из таких составных единиц — зачин, основа и концовка — наделена на протяжении всего стихотворения своими отличительными грамматическими чертами.

В числе грамматических категорий, используемых для соответствий по сходству или контрасту, в поэзии выступают все разряды изменяемых и неизменяемых частей речи, числа, роды, падежи, времена, виды, наклонения, залоги, классы отвлеченных и конкретных слов, отрицания, финитные и неличные глагольные формы, определенные и неопределенные местоимения или члены и, наконец, различные синтаксические единицы и конструкции.

II. ПОЭЗИЯ БЕЗ ОБРАЗОВ

По свидетельству Вересаева, ему иногда казалось, что «образ — только суррогат настоящей поэзии» [27]. Так называемая «безóбразная поэзия», или «поэзия мысли», широко применяет «грамматическую фигуру» взамен подавляемых тропов. И боевой хорал гуситов, и пушкинское «Я вас любил...» являются наглядными образчиками монополии грамматических приемов, тогда как примером сложного соучастия обеих стихий может послужить вышеназ-

ванное стихотворение Марвела или насыщенные тропами стансы Пушкина «Что в имени тебе моем», контрастирующие в этом отношении со стихами «Я вас любил», хотя оба послания были написаны в том же году и, по-видимому, оба были одинаково посвящены Каролине Собаньской [28, с. 289—292]. Нередко метафорический план стихотворения оказывается противопоставлен его фактическому плану путем четко сопутствующего контраста между грамматическим составом обоих рядов: именно на таком контрасте построено «Прошлое» Норвида.

Стихи «Я вас любил...» неоднократно цитировались литературоведами как выпуклый пример безóбразной поэзии. Действительно, в их лексике нет ни одного живого тропа, и мертвая, вошедшая в словарный обиход метафора — «любовь угасла», разумеется, не в счет. Зато восьмистишие насыщено грамматическими фигурами, но именно этой существенной черте его фактуры не было уделено надлежащего внимания.

Я вас любил; любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Стихотворение поражает уже самым отбором грамматических форм. Оно содержит 47 слов, в том числе всего 29 флективных, а из них 14, то есть почти половина, приходится на местоимения, 10 на глаголы и только пять остальных на существительные отвлеченного, умозрительного характера. Во всем произведении нет ни одного прилагательного, тогда как число наречий достигает десяти. Местоимения явственно противопоставлены остальным изменяемым частям речи, как насквозь грамматические, чисто реляционные слова, лишенные собственно лексического, материального значения. Все три действующих лица обозначены в стихотворении единственно местоимениями: *я in recto*, а *вы* и *другой in obliquo*. Стихотворение состоит из двух четверостиший перекрестной рифмовки. Местоимение первого лица, всегда занимая первый слог стиха, встречается в общем четыре раза — по одному случаю на каждое двустишие: в начальной и четвертой строке первого станса, в начальной и третьей второго. *Я* выступает здесь только в именительном падеже, только в роли подлежащего, и притом только в сочетании с винительной формой *вас*. Местоимение *вы*, появляющееся единственно в винительном и дательном (т. е. в так называемых

направленных падежах), фигурирует во всем тексте шесть раз, по одному случаю в каждом стихе, кроме второй строки обоих стансов, причем каждый раз в сочетании с каким-либо другим местоимением. Форма *вас*, прямое дополнение, всегда находится в зависимости (прямой или опосредствованной) от местоименного подлежащего. Таковым в четырех примерах служит *я*, а в одном анафорическое *она*, то есть *любовь* со стороны первого лица, между тем как дательный *вам*, приходящий в конечном, синтаксически подчиненном стихе на смену прямому объекту *вас*, оказывается связан с новой местоименной формой — *другим*, и этот периферический падеж, «творительный производителя действия» при равно периферической дательной форме [ср. 29, § 445; 217, с. 131], вводит в концовку заключительной строки третьего участника лирической драмы, противопоставленного номинативному *я*, с которого начинается вступительный стих.

Шесть раз обращается к героине автор восьмистрочного послания, и трижды повторяется узловая формула *я вас любил*, открывая сперва начальный станс, а затем первое и второе двустишия заключительного станса и внося в двухстрофный монолог традиционное троичное членение: 4+2+2. Трехчленное построение развертывается все три раза по-разному. Первый станс развивает тему п р е д и к а т а: этимологическая фигура подставляет взамен глагола *любил* отвлеченное имя *любовь*, давая ему видимость независимого, самостоятельного бытия. Вопреки установке на прошедшее время в развитии лирической темы послания ничто не показано завершенным. Здесь Пушкин, непревзойденный мастер драматических коллизий между глагольными видами, избегает изъявительных форм совершенного вида, и единственное исключение — [1]*любовь еще, быть может*, [2]*В душе моей угасла не совсем*, — собственно, подтверждает правило, потому что окружающие служебные слова — *еще, быть может... не совсем* — сводят на нет фиктивную тему конца. Ничто не завершено, но взятию под сомнение совершенного вида с другой стороны отвечает, вслед за противительным но, отрицание настоящего времени и самого по себе [4]*(я не хочу)*, и в составе описательного императива [3]*(Но пусть она вас больше не тревожит)*. Вообще в стихотворении нет положительных оборотов с финитными формами настоящего времени.

Начало второго станса, повторив узловую формулу, развивает тему субъекта. И приглагольные наречия, и инструментальные формы при побочном страдательном сказуемом, отнесенном к тому же подлежащему *Я*, распространяют и на прошлое те, явно или внутренне (латентно) отрицательные термины, которые в первом станс окрашивали настоящее в тона бездейственного самоотречения.

Наконец, вслед за третьим повторением начальной формулы, заключительный стих посвящен ее о б ъ е к т у: [7]*Я вас любил*... [8]*Как*

дай вам бог любимой быть другим (с местоименным полиптотоном: *вас — вам)*. Здесь впервые звучит подлинный контраст между двумя моментами драматического развития: оба рифмующихся друг с другом стиха схожи и синтаксически — каждый заключает сочетание страдательного залога с творительным — [6]*ревностью томим* — [8]*любимой быть другим*, но авторское признание *другого* противоречит прежней томительной ревности, а отсутствие члена в русской речи позволяет не ответить на вопрос, к разным ли «другим» или к одному и тому же относится ревность в прошлом и нынешнее благословение. Две повелительные конструкции в стансах — [3]*Но пусть она вас больше не тревожит* и [8]*Как дай вам бог любимой быть другим* — как бы дополняют друг друга. Впрочем, послание заведомо оставляет открытым путь для двух разнородных интерпретаций последнего стиха. Он может быть понят как заклинательная развязка послания, но с другой стороны, окаменевшее речение «дай вам бог», несмотря на императив, причудливо сдвинутое в придаточное предложение [30, с. 119], может интепретироваться как своего рода «нереальное наклонение», означающее, что без сверхъестественного вмешательства другую такую любовь героине встретить едва ли еще приведется. В последнем случае заключительное предложение стансов может быть сочтено примером «подразумеваемого отрицания», согласно толкованию и термину Есперсена [31, гл. XXIV], и входит в круг разнообразных примеров отрицания в этом стихотворении. Помимо нескольких отрицательных конструкций, прошедшее время глагола *любить* составляет весь репертуар финитных форм в данном произведении.

В числе склоняемых слов здесь — повторим — господствуют местоимения, тогда как существительных мало, и все они принадлежат умозрительной сфере, характеризуя — за вычетом заклинательного воззвания к богу — психический мир первого лица. Наиболее частым и закономерно расположенным в тексте словом является *вы:* только оно выступает в вин и дат. падежах, и притом только в этих падежах. Тесно сопряжено с ним второе по частоте *Я,* употребляемое единственно в роли подлежащего и единственно в начале стиха. Часть сказуемых, сочетающихся с этим подлежащим, наделена наречиями, а побочные, неличные глагольные формы сопровождаются дополнениями в творительном падеже, [4]*печалить вас ничем;* [6]*То робостью, то ревностью томим;* [8]*любимой быть другим.* Прилагательных и вообще приименных форм в стансах нет. Почти вовсе отсутствуют предложные конструкции. Значимость всех этих перераспределений в составе, численности, взаимной связи и расположении различных грамматических категорий русского языка настолько отчетлива, что едва ли нуждается в подробных семантических комментариях. Достаточно прочесть перевод Юлиана Тувима — «Kochałem panią — i miłości mojej // Może się

jeszcze resztki w duszy tlą» [32, I, с. 198], чтобы воочию убедиться, что даже такой виртуозный мастер стиха, лишь только он поступился грамматическим складом пушкинских стансов, не мог не свести на нет их художественную силу.

III. ГРАММАТИКА И ГЕОМЕТРИЯ

Принудительный характер грамматических значений заставляет поэта считаться с ними: он либо стремится к симметрии и придерживается этих простых, повторных, четких схем, построенных на бинарном принципе, либо он отталкивается от них в поисках «органического хаоса». Если мы говорим, что у поэта принцип рифмовки либо грамматичен, либо антиграмматичен, но никогда не аграмматичен, то это положение может быть распространено и на общий подход поэта к грамматике. Здесь наблюдается глубокая аналогия между ролью грамматики в поэзии и живописной композицией, базирующейся на явном или скрытом геометрическом порядке или на отпоре против геометричности. Если в принципах геометрии (скорей топологической, чем метрической) таится «прекрасная необходимость» для живописи и прочих изобразительных искусств, согласно убедительным выкладкам искусствоведов, то схожую «обязательность» для словесной деятельности лингвисты находят в грамматических значениях.

Сравнение между обеими сферами завоевывает себе место в опыте синтеза, написанном в 1941 году, незадолго до смерти, проникновенным языковедом В. Л. Уорфом: противопоставив общие абстрактные «схемы структуры предложений» индивидуальным предложениям и словарю как «несколько рудиментарной и несамостоятельной части» языкового строя, он выдвигает идею «*геометрии* формальных принципов, лежащих в основе каждого языка» (7, с. 257). Подобное сравнение, но в более развернутой и настойчивой форме дано было десять лет тому назад Сталиным в его замечаниях об отвлеченном характере грамматики: «Отличительная черта грамматики состоит в том, что она дает правила об изменении слов, имея в виду не конкретные слова, а вообще слова без какой-либо конкретности; она дает правила для составления предложений, имея в виду не какие-либо конкретные предложения, скажем, конкретное подлежащее, конкретное сказуемое и т. п., а вообще всякие предложения, безотносительно к конкретной форме того или иного предложения. Следовательно, абстрагируясь от частного и конкретного, как в словах, так и в предложениях, грамматика берет то общее, что лежит в основе изменений слов и сочетаний слов в предложениях и строит из него грамматические пра-

вила, грамматические законы... В этом отношении грамматика напоминает геометрию, которая дает свои законы, абстрагируясь от конкретных предметов, рассматривая предметы, как тела, лишенные конкретности, и определяя отношения между ними не как конкретные отношения каких-либо конкретных предметов, а как отношения тел вообще, лишенные всякой конкретности» [33]. Абстрагирующая работа человеческого мышления, лежащая, с точки зрения обоих цитируемых авторов, в основе геометрии и грамматики, налагает простые геометрические фигуры поверх живописного мира частных предметов и поверх конкретной лексической «утвари» словесного искусства.

Существенная роль, которую играют в грамматической фактуре поэзии разнообразные классы местоимений, обусловлена именно сплошь грамматическим, реляционным характером, отличающим местоимения от всех прочих автономных слов. Отношение местоимений к неместоименным словам неоднократно сравнивалось с отношением геометрических тел к физическим [34, с. 323; 35, с, 17].

Наряду с общераспространенными приемами в грамматической фактуре поэзии появляются дифференциальные черты, типичные для словесности данного народа или для ограниченного периода, для определенного литературного течения, для индивидуального поэта или, наконец, для отдельного произведения. Так, например, изощренная грамматическая композиция агитационного воинского хорала гуситской революции, чуждого декоративной орнаментальности, легко поддается интерпретации на общем фоне готической эпохи. Обозначим каждую строфу соответствующей римской цифрой, а каждый член строфы надписанной арабской цифрой. Песня из трех трехчленных строф ($I^1+I^2+I^3+II^1+II^2+II^3+III^1+III^2+III^3$) характеризуется в своем грамматическом строе сложной системой симметрических соответствий, которые могут быть условно обозначены как три ряда вертикальных соответствий ($I^1—I^2—I^3$ и т. д.) и три ряда горизонтальных соответствий ($I^1—II^1—III^1$ и т. п.), две диагонали — нисходящая ($I^1—II^2—III^3$) и восходящая ($I^3—II^2—III^1$), далее две нисходящих ($I^1—II^2—III^1$ и $I^2—II^3—III^2$) и две восходящих ($I^2—II^1—III^2$ и $I^3—II^2—III^3$). Те же характерные черты — геометрическую соразмерность, ступенчатое членение, игру соответствий и контрастов — исследователи (в частности, П. Кропачек) обнаруживают в чешской живописи гуситской эпохи [36]. И наконец, все композиционные принципы, нашедшие себе полноценное выражение в грамматической организации этого хорала, глубоко коренятся в историческом развитии этого хорала, глубоко коренятся в историческом развитии всего готического искусства и схоластической мысли, блестяще сопоставленных в труде Эрвина Пановского [37].

Чешский пример позволяет нам подойти к увлекательной проблеме соответствия между функциями геометрии в изобразительных искусствах и грамматики в поэтическом творчестве. Наряду с феноменологическим вопросом внутреннего родства между обоими факторами, здесь встает задача конкретных исторических разысканий о конвергентном развитии и о взаимовлиянии словесного и изобразительного искусства; далее, анализ поэтической грамматики бросает новый свет на проблематику художественных школ и традиций. В частности, исследователь должен спросить себя: как поэтическое произведение применяет для новых целей традиционный инвентарь художественных средств и переоценивает их в свете сменившихся задач? Как из богатого фонда готических художественных форм походный хорал гуситской революции унаследовал обе разновидности грамматического параллелизма — в терминах Гопкинса, «сравнение ради сходства» и «сравнение ради несходства» (с. 106) — и как искусное сочетание обоих грамматических ходов дало поэту возможность смело осуществить гармонически связный, убедительный переход от вступительной духовной песни через воинствующую аргументацию второй, дидактической строфы к военным приказам и боевым кличам в заключительной части хорала?

IV. ГРАММАТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ

В грамматическом разрезе может и должен быть поставлен насущный литературоведческий вопрос об индивидуальности и сравнительной характеристике поэм, поэтов и поэтических школ. При всей общности грамматического уклада пушкинской поэзии, каждое его стихотворение индивидуально и неповторимо в художественном отборе и использовании грамматического материала, и, например, стансы «Что в имени тебе моем...», близкие по времени и обстановке к восьмистишию «Я вас любил...», в то же время обнаруживают немало отличительных черт. Попытаемся на немногих примерах показать, в чем же сказывается это «необщее выражение», а с другой стороны, противопоставить альбомные стансы Пушкина, неразрывно связанные с поэтическими исканиями отечественного и западного романтизма, инородному и далекому готическому канону, просвечивающему в хорале соратников Яна Жижки.

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом.

Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.

Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.

Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя,
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я.

Здесь в отличие от стихов *Я вас любил* местоимения, общим числом 12, уступают в численности как существительным (20), так и прилагательным (13), но все же продолжают играть капитальную роль. Они составляют три из четырех самостоятельных слов первого стиха: *Что в имени тебе моем?* В авторской речи все подлежащие главных предложений чисто грамматичны, будучи выполнены местоимениями: [1]*Что,* [2]*Оно,* [5]*Оно,* [9]*Что.* Однако взамен личных местоимений вышерассмотренного стихотворения здесь преобладают формы вопросительные и анафорические, тогда как местоимение второго лица как личное, так и притяжательное в первом и третьем стансе послания появляется единственно в дательном назначении, оставаясь лишь адресатом, а не непосредственной темой послания ([1]*тебе,* [11]*Твоей душе*), и только в последнем стансе категория второго лица выступает в глаголах, а именно в двух парных формах повелительного наклонения: [14]*Произнеси,* [15]*Скажи.*

Оба стихотворения и начинаются, и кончаются местоимениями, но в противоположность восьмистишию «Я вас любил...» адресант этого послания не означен ни личным местоимением, ни глаголами первого лица, а только притяжательным местоимением, отнесенным, однако, единственно к авторскому имени, да и то, чтобы поставить под сомнение какой бы то ни было смысл этого имени для адресата стихов: [1]*Что в имени тебе моем?* Правда, местоимение первого лица обнаруживается за одну строку до конца стансов сперва в косвенной, опосредствованной форме — [15]*есть память обо мне,* и наконец, в последнем, гиперкаталектическом слоге заключительного стиха впервые дает себя знать остро противопоставленное предыдущим неодушевленным и неопределенным субъектам (*что* да *оно*) неожиданное подлежащее первого лица с соответствующим глагольным сказуемым: [16]*Есть в мире сердце, где живу я,* тогда как *Я вас любил,* наоборот, начинается с *Я.* Но и это

конечное самоутверждение принадлежит отнюдь не автору, а подсказано автором адресату: заключительное *я* навязано героине послания, тогда как автор дан до конца в безликих терминах либо метонимических ([1]*в имени*), либо синекдохических ([16]*есть в мире сердце*) или в повторных анафорических ссылках на брошенную метонимию ([5] [11] *оно*) и во вторичных метонимических отображениях (не самое имя, а его *«мертвый след* [5]*на памятном листке*) или же, наконец, в метафорических репликах на метонимические образы, развернутых в сложные уподобления ([2]*как...* [4]*Как...* [6]*подобный...*). Обилием тропов это послание существенно отличается, подчеркиваю снова, от стихов «Я вас любил...». Если там грамматические фигуры несут на себе всю нагрузку, то здесь художественные роли грамматически разделены между поэтической грамматикой и лексикой.

Принцип пропорционального сечения, с такой неуклонной последовательностью проведенный в гуситском хорале, явственно выступает и здесь, но в куда более сложном и причудливом облике. Текст делится на два восьмистишия, каждое с тем же вступительным вопросом, как бы реагирующим на приглашение вписать имя в памятный альбом ([1]*Что в имени тебе моем?* — [9]*Что в нем*), и с ответом на свой же вопрос. Вторая пара стансов переходит от охватной рифмовки первых двух четверостиший к рифмам перекрестным, вызывая непривычное столкновение двух разнорифменных мужских стихов (...[8]*языке* и... [9]*давно*). Из метафорического плана первых двух стансов последние два переносят развитие лирической темы в плоскость буквальных, прямых значений, и соответственно отрицательная конструкция — [11]*не даст оно* [12]*Воспоминаний* — сменяет утвердительные построения метафорического порядка. Любопытно, что начальному стансу, сравнившему имя поэта с умирающим «шумом волны», вторит в третьем стансе сродная, но стертая словарная метафора «волнений новых и мятежных», которым, казалось бы, суждено поглотить обессмысленное имя.

Но в то же время все стихотворение подвергнуто иного рода сечению, в свою очередь дихотомическому: заключительный станс по всему своему грамматическому составу выразительно противопоставлен начальным трем. Изъявительному наклонению траурных перфективных глаголов непрошедшего (по значению будущего) времени, господствующих над первыми тремя стансами, — [2]*умрет*, [6]*Оставит мертвый след*, [11]*не даст... воспоминаний* — заключительный станс противопоставляет императив двух в свою очередь перфективных глаголов говорения ([14]*Произнеси*, [15]*Скажи*), предписывающих прямую речь, а эта речь упраздняет все пригрезившиеся утраты конечным утверждением непрестанной жизни, противополагая заслушанной авторской тираде первую в стихотворении глагольную форму несовершенного вида. Соответственно меняет-

ся вся лексика стихотворения на прежние термины *умрет, мертвый, надгробный* героиня призвана ответить: *Есть в мире сердце, где живу я*′с намеком на традиционную парономасию *неумирающего мира.* Четвертый станс возражает первым трем: для тебя мое имя мертво, но да послужит оно тебе живым знаком моей неизменной памяти о тебе. Согласно позднейшей формулировке: «И шлешь ответ; Тебе ж нет отзыва...» (1831).

О том же имени первый станс пророчил — [2]*он умрет, как шум печальный...* [4]*Как звук ночной,* и именно к этим образам возвращается последний станс. Но в ночь, когда звук исчезает, [4]*в лесу глухом,* согласно словарной метафоре, воскрешенной Пушкиным, а [13]*в день печали,* и не под *шум волны,* [13]*а в тишине* должно прозвучать забытое имя. Символична не только замена ночи днем и шума тишиной, но и грамматический сдвиг в последнем стансе. Недаром вместо прилагательных первого станса — *печальный* и *ночной* — в последнем стансе функционируют существительные — [13]*в день печали, в тишине.* Вообще в противоположность обилию определяющих прилагательных и причастий, характерному для первых трех стансов (по пяти в каждом), в четвертом их нет вовсе, так же как нет их в стихах *Я вас любил,* где, с другой стороны, вдоволь наречий при почти полном их отсутствии в исследуемом стихотворении. Заключительное четверостишие порывает с обстановочным, украшенным слогом первых трех стансов, совершенно чуждым тексту «Я вас любил...».

Итак, антитезис послания, последний станс, введенный противительным но, единственным сочинительным союзом на протяжении всего стихотворения, существенно отличается своим грамматическим строем — повторным императивом, противопоставленным неизменно изъявительному наклонению трех первых четверостиший, приглагольным деепричастием, контрастирующим с прежними приименными причастиями; в отличие от предыдущего текста он вносит чужую речь, двукратное предикативное *есть,* первое лицо подлежащего и сказуемого, полное придаточное предложение и, наконец, несовершенный вид глагола вслед за вереницей перфективных форм.

Несмотря на количественную несоразмерность первой, индикативной, и второй, императивной, частей (двенадцать начальных стихов против последних четырех), обе одинаково образуют три дальнейших ступени подразделений на паратактические пары независимых синтаксических групп. Первая, трехстансовая часть обнимает две синтаксически параллельных вопросо-ответных конструкции опять-таки неравного протяжения (восемь начальных стихов против четырех строк третьего станса). Соответственно вторая часть стихотворения, его заключительный станс, содержит два параллельных предложения, тематически тесно смежных. Вопро-

со-ответные конструкции первой части обе состоят из одинакового вопросительного предложения и ответа с одним и тем же анафорическим подлежащим. Этому вторичному членению первой части соответствует в следующей части бинарный характер второго императивного предложения, заключающего в себе прямую речь и распадающегося таким образом на вводящую ремарку *(скажи:)* и самое цитату *(есть...)*. Наконец, первый из ответов распадается на два параллельных предложения метафорического склада и тесно смежной тематики, оба с переносом (enjambement) посреди станса (I *Оно умрет, как шум печальный | Волны...*, II *Оно... Оставит мертвый след, подобный | Узору...*). Такова последняя из трех концентрических форм паратаксиса в первой части стихотворения, чему во второй части соответствует разделение цитируемой речи на параллельные, тематически схожие предложения *(Есть память...; Есть... сердце)*.

Если последний станс заключает в себе столько же независимых паратактических пар, сколько все три предыдущих четверостишия, вместе взятые, то обратно из шести зависимых групп (трех союзных обстоятельственных предложений и трех «атрибутивно-предикативных определений», как их называет Шахматов, § 393 сл.) три группы принадлежат первому, наиболее насыщенному метафорикой стансу (..., *как*..., | ..., *плеснувшей*... | ..., *как*...), тогда как на три остальных четверостишия регулярно приходится по одному примеру гипотаксиса (II..., *подобный*...: III *Забытое*...: IV..., *где*...).

В результате всех этих размежеваний наиболее остро выступает многосторонний контраст между первым и последним стансом, то есть завязкой и развязкой лирической темы, при одновременной близкой общности между ними. Как контраст, так и общность находят себе выражение и в звуковой фактуре. Среди ударных гласных под иктом темные (лабиализованные) преобладают в первом стансе, число их последовательно падает в дальнейших стансах, достигая минимума в четвертом стансе (I : 8; II : 5; III : 4; IV : 3). Между тем, максимальное число ударных диффузных (узких) гласных *(у* и *и)* приходится на оба крайних станса — первый (6) и четвертый (5) — и противопоставляет их обоим внутренним стансам (II : 0, III : 2).

Проследим вкратце ход темы от завязки до развязки, явственно сказывающийся в трактовке грамматических категорий, особенно падежей. Как дают понять начальные стансы, поэту было предложено вписать свое имя в памятную книгу. Внутренний диалог, чередующий вопросы и ответы, служит отповедью на это подразумеваемое предложение.

Имя отзвучит бесследно, *умрет*, согласно непереходной конструкции первого станса, где только в метафорическом образе *волны, плеснувшей в берег дальный*, предложный аккузатив бросает

намек на поиски объекта. Второй станс, заменивший имя его письменным отображением, вводит переходную форму *Оставит... след*, но эпитет *мертвый* при прямом дополнении возвращает нас к теме бесцельности, развернутой в первом стансе. Дательным сравнения открывается метафорический план второго станса *(подобный Узору)*, и как бы подготавливается появление дательного в его основной роли: третий станс приносит имя существительное в дательном назначения *(Твоей душе)*, но снова контекст, на этот раз отрицательное *не даст*, сводит назначение на нет.

Звукопись последнего станса перекликается с диффузными гласными начального станса, а тематика четвертого станса возвращается от письменного отображения к звучащему имени первого станса. Затихавшим звуком имени начиналась повесть, его звуком *в тишине* она кончается. Соответственно в звукозаписи стихотворения перекликаются приглушенные, диффузные гласные обоих крайних стансов. Однако развязка существенно видоизменяет роль имени. На не названное, но явствующее из контекста приглашение вписать в альбом свое имя поэт отвечает владелице альбома призывом: *Произнеси его тоскуя.* На смену номинативу *оно*, отсылавшему к имени в каждом из первых трех стансов (I^2, II^1, III^3), приходит аккузатив того же анафорического местоимения (IV^2) при втором лице императива, направленного к героине, которая таким образом из бездеятельного адресата *тебе* превращается, по воле автора, в действующее или, точнее, призванное действовать лицо.

Вторя троекратному *оно* первых трех стансов и звуковой вариации вокруг этого местоимения в третьем стансе — четырехкратному сочетанию *н* с *о* и с последующим или предшествующим *в*, четвертый станс, упразднив это подлежащее, каламбурно начинается с того же сочетания:

Что *в нем*? Забытое да*вно*
В волненьях *нов*ых и мятежных,
Твоей душе не даст *оно*
*Во*споминаний чистых, нежных.
Но в день печали, в тишине...

Имя, на протяжении первых трех стансов поданное в полном отрыве от бесчувственного окружения, влагается в уста героине вместе с речью; которая, правда, всего лишь эмблематически, но все же впервые заключает ссылку на обладателя имени: *Есть в мире сердце...* Любопытно, что авторское «я» не названо в стихотворении, и когда последние строки последнего станса наконец прибегают к местоимению первого лица, оно входит в прямую речь, навязанную героине авторскими императивами, чтобы обозначить не автора, а героиню. Утрате воспоминаний обо мне —

авторе здесь противостоит в антонимическом обрамлении незыблемая память обо мне — беспамятной владелице «памятного листка».

Ее самоутверждение путем апелляции к имени автора, именно автором ей предписанное, подготовлено тою же игрой на колебаниях и сдвигах падежных значений, которую все это стихотворение так интенсивно использовало. К его многочисленным предложным конструкциям следует применить пытливые замечания Бентама (с. 62) о тесном соприкосновении и взаимном проникновении двух языковых сфер — материальной и абстрактной, проявляющемся, например, в колебаниях таких предлогов, как «в», между собственным, материальным, локализационным значением, с одной стороны, и бесплотным, отвлеченным — с другой. Именно перебой между обеими функциями сочетаний местного падежа с предлогом *в* и *на* в каждом из первых трех стансов подан Пушкиным в нарочито заостренной форме. В первом грамматической рифмой связаны строки *Что в имени тебе моем?* и *Как звук ночной в лесу глухом.* Один и тот же предлог наделен отвлеченным значением в первой из этих строк, конкретно-локализационным во второй из них. Противопоставленный охватному *в* внеположный предлог *на,* в соответствии с переходом от звучащего имени к его письменной форме, в свою очередь выступает в двух параллельных, связанных грамматической рифмой стихах второго станса — первый раз с локализационным значением *(на памятном листке),* второй раз в отвлеченной роли *(на непонятном языке),* причем семантическое противопоставление обеих рифмующих строк находит себе каламбурное заострение: *оно на памятном — на непонятном.* В третьем стансе сопоставление двух сочетаний с предлогом *в* следует, в общем, схеме первого станса, но эллиптическое повторение вопроса *Что в нем?* открывает возможность двоякой интепретации — отвлеченной (Что он для тебя значит?) и подлинно локализационной (Что же оно в себе заключает?). Соответственно с этим сдвигом, четвертый станс клонится к собственному значению того же предлога *(в тишине; Есть в мире).* На вопрос начального стиха — *Что в имени тебе моем?*— героине стансов предложено подать реплику, подсказанную самим автором и троекратно одаряющую охватный предлог его первичным материальным значением: в имени, подписанном для нее, а ею в ответ призывно произнесенном, заключено свидетельство, что *в* мире есть человек, *в* сердце которого оно продолжает жить. Переходу от ночного *оно умрет* к дневному *живу я* вторит постепенная смена темных гласных светлыми.

Любопытно, что и стансы Пушкина, и гуситский хорал одинаково заканчиваются двойным императивом, подсказывающим второму лицу двойную реплику, синтетический ответ на начальное вопросительное *Что* пушкинского послания *(Произнеси... Скажи:*

есть... Есть...) и на относительно-вопросительное «Ktož», которым открывается чешская песня:

A s tiem vesele křikněte
řkúc: «Na ně, hr na ně!»,
braň svú rukama chutnajte,
«Bóh pán náš», křikněte!

Однако именно на фоне этой общности особенно наглядны различия в основах поэтической грамматики, в частности пушкинское скольжение между соположенными грамматическими категориями, напр., различными падежными или разными комбинаторными значениями одних и тех же падежей, словом, непрерывная смена ракурсов, которая отнюдь не снимает проблемы грамматического параллелизма, но ставит ее в новом, динамическом разрезе.

Литература

[1] P u š k i n A. S. Výbrané Spìsy / Ed. A. Bern, R. Jakobson. Praha, 1936.
[2] J a k o b s o n R. Socha v symbolice Puškinově // Slovo a slovesnost, 1937, III.
[3] J a k o b s o n R. The Kernel of Comparative Slavic Literature. // Harvard Slavic Studies, 1953, 1.
[4] S a p i r E. Language. New York, 1921 (русский перевод: Сепир Э. Язык. М., 1930).
[5] O g d e n C. K. Bentham s Theory of Fictions. London, 1939.
[6] Jakobson R. Boas' View of Grammatical Meaning // American Antropologist, 1959, 61.
[7] W h o r f B. L. Language, Thought and Reality. New York, 1956.
[8] F a r a l E. Les Arts poétiques du XIIe et du XIIIe siécle. Paris, 1958.
[9] H o p k i n s G. M. Journals and Papers. London, 1959.
[10] G o n d a J. Stilistic Repetition in the Veda. Amsterdam, 1959.
[11] T s c h a n g T s c h e n g - m i n g. Le Parallélisme dans le vers du Chen King. Paris, 1937.
[12] N e w m a n L., P o p p e r W. Studies in Biblical Parallelism. University of California, 1918; 1923.
[13] S t e i n i t z W. Der Parallelismus in der finnisch-karelischen Volksdichtung. Helsinki, 1934.
[14] A u s t e r l i t z R. Ob-Ugrie Metrics. The Metrical Structure of Ostyak and Vogul Folkpoetry. Helsinki, 1858.
[15] P o p p e N. Der Parallelismus in der epischen Dichtung der Mongolen // Ural-Altaische Jahrbücher, 1958, 30.
[16] Х а р у з и н Н. Русские лопари. М., 1890.

[17] Аристов Н. Повесть о Фоме и Ереме // Древняя и новая Россия, 1876, 4.
[18] Соболевский А. Великорусские народные песни, т. 1. С.-Петербург, 1895.
[19] Астахова А. Былины Севера, т. 2. М.—Л., 1951.
[20] Brooke-Rose Ch. A Grammar of Metaphor. London, 1958.
[21] Davie D. Articulate Energy. An Inquiry into the Syntax of English Poetry. London, 1955.
[22] Berry F. Poets' Grammar. London, 1958.
[23] Поспелов Н. Синтаксический строй стихотворных произведений Пушкина. Москва, 1960.
[24] Jakobson R. Poetyka w świetle językoznawstwa // Pamiętnik Literacki, 1960, 51, 2.
[25] Jakobson R. Linguistics and Poetics // Style in Language / Ed. T. A. Sebeok, New York, 1960 (русский перевод в сб.: Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975).
[26] Jakobson R. Poetry of Grammar and Grammar of Poetry. The Hague, 1961.
[27] Вересаев В. В. Записи для себя // Новый мир, 1960, № 1.
[28] Цявловская Т. Дневник А. А. Олениной // Пушкин. Исследования и материалы, вып. 11, Л., 1958.
[29] Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. Л., 1941.
[30] Слонимский А. Мастерство Пушкина. М., 1959.
[31] Jespersen O. The Philosophy of Grammar. London—New York, 1924 (русский перевод: Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958).
[32] Tuwim J. Z rosyjskiego. Warszawa, 1954.
[33] Сталин И. В. Марксизм и вопросы языкознания. М., 1950.
[34] Виноградов В. В. Русский язык. М., 1947.
[35] Зарецкий А. О местоимении // Русский язык в школе, 1940, № 6.
[36] Kropbček P. Malířství doby husitské. Praha, 1946.
[37] Panofsky E. Gothic Architecture and Scholasticism. New York, 1957.

Патрик Серио

Анализ дискурса во Французской школе* [Дискурс и интердискурс]

Множественность и разнообразие значений слова «дискурс». [...] С конца 60-х годов ситуация значительным образом изменилась. В то время как А. Д. в этот период, опираясь на лингвистику и психоанализ Лакана, борется за внедрение новой проблематики на территории, которая еще в широком масштабе подвластна контент-анализу и филологии, в начале 90-х годов наблюдается быстрый рост исследований, относящих себя к «анализу дискурса», что затрудняет установление границ между А. Д. и другими научными подходами с тем же названием.

Следует признать при этом, что сам термин *дискурс* получает множество применений**. Он означает, в частности:

1° эквивалент понятия «речь» в соссюровском смысле, т. е. любое конкретное высказывание;

---

* Из статьи «Как читают тексты во Франции» в сборнике: Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. — М.: Прогресс, 1999, с. 25—40; подзаголовок придан редактором наст. книги. — *Ред.*

** Мы воспроизводим здесь представление значений слова «дискурс», которое дается в книге: Dominique Maingueneau. L'analyse du discours. Introduction aux lectures de l'archive. Paris: Hachette, 1991, p. 15. Можно также сослаться на различные определения слова «дискурс» во французском структурализме, приводимые в словаре И. П. Ильина, см. сб.: Структурализм, за и против. М.: Прогресс, 1975, с. 453—454. См. также статью «Дискурс» в Лингвистическом энциклопедическом словаре (М.: Советская энциклопедия, 1990), где даются 2-е, 3-е и 5-е значения.

2° единица, по размеру превосходящая фразу, высказывание в глобальном смысле; то, что является предметом исследования «грамматики текста», которая изучает последовательность отдельных высказываний;

3° в рамках теорий высказывания или прагматики «дискурсом» называют воздействие высказывания на его получателя и его внесение в «высказывательную» ситуацию (что подразумевает субъекта высказывания, адресата, момент и определенное место высказывания);

4° при специализации значения 3 «дискурс» обозначает *беседу*, рассматриваемую как основной тип высказывания;

5° у Бенвениста «дискурсом» называется речь, присваиваемая говорящим, в противоположность «повествованию», которое разворачивается без эксплицитного вмешательства субъекта высказывания;

6° иногда противопоставляются *язык* и *дискурс* (langue/discours) как, с одной стороны, система мало дифференцированных виртуальных значимостей и, с другой, как диверсификация на поверхностном уровне, связанная с разнообразием употреблений, присущих языковым единицам. Различается, таким образом, исследование элемента «в языке» и его исследование «в речи» как «дискурсе».

7° термин «дискурс» часто употребляется также для обозначения системы ограничений, которые накладываются на неограниченное число высказываний в силу определенной социальной или идеологической позиции. Так, когда речь идет о «феминистском дискурсе» или об «административном дискурсе», рассматривается не отдельный частный корпус, а определенный тип высказывания, который предполагается вообще присущим феминисткам или администрации;

8° по традиции А. Д. определяет свой предмет исследования, разграничивая *высказывание* и *дискурс*.

Высказывание — это последовательность фраз, заключенных между двумя семантическими пробелами, двумя остановками в коммуникации; *дискурс* — это высказывание, рассматриваемое с точки зрения дискурсного механизма, который им управляет. Таким образом, взгляд на текст с позиции его структурирования «в языке» определяет данный текст как высказывание; лингвистическое исследование условий производства текста определяет его как «дискурс»*.

В силу этого дискурс для А. Д. отнюдь не является первичным и эмпирическим объектом: имеется в виду теоретический (констру-

* Guespin L. Problématique des travaux sur le discours politique // *Langages*, 1971, № 23, p. 10.

ированный) объект, который побуждает к размышлению об отношении между языком и идеологией. Понятие дискурса открывает трудный путь между чисто лингвистическим подходом, который основывается на признанном забвении истории, и подходом, который растворяет язык в идеологии.

Специфический предмет исследования А. Д. А. Д. оказывается в ситуации значительно менее комфортной, чем в начале своего существования, когда развитие исследований по прагматике и грамматике текста было еще столь ограниченным, что А. Д. мог действовать на территории, почти не занятой. А теперь, когда эта территория стала одной из самых популярных для гуманитарных наук во Франции, А. Д. вынужден точнее эксплицировать границы своего распространения.

Предмет исследования А. Д. составляют, таким образом, в основном высказывания, т. е. *тексты* в полном смысле этого термина:

— произведенные в институционных рамках, которые накладывают сильные ограничения на акты высказывания;

— наделенные исторической, социальной, интеллектуальной направленностью.

Имеются в виду, следовательно, высказывания, сложный и относительно устойчивый способ структурирования которых обладает *значимостью* для определенного коллектива, т. е. анализируются тексты, которые содержат разделяемые убеждения, вызываемые или усиливаемые ими, иными словами, тексты, которые предполагают *позицию* в дискурсном поле. Корпус текстов при этом рассматривается не сам по себе, а как одна из частей признанного социального института, который «определяет для данной социальной, экономической, географической или лингвистической сферы условия действия актов высказывания»*.

Основной метод А. Д. имеет целью привести к позиционному единству рассеянное множество высказываний. При этом А. Д. отличается от других дисциплин характером принципа, который кладется в основу этой перегруппировки. Для А. Д. действенным является не формальный критерий, в частности типологического порядка, но отношение к *месту* акта высказывания, позволяющее выявить то, что вслед за «археологией знания» М. Фуко получило название «дискурсной формации». Не проповеди как проповеди и не политические листовки как политические листовки интересуют А. Д. В А. Д. исследуется совокупность проповедей или листовок в том смысле, в котором они указывают в социальном плане на определенную идентичность в процессе высказывания, исторически очерчиваемую. Чаще всего дискурсная формация соответствует не

* Foucault M. L'Archéologie du savoir. Paris: Gallimard, 1969, p. 153.

одному-единственному жанру, а объединяет несколько жанров (листовки, манифесты, газетные статьи...).

Перегруппировка высказываний, производимая А. Д., соответствует определенной концепции «точки зарождения» акта высказывания. Эта точка понимается не как субъективная форма, а как *позиция*, в которой на уровне, интересующем А. Д., субъекты высказывания могут быть взаимозаменяемы. Фуко объясняет данное положение следующим образом:

> Описать высказывание — не означает анализировать отношения между автором высказывания и тем, что он сказал (или хотел сказать, или сказал, не желая); это означает определить, какова позиция, которую может и должен занять любой индивид, чтобы быть субъектом данного высказывания*.

Постулировать, что высказыватель дискурсной формации не говорит «от своего имени», что он не может основывать свою речь на субъективности, — это означает предполагать, что он имеет статус субъекта высказывания, который определяется той дискурсной формацией, в которую он попадает. Сказанное не означает, что для каждой дискурсной формации должна была бы существовать одна, и только одна, законная позиция в процессе высказывания, поскольку совокупность высказываний, соотносимых с одной и той же позицией, может распределяться по нескольким дискурсным жанрам. Но если аналитик должен принимать во внимание это разнообразие, он обязан понимать его следующим образом: разнообразие жанров дискурсной формации отнюдь не является случайным возникновением при наличии ядра с устойчивым смыслом, оно способствует определению его характеристики.

Указанные положения предполагают наличие специфических институтов производства и распространения дискурсов. Под «институтами» надо понимать не только такие наиболее типичные структуры, каковыми являются армия или Церковь, но и любой организм, который накладывает ограничения на действие высказывательной функции; это может быть статус субъекта высказывания и статус адресата, это могут быть типы содержания того, что можно и должно говорить, а также обстоятельства акта высказывания, законные для той или иной позиции.

Интердискурс. В проблематике А. Д. дискурсная формация тем не менее не занимает всеобъемлющую часть исследовательского поля. Сторонники этого положения утверждают примат *интердискурсности*, отвергая тем самым другой научный подход, рассматривающий дискурсную формацию как совершенно замкнутое целое.

---

* Foucault M. Op. cit., p. 126.

Формулировать указанный принцип не просто, ибо за утверждением его неизменности скрываются различные толкования. Очевидно одно, данный принцип исключает непригодную для интердискурсности форму, каковой является сравнение, т. е. контрастное соположение дискурсных формаций, рассматриваемых независимо одна от другой. Предметом исследования А. Д. служит не столько сама по себе дискурсная формация, сколько границы ее образования. Идентификация дискурсных формаций не является заданной, она образуется в процессе, осуществление которого происходит одновременно с возникновением и стабилизацией некоего очертания высказывания. Процесс высказывания не развивается по линии намерения, замкнутого на своем собственном желании, как это утверждалось бы в прагматике или в персоналистском толковании высказывания, он насквозь пронизан угрозой смещения смысла. И это невидимое и одновременно назойливое присутствие постоянно удваивает нормальное высказывание с самого момента его возникновения. Невозможно было бы, таким образом, отделить интрадискурсность от интердискурсности, поскольку отношение к «другому» является разновидностью отношения к самому себе, которое никогда не может быть абсолютно замкнутым.

Отсюда возникает определенная концепция смысла. Семантическая единица не может образовываться как постоянная и однородная проекция «коммуникативного намерения», она образуется скорее как некий узел в конфликтном пространстве, как некоторая, всегда неокончательная стабилизация в игре разнообразных сил. За определенной семантической единицей необходимо восстанавливать движение высказывания, которое под двойным нажимом уже сказанного и говоримого должно учитывать требования и языка и интердискурса. В то время как лингвистика имеет дело с неговоримым (l'indicible) в форме невозможного (неграмматического), А. Д. имеет дело с *невысказываемым* (l'inénonçable), с тем, что не может быть высказано в определенной высказывательной позиции. Речь идет о специфических ограничениях, которые уменьшают выбор того, что можно сказать. С учетом примата интердискурса невысказываемое определяется как то, что постоянно отсутствует в дискурсной формации и позволяет при этом очертить ее границы, то, что отделяет в воображении данную дискурсную формацию от целого.

А. Д., история и лингвистика. Социальная история в концепции школы Анналов, занимавшая почти господствующее положение в конце 60-х годов, сильной стороной которой был количественный анализ, не выдвигала тем не менее проблемы собственно текстуализации, которую она *создавала*, и еще меньше ее заботило значимое измерение корпусов исследования. Эта история была слепа к непрозрачности языка.

Начиная с 1968 года некоторые историки, как, например, Режин Робен, обратились к поискам новых приемов чтения текстов, позволявших охватить большое количество документов, среди которых можно было бы вычленить повторяемость, вариантность, сходство и т. д. Эти историки пытались найти у лингвистов методы работы с текстами, способные дать ответы на поставленные ими вопросы.

Несмотря на активное сопротивление со стороны профессиональных историков, исследователи, занимающиеся формами мышления и формами представления, в частности Роже Шартье, Робер Мандру, Мишель Вовель, а также исследователи политической истории, как, например, Антуан Прост, стали мало-помалу проявлять интерес к работам по политическому дискурсу. Становилось все более очевидным, что при анализе дискурса следовало принимать во внимание фактор материальности языка.

Вот почему А. Д. постоянно определял свой метод исследования со ссылкой на лингвистику. Методологический аппарат А. Д. обогатился благодаря знакомству с трудами Ролана Барта, Эмиля Бенвениста и Жерара Женетта еще до расцвета эпохи теории высказывания в середине 70-х годов. Стало понятным, что в дискурсе представляет большой интерес изучение «цитации», повторяемости чужой речи, ее отклонения, ее изменения, равно как и изучение аргументационных стратегий эксплицитного или имплицитного характера.

Однако недостаточно констатировать, что некий текст состоит из слов, чтобы из этого сделать вывод о том, что изучение текста в первую очередь имеет отношение к лингвистике, а не к какой-либо другой дисциплине.

Для А. Д. всегда существует опасность обращения к социальным и психологическим категориям, непосредственно извлекаемым из интерпретации текстов, минуя хитроумный анализ различных тонкостей языка. Обращение к лингвистике означало, что с ее помощью можно лучше воспринимать дискурсные процессы в соответствии с целями, которые ставил перед собой А. Д. Таким образом, если в момент становления А. Д. обращение к лингвистике казалось очевидным (разве лингвистика не играла в то время роль «ведущей науки»?), то впоследствии возникла необходимость уточнений, ибо задачи А. Д. стали намного превосходить задачи лингвистики. Как это справедливо подчеркивал Ж.-Ж. Куртин, в А. Д. «надо быть лингвистом и одновременно перестать им быть».

С одной стороны, дискурсность архива определяет «собственный порядок, отличный от материальности языка», с другой стороны, этот порядок «реализуется в языке». Нестабильная ситуация, которая не позволяет А. Д. покинуть пространство лингвистики, не позволяет ему и замкнуться в тех или иных собственных пределах.

Эта ситуация имеет несколько парадоксальные последствия: в то время как А. Д. никогда, по сути дела, не вторгается в поле лингвистики, он в то же время требует от занимающихся им разнообразных и довольно точных знаний функционирования языка в массиве текстов, которые предполагается исследовать.

В А. Д. невозможно механически «применять» лингвистические понятия и методы. Изучая тексты, аналитик не имеет никаких оснований для преимущественного рассмотрения одного явления в ущерб какому-либо другому. Если аналитик изучает определенный способ именной суффиксации, или определенную синтаксическую операцию, или определенный лексический корпус, то он исходит при этом только из гипотез, основанных одновременно на точном знании особенностей своего предмета и возможностей, которые, по его мнению, a priori может предоставить рассмотрение данных элементов языка. Чтобы быть эффективной, конкретная процедура анализа в А. Д. предполагает выработку строго определенных гипотез, которые последующее исследование позволит подтвердить или отвергнуть. В противном случае возникнет риск получить ничего не значащий вывод: слепо применяя какой-либо лингвистический метод анализа к различным текстам, исследователь достигает результата, о котором можно сказать только, что это результат применения данного анализа к данным текстам... Лингвистика привлекается в таком случае только как доказательство научности исследования, с ее помощью не создается реальных знаний о предмете.

Этот опосредованный характер отношения исследователя к своему предмету проявляется через не-эмпирическую трактовку предполагаемых текстуальных «данных». Установление границ архивного документа не происходит, разумеется, само по себе, оно требует дискурсного и экстрадискурсного знания. В зависимости от поставленных целей исследователь может извлечь различные *корпусы* из дискурсной поверхности (корпус слов, корпус фраз того или иного типа и т. д.) и подвергнуть их определенным манипуляциям и обработке. Расчленение этих корпусов на части зависит от выбранного метода анализа. Постепенно все большую значимость для определения этих методов в А. Д. стали приобретать критерии, являющиеся внутренними по отношению к дискурсу. Элементы, казавшиеся a priori важными по причинам социоисторического характера, оказывались на самом деле незначимыми для изучаемого текста. Отнюдь не выступая последовательно одно за другим, различные знания о тексте, на которые опирается А. Д., должны быть соединены, взаимно корректируя друг друга, по мере развития исследования. При отсутствии этого результат анализа может оказаться простой проекцией изначальных экстрадискурсных гипотез.

Как бы то ни было, существенными при этом остались два момента: интерес к языковым проявлениям субъективности, кото-

рый был отодвинут на второй план в исследовании Соссюра, а также критика языковой семантики с ее универсалистскими тенденциями.

*А. Д. в школе Мишеля Пешё** Вопрос о дискурсе явился подлинным узловым пунктом сплетения фундаментальных вопросов об отношениях между языком, историей и субъектом.

Попытаемся представить движение теоретической мысли, которая зародилась во Франции в обстановке 60-х годов под знаком «стыковки», как это тогда называлось, трех «китов»: Лингвистики, Исторического материализма и Психоанализа. Смелые дерзания мысли, великие интеллектуальные замыслы казались возможными в эпоху, когда структурализм торжествовал, когда лингвистическая «наука» добилась решительных успехов, когда альтюссерианский марксизм потрясал тяжеловесные основы коммунистической ортодоксальности, обновив размышление об идеологии, и «позволял» открыть выход на психоанализ (см. статью Альтюссера «Фрейд и Лакан», 1964). Понятие дискурса и связанный с этим понятием анализ зародились в обстановке теоретической мысли собственно французского содержания и создали условия для возникновения как бы «поперечного» по отношению к общему направлению научного подхода.

Опишем это интеллектуальное созидание со всеми его переделками, изгибами, критическими поправками и с его наивысшей точкой, которой стала книга Мишеля Пешё «Les vérités de La Palice» («Прописные истины»), вышедшая в свет в 1975 году.

Интеллектуальное движение, о котором идет речь, на полном ходу столкнулось с крутым переломом в теоретической мысли Франции (ее зарождение следует отнести к 1975 году), который в свою очередь связан с разрывом единой программы левых сил. Этот перелом тесно сочетался с обесценением политической сферы, с отступлением в сферу частного, с возвращением субъекта.

В книге «Прописные истины» М. Пешё, опираясь на работу Альтюссера, затрагивал параллелизм между очевидностью смысла и очевидностью субъекта. Вопрос о субъекте дискурса оказался связанным с вопросом об *обращении* субъекта в идеологии и с настойчивым поиском соотношения с субъектом бессознательного. Теория дискурса в рамках теории идеологий формировалась так же, как теория материальности смысла, которая стремилась обосновать феномен необходимой иллюзии субъекта, воображающего (себе), что он является властелином своей речи и источником того, что он говорит.

---

* Здесь многие конкретные данные об А. Д. взяты из статьи Д. Мальдидье: M a l d i d i e r Denise. (Re) lire Michel Pêcheux aujourd'hui // P ê c h e u x M. L'inquiétude du discours. Paris: Editions des Cendres, 1990, p. 7—91.

В трудах М. Пешё и его группы постепенно пересматривалась идея полного, без срывов и осечек, подчинения субъекта: если субъект так сильно подчинен, если «это всегда так», то как следует представлять «подавляемые идеологии» и сопротивление?

В исходных позициях этого подхода главное было сохранено: три основных понятия — интердискурс, преконструкт и интрадискурс, — которые утверждали мысль о том, что дискурс образуется из дискурсного всегда-уже-здесь существовавшего, что «оно говорит» всегда «до, вне, независимым образом» и что «неутвержденная предикация предшествует и господствует над утвержденной предикацией».

М. Пешё в строгом смысле слова не создал школы. Однако он способствовал выработке понятий и процедуры анализа новой дисциплины во Франции и в других странах, в частности в Латинской Америке. Парадоксально, что при этом впоследствии во Франции А. Д. стал чем-то обыденным, он утратил значение взрыва, которым обладал при своем возникновении. Тем не менее осталась проблематика, которая при дальнейшем разрабатывании с позиций М. Пешё направлялась на создание дискурсных объектов под тройным напряжением: системности языка, историчности и интердискурсности. В более глубоком смысле М. Пешё был по своей исследовательской манере современником М. Фуко, Ж. Лакана и Ж. Деррида. Его труд отражал идеи всех тех ученых, которые занимались речевой деятельностью и проблемой языка в его отношении к субъекту и истории.

Основные этапы А. Д. во Франции. В 1969 году выходит в свет книга М. Пешё с провокационным названием: «Автоматический анализ дискурса». Речь идет о первоначальном наброске фундаментальной работы над текстами, их прочтением и смыслом. Размышляя, как и философы Г. Кангилем и Л. Альтюссер, над вопросами истории наук и идеологии, М. Пешё разрабатывает критику гуманитарных и общественных наук. Деятельность Пешё проходит в эпоху широкого распространения наук, которые называют гуманитарными, особенно социальной психологии. М. Пешё главным образом оспаривает право называть *наукой* дисциплины, которые, будучи сосредоточены на психологическом субъекте, не признают или не хотят признавать их связи с идеологией и которые к тому же претендуют на прерогативы научности, заимствуя методики у статистики и лингвистики. Введение в книгу Пешё открывается критикой указанных методик, имеются в виду подсчеты частотности и варианты контент-анализа, в нем же подвергается критике применение структурализма в самых разнообразных областях знаний. В противовес всему этому предлагаемое исследование М. Пешё должно стать, по мнению автора, «машиной для чтения», которая ос-

вободит процесс чтения от субъективности. Разрабатывается, таким образом, теория дискурса, способная стать общей теорией производства эффектов значения, связанной с теорией идеологии и с теорией бессознательного.

Три имени появляются с этого момента в работе Пешё, объединяемых под шутливым названием «Тройственное согласие»: Маркс, Фрейд и Соссюр.

И с этого времени *дискурс* определяется как понятие, которое нельзя смешивать ни с эмпирической речью, производимой субъектом, ни с текстом: это понятие ниспровергает всякую узкокоммуникативную концепцию языка. Становится понятным при этом, почему так важно отношение А. Д. к Соссюру. В отличие от социолингвистических проблематик *дискурс,* созданный Пешё, ни в коей мере не является «преодолением» соссюровской дихотомии язык/речь.

Основа положения, которое в терминах эпистемологии того времени Пешё называет «соссюровским переломом», кроется в представлении языка как системы. И когда он излагает свою концепцию значения, он имеет в виду соссюровскую значимость. Но симметрия соссюровской дихотомии язык/речь, по мнению Пешё, является ложной. «Все происходит, — пишет он, — как если бы научная лингвистика (имея своим предметом язык) отбрасывала в качестве ненужного остатка научное понятие свободного субъекта, мыслимого в качестве обязательной изнаночной стороны, необходимого коррелята системы». Пешё представляет *дискурс* как новое формулирование соссюровской речи, освобожденное от субъективных импликаций. С этого момента вырабатывается основное положение, которое не будет подвергаться изменениям: следует постоянно придерживаться точки пересечения *языка,* рассматриваемого в строго соссюровском понимании системы, и ограничений, несводимых к лингвистическому порядку, как и к психологическому, картезианскому, свободному субъекту.

Ограничением при производстве дискурса является все то, что помимо языка делает некий дискурс определенным дискурсом; таким образом, имеется в виду формирующая дискурс социально-историческая ткань. Текст, целостность которого отсылает к элементу, связанному с одним каким-либо субъектом или с одним каким-либо институциональным организмом, оказывается распыленным. Текст обладает значением только в соответствии с условиями его производства, а также и в соответствии с условиями его толкования. Текст, вопреки обычным представлениям, не формируется связующими его элементами. Здесь, таким образом, впервые формулируется мысль, которая станет центральной в развитии А. Д., мысль о том, что не-высказанное, имплицитное является составным во всяком дискурсе. Эта мысль приведет к выработке понятия «интердискурс».

К началу 70-х годов становится очевидным, что проблематику высказывания уже нельзя игнорировать. Речь идет не о той ее психологизирующей форме, которая преобладала в прагматике, при которой «субъект» считался властелином своих коммуникативных намерений, вступающим в контакт с другими субъектами при вербальном взаимодействии, имелось в виду, напротив, рассуждение о *стирании* субъекта высказывания. Это рассуждение противостояло любой возможной типологии, поскольку оно вскрывало способность идеологических дискурсов к подражанию научному дискурсу. В это время также выдвигается тезис об оппозиции утвержденной и неутвержденной предикации, которая лежит в основе главного положения о примате интердискурса над интрадискурсом.

В 1971 году в статье «Семантика и соссюровский перелом: язык, речевая деятельность, речь» Пешё совместно с Кл. Арош и П. Анри вступает в область лингвистики, в частности посредством критики наивных очевидных истин семантики, будто бы находящейся внутри системы языка. Он также задается вопросом о неоднозначной роли ведущей науки, которую играет лингвистика для ряда других дисциплин. Предположение о неоправданности и метафоричности расширения лингвистических понятий на другие науки делает закономерным обращение к работе Соссюра, а именно к фундаментальному вопросу о том, что́ *может* дать лингвистика, когда речь идет о *значении*?

Пешё полагал, что основой «соссюровского эпистемологического перелома» является подчинение значения значимости. Из двух терминов, соотношение между которыми не очень ясно представлено у Соссюра, Пешё связывает первый, *значение*, с речью и с субъектом, а второй, *значимость*, — с языком. Вопреки привычному для того времени прочтению Соссюра Пешё выделяет понятие *значимости*. Это прочтение отрывает язык от субъективных проблематик. Тем не менее текст «Курса общей лингвистики» позволяет в силу своей неоднозначности вернуться назад; в частности, например, когда речь идет о роли *аналогии*, которая, несмотря на усилия Соссюра соединить ее с языком, возвращает назад к речи и к индивидуальному субъекту.

Критикуя распространение структурализма на всю совокупность гуманитарных и общественных наук, Пешё отвергает универсальный метод «всестороннего анализа человеческого духа», Науку наук, которая игнорирует главное: общественные отношения. Взамен этому предлагается *дискурсная семантика*. Значение, предмет семантики, превосходит компетенции лингвистики, науки о языке. Семантика не выводится только из лингвистики. Новое понимание основывается на глубинном интуитивном представлении о том, что системность в языке нельзя представлять как непре-

рывную совокупность разных уровней. За пределами фонологического, морфологического и синтаксического уровней, описание которых позволяет соссюровская теория, семантика не является еще одним уровнем, аналогичным предыдущим. Это объясняется тем, что «связь, которая существует между «значениями», присущими данному тексту, и социально-историческими условиями возникновения этого текста, является отнюдь не второстепенной, а составляющей сами эти значения». Теория Пешё направлена одновременно и против постсоссюровской структуральной семантики, перенесшей фонологическую модель в область смысла, и против универсальных семантик, основанных на генеративной теории. Таким образом, *дискурс* эксплицитно связывается с *идеологией:* «Идеологические формации [...] содержат по необходимости в качестве своих составных частей одну или несколько взаимосвязанных дискурсных формаций, которые определяют то, что может и должно быть сказано (в форме наставления, проповеди, памфлета, доклада, программы и т. д.) в соответствии с определенной позицией и при определенных обстоятельствах» (процитированная статья).

Здесь следует отметить, что в июне 1970 года в журнале «La Pensée» публикуется статья Л. Альтюссера «Идеология и государственные идеологические аппараты»*. Статья имела особое значение для интеллектуального мира Франции, Она снабдила новым интеллектуальным инструментарием всех тех, кто занимался изучением социальных отношений. С одной стороны, идеологический аппарат рассматривался как средство, способствующее воспроизводству производственных отношений в руках господствующего класса и тем самым позволяющее представить материальность идеологий внутри самого функционирования институционных организмов. С другой стороны, Альтюссер с помощью теории «обращения» выдвинул новую категорию: категорию *субъекта идеологии.*

Напомним русскому читателю, что французское слово *sujet* переводится на русский язык как «сюжет», «субъект», «подлежащее» и «подданный»**. Три последних значения взаимно налагаются друг на друга при употреблении Альтюссером слова *sujet.*

Вернемся к теории М. Пешё. Рассуждения Пешё о дискурсе подводили его непосредственно к точке пересечения языка и идеологии, при этом идеология образовывала «посреднический уровень между индивидуальным своеобразием и универсальностью». Исследователи, занимающиеся дискурсом, все без исключения утверждали самостоятельное существование дискурсного уровня, в противоположность исследованиям, которые признавали только

* *La Pensée.* Juin, 1970, p. 3—38.

** В подлиннике на русском языке. — *Прим. перев.*

существование языка или смешивали дискурс с идеологией. Ранее, разрабатывая понятие дискурса, Пешё отвергал все, что возвращало к субъекту, все практические исследования и теории, которые принимали индивидуального субъекта за чистую монету. В своем аппарате автоматического анализа дискурса он предложил методику прочтения текста, взрывавшую целостность пишущего или читающего субъекта. Вопрос о субъекте в его работах был основанием для критики, некой навязчивой идеей.

Статья Альтюссера с его тезисом о том, что «идеология превращает индивидов в субъектов», давала Пешё возможность провести параллель между очевидностью смысла текста и очевидностью субъекта. Сравните: «Как все очевидные истины, например: "Слово обозначает предмет" или "Слово обладает значением" (включая, таким образом, очевидные истины, вытекающие из "прозрачности" языка), — очевидная истина, заключающаяся в том, что "Вы и я являемся субъектами" — и что это само собой разумеется, — представляет собой элементарный идеологический эффект» (Альтюссер).

Со стороны языка оставалось еще одно важное недостающее звено, которое позволило бы теории дискурса опираться на языковые явления. Таким недостающим звеном оказался вопрос о *преконструкте,* который в свою очередь связывался с концептом *интердискурса.* Уже в своих первых трудах Пешё отмечал значение понятий пресуппозиции и импликации, разрабатываемых во Франции лингвистом Освальдом Дюкро. Тем самым закладывался первый камень в фундамент будущей теории; имелось в виду отношение дискурса к «уже услышанному», «уже имеющемуся». Именно понятие пресуппозиции послужило источником возникновения преконструкта М. Пешё и Поля Анри. Концепт преконструкта образовался из критического прочтения Г. Фреге и О. Дюкро. Пешё в книге «Прописные истины» (1975) и Поль Анри в книге «Плохой инструментарий: язык, субъект и дискурс» (1977)* оспаривают позицию О. Дюкро по фундаментальным вопросам субъекта и значения. Перенося на лингвистическую почву проблему пресуппозиции у логика Фреге, Дюкро затрагивал важнейший момент дискурса. Рассматриваемый с точки зрения логики, вопрос о пресуппозиции касался несовершенства естественных языков, в их отношении к референту: определенные конструкции, дозволяемые синтаксисом естественных языков, «предполагают» наличие референта независимо от утверждения субъекта. На основе данного явления Дюкро,

* Paul H e n r y. Le Mauvais Outil: langue, sujet et discours. Paris: Klincksieck, 1977. Вопрос о пресуппозиции является в этой книге отправной точкой для размышления над отношениями между языком и бессознательным, языком и идеологиями, а также для размышления об «эпистемическом статусе лингвистики».

с учетом некоторых изменений, предлагает интерпретацию, которую можно было бы определить как логико-прагматическую и которая соединяет определенное прочтение Фреге с отдельными положениями англосаксонской философии, в частности философии Стросона. Элементы пресуппозиции определяют рамку, в которой должен разворачиваться любой диалог. Они занимают место, согласно рассуждениям Дюкро, среди иллокутивных актов, с помощью которых говорящий, используя силовые отношения, образуемые языковой игрой, расставляет ловушку для получателя своей речи. Таким образом, они включаются в теорию речевых актов.

Для Мишеля Пешё и Поля Анри, напротив, вопрос о пресуппозиции касается непосредственно отношений синтаксиса и семантики, он находится именно в той точке, в которой дискурс соединяется с языком. Не имея ничего общего с логистической интерпретацией, синтаксические структуры, допускающие присутствие определенных элементов, вне эксплицитного утверждения субъекта, трактуются как *следы предшествующих конструкций*, как комбинации языковых элементов, уже сформулированные в прошлых дискурсах и которые в них и черпают свой эффект очевидного присутствия. Исходя из этого, философский и логический термин пресуппозиции должен был быть заменен. Новое понятие *преконструкта*, не имеющее никакого логического значения, представляло собой переформулирование понятия «пресуппозиция» на основе теории дискурса*. Оно позволяло осмыслить и представить понятие *интердискурса*, которое стало основным концептом всех теоретических положений М. Пешё.

---

* Во французском языке слово *préconstruit* «преконструкт» входит в синонимический ряд слов со значением «полуфабрикат, предварительная заготовка, деталь-заготовка» и т. п., например une maison préconstruite «блочное домостроительство». — *Прим. ред.*

Михаил Тростников

Перевод и интертекст с точки зрения поэтологии*

> Самая буквальность русских переводов подчеркивает их безнадежную неверность.
>
> *И. Анненский*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Одной из основных задач, стоящих перед всякой научной дисциплиной, является задача определения базового уровня, на котором производятся исследования в данной дисциплине и, следовательно, определение основных реалий, подвергающихся исследованию. Очевидно, что поэтология по своей сути, целям и задачам, которые сформулированы в первой главе данной работы, имеет дело прежде всего с текстами. Не вдаваясь в теоретическую дискуссию относительно определения понятия текст, воспользуемся наиболее подходящим нам определением И. Р. Гальперина, согласно которому текст есть *«произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа»*[1].

Однако приведенное определение нуждается в некоторой конкретизации. В этой связи представляется необходимым ввести понятия *микротекст* и *макротекст*. Под *микротекстом* понимается *любой обладающий внутренней завершенностью отрывок цельного литературного произведения (глава из романа, строфа из стихотворения, отрывок из рассказа)*. Под *макротекстом* понимается *совокуп-*

---

* Глава из книги «Поэтология» (М.: Грааль, 1997).

ность объединенных общим эстетико-философским содержанием текстов отдельного автора (цикл стихотворений, поэтический сборник, книга рассказов, а в отдельных случаях весь корпус текстов данного автора).

Наконец, особое значение для поэтологии имеет понятие *интертекст*, т. е. «*совокупность всех возможных подтекстов и данного текста*»[2] или, в более широком аспекте, совокупность всех возможных интерпретаций аллюзий и параллелей, имплицитно содержащихся в данном тексте. Интертекст представляет собой «как бы единый цельный организм. Чем больше связей этого интертекста удастся установить и обосновать, тем лучше для интерпретации произведения», основная задача которой — «"перевести" стереомерный язык произведения на линейный метаязык анализа с возможно меньшей потерей смысла»[3].

В рамках поэтологии теория интертекста может быть рассмотрена в трех основных аспектах:

1) прямое заимствование, цитирование, включение в поэтический текст всказывания принадлежащего другому автору («Как хороши, как свежи были розы» — И. Мятлев, И. Тургенев, И. Северянин);

2) заимствование образа, некий намек на образный строй другого произведения («Не жалею, не зову, не плачу» С. Есенина и IV глава поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души»);

3) заимствование идеи, миросозерцания, способа и принципа отражения мира. Это наиболее трудновычленимое заимствование, которое подразумевает полное копирование чужеродной эстетики без использования идей другого автора в своем творчестве (так, поэтика В. Маяковского представляет собой поэтику А. Рембо, механически перенесенную на русскую почву).

Каждый из этих трех аспектов заслуживает отдельного скрупулезного анализа, поэтому, перечислив их, остановимся на самом, с нашей точки зрения, любопытном аспекте, имеющем отношение к взаимодействию различных национальных культур, т. е. к аспекту переводческому.

Любой перевод представляет собой трансплантацию некоторого эстетического явления на не свойственную ему, чужеродную почву. Однако, если предпринимается попытка перевода текста, созданного в рамках культуры, принципиально отличной от культуры языка переводчика (скажем, из китайской или персидской поэзии), то правомерно говорить лишь о создании некоего общего представления о художественном произведении; если же перевод осуществляется с языка на язык в пределах одной культуры (скажем, с немецкого на русский), то бытование переводного текста в рамках иной национальной культуры способно обогатить подтекстовую структуру оригинала, создав тем самым интертекст интер-

культуры. Прекрасной иллюстрацией сказанному является «Песня Миньоны» И. В. Гете, ставшая в переводе В. А. Жуковского своеобразным манифестом русского романтизма, а впоследствии превратившаяся, по словам Ф. И. Тютчева, в «общее место российской поэзии», поскольку количество переводов и, соответственно, интерпретаций этого текста превысило все мыслимые размеры.

В данной главе мы попытаемся раскрыть оба обозначенных в заглавии аспекта анализируемой проблемы с точки зрения поэтологии, посвятив первую часть анализа созданию интертекста интеркультуры, вторую — собственно переводу и теснейшим образом с ним связанной проблеме поэтического*.

ИНТЕРТЕКСТ ИНТЕРКУЛЬТУРЫ

Для анализа интеркультурных связей удобно воспользоваться образом, придуманным Л. Н. Гумилевым: большой исторический микроскоп, при помощи которого можно в той или иной мере наблюдать происходящие события[4]. Большая степень приближения позволит увидеть общекультурные взаимовлияния, обнажит понятие «национального духа»; взаимодействие культур станет подобным игре на фортепиано в четыре руки: при совпадающей мелодии и диссонансе в басах (аналогом которого может послужить базовый культурный фон — cultural background knowledge) вместо унисона слышится какофония[5]. При более сильном увеличении станут заметны течения, направления, школы, стили, которые, образуя различные комбинации, создают причудливую ткань литературной жизни эпохи, включающую и отдельных представителей мира искусств. Таким образом реализуется известный постулат А. Бюффона: un style — c'est un homme. Наконец, при максимальном увеличении можно выйти на уровень отдельного текста — нечленимого атома, из которого впоследствии составляются мозаичные панно более высоких уровней обобщения.

Именно уровень отдельного текста станет основным в нашем дальнейшем анализе. На примере перевода И. Анненским стихотворения П. Верлена «Bon chevalier masqué» мы попытаемся проследить, как обычный поэтический текст превращается в интертекст интеркультуры.

Сравним оригинальный и переводной тексты.

Bon chevalier masqué qui chevauche en silence,
Le Malheur a percé mon vieux coeur de sa lance.

* Из второй части здесь взята лишь ее первая половина. — *Прим. ред.*

Le sang de mon vieux coeur n'a fait qu'un jet vermeil,
Puis s'est évaporé sur les fleurs, au soleil

L'ombre éteignit mes yeux, un cri vint à ma bouche,
Et mon vieux coeur est mort dans un frisson farouche.

Alors le chevalier Malheur s'est rapproché,
Jl a mis pied à terre et sa main m'a touché.

Son doit ganté de fer entra dans ma blessure
Tandis qu'il àttestait sa loi d'une voix dure.

Et voici qu'au contact glacé du doit de fer
Un coeur me renaissait, tout un coeur pur et fier.

Et voici que, fervent d'une candeur divine,
Tout un coeur jeune et bon battit dans ma poitrine!

Or je restait tremblant, ivre, incrédule un peu,
Comme un homme qui voit des visions de Dieu.

Mais le bon chevalier, remonté sur sa bête,
En s'éloignant, me fit un signe de la tête

Et me cria (j'entends encore cette voix):
«Au moins, prudence! Car c'est bon pour une fois».

* * *

Первое стихотворение из сборника «Sagesse»

Мне под маскою рыцарь с коня не грозил,
Молча старое сердце мне Черный пронзил,

И пробрызнула кровь моя алым фонтаном,
И в лучах по цветам разошлася туманом.

Веки сжала мне тень, губы ужас разжал,
И по сердцу последний испуг пробежал.

Черный всадник на след свой немедля вернулся,
Слез с коня и до трупа рукою коснулся.

Он, железный свой перст в мою рану вложив,
Жестким голосом так мне сказал: «Будешь жив».

И под пальцем перчатки целителя твердым
Пробуждается сердце и чистым и гордым.

Дивным жаром объяло меня бытие,
И забилось, как в юности, сердце мое.

Я дрожал от восторга и чада сомнений,
Как бывает с людьми перед чудом видений.

А уж рыцарь поодаль стоял верховой;
Уезжая, он сделал мне знак головой,

И досель его голос в ушах остается:
«Ну, смотри. Исцелить только раз удается».

Сравнение подстрочника с переводом показывает достаточно высокую точность стихотворного перевода, в котором многим французским реалиям найдены четкие соответствия, учитывающие специфику восприятия текста в русле русской стихотворной традиции.

Так, амбивалентность неизвестного рыцаря, одновременно приносящего и зло, и добро, в оригинале передана анафорическими антонимами *bon* и *malheur*. Анненский заменяет эти два эпитета одним — *черный*, который в первом же двустишии превращается в субстантивированное имя собственное.

Отметим, что *Черный* ближе по значению к *Le Malheur*, но французское слово подразумевает однозначно отрицательные коннотации, в то время как в русском языке существуют две взаимоисключающие традиции употребления этого цветового символа: фольклорная, где черный — цвет ночи, дьявола, злых сил, и романтическая, согласно которой черный — цвет Ночи, времени сна тела и бодрствования души. Первое явление всадника не дает возможности определить, добро или зло несет он, и здесь перевод Анненского вполне правомерен. Исключительно удачен перевод французского *«n'a fait qu'un»* крайне редко употребляющимся русским глаголом *«пробрызнуть»*. Некоторое стилистическое несоответствие немаркированного французского выражения и экспрессивного русского глагола имеет более глубокие корни, чем элементарная стилистическая неточность перевода, и связана с общей тональностью русского текста, отличной от оригинала. Но с семантической точки зрения эффект, подчеркивающий внезапность и интенсивность излияния крови из открытой раны, передан весьма точно.

Ряд мелких замен (*soleil — лучи, bouche — губы, yeux — веки*) обусловлен особенностями поэтики Анненского, поэтики «метонимической», как неоднократно отмечали исследователи творчества поэта[6]. Перечень подобных мелких расхождений между оригиналом и переводом не входит в наши задачи. К тому же дословный, буквальный перевод практически невозможен[7]. В данном случае особый интерес представляют два момента, существенно отличающие перевод Анненского от оригинала: появление в текстово сильных позициях ключевых слов идиостиля Анненского[8] и принципиально иная стилистическая окраска текста.

Крайне важные для восприятия Анненского слова *ужас, испуг, чад* не имеют четких соответствий во французском тексте. Так, *un cri* (крик) Верлена преобразуется в *ужас, un frisson* (дрожь) — в *испуг*, вместо *incrédule un peu* (некоторая недоверчивость) — *чад сомнений.*

Несмотря на близость мировосприятий Анненского и Верлена, несмотря на то, что сам поэт неоднократно говорил о своей любви к Верлену, они являются разными художниками, их миросозерцания нельзя смешивать, а принципы, характерные для строения ху-

дожественного текста Верлена, нельзя распространять на поэтику Анненского.

Основная особенность языка Верлена заключается в том, что он сознательно избегает изысканных стилистических оборотов, сложных грамматических конструкций, выражает свою мысль предельно простым, зачастую разговорным языком. Таким образом создается контраст между насыщенным, полным страстей внутренним содержанием текста и отсутствием формальной внешней экспликации лирического конфликта.

Именно этими особенностями поэтики Верлена обусловлено отсутствие стилистической маркированности текста. Романтическая традиция предполагала обязательное подчеркивание неординарности описываемого, величия происходящего на всех уровнях организации текста. Именно в соответствии с этой традицией поступает при переводе Анненский, употребляя архаизмы: лексические (*персты, немедля, объять, досель*), словообразовательные (*маскою, разошлася*), грамматические (*до трупа рукою коснулся*). Ориентация на «теорию трех штилей» Тредиаковского—Ломоносова подчеркивается изобилием глагольных рифм, свойственных русской поэзии XVIII в. и практически изжитых в поэзии века XX.

Рассказ о духовном перерождении героя завершается у Верлена нарочито сниженно. Выражение «*au moins*» не имеет точного русского эквивалента. Во французском языке оно используется для смягчения высказывания, его нейтрализации. В некоторых случаях аналогом этого выражения может служить русское «*по крайней мере*». У Аненского же заключительная фраза становится приговором высшего судии: «*Ну, смотри. Исцелить только раз удается*».

Весь сборник «Sagesse», открывающийся этим стихотворением, задуманный и частично написанный Верленом во время тюремного заключения, содержит достаточно неожиданные для его творчества религиозные мотивы, чем значительно отличается от более ранних произведений поэта. Свое заключение Верлен рассматривал как наказание за предшествующую распутную жизнь, и именно в тюрьме, как свидетельствуют биографы, он на краткий период обрел определенный духовный стержень, осознал наличие божества в себе.

Однако, изменившись внутренне, Верлен не изменил своей поэтической манере. Свойственное ему конкретное, «вещное» мышление отразилось на представлении о религии, связанном в первую очередь с конкретной церковной атрибутикой, предметами культа собственно церковной службой. Иначе говоря, религиозное обращение явилось для Верлена естественным событием, органически входящим в контекст обыденной жизни. Поэтому в сборнике «Sagesse» иные темы, сюжеты, объекты описания, но те же стиль, тон, тембр поэтического языка, что и в раннем творчестве поэта.

Отношение Анненского к религии было более сложным. Не вдаваясь в подробности, отметим его интерес к ориентальным религиям, в частности, к буддизму, на который накладывалось сознание отсутствия благодати, невозможности уверовать так, как веруют дети, как веровал Верлен (см. напр. стихотворение «Буддийская месса в Париже»).

В то же время Анненскому присущ некий мистический страх, отношение к религии как к чему-то возвышенному, недоступному. Критикуя протестантство Л. Толстого, он пишет: «Для нас, нетолстовцев, Евангелие совершенно особая книга <...> В церкви наши лучшие минуты, когда нам читают Евангелие, и всякий раз в бессмертных словах на *дорогом для нас за свою чуждость ежедневному языке* мы воспринимаем освежающую душу новизну (выделено нами. — *М. Т.*)»[9].

Обыденность, естественность, «нормальность» религии Верлена и «чуждость ежедневности», новизна, экстраординарность религии Анненского — в этом различие между двумя столь близкими по мировосприятию и стилю поэтами, именно здесь кроется глубинная причина принципиального отличия перевода Анненского от оригинала Верлена. Углубление противоречий, подчеркивание контрастов, большая экспрессия — все это черты, привнесенные в текст переводчиком.

Переводя французских поэтов, Анненский ставил перед собой не только творческие, но и просветительские задачи. Выбирая по одному, наиболее характерному с его точки зрения стихотворению, он пытался обобщить основные идеи и способы их выражения, свойственные данному поэту, и сконцентрировать их в одном тексте. Поэтому название сборника указывается в заглавии перевода, а не приводится по первой строчке, как это сделано у Верлена.

Сборник «Sagesse» посвящен проблеме обретения веры, это — поэтическое описание прозрения, озарения, духовного посвящения лирического героя. В русской литературе существует поэтический текст, который воспринимается как образец описания такого события — стихотворение А. С. Пушкина «Пророк». Сила поэтической традиции, эмблематичность самой фигуры Пушкина в контексте русской национальной культуры привели к тому, что носитель данной культуры всякое стихотворение, посвященное миссии поэта, вольно или невольно воспринимал под знаком пушкинского «Пророка».

«Вживляя» в русскую культуру чужеродный по образной системе и символическому подтексту текст Верлена, Анненский не мог не прибегнуть к совмещению двух столь далеких друг от друга поэтических культурологических традиций. Результатом этого явился архаизированный язык перевода, возвышенность описания, выводящая текст за рамки ординарного, в то время как у Верлена —

нарочитая сниженность, отсутствие пафоса в описании, например, включение такого экстраординарного события как поэтическое (божественное) откровение в контекст будничности. Поэтому разница между оригиналом и переводом, между Верленом и Анненским лежит не только в области поэтического, сколько в области национально-духовного.

Французская литература представляет собой «сочетание высокой художественности и низкого уровня духовности»[10] и этим она отлична от русской, проникнутой идеями мессианства, вестничества. Если русская литература развивалась «вглубь» (подчас в ущерб внешней, формальной, собственно литературно-художественной стороне), то литература французская развивалась «вширь». Поэтому правомерно говорить о том, что особенности национальных литературных традиций наложили отпечаток на анализируемые здесь произведения. Описание Верленом определяющей для поэта встречи с посланцем иных, высших миров заключено в рамки обыденности, прозаичности, что отражается на эмоциональной окрашенности описания, которое лишь слегка опоэтизировано отзвуками рыцарских легенд. Перевод же Анненского содержит черты, характерные одновременно для двух противоположных поэтических сознаний: французского и русского.

Следовательно, обретая бытование в рамках иного национального менталитета, текст Верлена включается в орбиту иной культуры, становясь тем самым своеобразным мостом между двумя культурными сознаниями. Однако, в совокупности своей и русская, и французская культуры определяют особенности одной общей культуры, европейской или «фаустовской» (см. гл. 2)*. Тем самым текст Верлена приобретает черты текста интеграционного, стирающего грани между узконациональным культурологическим менталитетом. Такого рода текст, правомерно называть интертекстом интеркультуры, анализ которого выводит на уровень межкультурного общесемиотического сопоставления, раскрывающего понятие «*транснациональный дух*».

ПЕРЕВОД И ПРОБЛЕМА ПОЭТИЧЕСКОГО

Наиболее тесно общность восприятия понятия «поэтического» представителями различных литератур проявляется в области переводов ряда хрестоматийных текстов, ставших не просто произведениями словесного искусства, но своеобразными знаками определенного

* Автор, М. В. Тростников, имеет в виду главу своей книги «Поэтология». — *Прим. ред.*

миросозерцания, в которых воплощены как основные принципы структуры и организации поэтического текста, так глубинные особенности определенного социокультурного менталитета.

Одним из таких текстов является стихотворение П. Верлена «Il pleure dans mon cœur», ставшее фактом не только французской, но и русской литературы. Рассмотрим ряд особенностей этого текста и некоторые возможные пути его переложения на иной язык[11].

Основной особенностью лирики Верлена является то, что в его стихотворениях «ничего не происходит. В них нет событий, никаких! Герой верленовской лирики, его "я" не совершает поступков... Душа — таково место действия почти всех стихотворений Верлена. Нередко в них и не отличишь, где кончается внешний мир и начинается внутренний»[12]. Рассматриваемое стихотворение вошло в сборник «Romances sans paroles» («Песни без слов»), само название которого говорит о «стремлении поэта усилить музыкальную окраску стихотворения», о стремлении именно «через музыку познать себя и вселенную»[13].

Il pleut doucement sur la ville

(Arthur Rimbaud)

Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville;
Quelle est cette langueur
Qui penétre mon cœur?
O bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits!
Pour un cœur qui s'ennuie
O le chant de la pluie!
Il pleure sans raison
Dans ce cœur qui s'ecoeure.
Quoi! Nulle trahison?..
Ce deuil est sans raison.
C'est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon cœur a tant de peine!

Это известнейшее стихотворение является квинтэссенцией философии творчества Верлена, хрестоматией его поэтической образности. «Вопль отчаяния, боль нежной и чуткой души, которая жаждет света, жаждет чистоты, ищет Бога и не находит, хочет любить людей и не может»[14], составляющие основное внутреннее содержание лирики Верлена, эксплицированы в этом стихотворении наиболее явно. В то же время именно в нем наиболее совершенное воплощение получили мотивы «взаимопроникновения душевной жизни

и природы, воображения и реальности, иронии и трагизма, точного слова и растворяющего его контуры музыкального напева, прошлого и настоящего»[15].

Однако наиболее интересен для нас в данном случае способ выражения инвариантных идей поэтики Верлена. Стихотворение «Il pleure dans mon coeur» написано подчеркнуто простым языком. Стилистически нейтральная лексика, отсутствие сложной метафорики (за единственным исключением, о котором речь пойдет ниже), элементарные синтаксические конструкции, — все эти характерные для данного текста черты привели к тому, что одно из наиболее сложных, концептуальных стихотворений Верлена обязательно включается в начальные курсы французского языка, являясь одним из первых стихотворений, с которыми знакомится каждый начинающий изучать этот язык. Это подчеркнутое противопоставление немаркированной формы маркированному содержанию, отсутствие вербальной экспликации лирического конфликта, контраст между внешним и внутренним содержанием и составляет основу единовременного контраста, который неразрывно связан с «poésie pure» в терминологии А. Бремона.

Стихотворения, основанные на принципе ЕК*, весьма трудно поддаются переводу. Известно, что переводить, к примеру, А. Вознесенского или В. Маяковского значительно легче, нежели Пушкина и Баратынского, поскольку найти эквивалент обнаженному «конструктивистскому» образному приему проще, чем передать язык, далекий «и от аллегорической определенности, и от сочности метафорических уподоблений», язык «многосмысленный» и «бесконечно зыбкий» [по выражению Е. Г. Эткинда в указ. раб. — *Прим. ред.*].

Рассмотрим четыре самых часто публикуемых перевода этого стихотворения, что позволит провести некоторые параллели воплощения ЕК в русской и французской поэтической речи.

Сердце тихо плачет,
Словно дождик мелкий,
Что же это значит,
Если сердце плачет?

Падая на крыши,
Плачет мелкий дождик,
Плачет тише, тише,
Падая на крыши.

* Буквами ЕК автор обозначает «единовременный контраст», который противопоставляет «драматургическому контрасту», ДК. — *Прим. ред.*

И, дождю внимая,
Сердце тихо плачет.
Отчего, не зная,
Лишь дождю внимая.

И ни зла, ни боли!
Все же плачет сердце,
Плачет оттого ли,
Что ни зла, ни боли?

(И. Эренбург, 1914)

Наибольшую сложность для переводчика вызывает первая строка стихотворения. «По-французски говорят "*il pleut*" — идет дождь, точнее, "дождит", но сказать "il pleure" — что-то вроде «плачется» — нельзя. Верлен ставит рядом:

Il pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville

(буквально: «*Плачется в моем сердце, как дождит над городом*»). Неожиданная форма "il pleure" приравнивает душевное состояние к жизни природы — так создается небывалая образность, которую можно назвать «грамматической метафорой» [Выражение Е. Г. Эткинда — *Прим. ред.*].

Начало стихотворения являет собой чеканную формулу, сопоставимую с «*odi et amo*» Катулла: сочетание простоты и глубины смысла практически не поддается переводу. Особая роль этой метафоры (единственной в тексте!) заключается в том, что она дает ключ ко всей образной структуре лирики Верлена, так что адекватность перевода первой строки наглядно демонстрирует степень глубины проникновения переводчика в суть поэтики Верлена.

Илья Эренбург находит самый простой выход из этого положения, который, однако, оказывается наименее удачным. Сознательное упрощение лексической и грамматической структуры текста, органичное у Верлена, становится нелепым в переводе: фраза «*Что же это значит, если сердце плачет?*» сильно напоминает детские стишки. Замена сложной грамматической метафоры банальным сравнением («*Сердце тихо плачет, словно дождик мелкий*»), активное использование глагольных рифм, назойливое повторение ключевых слов и сочетаний, напрашивающаяся (учитывая содержание текста) аллитерация на сонорные превращают жемчужину мировой лирики в экзерсиции недоучившегося гимназиста.

II

Хандра

И в сердце растрава,
И дождик с утра.

Откуда бы, право,
Такая хандра?

О дождик желанный,
Твой шорох — предлог
Душе бесталанной
Всплакнуть под шумок.

Откуда ж кручина
И сердца вдовство?
Хандра без причины
И ни от чего.

Хандра ниоткуда
На то и хандра.
Когда не от худа
И не от добра.

(Б. Пастернак, 1940)

Перевод Б. Пастернака — наиболее известный из всех переводов анализируемого стихотворения, где нашли свое выражение основные принципы, которыми руководствовался поэт в своей переводческой деятельности, основной из которых — «намеренная свобода, без которой не бывает приближения к большим вещам»[16]. Будучи сторонником «вольного перевода», который, по замечанию М. Гаспарова, «стремится, чтобы читатель не чувствовал, что перед ним — перевод <...> и поэтому насилует стиль подлинника»[17], Пастернак регулярно «заслоняет собою переводимых поэтов»[18], что и произошло в рассматриваемом случае.

Французское «*langueur*» переводится на русский язык как «*слабость, вялость, изнеможение, апатия, томность, истома, нега, томление*»[19]; «*хандра*», стоящая в одном синонимическом ряду с такими словами как «скука, тоска, досада», скорее, звучало бы по-французски как «*ennui*» (ср.: «*ennui*» — скука, пресыщенность [когда нечто надоело], огорчение, докука, забота, досада»)[20]. Однако, помимо номинативных различий «*langueur*» и «*хандра*» обладают различными коннотативными и стилистическими характеристиками. В то время как «*langueur*» — нейтральное, стилистически немаркированное слово, не обладающее ярко выраженными закрепленными в языке коннотациями, «*хандра*» — слово экспрессивно-сниженное, чаще употребляемое в разговорной речи и имеющее вполне однозначные закрепленные в языке коннотативные семы. Еще Пушкин писал про «недуг, которого причину давно бы отыскать пора». Противопоставление английского spleen'а русской «хандре» как противопоставление «модной» скуки от безделья[21] российской тоске от неуемности души и неустроенности существования имеет давние корни и достаточно подробно проанализировано в цикле эссе М. Эпштейном, И. Померанце-

вым и целым рядом других исследователей. Озаглавив стихотворение, т. е. поставив стилистически маркированное коннотативно окрашенное слово «хандра», обладающее закрепленными национально-культурными ассоциациями внутри российского социума, в абсолютно сильную текстовую позицию, Пастернак тем самым однозначно определил свой метод работы с иноязычным поэтическим текстом. Суть этого метода заключается в максимальной культурологической русификации переводимого текста, в передаче «простоты идеальной и бесконечной, которой был прост Верлен»[22] «изобразительными средствами, которыми располагает <...> родной язык, в частности и в особенности язык народный»[23]. А поскольку «Пастернак-поэт питает особое пристрастие к просторечию»[24], то в тексте Верлена появляются слова *«растрава»*, *«кручина»*, *«худо»*, *«вдовство»*, выражения *«откуда бы, право»*, *«под шумок»* и т. д. Иными словами, внутренний, имплицитный конфликт между формой и содержанием Верлена Пастернак подменяет эксплицированной пост-романтической антитезой внутреннего и внешнего, т. е. текстообразующим композиционным принципом оригинала является единовременный контраст (ЕК), перевода — драматургический контраст (ДК).

III

Песня без слов

Сердце исходит слезами,
Словно холодная туча...
Сковано тяжкими снами,
Сердце исходит слезами.

Льются мелодией ноты
Шелеста, шума, журчанья,
В сердце под игом дремоты
Льются дождливые ноты...

Только не горем томимо
Плачет, а жизнью наскуча,
Ядом измен не язвимо,
Мерным биеньем томимо.

Разве не хуже мучений
Эта тоска без названья?
Жить без борьбы и влечений
Разве не хуже мучений?

(И. Анненский, 1904)

Переводческая деятельность И. Анненского, так же как и Б. Пастернака, неотделима от его оригинального литературного творче-

ства. Приведенный перевод из Верлена впервые появился в печати в составе второй части сборника «Тихие песни», первая часть которого включала оригинальные стихотворения поэта. Признанный специалист в области французской литературы и страстный поклонник Верлена[25], Анненский вместе с тем одним из первых познакомил русского читателя с творчеством французских поэтов второй половины XIX в. Таким образом, раздел «Парнасцы и проклятые» сборника «Тихие песни» являет собой своеобразную хрестоматию «новейшей европейской поэзии», которая, по мнению Анненского, оказала определяющее влияние на лирику российского декаданса (см. статью «О современном лиризме»). Следовательно, перевод Анненского преследовал не столько эстетические, сколько просветительские цели, чем и обусловлен ряд особенностей перевода.

В отличие от Пастернака, поставившего в абсолютно сильную позицию заглавия ключевое слово, вербализующее инвариантную тему текста, тем самым изначально определив поставленные перед переводом цели («переводчик создает нечто совсем иное, совсем не похожее на оригинал, но обманывающее нас иллюзией полного сходства»[26]), Анненский дал стихотворению заглавие сборника, из которого взят текст — «Песня без слов» [«Romances sans paroles»]. Тем самым поэт определил цели перевода: создать своеобразную хрестоматию образов сборника французского поэта, ввести его в круг российской словесности, познакомить с его творчеством читающую публику.

Эти цели определяют особенности перевода, который можно уподобить ряду концентрических окружностей с единым центром. Иначе говоря, поэт выбирает определенный образ в тексте оригинала (как правило, ключевой), буквально, почти дословно переводит строку, вербализирующую этот образ, а затем создает ряд вариаций на ключевые темы стихотворения, сборника или идиостиля переводимого поэта. Подобный подход был обусловлен теоретическими воззрениями Анненского, смело вводившего рифму и шестистопный ямб в трагедии Еврипида, следовавшего завету Жуковского о том, что переводчик в прозе — раб, в поэзии — соперник, и весьма скептически относившегося к школе буквалистов (см. эпиграф к данной главе).

Ключевыми строками стихотворения Верлена, как уже отмечалось выше, являются начальные строки, содержащие инвариантный образ всей лирики поэта. Для перевода Анненский выбирает эвфемистическую конструкцию «*сердце исходит слезами, словно холодная туча*», особенность которой заключается в том, что по своей структуре оно является сравнением, а по семантике — парадоксом-перевертышем, основанном на смешении правой и левой частей сравнения. Эвфемизмы, употребляемые Анненским для обозначения дождя («*слезы*», «*сны*», «*ноты*»), эпитеты, встречающиеся в периф-

растических конструкциях («тяжкие», «холодные») характерны для лирики Верлена и во многом определяют особенности его идиостиля. В то же время оригинальность грамматической конструкции ключевой метафоры текста передана Анненским при помощи нагнетания пассивных конструкций в третьем четверостишьи, которые, с одной стороны, не являются нарушением грамматических норм русского языка, а с другой стороны весьма нехарактерны для нормативной речи (*«горем томимо, жизнью наскуча»*). Богатая аллитерационная палитра текста создает звуковой образ льющегося дождя, причем, образ чисто мелодический, музыкальный, что опять-таки является воплощением в жизнь завета Верлена из «Искусства поэзии».

Таким образом, перевод Анненского, существенно отличаясь от оригинала по формальным признакам, весьма точен с точки зрения структурно-семантической и образной. Построенное по принципу ЕК, донельзя музыкальное, стихотворение Анненского является своеобразной хрестоматией принципов образности Верлена и, шире, декаданса.

IV

Над городом тихо накрапывает дождь

Артюр Рембо

Сердцу плачется всласть,
Как дождю за стеной.
Что за темная власть
У печали ночной?
О напев дождевой
На пустых мостовых!
Неразлучен с тоской
Твой мотив городской!
Сердце плачет тайком —
О какой из утрат?
Это плач ни о ком.
Это дождь виноват.
Это мука из мук —
Не любя, не скорбя,
Тосковать одному
И не знать, почему.

(А. Гелескул, 1969)

В отличие от Анненского, Пастернака, Эренбурга А. Гелескул — в первую очередь переводчик, и лишь потом — поэт. Следовательно, перед ним стояла принципиально иная задача, чем перед авто-

рами остальных переводов — передать на ином языке в максимально близкой оригиналу форме семантику текста, сохранив при этом его образность, чтобы не владеющий французским языком русский читатель смог представить себе особенности данного конкретного текста. С одной стороны, отсутствие более глобальных целей, подобных тем, что ставили перед собой Пастернак и Анненский, подразумевающее максимально точное следование тексту, несколько облегчает задачу переводчика, но, с другой стороны, подобная постановка проблемы требует максимального «растворения» в оригинале, поиск адекватных оригиналу грамматических конструкций, особое внимание к лексическим средствам перевода и т. д.

Первым показателем того, что перед нами именно перевод, а не хрестоматия образов и не вариации на тему является наличие эпиграфа, совершенно излишнего с точки зрения целей, поставленных перед собой Пастернаком и Анненским.

Очень точно найден эквивалент ключевой фразе текста, глагол «плакаться» в безличной форме в русском языке практически не употребляется, хотя система языка это позволяет (нам удалось найти всего один пример такого употребления глагола в оригинальном тексте — «Сидишь, одергиваешь платьице, и плачется тебе, и плачется» — А. Вознесенский). Сохранение оригинальной конструкции перевернутого сравнения в первых двух строках позволяет считать их перевод максимально точным.

Однако главной удачей перевода Гелескула является сохранение в нем той простоты и одновременно емкости стихотворного текста Верлена, о которой писал Пастернак (см. выше). Третье четверостишье перевода, состоящее из синтаксически простых и при этом лексически очень «точных» фраз позволяет, с одной стороны, не перегружать текст малоупотребительными в живом разговорном языке словами, как это получилось у Пастернака, и не превращать прекрасное лирическое стихотворение в детский лепет, как это получилось у Эренбурга.

Перевод любого стихотворного текста, тем более, если этот текст общеизвестен и носит хрестоматийный характер, фактически является акцией «интеркультурной», что подразумевает опору переводчика на предполагаемые фоновые знания адресата его перевода. Тонкие семантические различия между французскими «*langueur*» и «*ennui*» переданы посредством аллюзии на пушкинскую «Зимнюю дорогу», стихотворение, известное каждому русскому со школьных лет, в котором виртуозно обыгрываются оттенки значений слов *«тоска»*, *«грусть»*, *«скука»*, *«печаль»* (у Гелескула — *«печаль»*, *«тоска»*, *«скорбь»*, *«мука»*).

Таким образом, на примере последнего перевода можно наглядно продемонстрировать принципиальную возможность адекватной передачи стихотворного текста средствами иного языка на всех уров-

нях: фонетическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом, стилистическом и композиционном. Принцип ЕК, являющийся основным структурообразующим принципом перевода Гелескула, последовательно претворяется в выборе слов, синтаксических конструкций, морфологических форм, стилистической окраске текста.

Примечания

1. *Гальперин И. Р.* Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981, с. 18.
2. *Павлов М. С.* Принцип «семантического эха» в Третьей воронежской тетради О. Э. Мандельштама: Автореф. дис... канд. филол. наук. М.: МПГУ, 1994, с. 9.
3. *Павлов М. С.* Цит. соч., с. 5—6.
4. *Гумилев Л. Н.* Поиски вымышленного царства. Л., 1974.
5. Аналогия между интеркультурными контактами и игрой на фортепиано заимствована у Р. Роллана, см.: *Роллан Р.* Три откровения. М., 1965.
6. См. напр.: *Жирмунский В. М.* Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л.: Наука, 1977; *Смирнов И. П.* Художественный смысл и эволюция поэтических систем. М.: Наука, 1977; *Эйхенбаум Б.* О поэзии. М.: Наука, 1969 и др.
7. Нам известно только два примера подобного рода: перевод «Завещания» Джо Хилла, выполненный М. Зенкевичем, и пушкинский перевод «Покаянной молитвы» св. Ефрема Сирина (впрочем, последний представляет успех весьма относительный, ср. след. замечание по этому поводу: «Внедрение эстетической стихии в область религиозного откровения ни к чему достойному не приводит ни для искусства, ни для религии» — *Филиппов Б.* Путь поэта // Заболоцкий Н. Стихотворения. W.D.C. — N.Y., Inter-language Literary Associates, 1965, p. XLIV).
8. Статистический анализ языка лирики Анненского в сопоставлении с языком французского декаданса см.: *Тростников М.В.* Язык лирики Анненского (лингвостатистческий аспект) // Научно-техническая информация. М., 1992. (Сер. 2. Информационные процессы и системы. № 4).
9. *Анненский И.Ф.* Книги отражений. М.: Наука, 1979, с. 68.
10. *Андреев Д.Л.* Роза мира. М.: Прометей, 1991, с. 178.
11. Более полный корпус переводов этого стихотворения на русский язык и их краткий анализ с чисто переводческих позиций см.: Вглубь одного стихотворения. Поль Верлен. Песня без слов / Перевод с французского. Вступление А. Гелескула // Иностранная литература. 1995. № 7. с. 247—253.
12. *Эткинд Е. Г.* Лирика Поля Верлена // Верлен Поль, Лирика. М., 1969, с. 7—8.

13. *Тимашева О. В.* Сиянье мраку вопреки // Paul Verlaine. Poésies. I., Éditions du Progress, 1977, с. 13.
14. *Горький М.* Поль Верлен и декаденты // Собр. соч., т. 23. М.: ГИХЛ, 1953, с. 125.
15. *Эткинд Е. Г.* Лирика Поля Верлена.., с. 13.
16. *Любимов Н. И.* Предисловие // Звездное небо: Стихи зарубежных поэтов в переводе Б. Пастернака. М., 1966, с. 6.
17. *Гаспаров М.* Брюсов и буквализм // Поэтика перевода. М.: Радуга, 1988, с. 48.
18. *Любимов.* Цит. соч., с. 10.
19. *Ганшина К. А.* Французско-русский словарь. М.: Русский язык, 1987, с. 487.
20. *Редкин А. П.* Французско-русский словарь. Спб., 1906, с. 426.
21. «Я отвечал, что <...> разочарование как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к нижним, которые его донашивают <...> Штабс-капитан <...> покачал головою и улыбнулся лукаво: «А все, чай, французы ввели моду скучать? — Нет, англичане» (М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»).
22. *Пастернак Б.* Поль-Мари Верлен // Литература и искусство. 1 апреля 1944 г., с. 4.
23. *Любимов.* Цит. соч., с. 7.
24. *Любимов.* Цит. соч., с. 13.
25. «Но дохнули розы плена // На замолкшие уста, // И под музыку Верлена // Будет петь моя мечта» («Не могу понять, не знаю»).
26. *Левик В.* Лев Гинзбург. Опыт литературного портрета // Поэтика перевода. М.: Радуга, 1988, с. 226.

Григорий Амелин,
Валентина Мордерер

О сюжетах в бессюжетном (О стихотворении Осипа Мандельштама «Дайте Тютчеву стрекозу...»)

Hier atmet wahre Poesie...*
H. Heine

I' vidi ben, si com' ei ricoperse
Lo cominciar con l' altro, che poi venne,
Che fur parole alle prime diverse.
Dante Alighieri. «Divina Commedia»[1]

...Это было все что угодно, но не язык,
все равно — по-русски или по-немецки.
О. Мандельштам. «Шум времени»

Сюжет этого бессюжетного шуточного стихотворения Осипа Мандельштама — «Дайте Тютчеву стрекозу...» (1932) — возникает намного раньше, и его анализ придется начать издалека. Русская поэзия непредставима без пира: от сниженного образа самого забубенного пьянства — и до возвышенного, философски патетического «разума великолепного пира». Как сказал поэт, поэзия — это «воспламененное сознание», conscience ardente. Пастернак, зажигая греческий смысл слова «пир» — «огонь», пишет в 1913 году:

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь
И в них твоих измен горящую струю.
Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,
Рыдающей строфы сырую горечь пью.

Мандельштам откликается на пастернаковские «Пиршества» с законной горечью и гордостью лишенца:

* Здесь дышит истинная поэзия... (Г. Гейне)

Кому зима — арак и пунш голубоглазый,
Кому душистое с корицею вино,
Кому жестоких звезд соленые приказы
В избушку дымную перенести дано. (II, 36)[2]

В 1928 году Пастернак переписывает свои стихи:

Наследственность и смерть — застольцы наших трапез.
И тихою зарей — верхи дерев горят —
В сухарнице, как мышь, копается анапест,
И Золушка, спеша, меняет свой наряд. (I, 58)[3]

Большой любитель общего дела Валерий Брюсов решает принять участие в «Пьянстве» — именно так называлось в черновике его стихотворение «Симпосион заката», написанное 15 августа 1922 года (возможно, сразу после выхода в свет мандельштамовского «Кому зима — арак и пунш голубоглазый...»):

Все — красные раки! Ой, много их, тоннами
По блюдам рассыпал Зарный Час (мира рьяный стиль!),
Глядя, как повара, в миску дня, монотонными
Волнами лили привычные пряности.

Пиршество Вечера! То не «стерлядь» Державина,
Не Пушкина «трюфли», не «чаши» Языкова!
Пусть посуда Заката за столетья заржавлена,
Пусть приелся поэтам голос «музык» его;

Все ж, гулящие гости! каждый раз точно обух в лоб —
Те щедрости ветра, те портьеры на западе!
Вдвое слушаешь ухом; весь дыша, смотришь в оба, чтоб
Доглотнуть, додрожать все цвета, шумы, запахи![4]

Сейчас не так важно, оправдание это или порицание большевизма «красных раков» (Мандельштам увидит этот Закат в «сапожках мягких ката», палача — III, 318), чувство собственного конца или стремление завершить традицию, закавычить застолье, пропеть и пропить закат самого симпосиона. Пиршество на этом не закончилось. Создавая в тридцатые «Стихи о русской поэзии», Мандельштам возвращается к теме:

Сядь, Державин, развалися, —
Ты у нас хитрее лиса,
И татарского кумыса
Твой початок не прокис.

Дай Языкову бутылку
И подвинь его бокал.
Я люблю его ухмылку,
Хмеля бьющуюся жилку
И стихов его накал. (III, 66)

«Симпосион заката», павший на годовщину гибели Блока и Гумилева, написанный сразу после смерти Хлебникова («наследственность и смерть — застольцы наших трапез»), и не скрывает трагический смысл этого пира — «пира во время чумы». Брюсовский текст, как и сборник «Меа», куда он входит, стоит как бы на полпути от пастернаковских «Пиров» к «Дайте Тютчеву стрекозу...» Мандельштама. «Дайте Тютчеву стрекозу...» — вне поэтических пиров, но в каком-то смысле возникает из них (см. начало «Стихов о русской поэзии»). От трапезы Брюсов переходит к сотрапезникам и загадкам их имен:

Книг, бумаг, рифм, спаренных едва лишь,
Тает снег, дрожа под лунной грудью;
Гей, Геката! в прорезь *туч ты* валишь
Старых снов, снов *буйных буршей* груду.

Разгадка этих строк содержится в этом же стихотворении, «Современная осень» (1922):

Ночь, где ж ты, с твоей смертельной миррой,
Ночь Жуковских, *Тютчевых*, всех *кротких?*
Метки редких звезд в выси надмирной —
Меди длинных стрел с тетив коротких[5].

«Буйный бурш» — футурист и «кроткий» юродивый — Хлебников, зарифмовавший имя Тютчева с тучей:

О, достоевскиймо бегущей тучи!
О, пушкиноты млеющего полдня!
Ночь смотрится, как Тютчев,
Безмерное замирным полня. (II, 89)[6]

Вероятно, за это «достоевскиймо» тучи Хлебников и был назван на языке самого Достоевского «кротким». И еще в «Маркизе Дэзес»:

О Тютчев туч! какой загадке,
Плывешь один, вверху внемля?
Какой таинственной погадка
Тебе совы — моя земля? (IV, 233)

Отвечая на чужие, Мандельштам загадывает и свои загадки. Три раздела «Стихов о русской поэзии» — три века российского стихотворства: XVIII, XIX, XX. Сначала поэты названы по именам, потом — эхом цитат, а двадцатый век описан фауной и флорой прекрасного смешанного леса. К «Стихам о русской поэзии» и «Батюшкову» примыкает тогда же написанное «Дайте Тютчеву стрекозу...», его условно можно рассматривать как пятое в цикле. Но есть еще и шестое, появившееся тогда же, — «К немецкой речи». Мы настаиваем на том, что оно примыкает к циклу. Но тог-

да с чем связано обращение в «Стихах *о русской* поэзии» к *немецкой* речи?

Латинское germano означает «родной» или «брат». Именно об этом напоминает поэт в разгар братоубийственной Первой мировой войны:

Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея. (I, 127)

Вольнолюбивая гитара Рейна оплакивает равно уходящих в пучину забвения и смерти русалок Руси и Лорелей Германии, декабристов и их немецких собратьев, волновавшихся о «сладкой вольности гражданства». Но Лета, роднящая *чистоту Рейна* и *«волю Волги»* (Бальмонт), все-таки не река забвения («сии дела не умирают!», — уверен Мандельштам), она — символ стремления к родной свободе речи (реки), сладкой перепутанности, слитности языковых стихий. «Декабрист» Мандельштама — спор со «Старыми усадьбами» (1913) Николая Гумилева:

Русь бредит богом, красным пламенем,
Где видно ангелов сквозь дым...
Они ж покорно верят знаменьям,
Любя свое, живя своим[7].

Гумилевская Русь бежит чужого и нового, в ней любят свое и живут только своим. Все стихотворение, начиная с заглавия, обволакивается ключевым словом «Русь», являющимся формообразующим началом структуры и самой фонетической ткани стиха: «ста*р*ые *ус*адьбы» — «разб*рос*аны» — «*рус*ая головка» — «*сур*овая» (Русь) — «не *расс*таться с амулетами» — «*Рус*со»[8]. Русь, где покорно верят знаменьям и живут своим, выплывает «бледной русалкой из заброшенного пруда». С такими амулетами Мандельштам спешит расстаться. Но по его собственному признанию, разговор с Гумилевым никогда не обрывался, и «К немецкой речи» — его продолжение.

Чьей дружбой был разбужен юный поэт Мандельштам, когда он «спал без облика и склада»? Кто поставил «вехи»? Кто «прямо со страницы альманаха, от новизны его первостатейной» сбежал «в гроб ступеньками, без страха»? Конечно, Гумилев. Родная немецкая речь говорит о Гумилеве судьбою и стихами поэта-офицера Клейста, «любезного Клейста, бессмертного певца Весны, героя и патриота», как назвал его Карамзин[9]. Из Клейста и взят эпиграф «К немецкой речи»: «Друг! Не упусти (в суете) самое жизнь. / Ибо годы летят / И сок винограда / Недолго еще будет нас горячить!». Аналогия судеб требует разгадки имен, а она еретически проста: *нем.* Kleister — «клей», как и Gummi (Клейст / Гумилев)[10].

Без немецкой речи нам «Дайте Тютчеву стрекозу...» не разгадать. Тут бы мы рискнули заметить, что не все, что пишется по-русски, — по-русски же и читается. Итак:

Дайте Тютчеву стрекозу —
Догадайтесь почему!
Веневитинову — розу.
Ну, а перстень — никому.

Боратынского подошвы
Изумили прах веков,
У него без всякой прошвы
Наволочки облаков.

А еще над нами волен
Лермонтов, мучитель наш,
И всегда одышкой болен
Фета жирный карандаш.

И еще две строфы, которые в вариантах были соответственно второй и пятой:

Пятна жирно-нефтяные
Не просохли в купах лип,
Как наряды тафтяные
Прячут листья шелка скрип.

А еще, богохранима
На гвоздях торчит всегда
У ворот Ерусалима
Хомякова борода[11].

Каждый поэт получает свою аттестацию. Вручение тому или иному поэту особого атрибута нуждается в разгадке, к которой настойчиво призывает сам автор: *«Догадайтесь почему!»*. Но всяк уже отличен гербовым, эмблематическим клеймом имени. Между именем и предметом возникает парабола. Догадаться — означает заполнить арку этого воздушного моста смысла. «Жирный карандаш» Фета — подсказка. В каком-то смысле каждый получает не только то, что вмещает семантическое лоно его имени, но и то, чем он пишет и творит. Фет верховодит одышливым и жирным карандашом. Боратынский — посохом небесного странника. Веневитинов, как дитя, потянувшееся за цветком и погибшее, пишет розой как собственным телом; А. Дельвиг скажет о нем: «Юноша милый! на миг ты в наши игры / вмешался! / Розе подобный красой, как Филомела, / ты пел»[12]. Лермонтов, суровый учитель, владеет линейкой-каноном, воздушным отвесом между горней высотой и могилой. Хомякову, как крестоносцу пародии, вручен гвоздь от охранительных врат славянофильства. Не отмыкание, а заколачивание, не стигмат, а прибитая борода. Перстень не вручается никому, ибо кольцо — не ключ, а сам образ входа, дырка от бублика.

Ушедший из туч Тютчев получает в дар странную стрекозу. Этот неожиданный дар объясним, если обратиться к стихотворению, написанному два года спустя и посвященному А. Белому:

Как *стрекозы* садятся, не чуя воды, в камыши,
Налетели *на мертвого жирные карандаши.* (III, 83)

И еще из «10 января 1934 года»:

Весь день твержу: печаль моя *жирна*...
О Боже, как *жирны* и синеглазы
Стрекозы смерти, как лазурь черна. (III, 83)

Мандельштам в юности откликался на энтомологический пассаж Белого из «Зимы» (1907)[13]:

Пусть за стеною, в дымке блеклой,
Сухой, сухой, сухой мороз,
— Слетит веселый рой на стекла
Алмазных, блещущих стрекоз.

(сб. «Урна»)[14]

Из мандельштамовского «Камня»:

Медлительнее снежный улей,
Прозрачнее *окна* хрусталь,
И бирюзовая вуаль
Небрежно брошена на стуле.

Ткань, опьяненная собой,
Изнеженная лаской света,
Она испытывает *лето,*
Как бы не тронута *зимой,*

И если в ледяных алмазах
Струится *вечности мороз,*
Здесь — трепетание *стрекоз*
Быстроживущих, синеглазых.

(1910;1,49–50)[15]

Но эти милые создания никак не походят на своих устрашающих сестер из (условного) цикла на смерть Андрея Белого. Между тем несомненно, что в погребальное стихотворение смертоносные стрекозы вместе с жирными карандашами попали именно из «Дайте Тютчеву стрекозу...». С чем же связано превращение невиннейшей стрекозы в жирное чудовище смерти, принадлежащее Тютчеву?

В раннем стихотворении Мандельштама противостоят два цвета, два времени года и два мира. Снаружи — весь свет, огромный мир, рефрежираторная вечность; он тверд, как алмаз, лед зимы и медлительного спокойствия. Внутри — человеческое, комнатное, маленькое и обжитое пространство, изнеженное лето; бирюзовый, синеглазый мир краткой жизни и опьянения свободой. Между этими двумя мирами — прозрачный хрусталик окна, дарующий при-

стальность и дальнобойность видениям поэта. «Окн», «Окнос» — в греческой мифологии персонаж царства мертвых, старик, плетущий соломенный канат, пожираемый с другого конца ослом. Он символ вечной работы. Такому наказанию Окнос подвергся за то, что никак не хотел умирать. Отсюда и его имя, которое в переводе означает «медлительный». С этого и начинается текст: «Медлительнее снежный улей...». Подспудно уподобляя себя греческому герою, поэт на деле предельно расподобляется с ним. Его труд не напрасен и не пожирается вечностью — «узора милого не зачеркнуть».

Краткоживущая стрекоза отвечает лапидарной сжатости и краткости самой поэтики Тютчева. Тынянов в статье «Промежуток» (1929), во-первых, говорит о том, что у Мандельштама всегда есть *«один* образ», который служит «ключом для всей иерархии образов», что на грани гротеска и было предъявлено поэтом в «Дайте Тютчеву стрекозу...». А во-вторых, Тынянов сравнивает Мандельштама с Тютчевым, находя у них общность в емкости и лапидарности поэтических высказываний, приводящей к скупости печатной продукции: «Мандельштам — поэт удивительно скупой — две маленьких книжки, несколько стихотворений за год. И однако же поэт веский, а книжки живучие. Уже была у некоторых эта черта — скупость, скудность стихов; она встречалась в разное время. Образец ее, как известно, — Тютчев — "томов премногих тяжелей". Это неубедительно, потому что Тютчев вовсе не скупой поэт; его компактность не от скупости, а от отрывочности; отрывочность же его — от литературного дилетантизма»[16]. Двусмысленность тыняновской оценки позволяла принять обвинения в дилетантизме на свой счет. И Мандельштам принял вызов.

Ю. М. Лотман называл Тютчева поэтом катастрофы. «Тютчев мне распахнулся <...> как облако молнией», — признавался Белый[17]. Как и гроза у Тютчева, разрушающая и творящая, убивающая и воскрешающая, тютчевская туча Мандельштама также соединяет оба полюса — жизнь и смерть. *«Тот* же *Тютчев»* (II, 376) обнажает теперь в своем имени смысл *нем.* tot — «мертвый»[18]. Мы подозреваем, что Мандельштам само «Т» воспринимал как эмблематически-буквенное выражение летящей стрекозы с распростертыми крылышками. «Стрекозы смерти» — это «жирные карандаши», обратное столь же верно: «на мертвого жирные карандаши» «налетели», «как стрекозы». «Блаженна стрекоза, разбитая грозой...», — возвестит Хлебников (II, 257). Гете называл стрекозу «попеременной» (wechselnde). Но для Мандельштама она не только включает в себя противоположности, но меняет, обменивает. Она — единица «творящего обмена». Немецкое fett — «жирный, тучный». То есть тучный Тютчев подобен жирному Фету (это — не шутка). «Людей мы изображаем, чтобы накинуть на них погоду», по замечанию Пастернака (IV, 161). Это не значит, что сначала нечто

изображается, а потом на него, как сачок, набрасывается погода. Вещь может быть схвачена и выражена только погодой. «Все живое образует вокруг себя род атмосферы», — говорил Гете[19]. Ни для Пастернака, ни для Мандельштама никакое изображение невозможно без погоды, атмосферы. Сначала — метеорология, потом антропология. И метеорология этого стихотворения — в том смысле, в каком сам Мандельштам говорит о поэтической метеорологии в «Разговоре о Данте», — субстанциональная основа и первоматерия каких-то целостных и взаимосвязанных событий, а не метеосводка имен и разрозненных атрибутов.

Поэзия — это тавтология в самом плодотворном смысле этого слова. Строка «Фета жирный карандаш» тавтологична в целом, потому что «жирный карандаш», «литографский карандаш», использующийся для рисунка по камню — *нем.* Fettkreide (Kreide — «мел»)[20].

Одна из многочисленных и недоброжелательных рецензий на второе издание мандельштамовского «Камня» содержала упрек, которым он тут же с блеском воспользовался в собственных языковых играх. Сподвижник Горького А. Н. Тихонов под псевдонимом А. Серебров писал в «Летописи» (1916): «В общем, "Камень" О. Мандельштама — тверд, холоден, прекрасно огранен самыми изысканными стихотворными размерами, хорошо оправлен рифмами, но все же блеск его — *мертвый — тэтовский*». Жирный карандаш журналистики налетел со страниц журнала на сей раз на самого Мандельштама. «Безжизненность» мандельштамовской поэзии обыгрывалась названием известной фирмы Тэта, производившей искусственные, поддельные драгоценности.

Откликаясь на «океаническую весть» о смерти Маяковского[21], Мандельштам в «Путешествии в Армению» использует тот же прием. На фоне Totentanz современников, букашек-писак на тризне поэта, сам Маяковский сияет фальшивым бриллиантом Тэта: «На дальнем болотном лугу экономный *маяк* вращал бриллиантом *Тэта*. И как-то я увидел *пляску смерти* — брачный танец фосфорических *букашек*. Сначала казалось, будто попыхивают огоньки тончайших блуждающих пахитосок, но *росчерки* их были слишком рискованные, свободные и дерзкие. Черт знает куда их заносило! Подойдя ближе: электрифицированные сумасшедшие поденки подмаргивают, дергаются, вычерчивают, пожирают черное чтиво настоящей минуты. Наше плотное тяжелое тело истлеет точно так же и наша деятельность превратится в такую же сигнальную свистопляску, если мы не оставим после себя вещественных доказательств бытия. [Да поможет нам кисть, резец и голос и его союзник — глаз.]» (III, 197)[22]. Жирные карандаши журналистики — игра на «жир/жур», т. е. франко-немецком jour (день), от которого и происходит слово «журналистика» («весь день твержу: печаль моя жирна»)[23].

Утонченная игра со смертью в раннем стихотворении:

От легкой жизни мы сошли с ума:
С утра вино, а вечером похмелье.
Как удержать напрасное веселье,
Румянец твой, о нежная чума? <...>
Мы смерти ждем, как сказочного волка,
Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка. (I, 96)

Ответить на вопрос, почему первым должен умереть тот, у кого тревожно-красный рот, будет крайне сложно, если не видеть межъязыковой каламбур, построенный на трех языках — русском, немецком и французском: «Но я боюсь, что *раньше* (*франц.* tôt) всех *умрет* (*нем.* Tod; tot) / *Тот,* у кого тревожно-*красный* (*нем. rot*) *рот...*»[24]. Хорошей иллюстрацией к языковой игре Мандельштама служит рассуждение Вернера: «Я пытаюсь удержать слово rot (красный) в его непосредственном выражении; но вначале оно носит для меня сугубо поверхностный характер, это только знак, соединенный со знанием его значения. Оно само даже не красное. Но внезапно я замечаю, что слово пробивает себе дорогу в моем теле. Это — ощущение (которое трудно описать) своего рода приглушенной полноты, которая наводняет мое тело и в то же время придает моей ротовой полости сферическую форму. И именно в этот момент я замечаю, что слово, запечатленное на бумаге, получает собственную экспрессивную нагрузку, оно является передо мной в сумеречно-красном ореоле в то время, как буква "о" представляет интуитивно ту самую сферическую впадину, которую я ранее ощутил внутри моего рта»[25].

Умерший совсем юным Дмитрий Веневитинов в стихотворении Мандельштама олицетворяет жизнь (vita) и получает розу[26]. Эта роза отсылает не к традиционалистскому образу русской поэзии XIX—XX веков, а к мандельштамовской философии природы:

«Растение — это *звук* <...>, воркующий в перенасыщенной *волновыми* процессами сфере. Оно — посланник *живой грозы,* перманентно бушующей в мироздании, — в одинаковой степени сродни и *камню,* и *молнии! Растение в мире — это событие,* происшествие, стрела, а не скучное бородатое развитие!» (III, 194).

С перстнем же связана жуткая макабрическая история, которая длилась почти столетие и достигла своей кульминации как раз ко времени создания мандельштамовского текста. В июне 1931 года, в связи с тем, что на территории Данилова монастыря был организован приемник для несовершеннолетних правонарушителей, упразднялось и монастырское кладбище. Началось «массовое» вскрытие могил, эксгумация и перенесение «праха русской литературы»

на Новодевичье кладбище. Подробное описание этого оставил Вл. Лидин, свидетель и очевидец очередного всплеска «любви к отеческим гробам»[27].

Одно из стихотворений Веневитинова так и озаглавлено — «К моему перстню»:

Ты был отрыт в могиле пыльной,
Любви глашатай вековой,
И снова пыли ты могильной
Завещан будешь, перстень мой.
<...>
Века промчатся, и быть может,
Что кто-нибудь мой прах встревожит
И в нем тебя откроет вновь;
И снова робкая любовь
Тебе прошепчет суеверно
Слова мучительных страстей,
И вновь ты другом будешь ей,
Как был и мне, мой перстень верный[28].

«Верный талисман», перстень из раскопок Геркуланума, подаренный Веневитинову Зинаидой Волконской, по его же завещанию друзья положили в гроб. В 1930 году при перенесении праха перстень был снят с руки и передан в Литературный музей. Вряд ли об этом мечтал поэт, предсказывая свое загробное расставание с верным перстнем. Снятие перстня — осквернение праха, но и присвоение не меньший грех. «Перстень — *никому*», — настаивает Мандельштам. В вечной смене жизни и смерти этот «любви глашатай вековой» — талисман самой Поэзии, он принадлежит всем и никому. Из разверстого гроба, где похоронена поэтическая жизнь, как Веспер, восходит перстень — символ неизбежного торжества поэзии над смертью[29].

Имя «Боратынский» — композиционный центр стихотворения, узел загаданной шарады. В развязывании такого узла, в его «узнавании», — предупреждает Мандельштам, — «росток, зачаток и — черточка лица или полухарактера, полузвук, окончание имени, что-то губное или небное, сладкая горошина на языке» (III, 195). Имя предстает как особый организм — совокупность невидимых отношений, силовых линий и пульсаций, когда любой из малых элементов обладает своей самостоятельной сферой распространения и особого роста. Внутренний закон такого радикального становления смысла не подчиняется никаким извне полагаемым законам. Костяк имени Боратынского — **брт(н)**, «обнаженный костяк слова», как сказал бы Хлебников, — обрастая языковым мясом, приобретает весьма причудливые формы[30]:

а) raten — «отгадывать»; Rätsel — «загадка» («догадайтесь почему?»).

b) Wegbereitung — «прокладывание пути»; Wegbereiter — «человек, прокладывающий путь». Такое прочтение имени Боратынского подготовлено самим Мандельштамом: *«Подготовка* [Bereitung] речи еще более его (Данте — *Г. А., В. М.)* сфера, нежели сама артикуляция» (III, 252). Это, конечно, и о себе[31]. Поэтическая речь — вечное движение, путь, путешествие, потому что, по Мандельштаму, «говорить — значит всегда находиться в дороге» (III, 226). О «Божественной комедии»: «В песни ясно различимы две основных части: световая, импрессионистическая *подготовка* и стройный драматический рассказ Одиссея о последнем *плаваньи...»* (III, 237). Поэзия есть умение рифмовать отсутствующие слова (рифмовать присутствующие каждый дурак может): bereit («готовый к чему-л., на что-л.») и bereist («много путешествующий»).

И наконец: «Если первое чтение вызывает лишь *одышку* и здоровую усталость, то запасайся для последующих парой неизносимых швейцарских башмаков с гвоздями. Мне не на шутку приходит в голову вопрос, сколько подметок, сколько *воловьих подошв,* сколько сандалий износил Алигьери за время своей поэтической работы, *путешествуя* по козьим тропам Италии. <...> У Данта философия и поэзия всегда *на ходу,* всегда на ногах. Даже остановка — разновидность накопленного движения <...>. Стопа стихов — вдох и выдох — шаг.

<...> *Шаг, сопряженный с дыханием и насыщенный мыслью...»* (III, 219).

Совершенно по-хайдеггеровски выразит эту мысль Флоренский: «...Конечно, по-настоящему сознано только то пространство, которое мы прошли пешком»[32]. Пастернак говорил, что поэт пишет ногами, а не руками. И свой Первый шаг (pas) — и *Пас*тернак это прекрасно понимал — он делал *именем* — Пастернак. Имя дает формулу личности, ключ к складу и строению личного облика. Вообще говоря, все творчество поэта есть комментарий к его имени. Начиная с имени-острова, он завоевывает весь архипелаг. Но это комментарий не к тому имени, которое он получил от рождения, а к имени, которое он сам творит, «вторым рождением», оплодотворяя его смыслами своего поэтического бытия. Поэт должен себя «изназвать» (Волошин). Его собственное имя творится миром и само свершается и простирается вовне, держа и объединяя своей особой формой все события этого бесконечного мира.

Weg — «путь» — продолжает самостоятельную жизнь в тексте, перекликаясь с «век» («раздражают прах веков») и weh — «больной» («одышкой болен»); и уже «К немецкой речи» — «веха» («какие вы поставили мне вехи?»)[33].

«Дорога одна — сквозь тучи вперед! Сквозь небо — вперед!» (Маяковский). Таким образом, Боратынский — бард, поэт, прокладывающий новые пути поэзии в веках (Пастернак бы уточнил —

«воздушные пути»), Genie der Wolkenbildung (Ницше); его «подошвы изумили /раздражают сон /прах веков». Ср. в «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше: «Новыми путями иду я, новая речь приходит ко мне; устал я, подобно всем созидающим, от старых щелкающих языков. Не хочет мой дух больше ходить на истоптанных подошвах» (Neue Wege gehe ich, eine neue Rede kommt mir; müde wurde ich, gleich allen Schaffenden, der alten Zungen. Nicht will mein Geist mehr auf abgelaufnen Sohlen wandeln)[34].

c) Bort — «прошва, кромка» («без всякой прошвы наволочки облаков»). Вслед за тучами Тютчева и тучностью Фета пришел черед и облакам Боратынского.

d) Bart — «борода» («Хомякова борода»).

Мы имеем дело с хорошо отрефлексированным ходом поэтической мысли. Тем более что прецеденты были. Так, другой мандельштамовский мучитель, Генрих Гейне, в «Романтической школе» подал такой пример: «Наконец выяснилось, что сочинителем является доселе неизвестный деревенский пастор, по фамилии Пусткухен (Pustkuchen), что по-французски значит omelette soufflée (дутая яичница) — имя, определяющее и все его существо» (eine Name, welcher auch sein ganzes Wesen bezeichnete)[35]. Из отечественных анналов, — например, лесковский «Штопальщик». Транскрипция имени главного героя, замоскворецкого штопальщика Василия Лапутина по-французски — tailleur Lepoutant — круто и счастливо меняет всю его жизнь («...Под французское заглавие меня поместила сама **судьба»**, — говорит он). Но в отличие от гейневского Пусткухена, иноязычное звучание имени «путного парня» Лапутина, прекрасного семьянина, скромного с достоинством человека и честного работника, не только не определяет всего его существа, но наоборот — предельно и комически с ним расподобляется: *франц.* putain — «непотребная женщина, блудница, путана»[36].

Графическая и звуковая ипостаси слова сливаются в транскрипции *нем.* Sohle — «подошва» по-русски. «Глоссограф» (термин де Серто) появляется в одном из вариантов:

Пятна жирно-нефтяные
Не *просохли* в купах лип[37],
Как наряды тафтяные
Прячут листья шелка скрип.

Один из героев пастернаковского «Детства Люверс» говорил столь «отчетливым, ровным голосом, словно не из звуков складывал свою речь, а *набирал ее из букв,* и произносил все, вплоть до твердого знака» (IV, 78). С подобным экспериментальным набором мы имеем дело и у Мандельштама. То, что «не просохли» транскрибирует Sohle, подтверждается другими примерами: «...Для того ли разночинцы / Рассохлые топтали сапоги...» («Полночь в Москве...», III, 53);

«Под соленою пятою ветра...» («Нашедший подкову», II, 42). Мотив «шитья», рождаемый рифмой «подошвы/прошвы», — это мотив самого стихотворчества, который закрепляет и развивает омонимию слова «стопа»[38]. «Пятна жирно-нефтяные» пропитаны именем Фета.

В целом же смысл этих строк проступает в фонетически близких немецких эквивалентах («звуков стакнутых прелестные двойчатки»). Гейне в таких случаях говорит о «Doppelsinn der Rede», потому что в поэзии только двусмысленность имеет смысл. В «Разговоре о Данте»: «По вольному течению мысли разбираемая песнь очень близка к импровизации. Но если вслушаться внимательнее, то окажется, что певец внутренне импровизирует на любимом заветном греческом языке, пользуясь для этого — лишь как фонетикой и тканью — родным итальянским наречием» (III, 237). Если вслушаться внимательнее, Мандельштам сквозь русскую ткань внутренне импровизирует на любимом немецком наречии. «Чужая речь мне будет оболочкой», признается он в стихотворении «К немецкой речи». Сходный пример отчуждения родного языка у Ницше, который признавался в письме к Г. Брандесу от 13 сентября 1888 года: «В сущности это сочинение («Казус Вагнер» — *Г. А., В. М.*) написано почти по-французски — было бы легче перевести его на французский, чем на немецкий...»; о том же днем раньше в письме П. Гасту: «Только в этом году я научился писать по-немецки — хочу сказать, по-французски»[39].

Область языковой самоидентификации поэта простирается за пределы родного языка. Он в русском пребывает как в чужом, преодолевая имманентную языковую позицию и становясь на путь борьбы и преодоления. Вслед за Достоевским здесь можно спросить: «А на каком языке я могу понять русский язык?»[40]. Еще Кант требовал умения смотреть на себя и свое дело глазами другого. Сознание есть прежде всего *сознание иного*. Это не значит видеть другой предмет, а тот же самый с другой точки зрения. «Родной» язык подвергается в этом случае остранению. К тому же сознание — это различение. Оно появляется только в горизонте иного и является какой-то реализовавшейся возможностью. Возможностью чего? Какого-то нового опыта здесь в этом, «родном» языке.

Скрипучие листы рукописи всегда что-то скрывают, прячут (List — «хитрость», «лукавство»), но текст указывает не показывая, называет не называя собственную тайну, разгадку. Ведь (м)учитель Лермонтов (leren — «учить»)[41], действительно, *волен* хотеть: wollen — «хотеть», а Wolke — «туча»[42]. Бальмонт писал в стихотворении «К Лермонтову»: «Ты был подобен молниям и тучам,/ Бегущим по нетронутым путям...»[43]. Поэтическое предназначение — молниенос о тронуть путь. Разгадывание загадки принципиально отличается от решения или вывода, предполагающих некую нить, придерживаясь которой мы постепенно продвигаемся от

известного к неизвестному. Разгадка же скорее похожа на прыжок без всяких нитей и ориентиров. И как уверял Хайдеггер, чем глубже вопрошание и разгадывание затрагивает суть загадки, тем таинственнее и загадочнее оно становится.

Мы сталкиваемся с мистификацией в каком-то мистическом смысле этого слова. Стихотворение — о Поэте[44], а не поэтах, хотя каждый «лик — как выдышан» (Цветаева), о тернистом пути и первооткрытиях, ибо подлинный поэтический гений — всегда первопечатник, Гутенберг, о жизни и смерти и, конечно, о... сладкой горошине юмора. Поэт волен плутовать и путать смех и смерть, комическое и трагическое (не об этом ли конец платоновского «Пира»?), показывать уши осла и когти льва. Что ж с того? Ведь даже борода комика Хомякова богохранима и тютчевской грозе равна.

P.S. В своем дневнике Чуковский писал о разговоре с Тыняновым в начале тридцатых. Мандельштамом Тынянов был решительно недоволен. Говорил, что он напоминает ему один виденный в берлинском кабаре трюк: два комика, развлекая публику, прыгают на батуте — скачут, скачут, все выше и выше и... улетают.

Примечания

1 В переводе М. Лозинского:

> Я видел, речь его рассечена,
> Начатую спешит покрыть иная,
> И с первою несходственна она.
>
> (*Данте Алигьери.* Новая жизнь. Божественная комедия. М., 1967, с. 111).

2 Здесь и далее все цитаты из Мандельштама даются лишь с указанием тома и страницы по изданию: Осип Мандельштам. Собрание сочинений в четырех томах. М., 1993—1997, т. I—IV.

3 Здесь и далее все цитаты из Пастернака даются лишь с указанием тома и страницы по изданию: Борис Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах. М., 1989—1992, т. I—V.

4 В.Я. Брюсов. Собрание сочинений в семи томах. М., 1973, т. III, с. 206.

5 Там же, с. 182.

6 Здесь и далее все цитаты из Хлебникова даются лишь с указанием тома и страницы по изданию: Велимир Хлебников. Собрание произведений. Л., 1928—1933, т. I—V.

7 Николай Гумилев. Стихотворения и поэмы. Л., 1988, с. 215.

8 Обрусение Ж.-Ж. Руссо батюшковского происхождения:

> — Да кто же ты? — «Жан-Жак я Русский...»
>
> (*К. Н. Батюшков.* Полное собрание стихотворений. М.—Л., 1964, с. 98).

[9] Эвальд Христиан фон Клейст был смертельно ранен в битве под Кунерсдорфом в августе 1759 года. Похоронили его русские офицеры, восхищенные мужеством противника: «Через несколько дней умер Клейст с твердостью Стоического Философа. Все наши Офицеры присутствовали на его погребении. Один из них, видя, что на гробе у него не было шпаги, положил свою, сказав: *у такого храброго Офицера должна быть шпага и в могиле.* — Клейст есть один из любезных моих Поэтов» (*Н. М. Карамзин.* Письма русского путешественника. Л., 1987, с. 39).

[10] Ср.:

«Наш Гумми — Лев —
Гуммиарабский
Иль африканский, непростой.
Ты засыпаешь? Ах, постой!
Он подражатель, но не рабский:
Букварь французский одолев,
Гумми — резиновый, но Лев».

(*Вера Лукницкая.* Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Л., 1990, с. 64—65).

[11] Осип Мандельштам. Полное собрание стихотворений. СПб., 1995, с. 221, 484. На хомяковский образ откликнется много позднее еще один тенишевский шутник — Набоков, который доканает славянофила превращением во вратаря: «Мне не везло (в роли голкипера в университетском футболе — *Г. А., В. М.*), — а кроме того, мне все совали в обременительный пример моего предшественника и соотечественника Хомякова, действительно изумительного вратаря...<...> Сложив руки на груди и прислонившись к левой штанге ворот, я позволял себе роскошь закрыть глаза, <...> и думал о себе как об экзотическом существе, переодетом английским футболистом и сочиняющем стихи, *на никому не известном наречии,* о заморской стране» (В. Набоков. Другие берега. М., 1989, с. 131). Славянофил в своей охранительной роли будет вполне сродни Юдифи в стихотворении «Футбол». Она тоже будет замечательно «хранить врата».

[12] А. А. Дельвиг. Сочинения. Л., 1986, с. 28.

[13] K. Taranovsky. Essays on Mandel'štam. Harvard, 1976, p. 136.

[14] Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. М.—Л., 1966, с. 286.

[15] В русской поэзии смертоносные стрекозы появлялись, пожалуй, только у А. К. Толстого и перекликались с «Лесным царем» Гете, но и у Толстого стрекозы оставались манящими, эфемерными и чарующими плясуньями:

Где гнутся над омутом лозы,
Где летнее солнце печет,
Летают и пляшут стрекозы,
Веселый ведут хоровод:

«Дитя, подойди к нам поближе,
Тебя мы научим летать!
Дитя, подойди, подойди же,
Пока не проснулася мать!

Под нами трепещут былинки,
Нам так хорошо и тепло,
У нас бирюзовые спинки,
А крылышки точно стекло.

Мы песенок знаем так много,
Мы так тебя любим давно...
Смотри, какой берег отлогий,
Какое песчаное дно!» *(1840-е годы)*

(*А.К.Толстой.* Полное собрание стихотворений в двух томах. Л., 1984, т. I, с. 113).

У Хлебникова стрекозы похожи на воинственных, но безобидных чертенят, мутящих воду:

Рати стрекозовые
Чертят яси облаков,
Чистых облаков,
Рати стрекозовые
Зыби волнят,
Озеро. *(II, 267)*

16 Ю. Н. Тынянов. Архаисты и новаторы. Л., 1929, с. 570, 569.

17 Андрей Белый. Начало века. М., 1990, с. 36.

18 Смертоносной становится и «туча»:

Тени легли на дорогу сыпучую:
Что-то ползет, надвигается тучею,
Что-то наводит испуг...
<...>
Прочь! Не тревожьте поддельным веселием
Мертвого, рабского сна. *(I, 32)*

19 И. В. Гете. Избранные сочинения по естествознанию. Л., 1957, с. 389.

20 Литографический остов «Грифельной оды» заслуживает особого внимания. Приведем другой пример — пример в смысле примерки, приглядки — из «Путешествия в Армению». Образ литографического карандаша, рассыпаясь (или еще только собираясь воедино) как типографский набор («Я буквой был, был виноградной строчкой...»), насыщает собой «Путешествие», прорастая и обрастая различными темами, но сохраняя при этом след, печать своего происхождения. Засечь такие следы-контексты можно лишь поперечными срезами по отношению к продольному развитию основного сюжета. Впрочем, начать можно с самого карандаша: «Я говорю о собирателе абхазских народных песен М. Коваче. Еврей

по происхождению <...>, он обстругал себя в талию, очинил, как *карандаш,* под головореза»; «Я навсегда запомнил *картину* семейного *пиршества* у К.: дары московских гастрономов на сдвинутых столах, бледно-розовую, как испуганная невеста, семгу (кто-то из присутствующих сравнил ее *жемчужный жир с жиром чайки),* зернистую икру, *черную,* как *масло,* употребляемое *типографским чертом,* если такой существует»; На острове Севан: «Скорость движения *облаков* увеличивалась ежеминутно, и *прибой-первопечатник* спешил *издать* за полчаса вручную *жирную гуттенберговскую Библию* под тяжко насупленным небом. <...> Не оттого ли, что я находился в среде народа, <...> живущего <...> по солнечным часам <...> в образе астрономического колеса *или розы, вписанной в камень?* Чужелюбие вообще не входит в число наших добродетелей. Народы СССР сожительствуют как школьники. Они знакомы лишь по классной парте да по большой перемене, пока *крошится мел»* (III, 382, 380, 180—184).

[21] О. Ронен. Три призрака Маяковского // Шестые Тыняновские Чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига—Москва, 1992, с. 12—13.

[22] Отклик на самоубийство Маяковского есть уже в самом начале «Путешествия в Армению». Он археологически свеж: «В самом начале моего пребывания пришло *известие,* что каменщики на длинной и узкой косе Саампакерта, роя яму под фундамент для *маяка,* наткнулись на кувшинное погребение древнейшего народа Урарту. Я уже видел раньше в Эриванском музее скрюченный в сидячем положении скелет, помещенный в большую гончарную амфору, с *дырочкой в черепе, просверленной для злого духа»* (III, 180). Николай Асеев в стихотворении «Последний разговор», обращенном к Маяковскому, напишет: «Лежит / маяка подрытым подножьем, / на толпы / себя разрядив и помножив; / бесценных слов / транжира и мот, / молчит, — / тишину за выстрелом тиша; / но я / и сквозь дебри / мрачнейших немот / голос, / меня сотрясающий, слышу» (Николай Асеев. Стихотворения и поэмы. Л., 1967, с. 282—283).

[23] Та же игра у Ницше в «Рождении трагедии»: «"журналист", этот бумажный раб дня» (Ф. Ницше. Сочинения в двух томах. М., 1990, т. I, с. 137).

[24] У Брюсова в одном из стихотворений сб. «Stephanos» (1906):

> Владыка слов небесных, *Тот,*
> Тебя в толпе земной отметил, —
> Лишь те часы твой дух живет,
> Когда царит
> Он, — *мертв* и светел.
>
> *(В. Я. Брюсов.* Собрание сочинений в семи томах. М., 1973, т. I, с. 398*).*

И также у Мандельштама: «Сии *дела* (*нем.* Tat) *не умирают»* (I, 127). Та же игра уже в связи с именем *Татлина* у Хлебникова: «Татлин, тайновидец лопастей <...>/ Паутинный дол снастей / Он железною подковой /

Рукой **мертвой** завязал» (В. Хлебников. Неизданные произведения. М., 1940, с. 170).

[25] Цит по: М. Мерло-Понти. Феноменология восприятия. СПб., 1999, с. 303.

[26] Жизнь, vita, вознаграждена цветком, цветом, соцветьем. Живет у Мандельштама то, что цветет:

За радость тихую дышать и *жить*...
Я и садовник, я же и *цветок*....
(«Дано мне тело...»; I, 37)

Пусть имена *цветущих* городов...
Не город Рим *живет* среди веков...
(«Пусть имена цветущих городов...»; I, 102)

Я не искал в *цветущие* мгновения...
Но, если эта *жизнь* — необходимость бреда...
(«Кассандре»; I, 132)

Веницейской жизни, мрачной и бесплодной...
Только в пальцах — *роза* или склянка...
(«Веницейская жизнь»; 1,145)

[27] Вл. Лидин. Перенесение праха Н. В. Гоголя // Российский архив, М., 1991, т. I, с. 243–246.

[28] Д. В. Веневитинов. Стихотворения и проза. М., 1980, с. 48—49.

[29] Веневитинов и его атрибуты, роза и перстень-кольцо, входят в стихотворение «Веницейская жизнь» («вене» + «вита»), созданное в 1920 году. Мандельштам никогда не назвал бы, как Державин, гроб — сединой дряхлеющей вселенной. Для него гроба — «синие прожилки», «горы голубого дряхлого стекла». Даже когда нет спасения, эшафот с завешанной плахой отражается в веницейском зеркале ковчегом с вернувшимся голубем.

[30] «Поэтическую речь, — писал Мандельштам, — живит блуждающий, многосмысленный корень. Множитель корня — согласный звук, показатель его живучести (классический пример «Смеярышня смехочеств» Хлебникова). Слово размножается не гласными, а согласными» (II, 299).

[31] «Подготовка самих органов восприятия» подчас важнее самого восприятия: «Не с таким ли чувством певица итальянской школы, готовясь [bereiten — «готовить, приготовлять»] к гастрольному перелету в еще молодую Америку, окидывает голосом географическую карту...» (II, 467).

[32] Павел Флоренский. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993, с. 12. Говоря, что у мысли мера человеческого шага, Набоков в «Даре» следует той же идее.

[33] Понятие «Век/Weg» слишком дорого Мандельштаму, чтобы он не продолжал игру, и поэтому:

Он будет вспоминать, как спать ложилось время
В *сугроб* (Wehe) пшеничный за окном.
Кто *веку* поднимал *болезненные веки* —
Два сонных яблока *больших*...
(«1 января 1924»; II, 50)

И наконец в «Петербургских строфах» (1913):

Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная *тоска* (Wehmut).
На площади Сената — вал *сугроба*,
Дымок костра и холодок штыка...
(I, 82)

Здесь же: «Кружилась долго *мут*ная метель» и уже в другом стихотворении, с палиндромным отражением — «Мировая *тум*анная *боль*» (I, 66).

[34] Ф. Ницше. Сочинения в двух томах. М., 1990, т. II, с. 59.

[35] Г. Гейне. Собрание сочинений в десяти томах. Л., 1958, т. VI, с. 173—174.

[36] То, что скромнейший Лапутин — не портной, а именно виртуозный штопальщик дырок, мы комментировать не рискнем. В основе святочного рассказа Лескова — путаница в тождестве и различении имен («...Граф наверно тебе сказал мою фамилию — *Лапутин*, а ты, верно, *напутал*») (Н.С. Лесков. Собрание сочинений в одиннадцати томах. М., 1958, т. VII, с. 107). Нелепое переименование штопальщика парадоксальным образом спасает его от кризиса экзистенциальной и языковой идентичности.

[37] Ср.: «И к **губам** такие **липнут** / Клятвы...», где Lippe — «губа». Этот глоссарий замыкается *греч.* lipos — «жир».

[38] Например, у Цветаевой:

Глоток краткий,
Шажок срочный...
Носком — в пятку:
Как пристрочен. *(II, 157)*

[39] Ф. Ницше. Сочинения в двух томах. М., 1990, т. II, с. 795.

[40] «Нет, в самом деле, — писал Достоевский, — на каком же языке **я пойму** латинский и греческий языки?» (Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Л., 1982, т. XXIV, с. 244). Еще Гете был убежден в том, что, не зная иностранного языка, нельзя понять своего собственного. Ср: «Инде, чтоб разуметь русское слово, должно мне приводить себе на память французский язык» (А. С. Шишков. Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. СПб., 1813, с. 344).

[41] С учительством имя Лермонтова связывал и Пастернак: «Какая однородность связывает лирическую сентенцию Лермонтова с материальным до бессмыслицы звучаньем иных элементов его стиха? <...> ...Поразительна его сухая мизантропическая **сентенция**, задающая собственно тон

его лирике и составляющая если не поэтическое лицо его, то звучащий, бессмертный, навеки заражающий индекс глубины» (Переписка Б. Пастернака. М., 1990, с. 365; письмо М. Цветаевой от 14 июня 1926 г.).

42 Ср. каламбур на Wolke/волн- у Набокова: «Da kommen die *Wolken* schon», — продолжал кончеевовидный *немец,* указывая пальцем *волн*огрудое *облако...*» (Владимир Набоков. Избранное. М., 1990, с. 349).

43 К. Д. Бальмонт. Полное собрание стихов. Том второй. Горящия Здания. 1908, с. 115. Именно с помощью лермонтовского образа Цветаева создает эсхатологическую формулу искусства как *последней тучи на последнем небе* (Марина Цветаева. Избранная проза в двух томах. New York, 1979, т. I, с. 395).

44 М. Цветаева: «...Ибо поэзия не дробится ни в поэтах, ни на поэтов, она во всех своих проявлениях — одна, одно, в каждом — вся, так же как, по существу, нет поэтов, а есть поэт, один и тот же с начала и до конца мира...» (Там же, с. 7).

VI

СЕМИОТИКА КУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТОВ, ИЛИ СЕМИОТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ

Юрий Степанов

Семиотика концептов*

Это новое направление, составляющее по содержанию часть семиотики культуры, все же должно быть выделено, поскольку является наиболее структурированной частью последней, обладающей собственным исследовательским аппаратом. Остановимся кратко на его истории.

Эволюционные ряды Тайлора. Эдвард Бернетт Тайлор (E. B. Tylor, 1832—1917), как и другие представители эволюционной школы, считал, что все явления культуры распределяются по видам: созданные человеком материальные предметы (оружие, утварь, инструменты), обычаи, ритуалы, верования и т. д., — все это виды, аналогичные видам растений и животных. Эволюция совершается внутри этих видов. Скажем, боевой топор какой-либо данной эпохи является результатом топора предшествующей эпохи и основой топора последующей эпохи (но не результатом, скажем, развития ложки, которая относится к другому эволюционному ряду и, тем самым, к другому виду). Таким образом, эти виды составляют *эволюционные ряды.*

Последователь Тайлора, археолог и коллекционер О. Питт-Риверс создал целую коллекцию, главным образом оружия, системати-

* Из книги: *Степанов Ю. С.* Язык и метод. К современной философии языка. — М.: Языки русской культуры, 1998, с. 78—88.

зированную по эволюционным рядам (в настоящее время она находится в Оксфордском университете). Некоторые примеры Тайлора поразительно близки к рядам с семиотической закономерностью, описанной нами (см. ниже) на примере автомобиля: «Любопытные орудия, время от времени открываемые археологами, например, бронзовые цельты (резцы), выделанные по образцу неуклюжего каменного топора, вряд ли представляют собой что-либо иное, чем первые шаги при переходе от каменного века к бронзовому. За ними следуют дальнейшие стадии прогресса, где уже заметно, что новый материал приспособляется для более удобных и менее невыгодных моделей» (Тайлор Э. Первобытная культура / Пер. с англ. М.: Изд. полит. литер., 1989, с. 28, — работа 1871 г.)

В этом примере Тайлора идет речь о материальных вещах, но мы уже знаем, что в культуре нет ни чисто материальных, ни чисто духовных явлений, те и другие идут парами. И в данном случае также, топор как вещь предполагает топор как концепт, концепт топора; да и сам Тайлор говорит о «модели». А что такое модель как не «план», «прообраз» задуманной к изготовлению вещи?

Впрочем в других случаях и даже главным образом в случаях другого типа, Тайлор сопоставляет скорее «духовные концепты» — такие, как «вера в божество», «представление о душе», о «духах» и т. п. Ему принадлежит теория возникновения одного специфического ряда таких концептов — теория *анимизма*. Но и здесь, вполне справедливо, Тайлор сопровождает рассуждения о «духовных сущностях» демонстрацией их материальных пар — обрядов и ритуалов.

Свои наблюдения над эволюционными рядами Тайлор поднимает до типологических обобщений: «Точно так же, как каталог всех видов растений и животных известной местности дает нам представление о ее флоре и фауне, полный перечень явлений, составляющих общую принадлежность жизни известного народа, суммирует собою то целое, что мы называем его культурой. Мы знаем, что отдаленные одна от другой области земного шара порождают такие виды растений и животных, между которыми существует удивительное сходство, которое, однако, отнюдь не является тождеством. Но ведь то же самое мы обнаруживаем в отдельных чертах развития и цивилизации обитателей этих стран» (там же, с. 23).

В меньшей степени Тайлор обращал внимание на взаимоотношения эволюционных рядов друг с другом. Позднейшая критика нашла, что в этой методике самым неудачным было признание эволюционных рядов независимыми друг от друга.

В современном семиотическом подходе к культуре восполняется именно этот недостаток концепции Тайлора. Ряды образуют семантические, точнее — семиотические, *цепи*, а между соответ-

ствующими одновременными, синхронными звеньями различных эволюционных рядов в свою очередь устанавливаются отношения сходства, образующие *«парадигмы»*, или *стили* данной эпохи (см. здесь ниже).

Со времени Э. Б. Тайлора исследование рядов, «систематизация по рядам», стала обязательным правилом в истории материальной культуры. Но постепенно к ней стала присоединяться и работа в области культуры духовной, — начиная со слов естественного языка. В 1909 г. в Германии стал выходить журнал «Wörter und Sachen» («Слова и Вещи»), основанный Ф. Мерингером; исследователи, группировавшиеся вокруг этого издания, работали именно по данному принципу. Но к 1943— 1944 гг. это издание заглохло. (Лишь недавно эта традиция снова ожила в публикации «Wörter und Sachen im Lichte der Bezeichnungsforschung». Hrsg. von Ruth Schmidt-Wiegand. Berlin: De Gruyter, 1981, — «Слова и Вещи в свете исследований способов обозначений».)

Французский исследователь А. Леруа-Гуран, в 1940-е гг. собравший огромные данные — каталоги, относящиеся к древнейшей истории хозяйства, позднее перешел также к рядам «материально-духовным», чему посвящена его книга «Религии предыстории» (André Leroi-Gourhan. Les religions de la préhistoire. Paris: P.U.F., 1964; 3-e éd., 1976). По принципу «эволюционного ряда» он рассматривает также стили наскальных изображений эпохи палеолита.

К принципу «эволюционного ряда» успешно прибегает в своих работах также исследователь поведения высших животных Конрад Лоренц (см., например, его «Эволюция ритуала в биологической и культурной сферах» // Природа, 1969, №11). В сущности по тому же принципу (в иных терминах) упорядочен материал в книге: О. Н. Трубачев. Славянская ремесленная терминология. Опыт групповой реконструкции (М.: Наука, 1966), и во мн. др.

Принцип *эволюционного ряда* — главный принцип упорядочения материала. Но этот принцип существенно дополняется: в отношениях между членами каждого отдельного ряда зачастую вскрываются связи иного рода — когда нечто от предшествующего звена становится *знаком* в звене последующем (мы увидим это тотчас ниже на примере эволюции от кареты к автомобилю). Поскольку понятие «знака» принадлежит к более широкой сфере знаковых систем, семиотики, то мы называем теперь весь такой ряд *эволюционным семиотическим рядом.*

Кроме таких рядов, располагающихся по ходу времени, в культуре очень важны и ряды иного рода — соединяющие концепты (а также предметы, «вещи») *одной эпохи из разных рядов в некое единое целое.* Это последнее можно назвать *«парадигмой эпохи»*, или *«стилем»*.

Эволюционные семиотические ряды. Ряды в культуре — структура культуры.

Как мы уже сказали, это — основной тип рядов. В такие ряды соединяются и «вещи» (например, топоры; отдельно — прялки; в третий ряд — оружие; в четвертый — средства передвижения, кареты, автомобили; и т. д.). Но в такие же ряды группируются и *«концепты»* (разные по времени понятия «веры»; отдельно — представления о «грехе», о «страхе» и т. д.). В наиболее типичном и общем случае, ряды «вещей» сочетаются с соответствующими им представлениями, «концептами», и вступают в отношения знаковости. Так, «храм» — внешнее выражение и знак «веры»; определенные «ритуалы» — выражение и знаки «любви», и т. п.

Начнем с простого примера из *истории автомобиля* (мы уже приводили его в нашей книге 1971 г.: Степанов Ю. С. Семиотика). Первые автомобили, в конце XIX — начале XX в., разделялись подобно каретам, на «городские (лимузины)» и «дорожные», и сохраняли соответствующий этому разделению облик. Первые имели «салон» отделенный от помещения для шофера, который, впрочем, тоже, как пассажир, находился в автомобилях этого типа под крышей; экипажи были отделаны черным блестящим лаком, выступающие детали — фонари, ручки дверец и т. д. — блестели медью, а иногда и позолотой; окна были из хрустального стекла, т. е. с гранями по краям; сиденья кожаные, и т. д. Вторые, «дорожные», были устроены гораздо проще и грубее, но зато и практичнее; на легких рессорах, с колесами, как у брички; шофер и пассажир часто помещались без перегородки между ними, по одной крышей, а иногда крыши и вовсе не было, по крайней мере, над шофером.

Чем объясняется подобное различие? Оно не диктовалось никакими потребностями техники. Скорее наоборот, новые технические данные автомобиля требовали как можно скорее избавиться от старых форм. Очевидно, что причина здесь не техническая, а какая-то иная: *автомобиль занял место кареты.* И, заместив в общественном быту карету, автомобиль должен был — неизбежно и вопреки всем техническим требованиям — по крайней мере, на первое время, принять и ее облик. Кареты же к концу XIX в. именно разделялись на два класса — городских и дорожных (загородных), с соответствующими различиями во внешнем виде. Перед нами пример *замещения*: карета ⇒ автомобиль.

На первый взгляд кажется, что этот процесс замещения касается только формы. Действительно, он затрагивает прежде всего и обязательно форму. Легко можно представить себе, что новое, и без того уже пугающее изобретение — самодвижущийся экипаж, притом способный на «бешеную скорость» (ок. 20 км/час!), отпугивал бы еще больше, если бы у него была какая-нибудь непривычная — например, обтекаемая — форма. Подобно этому, т. е. как бы в соот-

ветствии с требованием «не пугать!», первые электрические лампы получали форму керосиновых или газовых, первые электрические лифты — форму открытых лестничных площадок с узорными сквозными решетками и перилами, без крыши; первые входы в метро (в Париже) — форму парадных подъездов в жилых домах, и т. п.

В технически более сложном случае прежний предмет мог трансформироваться в процессе технической эволюции и как-то иначе, например та же карета — включаться в состав более сложного целого — железнодорожного поезда, образуя там сначала отдельный вагон, так в самых первых поездах, а позже — купе в составе многокупейного, т. е. «многокаретного», вагона.

Первые аэропорты, в полном несоответствии с их задачами, строились, как железнодорожные вокзалы, — поскольку именно их они заместили. Вот как описывал их американский романист Артур Хейли в конце 1960-х гг.: «Все наши старые аэропорты представляют собой просто имитацию железнодорожных вокзалов, потому что их строителям приходилось опираться на опыт своих предшественников. Потом это стало уже шаблоном. Вот почему и в наши дни так много "вытянутых" аэропортов, где здание аэровокзала тянется до бесконечности и пассажиры вынуждены вышагивать не одну милю... Кое-где строятся циркообразные аэропорты — вроде пирога с начинкой, с автомобильными стоянками, расположенными внутри; там пешее передвижение пассажиров по аэровокзалу сокращено до минимума с помощью скоростных горизонтальных движущихся тротуаров, а кроме того, самолеты подъезжают к пассажирам, а не наоборот. Это говорит о том, что аэропорт начинает завоевывать себе место как самостоятельная единица, а не просто приставка к чему-то» (Аэропорт // Иностр. литерат. №10, 1972, с. 202).

Нетрудно, однако, убедиться, что дело во всех этих случаях в чем-то большем, чем просто в консервативности человеческих привычек и в нежелании испытывать шок при виде новых форм. Ведь процесс охватывает и такие случаи, где ничто не может испугать или шокировать. Например, — Наполеон III заказывает для своего сына погремушки из алюминия с драгоценными камнями, тогда как раньше такие вещи для императорских семей изготавливались из золота. Почему из алюминия? Потому что этот новооткрытый тогда металл (впервые в виде кусочков металла он был получен в 1845 г.) на короткое время занял в ювелирном деле место золота.

Не следует думать, что подобные процессы происходят только в современном мире и связаны с бурным прогрессом техники. Нет. В так называемом Пазырыкском кургане на Восточном Алтае в 1929 г. во время археологически раскопок были обнаружены останки лошадей, как бы «переодетых» под оленя, или в «масках» оленя. Это явление объясняется тем, что у данного народа лошади, по-видимому, сменили в какой-то период оленей в различных хозяйственных фун-

кциях, и в некоторых ритуалах требовалось поэтому «освящать» лошадей, обозначая их связь с оленями (см. подробнее ниже).

Итак, дело, очевидно, в том, что новый предмет (изобретение, вещь, вещество, социальное явление) занимает в общественном быту и в общественном сознании место какого-то прежнего предмета, принимая его функцию. И, следовательно, форма — в широком понимании формы — здесь выступает *знаком занятого места, функции или назначения*, форма — значима, форма санкционирует предмет. Поэтому такие процессы и создаваемые ими *ряды явлений* мы называем семиотическими (семиотика — наука о знаковых системах). Семиотический процесс замещения есть одновременно процесс преемственности и эволюции. Закрепим это понятие в термине: *эволюционный семиотический процесс и ряд*.

Термин *семиотический* входит в этот термин еще и по другой причине, — потому, что основное отношение между замещаемым и замещающим явлениями в эволюционном ряду очень часто оформляется знаком в прямом смысле, т. е. словом языка: называние замещенного предмета или действия переходит на замещающее его. Так, в ряду карета ⇒ автомобиль и карета ⇒ вагон само название лошадного экипажа перешло на самодвижущийся, кажется, только в одном английском языке (car «повозка» и «автомобиль») и отчасти в немецком (der Wagen «повозка, телега» и «вагон»). Но зато многие специальные термины автомобильного и железнодорожного дела появились вследствие переноса по функции: так, рус. *шофёр* заимствовано из франц. chauffeur, где оно значило последовательно 1. «истопник» ⇒ 2. «кочегар» (т. е. «истопник паровой машины, паровоза») ⇒ 3. «водитель автомобиля, шофер», и мн. др.

Эволюционные семиотические ряды показывают, что в сфере культуры замещение одного предмета другим и перенос на второй формы и облика первого — это явления того же порядка, что перенос имени с одного предмета на другой; а в более частном и специальном случае, образование нового слова на основе прежнего (снег → подснежник), — это явление того же порядка, что включение прежнего предмета в состав более сложного нового (карета 1820-х гг. → железнодорожный вагон 1825 г. → железнодорожный вагон 1850 г. → купе вагона 1900 г.). Часто все три типа процессов могут совмещаться, захватывая как материальную, так и духовную сферу; примером может служить европейская в частности, русская, философская терминология, образовавшаяся в значительной степени на основе терминологии прядения и ткачества.

Частным случаем рядов является «*функциональная семантика*».

Наиболее отчетливо закон был сформулирован акад. Н. Я. Марром: название одного предмета переходит на название другого предмета, принявшего в хозяйстве и общественном произ-

водстве функции первого. Например, в современном русском: *консервный нож* — предмет, ничем не похожий на нож, кроме функции. Также: *киножурнал*; *радиогазета*; *карета скорой помощи*; *отбойный молоток* и т. п. (Ср. немецкий Fernsprecher — телефон, Fernsehen — телевидение). Закон имеет несколько разновидностей.

В наиболее древней форме этот закон был тесно связан с отношением «микрокосм — макрокосм», так как названия переходили первоначально с *органа человеческого тела* на инструмент, выполняющий функцию этого органа. По предположению Н. Я. Марра, древнейшее название топора во многих языках восходит к названию руки. В более общей форме та же космологическая связь проявляется в переносе названия с органа тела на другой предмет уже не по функции последнего, а по сходству признаков. Такова целая компактная группа слов в русском языке: *ручка* (двери), *ножка* (стола), *спинка* (стула), *глазок*, *ушко*, *носик*, *головка*, *шейка*, *зубец*, *бородка*, *желудочек* и т. д.

Другая разновидность того же закона проявляется в переносе названия с хозяйственной утвари или с *предмета производства* на общие абстрактные понятия. Таково русское *основа* от ткацкого термина. Французское *travailler* (работать) восходит в прошлом к старо-французскому *travaillier* (ходить туда-сюда), к этому же слову восходит и английское *to travel* (путешествовать) и еще далее, в прошлом, к слову *travouil*, *treuil* — мотовило, ворот — тоже термину ткацкого дела. Примеры такого рода для славянских языков можно найти в широко документированной работе О. Н. Трубачева.

Н. Я. Марр лингвистически установил, что с появлением в хозяйстве нового животного на него переходило название того животного, которое передало новому свои функции, например, название оленя во многих языках перешло на лошадь. Эта мысль нашла, по-видимому, интересное семиотическое подтверждение при раскопках одного из Пазырыкских курганов на Алтае (так называемого 1-го Пазырыкского кургана). Приведем выписку из тогдашнего (1931 г.) отчета: «Нетронутые и хорошо сохранившиеся вследствие могильной (вечной. — *Ю. С.*) мерзлоты конские погребения дали чрезвычайно богатый материал.

Прежде всего заслуживают упоминания сами трупы десяти жеребцов. Лошади были убиты ударом бронзового чекана в лоб, пробившего черепную коробку, и брошены на дно погребальной ямы. Поверх них было брошено десять седел с наборами и уздами. На голове одной из лошадей была сделанная из кожи, войлока и меха маска в виде головы северного оленя с рогами натуральной величины, а на шее той же лошади нагривник из войлока, кожи и конского волоса. Другая маска и нагривник лежали вместе с седлами...

Своеобразными художественными произведениями насыщена не только конская сбруя. Все предметы, найденные в конском по-

гребении, нагривники из войлока и кожи с крашеным конским волосом украшены изображениями птиц, покрыты орнаментом нахвостники, и особенно сложную композицию представляют собою маски, сшитые из войлока и кожи, покрытые мехом и листовым золотом. На лицевой части маски, снятой с головы лошади, распластанная фигура барса, вырезанная из меха. Вторая маска представляет собою композицию из двух зверей — борьбу барса и грифона. Последний с большими крыльями и скульптурной головой, увенчанной бычьими рогами...

Весьма интересен вопрос, имелся ли у этого скотоводческого народа в числе прирученных животных северный олень... (Автор отчета, С. Руденко, тут же указывает, что, по его мнению, был. — *Ю. С.*)

Погребенные лошади — это те животные, которыми пользовались при жизни и в погребальной процессии; это те животные, которые вслед за умершим направлялись в загробный мир. Если северный олень был исконным туземным домашним животным и вместе с тем средством передвижения, он должен был за своим хозяином следовать в загробный мир. С заменой в хозяйственном быту оленя лошадью, он должен был сохраниться в погребальном ритуале. Позднее консервативный ритуал потребовал маскировки нового животного, лошади, оленем».

От видоизменений самого этого закона надо отличать его современную, уточненную формулировку: функциональная семантика осуществляется более последовательно (более непрерывно) в материальных знаковых системах (изображениях, орнаментах, живописи, оформлении утвари) и менее последовательно в языке. В материальных знаковых системах она проявляется отчетливее всего в том, что новый предмет, принимающий общественные хозяйственные функции прежнего, принимает на некоторое время и его форму: первые автомобили были похожи на кареты; первые электрические лампы — на керосиновые; электронным музыкальным инструментам придают форму пианино и т. д. и т. п. Относительно языка приведем прекрасно аргументированную формулировку О. Н. Трубачева: «Плетение тесно связано с текстильным, деревообделочным и гончарным производством... изучение этих отражений в лексике ярко демонстрирует автономность языкового плана и своеобразие его связи с внеязыковым планом. Оказывается, что отражение этой связи минимально представлено именно в текстильной лексике, в то время как связь самого текстильного производства с плетением, казалось бы, очевидна до банальности, и максимально выражена связь с плетением в этимологизирующей гончарной лексике, названиях глиняной посуды, где соответствующая связь гончарного производства и плетения не только не очевидна, но вообще доступна лишь глубокому историческому исследованию».

Эволюционные семиотические ряды в социальной организации общества, в «институциях», открыты, я думаю, В. О. Ключевским, который, однако, не называл их, разумеется, этим термином и вообще, по-видимому, затруднялся дать название открытому им явлению. Вот как выглядит его открытие.

В «Методологии русской истории» (Лекция IV, — здесь цит. по изд: В. О. Ключевский. Соч. в 9 томах. Т. VI. Специальные курсы. М.: Мысль, 1989); «Итак, можно признать четыре исторических силы, создающих и направляющих общежитие: 1) *природа страны*; 2) *физическая природа человека*; 3) *личность* и 4) *общество*.

[...] Я думаю, что более точный анализ явлений общежития приведет не только к более точному определению и обозначению сил, но введет в их ряд и другие. Так, например, мне кажется, что к перечисленным силам можно прибавить пятую, о чем, впрочем, надо еще подумать. Мысль об этой силе возбуждается одним рядом явлений, который нельзя вывести из указанных четырех сил. Мы замечаем, что рядом с физическими свойствами и факты чисто исторические, связывающие наличных людей в союзы, не умирают вместе с ними, но переходят по наследству и в этом переходе даже перерождаются: из фактов, часто вызванных временною необходимостью, превращаются в привычки, в предание, действующее, даже когда минует эта временная необходимость. Говоря еще общéе, мы находим, что все действующее в данном поколении, все им устроенное и выработанное не умирает с поколением, а переходит к дальнейшим, осложняя их общежитие, и часто гнетет их, как бремя, наложенное предками, от которого трудно, а иногда и невозможно освободиться, как трудно или невозможно освободиться от физического недостатка, наследованного сыном от отца. Вот почему явления эти, которые только и связаны сменяющимся одно за другим поколением, и могли бы быть соединены как явления особой силы, ибо эти явления не вытекают ни из природы страны, ни из физической природы человека, ни из потребностей личности, ни из потребностей общества, которое живет в данную минуту. Эти явления вызываются каким-то особенным свойством духа человеческого. Мы бы и назвали это пятой конкретной формой, в которой проявляется историческая деятельность последнего и которую можно назвать так предварительно, провизорно — до подыскания лучшего термина — *историческим преемством*» (с. 23).

Действие «пятой силы», исторического преемства «проявляется в ряде явлений, скрепляющих человеческое общежитие, как-то: в обычае, в предании; точнее говоря, обычай и предание суть синонимические выражения исторического преемства» (с. 26).

Ярким примером конкретного действия «пятой силы» может служить то, что говорит В. О. Ключевский в другой работе — «Терминология русской истории» (тот же том, с. 140—141). Ключевский

настолько точен и краток, что лучше его не пересказать, а процитировать. Речь идет о *чинах*. «*Чины* в Московском государстве различались между собою государственными повинностями, а не политическими правами, но повинности различных классов приносили государству неодинаковую пользу, поэтому и классы, которые несли их, пользовались неодинаковым значением в государстве. Это различие... выражалось в различии чиновных "*честей*". Каждый класс имел свою чиновную "*честь*", которая точно формулировалась законом. "Честь" боярина была иная, чем "честь" московского дворянина; "честь" последнего была выше "чести" дворянина городового и т. д. до самого низа общества. Самым наглядным выражением этого различия служил тариф "бесчестий", т. е. пеней или штрафов за бесчестие... В XVIII в. из-под этих "честей" стали исчезать их основания, т. е. с классов стали сниматься их специальные государственные повинности, но "чести", с этими повинностями связанные, остались за классами. ... Как скоро *чиновная "честь"* лишалась своего основания — обязательной специальной государственной повинности, падавшей на известный класс, она тотчас облекалась в известные преимущества и становилась сословным правом. Так из *чиновных "честей"* XVII в. в XVIII в. выросли *сословные права*. ... Эту связь можно выразить так: *основанием каждого последующего деления общества становились последствия, вытекавшие из деления предыдущего*. Это и есть коренной факт в истории наших сословий, или, пользуясь привычным языком, есть схема нашей социальной истории» (с. 141).

Михаил Ильин

Полития

Слово *полития* звучит пока непривычно для русского уха. Однако его появление в отечественном политическом словаре дает возможность выразить коренное понятие *политической системы*, а тем самым назвать базовый феномен политики. Рассматриваемый концепт был впервые выражен древними греками словом *политейя* (politeia). Аристотель в «Политике» называет *политейей* «совокупность обитателей или граждан полиса» (1274b 38, 1275a 1), а затем (1278b 8, 1290a 7) отождествляет ее с «распорядком полисных должностей» и образом управления (*politeyma*). В «Никомаховой этике» (1160a 35) он указывает на использование этого понятия «большинством», к которому сам присоединяется, для обозначения особого типа государственного устройства — «правления на основе разрядов» (apo timematon) или *тимократии*. Налицо, таким образом, по меньшей мере четыре достаточно широких смысла греческого слова *политейя*, а более тщательный анализ хотя бы только привлеченных уже текстов наверняка позволил бы выявить еще несколько.

Особенно любопытно и важно с точки зрения раскрытия смысла понятия *политейа* кажущееся разноречие Аристотеля в оценке *тимократии (=политейа)* как худшей формы правления (1160a 37), а равнозначного ей среднего или смешанного устройства (*=политейа)* — как лучшей (1295a 25 — 1296b 15). Если

здесь и есть противоречие, то того же рода, что и в высказывании У.Черчилля о демократии как о худшей форме правления, «если не считать все другие, которые время от времени испытывались». Тимократия — худшая форма правления потому, что предполагает наиболее сложную и противоречивую схему «распределения должностей», уступающую в ясности принципов аристократии, а тем более монархии. Средняя же политейа — лучшая, поскольку подобная схема используется не как жесткая догма, а как отправной момент для смешения, уравновешивания и тем самым безопасного «усреднения» достоинств отдельных принципов организации, которые нередко оборачиваются несравненно более рискованными, а значит более опасными недостатками. Таким образом, ***ухудшение*** отдельных потенциальных достоинств оборачивается куда как более важным ограничением и снижением весьма вероятных недостатков. В результате достигается повышение общей безопасности и надежности политической системы, т. е. ***улучшение*** ее совокупной эффективности.

Вместе с тем было бы неверно недооценивать и сами принципы *тимократии*, которые в некотором смысле становятся общезначимыми из-за упора не на определенное частное основание (тип авторитета, т. е. восприемника общепризнаваемой, легитимизированной власти), а на универсальный принцип политического порядка и участия. *Тимократия* — не только власть определенной конфигурации *цензов*, или *разрядов* (timema), но и *чести* (time), а это значит, что и политического участия как такового. Честь, в сущности, служит названием для главного достоинства гражданина, заключающегося в способности самостоятельного участия в полисных делах. Предпосылкой же и условием такого участия является неразрывное единство и взаимообусловленность прав и обязанностей горожанина-гражданина (polites). *Бесчестие* (*atimia*) означает также (и прежде всего) лишение гражданства и гражданских прав. Соответственно, мерой универсального принципа *чести* как раз и выступает конкретная форма *разряда* — слова однокоренные, но с упором в случае тимемы-разряда на формально институциональную оценку, суждение-взвешивание, а в случае тиме-чести — на оценку этическую, осуществляемую в личностном измерении.

Таким образом, можно сделать вывод, что «организация разрядов и должностей» оказывается сущностью всякой политической системы, а не только греческой *политейи* как смешанной системы разрядов, допускающей в качестве отдельных специфических тимем, а тем самым своих частей (meroi) существование должности индивидуального властителя-*монарха*, а также авторитета *лучших*, равно как и власти *множества*, организованного в горизонтальные разряды-тимемы или в вертикальные народы-демы (demoi). Эти специфические части, однако, усреднены, чтобы снизить риск их извращения (parekbaseis) и появления, соответственно, *тирана*, *олигархов* и *толпы* (okhlos).

Двусмысленность понятия *политейа* оказывается умноженной. Прежде всего политическое целое отождествляется со своим фактическим устройством. Затем эта пара, как уже отмечалось в очерке «Полис», отождествляется со своей рационализированной (или потенциально рационализуемой) копией — принципиальной схемой смешения и «усреднения», а также, казалось бы, частным принципом разряда-чести. Смысловое соединение политического целого, в котором есть (смешано) все, и самого общего принципа смешения различных частных устройств позволяет на формальных основаниях включить в политейю, наряду с ее собственным институтом разряда, также противопоставленные ей институты и типы устройства как ее собственные части и частности. Закрепляется же это двукратное удвоение за счет того, что наиболее обобщенный и одновременно формальный принцип чести или политического участия гражданина служит исходным моментом для определения самого политического целого как совокупности граждан, обладающих честью-разрядом. Однако в конечном счете этот же принцип фактически совпадает с результатом серии отождествлений.

Подобное закольцовывание логического движения от политического целого к гражданину и обратно имеет высочайший смысл, ибо содержит отказ от признания только политического целого или только политического индивида в качестве безусловной отправной точки. Ни одно, ни другое не может претендовать на безусловный приоритет, т. к. «первично» в равной мере и взаимообусловливают друг друга. Это открывает возможности для развития, усложнения и обогащения политической практики и мышления в сравнении с их деградацией, упрощением и обеднением в результате односторонней догматизации либо принципа первенства государства по отношению к личности, либо личности — к государству. Но такое повышение планки требований создает и немалые трудности. В их числе — необходимость снова и снова воспроизводить и с огромными усилиями выдерживать тонкий, почти неуловимый баланс единоразличия гражданина и политической системы.

Выявившиеся противоречия не только не парализовали, но, напротив, подстегнули интеллектуальную деятельность политических мыслителей Эллады, а затем и Рима. В результате концептуализация оказалась существенно продвинута, а заимствованное у греков словопонятие *полития* и его римский эквивалент *республика* стали своего рода источником для последующей выработки международной политологической номенклатуры: *политическая система*; *конституция*; *конституционность*; современная *республика* как смешанное, уже благодаря представительству, правление; *политическое участие* и даже *гражданство*.

Исходное римское понимание политической системы концептуализировалось как *республика*, т. е. дословно *общее благо* или *дело*

(*res publica*) в противоположность *частному благу* или *личному делу* (*res privata*). Латиняне при этом прежде всего обращали внимание на форму и субстанцию общего блага. Формальная сторона, а тем самым такие системные характеристики, как устойчивость, конфигурация и внутренняя логика политии концептуализируются в виде ее *состояния* (*status* rei publicae), *образа* (*forma* rei publicae), *сложения* (*constitutio* rei publicae) и т. д. Это пока лишь стороны одного базового понятия, но в них предвосхищены смыслы будущих самостоятельных концептов — *государства*, *режима* и *конституции*.

Субстанциональная сторона понятия выражена прежде всего как *множество* (multitudo), а также как *общественное благо* (bonum commune), *польза* (utilitas publica), *здоровье* (salus publica) и т. п. Здесь заключена еще не очевидная пока связь с последующей концептуализацией самостоятельных идей, а затем, после достижения фазы Современности, и таких понятий, как *гражданское общество*, *масса* и т. п.

Взаимосвязь и дополнительность двух сторон понятия республики выразил Цицерон (106—43 гг. до н. э.), определяя этот концепт устами Сципиона Африканского: «Итак, государство (res publica, т. е. политическая система; введение в русском переводе слов *государство* и *интерес* является невольной модернизацией понятийной системы Цицерона — *М. И.*) есть достояние народа (res populi), а народ — не любое соединение людей (hominum coetus), собранных вместе каким бы то ни было образом (quoquo modo congregatus, т. е. произвольно — *М. И.*), а соединение многих людей, связанных между собой согласием в вопросах права (iuris consensu, формально — *М. И.*) и общностью интересов (utilitatis communione, дословно *общей пользой*, т. е. субстанционально — *М. И.*)» [Цицерон 1966, с. 20].

Фактически тот же феномен греки концептуализировали несколько иначе. Полития была для них совершенным сообществом, отличным от несовершенных, — прежде всего деспотии. Через серию противопоставлений (полития — деспотия, полис — ойкос) у эллинов находит выражение то, что у римлян подразумевается в формуле перехода от частных к общим делам (res publica = res populi = utilitatas publica + utilitates privatae, которая коренится в семье, представляющей собой res privata), а именно: взаимосвязь и единосущность общения совершенного и несовершенного, политической системы и ее внутренней среды (социетальности, экономики, семьи и т. п.). Вспомним, что для Аристотеля полития вырастает из своих несовершенных прототипов, заключая их в себя: внутрихозяйственной, домашней деспотии, а также промежуточных типов отеческого и супружеского общения и власти, которые вместе образуют внутреннюю среду политии.

Римская версия понятия одновременно формальна и субстанциональна. Греческая — диалектична. Она учитывает качественную сторону, но не столь четка. В то же время обе версии нормативны с акцентом на должном и совершенном.

Противопоставление сложным системам *республики* и *политии* примитивных *патримонии* (patrimonium) и *деспотии* не позволяло сохранявшим культурную преемственность европейцам признать варварские королевства республиками. Богослов и апологист П. Оросий (ок. 380—420 гг.) отмечал, например, что готы не способны соблюдать законы из-за своего необузданного варварства, а потому никакая республика у них невозможна; папа же Григорий Великий (ум. в 604 г.) в письме к ромейскому императору Фоке (ум. в 610 г.) подчеркивал принципиальное различие между королями язычников (reges gentium) и императорами республик (reipublicae imperatores), поскольку первые господствуют над рабами, а императоры подлинных республик (vero reipublicae) — над свободными [GG, Bd.5, S.555]. Не исключено, что сходная логика противопоставления цивилизованности и варварства могла послужить первоначальным импульсом для оппозиции ромейской политейи и вассальных полуварварских деспотий, например, на Балканах.

Варварские королевства самими их создателями концептуализировались с заметно более низкой степенью рационализации в понятиях родовой (общинной) стихии. Вполне естественно, что обобщения высокого уровня абстракции (типа политической системы) попросту ускользали и воспринимались через высокоиндивидуализированные понятия — конкретныеи осязаемые: королевство франков, земля англов, датская марка, северный ход, город святого Петра и т. п. Конечно, в отдельных языках и политических традициях находились определенные компенсаторные решения. Однако в масштабах Западной Европы можно говорить, пожалуй, лишь о сохранении несколько упрощенного и редуцированного концепта республики в латинском языке и в традиции римского права. Затем, уже в каролингские времена, республика начинает связываться преимущественно с субстанцией общего блага — utilitas publica, salus, commodum etc. Формальная сторона при этом привносится внешним агентом в лице властителя. Он придает республике политическую форму в виде *заботы* (cura), *управления* (gubernatio), а также *служения* (ministerium) [idem].

На этой, несколько более упрощенной в сравнении с античностью основе развивается когнитивная схема «политического тела» (corpus rei publcae, позднее английское выражение body politic). Так, Джон Солсберийский (ок. 1120—1180) в «Поликратике» назвал республику телом, одушевленным вышней заботой (divini muneris), и рассуждал о ее членах [GG, Bd.5, S.558]. Тем самым, с одной стороны, происходит ремифологизация понятия, его редукция к архаичным антропоморфным представлениям, но в то же время разотождествление политической системы (тела) и короля-властителя (головы) позволяет продвинуть рационализацию и понятия, и факта республики. У того же Джона Солсберийского король определяется как истинная глава (caput) политического тела республики, которой при-

писывается генерализующая политическая функция, а специфические функции — отдельным членам. Это вполне отвечало уже сложившемуся в XI в. различению частного владения короля (domus regis) и имеющего всеобщую значимость королевского владения (domus regalis) как основы генерализующей политической функции. Появилась формула: «Если король пóгиб, то сохранилось королевство, как сохраняется корабль, чей управитель (gubernator) пал» [S. 556].

Концептуализация политической системы на Руси, а затем и в России отличалась значительным своеобразием. Прежде всего здесь, как и в варварских королевствах, нет античной четкости, ясного словесного выражения концепта. Это не означает, однако, что полностью отсутствует понятие политической системы. Оно выражается — хотя крайне смутно и приблизительно — с помощью слов, семантика которых затмевает концептуализуемые смыслы конкретными и яркими ассоциациями. Слов таких немало, и каждое из них по-своему отражает идею политической системы. Прежде всего, конечно, следует признать, что с помощью имени собственного — Русь — концептуализировалась индивидуальная и неповторимая отечественная политическая система. Характерно, что и многие современные политики в своих выступлениях и текстах нередко предпочитают не квалифицировать отечественную политию, например, как нацию, федерацию, союз, демократию, республику и т. п., а используют собственное имя — Россия.

Созвучным поискам наших далеких предков было представление о политической системе как общем достоянии. Можно предположить, например, что древнейшая версия этой идеи отразилась в «Слове о полку Игореве» формулой: «Погибоша жизнь Даждьбожа внука». Здесь, конечно, имеется в виду не то, что мы именуем жизнью сейчас (было бы — «живот»), и даже не добро-зажитье (нынешние «материальные ценности»), а скорее, согласно контексту, разрушение всего строя существования. Впрочем, такое употребление слова *жизнь* встречается не слишком часто, преимущественно в летописании юго-западной Руси.

Другое русское слово, способное отразить идею политической системы, гораздо употребительнее. Это — свобода. Оно, как отмечалось в соответствующем очерке, выражает представление о сфере порядка *своих*, противопоставленных *чужим*, т. е. исходную протополитическую общность. Хотя «республиканская» трактовка внутренней формы этого слова как «свое добро» (сво+обьдо) фактически невероятна [Ilyin, p. 127], она подсказывает возможность вторичного переосмысления внутренней формы свободы (свое как таковое, своя целостность, а вещно, тем самым, свое обьдо-добро) в духе, близком латинской res publica — нечто типа res sua.

Важна и другая вторичная этимологизация *свободы* как *своего жилья — сво + обеть*. Такая народная этимология отразила и, вероятно, подкрепила, как практику образования политически незави-

симых поселений, так и помогла выделению самостоятельного слова *слобода*. По определению В. И. Даля — это «село (в смысле «поселение» — *М. И.*) свободных людей» [т. 4, с. 221], т. е. небольшая, автономная политическая субсистема во всей своей целостности, что также служит доводом в пользу усмотрения в ключевом словопонятии *свобода* формы концептуализации политической системы.

На Руси *слободы* оказались носителями политических универсалий смешанных политий-республик, в больших системах (княжества, семейные союзы княжеств, царство и т. п.) получивших одностороннее развитие. Это качественное превосходство и наличие республиканского генотипа, с одной стороны, обусловливали постоянное возникновение слобод как ядер политической самоорганизации, а с другой — вызывали внешнее давление на них больших систем. Великокняжеская, царская, а затем императорская власть постоянно и последовательно редуцировала эти универсальные субсистемы к уровню упрощенных частичек империи, хотя самими законами имперской организации верховные власти были обречены смиряться с сохранением республиканского генотипа в слободской и, забегая вперед, волостной и земской формах.

Другие претенденты на статус отечественных аналогов политейи/республики — это *волость* (перекличка со свободой через вторичный семантический признак *воли* и первичный — *власти* от и.-е. **uel*), а также *земля*. Последнее слово концептуализировало впоследствии ядро имперской организации. Однако в силу своей расплывчатости оно, конечно, характеризовало не столько статуарно-государственные аспекты организации, сколько всю ее целостность. В связи с этим очень рано возникают параллели понятиям политии и форме (конституции) республики в виде *земли* и *строя земляного*. В «Повести временных лет», например, содержится следующая характеристика князя Владимира: «Бе бо Володимеръ любя дружину, и с ними думая о строи земленем, и о ратех, и уставе земленем» [Памятники 1978, с. 140].

В процитированном отрывке можно разглядеть незакрепленную, увы, попытку различить политию как целостность (земля Русская), как политическую систему (*строй земляней* — с древнерусского переведено как *устройство страны* [с. 141]), как дополитическое, деспотическое по сути силовое дисциплинирование (рати) и, наконец, политию как порядок (taxis) или как политейму, конституцию. В этом смысле (перевод — *законы страны* [с. 141]) употребляется выражение *устав земленней*, а в некоторых списках (см. [Колесов, с. 256] — *устав земской*.

Сходные попытки рационализации, также незакрепленные, встречаются и в более поздние времена. Любопытно в связи с этим появление в XV в. уже более изощренного соположения понятий: «... инии мнозии земли (политея как наличная совокупность граждан — *М. И.*), иже не стяжа мужества и погибоша, отечество (по-

лития как целостность многих поколений, политическая система) изгубиша и землю (совокупность граждан как общество, т. е. одна сторона политической системы), и государьство (вторая сторона политической системы), и скитаются по чюжимъ странамъ бедне воистину!» [Памятники 1982, с. 518—520].

Отечественный материал подсказывает, что в целом концептуализация статуарно-государственной организации и общности-общения осуществлялась параллельно, во многом независимо друг от друга, но одновременно однотипно. Общее легко отождествлялось со своей частью и наоборот. Земля, страна, украина, область, волость и т. п. в зависимости от контекста легко получали то государственническое, то общественническое, то обобщающее значение. Латинское слово республика, равно как и эллинская полития, довольно долго не замечались. Только в конце XVII — начале XVIII вв. зафиксированы отдельные случаи вербального заимствования европейских версий концепта республики сначала через польское посредство как выражение «речь посполитая» (ср. в «Записках» А. А. Матвеева о стрельцах, которые «как бы некоторую особую в то время составляли свою республику, или речь Посполитую» — [Биржакова и др., с. 128], затем, видимо, от голландцев или французов (република) и, наконец, в латинизированной форме, усвоенной, вероятно, из трактатов Гроция, Пуфендорфа, Томазия [Черных, т. 2, с. 113; Биржакова и др., с. 128].

Вернемся, однако, к развитию концепта на западноевропейской почве. В средние века использовалась преимущественно восходящие к латыни лексиконцепты: *respublica*, *civitas*, *universitas* etc. [Black 1993]. Так, *республикой христиан* именовался весь западнохристианский мир, но, помимо этой целостности, данное слово могло быть отнесено к любому *сообществу*, *согражданству* (*civitas*) и *поселению* (*municipium*). Именуются республиками также и корпорации. В знаменитом студенческом гимне «Гаудеамус» об *университете* — название, которое в свою очередь произошло от *universitas* — поется: «Да здравствует республика и те, кто в ней царит» (Vivat et res publica et qui illam regunt).

Макиавелли (1469—1527 гг.) в «Рассуждениях» сталкивает два значения республики — универсалистское (общеевропейская суперсистема) и территориальное (субсистема цивилизации, но также и самостоятельная система) — для осмысления одной из центральных политических проблем своего времени. Она заключалась в конфликте между совершенством принципов или конституции слабеющей *христианской республики* (principi della repubblica cristiana) и прагматическими императивами возникавших территориальных *государств* и *республик христианского мира* (gli stati e le republiche cristiane). Макиавелли видит и совершенство, и нереализуемость идеальных принципов. Соблюдай государства и республики (тонкое различение политической системы — republica — и ее состоя-

ния — stato) эти принципы, считает он, то они были бы более объединены и намного счастливее (piu unite, pui felici assai), однако таковыми они не являются (che le non sono) [Pocock 1975, p. 214].

Понятие политической системы нашло эллинизированную форму *политии* с переводом аристотелевой «Политики» на латинский, осуществленным в середине XIII в. нидерландским схоластом Вильемом ван Мёрбеке (1215—1286 гг.). Одновременно с ним это слово вводят в употребление Альберт Великий (ум. в 1280 г.) и Фома Аквинский (1225—1274 гг.). Представитель следующего поколения схоластов Уильям Оккам (ок. 1285—1349 гг.) не просто пользуется для обобщающей характеристики политической целостности словом полития, но уже намечает тонкие различия: «Общество (civitas) есть множество граждан (multitudo civium), его населяющих, порядок (ordo) коего называется политией (politia)» [GG, Bd. 5, S. 583]. Таким образом при сохранении представления о политической целостности в ней вновь начинает прорисовываться цицероновское различение людского множества и его организации, порядка (ordo). Общество (civitas) здесь еще слито с политией, но фактически уже намечена их последующая дифференциация и противопоставление — в качестве государства и гражданского общества.

Другая и в перспективе не менее важная особенность трактовки Оккамом понятия политии связана со стремлением отделить формы властвования частичные (исключающие какую-либо часть множества граждан) и неполные (использующие только отдельные привилегированные центры власти) от всеобщих и полных политий, или республик. В связи с этим оксфордский схоласт различает властвования королевское (principatus regalis) и политическое (principatus politicus, in quo principatur plures), а также подразделяет последнее на властвования аристократическое и политическое, «строго взятое» (politicus stricte sumptus). Такое различение содержит логические ходы, которые позволили впоследствии развить идеи смешанного правления, начиная с обоснования уже сэром Джоном Фортескью (1394—1476) правовых основ *королевства политического и монархического* (regnum politicum et regale) и до вполне современных концептов плюрализма, полиархии и республиканизма, повторю вслед за Оккамом, stricte sumptus.

Оккамовская по своему существу логика использовалась и ранними итальянскими республиканцами [Pocock 1975]. Консолидация городов-государств концептуализовалась ими как становление республик, самостоятельных политических тел. Борьба с узурпаторами привела к формированию оппозиции монархия — республика, но как явлений, не столько различающихся по их *«республиканской»* сути, сколько разномасштабных. Монархия представлялась республиканским идеологам чреватой узурпацией главою (capo) политического тела всего *общего блага* (фактически тиранией в аристотелевом смысле), тогда как республика мыслилась как справед-

ливое распределение остающимся при этом целостным *общего блага* между множеством, лучшими и властителем. Республика тем самым связывалась со смешанным правлением и вполне в духе Стагирита не только не исключала монархию как свою часть и частность, но даже предполагала ее.

Возвращаясь к эллинизированной версии концепта политической системы, отмечу, что в XIV в. она проникает в новые европейские языки [GG, Bd. 5, S. 563—565]. У французского номиналиста Николая Орема (ок. 1320—1382 гг.) наряду со словом *policie* появляется также галлицированная калька латинского слова республика — *la chose publique*, которую он определяет как общее благо (*le bien commun*) и целью которой объявляет осуществление доброй политики (*bonne policie*), т. е. *благочиния* [S. 566].

Длительное время идею политической системы (республики и политии) выражало также словопонятие *гражданское общество* (civitas, societas civilis). Постепенно начинают различаться три вербальных выражения — *полития*, *республика* и *общество* — одного и того же понятия, т. е. восстанавливается или открывается заново цицероновская логика. Весьма показательно в этом плане определение республики (common-wealth) в трактате сэра Томаса Смита «Республика англичан; образ правления или полития королевства Англии» (De Republica Anglorum; the Maner of Government or Policie of the Realme of England), написанном в 1565 г. и опубликованном в 1583 г.: «Республикой (common-wealth) называется общество (society) множества свободных людей, собранных вместе и объединенных друг с другом общим согласием (common accord) и договорами (couenants)» [OED, v. 2, p. 696].

Республика все больше воспринимается как форма политии, а гражданское общество — как его субстанция. Однако только, пожалуй, к XVII в. эти различия проявляются вполне отчетливо [GG, Bd. 5, S. 568]. Республика все отчетливее ассоциируется со статуарными формами, а тем самым с государственностью. Как для Жана Бодена (1530—1596 гг.).

Наиболее отчетливо формулирует соотношение общества как материи и республики как формы Самуэль Пуфендорф (1632—1694 гг.). Отсюда через осуществленный Христианом Вольфом (1679—1754 гг.) анализ формы республики, т. е. уже через форму форм (монархия, аристократия, демократия и «смешанная республика» — «vermischte Republick»), протягивается линия к последующему формированию понятия политического режима.

В целом можно признать, что с началом Нового времени понятие республика раздваивается, начинают различать его широкий и узкий смыслы. Характерный пример — определение республики в словаре И.-К. Аделунга (1732—1806 гг.): «...в широком смысле гражданское состояние, такое гражданское общество, которое образовано из множества домашних (семейных) сообществ

ради поддержания своей безопасности, кое также бывает именовано государством... В узком или обыденном понимании республика — это такое гражданское общество, в коем высшая власть принадлежит большинству» [GG, Bd. 5, S. 589].

Джон Локк (1632—1704 гг.) употребляет для обозначения политической системы словопонятие *commonwealth*, обладающее явственными республиканскими обертонами, но оправдывает для читателей такое словоупотребление ссылкой на Якова I [Локк, т. 2, с. 75—76]. Собственно же республику философ стыдливо именует well-framed government — «правильно организованным правлением» [с. 92]. Так невольно акцентируется и конституционный аспект политии — вспомним, что правление (government) на протяжении всего XVII в. оставалось синонимом конституции.

За словом *полития* в этих условиях начинает закрепляться значение специфического обобщенного качества политической системы — порядка и упорядочения. В английской традиции, например, существовавшая в течение столетий веков взаимозаменяемость форм polity — policy в XIX в. трансформируется в средство различения политической целостности и упорядоченности (polity) и некоей последовательно проводимой политическим актором логики упорядочения, его *политики*, или политической линии (policy). Выделяется также концепт политической сферы, всей полноты, но не обязательно целостности и упорядоченности политических феноменов. Это понятие выражается словом politics, представляющем собой множественное число субстантивированного прилагательного, т. е. «политические» феномены, события, взгляды и т. п. Заимствуется и континентальное понятие (и слово) *полиция*.

Во Франции и Германии значительно раньше, с конца средневековья до Просвещения идет несколько иной процесс дифференциации понятия. От понятия политии как организованного, упорядоченного целого отпочковывается специфический концепт *полицейских дел* (Polizaisachen) как особой сферы, подлежащий упорядочению. Поскольку ключевая роль в формировании полицеистских норм абсолютистского государства отводилась аппарату поддержания порядка и благочиния (ср. российские *благочинные управы*), то в конечном счете именно за ним и за его репрессивными структурами закрепляются соответствующие слова (police, Polizei). Однако окончательно это происходит только в XIX в., а пока, на этапе создания и утверждения абсолютистского государства, под полицией понимается институциональная основа поддержания политического порядка в целом.

Скепсис британцев в отношении формального навязывания политико-полицейского порядка сверху с помощью специального аппарата сказался в том, насколько трудно прививалось слово полиция (police), а с ним и соответствующая идея. Англичане довольно долго были склонны именовать полицией качество гражданской организа-

ции и цивилизованности. Реальное же разграничение британцы провели между политией (polity) — целостностью политической системы, политическим сообществом, с одной стороны, и политикой (policy) — политической линией, стратегией, сознательной организацией политического дискурса, с другой. Именно такая логика целенаправленных усилий (а не специальный аппарат дисциплинирования и принуждения) и мыслилась как естественная основа поддержания порядка. Поэтому и вербальные формы с чередованием t/c концептуализировали, в отличие от континентальной Европы, не оппозицию (и связь) политического целого и его институционально-дисциплинирующего ядра, а контрапункт политического целого и смысловой организации развертывающего его процесса.

Таким образом, развитие понятия полития в новоевропейской традиции, помимо ответвлений в виде республики и конституции, дает набор концептов: политическое целое, политический порядок, его институционально-дисциплинирующее ядро и, наконец, смысловая и логическая организация политического процесса для развертывания политической системы, т. е. то, что в последние годы стало принято именовать *политическим дискурсом*.

Литература

Аристотель: Политика // Аристотель. Соч. в 4-х томах. Т. 4. М.: Мысль, 1984; Никомахова этика // Там же.

Биржакова и др. 1972: Биржакова Е.Э. и др. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII в. Л., 1972.

Даль: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1—4, 1978—1980 (репринт изд. 1880—1882 гг.).

Колесов 1986: Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. Л., 1986.

Локк 1960: Локк Дж. Избранные философские произведения в 2-х томах. М.: Изд-во соц.-экон. лит., 1960.

Памятники 1978: Памятники литературы Древней Руси. XI — нач. XII века. М., 1978.

Памятники 1982: Памятники литературы Древней Руси. Втор. пол. XV в. М., 1982.

Цицерон 1966: Цицерон. Диалоги. М., 1966.

Черных 1993: Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 1—2. М., 1993.

Black 1992: Black A. Political Thought in Europe, 1250—1450. Cambrige, 1992.

GG 1972—1995: Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politish-sozialer Sprache in Deutschland. Bd. 1—8. Stuttgart, 1972—1995.

Ilyin 1993: Ilyin M. *Свобода* and *Воля*: free will and liberated self in a linguistic perspective // Social Sciences, N 1, 1993.

OED: The Oxford English Dictionary. Oxford, 1993.

Pocock 1975: Pocock J.G.A. The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton, 1975.

Комментарий

Юрий Степанов, Татьяна Булыгина*

I. ИЗ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ СЕМИОТИКИ

Чарльз Уильям Моррис. Основания теории знаков (Morris Ch. W. Foundations of the Theory of Signs). — Впервые опубликовано в: «International Encyclopedia of Unified Sciences». Vol. 1, part 2. Chicago, 1938; перевод сделан по изданию. M o r r i s Ch. Writings on the General Theory of Signs Mouton and Co. Publishers, The Hague — Paris, 1971.

Работа американского семиотика Ч. У. Морриса (1901—1978) является первым систематическим изложением семиотики в XX в. До этого семиотика имела давнюю, но прерывистую традицию, восходящую к античному учению стоиков. Непосредственным предшественником Морриса был американский философ и логик Ч. С. Пирс (1839—1914), чьи идеи о знаках Моррис развивает и отчасти преобразует.

Исследование Морриса возникло в атмосфере бурно развивавшегося в 30-е годы философского направления неопозитивизма. По замыслу автора, его семиотика должна была способствовать решению одной из основных

* Т. В. Булыгиной (1929—1999) был написан комментарий к работам Ч. С. Пирса и А. Вежбицкой, он воспроизводится без изменений. Дополнения и изменения в других разделах комментария в настоящем, 2-м, издании сделаны Ю.С. Степановым.

задач неопозитивизма — подведению единого «языкового» (т. е. семиотического) основания под различные специальные науки (физику, математику, психологию, лингвистику); семиотика предполагалась как «унифицирующая наука». В целом этот проект не был и не мог быть осуществлен в рамках неопозитивизма. Критику работы Морриса с этой точки зрения см. в кн.: Богомолов А. С. Буржуазная философия США XX в. М.: Мысль, 1974, с. 223—226.

На работу Морриса оказали также большое влияние идеи бихевиоризма — господствовавшего в те годы течения американской психологии. Три этих потока идей — 1) прагматических идей, 2) общих установок неопозитивизма и 3) психологических подходов бихевиоризма — придают своеобразную окраску исследованию Морриса и образуют в его содержании тот пласт, который не выдержал проверки временем.

Однако в публикуемой работе Моррису удалось четко и ясно изложить объективные основания семиотики, независимые от ее неопозитивистской, прагматической или бихевиористской интерпретации, и в этом состоит значение данной работы для наших дней.

Стр. 46. *...данный очерк был предназначен для «Энциклопедии»*. —Имеется в виду «International Encyclopedia of Unified Science» («Международная энциклопедия унифицированной науки»), серийное издание работ неопозитивистов, начавшее выходить в 1938 г. в Чикаго. Вторую часть (выпуск) 1-го тома составила названная работа Морриса. После 2-го тома издание прекратилось.

Стр. 46. *...т. 1, № 1...* — Имеется в виду названная «Энциклопедия».

Стр. 48. ...[*обобщенное*] *учитывание — это интерпретанта...* — Термин Морриса здесь необычный и скорее разговорный — takings-account-of. Термин в квадратных скобках принадлежит редактору русского перевода. Поскольку все рассуждение Морриса в этой части пронизано ассоциациями с понятиями бихевиоризма, то и «интерпретанта» легко могла бы быть истолкована читателем как «индивидуальное восприятие предмета, обозначенного знаком», т. е. как нечто подобное «опыту», о котором идет речь ниже, на с. 76—77. Между тем «интерпретанта» — это лишь то в процессе «учитывания», что соответствует «десигнату», т. е. далеко не совпадает с опытом или с восприятием в целом. Чтобы подчеркнуть это отличие, рядом с термином «опосредованное» учитывание добавлен термин «обобщенное». О необходимости так понимать интерпретанту говорят замечания самого Морриса на с. 67 и 82.

Стр. 48. *...а то, что учитывается, — десигнаты.* — Следует иметь в виду, что в последующих работах по семиотике это звено семиозиса, обозначенное здесь термином «десигнат», подверглось тщательному исследованию и вместо данного термина были введены еще и другие — «сигнификат», «интенсионал», в работе К. И. Лью-

иса (см. в наст. сб.) оно расчленяется и обозначается целой группой терминов.

Стр. 49. ...*не требуется обращения к метафизическому царству «сущностей»* (*«subsistence»*). — В оригинале здесь букв. «метафизическое царство "существования"», однако речь идет об особом существовании — «субзистенции»; именно такое существование и относится к «метафизическому царству». Моррис обыгрывает здесь два термина «существование», восходящих к схоластике и не различающихся в русском языке: с одной стороны, *существование* во времени, в действительном, данном, *актуальном* мире — *экзистенцию* (existence), и, с другой стороны, *существование* в воображаемом мире (или в логическом смысле), как, например, когда говорят «квадрат существует», «круглый квадрат не существует», понимая под этим существование квадрата, отличного от материально изображенных фигур (последние имеют «экзистенцию»). «Сущности» в абстрактном смысле не «экзистируют», а «субзистируют», и именно этот, «метафизический» смысл Моррис отвергает.

Эти вопросы имеют многовековую традицию в европейской философии, восходя к вопросу о различных видах «существования». Моррис, вероятно, ставит их на основе концепции Б. Рассела 1910-х гг. (хотя имя Рассела и не упоминается). Последний в то время писал: «Мысли, чувства, рассудки (minds) и физические объекты существуют в смысле *экзистируют*. Но универсалии не существуют в этом смысле; следует сказать, что они *субзистируют* (subsist) или *имеют бытие* (have being); в этих выражениях *бытие* (being) противопоставляется *экзистенции* (existence) как существование вне времени (timeless)» (R u s s e l l B. The Problems of Philosophy. N. Y., 1911, ch. IX; русский перев. Б. Р э с с е л [Рассел]. Проблемы философии. М., 1914).

В конечном счете магистральная линия всего этого рассуждения, как в тексте Ч. У. Морриса, так и в нашем комментарии, состоит в противопоставлении «платонизма» и «номинализма». (Б. Рассел был ожесточенным противником первого и поборником второго). Лучшим на русском языке изложением первого остается статья (1859) П. Д. Юркевича (1827—1874) «Идея». По причине резкой оппозиции П. Д. Юркевича к Н. Г. Чернышевскому эта статья впервые после оригинального издания 1859 г. была опублкована только в 1990 г. (в кн.: Ю р к е в и ч П. Д.) Философские произведения. М.: Правда).

Стр. 49. ...*бихевиоризма Уотсона*... — Джон Б. Уотсон (1878—1958) — американский психолог, один из основоположников бихевиоризма (см.: У о т с о н Дж. Психология как наука о поведении. М. — Л., 1926). Бихевиоризм оказал в США большое влияние на все науки гуманитарного цикла (см., в частности, работы Морриса), а также на лингвистику в ее дескриптивном направлении (см., напр., Б л у м ф и л д Л. Язык. М.: Прогресс, 1968, с. 37—40).

Стр. 52. ...*чистая семиотика*... — Термином «чистая» в европейской традиции, начиная со Средневековья, обозначалась какая-либо наука вне ее практических приложений. Ф. Бэкон использует термин «чистая математика» (mathematicae purae) в противопоставлении «смешанной математике» (mathematicae mixtae). Моррис непосредственно заимствовал этот термин у Пирса, который называл центральную часть семиотики «чистой, или спекулятивной, или умозрительной грамматикой».

Стр. 55. ...*избежать крайностей как конвенционализма, так и ...эмпиризма*. — Под «конвенционализмом» здесь имеется в виду такой взгляд на логику, при котором логические сущности и законы понимаются как определяемые общепринятыми соглашениями и правилами; применительно к языку — концепция, согласно которой язык есть такая система, которая более или менее сознательно регулируется людьми в соответствии с принятыми ими соглашениями; примером конвенционализма в этом смысле могут служить взгляды на язык французских просветителей XVIII в. Под «эмпиризмом» здесь понимается противоположная конвенционализму доктрина, согласно которой отрицается существование логических аксиом, принципов логического познания, отличных от опыта; примером доктрины эмпиризма применительно к проблемам логики и языка может служить концепция Дж. С. Милля (1806—1873) (см. его кн.: Система логики силлогистической и индуктивной. М., 1914); в широком смысле под эмпиризмом понимается вся традиция английской философии от Юма и далее.

Следует иметь в виду, что «преодоление крайностей» конвенционализма и эмпиризма провозгласил не только Моррис, но и все неопозитивисты — участники Венского кружка и их английские и американские коллеги. Согласно их теории «правильно построенного языка», должны различаться «эмпирические истины» и «синтаксические отношения», последние с помощью как раз конвенциональных правил используются для выражения эмпирических истин. Концепция Морриса выступает здесь как более узкий вариант этой теории. Критическое освещение связанных с этим философских вопросов см. в кн. «Современная буржуазная философия»/ под ред. А. С. Богомолова и др. М.: Высшая школа, 1978 (гл. II, разд. 7: «Логический конвенционализм»).

Стр. 58. ... *«вещное предложение»*— Этот и подобные термины входят в неопозитивистскую концепцию «вещного языка»; см. комм. ниже.

Стр. 63. ...*необходимо иметь язык синтактики и так называемый «вещный язык»* (*язык семантики*). — «Вещный язык» — одно из краеугольных понятий т. н. «физикализма». В неопозитивизме 30-х годов унификация разных (в идеале всех) наук предполагалась

осуществимой на основе «унифицированного языка», который мыслился как наиболее близкий к языку современной физики (отсюда название «физикализм»). Широко известный проект унификации языка был разработан Р. Карнапом (1891—1970). Предлагалось фиксировать первичные предикаты, означающие непосредственно наблюдаемые в опыте свойства вещей, — т. н. «диспозициональные предикаты», и с их помощью строить предложения «вещного языка», т. е. высказывания о вещах. Другие высказывания и вообще языки других наук должны были в конечном счете сводиться, «редуцироваться», к первым, — т. н. «редукционизм». Ни один опыт создания «унифицированного языка» в рамках неопозитивизма не удался полностью. Моррис, как это видно из данного места, также скептически относился к проекту физикалистов.

Однако идея «редукции» сыграла положительную роль в разработке «языка для описания семантики естественного языка» (в настоящее время его чаще называют вторым моррисовским термином — «языком семантики» или «языком для семантики»). Интересный опыт такого языка разработан А. Вежбицкой (см. ее работу в наст. сборнике).

Стр. 66. ...*но не могут быть сформулированы в рамках этой конкретной систематизации.* — Предшествующее высказывание, выражающее критический взгляд Морриса на программу физикалистов, близко к точке зрения советских историков философии. Ср.: «Ложность конвенционализма доказывается также результатами известной теоремы Г. Гёделя (1931), согласно которой для каждого достаточно богатого средствами логико-математического исчисления существуют истины, выразимые в его терминах, но формально в нем не выводимые. Отсюда вытекает факт существования истин, которые не зависят от субъекта, построившего (или использующего) данное исчисление, и которые, следовательно, не могут быть продуктами какой-либо его конвенции. Эти истины устанавливаются в процессе общественной практики людей. Отсюда вытекает также, что никакая формальная система и конечная совокупность таких систем не могут отразить всех неисчерпаемых свойств материальных объектов в их связях и опосредствованиях» («Соврем. бурж. философия», указ. изд., с. 162).

Стр. 67. ...*объекты, относящиеся к «миру сущностей», а не к «миру существующего».* — «Мир сущностей» — это «мир субзистенции», а мир существующего — это «мир экзистенции», в оригинале здесь термины «субзистенция» и «экзистенция»; см. комм. к с. 48.

Стр. 71. ...*значительность достижений Пирса, Джеймса, Дьюи и Мида в области семиотики.* — Автор называет здесь четырех американских философов — создателей философского течения прагматизма. Из них Пирс, упомянутый выше, стоит особняком; сам Пирс в двух работах 1905 г. сделал попытку отмежеваться от фи-

лософского прагматизма, выдвинув для своего учения новый термин «прагматицизм» (What Pragmatism is? // Monist, vol. XV, 1905, № 2; Issiues of Pragmaticism / Там же, № 4). Именно работы Пирса важны для семиотики.

Что касается трех других философов, У. Джеймса (1842—1910), Дж. Дьюи (1859—1952), Дж. Г. Мида (1863—1931), то стремление Морриса как-то особенно тесно связать семиотику с их доктриной оказалось безрезультатным, всего лишь данью философской моде 30-х годов. Впрочем, сам Моррис тут же замечает, что «термин «прагматика», как специфически семиотический термин, должен получить свою собственную формулировку». Дальнейшее развитие семиотической прагматики проводится Моррисом, в сущности, независимо от философского прагматизма.

Стр. 75. ...*Семантика занимается не всеми отношениями знаков к объектам, но, будучи семиотической дисциплиной, занимается отношением знаков к их десигнатам.* — Вопрос о том, чем должна заниматься семантика как семиотическая и лингвистическая дисциплина, до сих пор не получил окончательного решения. Взгляд (разделяемый здесь и Моррисом), согласно которому основной предмет семантики — отношения языковых знаков и выражений к их десигнатам (сигнификатам, интенсионалам — термины различны в разных концепциях) — является в настоящее время, пожалуй, наиболее обоснованным. В настоящем сборнике он проводится наиболее определенно также в статьях К. И. Льюиса и Б. Холл Парти (см. также комм. к ним). «Полное значение» языкового знака выражения в таком случае складывается из: 1) семантики в тесном, выше определенном смысле, 2) знания говорящим и слушающим внешнего мира, 3) их способности интерпретировать языковые знаки и выражения. 2-й и 3-й компоненты знания о мире и смысловая интерпретация языковых выражений при указанном выше понимании семантики не входят в семантику в собственном смысле слова.

Стр. 75. ...*прагматику, которая изучает другие отношения знаков, нельзя включить ни в семантику, ни даже в семантику в сочетании с синтактикой.* — Вопрос об отношении прагматики и семантики в сфере значений напряженно обсуждается в настоящее время. Он стоит, в частности, в связи с пониманием роли и места интерпретации выражений. Подробнее см. серии работ в «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», 1981, т. 40, вып. 4; 1982, т. 41, вып. 4.

Стр. 83. ...*Уайтхед назвал иллюзорностью...* — А. Н. Уайтхед (1861—1947) — английский математик, логик и философ; в 1910-х гг. выступал в тесном сотрудничестве с Б. Расселом (1872—1970) в разработке основ математики. Следующая ниже проблема, поданная Моррисом в несколько шутливом тоне, оказалась очень важной для последующего развития семиотики. Чем являются десигнаты, интенсионалы? Подобны ли они, например, числам, т. е. имеют ли они

объективные законы, независимые от индивидуального разума? и т. д. В настоящем сборнике наиболее определенно эти вопросы ставятся на основе концепции Монтегю в статье Б. Холл Парти.

В следующем разделе у Морриса эта проблема, как и у Рассела, связывается с вопросом об универсалиях. См. также комм. к с. 41.

Стр. 87. ...*Слово — это ...своего рода «универсалия» в противопоставлении конкретным случаям его появления.* — Различение, о котором говорит здесь Моррис (вслед за Пирсом), оказалось очень важно для современной семиотики. Оно получило дальнейшую разработку в концепции К. И. Льюиса, где выделяются «экземпляры знака» (т. е. конкретные случаи появления знака, в отличие от самого знака), далее в теории алгоритмов и алгоритмических языков. Установление одинаковости с помощью абстракции отождествления позволяет говорить о двух одинаковых элементарных знаках как об одном и том же элементарном знаке; «на этой основе мы вводим понятие абстрактного элементарного знака...» (М а р к о в А. А. Теория алгоритмов // Труды математического института им. В. А. Стеклова», 1951, т. 38, с. 177). В философском плане понимание абстрактных языковых единиц как закона существования конкретных единиц разрабатывается в работе: Л о с е в А. Ф. Введение в общую теорию языковых моделей. М., 1968 («МГПИ им. В. И. Ленина», № 307), с. 76 и сл. См. также комм. к с. 41.

Стр. 87. ... *«Третичности»*... — «Третичность» в системе Ч. С. Пирса (см. комм. к его работе в наст. сб.) входит в систему из трех понятий: «первичность», «вторичность», «третичность», первая из этих категорий — качество, — взятое само по себе, вневременной и вечный объект; вторая — «вторичность» — индивидуальное существование в материальном объективном мире, «здесь и теперь», основные признаки «вторичности» — находиться в отношении к чему-то другому, активно взаимодействовать. «Третичность» — это опосредование, связь двух первых сфер, дающая им связность и закономерность.

Стр. 89. ...*термин вторичной интенции, а не первичной*... — Термины средневековой схоластической логики: под «первичной, или объективной, интенцией» понимался непосредственный акт сознания — усмотрение данного объекта; далее — сам этот объект или класс однородных объектов; под «вторичной, или формальной, интенцией» понимался опосредованный акт сознания, т. е. осознание осознания объекта; далее — логическое, понятийное определение объекта.

Чрезвычайно тонко разработанный логико-лингвистический аппарат схоластики в настоящее время интенсивно исследуется и заново используется в современной логике, лингвистике и философии языка. См. также комм. к статьям Е. Пельца и Б. Холл Парти в наст. сборнике.

Жан Пиаже. Психогенез знаний и его эпистемологическое значение (Jean Piaget. La psychogenèse des connaissances et sa signification épistémologique). — Перевод сделан по изданию: «Théorie du langage. Théorie de l'apprentissage». Le débat entre Jean Piaget et Noam Chomsky. Organisé et recueilli par Massimo Piatelli-Palmarini. Editions du Seuil. Paris, 1979, с. 53—64.

Жан Пиаже (1896—1980) — швейцарский психолог, логик и философ, основатель так называемой «генетической эпистемологии». Ряд основных положений учения Пиаже близок к положениям советской психологической науки. Работы Пиаже неоднократно издавались и комментировались на русском языке, см.: П и а ж е Ж. Избр. психологические труды. М.: Просвещение, 1969; П и а ж е Ж., И н е л ь д е р Б. Генезис элементарных логических структур. М., 1963; К е д р о в Б. М. Пять встреч с Жаном Пиаже // Вопросы философии, 1981, № 9; О б у х о в а Л. Ф. Концепция Жана Пиаже: за и против. М., 1981 и др.; см. также серию монографий «Экспериментальная психология» под ред. П. Фресс и Ж. Пиаже, вып. 1. М.: Прогресс, 1966; вып. 6, 1978.

Данная работа Пиаже возникла в ходе его прямой дискуссии с Н. Хомским, прошедшей в 1974 г. во Франции в г. Руайомон близ Парижа. В ряде своих выступлений в этой дискуссии, опираясь на огромный экспериментальный и теоретический фундамент своей психологической школы, Пиаже доказывает несостоятельность психологических утверждений Хомского (о врожденности языковых структур и пр.).

По ряду пунктов публикуемая статья Пиаже восполняет также неадекватные психологические и философские положения работы Ч. Морриса, приведенной выше (см. комм. к предыдущей работе).

Стр. 98. *...эпистемология...не может быть ни эмпирической, ни «преформистской»...* — Комм. к этим терминам см. ниже соотв. в связи с понятиями «эмпиризм», «преформация» («преформизм»), которые в статье Пиаже противопоставляются основному понятию его собственной концепции — «конструктивизму».

Стр. 98. *...а может лишь основываться на конструктивизме...* — Понятие конструктивизма играет в настоящее время важную роль в математике, психологии и лингвистике. В математике с ним связывается математическое направление конструктивизма, в частности исследование алгоритмических вычислений и языков (см. выше в комм. к работе Морриса «Основания...»). В лингвистике конструктивизм первоначально выступил в виде направления трансформационных и порождающих (генеративных) грамматик, в настоящее время связывается также с разработкой больших словарей, в особенности машинными методами (см. К а р а у л о в Ю. Н. Лингвистическое конструирование. М.: Наука, 1981). В психологии наиболее ярким выражением конструктивизма являются работы самого

Пиаже, который вкладывает в этот термин несколько особый смысл, как это видно из последующего.

Стр. 99. ...*праксический*... — Во французском философском языке (работы Пиаже написаны по-французски) существует группа взаимосвязанных терминов: *праксия* (praxie), *праксис* (praxis), *практика* (pratique). Значение последнего соответствует русскому *практика; праксис* означает «действие» в противопоставлении «теории» и «познанию» вообще; *праксия* означает данное, конкретное действие, в противопоставлении *праксису;* от термина *праксия* произведен неологизм *праксический* (praxique).

Стр. 99. ...*Инельдер, Синклер, Бове ...Прибрам*... — Автор называет психологов, близких по установкам к его собственной концепции. Работу Инельдер, сотрудницы Пиаже, см. комм. выше; из работ Прибрама см. в русск. перев.: Миллер Дж., Галантер Е., Прибрам К. Планы и структура поведения. М.: Прогресс, 1964.

Стр. 100. ...*Преформация*... — Преформация, чаще преформизм, — старинный философский термин; под преформизмом, в противопоставлении эпигенезу (этот термин также используется у Пиаже ниже), понимался такой взгляд на биологическое развитие, согласно которому все органы и наследственные черты живого организма представлены уже в его зародыше или даже в семени. Как разновидности преформизма иногда рассматриваются менделизм и вейсманизм. Идеи преформизма встречаются уже у Лейбница («Монадология», §74). Пиаже вкладывает в этот термин несколько особый смысл.

Стр. 100 ...*эпигенез*... — Эпигенез, противопоставляется преформизму, — старинный философский термин, означающий, что различные органы и черты живого организма, появляющиеся в процессе его развития, оформляются последовательно, фаза за фазой, а не предсуществуют заранее в зародыше. Пиаже вкладывает в этот термин свой, особый смысл.

Стр. 100. ...*универсуму платоновских идей*... — Понятие универсума идей как множества возможностей в настоящее время снова интенсивно обсуждается в философии языка и семиотике; применительно к математике (понятию числа и проч.) см. Карри Х. Б. Основания математической логики. М.: Прогресс, 1969, с. 27; применительно к семиотике см. Степанов Ю. С. Об одной платоновской идее в современной лингвистике // Античная культура и современная наука: Сб. в честь А. Ф. Лосева. М.: Наука, 1985, с. 265—259; Хинтикка Я. Логико-эпистемологические исследования. М.: Прогресс, 1981 (раздел «Теоретико-игровая семантика»); см. также статью Б. Холл Парти в наст. сборнике.

Стр. 105. ...*К. Лоренц*... — Конрад Лоренц (1903—1979) — австрийский ученый, исследователь психологии высших животных; ла-

уреат Нобелевской премии по медицине и физиологии (1973 г., совместно с К. фон Фришем и Н. Тинбергеном).

Стр. 109. ...*модель антиперистасиса*... — Учение об антиперистасисе изложено Аристотелем в его «Физике» (кн. 8, гл. 10), см. А р и с т о т е л ь. Соч. в 4-х томах. Т. 3. М.: Мысль, 1981, с. 258 и сл.

Роман Якобсон. В поисках сущности языка (Roman Jakobson. Quest for Essence of Language). — Перевод сделан по изданию: «Diogenes. An International Review of Philosophy and Humanistic Studies», Montreal, 1965, № 51, с. 21—37.

Р. Якобсон (1896—1982) — известный лингвист, литературовед и семиотик; активный деятель Общества по изучению поэтического языка (ОПОЯЗ) в Петрограде; один из создателей Пражского лингвистического кружка. Собр. соч. Р. Якобсона в 5 томах выпущено издательством «Mouton» в Гааге (1962—1979 гг.).

Если в работе Ч. Морриса язык освещается в аспекте семиотики, в работе Ж. Пиаже в аспекте психологии, философии и истории науки, то в данной статье Р. Якобсона акцент делается на собственных, «сущностных» семиотических чертах самого языка.

Стр. 111. ...*В учении стоиков*... — Логико-лингвистическое учение античных стоиков (нач. с III в. до н. э.) полностью в настоящее время еще не реконструировано и не описано; отдельные его фрагменты и идеи в разное время оказали большое влияние на развитие логики и лингвистики. Из важнейших работ на русском яз. см.: М а к о в е л ь с к и й А. О. История логики. М.: Наука, 1967 (раздел «Логика Стои»); Л о с е в А. Ф. Знак. Символ. Миф. М., 1982 (раздел «Учение о словесной предметности [лектон] в языкознании античных стоиков»).

Стр. 112. ...*в трудах Августина*... — Семиотические идеи Августина (354— 430), относящиеся к исследованию стихотворной речи в связи с музыкой, далее прослеживаются Р. Якобсоном: J a k o b s o n R. My metrical sketches, a retrospect // Linguistics. Mouton, 1979, vol. 17, № 3/4 (то же в: J a k o b s o n R. Selected Writings. Vol. 5, Mouton, 1979).

Стр. 113. ...*Пирс также проводит резкое различие*... — См. об этом работу Пирса и комм. к ней в наст. сборнике.

Стр. 126. ...*с предвидением Велимира Хлебникова*... — Глубокие семиотические идеи Хлебникова, в связи с его взглядами на «мифопоэтическое» слово, освещены в статьях: Д у г а н о в Р. В. Краткое «искусство поэзии» Хлебникова // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка, т. 33, 1974, вып 5; Д у г а н о в Р. В. Проблема эпического в эстетике и поэтике Хлебникова // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка, т. 35, 1976, вып. 5; из новейших работ см.: Г р и г о р ь е в В. П. Будетлянин. М.: Языки рус. культуры, 2000.

II. СЕМИОТИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Чарлз Уильям Моррис. Знаки и действия (Ch. W. Morris. Signs and the Act). — Впервые опубликовано в книге Ch. W. M o r r i s. Signification and Significance. New York 1964 (Chapter 1); перевод сделан по изданию: Ch. M o r r i s. Writings on the General Theory of Signs (Approaches to Semiotics, 16). Mouton, The Hague — Paris, 1971, с. 401—414.

Стр. 129. ...*Эрнст Кассирер*... — Э. Кассирер (1874—1945) — немецкий философ, автор философской концепции «символических форм». В своей завершающей работе «Опыт о человеке» (1945) Кассирер определяет человека не как «социальное животное» или «разумное животное», а как «животное символическое», создающее для себя мир в символических формах. Учение Кассирера не принадлежит к семиотике в собственном смысле слова, поскольку — это хорошо показано А. Ф. Лосевым — символ (в широком его понимании) и знак (основное понятие семиотики) существенно различны; см Л о с е в А. Ф. Знак. Символ. Миф. М., 1982 (раздел «Терминологическая многозначность в существующих теориях знака и символа», с. 242 и др.).

Стр. 129. ...*широкое распространение в наши дни термин «семиотика» получил*... — Специально о термине см. С е б е о к Т. А. «Семиотика» и родственные термины // Вопросы языкознания, 1973, № 6.

Стр. 130. ...*Карл фон Фриш показал*... — К. фон Фриш — австрийский биолог, исследователь инстинктивного поведения и «языка» пчел и др. животных, лауреат Нобелевской премии (совместно с К. Лоренцем и Н. Тинбергеном) (см. также комм. к статье Пиаже «Психогенез знаний...» в наст. сборнике). О значении работ фон Фриша для лингвистики и семиотики см. Б е н в е н и с т Э. Общая лингвистика М.: Прогресс, 1974 (гл. VII. Коммуникация в мире животных и человеческий язык); С т е п а н о в Ю. С. Основы языкознания. М., 1966 (§ 102, § 103).

Стр. 132. ...*я следую за Джорджем Г. Мидом*. — Дж. Г. Мид (1863—1931) — американский философ и социолог прагматического направления. По Миду, социальная эволюция связана с развитием символизации и коммуникации, понимаемых как символические системы установок различных социальных групп. В современных теориях общения (вербального и невербального) с именем Мида связывается концепция «интеракционизма», см. А н д р е е в а Г. М., Б о г о м о л о в а Н. Н., П е т р о в с к а я Л. А. Современная социальная психология на Западе. Теоретические направления. М., 1978 (особ. гл. V).

Жан Пиаже. Схемы действия и усвоение языка (Jean Piaget. Schèmes d'actionet apprentissage du langage). — Перевод сделан

по изданию: «Théorie du language. Théorie de l'apprentissage». Le débat entre Jean Piaget et Noam Chomsky. Organisé et recueilli par Massimo Piatelli-Palmarini. Editions Du Seuil. Paris, 1979, с. 247—251.

По основному содержанию данная работа Пиаже в значительной степени повторяет, в сжатом виде, его более раннюю статью: P i a g e t J. Le language et la pensée du point de vue génétique // Acta Psychologica, vol. 10, 1954, № 1—2, p. 51—60. Новым является лишь использование ранее введенных Пиаже понятий для дискуссии против Хомского.

Стр. 144. ...*являются... концептами практическими.* — Этот термин является, по-видимому, вариантом термина «праксический», — см. комм. к статье Пиаже «Психогенез знаний...» в наст. сборнике.

Стр. 144. ...*я противопоставляю термин «содержание понятия» и «экстенсионали... согласно их употреблению французской логической школой...* — Во французском научном обиходе термин «содержание понятия» (compréhension) обычно соответствует английскому термину «интенсионал» (intension), и то и другое противопоставляется одному и тому же термину «экстенсионал» (extension). Однако, поскольку Пиаже здесь говорит о таких «концептах с содержанием понятия», как «качества» и «предикаты», для которых вопрос о «содержании понятия» как раз решается различными исследователями не вполне однозначно, то, по-видимому, термин «содержание понятия» (compréhension) у Пиаже имеет несколько особое значение. См. также комм. к статье К. И. Льюиса в наст. сборнике.

Стр. 148. ...*для чего-либо еще более общего...* — Что такое это «еще более общее», разъясняется в статье Пиаже «Психогенез знаний...» (см. наст. сборник). Речь идет о явлении саморегуляции живого организма, которое, конечно, нельзя признать врожденным и присущим разуму, ибо оно касается всей эволюции и всего организма, в то время как разум является лишь последней стадией филогенеза и лишь одной из функций организма.

III. СЕМИОТИКА И ЛОГИКА

Ежи Пельц. Семиотика и логика (Jerzy Pelz. Semiotics and Logic). — Перевод сделан по изданию: «A semiotic landscape. Proceedings of the First Congress of the International Association for Semiotic Studies. Milan, June, 1974». Mouton, The Hague — Paris — New York, 1979, с. 41—51.

Е. Пельц — польский логик и семиотик, один из руководителей «Польского семиотического общества» («Polskie Towarzystwo Semiotyczne») и редактор его повременного издания «Семиотические исследования» («Studia semiotyczne»). Настоящая работа представляет собой доклад, прочитанный на Первом международном конгрессе по семиотике в Милане в 1974 г.

Стр. 153. ...*Рассел, комментируя в 1924 г.* ... — Пельц имеет в виду, по-видимому, статью Б. Рассела «Логический атомизм» (R u s s e l l B. Logical Atomism, 1924 — есть разные переиздания).

Стр. 153. ...*Слова... относятся к одному и тому же логическому типу, но их значения...* — Соответствующее место в статье Рассела таково: «Из определения типа формально следует, что когда два слова имеют значения различных типов, то отношения этих слов к тому, что они значат, являются отношениями различных типов» (R u s s e l l B. Logical Atomism // Logical Positivism / Ed. by A. J. Ayer, Glencoe, Illinois, 1959, c. 40).

Стр. 155. ...*теория прагматики была дана... Ричардом Монтегю...* — Концепция Монтегю освещается в наст. сборнике в статьях: Д. Льюиз. Общая семантика; Б. Холл Парти. Грамматика Монтегю, мысленные представления и реальность. Работу Р. Монтегю «Прагматика» можно найти в русском перев. в сб. «Семантика модальных и интенсиональных логик». М.: Прогресс, 1981.

Стр. 155. ...*то, что он назвал точками референции...* — Это понятие (называемое также терминами «точки соотнесенности», «принцип индексации») рассматривается в наст. сборнике в ст. д. Льюиза.

Стр. 156. ...*авторы используют понятие возможных миров.* — Об этом понятии см. указ. сб. «Семантика модальных и интенсиональных логик» (вступ. статья В. А. Смирнова, и др. работы); Х и н т и к к а Я. В защиту невозможных возможных миров // Х и н т и к к а Я. Логико-эпистемологические исследования. М.: Прогресс, 1980. См. также ст. К. И. Льюиса в наст. сборнике и комм. к ней.

Стр. 156. ...в *средневековой семиотике... в обсуждениях суппозиций.* — Теория суппозиций — подстановок терминов в предложения занимала одно из центральных мест в средневековой схоластической логике; она была на долгое время забыта; в настоящее время логики и лингвисты заново открыли в ней тонкий и разработанный семантический аппарат, который интенсивно изучается. Из работ на русск. яз. см. обзор суппозиций у Оккама (1279 или 1280—1349 или 1350 гг.) в кн.: Д ж о х а д з е Д. В., С т я ж к и н Н. И. Введение в историю западноевропейской средневековой философии. Тбилиси, 1981, с. 273—278; см. также: D u c r o t O. Quelques implications linguistiques de la théorie médiévale de la supposition // History of Linguistic Thought and Contemporary Linguistics / Ed. by

H. Parret, De Gruyter, Berlin — New York, 1976 (в этой книге подробно рассматриваются взгляды на суппозицию Петра Испанского, Оккама, Сен-Винсента, Феррье).

Стр. 156. ...*методику теории моделей*... — Под семантической теорией моделей, в широком смысле термина, понимается теория интерпретации какой-либо формальной системы (а в последнее время и естественного языка) посредством другой, аксиоматизированной системы, которая называется «моделью» первой. Математический аппарат этой теории в настоящее время хорошо разработан — см., напр.: К е й с л е р Г., Ч э н Ч. Ч. Теория моделей. М.: Мир, 1977; что касается семиотического аспекта, то он остается предметом дискуссии и по-разному представляется в различных течениях (в генеративной теории; в грамматике Монтегю; в концепции Я. Хинтикки и в др.).

Стр. 159. *Синтаксические категории... представляют собой не что иное, как семантические категории*... — Это общее положение современной семиотики принципиально весьма важно: им подводится итог пятидесятилетним попыткам создания «формального синтаксиса» вне семантики (начиная с работ Р. Карнапа 30-х гг.).

Стр. 159. ...*метаязык синтаксиса отличается от метаязыка семантики...; ...в прагматике, язык которой*... — Автор разделяет здесь точку зрения (сформулированную еще Ч. Моррисом в 1938 г. — см. работу Морриса «Основания теории знаков» в наст. сборнике), согласно которой в семиотике должны существовать три различных метаязыка — синтактики, семантики, прагматики, причем два последних являются наиболее общими («мощными»). Это положение дискуссионно в том смысле, что раздельное применение трех метаязыков может рассматриваться и иначе: лишь как один этап универсального семиотического описания (и одновременно это лишь один исторический этап развития самой семиотики как науки в 40—70-х годах). Отношения между метаязыком семантики и метаязыком прагматики, так же как и между целями той и другой, в настоящее время остаются нерешенным вопросом (см. комм. к работе Морриса «Основания теории знаков» в наст. сборнике).

Стр. 160. ...*Создается впечатление, что язык современной лингвистической теории образовался из смешения различных намерений*... — Пельц развивает здесь свою точку зрения о желательности раздельного существования по крайней мере трех метаязыков — см. пред. комм. Однако описанное им (вполне точно) состояние лингвистики можно рассматривать и как ее достижение; в таком случае желательной была бы только более формализованная и единая терминология.

Стр. 160. ...*намерения показать графические отношения*... — Ч. С. Пирс считал это одной из интереснейших задач семиотики и

написал по этому поводу целое исследование «Экзистенциальные графы» (см. об этом в конце статьи Р. Якобсона «В поисках сущности языка» в наст. сборнике).

Стр. 162. ...*правильно построенного выражения*... — «Правильно построенное выражение (или: формула)» — особый концептуальный класс выражений формализованного языка, построенный в соответствии с его правилами. По этому поводу Х. Карри замечает: «Этот класс... исчерпывает все выражения, играющие сколько-нибудь заметную роль в системе. Почти все системы, рассматриваемые в современной математической логике и математике, имеют такой характер» (К а р р и Х. Основания математической логики. М.: Мир, 1969, с. 93).

Стр. 163. ...*теорию языка, которая... эквивалентна трансформационной генеративной грамматике и является альтернативой этой последней*... — Необоснованность претензий генеративной теории на единственность в настоящее время очевидна. Остается актуальным указание Пельца на концепцию Айдукевича как на весьма перспективный подход.

Чарльз Сандерс Пирс. Из работы «Элементы логики. Grammatica speculativa» (Charles Sanders Peirce. Speculative grammar, ch. IV [Propositions]). — Перевод сделан по изданию: Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Vol. II: Elements of Logic. Edited by Charles Hartshorne and Paul Weiss. Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1960.

Впервые Собрание сочинений Ч. С. Пирса (Collected Papers of Charles Sanders Peirce) в 8 томах опубликовано в 1931—1958 гг. Некоторые из включенных в это собрание работ публиковались ранее. (Соответствующие сведения об отдельных частях переведенной в настоящем издании главы см. ниже.)

Ч. С. Пирс (1837—1914) — один из наиболее оригинальных и глубоких американских мыслителей, сыгравший значительную роль в формировании современных математико-логических концепций и явившийся родоначальником общей теории знаков (семиотики).

Пирс занимает особое место в истории американской философской мысли. При жизни его философские труды не были опубликованы и его идеи были известны в основном лишь слушателям его лекций (с 1861 по 1891 г. Пирс занимался преподавательской деятельностью в Кембридже (штат Массачусетс) и Гарварде, а с 1879 по 1884 г. читал также лекции по логике в университете Джона Гопкинса).

После смерти Пирса его рукописи поступили в отдел хранения департамента философии Гарвардского университета. Лишь после опубликования основных работ Пирса в 30-х годах нашего века его идеи стали известными широкому кругу философов и логиков, и их

оценили как исключительный вклад в символическую логику и теорию алгебраических структур, а также в современное учение о знаках.

Пирс оказал значительное влияние не только на философию Америки (некоторые идеи его «Прагматической концепции» — в видоизмененной и вульгаризированной форме — были положены в основу субъективно-идеалистического течения в американской философии, названного заимствованным у Пирса термином «прагматизм»; сам Пирс, однако, относился критически к этой новой версии «прагматизма» и впоследствии стал именовать свою концепцию «прагматицизмом», чтобы терминологически отличить свои идеи от идей современных ему идеологов прагматизма), но также и на логико-философские и семиотические концепции в Европе. Идеи Пирса оказали влияние на концепцию позднего Витгенштейна. В настоящее время существует огромная литература, посвященная Пирсу. Лингвистическое значение семиотических идей Пирса было исследовано Р. О. Якобсоном. Концепцией Пирса специально занимались советские исследователи Ю. К. Мельвиль (М е л ь в и л ь Ю. К. Чарлз Пирс и прагматизм. М., 1968) и Н. И. Стяжкин (С т я ж к и н Н. И. Формирование математической логики. М., 1967, раздел «Алгебро-логическая проблематика у родоначальника семиотики Ч. С. Пирса»).

Публикуемые здесь фрагменты иллюстрируют вклад Пирса в разработку основных понятий семиотики Следует иметь в виду, что многие весьма проницательные замечания Пирса выражены чрезвычайно сложным языком и трудны для понимания. Издатели Собрания сочинений Пирса считают, что в тех местах, когда мысль Пирса достигает наибольшей глубины, форма выражения оказывается наиболее запутанной и неудачной; таковы, в частности, страницы (§§ 1—2) публикуемого здесь фрагмента. Начиная с § 3, чтение постепенно облегчается, и некоторые наиболее существенные для концепции Пирса понятия разъясняются повторно.

Стр. 165. К заголовкам: *«Элементы логики»* — данное издателями Собрания сочинений Пирса название II тома «Собрания», «Спекулятивная грамматика» — название второй книги этого тома. Публикуемый здесь фрагменг «Предложения» (об этом термине см. ниже) представляет собой одну из глав «Спекулятивной грамматики».

Стр. 165. К §§ 1—4. Как указывают издатели Собрания сочинений Пирса, §§ 1—4 взяты из работы «Syllabus», написанной около 1902 г. Эта работа при жизни Пирса не публиковалась. Не следует смешивать ее с другой работой Пирса: Syllabus of Certain Topics of Logic. Boston, 1903.

Стр. 165. ...*Из трех классов третьей трихотомии*... — Наличие трех (в свою очередь трехчленных) делений знаков («репре-

зентаменов» здесь = «знаков») определяется тем, что всякая знаковая ситуация (всякая «репрезентация») включает знак, его отношение к объекту и его отношение к интерпретанте (о последнем понятии см. комм. к с. 152).

Первая трихотомия, которая исходит из характера знака как такового, делит знаки на три вида: качественные знаки (по Пирсу, «квалисигнумы» — qualisigns or quality «качество» и sign «знак»), единичные знаки («синсигнумы» от single «единичный») и общие знаки («легисигнумы» от legal «законный»). Советский исследователь Пирса Ю. К. Мельвиль иллюстрирует соотношение между этими тремя видами знаков на примере светофора. «Зеленый свет — это, конечно, качественный знак. Однако знаком является не зеленый цвет сам по себе..., но именно фонарь данного светофора, светящийся зеленым светом. Но и зеленый свет этого фонаря, который есть не что иное, как единичный знак, воспринимается как знак только благодаря общему соглашению («закону»), в соответствии с которым зеленый свет на дорогах означает свободный проезд».

Немаловажный результат первой трихотомии Пирса состоит, по мнению Ю. К. Мельвиля, в демонстрации того, что знак, будучи общим по своей природе, должен всегда воплощаться в отдельных объектах (вещах или событиях), обладающих некоторым качеством. Таким образом, «качественные» и «единичные знаки» — это «не самостоятельные типы знаков, а различные, но взаимосвязанные аспекты знака, рассматриваемого с точки зрения сочетания в нем всеобщего, единичного и особенного» (М е л ь в и л ь Ю. К. Чарлз Пирс и прагматизм. М., 1968, с. 181—182).

Следует иметь в виду, что противопоставление «синсигнумов» и «легисигнумов» получило известность как противопоставление знаков-экземпляров (tokens) и знаков-типов (types) (термины Пирса). См. ниже комментарий к с. 156, а также комментарий к статье Морриса «Основания теории знаков» в наст. сборнике.

Вторая трихотомия — наиболее известное из учения Пирса деление знаков на иконические знаки, знаки-индексы и символы (в основе деления лежит различие между категориями, определяющими отношение знака к объекту). Об этом делении применительно к языковым знакам см., в частности, статью Р. Якобсона в наст. сборнике (а также: Б у л ы г и н а Г. В. Язык в сопоставлении со знаковыми системами иных типов // Общее языкознание. М., 1970, с. 148—152).

Третья трихотомия, о которой идет речь в начале печатаемого здесь фрагмента, имеет дело со знаком в его отношении к интерпретанте, иными словами — со способом интерпретации знака.

Деление на сумисигнумы («ремы»), дицисигнумы и свадисигнумы находит некоторую аналогию в принятом в классической логике различении трех основных форм мышления: понятия, сужде-

ния и умозаключения (об отношении Пирса к термину «суждение» [*англ.* judgement] см. ниже).

Стр. 165. ... *простых или субститутивных знаков, или сумисигнумов* [*рем*]... — Эти синонимичные термины относятся к тому, что Пирс в другом месте называет «пропозициональной формой с незаполненными местами», точнее — «формой предложения с пустыми местами» (a blank form of proposition) (4.560), и почти точно соответствуют понятию «пропозициональной функции», введенному Расселом и Уайтхедом (см. ниже комм. к с. 179). Следует иметь в виду, что в современной логике понятия «пропозициональной формы» и «пропозициональной функции» не тождественны (см. Черч А. Введение в математическую логику. М., 1958), однако здесь не место вдаваться в разъяснение этого различия.

Стр. 165. ...*двойных или информационных знаков, квазипредложений, или дицисигнумов*... — Дицисигнум называется двойным знаком потому, что, будучи предложением (или квазипредложением), он состоит из субъекта и предиката (см. подробнее ниже § 1, 312). Предлагаемый Н. И. Стяжкиным перевод «дицисигнума» как «произносимый знак» следует признать неудачным (понятие «дицисигнума» значительно шире и не связано с «произнесением»). Термин «дицисигнум» (dicisign или, как его еще называет Пирс, dicent sign) связан, скорее, со значением «сообщать» соответствующего латинского глагола; это «информационный», по Пирсу, (т. е. «сообщающий») знак.

Стр. 165. ...*Из трех классов третьей трихотомии... легче всего понять природу второго*... — Читатель едва ли согласится с этим утверждением Пирса. Исследователи Пирса также выражают сомнение в его справедливости. Так, по мнению одного из авторов, комментарии Пирса по поводу этого класса знаков «вызывают больше вопросов, чем решают» (Goudge T. A. The Thought of C. S. Peirce. Toronto, 1950, p. 147). Ряд противоречий в даваемых Пирсом в разных местах определениях «дицисигнума» отмечает также Р. Б. Брайтуайт в своей рецензии на т. I—IV первого издания Собрания сочинений Пирса (журнал «Mind», 1934, Vol. 43, p. 499—500).

Стр. 165. ...*вместо того, чтобы распространяться на предложения вообще, ограничивается суждениями*... — Термином «предложение» переводится здесь англ. proposition. Этот перевод может показаться не очень удачным в связи с тем, что в наст. время в русской логической (и лингвистической) терминологии под «предложением» обычно понимается англ. sentence, тогда как англ. proposition обычно считается соответствующим тому, что по-русски называют «суждением» (а в последнее время иногда «пропозицией»). «Предложение», т. е. sentence, иногда определяется при этом (в логике) как «знаковая структура, характеризуемая только

тем, что она может быть или истинной или ложной», а «суждение», т. е. proposition, как «то, что выражается посредством предложения» (см., напр., комм. 3 к книге: Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958 и указ. там литературу, специально посвященную вопросу о различении «предложения» (sentence) и «суждения» (proposition). Поскольку у Пирса (как и у большинства современных ему логиков) эти два смысла терминологически не дифференцируются (и выражаются посредством одного термина «proposition»), представлялось уместным отразить в русском переводе отсутствие этой дифференциации.

В то же время утверждение о неразличении Пирсом понятий «предложение» и «суждение» (ср. Мельвиль Ю. К. Указ. соч., с. 173) требует оговорок. Оно не вполне справедливо, в частности, если под «предложением» (англ. sentence) понимать единицу выражения, представляющую собой «слово или сочетание слов, выражающую законченную мысль», а под «суждением» (англ. proposition) — то, что может быть смыслом предложения, являющегося истинным или ложным (см. предисловие редактора русского перевода книги: Чёрч А. Введение в математическую логику. М., 1960, с. 10). У Пирса термины proposition и sentence (под последним термином он понимает словесное выражение «предложения-пропозиции») разграничиваются (см., например, § 2, 315 в настоящем издании, где sentence пришлось перевести по-русски как «фраза»). Более того, в понимании Пирса между proposition и sentence вообще нет необходимой связи. Так, Пирс считает, что «портрет с подписанным внизу именем оригинала представляет собой предложение (proposition)» (см. с. 160 и 196).

Таким образом, значения терминов proposition и sentence у Пирса не тождественны, хотя их различия не вполне отвечают принятому разграничению русских терминов «суждение» и «предложение».

Обратим внимание на то, что принятый перевод термина proposition позволяет передать принятое Пирсом противопоставление proposition и judgement как противопоставление «предложения» и «суждения». Если proposition переводить как «суждение», для термина judgement пришлось бы искать другой русский эквивалент (в русском переводе книги А. Черча judgement переводится как «мнение»; см. Черч А. Введение в математическую логику. М., 1960, с. 32). Термин «мнение», вообще говоря, подходящий для того содержания, которое Пирс хотел бы вложить в англ. judgement, не вписывается, однако, в контекст рассуждений Пирса относительно критикуемого им терминоупотребления современных ему логиков — см. § 1, 309, с. 181 и примечание Пирса на с. 207.

Стр. 166. ...*Интерпретанта Дицисигнума*... — Знаковое отношение, по Пирсу, необходимо предполагает три члена: объект, знак

(которым может быть любая вещь, если она служит для репрезентирования объекта) и третий член, который он называет интерпретантой (interpretant). Как отмечает Ю. К. Мельвиль (и другие исследователи Пирса), понятие интерпретанты у Пирса неоднозначно и далеко от ясности. В самом общем смысле интерпретанта в семиотике Пирса — это тот эффект, который знак производит на интерпретирующий его субъект. Термин interpretant переводится на русский язык как существительным мужского рода «интепретант» (у Н. И. Стяжкина), так и существительным женского рода «интерпретанта» (у Ю. К. Мельвиля); переводчик последовал здесь за Ю. К. Мельвилем во избежание смешения понятия interpretant с понятием interpreter (интерпретатор, истолкователь).

Стр. 170. ...*Что это справедливо для обычных «амплиативных» предложений*... — «Амплиативными» предложениями (ср. комментарий к стр. 188 относительно термина «амплификация») Пирс называет суждения, расширяющие познание (ср. лат. ampliare «расширять»), т. е. такие суждения, которые принято (после Канта) называть «синтетическими» (в противоположность «аналитическим»). Синтетическое суждение, напр., «тело имеет тяжесть» (пример Канта), расширяет познание, тогда как аналитическое суждение, напр., «тело протяженно», только объясняет уже имеющееся знание (протяженность, согласно Декарту, и есть сущность телесности). Только объяснительный характер аналитических суждений (не дающих новой информации о мире, т. е., по существу, тавтологических) является причиной того, что Пирс наряду с термином «аналитическое» (предложение) использует термин «экспликативное» (от лат. explicare «объяснять») для названия предложений, противопоставляемых амплиативным.

Стр. 170. ...*Но возьмем «аналитическое», т. е. экспликативное, предложение*... — см. предыдущий комментарий.

Стр. 170. ...*субстантивный глагол «есть» выражает одно из тех отношений, которые всякая вещь имеет по отношению к себе самой, как, например,«—— любит все, что любимо —— ом»*... — Ч. С. Пирс приводит примеры рефлексивных отношений. Пропозициональные формы «X есть X», «X любит все, что любимо X-ом» представляют собой тавтологии, т. е. оказываются истинными при подстановке вместо X любого имени объекта. Не всякое отношение является рефлексивным. Примеры отношений, не являющихся рефлексивными: «не есть», «больше», «любит» (последнее — если не считать, что для любого X верно, что X любит сам себя).

Стр. 170. ...*а реплика является определенно индивидуальным объектом.* — Термин «реплика» примерно синонимичен термину «синсигнум» (а также «конкретный знак» [token]), но, по-видимо-

му, отличается от синсигнума своим относительным характером (это всегда экземплификация символа).

Стр. 172. ...*оно может... трактоваться в духе схоластов как экспонибилия.* — Экспонибилия (лат. exponibilia) — высказывание, подлежащее дополнительному истолкованию.

Стр. 173. ...*возбуждая в сознании некоторый образ или... сложную фотографию образов, подобную соответствующей ей Первичности.* — Относительно термина «первичность» см. комм. к статье Ч. Морриса «Основания теории знаков» в наст. сборнике.

Стр. 173. ...*как предикат репрезентирует Первичность, которую он сигнифицирует...* — Пирс стремится к последовательному терминологическому разграничению отношения «сигнификации» («означения») и «денотации» («обозначения»). Соответствующее концептуальное различение восходит в конечном счете к представлениям традиционной грамматики, согласно которым форма слова (vox) обозначает «вещи» посредством «понятия», ассоциируемого с формой в умах говорящих; это понятие является значением слова (его significatio). Традиционное терминоупотребление не исключало, однако, возможности нерасчлененного использования глагола significāre (лат. «значить», «обозначать»): говорилось, что форма слова «обозначает» понятие, под которое подводятся «вещи», и, с другой стороны, что она «обозначает» сами «вещи». Пирс употребляет термин signify в более узком по сравнению с традиционным смысле, близком к первому смыслу лат. significare, тогда как для выражения второго смысла он пользуется термином denote. Его противопоставление signify *vs.* denote соответствует введенному Дж. Миллем терминологическому противопоставлению connote *vs.* denote (см. комментарий к с. 170). В русской логической и лингвистической литературе не существует общепринятой традиции перевода соответствующих групп терминов. Иногда противопоставление signify (=connote) *vs.* denote передается с помощью противопоставления *означать vs. обозначать*, но в большинстве контекстов эти термины не различаются, иногда же *означать* употребляется в смысле, противоположном только что указанному, а именно в качестве соответствия англ. denote (в этом случае connote переводится как *соозначать*). В данной ситуации принятый в настоящем издании перевод соответствующих терминов способом простой транслитерации («сигнифицировать», «денотировать», «коннотировать» — о последнем термине см. также комментарий к с. 170) можно признать если не самым удачным, то, по крайней мере, самым «безопасным». Определенным оправданием употребления подобных терминологических «варваризмов» является их формальная соотносительность с широко употребительными в русской логической и лингвистической литературе коррелятивными по смыслу терминами «сигнификат» (в значении, соответствующем тому, что в традиционной логике называлось

«содержанием термина»), «денотат» (в значении, соответствующем «объему термина» в традиционной логике), «коннотация» (в смысле Милля). Впрочем, сам Пирс не употребляет термины «сигнификат» и «денотат», используя для выражения соответствующего противопоставления другие обозначения (см. комментарии к с. 183 и к с. 187).

Стр. 174. ...*приводили латинские предложения (sentences) fulget «сверкает (молния)» и lucet «светло» как примеры предложений без... субъекта.* — См. комментарий к с. 183.

Стр. 174. ...*Со времени Абеляра...* — Абеляр Пьер (1079—1142) — французский философ, богослов-схоласт, логик и поэт. Абеляр исследовал, в частности, роль связки в суждении.

Стр. 176. ... *«Суммулах» Петра Испанского...* — Петр Испанский (ок. 1210—1277) — медик, философ и логик, автор известного труда «Summulae logicales», в котором изложено учение о суждении, силлогизме, ложных умозаключениях, суппозициях (подстановках), терминах и других логических объектах.

Стр. 176. ...*Предложение de inesse рассматривает только существующее положение вещей — то есть существующее в логическом универсуме рассуждения...* — Пирс определяет «предложение de inesse» как относящееся к некоторому актуальному (конкретному) состоянию мира, такому, как настоящий момент. Такое предложение либо целиком истинно, либо целиком ложно.

Это понятие, по-видимому, сходно с принятым в логике понятием «ассерторическое суждение».

Стр. 176. ...*заимствованы у Боэция.* — Боэций (ок. 480—524) — позднеримский философ и логик. Известен как переводчик и комментатор логических трудов Аристотеля, а также автор ряда работ о силлогизмах, модальных высказываниях и т. д.

Стр. 176. ...*Субъект предложения бывает Единичный, Общий или Абстрактный.* — Ниже в данном абзаце абстрактные субъекты не рассматриваются, и остается не вполне ясным, что подразумевает Пирс под этим понятием. В фрагменте из неопубликованной при жизни Пирса работы «Syllabus» (написанной ок. 1902 г.) (см. § 2, 316 наст. издания) в качестве примера абстрактного субъекта приводятся «Краснота» или «Справедливость». Ср., однако, § 5, 339, с. 169 наст. издания, где слова «человечество» и «смертность» относятся Пирсом к «единичным субъектам» (что соответствует современным представлениям о словах такого рода, как «собственных именах класса», отличающихся от «общих имен» типа «человек»).

Стр. 176. ...*Порядок, в котором идут Универсальный и Частный субъекты, существен.* — Данные русские переводы сопоставляемых Пирсом в этом месте англ. предложений, очевидно, соответствует представлениям Пирса о различии в значении этих предложений.

Однако, строго говоря, каждый из переводов представляет собой только предпочтительную, а не единственно возможную интерпретацию соответствующего предложения — что, впрочем, не предопределяет положительного решения вопроса о наличии действительной семантической неоднозначности (т. е. ambiguity) в отличие от «неопределенности» (т. е. vagueness) каждого предложения. Вообще вопрос об особенностях так называемых «смешанных квантифицированных предложений» в естественном языке, подобных тем, которые рассматриваются Пирсом в данном параграфе, представляет большой интерес как для логики, так и для лингвистики и является в настоящее время предметом оживленных дискуссий в соответствующих науках. См. также комментарий к с. 169.

Стр. 177. ...*в эксцептивных (исключающих) предложениях*... — В русской логической литературе наряду с термином «исключающее суждение» бытует также термин «изъемлющее суждение».

Стр. 177. ...*Разграничение Универсальных и Частных субъектов*... *имеет (как это считалось и в Средние века) в основном ту же природу, что и разграничение Необходимых и Возможных предложений.* — Современные исследователи также разделяют эти представления. Ср., например, толкования универсальных и экзистенциальных суждений у Б. Рассела и А. Вежбицкой: Все собаки преданны (faithful) — *невозможно сказать, думая о какой-либо части мира: это вероломная (unfaithful) собака;* Единороги не существуют — *невозможно сказать, думая о какой-либо части мира: это единорог* (W i e r z b i c k a A. Lingua mentalis, 1980, p. 186). Как отмечает А. Вежбицка, «часть толкования *невозможно сказать* в точности соответствует расселовской интерпретации экзистенциальных предложений: «Сказать, что единороги существуют, — это просто сказать, что *x — единорог* возможно».

Стр. 178. ...*Правильным обозначением для субъекта и предиката будет*... *крайние члены, что является переводом того же греческого слова, что и термин* ὅρος (*«предел»*). — В логике название «крайние термины» используется также для обозначения большего и меньшего терминов категорического силлогизма, связанных с помощью среднего термина и выходящих в заключение силлогизма.

Стр. 179. ...*Особенность этого определения — или, скорее, этого предписания, что более полезно, чем определение, — состоит в том, что оно говорит вам, что обозначает слово «литий», предписывая, что вы должны делать*... — Содержащиеся в данном параграфе замечания Пирса относительно способа, при помощи которого «автор логического склада ума» может объяснить значение символа «литий», многие исследователи приводят в качестве типичного примера предложенного Пирсом метода «прагматической интерпретации знаков». Этот метод был намечен (еще без употребления самого термина «прагматизм», который был создан Пирсом в

1873 г.) в рецензии Пирса на сочинения Беркли (1871 г.), в которой предлагается задаваться следующим вопросом для того, чтобы «избежать заблуждений, в которые может вводить язык: "Выполняют ли вещи одну и ту же функцию практически? Тогда пусть они обозначаются одним и тем же словом. Или же нет? Тогда пусть они будут разграничены"».

Стр. 180. ...*Любой термин, который подходит для того, чтобы быть субъектом предложения, может быть назван Онома.* — См. следующий комм.

Стр. 180. ...*Синкатегорематический Термин... — это Символ, который участвует в образовании Категорематического Термина.* — В некоторых современных терминоупотреблениях (например, у А. Черча) «синкатегорематическому термину» соответствует «несобственный символ», а «категорематическому термину» — «символ, имеющий самостоятельное содержание» (который может быть, в частности, «собственным символом»). Ср. следующие определения: «...Если разлагать выражения, например, предложения какого-либо языка, на простые символы, которые уже можно считать неразложимыми..., то могут, в частности, появиться два рода символов, а именно — исходные собственные имена и переменные. Мы называем их собственными символами и считаем, что они имеют какое-то содержание, даже взятые сами по себе: исходные имена — потому что они что-то обозначают (или по крайней мере задуманы, чтобы что-то обозначать), переменные — потому что они имеют (или по крайней мере задуманы, чтобы иметь) непустую область значений. Но, помимо символов собственных, должны встречаться также несобственные символы, или, по традиционной терминологии (схоластической и досхоластической), синкатегорематические символы, т. е. такие, которые не имеют самостоятельного содержания, но в сочетании с собственными символами (одним или несколькими) образуют сложные выражения, уже имеющие самостоятельное содержание» (Ч е р ч А. Введение в математическую логику, т. I. М., 1960, с. 37). Как можно видеть, понятие Онома (имя) у Пирса пересекается с понятиями «собственный символ» и «сложный символ, имеющий собственное содержание» у Черча.

Стр. 180. К § 5. Природа утверждения. — §§ 5 и 6 (332—356) взяты издателями Собрания сочинений Пирса из его неопубликованной работы: «О том, что категорические и гипотетические предложения не различаются по существу, и о некоторых связанных с этим вопросах» («That Categorical and Hypothetical Propositions are one in essence, with some connected matters»), написанной около 1895 г.

Стр. 182. ...*Правда, никакой язык... не имеет особой формы речи, которая бы показывала, что речь идет о реальном мире.* — Это и следующие утверждения Пирса могут быть несколько уточнены. «Особые формы речи» (а не только интонация и мимика, о которых

Пирс говорит ниже), отличающие сообщения о действительных событиях (в частности те, за истинность которых говорящий «ручается») от сообщений о мире вымысла (например, о мире художественных произведений, т. е. fiction), а также о событиях, известных говорящему по косвенным свидетельствам, не только теоретически мыслимы, но и представлены в реальных языках. В ряде языков (например, в болгарском, в иранских языках) для выражения соответствующего различия используется так называемая категория «очевидности/неочевидности». В литовском языке в качестве средства выражения так называемого «косвенного наклонения» вместо личных форм глагола употребляются причастия. «Язык причастий» в прошлом весьма широко использовался, в частности, в литовских сказках.

Стр. 183. ...*предписание, которое можно назвать квантором субъекта, предписывает, каким образом субъект должен быть выбран из множества, называемого его универсумом.* — Данный абзац — первый из публикуемого здесь текста, в котором появляется термин «квантор» (quantifier), хотя понятие квантификации, столь существенное для логики, обсуждалось и выше (см. § 3, 323). Употребление кванторов было введено Г. Фреге в его «Begriffsschrift» (1879 г.). Несколькими годами позднее и независимо от Фреге кванторы были введены Пирсом («American Journal of Mathematics», 1885, № 7, p. 194), который приписывает соответствующую идею Митчеллу. Однако, как указывает А. Черч (Введение в математическую логику. М., 1960, с. 436), весьма существенный элемент — использование в связи с кванторами операторных переменных — был введен самим Пирсом (в качестве модификации обозначений Митчелла). Термины «квантор» и «квантификация» принадлежат Пирсу.

Интерпретация кванторов как инструкций, предписывающих, каким образом субъект должен быть выбран из универсума, объясняет употребление Пирсом выражения «селективное (т. е. «избирательное») слово», синонимичного термину «квантор» (см. ниже комм. к с. 199).

Стр. 184. ...*Когда есть несколько квантифицируемых субъектов и кванторы различны, то существен порядок, в котором они выбраны.* — Соответствующие примеры см. у Пирса в § 3, 324.

Стр. 184. ...*Именно свойства квантора того субъекта, который выбран последним, распространяются на все предложение.* — Эта зависимость связана, по-видимому, с актуальным членением соответствующих предложений (с позицией «темы» и «ремы» — последний термин не в понимании Пирса).

Стр. 184. ...*два других «гемилогических» («полулогических»...) квантора.* — Издатели Собрания сочинений Пирса делают к данному месту примечание, отсылающее к определению Пирсом «логических», «полулогических» и «нелогических» отношений: «Под

логическими отношениями я понимаю такие, в отношении которых все пары объектов универсума сходны; под полулогическими — такие, которые отличают только один объект или некоторое определенное множество объектов от всех других существующих в данном универсуме объектов, тогда как алогичные отношения включают все прочие случаи. Логические и полулогические отношения принадлежат к известному классу рациональных отношений (relations of reason), тогда как отношения in re являются алогичными» (1.567).

Стр. 184. ...*разделив символы на термины, предложения и умозаключения*... — Пирс употребляет слово term (которое здесь переводится «термин») как для обозначения субъектов предложения, так и для обозначения предиката в соответствии с употреблением Аристотелем греч. ьспт (буквальным переводом которого является лат. terminus). Следует иметь в виду, что англ. term в современной логической литературе часто употребляется только по отношению к тем частям предложения, которые Пирс называет «субъектами». В этом значении term обычно переводится на русский язык термином «терм».

Стр. 185. ...*и в качестве такового не может быть простой этостью» (hecceify).* — Hecceity — англ. соответствие латинского термина «haecceitas» (от лат. haec ж. р. от hic «этот») — существенный аспект вещи, основа ее индивидуальности, уникальности. На русский язык переводится как «этость» (иногда «этовость» — напр., у В. Ф. Асмуса). Пирс в других местах также употребляет англ. переводы thisness или thatness (от англ. this «это» и that «то»). Термин haecceitas употреблялся Иоанном Дунсом Скотом, который различал два вида в единстве всякой вещи: по числу (нумерическое) и по природе. Нумерическое единство есть «этость» вещи, единство по природе — сущность, или «чтойность» (quidditas) вещи (о последнем термине см. комм. к с. 184).

Стр. 185. ...*Это есть нечто, что означает (сигнифицирует), или, используя вызывающую возражения терминологию Дж. С. Милля, «коннотирует», определенные свойства и тем самым обозначает ...все, что обладает этими свойствами.* — Милль Джон Стюарт (1806—1873) — английский философ, логик и экономист. В истории логики Милль занимает видное место как автор соч. «Система логики силлогистической и индуктивной» (1843), неоднократно переводившегося на русский язык (1865—1867 и 1878, 1899, 1900, 1914). Именно в этом сочинении Милль ввел терминологическое противопоставление «денотации» и «коннотации», соответствующее традиционному противопоставлению «объема» и «содержания».

Термины Милля переводятся на русский язык иногда как «означение» — «соозначение» (см. выше комм. к с. 159), иногда как

«точное значение» — «сопутствующее значение» (Ч е р ч А. Введение в математическую логику. М., 1960, с. 343). Понимание Миллем противопоставления «денотации» и «коннотации» иллюстрирует следующее его замечание: «Слово *белый* обозначает (denotes) все белые предметы, например, снег, бумага, морская пена и т. п., и имплицирует, или, как говорят ученые, коннотирует, свойство белизны».

Согласно теории Милля, собственные имена имеют только денотацию, тогда как общие имена обладают как денотацией, так и коннотацией. Взгляды Пирса на два вида значений в целом близки соответствующим представлениям Милля (см. содержащиеся в комментируемом параграфе замечания о «терминах», или «именах класса»). Однако Пирс (всегда чрезвычайно внимательный к собственно терминологической стороне вопроса) неоднократно критиковал термин connote. О мотивах, по которым «терминология Милля вызывает возражения», см. примечание Пирса на с. 208.

Стр. 185. ...*предложение есть не что иное, как умозаключение, предложения которого утратили ассертивность, точно так же, как термин представляет собой предложение, субъекты которого утратили денотативную силу.* — Здесь выражена мысль о семиотической фундаментальности умозаключения и производном характере предложений (дицисигнумов) и терминов (или «рем»). Так, предложение «Если он грешник, то он несчастен» (которое интерпретирует универсальное предложение «Грешники несчастны» ср. 2.453) представляет собой умозаключение («Грешники несчастны. Он грешник. Он несчастен») минус ассертивный элемент (поскольку, в частности, предложение «Он грешник» уже не утверждается). «Термин» (т. е. «рема»), понимаемый Пирсом как «прозициональная форма с незаполненными местами» (см. комм. к с. 151), — это всего лишь рудиментарное предложение.

Стр. 194. К § 7—16. Эти параграфы представляют собой статьи, написанные Пирсом для «Dictionary of Philosophy and Psychology» (§ 11 частично в соавторстве с К. Лэдд-Франклин).

Стр. 196. ...*не утверждается, что он существует, но о его существовании хорошо известно...* — В более привычных современных терминах это означает, что существование субъекта универсального предложения не входит в утверждение предложения, а составляет его презумпцию (пресуппонируется).

Стр. 198. ...*чтобы увеличить логическую широту, не уменьшая логической глубины.* — Противопоставление «логической широты» (в русской логической литературе употребляется также термин «ширина») «логической глубине» соответствует традиционному различению «объема» и «содержания», «денотации» и «коннотации» Милля, а также сходно с более поздними противопоставлениями «денотата» («номината», «значения» — Bedeutung) и «смысла»

(Sinne) у Фреге, «экстенсионала» и «интенсионала» у Карнапа. Пирс в одном месте сопоставляет соответствующее различие с различием между «именованием» («называнием») и «означением» («сигнификацией») — со ссылкой на высказывание Джона из Солсбери (см. цитату из него на стр. 187 наст. сборника): «...Это различие между тем, что термин называет (nominat) — его логической широтой, и тем, что он означает (significat) — его логической глубиной». Наряду с терминами «логическая широта» и «глубина» Пирс использует также в том же значении французские термины l'étendue — compréhension (переведенные в наст. издании как «объем — содержание») и их английские эквиваленты extension — comprehension (вместо последнего термина иногда — intension).

Лучшими из этих пар терминов Пирс считал, однако, именно термины «широта» и «глубина», отмечая, в частности, в качестве их достоинства их близость к обычному словоупотреблению (так, он ссылался на выражения «широкая образованность», что означает знание многих вещей, и «глубокое знание», что значит знание многого об одном предмете).

Стр. 198. ...*Некоторые утверждают, что предложение «Идет дождь» не содержит никакой предикации.* — Утверждения такого рода связаны с тем, что предложения, подобные приводимому Пирсом it rains (букв. «дождит»), не могут быть разделены разумным образом на субъект, которому нечто предицируется, и предицируемый субъекту предикат. Пирс показывает, что такие предложения (если они утверждаются) следует понимать как относящиеся к конкретной ситуации высказывания (ср. ниже: «...сам акт говорения... представляет собой Индекс...»), так что их субъектом является непосредственно наблюдаемое окружение («видимая окрестность»). Некоторые современные лингвистические трактовки «безличных предложений» типа *Жарко. Смеркается* и т. п. как предложений, субъектом которых является «место», вполне аналогичны интерпретации Пирса.

Стр. 199. ...*способа — «чтойности»*. — «Чтойность» представляет собой предложенный Лосевым (Л о с е в А. Ф. История античной эстетики: Аристотель и поздняя классика. М., 1975, с. 94) русский эквивалент латинского перевода греческого τὸ τί ἦν εἶναι как quidditas. В советских изданиях Аристотеля этот термин переводится как «суть бытия».

Стр. 202. ...*Такой двойной способ рассматривать родовой термин как целое, состоящее из частей... отмечается Аристотелем.* — Пирс ссылается в этом месте (см. его примечание) на следующий пассаж из «Метафизики» Аристотеля: «То, что входит в определение, разъясняющее каждую вещь, также есть части целого; поэтому род называется и частью вида, хотя в другом смысле вид — часть рода» (А р и с т о т е л ь. Соч. в 4-х томах. Т. 1. М., 1976, с. 174).

Стр. 202. ...*Скот Эриугена называет логику... «искусством, которое делит роды на виды и сводит виды к родам»*. — Иоанн Скот Эриугена, или Эригена (р. ок. 810 — ум. ок. 877 г.) — средневековый философ, переводчик произведений древнегреческих философов и автор комментариев к ним, а также к произведениям Августина и Боэция. Автор соч. «О разделении природы» (цитируемого Пирсом). Будучи сторонником крайнего реализма, Эриугена утверждал, что общее и единое существует вне и до индивидуального и конкретного, чем более общим является понятие («универсалия»), тем реальнее его существование в качестве особой сущности. Индивид существует лишь постольку, поскольку он приобщен к виду, а вид — к роду. С этими представлениями связано и цитированное Пирсом определение логики (диалектики).

Стр. 202. ...*Джон из Солсбери*... — Он же — Иоанн Солсберийский (ум. в 1180 г.) — английский логик, ученик Абеляра. Заметим, что в «Логическом словаре-справочнике» Н. И. Кондакова, стр. 142—212; 718, 626, данные две транскрипции ошибочно представлены как имена двух разных лиц.

Стр. 202. ...*посвятить краткую главу объему (l'étendue) и содержанию (la compréhension)*... — Пирс специально интересовался историей употребления разных терминов для выражения данного противопоставления (см. комм. к с. 181). Он отмечал, в частности, что Лотце использовал термин comprehension как равнозначный термину intension, указывая, что в действительности «нет понятий более несхожих». Следует иметь в виду, что в американской логической литературе термин comprehension употребляется вслед за К. Льюисом (см. его статью в наст. издании) в значении, отличном от традиционного. В русской логической терминологии пониманию К. Льюиса соответствуют, в частности, термины «охват», а также «логический объем» (противопоставляемый «фактическому объему»).

Стр. 203. ...*Это часто называют абстракцией, но значительно лучше назвать «урезанием» (prescission)*. — Пирс считал, что термин «абстракция» неправильно употребляется по отношению к двум различным операциям, которые он иногда называл «пресциссивной» и «гипостатической абстракцией» или, как в публикуемом фрагменте, «пресциссией» («урезанием») и «абстракцией», «Урезание» имеет в виду, что объект рассматривается только в одном аспекте, в отвлечении от других аспектов — напр., «Дом высокий», где ничего не говорится о цвете, положении и т. д. При гипостатической абстракции выбранный аспект превращается в другой логический субъект, т. е. изменяется в то, «о чем мы думаем»: «Здание дома имеет высокость» (ср. 4.332). Иначе говоря, то, что само по себе не является «вещью», начинает трактоваться как «вещь», или, как говорит Пирс в другом месте, «преходящие» элементы мысли становятся «субстантивными».

Стр. 203. ...*такое добавление информации неточно называют спецификацией вместо амплификации.* — Заметим, что термин «амплификация» определяется иногда иначе — как «нагромождение в речи излишних однозначных слов и выражений» (К о н д а к о в Н. И. Логический словарь-справочник. М., 1978).

Стр. 203. К примечанию переводчика. «Без увеличения информации», по-видимому, действительно описка Пирса. Ср. его определение в другом месте: «Абстракция — это уменьшение глубины без всякого изменения широты путем уменьшения получаемой информации» (2.421).

Стр. 212. ...*Кант... добавил третье качество, которое назвал ограничительным... Это нововведение не выдерживает никакой критики; но авторитет Канта и сила традиции были причиной того, что оно сохранилось.* — Термин «ограничительное суждение», употребляемый к отношению к предложениям, в котором отрицание стоит не перед связкой, а перед предикатом (вида «S есть не-P»), сохраняется и в современной логической литературе (см. К о н д а к о в Н. И. Логический словарь-справочник. М., 1978, с. 404). Тот же термин употребляется и в другом значении — по отношению к суждению, «которое в своей языковой оболочке имеет слова "только", "один только"» (там же).

Стр. 212. ...*Многие логики...предполагали, что отрицательные предложения... не подразумевают реальности субъекта. Но что, в таком случае, означает «Некоторые патриархи не умирают»?* — Как полагал Пирс (см. § 3, 324), предложения с «частным квантором» (вроде «некоторые») утверждают существование (т. е. «реальность») субъекта.

Стр. 214. ...*что она не содержит никакого селективного слова...* — Термин «селективное слово» в употреблении Пирса синонимичен термину «квантор» — см. выше комм. к с. 169.

Стр. 223. К примечанию 3. Латинские буквы в этом примечании (принадлежащем издателям Собрания сочинений Пирса) являются общепринятыми в логике сокращенными обозначениями суждений: A — общеутвердительное суждение (первая гласная лат. слова affirmo «утверждаю»), I — частноутвердительное суждение (вторая гласная слова «affirmo»), E — общеотрицательное суждение (первая гласная лат. слова nego «отрицаю»), O — частноотрицательное суждение (вторая гласная слова nego).

Кларенс Ирвинг Льюис. Модусы значения (C. I. Lewis. The modes of meaning). — Впервые опубликовано в: «Philosophy and Phenomenological Research», vol. 4, 1943, с. 236—250; перевод сделан по изданию «Semantics and the Philosophy of Language» / Ed. by L. Linsky. University of Urbana Press. Urbana (Illinois), 1952, с. 50—62.

К. И. Льюис (1883—1964) — американский логик, основные работы относятся к модальной логике и логической семантике. Данная статья является одним из основополагающих исследований в области общей семантики и семиотики; в ней был впервые сформулирован ряд положений, ставших с тех пор классическими.

Стр. 227. К заголовку. В таком значении термин «модус значения» или «модус означивания» был употреблен и Моррисом (см. выше).

Стр. 227. ...*Общее значение термина «значение» таково: А значит В, если...* — Определение термина «значение» (как и термина «знак») посредством условного суждения не является общепринятым. Скорее, этот способ восходит к одной, достаточно своеобразной традиции стоиков. Ср.: «Знак они (стоики. — *Ю. С.*) определяли как правильное условие, которое является предшествующей частью условного предложения, порождающей заключение в условном силлогизме. В этом определении отношение между знаком и тем, что он обозначает, выражено в форме гипотетической пропозиции: "Если *P*, то *Q*". Если имеется такое отношение, то *P* есть знак для *Q*» (Маковельский А. О. История логики. М., 1967, с. 186). Непосредственно после Льюиса эта традиция нашла отражение в работе: Grice P. Meaning // Philosophical Review, vol. 66, 1957, № 1.

Стр. 228. ...*являются двумя экземплярами...* — Различение «образца» (образца знака или образца выражения) и «экземпляров» этого образца — одно из краеугольных положений семиотики. У К. И. Льюиса оно вводится именно в данных терминах. У Ч. С. Пирса экземпляр знака называется термином «реплика» (см. в наст. сборнике). У А. А. Маркова этому различию соответствуют термины «абстрактный знак» и «конкретный знак» — см. комм. к работе Морриса «Основания теории знаков» в наст. сборнике.

Стр. 228. ...*выражение — это абстракция...* — См. выше «образец», «абстрактный знак» и т. п.; наиболее четко это понимание абстракции выражено в работе А. А. Маркова (см. комм. к работе Морриса «Основания теории знаков»).

Стр. 228. ...*все пропозициональные функции и пропозиции являются терминами...* — Это утверждение разделяется не всеми исследователями, но оно принципиально важно: тем самым Льюис заявляет, что он намерен строить семантическую теорию пропозиций на том же основании, что и семантическая теория терминов (имен) (что представляется правильным). Это положение противопоставлено иному подходу части англосаксонских логиков и лингвистов, которые строят семантическую теорию пропозиций на основе обобщения свойств речевых актов; это приводит их к разрыву с традицией.

Стр. 229. ...*термин обозначает... нечто существующее... (existent).* — О видах существования в отношении к их языковым обозначениям см. комм. к работе Морриса «Основания теории знаков».

Стр. 229. ...*понятийное содержание (comprehension) термина...* — Трудность для понимания и перевода составляет сам термин — англ. comprehension, фр. compréhension. Словарь Лаланда определяет его так: «Совокупность признаков, принадлежащих данному понятию» (L a l a n d e A. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris, 1972, с. 157). Но эта совокупность может пониматься неоднозначно. Поэтому в настоящее время этот термин является, скорее, выходящим из употребления, не специальным, общенаучным, не полностью формализуемым. Во французской традиции он часто (по крайней мере, в одном из своих значений) выступает синонимом термина «интенсионал» (intension). В англо-американской традиции, как в данной статье Льюиса, он, напротив, противопоставляется «интенсионалу» (intension), но при этом иногда противопоставляется также термину «экстенсионал» (extension), а иногда сближается с ним. См. также комм. к статье Пиаже «Схемы действия...» и статье Пирса, с. 187, в наст. сборнике.

Стр. 233. ...*Пропозиция — термин, способный означивать (сигнифицировать) состояние дел.* — Льюис опирается здесь на глубокую семантическую традицию (к которой принадлежал также Ч. С. Пирс), восходящую к средневековой схоластической логике. Согласно этой традиции, различаются семантические отношения «называние» («именование») и «означивание» («сигнификация»): Nominantur singularia, sed universalia significantur «Единичное называется, а общее означивается». По Льюису, пропозиция не называет, не именует ситуацию (положение дел), а означивает ее; пропозиция соотносится с ситуацией (состоянием дел) через свой смысл, сигнификат. Этот тезис противопоставлен тем концепциям предложения (так назыв. «знаковым концепциям предложения»), которые рассматривают пропозицию как «знак ситуации», т. е. в конечном счете как «именование ситуации», «именование состояния дел». См. след. комм.

Стр. 234. ...*состояние дел — это сигнификация пропозиции, а не ее денотация.* — Это положение (совершенно правильное) является следствием предыдущего (см. комм. выше), оно противопоставлено «знаковым концепциям предложения», согласно которым состояние дел является денотацией предложения.

Стр. 235. ...это — *классификация лейбницевских возможных миров.* — См. об этом подробнее: С т е п а н о в Ю. С. Имена, предикаты, предложения. Семиологическая грамматика. М.: Наука, 1981, с. 223 и сл.

Стр. 238. ...*Таким образом, человек создал бы довольно хорошую модель языковых отношений...* — Воображаемый эксперимент, описанный здесь Льюисом, очень напоминает действительные процедуры «редукции», разрабатывавшиеся (как раз в годы написания этой статьи) логическими позитивистами (см. комм. к работе Морриса «Основания теории знаков»). Разновидностью этих процедур являются описания значений через совместную встречаемость слов в текстах, через дистрибуцию, которые начали разрабатываться примерно в те же годы в американской дескриптивной лингвистике. И те и другие процедуры привели к тому самому выводу, который предвидел Льюис: значительная часть значения слова может быть установлена таким путем, но не его собственное «лексическое ядро». Конкретные примеры и результат см. А п р е с я н Ю. Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М.: Наука, 1967.

Стр. 238. ...*более важным представляется исследование именно смыслового значения.* — Работы А. Вежбицкой, Б. Холл Парти (см. в наст. сборнике) могут рассматриваться в некоторой степени как реализация этого пожелания.

Анна Вежбицка. Из книги «Семантические примитивы». Введение (Anna Wierzbicka. Semantic Primitives. Introduction). — Перевод сделан по изданию: WierzbickaA. Semantic Primitives. Frankfurt-a / M., 1972.

А. Вежбицка — профессор Австралийского Национального университета (Канберра), специалист в области семантики, с 2000 г. иностранный член Российской Академии Наук. В течение многих лет А. Вежбицка занимается проблемой семантического толкования языковых выражений, которое, согласно развиваемой ею теории, должно состоять в переводе значимых единиц естественных языков на «язык мысли» (lingua mentalis), имеющий универсальный характер и лежащий в основе человеческого мышления. Публикуемый здесь в русском переводе фрагмент представляет собой теоретическое введение к книге «Semantic Primitives», содержащей, кроме данного Введения, еще 11 глав, посвященных конкретным проблемам семантического анализа (II. Пол, поколение, родство; III. Эмоции; IV. Степени и сравнение; V. Пространство; VI. Время; VII. Речевые акты; VIII. Модальность, IX. «И» и множественность (против «сочинительного сокращения»); X. Логические слова; XI. Отрицание; XII. «Сходство» и «идентичность», «Remind», «Forget» и «Remember»).

Хотя книга «Semantic primitives» не является последним словом, сказанным А. Вежбицкой в соответствующей области, общетеоретические представления, воплощенные в предлагаемом

русскому читателю фрагменте, вполне отвечают концепции, развиваемой автором в более поздних работах, в частности — в труде обобщающего характера «Lingua mentalis», опубликованном в 1980 г. В целом выдержал проверку временем и список «семантических атомов», постулированный в книге «Semantic primitives».

Углубленные семантические исследования, направленные на поиски свидетельств необходимости и достаточности этого списка (т. е. невозможности его дальнейшего уменьшения и возможности истолковать с его помощью как можно более обширный и разнообразный круг языковых выражений), привели пока только к исключению одного элемента (см. ниже).

Стр. 244. ...*Термин выбирается в качестве элементарного, — пишет Нельсон Гудмен...* — Н. Гудмен (р. в 1906) — американский философ, специалист в области логики. Основное направление работ Гудмена — исследование средствами математической логики структуры знания индуктивного вывода, сослагательных высказываний, синонимии в естественных языках, логической структуры понятий «качество», «явление» и др.

Стр. 244. ...*Нельзя требовать, — писал Фреге, — чтобы все формально определялось...* — Готтлоб Фреге (1848—1925) — выдающийся немецкий математик, философ и логик, один из основоположников логической семантики.

Стр. 246. ...*Арно и Николь...* — Антуан Арно (1612—1694) и Пьер Николь (1625—1695) — французские философы и логики, последователи Декарта, авторы широко известной книги «Логика, или Искусство мыслить» (так наз. «Логика Пор-Рояля», 1662), в которой они пытались сочетать дедуктивный метод, принятый Декартом, с методологическими требованиями, выдвинутыми французским математиком Б. Паскалем.

Стр. 249. ...*В 1961 г. появилась... статья Уриэля Вейнрейха...* — Речь идет о докладе У. Вейнрейха на конференции по проблеме языковых универсалий, которая состоялась в Нью-Йорке в 1961 г. Материалы этой конференции были впервые изданы в 1963 г. (в примечаниях А. Вежбицка ссылается на это издание) и переизданы в 1966 г.

Стр. 255. ...*Вот перечень кандидатов, представляющихся мне наиболее подходящими в настоящее время...* — В переводе даны русские эквиваленты следующих элементов: want, don't want (diswant), feel, think of, imagine, say, become, be a part of, someone (being), something, I, you, world, this.

Стр. 255. ...*Это отнюдь не значит, что я рассматриваю приведенный выше перечень как окончательный.* — В работе «Lingua mentalis» (1980) данный список заменен списком из 13 элементов, включающим все прежние, кроме элемента feel (чувствовать).

Стр. 263. ...*Семантическая система, или lingua mentalis, в отличие от различных видов linguae vocales (эти термины принадлежат Оккаму) является универсальной.* — Уильям Оккам (ок. 1285—1349) — английский философ-схоласт, логик, представитель номинализма. Согласно выдвинутому Оккамом принципу «Сущности не следует умножать без необходимости», известному под названием «бритвы Оккама», понятия, несводимые к интуитивному и опытному знанию, должны удаляться из науки. Тот же принцип применим и при исследовании «ментального языка», для познания которого следует, согласно Оккаму, исключить из естественного языка все то, что не является необходимым для выражения мысли (так, незначимыми и, следовательно, не соответствующими никаким различиям ментального языка, являются, например, грамматические категории, подобные роду в латыни, или различия между разными типами склонения или спряжения; напротив, значимые категории, подобные числу существительных, являются отражением различий, существующих и в «ментальном языке»). Употреблявшийся Оккамом термин «lingua mentalis» был использован А. Вежбицкой в качестве названия ее обобщающего труда (1980).

Стр. 265. ...*Эти толкования являются предварительными и, вероятно, нуждаются в модификациях.* — В специальной главе книги «Lingua mentalis», посвященной частям тела, предложенные в «Семантических элементах» толкования несколько видоизменены (волосы, ногти, зубы рассматриваются теперь как «то, что может мыслиться как часть тела», из толкований устранен элемент «расти» и др.).

Стр. 267. ...*Ведь именно это соотнесение и представляет собой черный ящик...* — «Черный ящик» — кибернетический термин, используемый (главным образом, в системотехнике) для обозначения систем, структура и внутренние процессы которых неизвестны или очень сложны; метод изучения таких систем основан на исследовании их реакций на известные (заданные) входные воздействия.

Стр. 267. ...*Два устойчивых заблуждения, иллюстрирующие это утверждение, — это «сочинительное сокращение» и «перенос отрицания»...* — «Сочинительное сокращение», или «сокращение конъюнкции», — операция, превращающая, согласно представлениям трансформационной грамматики, сложносочиненные предложения с идентичными компонентами в предложения с однородными членами, например, *Ваня и Петя любят джаз — Ваня любит джаз, и Петя любит джаз.* «Перенос отрицания» — трансформация, по которой из структур типа *Думаю, что он не придет* получается *Не думаю, что он придет.* В двух специальных главах книги «Семантические элементы» А. Вежбицка показывает, что соответствующая эквивалентность имеет место далеко не во всех случаях.

Дэйвид Льюиз. Общая семантика (D. Lewis. General Semantics). — Впервые опубликовано в: «Semantics of Natural Languages» / Ed. by D. Davidson and Harmann. Dordrecht, 1972; сокращенный перевод сделан по изданию: «Montague Grammar» / Ed. by Barbara Hall Partee. Academic Press, New York, 1976.

Д. Льюиз — американский лингвист; публикуемая статья сыграла важную роль в развитии и формализации семантики; концепция Д. Льюиза в известной мере альтернативна концепции генеративной лингвистики; автор строит ее на некоторых идеях К. Айдукевича (1890—1963), представителя Львовско-варшавской логической школы. Общим комментарием может служить статья Е. Пельца (в наст. кн.), в которой данная работа специально обсуждается.

Стр. 273. *Мои предложения укладываются в традицию референтной семантики, или семантики теории моделей...* — О теории моделей см. статью Е. Пельца «Семиотика и логика» и комм. к ней в наст. сборнике; о референтной семантике см. «Новое в зарубежной лингвистике», вып. XIII. Логика и лингвистика. М.: Прогресс, 1982; о тенденциях ее развития см.: K a t z J. J. The neoclassical theory of reference // Contemporary Perspectives in the Philosophy of Language. Minneapolis, 1979.

Стр. 273. *...несколькими философами и лингвистами... были сделаны попытки применить референтную семантику...* — Среди других автор упоминает Монтегю, работы которого сыграли наиболее значительную роль; в наст. сборнике концепция Монтегю освещается в работе Б. Холл Парти «Грамматика Монтегю...»; работы Монтегю, упоминаемые Льюизом под индексами 1968; 1970 с, имеются в русском переводе в сб. «Семантика модальных и интенсиональных логик». М.: Прогресс, 1981.

Стр. 273. *Грамматики категориального типа; ...контекстно-свободную грамматику...* — Поскольку эти понятия не принадлежат к широкоизвестным семиотическим понятиям, их целесообразно прокомментировать.

С семиотической точки зрения важно отметить следующие черты категориальной грамматики в смысле Д. Льюиза.

1. Эта грамматика входит в класс так наз. контекстно-свободных грамматик; к.-с. грамматика — это грамматика, содержащая только правила вида «A→B» («A переписывается как B»), такие правила называются контекстно-свободными; она не содержит правил вида «A→B/X—Y» («A переписывается как B в контексте [окружении] X — Y»), последние правила называются контекстно-зависимыми. Большинство современных формализованных семантических описаний строится по принципу контекстно-свободных грамматик.

2. В качестве непроизводных, базисных категорий принимаются: «предложение»; «индивидное имя» (или просто «имя»); «общее имя». Характерной чертой всех современных семантических теорий является то, что в число базисных категорий обязательно включается «предложение». Но особенность системы Льюиза (как и нескольких других) состоит в том, что «предикат» не включается в это число и анализируется как категория производная (впрочем, ниже, в середине статьи, автор рассматривает и такой вариант, когда категория «имя» заменена категорией «глагольная составляющая» [т. е. предикат]). Эта особенность связана с течением логической мысли, имеющим давнюю традицию (в частности, неопозитивизмом), согласно которому наиболее прочным основанием для семантической теории являются сведения, «редукция» значений языковых выражений к непосредственно наблюдаемым, «протокольным» данным; «индивиды» как раз и являются таковыми, поэтому легче — с логической точки зрения — редуцировать значение индивидного имени, чем значение предиката (коррелятом предиката в объективной действительности в общем случае не является нечто непосредственно наблюдаемое); «предложение» же само по себе является «данностью», поэтому выбирается и предложение.

3. Категории приравниваются к их именам (об этом автор подробно говорит в разделе V. «Значения»).

4. Вследствие последнего особую важность приобретает характер записи имени категории (т. е. фиксации самой категории). Льюиз применяет способ записи с помощью скобок и косой черты (ранее предложенный Айдукевичем [1935 г.] и примененный Бар-Хиллелом), который является аналитическим, т. е. несет в самом имени категории указание на то, к какой базисной категории и каким именно путем она должна быть возведена. Свой способ записи («нотационный вариант») автор объясняет в начале статьи. Только выражения, построенные в соответствии с данным способом записи, являются в семантическом языке Льюиза «правильно построенными выражениями» (о понятии «правильно или хорошо построенного выражения» см. комм. к статье Пельца «Семиотика и логика» в наст. сборнике). Некоторые изменения способа записи (особым образом предусмотренные) могут привести к «псевдо-категориям» (например, к «псевдо-именам»); но, поскольку это обстоятельство предвидимо, из него можно извлечь пользу — для перестройки лексикона грамматики (этот случай рассматривается в статье далее, в разделе VII. «Трактовка квантификации и именных составляющих», в настоящем изд. опущенном). Особо следует заметить, что Льюиз стремится с помощью нотации различить разные функции имени в английском предложении в зависимости от порядка слов — является ли данное имя субъектом или объектом, и это ему удается.

Детальное объяснение терминов, встречающихся в этой ст. Льюиза и в след. ст. Б. Холл Парти, можно найти в работе: Д е м ь я н к о в В. З. Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической переработке текста. Вып. 1: Порождающая грамматика; Вып. 2: Методы анализа текста // Всесоюзный Центр переводов. Тетради новых терминов. № 23, 1979; № 39, 1982.

Стр. 274. *Чтобы определить... грамматику, достаточно задать ее лексикон.* — Вопрос о лексиконе в связи с проблемами порождающей семантики и синтаксиса детально обсуждается в ст. Б. Холл Парти в наст. книге.

Стр. 276—277. *...в различных возможных состояниях дел...* — Этот термин имеет давнюю традицию; непосредственно он восходит к термину Р. Карнапа «описание состояний»; о его значении для семиотики см.: С т е п а н о в Ю. С. Имена, предикаты, предложения. М.: Наука, 1981, с. 226; см. также работу К. И. Льюиса «Виды значения» и комм. к ней в наст. сборнике.

Стр. 278. *...произвольного... предложения...* — Понятие «случайного предложения» (contingent sentence) восходит к понятию Ч. Пирса contingent proposition, — см. в наст. кн.

Стр. 288. *...чтобы значение было «хорошо построенным»...* — Льюиз весьма свободно рассуждает о «хорошо построенном значении» по аналогии с «хорошо или правильно построенным выражением» (о последнем см. ст. Е. Пельца и комм. к ней), поскольку в его концепции, в конечном счете, категория тождественна ее имени. Более естественно (и более обычно) рассматривать категорию как тождественную концепту, или смыслу, имени. По-видимому, здесь у Льюиза дает себя знать традиция крайнего «номинализма», идущая от Оккама к части современных англо-саксонских логиков и лингвистов. См. также комм. к статье Б. Холл Парти «Грамматика Монтегю...» в наст. сборнике.

Барбара Холл Парти. Грамматика Монтегю, мысленные представления и реальность (Barbara Hall Partee. Montague Grammar, Mental Representations, and Reality). — Впервые опубликовано в: «Philosophy and Grammar» / Ed. by S. Öhman and S. Kanger, D. Reidel Publishing, 1979. Перевод сделан по изданию: «Contemporary Perspectives in the Philosophy of Language» / Ed. by P. A. French; Th. E. Uehling, Jr.; H. K. Wettstein. University of Minnesota Press. Minneapolis, 1979. с. 195—208.

Барбара Холл Парти — американский лингвист, профессор лингвистики и философии университета штата Массачусетс, последовательница Монтегю. Публикуемая статья может рассматриваться как в известной мере итоговая работа по семиотической семантике. В заключении статьи (в пункте 5) формулируется вывод: «Лексичес-

кие единицы языка имеют интенсионалы; ассоциации лексических единиц и интенсионалов составляют часть семантики языка; то, чем являются сами интенсионалы, не может быть установлено исходя из чисто психических свойств компетентных носителей языка».

Этим «лексическая семантика резко отличается от синтаксиса: то, чем является синтаксис естественного языка, может быть установлено [...] исходя из психических состояний носителей языка».

Этот вывод четко профилирует основные линии статьи и, в известной мере, всей семиотической семантики, которые необходимо прокомментировать.

Вопрос о том, в какой мере можно установить свойства языка, исходя из наблюдений за психическими состояниями носителей языка (будь то объективные экспериментальные наблюдения или интроспекция, — не принципиально) — является одним из самых важных для актуальной теории языка; именно от решения этого вопроса в настоящее время ожидают ее радикального изменения. Этот вопрос поставлен и в советской теоретической лингвистике (см. сб. «Гипотеза в современной лингвистике». М.: Наука, 1980, особ. с. 118 и сл.; 183 и сл.).

Далее — и именно по указанному основному вопросу, — концепция Б. Холл Парти (а вместе с ней Монтегю и мн. др.) противопоставлена генеративным концепциям, поскольку последние имеют тенденцию сливаться с описанием психических состояний.

И, наконец, лейтмотивом статьи (и, опять-таки, в известной мере всей семиотической семантики) является понятие интенсионала. Именно оно будет главным образом предметом дальнейшего комментария.

Стр. 304. *В течении последних 10 лет...* — Имеется в виду 1979 г. — год первой публикации этой статьи.

Стр. 305. *...конфликт распространяется и на конструкции, выражающие пропозициональные установки.* — Этот термин (англ. prepositional attitudes) был введен Б. Расселом. Так, в своих Джеймсовских лекциях 1940 г. Рассел говорил: «Далее перейдем к анализу "пропозициональных установок", т. е. полагания (веры), желания, сомнения, что дело обстоит (или чтобы дело обстояло) таким-то образом. И для логики, и для теории познания анализ подобных высказываний очень важен, в особенности в случае полагания (веры) (belief). Здесь мы придем к выводу, что полагание какой-либо пропозиции (вера в пропозицию) не обязательно требует слов, но требует лишь, чтобы субъект полагания (веры) был определен в одном из нескольких возможных состояний, причем определен главным образом, если не целиком, причинными свойствами. Если появляются слова, то они "выражают" веру и, в случае истинности, "указывают" на факт, который сам по себе является чем-то иным, нежели вера» (Russell B. An Inquiry into Meaning and

Truth. The Willian James lectures for 1940 delivered at Harvard University. Unwin paperbacks. London, 1980, c. 21).

Рассел понимал под «пропозициональными установками» — в том случае, если, как он говорит, они «выражены словами» — сложные предложения с союзом that (соотв. русск. *что).* В настоящее время также имеют в виду их и их эквиваленты, например: *Все считают, что Петр приехал — Петр якобы приехал.*

Стр. 306. ...*Что касается детального описания природы лексикона...* — Этот вопрос рассматривается также в ст. Д. Льюиза выше.

Стр. 309. ...*Интенсионал есть функция...* — Следующее ниже определение можно сравнить с определением в работе К. И. Льюиса 1943 г. (см. работу Льюиса «Виды значения» в наст. сборнике). Сравнение показывает, как далеко ушло современное понятие интенсионала от льюисовского, при сохранении общей для обоих основы.

Стр. 310. ...Я *думаю, что Монтегю, как и Д. Льюиз, стоит на реалистической позиции в вопросе о существовании «правильного» выбора...* — «Реалистской позицией», «реализмом» автор называет здесь, в силу традиции, идущей от средневековой схоластической логики, признание универсалий чем-то реальным вне разума. В противоположность «реализму», «номинализм», как известно, утверждал, что универсалии — всего лишь имена.

Что для Монтегю, как и для самой Б. Холл Парти, интенсионалы существуют в некотором смысле «реально», подобно числам, — несомненно. Что касается концепции Д. Льюиза, то это неясно, поскольку, как было подчеркнуто выше, для него категория сливается с ее именем; в этом смысле Д. Льюиз, скорее, «номиналист».

Вопрос, однако, еще сложнее. Противопоставление номинализма и реализма касается имен. В отношении же предложения и суждения дело обстоит иначе; даже крайний номиналист Оккам считал: «Точно так же, как произносимое слово по условному соглашению подставляется (supponit; речь идет о суппозициях, см. комм. к работе Е. Пельца в насч. сборнике. — *Ю. С.*) вместо вещи, так и акт сознания по своей собственной природе и без всякого условного соглашения подставляется вместо вещи, к которой он относится» (O c k h a m W. Philosophical writings. A selection ed. and transl. by Ph. Boehner. Nelson. Edinburgh, 1957, c. 43). Таким образом, характерно, что даже для номиналиста Оккама акт суждения в известном смысле, в отличие от акта называния словом, безусловен. Мне кажется, что Пирс следует этой глубокой мысли Оккама, когда утверждает, что предложение — безусловный знак: «Под предложением или суждением мы подразумеваем символическое предложение, или символ, который сам по себе указывает на свой объект» (П и р с Ч. С. Предложения, § 7. Субъект [см. в наст. сборнике]). Дальше, в контексте статьи Б. Холл Парти речь идет именно

о предложениях и их интерпретации носителями языка. См. также комм. к статье Льюиза «Общая семантика» в наст. сборнике.

Стр. 315. ...*Катц считает, что собственные имена не имеют значения, ... Крипке считает, что они имеют интенсионал...* — Позиция Крипке представляется более обоснованной; в частности, она обосновывается, по-видимому, и концепцией К. И. Льюиса.

Стр. 316. *Итак мы пришли к заключению, что интенсионалы лексических единиц — это не мысленные сущности; ...интенсионалы... являются абстрактными объектами, могущими существовать независимо от людей, подобно числам.* — В математике подобный взгляд на числа, известный под условным названием «платонизма», является довольно обычным. «Представители... платонизма утверждают, по сути дела, что понятия числа и множества существуют в действительности (независимо от нашего знания о них)... Вероятно, платонизм — это тот взгляд, которого более или менее подсознательно придерживается большинство математиков, не занимающихся специально вопросами обоснования (математики. — *Ю. С.)*. Это также позиция пионеров математической логики Фреге и Рассела; ее и сегодня защищают некоторые выдающиеся логики» (К а р р и Х. Основания математической логики. М., 1969, с. 27—28).

Мне кажется, что понятие интенсионала наиболее естественным образом соединяет современную логическую семантику, семантику естественного языка и семантику художественных, «интенсиональных» миров, входящих в предмет семиотики литературы. См. также вступ. статью к наст. сборнику.

IV. СЕМИОТИКА ЛИТЕРАТУРЫ

Ролан Барт. Нулевая степень письма (Roland Barthes. Le degré zéro de l'écriture). — Впервые опубликовано в издательстве Editions Du Seuil, Paris, 1953; перевод сделан по изданию: B a r t h e s R. Suivi de Eléments de sémiologie. Editions Gonthier. Sine datae, p. 9—76.

Р. Барт — французский литературный критик и семиотик. Работы Барта неоднократно переводились и обсуждались в Советском Союзе (см., напр., Б а р т Р. Лингвистика текста // Новое в заруб. лингвистике», вып. VIII. М.: Прогресс, 1978; он же. Текстовой анализ // Новое в заруб. лингвистике, вып. IX, 1980, и др.). Настоящая работа, впервые переводимая (с небольшими сокращениями) на русский язык, возникла в 1953 г. как результат непосредственного размышления автора, в то время литературного и художественного критика парижских газет, над текущей литературой и журна-

листикой. Очерк Барта стал классическим исследованием в области семиотики литературы, в нем впервые описано «третье измерение» (как называет его автор) литературной формы — «письмо» (écriture), существующее наряду с двумя другими — языком и стилем.

Вместе с тем, при чтении работы Барта надо иметь в виду, что она была злободневным произведением своих дней и своей страны, она полна полемического задора и имеет яркую антибуржуазную направленность. Процессы, которые Барт прозорливо уловил и впервые сформулировал, продолжают оставаться акгуальными для литературы Запада. См. напр., «Споры о сущности литературы: Материалы советско-итальянской писательской встречи, проведенной в Москве Союзом писателей СССР и Институтом мировой литературы им. А. М. Горького» // Иностранная литература, 1973, № 1. с. 212.

Об актуальности этих проблем для западного мира и в наши дни свидетельствуют новейшие публикации; см. в частности. C o w a r d R. and E l l i s J. Language and Materialism. Developments in Semiology and the Theory of the Subject. Routledge and Kegan Paul. London, 1977; K r e s s G., H o d g e R. Language as Ideology. Routledge and Kegan Paul. London, etc., 19794; Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса / Пер. с франц. и порт. Общая ред. и т. д. Патрика Серио. М.: Прогресс, 1999.

В философском плане работу Р. Барта, несмотря на ее материалистическую основу, характеризует известная ориентация на философский экзистенциализм — модное в то время течение во Франции.

Стр. 327. *Эбер не начинал... своего «Папаши Дюшена»...* — Жак-Рене Эбер (1757—1794) — французский политический деятель эпохи Революции, один из лидеров левых якобинцев, сторонник террора, издавал газету «Папаша Дюшен» («Père Duchesne»), пользовавшуюся популярностью в народных низах; был гильотинирован вместе с группой своих сторонников

Стр. 328. *...с того момента (1850 г.)...* — Указание на 1850 г. как на переломный момент в истории «письма» мотивируется социальными причинами и подробно разъясняется самим автором ниже, см. с. 336 наст. изд.

Стр. 328. *...стал выбор формы: он принимает на себя обязательство, ангажируется...* — Термин «ангажирование» (l'engagement), «ангажироваться» постоянно встречается во французском оригинале. Он означает по существу «вовлечение и вовлеченность человека, в часгности писателя, в социальные отношения, в жизнь общества», «принятие им на себя социальных обязательств», однако — что очень важно иметь в ьиду — этот термин первоначально принадлежит контексту философии экзистенциализма, и «ангажированность» здесь

противопоставлена «экзистенции» — внутреннему, глубинному, «подлинному» существованию человека. Хотя в настоящее время он стал довольно обычным в русском языке советских историков западной литературы, мы все же не сочли возможным везде сохранить его в переводе; тем более, что часто Р. Барт имеет в виду просто «социальные обязательства писателя».

Стр. 329. ...*вызвать к себе экзистенциальные ощущения*... — Далее перечисляются ощущения (чуждости или противоположное ему — родственности, отвращения или приязни и т. д.), которые, с точки зрения философии экзистенциализма, вызывает к себе само явление «существования», «экзистенции», это обычный мотив экзистенциалистов.

Стр. 329. *Белое письмо*... — По аналогии с франц. выражением «белый голос» — голос, лишенный окраски, бесцветный, блеклый.

Стр. 330. — *Камю, Бланшо, Кейроль*... *Кено*... . — Называются современные французские писатели: Альбер Камю (1913—1960), лауреат Нобелевской премии, автор философских эссе («Миф о Сизифе», 1942), романов («Посторонний», 1942, «Чума», 1947), пьес; Морис Бланшо — автор романов, повестей и эссе в духе Ф. Кафки, посвященных отчуждению человека и абсурдности существования; Жан Кейроль (р. 1911), участник Сопротивления, узник Маутхаузена, романист и поэт; герой Кейроля — бродяга и мечтатель, человек вне общества; Раймон Кено (р. 1903) — сюрреалист и поэт, впоследствии автор комических повестей, в которых комизм действительности передается почти исключительно путем обыгрывания обиходного языка, прямой речи персонажей.

Стр. 330. ...*язык — эти площадка, заранее подготовленная для действия*... — Барт прозорливо предвосхитил некоторые тенденции искусства последующих десятилетий, т. е. уже наших дней; этому тезису Барта отвечает, например, концепция театра у Питера Брука, см.: Брук П. Пустое пространство. М.: Прогресс, 1976.

Стр. 330. ...*он (язык) не участвует в обрядовом действе Словесности*... — В этом утверждении соединены два традиционных тезиса — понимание Словесности как обряда, восходящего к особой поэтической и далее к магической функции слова (ср. взгляды на поэта как на пророка), и понимание поэтической функции языка как резко отличной от функции общения; последний тезис близок к идеям Русской формальной школы и к поэтической практике футуризма; см. комм. ниже.

Стр. 331. ...*занимая промежуточное положение между уже исчезнувшими и еще неведомыми формами, язык писателя*... — Это положение Барта близко к эстетике русского футуризма, ср. слова Хлебникова «родина творчества — в будущем», приведенные в кон-

це статьи Романа Якобсона «В поисках сущности языка» в наст. сборнике.

Стр. 331. ...*стиль... отсылает к биологическому началу в человеке...* — Автор следует здесь французской традиции в понимании стиля; согласно естествоиспытателю и писателю Ж.-Л. Бюффону (1707—1788), «знания, факты, открытия легко отчуждаются и преобразуются, они даже выигрывают от того, что их используют более способные руки; эти вещи — вне человека. *Стиль — это сам человек.* Стиль не может ни отчуждаться, ни передаваться, ни изменяться» («Речь при приеме в Академию»).

Стр. 332. ...*классического этоса...* . — Под термином «этос» Барт вводит здесь понятие, чрезвычайно важное для его понимания «письма» «мораль литературной формы». Для этой цели Барт использовал в измененном значении термин античной и средневековой риторики — «этос».

Этос, или *этопойя,* — художественное средство, рассматриваемое в риторике:

1) такое оформление речи, посредством которого оратор возбуждает в слушателях впечатление о нем как о достойном, нравственном, рассудительном человеке; 2) ораторская фигура — выдумывание изречений, рассуждений, бесед исторических личностей или вымышленных персонажей, даже неодушевленных; близко к понятиям *прозопопея; олицетворение;* 3) возникший на основе 2 вид упражнений в училищах риторики — сочинение речей с морализирующим содержанием; культивировался от Античности до Византийской эпохи.

Далее Барт употребляет термин *этос, этический* в своем, новом значении.

Стр. 332. ...*между тем всякая форма обладает также и значимостью; вот почему... остается место... для письма.* — Чтобы это высказывание Барта было понятным, надо учесть, что слово «значимость» он понимает в специальном, терминологическом смысле, как это было установлено в лингвистической теории Ф. де Соссюра (1857—1913): «значимость — это не прямое указание словом на объект, а относительное значение слова, зависящее от распределения значений между группой наличных слов; например, "зеленый цвет" — это значение слова *зеленый;* а "часть спектра, отграниченная частями, закрепленными за словами *желтый* и *голубой*" — это значимость слова *зеленый*».

Стр. 333. ...*Мериме и Фенелона разделяли не только феномены языка..., и тем не менее их слово было пронизано одной и той же интенцией...* — Чтобы этот пример был понятен, надо иметь в виду, что названных писателей разделяет целая историческая эпоха: Ф. Фенелон (1651—1715) — П. Мериме (1803—1870).

Стр. 334. *Письмо — это ...компромисс между свободой и воспоминанием, это ...свобода, остающаяся свободой лишь в момент*

выбора... — В этом тезисе Барта сочетаются две идеи: с одной стороны, идея Ф. де Соссюра о соотношении в языке его истории (диахронии) и его наличного, данного состояния (синхронии); причем, по Соссюру, язык предоставляет говорящему иллюзорную свободу, как бы говоря «ты волен выбрать в языке что угодно, но ты выберешь то, что я, язык, тебе подскажу»; с другой стороны, идея экзистенциалистов о том, что подлинная свобода для человека существует лишь в момент выбора, когда, как в игре в шахматы, рука игрока уже подняла шахматную фигуру, но еще не опустила ее ни на какую клетку.

Стр. 335. *...Письмо — вовсе не орудие общения между людьми...* — Здесь снова проходит уже отмеченная выше мысль о «письме» как составной части «обряда Словесности», о «письме» как выражении не функции общения, а поэтической функции слова, а также экзистенциальная идея «одиночества существования» (см. комм. выше).

Кроме того, при чтении этого раздела нужно иметь в виду, что «политическое письмо» понимается автором прежде всего применительно к классовому обществу, к действительности Западной Европы и к моменту написания этой работы, — см. комм. к началу статьи.

Стр. 336. *...в соответствии с предписаниями Вожла...* — К. Вожла (1585— 1651) — французский грамматист, автор одного из первых трактатов, устанавливавших нормы «хорошего употребления» французского языка.

Стр. 336. *...в результате Революции...* — Имеется в виду Великая французская буржуазная революция 1789—1793 гг.

Стр. 337. *... «орудия», унаследованного от ...Вовенарга...* — Маркиз Вовенарг (Люк де Клапье) (1715—1747) — французский писатель и моралист, выражавший оптимический взгляд на моральную природу человека.

Стр. 337. *...письмо стало как бы энтелехией...* — «Энтелехия» — термин философии Аристотеля (впоследствии воспринятый Лейбницем), означавший переход от потенции к результату, действие, в котором соединяются причина, материя и цель; причем цель понимается как совершенство результата.

Стр 338. *...марксистское письмо литотично.* — От термина «литота» — фигура речи, противоположная гиперболе; образное выражение или оборот, в котором содержится преуменьшение величины, силы, значения изображаемого предмета; здесь в смысле: указание на более глубокое значение, чем непосредственное значение данного слова или выражения.

Стр. 338. *...новый тип занимающегося письмом индивида...* — Автор вводит здесь новый термин, неологизм франц. языка — *scripteur*, который не имеет эквивалента в рус. яз.; может быть, его следовало бы перевести словом «писец» или «скриб»; таким обра-

зом устанавливается следующий ряд: литература — писатель; стиль — стилист; письмо — писец, скриб (в новом знач.).

Стр. 339. ...*в журналистике, в эссеистике происходил процесс*... — Как уже было отмечено в комм. выше, через злободневные для западноевропейской литературной действительности факты Барт сумел различить новые общие черты литературы и журналистики вообще; так, явления, сходные с данными, отмечены также в кн.: Костомаров В. Г. Русский язык на газетной полосе. Некоторые особенности языка современной газетной публицистики. М.: Изд-во Моск. унив., 1971.

Стр. 339. ...*письмо марки «Эспри»*... *«Тан Модерн»*. — Имеются в виду французские журналы, пользовавшиеся популярностью в среде французской интеллигенции в пору написания этой работы.

Стр. 340. ...*речь вновь идет об этическом письме*... — См. комм. к стр. 311.

Стр. 340. ...*Мишле*... — Ж. Мишле (1798—1874) — знаменитый французский историк.

Стр. 340. ...*наррация*... — Об этом термине см. подробнее в нижеследующих работах наст. сборника.

Стр.341. *Простое прошедшее время*... — Об особом значении упоминаемых здесь форм времени во французском языке и литературе см. специальное исследование: Бенвенист Э. Отношения времени во французском глаголе // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974.

Стр. 341. ...*они обладают устойчивостью и контурами алгебраической системы*... — Подробнее отмеченные здесь характеристики освещаются в работе Ч. С. Пирса в наст. сборнике и во вступительной статье в связи с понятием «интенсионала».

Стр. 342. ...*простое прошедшее время уступает место*... — См. комм. к стр. 320.

Стр. 344. ...*убийца скрывался за местоимением первого лица*. — Барт имеет в виду, вероятно, детективный роман Агаты Кристи «Убийство Джозефа Экройда», в котором в силу отмеченного здесь приема критики усматривали нарушение законов детективного жанра.

Стр. 344. ...*произведение Пруста, например, претендует лишь на роль введения в Литературу*... — Это мнение Р. Барта представляется неверным. Об особенностях романа М. Пруста «В поисках утраченного времени» см.: Степанов Ю. С. Марсель Пруст или жестокий закон искусства // Proust M. A l'ombre des jeunes filles en fleur. Moscou. Ed. du Progrès, 1982.

Стр. 346. ...*из двух уравнений г-на Журдена*... — Журден — герой комедии Мольера «Мещанин во дворянстве», который не знал, что он «говорит прозой».

Стр. 348. ...*на языке поэзии или прециозности*... — *Прециозность*, букв. «жеманство, манерность» — особое стилевое течение во французской литературе XVII в.; его представителем был, напр., Вуатюр (1598—1648) и ряд других завсегдатаев литературного салона Рамбуйе. Крайности этого стиля высмеяны Мольером в комедии «Смешные жеманницы».

Стр. 351. ...*зазвучать подобно гулу*... — Барт подчеркивает здесь особые признаки слова в поэзии; их отмечают многие исследователи и поэты, например Маяковский: «...Обстругивается и оформляется ритм — основа всякой поэтической вещи, проходящая через нее гулом. Постепенно из этого гула начинаешь вытаскивать отдельные слова» («Как делать стихи». — М а я к о в с к и й В. В. Полн. собр. соч. в 13-ти томах. Т. 12, М., 1959, с. 100).

Стр. 351. ...*подобно голосу «ярости и тайны»*. — Выражение в кавычках — название поэтического сборника Ренэ Шара «Ярость и тайна» (C h a r R. Fureur et mystère. Paris, 1948), одного из крупнейших современных французских поэтов (р. 1907).

Стр. 354. ...*разницу между Расином и Прадоном*... — Ж. Прадон (1632— 1698) — французский писатель, автор трагедий в стихах; известен главным образом тем, что одновременно с Расином написал свою трагедию «Федра».

Стр. 354. ...*прециозного письма Корнеля*... — См. комм. к с. 348.

Стр. 356. ...*развили эссенциалистский миф о человеке*... — Следуя философам-экзистенциалистам, Барт противопоставляет «сущность» («эссенцию») «существованию» («экзистенции»), считая, что «существование» предшествует «сущности», что нет никакой сущности, а тем более «сущности человека», которая предшествовала бы его существованию; противоположную точку зрения Барт рассматривает как «буржуазный миф о человеке».

Стр. 357. ...*популистского (письма)*... — *Популистский роман, популизм* (от лат. populus «народ») — термины особого течения во французской литературе, во главе которого стоял А. Терив (1891—1944); популисты, заявляя о своих демократических симпатиях и обращаясь к народной аудитории, на деле выражали реакционную буржуазную идеологию.

Стр. 359. ...*Фредерика Моро, Эмму Бовари, Бувара и Пекюше*... — речь идет о персонажах произведений Флобера.

Стр. 360. ...*григорианская кодификация литературного языка*... — Барт использует для сравнения реформу календаря, произведенную при папе Григории XIII в 1582 г., результатом которой стал ныне действующий григорианский календарь.

Стр. 363. ...*Аграфия, к которой пришел Рембо или некоторые сюрреалисты*... — Артур Рембо (1854—1891) в своем цикле «Озарения» («Les Illuminations») прибег к разорванной композиции, к

нарушению синтаксических связей между словами, к логической бессвязности, — что Барт называет словом «аграфия» (букв. «разрушение письменного выражения»), тем не менее эта манера Рембо оказала большое влияние на сюрреалистскую поэзию XX в. См. Б а л а ш о в Н. И. Рембо и связь двух веков поэзии // А. Р е м б о. Стихи. М.: Наука, 1982, с. 264 и сл.

Стр. 363. *...гипотезы о Малларме как об убийце языка...* — В творчестве Малларме (1842—1898) проходят те же тенденции формы, которые были характерны и для Рембо, — см. комм. выше.

Цветан Тодоров. Семиотика литературы (T. Todorov. Sémiotique de la littérature). — Перевод сделан по изданию: «A semiotic landscape. Proceedings of the First Congress of the International Association for Semiotic Studies. Milan, June, 1974». (Approaches to Semiotics. 29). Mouton Publishers. The Hague. Paris—New York, 1979, p. 721—724.

Ц. Тодоров — лингвист, литературовед и семиотик, болгарского происхождения, живет и работает во Франции. Публикуемая работа представляет собой доклад, прочитанный на I Конгрессе Международной семиотической ассоциации в Милане в 1974 г. В нем автор в краткой, тезисной форме формулирует некоторые вопросы, которые затем развиваются в его следующей работе (см. наст. сборник). Одно из основных понятий здесь — понятие «дискурс» определяется в след. статье и в статье П. Серио.

Стр. 373. *...мы можем употреблять выражение «семиотика литературы» только в том случае, если...* — Это утверждение автора не подтвердилось в последующем развитии семиотики литературы — см. вступ. ст. Многие задачи, которые Тодоров относит здесь к области литературной семиотики, или риторики, в настоящее время решаются главным образом в сфере прагматики; см. серию статей в журнале: «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», т. 40, вып. 4, 1981; в семиотике интертекста и др. — см. в наст. сборнике.

Стр. 375. *...Если p, то q...* — См. комм. к ст. К. И. Льюиса «Виды значения» в наст. сборнике.

Стр. 375. *...фокализованной оказывается только сама произнесенная фраза...* — Фокализованная — здесь приблизит. «выдвинутая в центр (в фокус) внимания».

Цветан Тодоров. Понятие литературы (T. Todorov. La notion de littérature) — Перевод сделан по изданию «Langue. Discours. Société. Pour Emile Benveniste». Klincksieck, Paris, 1975, p. 352—364.

Стр. 377. *...давно миновали времена Леви-Брюля...* — Л. Леви-Брюль (1857—1939) — французский философ-позитивист, социо-

лог и теоретик этнографии; в работе «Первобытное мышление» (М., 1930) Леви-Брюль утверждал, что мышление первобытного человека относится к «дологической стадии» и в нем действуют иные законы, чем в мышлении современного цивилизованного человека.

Стр. 378. ...*антифразис*... — Стилистическая фигура — употребление слова или выражения в противоположном смысле, обычно ироническом *(Ай, Моська, знать она сильна...)*.

Стр. 378. ...*такой метафизик, как Хайдеггер*... — Мартин Хайдеггер (1889— 1976) — немецкий философ XX в., один из основателей, наряду с К. Ясперсом, немецкого экзистенциализма; ряд работ Хайдеггера посвящен философии литературы и философии языка; среди его обычных приемов в этих работах большое место занимает вскрытие внутренней формы соответствующих слов, например, «искусство есть *про-изведение*, т. е. *вы-ведение*, истины в действительность» (ср. зд. ниже).

Стр. 379. ...*позволило Аристотелю отметить, что*... — См.: Аристотель. Поэтика. М., 1957, с. 68.

Стр. 379. *Фрай напомнил*... — См. F r y e N. Anatomy of Criticism. Princeton University Press, 1957.

Стр. 380. ...*фрейдовские «истории болезней»*... — Записи рассказов пациентов о своих переживаниях, сделанные психаналистиком З. Фрейдом (1856—1939).

Стр. 381. ...*трактат ... аббата Баттё*... — Ш. Баттё (1713— 1780) — французский философ, эстетик и педагог; упоминаемый трактат 1746 г. оказал большое влияние на развитие теории искусства в Европе.

Стр. 381. ...*трактата... Карла Филиппа Морица*. — К. Ф. Мориц (1757— 1793) — немецкий эстетик романтической ориентации, исследователь мифологии, один из создателей теории «художественной мифологии».

Стр. 381. ...*американская Новая критика*... — «Новая критика» («New Criticism») — течение в западной критике, главным образом США, сложившееся в 1930—40 гг., анализирующее художественное произведение как внутренне замкнутый, «имманентный» «поэтический феномен»; в некоторых пунктах это течение близко к «русскому формализму» и французскому структурализму.

Стр. 382. ...*релевантно ли само понятие*... — Лингвистический термин «релевантный» означает «относящийся к сущности; определяющий, играющий важную, конструктивную роль в системе».

Стр. 383. ...*Известна гипотеза, выдвинутая Соссюром относительно древнеримской поэзии*. — Ф. де Соссюр (1857—1913), занимаясь структурным изучением стиха, пришел к выводу (до конца не обоснованному), что в латинском (древнеримском) стихе зачастую шифруется — путем различных звуковых подчеркиваний и

повторов — имя божества; имя лица, которому посвящено стихотворение; в надгробной надписи — имя захороненного, и т. п.; Соссюр назвал это явление «анаграммами», в кн.: С о с с ю р Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977).

Стр. 383. ... *«непроницаемо плотный»*... — Пара противопоставленных терминов «непроницаемо плотный, непрозрачный» (фр. opaque) — «прозрачный» (фр. transparent) фиксирует одну из самых актуальных проблем современной семиотики — исследование самого «тела знака». Впервые эти понятия возникли в работах Э. Гуссерля (1859—1938) в связи с его феноменологическим подходом; из новых работ см.. L a n i g a n R. The phenomenological foundations of semiology // A semiotic landscape. Proceedings of the First Congress of the International Association for Semiotic Studies. Mouton Publishers. The Hague, etc., 1979; Z u b e r R. Sign transparency and performatives, — в том же изд. Эти понятия применяются (как в данной работе Тодорова) и к характеристике целого текста.

«Прозрачность знака» можно иллюстрировать на примере живописи: при рассматривании, например, цветка в картине внимание зрителя устремлено на сам цветок, как бы «сквозь» мазок кисти, который в этом случае оказывается «прозрачным», пропускающим внимание воспринимающего человека на предмет; «непрозрачный» знак в живописи имеет место в том случае, если внимание воспринимающего не пропускается на предмет, вместо которого стоит знак, а фиксируется на самом знаке, например — на структуре мазка. Аналогично обстоит дело с целыми литературными текстами.

Стр. 389. ...*как показал Самюэль Левин в Соединенных Штатах и Жан Коэн во Франции*... — Имеются в виду работы: L e v i n S. R. Linguistic Structures in Poetry. Mouton and Co. The Hague, 1969; C o h e n J. Structure du langage poétique. Paris, 1966.

Стр. 389. ...*разборы*..., *предпринятые Якобсоном*... — Примеры таких разборов см. в работе Романа Якобсона «Поэзия грамматики и грамматика поэзии» в наст. сборнике.

Антонио Прието. Из книги «Морфология романа». Нарративное произведение (Antonio Prieto. Morfologia de la novela). — Перевод сделан по изданию: Editorial Planeta. Barcelona, 1975, p. 15 ets; 28 ets.

А. Прието — испанский литературовед. В книге «Морфология романа», извлечения из которой здесь публикуются (впервые в русском переводе), автор поставил своей задачей применить общие положения семиотики к конкретному исследованию романа вообще и некоторых конкретных произведений этого жанра (особенно подробно анализируется роман Уртадо де Мендосы (1503—1575) «Жизнь Ласарильо с Тормеса» — плутовской и реалистический

роман, гениальное начало «европейской траектории романа». Приводимые здесь главы посвящены главным образом общим проблемам романа как жанра, его семиотическому анализу и его защите; они противопоставлены «отказу от романа» в некоторых современных течениях западной литературы и критики. (Общий обзор книги А. Прието см.: С т е п а н о в Ю. С. (рец.)// Изв. АН СССР. Серия литературы и языка, т. 36, 1977, вып. 1.)

Подобно Р. Барту (см. в наст. кн.), Прибрамо противопоставляет свой подход «академическим школам», для него роман — живая, злободневная действительность; со ссылкой на французского социолога литературы Люсьена Гольдмана, Прието утверждает: «Никакой писатель не может создать сколько-нибудь ценное произведение, ставя в нем проблемы, которые он сам для себя уже заранее разрешил»; Прието последовательно показывает, как романная форма служит превращению «этического в эстетическое», как художественная литература становится средством решения общественных этических проблем, быть может — в определенных условиях единственным средством.

В чисто семиотическом отношении интересны рассуждения Прието о различии между «формой», в частности в понимании русских формалистов, и «структурой» — эта тема проходит и в других работах, представленных в настоящей книге (см. особ. статьи К. Леви-Стросса и В. Я. Проппа); по Прието, семиотическая форма романа, его «морфология», характеризуется определенным синтезом «формы» и «структуры».

Стр. 393. ...*уже в «Графе Луканоре» (структура которого отличается от структуры новелл «Декамерона»)*... — «Граф Луканор» — сборник новелл испанского писателя Дона Хуана Мануэля (1282—1344), в некоторых отношениях похожий на «Декамерон»; Прибрамо сравнивает два произведения еще и потому, что структура Декамерона была специально исследована с семиотической точки зрения: Todorov T. Grammaire du Décaméron. (Approaches to Semiotics. 3) Mouton. The Hague, 1969.

Стр. 393. ...*развитие буржуазного дискурса*... — О понятии «дискурс» см. в ст. П. Серио в наст. сборнике.

Стр. 393. ...*представителей «нового романа»*. — Имеется в виду литературное течение, возникшее во Франции в конце 1950-х гг. — Ален Роб-Грийе, Мишель Бютор, Натали Саррот и др.; характеризуется отказом от традиционной формы романа, во многом ее разрушением; кого конкретно имеет в виду Прибрамо, разъясняется в его примечании 6, на с. 396.

Стр. 395. ...*субъективную структуру (эне́ргейю) мира романа*. — Употребляя термин «энергейя», Прието отсылает читателя к лингвистической теории немецкого языковеда и философа Вильгельма фон Гумбольдта (1767—1835), в которой язык рассматрива-

ется как диалектическое единство «уже созданного, произведенного» («эргон») и «находящегося в процессе создания», «творящей силы» («энéргейя»), причем главная роль признается за последним; теория Гумбольдта актуализируется в современной лингвистике.

Стр. 395. ...*Рамон Гомес де ла Серна*... — Испанский писатель (1888—1963), создатель особого жанра, названного им «грегериас», — коротких стихотворений в прозе сатирического и обличительного содержания.

Стр. 397. ...*Итало Свево*. — Итальянский писатель (1861—1928); один из зачинателей литературы «потока сознания», некоторыми критиками рассматривается как предшественник Дж. Джойса и М. Пруста.

Стр. 397. *Наметив эти соответствия, мы пришли к тому, что*... — В нижеследующем абзаце автор формулирует одно из положений современной семиотики литературы — о совмещении в семиотическом анализе двух линий — субъективной и объективной; в то время как первая может углубляться вплоть до анализа подсознательного, вторая ведет к социологии литературы. Поскольку в критике, в частности в нашей стране, отмечалось, что семиотический анализ, например, в некоторых специальных исследованиях Р. Барта, преувеличивает роль подсознательного (см., напр., сб. «Художественный образ и структура». М.: Наука, 1975), то это положение А. Прието следует рассматривать как более правильное, не уклоняющееся в крайности.

Стр. 398. ...*такого писателя — представителя веризма, как Джованни Верга*... — Дж. Верга (1840—1922) — итальянский писатель, один из главных представителей итальянского реализма и натурализма, т. н. «веризма» (от vero букв. «истинный, правдивый»).

Стр. 398. ...*тревожные размышления Ортега-и-Гассета о романе*... — Хосе Ортега-и-Гассет (1883—1955) — испанский философ, один из признанных критиков буржуазного мира, буржуазной философии, культуры, искусства; ему принадлежит, в частности, понятие «дегуманизации искусства» в буржуазном обществе, используемое в настоящее время марксистской эстетикой; из новых работ см.: З ы к о в а А. Б. Учение о человеке в философии Х. Ортеги-и-Гассета. М.: Наука, 1978.

Стр. 398. ...*Возможно, что час романа пробьет, когда прекратит свое существование буржуазия, вместе с которой родился этот жанр*... — Прието, вопреки своей установке на «защиту романа», в этом пункте, по-видимому, разделяет концепцию о грядущем «конце романа», недооценивая развитие жанра романа в социалистических странах. Этой концепции противопоставлена «оптимистическая концепция романа», провозглашенная советскими писателями и теоретиками литературы.

Стр. 401. ...*Можно понять литературную стерильность Балли...* — Автор имеет в виду концепцию стиля, созданную швейцарским лингвистом Ш. Балли (1865—1947), в которой, парадоксальным образом, факты художественной литературы исключаются из изучения стиля, см.: Bally Ch. Traité de stylistique française. C. Winter Verlag. Heidelberg, 1902 (есть последующие издания).

Стр. 401. *Предложенное Бенвенистом соответствие между формой и смыслом развивает Ельмслев...* — На самом деле учение датского лингвиста Л. Ельмслева (1899—1965) является вполне оригинальным и предшествует многим другим исследованиям в области «чистой формы», см. Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике, вып. I. М., 1960; взгляды Э. Бенвениста на форму см.: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974, гл. X.

Стр. 401. ...*Блумфилд, например, проводит различие...* — См. Блумфилд Л. Язык. М., «Прогресс», 1968, с. 167 и др.

Стр. 402....*которое предлагает феноменолог Роман Ингарден.* — См.: Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962.

Стр. 404. ...*из письма Джан Паоло Озио кардиналу Федериго Борромео...* — Кардинал Борромео (1564—1631), архиепископ г. Милана, покровительствовал культурным начинаниям, основал Амброзианскую библиотеку.

Стр. 407. ...*отношение Протея...* — Протей, в греческой мифологии, сын морского бога Нептуна, одаренный даром предсказания; он часто изменял свой вид, чтобы ускользнуть от настойчивых вопрошателей.

Стр. 407. ...*зависимость от формалистов и признание их заслуг в постановке таких задач, которые не рассматривала историческая школа.* — Из новых работ об ист. школе см.: Николаев П. А., Курилов А. С., Гришунин А. Л. История русского литературоведения. М.: Высшая школа, 1980 (Гл. 3. Академические школы в русском литературоведении XIX в.); Русская наука о литературе в конце XIX — начале XX вв. М.: Наука, 1982.

Стр. 408. *Б. Беккер утверждал...* — Имеется в виду испанский лирический поэт Густаво Адольфо Домингес Беккер (1836—1870).

Стр. 411. *Л. Витгенштейн в своем... «Логико-философском трактате»...* — См. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. Философия языка Витгенштейна (1889—1951) оказала большое влияние на современные лингвистические теории в зарубежном языкознании; философскую оценку работ Витгенштейна см. в кн.: «Современная буржуазная философия» / Под ред. Богомолова А. С. и др. М.: Высшая школа, 1978.

Стр. 412. ...*приведу отрывок из TCLP (№ 1, 1929), который я уже приводил в своей работе «Семиологическое эссе».* — Автор име-

ет в виду повременное издание Пражского лингвистического кружка («Travaux du Cercle Linguistique de Prague»).

Стр. 414. ...*чего не смог сделать Ларра с Масиасом*... — Испанский писатель Мариано Хосе де Ларра (1809—1837) в своем романе «Молодой дворянин Дон Энрике по прозвищу Страдающий» изобразил любовные переживания и приключения кастильского поэта XV в. Масиаса.

Стр. 414. ...*сменит имя Тристан на Тантрис*... — Т. е. переставит слоги *трис — тан*.

Стр. 415. ...*картины Макса Эрнста или фильмы Луиса Бунюэля*... — Макс Эрнст (1891—1976) — немецкий художник-сюрреалист, работал в Германии, США, Франции; Луис Бунюэль (р. 1900) — испанский кинорежиссер; в 1928 г. совместно с Сальвадором Дали создал сюрреалистский фильм «Андалузский пес», в 1930 г. — «Золотой век».

Стр. 415. ...в *романе Матео Алемана «Гусман из Альфараче»*... — Матео Алеман (1547—1614) — испанский писатель, автор плутовского романа «Гусман из Альфараче» (1599), который считается первым и замечательным подражанием и продолжением традиции «Ласарильо с Тормеса», см. вступ. к комм.

Стр. 416. ...*высоко ценил Кеведо*... — Франсиско де Кеведо (1580—1645) — испанский поэт, романист, богослов и историк, прославился, в частности, как сатирик.

Клод Леви-Стросс. Структура и форма. Размышления об одной работе Владимира Проппа. (Claude Lévy-Strauss. La structure et la forme. Réflexions sur un ouvrage de Vladimir Propp). — Впервые опубликовано: «Cahiers de l'Institut de Science Economique Appliquée», série M, nº 7, mars 1960; перевод сделан по изданию: Claude L é v y - S t r a u s s. Anthropologie Structurale Deux. Plon. Paris, 1970, с. 139—173.

Клод Леви-Стросс — известный французский этнолог (во франц. терминологии, антрополог) и социолог, структуралист; работы Леви-Стросса, относящиеся к организации первобытных обществ, структурной мифологии и др., широко обсуждаются в литературе по этим вопросам в нашей стране. Публикуемая работа (впервые переводимая на рус. яз.) является своеобразным комментарием к английскому переводу книги В. Я. Проппа «Морфология сказки» (P r o p p Vl. Morphology of the Folktale / Edited with an Introduction by Svatava Pirkova-Jakobson. Translated by Laurence Scott. Bloomington, 1958). Работа Леви-Стросса в свою очередь комментируется ответной статьей В. Я. Проппа (см. в наст. сборнике). Реплику К. Леви-Стросса на последнюю см. в комм. к ней.

Одним из вопросов дискуссии между Леви-Строссом и Проппом является соотношение структурного и исторического изу-

чения, «структура и история» (см. об этом во вступительной статье и в работе В. Я. Проппа в наст. сборнике). Другой вопрос касается соотношения структуры и формы, — комментарием к нему может служить работа А. Прибрамо (см. наст. сб.), где те же понятия обсуждаются на материале романа. Еще одним важным вопросом является соотношение мифа (и его семантического описания, чем много занимался Леви-Стросс) и сказки (и ее синтагматического описания, чем занимался Пропп); хотя В. Я. Пропп в своей ответной статье противопоставил то и другое слишком резко, однако современные исследователи обычно успешно сочетают оба подхода, см., напр.: М е л е т и н с к и й Е. М. Палеоазиатский мифологический эпос. М., «Наука», 1979 (см. особ. гл. 7. Семантическая структура мифологического эпоса о Вороне).

Стр. 425. ...*Миллер, Вундт, Аарне, Веселовский*... — Известные ученые (разных специальностей) конца XIX — нач. XX вв.; здесь перечисляются как исследователи фольклора и классификаторы фольклорных мотивов; их работы подробно комментируются в упомянутой книге В. Я. Проппа.

Стр. 426. ...*Жозефу Бедье Пропп воздает должное*... — Ж. Бедье (1864— 1938) — французский ученый, специалист по фольклору и литературе Средних веков, автор известного труда «Эпические легенды».

Стр. 426. ...*работе русского исследователя Р. М. Волкова*... — Имеется в виду кн.: В о л к о в Р. М. Сказка. Разыскания по сюжетосложению народной сказки. Одесса, 1924, — которая подробно обсуждается в кн. В. Я. Проппа.

Стр. 427. ...*Присоединяясь — конечно, невольно — к Дюркгейму, Пропп*... — Э. Дюркгейм (1858—1917) — французский социолог, позитивист, глава французской социологической школы; идеи Дюркгейма сказались на развитии лингвистической и, косвенно, семиологической теории Ф. де Соссюра (1857—1913), в свою очередь оказавшей большое влияние на работы Р. Барта (см. комм. к его статье в наст. сборнике) и многих других ученых.

Стр. 427. ...*анализ будет проводиться на материале сказок под номерами 50—151 по Афанасьевскому сборнику*. — А. Н. Афанасьев (1826—1871) — русский историк и литературовед, исследователь и публикатор фольклора; имеется в виду его знаменитый сборник «Народные русские сказки» (1855—1864) (неоднократно переиздавался). Что касается отождествления сказок по номеру, то (ввиду наличия различных цитаций; переводов на др. языки; исследовательских работ о сказке; дополненной классификации Аарне и т. д.) оно в настоящее время требует осторожности; имеются «конкордансы» нумераций применительно к работе В. Я. Проппа, см.: Propp Vladimir Ja. Morfologia della fiaba. Con un intervento di Claude Lévi-Strauss e una replica dell'autore. A cura di Gian Luigi Bravo. Giulio Einaudi Editore. (Torino), 1966 (V. Tabella comparativa della numerazione delle fiabe).

Стр. 450. ...*функцию «трикстера» может выполнять то койот, то норка, то ворон...* — Трикстер (от англ. trickster «обманщик, ловкач») — оборотень в фольклоре.

Стр. 451. ...*продуктом... случайных комбинаций...* — Роль случайности в образовании и форме языкового знака была чрезвычайно преувеличена в семиологии Ф. де Соссюра (1853—1913), оказавшей большое влияние на западноевропейскую лингвистику первой половины XX в.; Леви-Стросс совершенно справедливо ограничивает тезис о случайности, см. также аналогичные идеи в ст. Р. Якобсона «В поисках сущности языка» в наст. сборнике.

Стр. 452. ...*Свобода такого видения состоит лишь в нахождении упорядоченных сочетаний ..., число, смысл и конфигурация которых заданы заранее.* — Эта мысль Леви-Стросса восходит к общему тезису структурализма, который четко выразил датский структуралист В. Брёндаль еще в 1943 г.: «Совокупность обычаев какого-либо народа всегда отмечена особым стилем. Обычаи образуют системы. Я убежден, что эти системы не существуют в неограниченном количестве и что человеческие общества, подобно отдельным людям, никогда не создают чего-либо абсолютно нового, но лишь составляют некоторые комбинации из идеального набора возможностей, который можно исчислить» (B r ö n d a l V. Essais de linguistique générale. Copenhague, 1943, p. 96). Однако впоследствии этот тезис был выдвинут на первый план, в то время как сопутствующие ему тезисы датского структурализма (например, о невозможности структурного «постижения», описания индивидуального) были забыты. В целом, вопрос о соотношении свободы и необходимости структурализмом не был решен; структурализм ориентирован на предельный детерминизм, на «расщепление» индивида (в любой системе, будь то индивид в фонологии — фонема, индивид в семантике — лексическое ядро значения слова, индивид в системе общественных отношений — человек) посредством его сведéния к пучку дифференциальных элементов; таким образом индивид сводится к системе, а вместе с этим свобода приносится в жертву необходимости.

Противоположная этому тезису мысль прослеживается в статье В. Я. Проппа; сходная, т. е. также противоположная структурному тезису, идея применительно к семантике выдвинута в статье К. И. Льюиса «Модусы значения» (см. наст. сборник) и в комм. к ней; заново ставится этот вопрос в статье Б. Холл Парти «Грамматика Монтегю...» (см. наст. сборник).

В. Я. Пропп. Структурное и историческое изучение волшебной сказки (Ответ К. Леви-Строссу). — Впервые опубликовано (на итальянском языке): P r o p p Vladimir Ja. Morfologie della fiaba. Con un intervento di Claude Lévi-Strauss e una replica dell'autore. A cura di Gian Luigi Bravo. Giulio Einaudi Editore. (Torino), 1966. — Печатается

по книге: П р о п п В. Я. Фольклор и действительность. М.: Наука, 1976, с. 132—152.

Владимир Яковлевич Пропп (1895—1970) — советский исследователь фольклора и теоретик нового способа его анализа, который в настоящее время оказался очень близким к семиотическому (сам Пропп такого термина не употреблял, называя свой анализ установлением «морфологии» волшебной сказки и делая, впоследствии, некоторые оговорки относительно термина «морфология» в этом значении).

Публикуемая статья относится к дискуссии между В. Я. Проппом и К. Леви-Строссом; вместе с другими работами наст. книги, в особенности в связи со статьей К. Леви-Стросса (см. выше), она дает хорошее представление об отношении трех течений — «русского формализма» (к которому В. Я. Пропп не может быть полностью отнесен, но с которым может быть только сближен по ряду положений), пропповского анализа как в значительной степени особого — сходного с семиотическим — течения и структурализма, представляемого в данном контексте работами К. Леви-Стросса.

К. Леви-Стросс ответил на ответ В. Я. Проппа краткой репликой, в которой, в частности, сказал:

«Все, кто прочел мою работу, посвященную пророческому труду Проппа и включенную итальянским издателем в настоящий том, не могли не увидеть в ней того, чем она и была по замыслу, — дани уважения по отношению к выдающемуся открытию, на четверть века опередившему попытки других исследователей, к числу которых принадлежу и я сам, предпринятые в том же направлении...» (см. указ. итальянское издание книги Проппа, с. 164).

Клод Бремон. Структурное изучение повествовательных текстов после В. Проппа (Claude Bremond. L'étude structurale du récit depuis V. Propp). — Перевод сделан по изданию: «A semiotic landscape. Proceedings of the First Congress of the International Association for Semiotic Studies. Milan, June, 1974» (Approaches to Semiotics. 29). Mouton Publishers. The Hague. Paris—New York 1979, p. 90—95.

К. Бремон — французский семиотик, автор ряда исследований по семиотике литературы и фольклора, которые обсуждались в советской специальной литературе, см., например: Н и к о л а е в а Т. М. Лингвистика текста. Современное состояние и перспективы // Новое в заруб. лингвистике, вып. VIII. М.: Прогресс, 1978, с. 37—38.

Стр. 472. *...напомним о его* [*Соссюра*] *разысканиях в области германского эпоса о Нибелунгах.* — Эти разыскания не приобрели окончательной формы и не были завершены. О соотношении разных «семиологий» в творчестве Соссюра см.: E n g l e r R. Sémiologies saussuriennes // Cahiers Ferdinand de Saussure, 29, 1974—1975.

Стр. 473. *...проблему определения статуса рассказывающего дискурса.* — Последний термин раскрывается частично в этой же статье ниже; подробно см. в наст. сборнике работу П. Серио.

Андрей Белый. Из книги «Поэзия слова». Пушкин, Тютчев и Баратынский в зрительном восприятии природы. — Печатается по изданию: Белый А. Поэзия слова. Петроград: Эпоха, 1922, с. 7—19.

Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) (1880—1934) — русский поэт-символист, теоретик стиха и искусства. Книга «Поэзия слова», кроме воспроизводимой здесь части, включает еще очерки «Вячеслав Иванов» и «Александр Блок»; она представляет собой опыт конкретного анализа поэтических текстов на основах, выработанных самим А. Белым, — на основах, сказали бы мы в настоящее время, семиотических.

Исходя из опыта русского символизма, А. Белый предпринял попытку создать целостную концепцию анализа искусства; ее теоретические основы представлены Белым в его предшествующем обширном труде «Символизм. Книга статей» (Книгоиздательство «Мусагет», М., 1910); дальнейшее развитие в книге: А. Белый. Мастерство Гоголя. М., 1934.

Концепция А. Белого представляет собой вторую — по отношению к «русскому формализму» — семиотическую концепцию искусства, созданную одновременно с первой. Если «русские формалисты», основываясь на поэтическом опыте «авангардизма», главным образом русского футуризма, разрабатывали синтаксическую концепцию искусства, то Белый, исходя из практики русского символизма, создавал по существу семантическую концепцию искусства. В значительной степени обе концепции (хотя и противопоставленные в мысли их авторов) в действительности являются взаимодополняющими.

А. А. Реформатский. Опыт анализа новеллистической композиции. — Печатается по изданию: Реформатский А. А. Опыт анализа новеллистической композиции. Московский кружок «ОПОЯЗ», вып. I. М., 1922, с. 3—12.

Александр Александрович Реформатский (1900—1978) — известный советский лингвист, исследователь русского языка (главным образом фонологии, морфологии, морфонологии); один из теоретиков Московской фонологической школы; общий языковед.

В данной работе А. А. Реформатский демонстрирует принципы анализа композиции, которые мы в настоящее время назвали бы семиотическими. Ряд положений этой статьи близок к приемам ана-

лиза русской «формальной школы»; ряд же — отличен (см. вступительную статью к наст. сборнику).

Работа демонстрирует истоки советской — а в значительной степени и мировой — семиотической традиции, формировавшиеся в работах русских лингвистов и литературоведов 1910—20-х гг.

Н. С. Трубецкой. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина как литературный памятник. — Впервые опубликовано: «Версты», 1, Париж, 1926, с 164— 186; печатается по изданию: T r u b e t z k o y N. S. Three Philological Studies // Michigan Slavic Materials, 3, Ann Arbor, 1963, с. 25—51.

Николай Сергеевич Трубецкой (1890—1938) — русский лингвист, после революции жил и работал в Праге; один из создателей фонологии — структурной дисциплины, явившейся прототипом структурных исследований других сфер языка и культуры; один из организаторов и активных деятелей Пражского лингвистического кружка. Как семиотик, Н. С. Трубецкой выступил в ряде работ — в семиотическом исследовании славянских алфавитов (в книге «Altkirchenslavische Grammatik» [1938, осталась незаконченной], Herausgegeben von R. Jagoditsch. Wien, 1954; 2. Auflage, Wien, 1968); в книге «К проблеме русского самосознания. Собрание статей» (Евразийское книгоиздательство. Берлин, 1927), где он поставил общий вопрос о взаимосвязи между типом языка, этническим характером и культурой народа, выражающейся, в частности, в его поэзии и музыке (на книгу восторженной заметкой отозвался известный французский лингвист Антуан Мейе («Bulletin de la Société de Linguistique», Paris, t. 28, fasc. 1, 1927) Однако сам термин «семиотика» или какой-либо иной термин в том же значении Трубецким не применялся, и он говорит лишь в разных местах о концепции «системы систем», имея в виду нечто близкое к семиотике.

Обращение Н. С. Трубецкого к древнерусской литературе было вызвано, по-видимому, и стремлением разрабатывать эту общую науку, «систему систем», или семиотику, и специальным интересом к истории России и ее культуры — в этот период Н. С. Трубецкой занимал кафедру славянской филологии в Венском университете и читал курсы по древней русской литературе (посмертно изданы: T r u b e t z k o y N. S. Vorlesungen über die altrussische Literatur. Firenze, 1973). Но у него были и более глубокие причины: сам выбор текста для анализа, «Хожение Афанасия Никитина» был созвучен настроениям исследователя — чувству «религиозного» одиночества, как у Афанасия Никитина, а точнее — «культурного одиночества» русской эмиграции в Западной Европе. Ч. А. Религиозная философия в России. М.: Мысль, 1980, с. 125—127.

Стр. 497. ...*произведения древнерусской литературы до сих пор «открыты» еще только физически, а не духовно, ...мы еще не умеем воспринимать их как художественную ценность.* — Это утверждение было, безусловно, верно во время написания данной работы. Но в настоящее время, благодаря исследованиям акад. В. В. Виноградова (см. в частности его «О задачах стилистики. Наблюдения над стилем "Жития протопопа Аввакума"» (1922). — В кн.: В и н о г р а д о в В. В. Избранные труды. О языке художественной прозы. М.: Наука, 1980), акад. Д. С. Лихачева и др., положение резко изменилось. Из новых работ см.: Л и х а ч е в Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Изд. 3-е, дополн. М.: Наука, 1979 (с библиографией).

Стр. 497. ...*в последнее время создано могучее средство научного исследования литературы. Это средство — «формальный метод».* — Ряд положений в работе Н. С. Трубецкого близок к положениям русской формальной школы, но ряд — отличен; к последним надо отнести структурный подход к анализу содержания. Вообще, эту работу следует оценить, по-видимому, как переход от формализма к структурализму; см.: T i t u n i k I. R. Between Formalism and Structuralism. N. S. Trubetzkoy's «The Journey Beyond the Three Seas» by Afanasij Nikitin as a Literary Monument // «Sound, Sign and Meaning». Quinguagenery of the Prague Linguistic Circle / Ed. by L. Matejka (Michigan Slavic Contributions. № 6). Ann Arbor, 1976.

Роман Якобсон. Поэзия грамматики и грамматика поэзии. — Печатается по изданию: Я к о б с о н Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии. «Poetics. Poetyka. Поэтика». Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa, 1961, с. 397—417.

Стр. 526. ...*согласно Эдуарду Сепиру...* — Э. Сепир (1885—1939) — американский этнолог (по амер. терминологии, антрополог) и лингвист; главные труды — в области языковой типологии; обобщающая работа Э. Сепира (1921) переведена на рус. яз.: С е п и р Э. Язык. М., 1934.

Стр. 527. ...*Бентам впервые вскрыл...* — Иеремия Бентам (1748—1832) — английский правовед и этик, представитель этического учения «утилитаризма».

Стр. 527. ...*особенно Боасом.., Сепиром... и Уорфом...* — Называются американские лингвисты, занимавшиеся проблемой «язык и культура»; о Сепире см. комм. выше; Б. Л. Уорф (1897—1941) известен главным образом своей гипотезой о влиянии языка на мышление и поведение, так назыв. «гипотезой Сепира—Уорфа», см.: У о р ф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. Вып. I. М.: Изд. ин. литер., 1960.

Стр. 528. ...*Джеральд Гопкинс, гениальный новатор не только в поэзии, но и в поэтике...* — Джерард Мэнли Хопкинс (Гопкинс) (1844—

1889) — английский поэт, новатор стиля и стихосложения; его произведения были впервые изданы только в 1918 г. и оказали большое влияние на английских и американских поэтов 1920-х гг.; он писал преимущественно философскую лирику, пользуясь тоническим и свободным стихом; свой стиль он назвал «напряженным ритмом»; с образцами лирики Хопкинса можно познакомиться по изд.: Английская поэзия в русских переводах. XIV—XVI века. М.: Прогресс, 1981.

Стр. 531. ...*Филипа Сидни... и Эндрю Марвелла...* — Филип Сидни (1554— 1586) — английский поэт и теоретик поэтического искусства эпохи Возрождения; Эндрю Марвелл (1618—1678) — английский поэт; с образцами творчества обоих можно познакомиться по изд.: Английская поэзия в русских переводах. XIV— XVI века. М.: Прогресс, 1981.

Стр. 535. ...*согласно толкованию и термину Есперсена...* — Отто Есперсен (1860—1943) — датский лингвист, занимался проблемами английского языка и общего языкознания, см.: Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958.

V. СЕМИОТИКА ИНТЕРТЕКСТА

Патрик Серио. Анализ дискурса во Французской школе [Дискурс и интердискурс]. Печатается по изд.: Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса / Перев. с франц. и португ. Предисловие акад. Ю. Степанова. Общая ред., вступит. статья и комментарии проф. Лозаннского университета Патрика Серио. М.: Прогресс, 1999.

Публикуемый текст представляет собой часть вступит. статьи П. Серио к названному сборнику — «Как читают тексты во Франции»; вариант заголовка и подзаголовок в наст. книге даны составителем,

П. Серио — руководитель Кафедры славянских языков в Университете г. Лозанны (Швейцария), широко известен своими работами в области филологического и политологического анализа дискурса: Sériot P. Analyse du discours politique soviétique. P., Institut d'études slave, 1985, 362 p.; Relations inter- et infra-prédicatives. Ed. par P. Seriot. Institut de Linguistique et des Sciences du Langage. Cahier №3, 1993, Univ. de Lausanne; Sériot P. Structure et totalité. Les origines intellectuelles du structuraliame en Europe centrale et orientale. P., P.U.F., 1999, 353 p., и др.

М. В. Тростников. Перевод и интертекст с точки зрения поэтологии. Печатается по кн.: Тростников М. В. Поэтология. М.: Грааль, 1997, где он составляет большую часть разд. 3 с данным заголовком.

Михаил Владимирович Тростников — молодой и талантливый, безвременно скончавшийся исследователь русского и западноевро-

пейского, особенно французского, авангарда. Ему принадлежат статьи разных лет по этой проблеме и канд. дисс.: Идиостиль И. Анненского (лексико-семантический аспект). М., 1990. «Поэтология» — новаторское произведение, должна была составить докторскую диссертацию автора, которую он не успел защитить. См. о нем: Несытые слова: Сборник памяти М. В. Тростникова. М.: МАКС Преси, 2000.

Г[ригорий] Г[ригорьевич] Амелин, В[алентина] Я[ковлевна] Мордерер. О сюжетах в бессюжетном. Печатается по кн.: Амелин Г. Г., Мордерер В. Я. Миры и столкновенья Осипа Мандельштама. М.—СПб.: Языки русской культуры, 2000, где данный очерк составляет начальный раздел «Da capo» (итальян. «С самого начала, с головы»).

В качестве общего комментария к этому очерку в связи с темой интертекста можно было бы напомнить, что рассматриваемое стихотворение О. Мандельштама связано с «ближайшей литературной средой», а также с отправным текстом Ф. И. Тютчева прежде всего ритмикой — размером четырехстопного хорея: у Тютчева «В душном воздуха молчанье, / Как предчувствие грозы, / Жарче роз благоуханье, / Звонче голос стрекозы... (1830-е гг.); ср. у А. Ахматовой «Мне от бабушки татарки / Были редкостью подарки; / И зачем я крещена, / Горько гневалась она... (Сказка о черном кольце. 1917—1936). А. Блок же, как известно, считал ямбы — «ритмом жизни», а хореи — «ритмом смерти»; таким образом «тема смерти» задана уже в ритмике этих стихов.

Та же тема возникает и в ряде конкретных образов: так, стрекоза в диалектном немецком языке является символом и, часто, предвестником смерти. См.: Handwörterbuch des deutachen Aberglaubens, De Gruyter, Berlin — New York. Bd. 5, 1987, Kolumne 1239.

VI. СЕМИОТИКА КУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТОВ, или СЕМИОТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ

Ю[рий] С[ергеевич] Степанов. Семиотика концептов. Печатается по кн.: Степанов Ю. С. Язык и метод. К современной философии языка. М.: Языки рус. культуры, 1998. См. также другие работы автора на эту тему, например «Константы: Словарь русской культуры». М.: Языки рус. культуры, 1997.

М[ихаил] В[асильевич] Ильин. Полития. Печатается по кн.: Ильин М. В. Слова и смыслы: Опыт описания ключевых политических понятии. М.: РОССПЭН, 1997.



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Аарне А. (Aarne A.) 425—426, 681
Абдулаев А. Ш. 38
Абеляр П. (Abelard P.) 18, 174, 177—178, 217, 648, 655
Августин (Augustinus Sanctus) 112, 636, 655
Айала Ф. (Ayala F.) 418
Айдукевич К. (Ajdukiewicz K.) 64, 152, 158—159, 162—163, 273—274, 276, 641, 662—663
Айер А. Дж. (Ayer A. J.) 592
Аккерман В. (Ackermann W.) 152
Алеман М. (Aleman M.) 415—416, 680
Альберт Великий (Albertus Magnus) 205, 621
Альборг (Alborg) 419
Альтюссер Л. (Althusser L.) 577 и сл.
Амелин Г. Г. 38—39, 581, 688
Андерсен Г. К. (Andersen H. C.) 432
Андреас А. (Andreas A.) 200
Андрейд М. Дж. (Andrade M. J.) 60
Анненский И. Ф. 563, 565 и сл.
Апресян Ю. Д. 250—251, 269
Апулей (Apuleius) 176, 203, 215, 223
Аристов Н. 529
Аристотель (Aristoteles) 26—28, 613, 636, 648, 652, 654, 671, 675
Арно А. (Arnauld A.) 202, 245, 259, 660
Аскольдов (Алексеев) С. А. 41
Асмус В. Ф. 25, 652
Астахова А. 529, 546
Афанасьев А. Н. 681

Байнес Т. (Baynes T. S.) 204
Балацкий Е. В. 19
Балашов Н. И. 26
Балли Ш. (Bally Ch.) 114—115, 401, 679
Бальзак О. де (Balzac H. de) 33, 340, 344—346, 366, 411, 422
Баратынский (Боратынский) Е. А. 480—483, 485, 571, 591, 684, 701
Бароха П. (Baroja Pio) 410, 420
Барт Р. (Barthes R.) 10, 32—33, 667—674, 677, 678, 681
Бар-Хиллел И. (Bar-Hillel Y.) 155, 663
Баттё (Batteux Ch.) 381, 675
Бедье Ж. (Bédier J.) 426, 681
Беккер Г. А. Д. (Becker G. A. D.) 408, 679
Беккет (Beckett S.) 418
Белый Андрей 12, 15, 16, 39, 489, 494, 585—587, 595—596, 684
Беман (Behmann H.) 152
Бенвенист Э. (Benveniste E.) 115, 401, 549, 553, 672, 679
Бенджамин Э. (Benjamin A. C.) 120
Бентам И. (Bentham J.) 527, 544, 686

Берк К. (Burke K.) 623
Беркли Дж. (Berkeley G.) 650
Бернайс П. (Bernays P.) 152
Беррио А. (Berrio A. G.) 421
Бирвиш М. (Bierwisch M.) 250—251
Биржакова Е. Э. 620
Бланшо М. (Blanchot M.) 330, 345, 358, 363, 669
Блок А. А. 12, 531, 583—584, 363, 669
Блумфилд Л. (Bloomfield L.) 111, 115, 401, 679
Блэк А. 620
Боас Ф. (Boas F.) 527, 686
Бове Э. (Bovet E.) 99, 635
Богомолов А. С. 630, 679
Богуславский А. (Boguslawski A.) 251
Боден Ж. 622
Бодлер Ш. (Baudelaire Ch.) 337, 348, 360
Болинджер Д. (Bolinger D.) 115, 121
Борромео Ф. (Borromeo F.) 404, 679
Ботев Х. 531
Боэций (Boethius) 648
Брайтуайт Р. В. (Brightwhite R.) 644
Браун Р. (Brown R.) 106, 324
Бремон К. (Bremond C.) 571, 683
Брёндаль В. (Bröndal V.) 682
Брентано Ф. (Brentano F.) 432
Бретон А. (Breton A.) 363
Брехт Б. (Brecht B.) 31—34
Брик О. М. 486, 488, 493
Брук П. (Brook P.) 669
Брюсов В. 582
Будон Р. (Boudon R.) 400
Булгаков М. А. 23
Булыгина Т. В. 627, 643
Бунюэль Л. (Bucuel L.) 680
Бурбаки Н. (Bourbaki N.) 101, 103
Буридан Ж. (Buridan J.) 109
Бэкон Ф. (Bacon F.) 630
Бюйсенс Э. (Buyssens E.) 10
Бюлер К. (Bühler K.) 422
Бютор М. (Butor M.) 40, 396, 677
Бюффон Ж.-Л. (Buffon G.-L.) 670
Вагнер Р. (Wagner R.) 413
Валери П. (Valéry P.) 358, 363
Вандриес Ж. (Vendryes J.) 115
Варела Б. (Varela B.) 418
Васко да Гама (Vasco da Gama) 499
Вежбицка А. (Wierzbicka Anna) 627, 631, 649, 659—661
Вейнрейх У. (Weinreich U.) 249, 251, 268, 660
Веневитинов Д. В. 589 и сл.
Верга Дж. (Verga G.) 398, 678
Вересаев В. В. 532
Верлен П. (Verlaine P.) 565—566, 571—572.
Вернадский В. И. 13—15, 38, 40
Веселовский А. Н. 11, 39, 421, 425, 441, 489, 681
Вешнев В. Г. 494
Вильсон У. (Wilson W. D.) 202
Виноградов В. В. 30, 686
Витгенштейн Л. (Wittgenstein L.) 97, 411, 412, 415, 422, 642, 679
Вовенарг (Vauvenargue) 337, 671
Вожла К. (Vaugelas C.) 336, 356, 371
Волков Г. 15
Волков Р. М. 426, 681
Вольтер Ф. (Voltaire F.-M.) 337
Вольф К. (Wolf Ch.) 216, 528, 622
Вригт Г. фон (Wright G. H. von) 155
Вуатюр В. (Voiture V.) 673
Вульф В. (Woolfe V.) 418
Вундт В. (Wundt W.) 425, 681

Галантер Е. (Gallanter E.) 635
Галуа Э. (Galois E.) 101
Гальдос Р. (Galdos Pérez B.) 396, 410
Гальперин И. Р. 563
Гамсун К. (Hamsun K.) 491, 494
Гамильтон (Hamilton) 204—205, 217
Гарсиа Р. (Garcia R.) 108
Гарсиласо де ла Вега (Garcilazo de la Vega) 412—413

Гегель Г. (Hegel G. W.) 15, 221—222, 393, 417—418
Гёдель Г. (Goedel H.) 631
Гейне Г. (Heine H.) 581
Гелескул А. М. 577 и сл.
Гершензон М. О. 480
Гёте И. (Goethe I. W.) 13—15, 96, 432, 455, 457, 461
Гийом из Оверни (Guillaume d'Auvergne) 202
Гильберт Д. (Hilbert D.) 101, 152
Гиляревский Р. С. 38
Гоголь Н. В. 490, 493—494, 563, 598, 684
Гойанес Б. (Goyanes B.) 396, 420
Гольдман Л. (Goldmann L.) 394, 410, 677
Гомес де ля Серна Р. (Gomes de la Serna R.) 395, 678
Гомперц Т. (Gomperz T.) 112
Гонкур Э. и Ж. (Goncourt E. et J.) 358
Гончаров И. А. 498
Гопкинс Г. (Hopkins G. M.) 528, 531, 538, 641, 687
Гоппе (Hoppe) 183
Горький А. М. 33, 579, 588, 668
Готшед И. (Gottsched I.-Ch.) 26
Готье Т. (Gautier T.) 358, 360
Греймас А. (Greimas A.) 2, 476, 479
Григорий Великий 617
Григорий XIII (Gregorius XIII), папа римский 673
Гринберг Дж. (Greenberg J. H.) 117—119
Гришунин А. Л. 679
Грубер Дж. (Gruber J.) 269
Грэнди Р. (Grandy R.) 318
Гугенхейм Г. (Gougenheim G.) 243
Гудмен Н. (Goodman N.) 244, 660
Гумбольдт В. фон (Humboldt W. von) 111, 677—678
Гумилев Н. С. 565, 584
Гуссерль Э. (Husserl E.) 31, 159, 676
Гюго В. (Hugo V.) 332, 350, 356—357, 366
Дали С. (Dali S.) 680
Дальгрен К. (Dahlgren K.) 313—315, 320
Дамуретт Ж. (Damourette J.) 115
Дандес А. (Dundes A.) 477—478
Данинос П. (Daninos P.) 38
Данте 581
Дарвин Ч. (Darwin Ch.) 72
Декарт Р. (Decartes R.) 31, 35, 208, 209, 245, 251, 254, 268, 646, 660
Демьянков В. З. 700
Деррида Ж. (Derrida J.) 37, 556
Джеймс У. (James W.) 71—72, 81, 631—632, 665
Джеккендоф Р. (Jackendoff R.) 308, 318
Джойс Дж. (Joyce J.) 394, 397—398, 418—419, 678
Джон из Солсбери см. Иоанн Солсберийский
Джохадзе Д. В. 639
Дидро Д. (Diderot D.) 382
Диккенс Ч. (Dickens Ch.) 184—185
Диодор Кронос (Diodyrus Kronos) 189, 225
Доде А. (Daudet A.) 360—362
Доннеллан К. (Donnellan K.) 316
Достоевский Ф. М. 383, 486, 489—494, 583, 593, 599
Дуганов Р. В. 636
Дунс Скот (Dunsus Scotus) 180, 198, 200, 652
Дьюи Дж. (Dewey J.) 71—72, 81, 631—632
Дюкро О. (Ducrot O.) 560—561
Дюркгейм Э. (Durkheim E.) 427, 681

Ельмслев Л. (Hjelmslev L.) 16, 248—249, 251, 268, 401—402, 420, 679
Есперсен О. (Jespersen O.) 115, 535, 687

Женетт Ж. (Genette G.) 553
Жид А. (Gide A.) 332—333, 344, 354, 359, 363, 397

Жижка Я. (Ťiňka J.) 538
Жильбер Р. (Gilbert P.) 38

Зигварт Х. (Sigwart C.) 222
Золя Э. (Zola E.) 360—361, 367

Ильин И. П. 37, 39
Ильин М. В. 613, 618, 688
Ингарден Р. (Ingarden R.) 402—403, 405, 679
Инельдер Б. (Ingelder B.) 99, 635
Иоанн Солсберийский (Джон из Солсбери) (Johannes de Salisbury) 202, 224, 616—617, 654—655
Итон Р. (Eaton R. M.) 383

Калдервуд (Calderwood) 204
Камю А. (Camus A.) 330—331, 333, 358, 361, 364, 669
Кант И. (Kant I.) 25—26, 187—188, 199—200, 202, 206, 208—209, 212, 216—217, 220—221, 226, 239, 417, 593, 646, 656
Кантор Г. (Cantor G.) 101
Каплан Д. (Kaplan D.) 143, 156, 297, 314
Карамзин Н. М. 595
Карнап Р. (Carnap R.) 9, 16, 17, 56, 58, 63, 66, 154, 156—157, 273, 278, 280, 318, 631, 640, 654, 664
Карретер Л. (Carreter L. E.) 420
Карри Х. Б. (Curry H.) 641
Картрайт Д. (Cartwright D.) 118
Кассиодор Сенатор (Cassiodorus Senator) 223
Кассирер Э. (Cassirer E.) 129, 143, 637
Катц Дж. (Katz J.) 249—250, 309, 311—312, 315—317, 319, 667
Кафка Ф. (Kafka F.) 30, 345, 396, 405, 410, 418, 669
Кеведо Ф. де (Quevedo F. de) 416, 680
Кедров Б. М. 634
Кейроль Ж. (Cayrol J.) 330, 345—346, 669
Кейслер Г. (Keisler G.) 640
Кено Р. (Queneau R.) 330—331, 333, 358, 361, 365, 367, 669
Кирога Е. (Quiroga E.) 405
Клейн Ф. (Klein F.) 109
Клодель П. (Clodel P.) 333
Ключевский В. О. 611
Кнемейер Ф.-Л. (Knemeyr F.-L.) 623
Колесов В. В. 619
Конан-Дойль А. (Conan Doyle A.) 489
Кондаков Н. И. 655
Корнель П. (Corneille P.) 354, 359, 673
Костомаров В. Г. 672
Котарбиньский Т. (Kotarbicski T.) 152
Коэн Ж. (Cohen J.) 389, 676
Крипке С. (Kripke S.) 155, 273, 311, 315—316, 667
Кристева Ю. 36—37
Кристи А. (Cristie Agatha) 672
Кропачек П. (Kropáèek P.) 537
Куайн У. (Quine W. V.) 16, 161, 319
Курилов А. С. 679
Курте Ж. (Courtes J.) 533
Кьеркегор С. (Kierkegaard S.) 393, 418

Лакан Ж. (Lacan J.) 34, 548, 555—556
Лакло Р.-Ш. де (Laclos P. Ch. de) 356
Лакофф Дж. (Lakoff G.) 153, 158, 294
Лаланд А. (Lalande A.) 658
Ламберт И. (Lambert I. G.) 188
Ларбо В. (Larboud V.) 419
Ларра М. Х. де (Larra M. J. de) 414, 680
Ланге И. (Lange I.) 222
Лахути Д. Г. 269

Леви-Брюль Л. (Lévy-Bruhl L.) 377, 674, 675
Левин С. (Levin S.) 389, 676
Леви-Стросс К. (Lévy-Strauss C.) 13—16, 41, 400, 453—471, 476—677, 680—683
Лейбниц Г. (Leibniz G. W.) 19, 45, 56, 71, 152—153, 205, 208—209, 226, 245, 247, 249, 256—260, 635, 671
Леннеберг Э. (Lenneberg E.) 106
Леонкавалло Р. (Leoncavallo R.) 493
Лермонтов М. Ю. 25, 579, 585, 593, 599
Леруа Э. (Leroi E.) 38
Леруа-Гуран А. (Leroi-Gourhan A.) 605
Лессинг Г. (Lessing G.) 26
Лихачев Д. С. 30, 686
Локк Дж. (Locke J.) 84, 129, 208, 211, 245, 247, 249, 257—258, 622
Лопе де Вега (Lope de Vega y Carpio) 401, 412—413
Лоренц К. (Lorenz K.) 105—106, 604, 635, 637
Лосев А. Ф. 41, 635, 637, 654
Лотман Ю. М. 460, 587
Лотреамон (Дюкас И.) (Lautréamont I. [Ducasse I.]) 333
Лотце И. (Lotze I.) 222, 655
Лоуренс Д. (Lawrence D. H.) 398
Лукасевич Я. (Lukasiewicz J.) 152
Лукач Д. (Lukács G.) 395—396, 405, 418
Льюиз Д. (Lewis D.) 21, 149, 158, 310, 323, 639, 662—664, 666—667
Льюис К. И. (Lewis C. I.) 628, 632—633, 638—639, 655—659, 664, 666—667, 674, 682
Лэдд-Франклин К. (Ladd-Franklin Ch.) 187, 215, 653

Макиавелли 620
МакКоли Н. (McCawley N. A.) 153, 158
МакЛейн М. (McLane M.) 101
МакНейл Д. (MacNeill D.) 106
Маковельский А. О. 657
Малларме С. (Mallarmé S.) 123, 329, 333, 358, 363—365, 674
Мандельборт Б. 42
Мандельштам О. Э. 525, 531, 578, 581—584, 586—591, 593—595, 598—599, 688
Манн Т. (Mann Th.) 30, 396, 418
Маранда П. (Maranda P. E.) 477, 479
Марвелл Э. (Marvell A.) 531, 687
Марков А. А. 657
Маркс К. (Marx K.) 338, 557
Марр Н. Я. 608—609
Мартине А. (Martine A.) 414, 416, 422
Масиас (Macias) 414, 680
Маяковский В. В. 527, 564, 572, 580, 588, 592, 597, 673
Медведев П. Н. 11
Мейе А. (Meillet A.) 115, 264, 685
Мелетинский Е. М. 477
Мельвиль Ю. К. 642—643, 646
Мериме П. (Mérimée P.) 333, 356, 670
Мерингер Ф. (Meringer F.) 605
Мерло-Понти М. (Merleau-Ponty M.) 598
Мид Дж. (Mead G. H.) 71—72, 76—78, 132—134, 631—632, 637
Миллер В. Ф. 425, 681
Милль Дж. С. (Mill J. S.) 185, 223, 630, 647—648, 652—653
Митчелл О. (Mitchell O. H.) 651
Мирлас Л. (Mirlas L.) 419
Мишле Ж. (Michelet J.) 340, 672
Мольер Ж.-Б. (Mollier J.-B.) 672—673
Монтегю Р. (Montague R.) 149, 155—157, 278, 304—310, 315—316, 321, 323, 633, 639—640, 662, 664—666, 682, 700
Монтерлан А. де (Montherlan H. de) 363

Монье Т. (Monnier T.) 366
Мопассан Г. де (Maupassant Guy de) 360—362, 486—487, 489—490, 492—494
Морган О. де (Morgan A. de) 138—139, 172, 182, 189—190, 202
Мордерер В. Я. 38—39, 581, 687
Мориак Ф. (Mauriace F.) 398
Мориц К. Ф. (Moritz K.-Ph.) 381, 383, 675
Моррис Ч. У. (Morris Ch. W.) 9, 97, 127, 130, 152, 154, 156, 248, 627—634, 636—637, 640, 643, 647, 657—659
Музиль Р. (Musil R.) 396, 418
Мукаржовский Я. (Mukařovsky J.) 384

Набоков В. В. 39, 595, 599
Нерон (Nero Claudius Caesar) 176, 223
Никитин Афанасий 498—514, 518—525, 685, 701
Николь П. (Nicole P.) 246, 660
Ницше Ф. 592, 599
Новик И. Б. 38
Норвид К. (Norwid K.) 531, 533
Норман Р. (Norman R.) 118

Обухова А. Ф. 634
Огден Ч. (Ogden C. K.) 243, 266
Оккам У. (Ockham W.) 84, 112, 264, 621, 639, 640, 661, 664, 666
Орем Н. 622
Оросий П. 617
Ортега-и-Гассет Х. (Ortega-Gasset J.) 398, 420, 678

Пановский Э. (Panofsky E.) 537
Парти Б. Х. (Partee, Barbara Hall) 21, 284, 632—633, 635, 639, 659, 662, 664—666, 682
Парсонс Т. (Parsons T.) 303
Парсонс Х. (Parsons H.) 143
Паскаль Б. (Pascal B.) 245—246, 660
Паскуалино А. (Pascualino A.) 476
Пастернак Б. 581—582, 594
Патнэм Г. (Putnam H.) 305—306, 311—316, 320—322
Пеано Г. (Peano G.) 56, 152
Пельц Е. (Pelz J.) 633, 638—641, 662—664, 666
Петрарка Ф. (Petrarca F.) 413
Петровская Л. А. 637
Петровский М. А. 486—490, 494
Петровский Ф. А. 27
Петрушенко Л. А. 19
Петр Испанский (Petrus Hispanus) 176, 205, 224, 640, 648
Пешё М. (Pêcheux M.) 556 и сл.
Пиаже Ж. (Piaget J.) 2, 102, 146, 634, 635, 636, 637, 638, 658
Пиркова-Якобсон С. (Pirkova-Jakobson S.) 424
Пирс Ч. С. (Peirce Ch. S.) 9, 54, 56, 71—72, 87, 112—117, 120, 125, 129, 153, 165, 189—190, 196, 202—203, 222, 225, 227, 627, 630—633, 636, 640—658, 664, 666, 672, 701
Пишон Э. (Pichon E.) 115
Платон (Plato) 27, 41, 42, 114, 116, 201
Покок Дж. (Pokock J. G. A.) 621
Поппе Н. (Poppe N.) 528
Поспелов Н. С. 546
Потебня А. А. 11, 12, 24
Прадон Ж. (Pradon J.) 354, 673
Прайор Э. (Prior A. N.) 155
Прантль К. (Prantl K.) 200, 202, 224
Превер Ж. (Prévert J.) 365
Прибрам К. (Pribram K.) 100, 635, 681
Прието А. (Prieto A.) 10, 392, 676 и сл.
Пропп В. Я. 11—17, 41, 423—448, 451—454, 456, 469, 472—479, 677, 680—683

Пруст М. (Proust M.) 30, 31, 344, 346, 359, 365—366, 394, 397, 410, 418—419, 672, 678
Пуленк Ф. (Poulenc F.) 332
Пуфендорф С. 622
Пушкин А. С. 26, 39, 480—486, 488—489, 492, 494, 525, 533—534, 538, 541, 544, 546, 568, 571, 573, 582, 684

Рабле Ф. (Rabelais F.) 354
Расин Ж. (Racine J.) 354, 673
Рассел Б. (Russell B.) 56, 152, 153, 629, 632—633, 639, 644, 649, 665—667
Ревзин И. И. 269
Рейхенбах Г. (Reichenbach H.) 63, 64, 154
Реканати Ф. (Récanati F.) 35
Рембо А. (Rimbaud A.) 332, 348, 358, 363, 564, 576, 673, 674
Реформатский А. А. 10, 11, 39, 684
Римский-Корсаков Н. А. 493
Роб-Грийе А. (Robbe-Grillet A.) 418, 677
Розенкранц К. (Rosenkranz C.) 221
Ромен Ж. (Romains J.) 124
Руссо Ж.-Ж. (Rousseau J.-J.) 337, 595

Сальвадор Г. (Salvador G.) 420
Самакуа Е. (Samacua E.) 405
Саррот Н. (Sarraute, Nathalie) 419, 677
Сартр Ж.-П. (Sartre J.-P.) 358, 367, 369
Свево И. (Svevo I.) 397, 419, 678
Сводеш М. (Swadesh M.) 248
Секст Эмпирик (Sextus Empiricus) 225
Села К. Х. (Cela C. J.) 419
Селин Л.-Ф. (Céline L.-F.) 333, 365, 367
Сен-Винсент Г. де (Saint-Vincent G. de) 640
Сен-Санс К. (Saint-Saøns C.) 332
Сепир Э. (Sapir E.) 118, 120, 122, 248, 251, 526—527, 532, 545, 686
Сёренсен Х. (Sørensen H. S.) 248—249, 251, 253—254, 257
Серио П. (Sériot P.) 549
Сеше А. (Sechehaye A.) 114—115
Сидни Ф. (Sidney Ph.) 531, 687
Синклер Ж. (Sinclair J.) 99, 635
Скотт (Scott) 424, 655
Слонимский А. 546
Смирнов В. А. 578, 639
Смит А. (Smith A.) 497
Соболевский А. И. 529
Сократ (Socrates) 114, 177, 212, 216
Соссюр Ф. де (Saussure F. de) 32, 111—112, 114—116, 119—121, 124—125, 383, 409, 414, 449, 472, 555, 557—558, 670—671, 675—676, 681—682, 684
Спиноза Б. (Spinoza B.) 216
Сталин И. В. 536
Стендаль (Stendhal) 356
Стендер-Петерсен (Stender-Petersen) 420
Степанов Ю. С. 38, 603, 606, 627, 687—688
Стросон П. (Strawson P. F.) 160—561
Стяжкин Н. И. 642, 644, 646
Сципион Африканский 616
Сю Э. (Sue E.) 366

Тайлор Э. Б. (Tylor E. B.) 603, 605
Тарасенко В. В. 42
Тарский А. (Tarski A.) 63, 152, 157, 273
Тейяр де Шарден 38
Терив А. (Therive A.) 673
Терначини Б. (Terracini B. A.) 636, 637
Тинберген Н. (Tinbergen N.) 636, 637

Титуник И. (Titunik I. R.) 682
Тихонов А. Н. (Серебров А.) 588
Тодоров Ц. (Todorov Tz.) 22, 371, 377, 476, 674, 676
Толстой Л. Н. 467, 568
Толстой А. К. 595
Томазон Р. (Thomason R. H.) 308, 316
Томсон, архиепископ (Thomson, archbishop) 202
Тренделенбург Ф. (Trendelenburg F. A.) 222
Тростников М. В. 38, 549, 687
Трубачев О. Н. 605, 610
Трубецкой Н. С. (Trubetzkoy N. S.) 13, 497, 514, 685, 686
Тувим Ю. (Tuwim J.) 535
Тургенев И. С. 489, 497, 563
Туров И. С. 38
Тынянов Ю. Н. 11, 421, 587, 594, 596—597
Тютчев Ф. И. 325, 480—485, 564, 581, 583—587, 592, 684, 688

Уайтхед А. (Whitehead A. N.) 56, 83, 152, 632, 644
Уитни Д. (Whitney D.) 114—115
Ульдалль Х. (Uldall H. J.) 16
Ульманн С. (Ullmann S.) 123
Унамуно М. де (Unamuno M. de) 419
Уоррен О. (Warren A.) 384
Уорф Б. (Whorf B.) 120, 527, 536, 686
Уотсон Дж. (Watson J. B.) 49, 629
Уртадо де Мендоса Д. (Hurtado de Mendoza D.) 676
Уэллек Р. (Wellek R.) 384, 385, 388, 420

Фенелон Ф. (Fénelon F.) 333, 356, 670
Феррье Ж. (Ferrier J.) 640
Фет А. А. 585
Филон из Мегар (Filon de Megara) 189—190, 193, 224—225
Финн В. К. 269
Флобер Г. (Flaubert G.) 161, 249—250, 328—329, 335, 345—346, 358—361, 365, 673
Флоренский П. 591, 598
Фома Аквинский (Thomas Aquinatus) 198, 529, 621
Фортескью Дж. 621
Фрай Н. (Frye N.) 379, 385—390, 675
Фреге Г. (Frege G.) 56, 152, 244, 273, 307, 379, 560—561, 651, 654, 660, 667
Фрейд З. (Freud S.) 380, 555, 557, 675
Френцель Э. (Frenzel E.) 12, 18—19
Фридрих Г. (Friedrich H.) 420
Фриш К. фон (Frisch K. von) 130, 636, 637

Хайдеггер М. (Heidegger M.) 378, 594, 675
Хан Г. (Hahn H.) 154
Харари Ф. (Harary F.) 118
Хауэрд (Howard) 156
Хвистек Л. К. (Chwistek L. K.) 152, 157
Хейли А. 607
Хинтикка Я. (Hintikka J.) 155, 157, 635, 639—640
Хлебников В. В. 126, 583, 590, 594, 596, 598, 636, 669
Ходж Р. (Hodge R.) 612
Холл Парти, Барбара см. Парти
Холтон Дж. (Holton G.)
Хомский Н. (Chomsky N.) 143, 146, 148, 153, 159, 294, 301, 304—306, 309, 317, 322, 400, 634, 638

Цицерон 616

Черный А. И. 38
Черч Э. (Church A.) 156, 157, 645, 650, 651

Чехов А. П. 418, 494
Чэн Ч. Ч. (Chan Ch.) 640

Шар Р. (Char R.) 332, 353, 673
Шатобриан Ф. (Chateaubriand F.) 329, 356
Шахматов А. А. 542
Шекспир У. (Shakespeare W.) 471
Шеллинг Ф. (Schelling F. W.) 216
Шиллер Ф. (Schiller F.) 25—26
Шкловский В. Б. 383, 421, 493, 494
Шлик Г. (Schlick H.) 11
Шредер Э. (Schröder E.) 152, 180, 181, 187, 188, 190
Шрейдер Ю. А. 269
Штейниц В. (Steinitz W.) 528
Шуберт Ф. (Schubert F.) 332

Эбер Ж.-Р. (Hébert J.-R.) 327, 668
Эйхенбаум Б. М. 11, 494, 578
Эко У. (Eco U.) 476
Эренбург И. 573
Эрнандес М. (Hernández M.) 421
Эрнст М. (Ernst M.) 415, 680
Эткинд Е. Г. 573

Юм Д. (Hume D.) 630
Юркевич П. Д. 41, 629

Якобсон Р. (Jakobson R.) 2, 110, 384, 389, 415, 422, 424, 444, 524, 636, 641—643, 670, 676, 682, 686
Ясперс К. (Jaspers K.) 675

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНАЯ СТАТЬЯ

Ю. С. Степанов
В МИРЕ СЕМИОТИКИ 5

I. ИЗ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЙ СЕМИОТИКИ

Ч. У. Моррис
ОСНОВАНИЯ ТЕОРИИ ЗНАКОВ 45

Ж. Пиаже
ПСИХОГЕНЕЗ ЗНАНИЙ И ЕГО ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 98

Р. Якобсон
В ПОИСКАХ СУЩНОСТИ ЯЗЫКА 111

II. СЕМИОТИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Ч. У. Моррис
ИЗ КНИГИ «ЗНАЧЕНИЕ И ОЗНАЧИВАНИЕ»
ЗНАКИ И ДЕЙСТВИЯ 129

Ж. Пиаже
СХЕМЫ ДЕЙСТВИЯ И УСВОЕНИЕ ЯЗЫКА 144

III. СЕМИОТИКА И ЛОГИКА

Е. Пельц
СЕМИОТИКА И ЛОГИКА 151

Ч. С. Пирс
ИЗ РАБОТЫ «ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ. GRAMMATICA SPECULATIVA» 165

К. И. Льюис
МОДУСЫ ЗНАЧЕНИЯ ... 227

А. Вежбицка
ИЗ КНИГИ «СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРИМИТИВЫ» ... 242

Д. Льюиз
ОБЩАЯ СЕМАНТИКА ... 271

Б. Холл Парти
ГРАММАТИКА МОНТЕГЮ, МЫСЛЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ ... 304

IV. СЕМИОТИКА ЛИТЕРАТУРЫ

Р. Барт
НУЛЕВАЯ СТЕПЕНЬ ПИСЬМА ... 327

Ц. Тодоров
СЕМИОТИКА ЛИТЕРАТУРЫ ... 371

Ц. Тодоров
ПОНЯТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ... 376

А. Прието
ИЗ КНИГИ «МОРФОЛОГИЯ РОМАНА» ... 392

К. Леви-Стросс
СТРУКТУРА И ФОРМА. РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ОДНОЙ РАБОТЕ ВЛАДИМИРА ПРОППА ... 423

В. Пропп
СТРУКТУРНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ (ОТВЕТ К. ЛЕВИ-СТРОССУ) ... 453

К. Бремон
СТРУКТУРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВ ПОСЛЕ В. ПРОППА ... 472

А. Белый
ИЗ КНИГИ «ПОЭЗИЯ СЛОВА»
ПУШКИН, ТЮТЧЕВ И БАРАТЫНСКИЙ В ЗРИТЕЛЬНОМ ВОСПРИЯТИИ ПРИРОДЫ ... 480

А. Реформатский
ОПЫТ АНАЛИЗА НОВЕЛЛИСТИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ ... 486

Н. Трубецкой
«ХОЖЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» АФАНАСИЯ НИКИТИНА КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАМЯТНИК ... 496

Р. Якобсон
ПОЭЗИЯ ГРАММАТИКИ И ГРАММАТИКА ПОЭЗИИ ... 525

V. СЕМИОТИКА ИНТЕРТЕКСТА

П. Серио
АНАЛИЗ ДИСКУРСА ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ШКОЛЕ
[ДИСКУРС И ИНТЕРДИСКУРС] 549

М. Тростников
ПЕРЕВОД И ИНТЕРТЕКСТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЭТОЛОГИИ 563

Г. Амелин, В. Мордерер
О СЮЖЕТАХ В БЕССЮЖЕТНОМ
(О СТИХОТВОРЕНИИ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА
«ДАЙТЕ ТЮТЧЕВУ СТРЕКОЗУ...») 581

VI. СЕМИОТИКА КУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТОВ, ИЛИ СЕМИОТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ

Ю. Степанов
СЕМИОТИКА КОНЦЕПТОВ 603

М. Ильин
ПОЛИТИЯ 613

КОММЕНТАРИЙ

Ю. Степанов, Т. Булыгина 625

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 689

АВТОРЫ ПЕРЕВОДОВ

С англ.: В.П.Мурат (Моррис), В.А.Виноградов и А.Н.Журинский (Якобсон), А.Д.Шмелев (Пельц, Вежбицка), Т.В.Булыгина и А.Д.Шмелев (Пирс), В.З.Демьянков (К.Льюис, Д.Льюиз, Холл Парти).

С франц.: Н.В.Уфимцева (Пиаже), Г.К.Косиков (Барт, Тодоров, Леви-Стросс, Бремон), И.Н.Кузнецова (Серио).

С испан.: А.Б.Матвеев, (Прието).

Научное издание

Серия «Summa»

ISBN 5-88687-096-2



СЕМИОТИКА:

антология

Степанов Юрий Сергеевич
(составление и общая редакция)

Издание 2-е, переработанное и дополненное.

Компьютерная верстка *А.С. Щукин*
Корректор *Т. Тимакова*

Издательство «Деловая книга»
Изд. лиц. № 00036 от 26.09.99
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13, к. 4

Литературно-издательское агентство
«Академический Проект»
Изд. лиц. № 065723 от 10.03.98.
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3, стр. 4

По вопросам приобретения книги просим обращаться
в ЗАО «Академия—Центр»:
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3, стр. 4
Тел.: (095) 176 9338; 176 9523; факс: 305 6092
E-mail: aprogect@mtu-net.ru

Подписано в печать с готовых диапозитивов 12.12.2000
Формат 70x100/16. Усл. печ. л. 57. Гарнитура Мысль. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Тираж 5000 экз. Заказ № 601.
Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-005-093, 953000 — книги, брошюры.

Отпечатано с готовых диапозитивов на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.